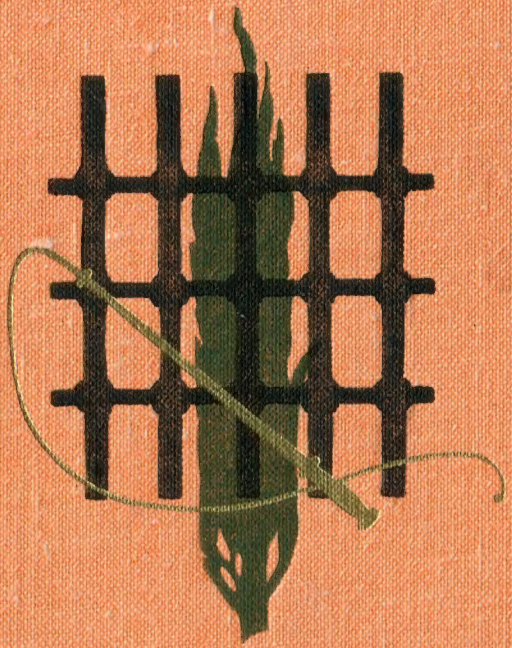
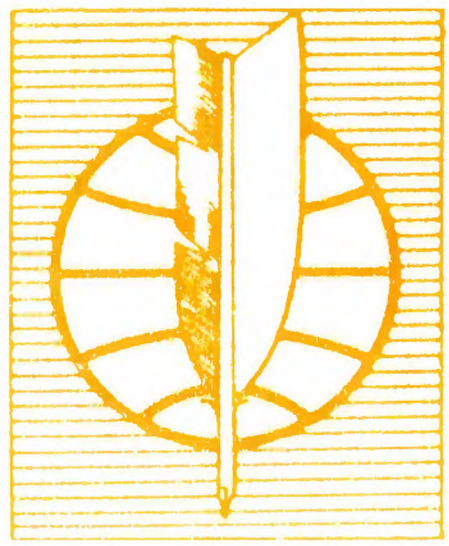
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



Г. БИЧЕР-СТОУ
Э. Л. ВОЙНИЧ

Г. БИЧЕР-СТОУ
Э. Л. ВОЙНИЧ



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ

Г. БИЧЕР-СТОУ

Хижина дяди Тома

•

Э. Л. ВОЙНИЧ

Овод

•

Романы

Перевод с английского

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1980

И (Амер.)
Б 67

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

Вступительное слово
Героя Социалистического Труда
БОРИСА ПОЛЕВОГО

Оформление серии и тома
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Рисунки к роману Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»
Н. И. ЦЕЙТЛИНА

Рисунки к роману Э. Л. Войнич «Овод»
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Б 70803—226
М101(03)80 Подп. изд.

© Состав. Вступительная статья. Послесловия. Комментарии. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г.

КНИГИ УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБЫ

Книга, прочитанная в детстве, запоминается надолго. Если это хорошая книга, захватившая воображение, ставшая плодом для раздумий, она запоминается навсегда. Герои ее становятся друзьями читателей, друзьями, которые не забудутся навеки и пройдут с ними через всю жизнь.

Такими книгами, прочитанными где-то на границе детства и отрочества, стали для меня два романа, ныне публикуемые в томе, который вы, юные читатели, держите сейчас в руках.

«Хижина дяди Тома», принадлежащая перу американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу, и «Овод», написанный англичанкой Этель Лилиан Войнич, очень разные произведения.

И главные герои этих книг — тихий, покорный, доброжелательный американский негр дядя Том, и сильный, мужественный и бескомпромиссный в своих убеждениях итальянский журналист Феличе Риварес, пишущий в газетах под псевдонимом «Овод», яростно борющийся и с австрийскими угнетателями своего народа, и с римским папой, и с церковным мракобесием вообще,— это тоже очень разные люди. Люди разных характеров, разной судьбы, разного отношения к жизни. Но оба эти героя, каждый в свое время, захватили воображение миллионов читателей и до сих пор, до сегодняшнего дня, продолжают оставаться верными

друзьями все новых и новых поколений молодых людей во всех концах земного шара.

Нет надобности, предваряя чтение, пересказывать содержание этих книг. Не сомневаюсь, что наши читатели с огромным интересом прочтут оба романа. Прочтут и, думается мне, запомнят их навсегда, как прочитал и запомнил их и я в свои уже столь далекие юные годы. Поговорить же мне хочется с вами, молодые читатели, об авторах этих книг, о тех условиях, в которых эти книги были созданы, и о деле, которому эти книги уже усердно послужили и продолжают служить до сего времени.

В прошлом веке, когда Гарриет Бичер-Стоу, жена скромного священника, мать семерых детей, начинала писать задуманный ею роман, Америка была страной узаконенного безжалостного угнетения черных белыми. Африканцы, захваченные работорговцами на своем далеком от Америки континенте, привезенные из-за океана, купленные белыми плантаторами на невольничьих рынках, не пользовались никакими правами и привилегиями, были на положении еще более худшем, нежели рабочий скот,— скот хоть кормили досыта.

Но на индустриальном Севере страны уже начиналась борьба за освобождение негров, и маленькая женщина, которую сейчас, вероятно, назвали бы домохозяйкой, взялась за перо, чтобы посильно включиться в эту борьбу своих прогрессивных сограждан.

Нет, по своей натуре она не была ни борцом, ни тем более революционеркой. Ей чужда была даже мысль о восстании рабов, о насильственном сокрушении той страшной рабовладельческой системы, на которой в ту пору базировались богатство и благополучие молодой заокеанской страны.

И герой романа, добрый, великодушный негр Том, был далек от мысли не только о борьбе, но даже и об активном протесте против господ. Он исповедовал и проповедовал бескрылую христианскую мораль, призывая рабов покорно нести свой крест до конца, во всем полагаясь на божью волю: «Господь, научи нас любить врагов своих».

Но Бичер-Стоу писала правду, жизненную правду тех дней, и вместе с дядюшкой Томом в ее книгу, как бы помимо воли автора, вошли и мятежный Джордж Гаррис, и стойкая Элиза, и в завершении романа именно эти мятежные и деятельные души, а не покорный дядя Том выходят победителями.

Да, маленькая, хрупкая жена пастора необыкновенно искренне написала потрясающую правду о том времени, и правда эта, быть может независимо от первоначальных намерений автора, пробила себе дорогу и стала символом активной борьбы с раб-

ством. Роман потряс читателей. Миллионы американцев жадно читали эту книгу. И не только американцы, и не только в Америке,— во всех странах, где эта книга была переведена, в том числе и в России, где в дни ее появления еще держалось крепостное право. Роман читали, перечитывали, переиздавали, и везде эта необычайная книга будила в людях чувство справедливости, вдохновляла на борьбу за свободу и равноправие.

Обращаясь к юным читателям той давней поры, Гарриет Бичер-Стоу писала: «Когда вы станете взрослыми, бесчеловечные предубеждения белых против племен другого цвета уже не будут существовать». Сбылись ли эти надежды?

После ожесточенной войны американского индустриального Севера и рабовладельческого плантаторского Юга рабство действительно было уничтожено... законом. Но был ли искоренен в этой стране расизм? Нет, он устоял. Более того, он жив и сейчас, и то в одном, то в другом городе Америки вдруг обнажаются его отвратительные черты. Об этом рассказывал мне когда-то великий гражданин Соединенных Штатов, друг Советского Союза певец Поль Робсон, которого всю его большую и яркую жизнь травили потомки рабовладельцев-плантаторов, описанных Бичер-Стоу. Лишали его возможности петь, лишали заработка, лишали трибун, закрывали перед ним сцены и эстрады.

Вспоминаю, наш разговор проходил вскоре после его знаменитого концерта на открытой эстраде возле американского городка Пикскилл. Расисты, пытавшиеся заставить Робсона навек замолчать, посулили застрелить его во время этого концерта. И действительно, несколько опытных снайперов замаскировались на деревьях вокруг эстрады. Но друзья певца, белые и черные американцы, организовали вокруг него как бы живой заслон в несколько цепей, и в течение всего концерта буквально грудью защищали его от пуль.

Со дня выхода романа «Хижина дяди Тома» прошло уже больше ста лет, но страницы этой нержавеющей книги продолжают и сейчас жить полной жизнью, продолжают волновать читательские умы, как это всегда бывает с настоящими книгами, в которые автор — передовой человек своего времени — как бы вложил самого себя.

Под одной «крышей» этого тома поселен роман «Овод». Впервые вышел он в свет в Англии в конце прошлого века, в 1897 году. Этой книге, переведенной и изданной в России через год после ее выхода, предстояла не менее яркая судьба. Действие в романе происходит в 30-е годы прошлого века, на фоне героических восстаний итальянцев против господства

австрийской империи. Его герой — молодой итальянский революционер. В ходе освободительной борьбы он из наивного и прекраснодушного студента Артура Бертона, включающегося в борьбу под христианским лозунгом «Во имя бога и народа ныне и вовеки веков», в столкновениях с действительностью мужает, вырастает как личность, начинает понимать, что религиозные сказки — ложь, что сама религия служит средством угнетения человека и угнетатели лишь прикрываются ею. В ходе борьбы наивный идеалист Артур превращается в мужественного, бескомпромиссного борца Феличе Риварeса, который под псевдонимом «Овод» своим острым пером, дышащим ненавистью к угнетателям и мракобесам, ведет борьбу за свободу своего народа. Овод участвует в восстаниях, печатным словом сражается с религией и духовенством, как бы воплощенном в романе в образе кардинала Монтанелли.

Артур — Овод не знает страха в борьбе с врагом, он продолжает сражаться, даже находясь в тюрьме. И после казни он словно не слагает оружия: к друзьям приходит его письмо, написанное перед гибелью. Это гимн воинствующего оптимизма, заряжающий борцов уверенностью в победе, призывающий к борьбе.

У замечательного этого романа, к слову сказать принятого соотечественниками автора весьма скромно, в России сразу же сложилась удивительная судьба. Как только он был переведен и издан, он был принят на вооружение передовыми русскими революционерами того времени, стал их орудием в борьбе против самодержавия. Книгу эту ценили такие корифеи нашей партии, как Н. К. Крупская, Г. М. Кржижановский, Е. Д. Стасова, Я. М. Свердлов, М. И. Калинин. Книга эта стала любимой и была примером для легендарного Котовского. С ней не расставался Николай Островский. Роман широко издавался и переиздавался в Советском Союзе. Пьеса, созданная на его основе, шла во многих театрах страны. По канве этой книги сделаны два одноименных фильма, написана опера.

Теперь в капиталистическом мире, в том числе и на родине автора, роман «Овод» как бы тщательно обходится и замалчивается. В то же время это произведение является одним из самых популярнейших во всем социалистическом мире, в странах, развивающихся по пути свободы. И объясняется это тем, что роман несет в себе большой революционный заряд, заряд этот имеет огромную покоряющую силу и сам герой его неиссякаемо светит все новым и новым поколениям молодых людей прогрессивного мира.

Быть может, в какой-то степени такая жизнетворность этой книги у нас объясняется и тем, что, работая над ней, автор

вдохновлялся идеалами русской революции, что когда-то, совсем юной, Этель Лилиан Войнич, увлеченная борьбой русских революционеров, уехала в Россию, связалась с революционными кружками тех дней, вдохновлялась их идеями, изучала русский язык, зачитывалась классической русской литературой, дружила с русскими революционерами, и в их числе с Сергеем Степняком-Кравчинским, автором замечательных книг «Подпольная Россия», «Андрей Кожухов», «Домик на Волге». Для нее, девушки из родовитой английской семьи, дочери знаменитого математика Буля, племянницы не менее знаменитого географа, исследователя Гималаев полковника Эвереста, имя которого присвоено самой высокой вершине Гималайского хребта, поездка в царскую Россию была своего рода подвигом.

Мне посчастливилось познакомиться с Этель Лилиан Войнич в ее глубокой старости. Она жила в Нью-Йорке, в крохотной квартирке огромного доходного дома. Жила на средства библиотекаря Н. Нилл, бывшей когда-то сироткой, которую Войнич пригрела и удочерила.

Писательнице был уже 91 год. Но при этом она сохраняла хорошую память и ясный ум. С великой любовью вспоминала она о годах, проведенных в России, вспоминала русских революционеров, русские книги. Самое удивительное то, что она даже не подозревала, какой славой пользуются ее книги далеко за океаном. Это оказалось для нее ошеломляющей новостью. Новостью, в которую она не сразу даже и поверила, да и, пожалуй, в течение первой нашей беседы и не поверила вовсе.

Через два года я посетил ее снова и увидел, что стены ее маленькой, как спичечный коробок, гостиной сверху и донизу заполнены книгами, книгами на языках всех народов социалистического мира, а к двери кнопками была прикреплена афиша оперы Спадевеккиа «Овод».

— Вот теперь я вам верю,— сказала Этель Лилиан, показывая рукой на эти свои богатства.— Теперь благодаря советским читателям я стала богатой женщиной и могу позволить себе попутешествовать. Но годы, годы...

Уже прощаясь, она сказала:

— Ах, как бы я хотела побывать у вас в Ро... в Союзе Советов. Это самая большая моя мечта!

Но не сбылась эта ее мечта. Не рискнула она подняться в столь дальнюю дорогу. Ей шел уже 94-й год. Так и не привелось ей повидать страну, где она побывала в юности и где вдали от нее столь прочно жила и живет ее литературная слава. Она умерла в 96 лет, умерла убежденным другом Советского Союза.

Вот, пожалуй, и все, что хотелось бы мне рассказать вам, юные читатели, о двух таких разных, удивительных книгах, живущих под общей «крышей» этого толстого тома, который вы сейчас держите в руках.

Ну, а теперь раскрывайте книгу и отправляйтесь в увлекательнейшее путешествие. Мне хочется, чтобы вы прошли по страницам этих книг с тем же волнением, с каким в вашем возрасте проходил по ним и я, и чтобы герои этих книг стали вашими спутниками и друзьями на всю жизнь.

Борис Полевой

Г. БИЧЕР-СТОУ

Хижина дяди Тома

Роман

Beecher-Stow H.

Uncle Tom's cabin

1852

Перевод Н. Волжиной

Послесловие А. Завадье

Глава I,

В КОТОРОЙ ЧИТАТЕЛЬ ЗНАКОМИТСЯ С «ГУМАННЫМ» ЧЕЛОВЕКОМ

Однажды холодным февральским днем двое джентльменов сидели за бутылкой вина в богато убранной столовой в городе П., штат Кентукки[1]. Прислуги в комнате не было, и они, близко придвинувшись друг к другу, обсуждали какое-то, по-видимому, очень важное дело.

Удобства ради мы назвали их обоих джентльменами. Однако, строго говоря, один из них не совсем подходил под это определение. Он был невысокого роста, плотный, с грубыми чертами лица, а его развязный тон выдавал в нем человека низкого звания, который старается во что бы то ни стало пролезть в высшие круги общества. Одет он был крикливо. Пестрый жилет и лихо завязанный синий шейный платок в

---

[1] Объяснение слов см. в комментариях.

веселенькую желтую крапинку как нельзя более соответствовали его общему облику. Пальцы — толстые, заскорузлые — были унизаны перстнями, на массивной золотой цепочке от часов висела целая связка больших разноцветных брелоков, которыми он в пылу беседы самодовольно поигрывал и бренчал.

Речь этого человека не отличалась изысканностью и была уснащена такими грубыми словечками, что, несмотря на все наше стремление к точности, мы не будем приводить их здесь.

Его собеседник, мистер Шелби, производил впечатление истинного джентльмена, а убранство и весь тон дома свидетельствовали о том, что хозяева его не только не стесняются в средствах, но живут на широкую ногу. Как мы уже упомянули, мужчины, сидевшие за столом, были заняты серьезным разговором.

— Мне бы хотелось уладить наше дело именно так,— сказал мистер Шелби.

— Нет, я вижу, мы с вами никогда не сторгуемся! Не могу, мистер Шелби, решительно не могу,— сказал его гость, рассматривая рюмку с коньяком на свет.

— Позвольте, Гейли! Том стóит таких денег. Это незаурядный негр: надежный, честный, смышленый. Под его присмотром хозяйство у меня идет как часы.

— Честный, да честность-то негритянская! — усмехнулся Гейли, подливая себе коньяку.

— Нет! Честный без всяких оговорок. Том добрый, разумный, набожный негр. Он был принят в лоно церкви четыре года назад, и с тех пор я доверяю ему всё: деньги, дом, лошадей. Он у меня повсюду разъезжает один, и мне еще никогда не приходилось сомневаться в его порядочности и преданности.

— Многие толкуют, будто набожных негров вовсе не бывает на свете, а на мой взгляд, это неверно,— сказал Гейли в припадке откровенности и широко повел рукой.— В последней партии, которую я отвез в Орлеан нынешний год, был один негр. Вот гимны* распевал — просто заслушаешься! Как на молитвенном собрании! И такой покладистый, тихий... Я на нем неплохо заработал. Купил его по дешевке у одного человека, которому волей-неволей пришлось спускать все свое добро, и чистой прибыли у меня оказалось шестьсот долларов. Да что и говорить! Набожность, если только это неподдельный товар,— вещь, ценная в негре.

— Можете быть уверены, что у Тома это товар настоящий,— сказал мистер Шелби.— Да вот, посудите сами: прошлой осенью я послал его в Цинциннати по одному делу. Он должен был доставить мне оттуда пятьсот долларов. Говорю ему: «Том! Доверяю тебе, как христианину. Я знаю, что ты не обманешь

своего хозяина». И он вернулся домой, в чем я ни минуты не сомневался. Нашлись низкие люди, которые подговаривали его: «Том, бежал бы ты в Канаду!*» — «Нет, не могу,— ответил Том,— хозяин мне верит». Я только потом об этом узнал. Откровенно говоря, мне очень жаль расставаться с Томом. Он должен пойти в уплату всего моего долга, и вы так бы и посчитали, Гейли, будь в вас хоть капля совести.

— Совести во мне столько, сколько полагается нашему брату коммерсанту, то есть самая малость,— отшутился тот.— А друзьям я всегда готов услужить чем могу. Но вы слишком уж многого от меня захотели... слишком многого! — Он сокрушенно вздохнул и снова подлил себе коньяку.

— Так что же вы предлагаете, Гейли? — спросил мистер Шелби после неловкого молчания.

— А не найдется ли у вас какого-нибудь мальчишки или девчонки в придачу к Тому?

— Гм!.. Нет, лишних не найдется. И вообще только крайняя необходимость вынуждает меня на такую сделку. Мне очень неприятно продавать моих негров.

В эту минуту дверь открылась, и в столовую вошел очаровательный мальчик-квартерон* лет трех — пяти. Во всем его облике было что-то необычайно милое. Тонкие черные волосы обрамляли шелковистыми локонами круглое, в ямочках лицо; большие, полные огня темные глаза с любопытством посматривали по сторонам из-под пушистых длинных ресниц. Нарядное, ладно сидевшее на нем платьице из красно-желтой шотландки выгодно подчеркивало его яркую внешность, а забавная уверенность манер, сквозь которую все же пробивалась робость, свидетельствовала о том, что он привык ко всеобщему вниманию и баловству.

— Эй ты, черномазый! — сказал мистер Шелби и, свистнув, бросил мальчику веточку винограда.— Лови!

Тот со всех ног кинулся за подачкой под громкий смех хозяина.

— Поди сюда, черномазый,— скомандовал мистер Шелби.

Мальчик подбежал на зов, и хозяин погладил его по кудрявой головке и пощекотал ему подбородок.

— Ну-ка, покажи джентльмену, как ты умеешь петь и плясать.

Мальчик затянул звучным, чистым голоском капризную негритянскую мелодию, сопровождая ее забавными и очень ритмичными движениями рук, ног и всего тела.

— Браво! — крикнул Гейли, бросая ему дольку апельсина.

— А теперь покажи, как ходит дядюшка Каджо, когда у него разыграется ревматизм,— сказал мистер Шелби.

Гибкое тело мальчика мгновенно преобразилось: он сгорбился, скорчил унылую гримасу и, схватив хозяйскую трость, по-стариковски заковылял из угла в угол, то и дело сплевывая направо и налево.

Оба джентльмена громко рассмеялись.

— А теперь, черномазый, изобрази дедушку Элдера Робинса. Ну, как он поет псалмы?

Пухлая мордочка малыша вытянулась, и он с необычайной серьезностью затянул гнусавым голосом молитвенную мелодию.

— Браво, браво! Ну и молодец! — воскликнул Гейли.— Этот мальчишка далеко пойдет. А знаете что? — Он вдруг хлопнул мистера Шелби по плечу.— Подбросьте его мне в придачу к Тому — и дело с концом! Тогда все будет по-справедливому.

При этих словах дверь бесшумно отворилась, и в комнату вошла молодая — лет двадцати пяти — квартеронка.

Достаточно было перевести взгляд с этой женщины на мальчика, чтобы признать в ней его мать. Те же большие темные глаза с длинными ресницами, тот же волнистый шелк черных кудрей.

— Ты что, Элиза? — спросил хозяин, когда она остановилась и нерешительно взглянула на него.

— Простите, сэр, я ищу Гарри.

Мальчик подбежал к матери, показывая ей свою добычу, собранную в подол платьица.

— Вот он, можешь увести его отсюда,— сказал мистер Шелби.

Она подхватила ребенка на руки и быстро вышла из комнаты.

— Черт возьми! — с восхищением воскликнул работорговец, поворачиваясь к мистеру Шелби.— Да на такой красавице в Орлеане состояние нажить можно! У меня на глазах по тысяче долларов платили за женщин, которые были ничуть не лучше вашей.

— Я не собираюсь наживаться на Элизе,— сухо сказал мистер Шелби и, чтобы переменить тему разговора, откупорил новую бутылку вина и спросил Гейли, как оно ему нравится.

— Отменное, сэр! Первый сорт! — ответил работорговец, потом фамильярно похлопал мистера Шелби по плечу и добавил: — Ну, сколько вы хотите за эту красотку? Сторгуемся? Какая ваша цена?

— Она не продается, мистер Гейли,— сказал тот.— Оцените ее хоть на вес золота, моя жена все равно с ней не расстанется.

— Э-э, женщины всегда так говорят, потому что не знают цены золоту! А покажите им, сколько можно купить на такие деньги часиков, страусовых перьев и всяких там безделушек, и они сразу пойдут на попятный.

— Об этом даже и говорить не стоит, Гейли. Я сказал нет, значит; нет,— твердо ответил Шелби.

— Ну, хоть мальчишку-то отдайте,— настаивал работорговец.— Сами видите, я за ценой не стою.

— Да зачем он вам понадобился? — воскликнул Шелби.

— А у меня есть один приятель, который занимается скупкой смазливых мальчишек. Подрастет такой красавчик, он его и продаст на рынке. Это, конечно, предмет роскоши, их больше берут в лакеи. Товар дорогой, только богачам по карману. Зато какое украшение для ваших хором, когда красивый лакей и дверь открывает и за столом прислуживает! На них можно хорошо заработать, а этот чертенок к тому же такой шустрый да голосистый — самый что ни на есть лучший товар.

— Мне бы не хотелось его продавать,— задумчиво сказал мистер Шелби.— Дело в том, сэр, что, будучи человеком гуманным, я не могу отнимать ребенка у матери, сэр.

— Вот оно что! Да, я вас понимаю. С женщинами иной раз лучше не связываться. Пойдут слезы, вопли — неприятно! Очень даже неприятно! Но у меня, сэр, дело поставлено так, что обходится без этого. Отправьте-ка вы ее куда-нибудь на денек, а то и на недельку, и все обойдется тихо, спокойно. Вернется домой, а дело уж сделано. Ваша супруга подарит ей сережки, или новое платье, или еще какую-нибудь мелочь, вот она и утешится.

— Боюсь, что нет.

— Да будет вам! Не равняйте вы негров с белыми. Если правильно браться за дело, с них мигом все скатывает. Некоторые говорят...— доверительно понизив голос, продолжал Гейли,— некоторые говорят, будто на нашей работе черствеешь душой. Что касается меня, так это неправда. Ведь многие что делают? Вырвут ребенка у матери из рук и выставляют его на продажу, а она тут же криком кричит. Я так не могу. Разве это дело? Одна порча товара. После этого некоторые женщины и работать не могут. Помню, была одна в Орлеане — писаная красавица, так ее просто загубили таким обращением. Покупатель брал только одну мать, без ребенка, а она горячая была, настоящий порох. Вцепилась в своего малыша, несет невесть что, бьется. Даже вспомнить страшно! В конце концов мальчишку отняли, а ее посадили под замок. Ну, тут она вовсе рехнулась, а через неделю померла. Тысяча долларов — брошенные деньги, а почему? Потому что не умеют обращаться с таким товаром. Нет, сэр, добром скорее возьмешь. Это я по собственному опыту знаю.— Работорговец откинулся на спинку стула и с добродетельным видом скрестил руки на груди.

Разговор этот, по-видимому, представлял для Гейли немалый

интерес. Не дождавшись ответа от мистера Шелби, который в раздумье чистил апельсин, он заговорил снова, будто не в силах противостоять стремлению к истине, побуждавшему его добавить еще несколько слов:

— Расхваливать самого себя не годится, но что верно, то верно. Недаром про Гейли идет такая слава, будто у него что ни партия, то все негры как на подбор: сытые, гладкие, молодец к молодцу. И мрут меньше, чем у других. Вот что значит умело вести дела, сэр! У меня, сэр, все строится на гуманном обращении!

Мистер Шелби не нашелся что ответить на это и ограничился одним:

— Вот как?

— Меня, сэр, поднимали на смех, убеждали всячески. Что поделаешь, такие взгляды вещь редкая, но я, сэр, твердо их придерживаюсь, и, могу сказать, они еще ни разу меня не подвели.— И работорговец захохотал, весьма довольный собой.

Такое понимание принципов гуманности было настолько своеобразно и неожиданно, что мистер Шелби не мог не рассмеяться за компанию со своим гостем. Это еще более подзадорило Гейли, и он продолжал:

— Странное дело! Сколько я ни пытался вдолбить это людям в голову — все попусту. Взять хотя бы моего прежнего компаньона, Тома Локкера из Натчеза. Ведь неглупый был парень, а с неграми — сущий дьявол! И все из принципа, потому что на самом-то деле Том добрейшей души человек. Такая у него, видите ли, была система. Я, бывало, говорю ему: «Том! Если твои девчонки плачут-разливаются, какой смысл кричать на них и хлестать их бичом? Ничему это не поможет. Пусть, говорю, ревут на здоровье. Природа! Тут уж ничего не поделаешь. Гони природу в дверь, она войдет в окно. Кроме того, побои им только во вред — дурнеют они от этого. Ты бы лучше как-нибудь умаслил их, поговорил с ними поласковей. Подпусти немножко гуманности — жалеть не будешь, помяни мое слово. Это куда лучше действует, чем ругань да колотушки, и со временем всегда окупается, верно тебе говорю». Да разве ему вдолбишь! Столько перепортил товара, что пришлось мне с ним расстаться. А жаль, добрейшей души был человек и в делах смыслил.

— Следовательно, вы полагаете, что ваш способ ведения дел имеет некоторые преимущества по сравнению со способом Тома? — спросил мистер Шелби.

— Смею так думать, сэр. Была бы только возможность, а я всегда готов как-нибудь сгладить неприятные стороны нашего ремесла. Например, продажу ребят. Отправлю мать куда-

нибудь, чтобы не мешала,— ведь вы сами знаете: с глаз долой, из сердца вон,— а когда дело сделано и назад его не повернешь, она волей-неволей свыкается. Ведь это не белые, которые сызмальства знают, что жена должна жить при муже, а дети — при родителях. Негр на это и не надеется — если, конечно, его правильно воспитать,— значит, он и разлуку переносит легче.

— В таком случае, боюсь, что мои воспитаны неправильно,— сказал мистер Шелби.

— Может статься. У вас в Кентукки портят негров. Вы с ними по-доброму, а им эта доброта боком выходит. Сами посудите: какая у негра судьба? Мыкаться по белу свету, переходить из рук в руки. А вы носитесь с ним, всячески его ублажаете. Глядишь, он и размечтался не по чину. Каково ему потом придется? Я даже так скажу: на тех плантациях, где другие негры горланят песни да гогочут, словно одержимые, ваши негры чахнут. Мы все, мистер Шелби, думаем, что поступаем правильно, и, по-моему, я со своими неграми обращаюсь, как они того заслуживают.

— Завидная уверенность! — Мистер Шелби чуть заметно пожал плечами, явно испытывая чувство отвращения от таких разглагольствований.

— Ну-с,— спросил Гейли после долгой паузы, во время которой они оба щелкали орехи,— как же вы решите?

— Я подумаю и поговорю с женой,— ответил Шелби.— И вот вам мой совет, Гейли: если вы хотите уладить это дело как можно тише, никому ничего не рассказывайте. Не то поползут слухи, и тогда не оберешься хлопот. Увезти кого-нибудь из моих негров не так просто, как вам кажется.

— Ну конечно! Молчок, молчок! Но мне все-таки хочется поскорее покончить с этим делом — уж очень я тороплюсь,— сказал Гейли, поднимаясь со стула и надевая пальто.

— Хорошо, зайдите сегодня вечером часов в шесть-семь, и я дам вам окончательный ответ,— сказал мистер Шелби.

И работорговец с поклоном вышел из комнаты.

— С каким удовольствием спустил бы я этого самоуверенного наглеца с лестницы! — пробормотал мистер Шелби, как только Гейли закрыл за собой дверь.— Но он знает, что преимущества на его стороне. Если бы мне кто сказал раньше, что я когда-нибудь продам Тома одному из этих гнусных работорговцев, я бы ответил: «Разве твой слуга пес, что ты так поступаешь с ним?» А теперь, видно, ничего другого не придумаешь. И мальчуган Элизы... Предвижу, какой у меня будет из-за него неприятный разговор с женой — из-за него и Тома. Н-да, вот что значит влезть в долги. Этот субъект прекрасно знает, что я у него в руках, и не упустит случая прижать меня.

...Самые мягкие формы рабства можно наблюдать, пожалуй, в штате Кентукки. Те, кому приходилось посещать кентуккийские поместья и видеть благодушное отношение тамошних хозяев и хозяек к невольникам, а также горячую преданность некоторых невольников своим господам, может статься, поверят поэтической легенде о «патриархальном» укладе жизни в тех местах и тому подобным сказкам. Но на самом деле эти отношения омрачает зловещая тень — тень з а к о н а. Покуда в свете закона эти человеческие существа, наделенные сердцем и способностью чувствовать, не перестанут быть в е щ а м и, собственностью того или иного владельца, покуда разорение, какое-нибудь несчастье, промах в делах или смерть доброго хозяина будут обрекать их на горе и непосильный труд, до тех пор вы не найдете в рабстве, даже там, где оно обходится без жестокостей, ни одной хорошей, ни одной хоть сколько-нибудь привлекательной черты.

Мистер Шелби принадлежал к тому типу людей, каких немало на белом свете. Он был добродушен, мягок, снисходителен к окружающим, и его негры не могли пожаловаться на тяжелую жизнь. Однако за последнее время Шелби много и довольно безрассудно играл на бирже, наделал долгов, и теперь его векселя, выданные на крупные суммы, попали в руки Гейли. Эта небольшая справка должна служить ключом к предыдущему разговору.

Что касается Элизы, то, подойдя к дверям столовой, она уловила несколько слов, из которых ей легко было заключить, что гость — работорговец и хочет купить кого-то у ее хозяина.

Выйдя в коридор, она хотела подслушать их дальнейшую беседу, но ей пришлось поспешить на зов хозяйки. И все же Элиза была почти уверена, что работорговец предложил мистеру Шелби продать ему ее сына. Неужели это ей только послышалось? Сердце замерло у нее в груди, потом бешено заколотилось, и она так крепко прижала к себе Гарри, что мальчик с удивлением посмотрел ей в лицо.

— Милочка, что с тобой сегодня? — спросила Элизу миссис Шелби, когда та опрокинула умывальный кувшин, уронила рабочую корзинку и, наконец, сама того не замечая, подала хозяйке длинную ночную сорочку вместо шелкового платья, которое ей было приказано достать из гардероба.

Элиза вздрогнула.

— О миссис! — проговорила она, подняв на хозяйку глаза, потом расплакалась и, всхлипывая, упала в кресло.

— Элиза, милая! Что случилось? — воскликнула миссис Шелби.

— О миссис, миссис! К хозяину пришел работорговец, они сидят в столовой и разговаривают. Я сама слышала.

— Вот дурочка! Ну и что же из этого?

— Миссис! Неужели хозяин продаст моего Гарри? — И бедняжка откинулась на спинку кресла, не в силах сдержать судорожные рыдания.

— Продаст Гарри? Какие глупости! Будто ты не знаешь, что твой хозяин не ведет никаких дел с южными работорговцами и не продает своих слуг, разве только они выйдут из повиновения. Вот дурочка! Да кто захочет купить твоего Гарри? Ах ты глупенькая! Сама в нем души не чаешь и думаешь, что все от него в таком же восторге. Ну, перестань плакать и застегни мне платье... Вот так! А теперь уложи мне волосы, заплети их в косы, как я тебя учила, и не смей больше подслушивать под дверями.

— Миссис, а вы не дадите своего согласия, если, если...

— Какой вздор! Разумеется, нет! Что это за разговоры! Ведь не стала бы я продавать своих детей! И твоего тоже не продам. Нет, в самом деле, Элиза, ты уж слишком высокого мнения о Гарри! Стоит только человеку переступить порог, и тебе уж кажется, что он пришел покупать твоего малыша.

Успокоенная уверенным тоном хозяйки, Элиза ловко и проворно одела ее, посмеиваясь над своими недавними страхами.

Миссис Шелби была женщина незаурядная, наделенная большим умом и добрым сердцем. Доброта и великодушие подкреплялись в ней религиозностью и твердостью убеждений, которым она неукоснительно следовала в жизни. Мистер Шелби, человек равнодушный к вопросам религии, тем не менее уважал и ценил твердость взглядов жены и, пожалуй, даже немного побаивался ее. Он не мешал ей заботиться о слугах, учить их, наставлять добру, хотя сам не принимал в этом никакого участия. Ему, видимо, думалось, что набожности и доброты жены хватит с избытком на них обоих.

После разговора с работорговцем его больше всего угнетала мысль, как сообщить жене о заключенной сделке и как отразить горячие возражения и настойчивые просьбы, которые он, несомненно, встретит с ее стороны.

Миссис Шелби не подозревала о денежных затруднениях мужа и, полагаясь только на мягкость его характера, вполне искренне отмела подозрения Элизы. Больше того: этот разговор даже не заставил ее призадуматься, и, готовясь к поездке в гости, она ни разу не вспомнила о нем.

Глава II

МАТЬ

Элиза с малых лет воспитывалась у своей хозяйки, которая очень любила и баловала ее.

Путешественники, попавшие в Южные штаты Америки, вероятно, подмечали своеобразное изящество, мягкость голоса и манер, присущие многим квартеронкам и мулаткам*. В квартеронках эти природные качества к тому же часто сочетаются с ослепительной красотой и обаятельностью.

Когда Элиза стала взрослой девушкой, миссис Шелби выдала ее замуж за наделенного недюжинными способностями молодого мулата, по имени Джордж Гаррис, раба из соседнего поместья.

Хозяин отдал этого молодого человека на фабрику мешковины, где природный ум и находчивость помогли Джорджу выдвинуться на первое место среди рабочих. Он изобрел машину для трепания конопли, что при отсутствии выучки у изобретателя свидетельствовало о его большом таланте.

Своей привлекательной внешностью и обходительностью Джордж завоевал всеобщую любовь на фабрике. Но поскольку перед лицом закона этот одаренный молодой мулат был не человеком, а всего лишь вещью, он находился во власти грубого, ограниченного и деспотического хозяина. Услышав об изобретении Джорджа, принесшем ему такую славу, сей джентльмен отправился посмотреть на своего умного раба. Владелец фабрики принял его с распростертыми объятиями и поздравил с тем, что ему принадлежит такой ценный невольник.

Мистера Гарриса провели по всей фабрике. Джордж с гордостью показал ему свою машину и держался так свободно и так поразил хозяина своей красотой и мужественностью, что тот не мог не почувствовать собственного ничтожества. Как смеет его раб беспрепятственно всюду разгуливать, изобретать какие-то машины и на правах равного беседовать с господами! Надо положить этому конец. Взять его отсюда немедленно, поставить на полевые работы, и тогда посмотрим, будет ли он по-прежнему задирать нос!

Представьте же себе удивление фабриканта и всех, кто работал с Джорджем, когда хозяин вдруг потребовал причитающееся мулату жалованье и заявил о своем намерении увезти его домой!

— Как же так, мистер Гаррис? — запротестовал фабрикант.— Для нас это полная неожиданность!

— Ну и что ж такого? Ведь он принадлежит мне!

— Мы готовы увеличить ему жалованье, сэр.

— Дело не в этом, сэр. У меня нет никакой необходимости посылать своих людей работать на стороне.

— Но, сэр, он ведь словно создан для этой работы!

— Весьма возможно. А для той, на которую его ставил я, видно, не создан!

— Ведь Джордж изобрел машину! — вмешался в разговор один из мастеров, и весьма некстати.

— Ах, машину! Машину, которая сберегает труд? Кому же еще изобрести такую штуку, как не ему! Уж тут насчет негров можете быть спокойны. Они большие любители сберегать свой труд. Нет, пусть собирается домой.

Джордж в оцепенении слушал, как решалась его судьба по воле человека, противиться которому было невозможно. Он стоял, сложив руки на груди, сжав губы, но в душе его бушевал вулкан, огненной лавой разливавшийся по жилам. Он тяжело дышал, глаза его сверкали, словно раскаленные угли. Еще секунда — и последовал бы взрыв негодования, но доброжелательный фабрикант вовремя тронул его за руку и сказал вполголоса:

— Не спорь, Джордж, уезжай, а потом мы тебя как-нибудь выручим.

Это не ускользнуло от внимания деспота; он понял, о чем идет речь, даже не разобрав слов, и решил во что бы то ни стало проявить хозяйскую власть над своей жертвой.

Джорджа увезли домой и определили на самую черную работу. Он молчал, он не проронил ни одного непочтительного слова, но его сверкающие глаза и беспокойно нахмуренный лоб говорили сами за себя и служили неоспоримым доказательством того, что человека нельзя сделать вещью.

Элиза встретилась с Джорджем и стала его женой в те счастливые времена, когда он работал на фабрике. Фабрикант благоволил к Джорджу и предоставлял ему полную свободу. Миссис Шелби со свойственной женщинам страстью к сватовству всецело одобряла этот брак, радуясь, что ее хорошенькая любимица нашла себе такую подходящую пару. Их обвенчали в парадной гостиной Шелби. Хозяйка сама убрала пышные волосы невесты флёрдоранжем и накинула на нее подвенечную фату, которой вряд ли когда-нибудь приходилось украшать более очаровательную головку. На этом торжестве не было недостатка ни в белых перчатках, ни в тортах, ни в вине, ни в гостях, превозносивших и невесту и хозяйку, осыпа́вшую ее своими милостями.

Первые два года Элиза часто виделась с мужем, и счастье их нарушила только смерть двух маладенцев, которых она горячо любила и оплакивала так горько, что миссис Шелби даже

мягко журила ее за это, с чисто материнской заботливостью стараясь обуздать страстную натуру молодой женщины и наставить ее на путь разума и покорности воле божией.

Однако после рождения Гарри Элиза постепенно утешилась и нашла душевный покой. Ее измученное сердце раскрылось навстречу этому крохотному существу, раны зажили, и она снова обрела счастье, длившееся до тех пор, пока ее мужа не увели насильно с фабрики и не вернули на ферму, под власть его законного владельца.

Недели через две после ухода Джорджа фабрикант, верный своему слову, посетил мистера Гарриса в надежде, что тот перестал гневаться, и, не скупясь на доводы, пытался уговорить его отпустить молодого мулата на прежнюю работу.

— Не тратьте лишних слов,— упрямо ответил мистер Гаррис.— Я сам умею вести свои дела, сэр.

— Боже меня упаси в них вмешиваться, сэр! Я только думаю, что в ваших же интересах отпустить к нам Джорджа на тех условиях, которые мы вам предлагаем.

— Я прекрасно вас понимаю! Думаете, никто не заметил, как вы тогда переглядывались и перешептывались? Меня не проведешь, сэр! Мы живем в свободной стране, сэр! Джордж принадлежит мне, и я волен делать с ним что угодно. Вот так-то!

Последняя надежда Джорджа угасла. Впереди его ждала жизнь, полная нудного, непосильного труда, отягченная вдобавок всеми мелкими придирками и унижениями, какие только может измыслить озлобившийся деспот.

Глава III

МУЖ И ОТЕЦ

Миссис Шелби уехала в гости. Стоя на веранде, Элиза унылым взглядом провожала удаляющуюся коляску, как вдруг плеча ее коснулась чья-то рука. Она быстро повернула голову, и ее красивые глаза радостно вспыхнули:

— Это ты меня напугал, Джордж! Как я рада тебе! Миссис уехала до вечера. Пойдем ко мне и поговорим на свободе.

С этими словами Элиза провела Джорджа в соседнюю с верандой маленькую, чисто прибранную комнатку, где она обычно занималась шитьем и всегда могла услышать зов хозяйки.

— Как я рада! Что же ты не улыбнешься? Посмотри на Гарри — правда, он вырос? (Мальчик стоял рядом, цепляясь за материнскую юбку, и застенчиво поглядывал на отца из-под

спутанных кудрей.) И такой стал красавчик! — Элиза откинула сыну волосы со лба и поцеловала его.

— Лучше бы ему не родиться на свет божий! — с горечью воскликнул Джордж.— И ему и мне!

Удивленная и напуганная такими словами, Элиза опустилась на стул, прижалась головой к плечу мужа и залилась слезами.

— Не надо, Элиза! Прости, что я тебя огорчаю, бедняжка моя! — нежно сказал он.— Прости... Зачем мы с тобой встретились! С другим ты была бы счастлива...

— Джордж, Джордж! Как ты можешь так говорить? Что случилось? Ведь до сих пор мы были счастливы.

— Да, мы были счастливы, дорогая,— сказал Джордж. Потом, посадив Гарри на колени, он пристально посмотрел в прекрасные темные глаза мальчика и обеими руками провел по его длинным кудрям.— Вылитая мать! А ты, Элиза, красивее и лучше всех женщин на свете! Но зачем мы с тобой узнали друг друга!

— Не надо так говорить, Джордж!

— Что нас ждет, Элиза? Несчастье, одно несчастье! Моя жизнь горше полыни. Я гибну. Я жалкий, несчастный раб, который и тебя потянет за собой на дно. Какой смысл стремиться к чему-то, добиваться знаний? Какой смысл жить? Поскорее бы лечь в могилу — и всё!

— Это грешно, Джордж! Я знаю, как тебе было тяжело расстаться с фабрикой, и хозяин у тебя жестокий, но потерпи, может быть...

— «Потерпи»? — перебил ее Джордж.— Разве я мало терпел? Разве я сказал хоть слово, когда он ни с того ни с сего взял меня с фабрики, где все были так добры ко мне? Весь мой заработок шел ему, до последнего цента, и никто не скажет, что я плохо работал.

— Да, это ужасно... Но ведь он как-никак твой хозяин.

— Мой хозяин! А кто его поставил надо мной хозяином? Вот что нейдет у меня из ума. Какое он имеет право распоряжаться мной? Я такой же человек, как он. Нет, не такой, а лучше! Я больше его смыслю в делах. Я читаю быстрее, пишу чище. И всем этим я обязан только самому себе, а никак не хозяину. Я научился грамоте против его воли. Какое же он имеет право превращать меня в ломовую лошадь, отнимать у меня возможность заниматься делом — делом, которое ему не по разуму? Ведь теперешний мой труд под стать только скотине! Он хочет, чтобы я смирился, хочет унизить меня и нарочно посылает на самую тяжелую, самую черную работу.

— Джордж, Джордж! Не пугай меня! Что с тобой? Ты никогда так не говорил! Я боюсь... Ты задумал что-то страш-

ное... Я все понимаю, но сдержи себя ради меня... ради Гарри!

— Я долго сдерживался и долго терпел, но мне тяжелее день ото дня. Сил человеческих нет выносить такую жизнь! Он не упускает случая, чтобы оскорбить меня, поиздеваться надо мной. Мне думалось так: хорошо, буду работать, буду молчать, а свободное время употреблю на занятия, на чтение книг. Но он видит, что я справляюсь с работой, и подбавляет все больше и больше. «Хоть ты и молчишь, говорит, а в тебе сидит дьявол, и этого дьявола надо вывести на чистую воду». Ну, что ж, недалек тот день, когда мой дьявол сорвется с цепи, да только он об этом первый пожалеет!

— О господи! Что же нам делать? — с тоской проговорила Элиза.

— Вот, например, вчера,— продолжал Джордж.— Я грузил камни на телегу, а сын хозяина, молодой мистер Том, стоит рядом и щелкает плетью. Лошадь шарахается. Я попросил его перестать, вежливо попросил — ничего не помогает. Опять прошу, и вдруг он давай меня хлестать! Я удержал его за руку, а он закричал, начал лягаться и кинулся к отцу с жалобой, будто я его ударил. Тот разъярился: «Сейчас ты узнаешь, кто твой хозяин!» Привязал меня к дереву, наломал прутьев и говорит мистеру Тому: «Бей его, пока не устанешь». А тот рад стараться... Когда-нибудь припомнят они этот день! — Молодой мулат нахмурился и так сверкнул глазами, что его жена испуганно вздрогнула.— Кто поставил надо мной этого человека — вот что я хочу знать!

— А я...— грустно проговорила Элиза,— я всегда думала, что должна во всем повиноваться своим хозяевам.

— Ты — другое дело. Они растили тебя, как собственного ребенка, кормили, одевали, баловали, обучали грамоте. Это дает им какие-то права. А ведь я знал одни побои, одни колотушки и брань и радовался, когда обо мне забывали. Я своему хозяину ничего не должен. Он получил сполна за мое содержание, получил в сто раз больше, чем следовало. Нет, довольно терпеть! Довольно! — воскликнул Джордж, сжимая кулаки.

Элиза молчала. Таким ей еще никогда не приходилось видеть мужа, и ее понятие долга клонилось, точно тростник, под напором его гнева.

— А твой подарок — бедный маленький Карло! — снова заговорил Джордж.— Эта собачонка была моим единственным утешением. Карло спал со мной, днем не отходил от меня ни на шаг, а глаза какие были умные, словно все понимает. Так вот. На днях я собрал у кухни разных объедков и кормлю его, а хозяин увидел и говорит: «За мой счет кормишь! Если все

мои негры заведут себе собак, это мне не по карману будет». Велел привязать ему камень на шею и утопить в пруду.

— Джордж! И ты согласился?

— Я? Как бы не так! Впрочем, все обошлось без меня. Они с Томом бросили несчастного Карло в воду и закидали его камнями, а он так жалобно на меня смотрел, будто спрашивал: «Что же ты не спасаешь?..» Опять меня били — за то, что отказался топить. А, пускай бьют! Когда-нибудь хозяин поймет, что таких, как я, палкой не смиришь. И пусть остерегается, не то ему плохо придется!

— Что ты задумал, Джордж? Не бери греха на душу! Положись на господа бога, и он избавит тебя от мучений.

— Я не такой добрый христианин, как ты, Элиза. Мое сердце полно злобы. Я не могу положиться на бога, если он допускает такую несправедливость.

— Нельзя терять веру, Джордж! Моя хозяйка говорит — даже в самые тяжелые дни мы должны верить, что господь делает все нам во благо.

— Хорошо так говорить людям, которые нежатся на мягких диванах и разъезжают в каретах! На моем месте они запели бы другую песенку. Я бы рад быть хорошим, добрым, да не выходит. Сердце во мне горит, не могу смириться. И ты не смиришься, когда я скажу тебе то, что надо сказать. Ты еще всего не знаешь.

— Боже мой! О чем ты?

— А вот о чем. Последнее время хозяин несколько раз толковал, будто бы напрасно он позволил мне взять жену на стороне, что мистер Шелби и все его друзья ему ненавистны — они гордецы и не хотят с ним знаться, а я будто бы набрался гордости от тебя. Он грозил, что не будет больше отпускать меня сюда, а женит на ком-нибудь из наших. Я сначала принимал это за пустые угрозы, но вчера он приказал мне взять в жены Мину и перебраться к ней в хижину, а если я не соглашусь, он продаст меня на Юг.

— Да ведь ты обвенчан со мной, нас венчал священник, как белых! — простодушно сказала Элиза.

— А разве ты не знаешь, что раб не может жениться? В нашей стране закон его не защищает. Если хозяин захочет разлучить нас, мне тебя не удержать. Вот почему я говорю: зачем мы встретились, зачем я родился на свет божий! Нам с тобой и нашему несчастному ребенку было бы лучше вовсе не родиться. Может быть, и его ждет та же участь!

— Ну что ты! Мой хозяин такой добрый!

— Да, но кто знает, как все сложится дальше? Он может умереть, и тогда Гарри продадут. Какая нам радость, что сын

у нас такой красивый и умненький? Говорю тебе, Элиза, каждая минута счастья, которую дает тебе ребенок, отольется потом слезами. Нам не сберечь такое сокровище...

Эти слова поразили Элизу в самое сердце. Перед ее мысленным взором встал работорговец. Бледная, еле переводя дыхание, она выглянула на веранду, куда убежал ее сын, которому наскучили серьезные разговоры родителей. Сейчас он с торжествующим видом скакал там верхом на трости. Элиза чуть было не рассказала мужу о своих опасениях, но вовремя сдержалась.

«Нет! Довольно с него горя,— подумала она.— Я ничего ему не скажу. Да это всё пустые страхи. Миссис никогда нас не обманывает».

— Так вот, Элиза,— с горечью проговорил Джордж,— кре-пись, моя дорогая... и прощай, я ухожу.

— Уходишь, Джордж? Куда?

— В Канаду,— ответил он, расправляя плечи.— И я тебя выкуплю, как только доберусь туда. Это наша единственная надежда. Твой хозяин добрый, он не откажет мне. Я выкуплю и тебя и сына. Клянусь, что выкуплю!

— Боже мой! А если тебя поймают, Джордж?

— Не поймают. Живым я не дамся. Умру или добьюсь свободы!

— Наложишь на себя руки?

— Это не понадобится. Они сами меня убьют, потому что продать себя на Юг я не позволю.

— Джордж! Не бери греха на душу, хотя бы ради меня! Не губи ни себя, ни других! Искушение велико, но не поддавайся ему. Если ты решил бежать, беги, только будь осторожен! Моли господа, чтобы он помог тебе!

— Подожди, Элиза! Послушай, как я решил. Хозяин послал меня с письмом к мистеру Симзу, который живет за милю отсюда. Он, наверно, рассчитывает, что я зайду к тебе, расскажу обо всем, и радуется — ведь ему лишь бы досадить «этим Шелби». Я вернусь домой печальный, смирный — понимаешь? — будто всему конец. У меня уже почти все готово, есть и люди, которые мне помогут, и через неделю-другую меня хватятся и не найдут. А теперь прощай! — закончил Джордж и, взяв Элизу за руки, долго смотрел ей в глаза.

Они стояли молча. Несколько сказанных напоследок слов, горькие слезы... Так прощаются люди, когда их надежда на новую встречу тоньше паутины. И вот муж и жена расстались.

Глава IV

ВЕЧЕР В ХИЖИНЕ ДЯДИ ТОМА

Дядя Том жил в маленькой бревенчатой хижине, стоявшей возле самого господского дома. Перед хижиной был разбит небольшой садик, где, окруженные всяческой заботой, каждое лето произрастали клубника, малина и много других ягод и овощей. Большие ярко-оранжевые бегонии и ползучие розы, переплетаясь между собой, почти скрывали от глаз бревенчатый фасад хижины. Однолетние ноготки, петунья и вербена тоже находили себе уголок в этом саду и распускались пышным цветом к вящему удовольствию и гордости тетушки Хлои.

А теперь, читатель, войдем в хижину.

Ужин в господском доме закончен, и тетушка Хлоя, которая в качестве главной поварихи руководила его приготовлением, предоставила уборку и мытье посуды младшим кухонным чинам и удалилась в свои собственные уютные владения «покормить старика». Следовательно, вы можете не сомневаться, что это она стоит у очага, наблюдая за сковородкой, на которой что-то шипит, и время от времени с озабоченным видом поднимая крышку кастрюли, откуда несутся запахи, явно свидетельствующие о наличии там чего-то вкусного. Лицо у тетушки Хлои круглое, черное и так лоснится, будто оно смазано яичным белком, как чайные сухарики ее собственного приготовления. Эта пухлая физиономия, увенчанная свеженакрахмаленным клетчатым тюрбаном, сияет спокойной радостью, не лишенной, если уж говорить начистоту, оттенка некоторого самодовольства, как и подобает женщине, заслужившей славу первой кулинарки во всей округе.

Тетушка Хлоя была поварихой по призванию, по сердечной склонности. Завидев ее, каждая курица, каждая индюшка, каждая утка на птичьем дворе впадала в тоску и думала о своей близкой кончине. А тетушка Хлоя действительно была до такой степени поглощена мыслями о всевозможных начинках, о жаренье и паренье, что появление этой женщины не могло не навести ужаса на любую, склонную к размышлению птицу. Ее изделия из маисовой муки — всякие там оладьи, пышки, лепешки и прочее, всего не перечислишь,— представляли собой неразрешимую загадку для менее опытных кулинарок, и у тетушки Хлои только бока ходили от смеха, когда она, полная законной гордости, рассказывала о бесплодных попытках какой-нибудь своей товарки подняться на высоту ее искусства.

Приезд гостей в господский дом, приготовление парадных обедов и ужинов пробуждали все душевные силы тетушки Хлои,

и ничто так не радовало ее глаз, как зрелище дорожных сундуков, горой наваленных на веранде, ибо они предвещали ей новые хлопоты и новые победы.

Но сейчас тетушка Хлоя заглядывает в кастрюлю, и за этим занятием мы и оставим ее до тех пор, пока не дорисуем нашей картины.

В одном углу хижины стоит кровать, аккуратно застеленная белоснежным покрывалом, перед ней — ковер довольно солидных размеров, свидетельствующий о том, что тетушка Хлоя не последний человек в этом мире. И ковер и кровать, возле которой он лежит, и весь этот уголок окружены особым уважением и, по возможности, охраняются от набегов и бесчинств малышей. По сути дела, уголок тетушки Хлои служит гостиной. У другой стены хижины видна еще одна кровать, не столь пышная. Стена над очагом украшена многоцветными литографиями на темы из священного писания и портретом генерала Вашингтона*, исполненным в столь самобытной живописной манере, что сей славный муж был бы немало удивлен, если б ему пришлось увидеть такое свое изображение.

В тот вечер, который мы описываем, на простой деревянной скамье в углу хижины сидели двое курчавых мальчиков с блестящими темными глазами и лоснящимися круглыми рожицами. Они с интересом наблюдали за первыми попытками самостоятельного передвижения крохотной девочки, кои, как это всегда бывает, состояли в том, что она становилась на ноги, секунду пыталась сохранить равновесие и шлепалась на пол, причем каждое ее падение бурно приветствовалось зрителями, как нечто из ряда вон выходящее.

Перед очагом стоял стол, явно страдавший застарелым ревматизмом, на столе была постлана скатерть, а на ней красовались весьма аляповатые чашки, тарелки и другие принадлежности вечерней трапезы. За этим столом сидел лучший работник мистера Шелби, дядя Том, которого мы должны обрисовать читателю с возможно большей полнотой, поскольку он будет главным героем нашей книги. Дядя Том — человек рослый, могучий, широкий в плечах, с лицом умным, добрым и благодушным. Во всем его облике ощущается большое чувство собственного достоинства, доверчивость и душевная простота.

Дядя Том сидел, устремив внимательный взгляд на лежащую перед ним грифельную доску, на которой он медленно и терпеливо выводил буквы под наблюдением мистера Джорджа — веселого, живого мальчика тринадцати лет, несомненно отдающего себе полный отчет в солидности своего положения как наставника.

— Не так, дядя Том, не так,— быстро проговорил Джордж,

увидев, что дядя Том старательно выводит задом наперед букву «Е».— Это получается цифра «3».

— Ах ты господи! Да неужто? — сказал дядя Том, почтительно и восхищенно глядя, как молодой учитель проворно пишет одну за другой букву «Е» и цифру «3» для его вразумления. Потом он взял грифель своими толстыми, грубыми пальцами и все так же терпеливо принялся писать дальше.

— А белые за что ни возьмутся — у них все спорится! — сказала тетушка Хлоя, поднимая вилку с кусочком сала, которым она смазывала сковородку, и с гордостью глядя на молодого хозяина.— Вот уж мастер писать, читать! А как вечер, так к нам — и нас учит. До чего же любопытно, прямо заслушаешься!

— А до чего же я проголодался! — сказал Джордж.— Торт еще не скоро будет готов?

— Скоро, мистер Джордж, скоро,— ответила тетушка Хлоя, приподнимая крышку и заглядывая в кастрюлю.— Ишь как подрумянился — чистое золото! Уж за меня можете быть спокойны. Вот недавно миссис велела Салли испечь торт. Пусть, говорит, учится. А я говорю: «Да ну вас, миссис! Смотреть тошно, когда добро зря переводят. Вы полюбуйтесь, как он у нее поднялся: с одного боку — ни дать ни взять мой башмак. Да ну вас!» — говорю.

Выразив этим последним восклицанием все свое презрение к неопытности Салли, тетушка Хлоя быстро сняла крышку с кастрюли и открыла взорам присутствующих великолепно выпеченный торт, которого не постыдился бы любой городской кондитер. Этот торт, по-видимому, должен был служить главным козырем тетушки Хлои, и теперь она всерьез принялась за приготовление к ужину.

— Моз, Пит! Марш отсюда, черномазые! Полли, душенька моя, подожди немножко, мама свою дочку тоже покормит... Теперь, мистер Джордж, уберите книги, садитесь как следует с моим стариком, а я мигом подам колбасу и наложу вам полные тарелки оладий.

— Меня ждали домой к ужину,— сказал Джордж,— но я не такой простачок — знаю, где лучше.

— Ну, еще бы вам не знать, душенька вы моя! — воскликнула тетушка Хлоя, накладывая ему на тарелку гору оладий.— Ваша старая тетушка всегда вам припасет самый лакомый кусочек... Да ну вас совсем! Еще бы вам не знать! — И с этими словами окончательно развеселившаяся тетушка Хлоя ткнула Джорджа пальцем в бок, после чего снова подскочила к очагу.

— А теперь примемся за торт! — возвестил Джордж, лишь только сковорода прекратила свою бурную деятельность, и

взмахнул большим ножом над сим произведением кулинарного искусства.

— Побойтесь бога, мистер Джордж! — в ужасе воскликнула тетушка Хлоя, хватая его за руку.— Резать мой торт таким огромным ножом! Да вы его сомнете, всю красоту испортите! У меня для этого есть особый ножик — старый, тоненький. Вот, возьмите... Ну что? Точно в пух вошел! Теперь ешьте на здоровье. Лучше этого торта нигде не сыщете.

— А Том Линкен говорит...— с полным ртом забормотал Джордж,— Том Линкен говорит, что их Джинни стряпает лучше тебя.

— Да разве Линкены чего-нибудь стоят по сравнению с нашими хозяевами! — презрительно ответила тетушка Хлоя.— Люди они почтенные, простые, ничего не скажешь, но что касается всяких там премудростей, так где им! Посадите-ка вы мистера Линкена рядом с мистером Шелби! А миссис Линкен? Разве она может войти в гостиную эдакой павой, как моя хозяйка? Да ну вас совсем! Что вы мне рассказываете об этих Линкенах! — И тетушка Хлоя вскинула голову, твердо уверенная в своем знании света.

— Да ты сама говорила, что Джинни неплохая стряпуха! — не унимался Джордж.

— Правильно,— ответила тетушка Хлоя,— я могла так сказать. Джинни умеет стряпать попросту, без затей. Кукурузные лепешки испечет, хлебы поставит, отварит картошку. Оладьи у нее получаются не бог весть какие, но есть можно. Зато уж если надо приготовить что-нибудь позатейливее... Господи помилуй, да разве ей справиться! Она и пироги печет — что верно, то верно,— а какая у них верхняя корочка? Сумеет она замесить тесто, чтобы оно как пух было, во рту таяло? Когда мисс Мэри выдавали замуж, Джинни показала мне, какой она испекла свадебный пирог. Мы с ней подружки, вы сами это знаете, но я и словом не обмолвилась, а сама-то думаю — я бы из-за такого пирога целую неделю глаз не сомкнула. Тоже пирог называется!

— А по-моему, Джинни осталась очень довольна своим пирогом,— сказал Джордж.

— Довольна? Ну, еще бы! Потому она и похвасталась им, что не знает, какие бывают настоящие-то пироги. А что с Джинни спрашивать? Разве она виновата? В таком уж доме живет... Ах, мистер Джордж, цены вы не знаете своей семье и своему воспитанию! — Тетушка Хлоя вздохнула и с чувством закатила глаза.

— Зато я знаю цену нашим пирогам и пудингам,— сказал Джордж.— Спроси Тома Линкена, как я перед ним задираю нос.

Тетушка Хлоя упала на стул и залилась веселым смехом, потешаясь над остроумной шуткой своего молодого хозяина. Слезы катились по ее глянцевитым черным щекам, время от времени она переводила дух, хлопала мистера Джорджа по плечу, тыкала его пальцем в бок, говорила: «Да ну вас совсем, да вы меня уморите, как бог свят, уморите!» — называла его проказником и заливалась все громче, так что Джордж под конец счел свое остроумие крайне опасным и решил впредь шутить с осторожностью.

— Значит, вы ему напрямик так и сказали? Уж эта молодежь, чего она только не придумает! И нос перед ним задираете? Ох, мистер Джордж, вы и мертвого рассмешите!

— Да-да, так напрямик и заявил: «Том, говорю, не мешало бы тебе попробовать пирогов нашей тетушки Хлои. Вот объеденье-то!»

— А правда жалко, что он не пробовал,— сказала тетушка Хлоя, чье доброе сердце сразу разжалобила столь горькая участь Тома.— Пригласите его как-нибудь к обеду, мистер Джордж. С вашей стороны это будет очень хорошо.

— Да я сам хотел позвать Тома как-нибудь на будущей неделе,— сказал Джордж.— А уж ты постарайся, тетушка Хлоя. Пусть удивляется! Мы его так накормим, что он долго не забудет нашего угощения.

— Хорошо, хорошо! — обрадовалась тетушка Хлоя.— Уж я вас не подведу, вот увидите! Каких мы только обедов не давали! Боже ты мой! Помните, я испекла большой-пребольшой пирог с курятиной, когда у нас был генерал Нокс? Мы с миссис в тот день чуть не повздорили. С этими леди иной раз такое начинает твориться, что только руками разводишь. Человек занят важным делом, настроился серьезно, волнуется, а они шагу тебе не дают ступить, во все готовы вмешаться. Вот и моя миссис: то так мне велит, то эдак. Наконец сил моих больше не стало! «Миссис, говорю, поглядите вы на свои белые ручки да на тонкие пальчики все в кольцах. Ни дать ни взять лилии в капельках росы! А у меня вон какие ручищи — словно черные обрубки. Так как же, по-вашему? Кому господь положил печь пироги, а кому сидеть в гостиной?» Вот я как осмелела, мистер Джордж!

— А что мама сказала? — спросил тот.

— Что сказала? Знаете, какие у нее глаза! Большие, красивые. Промелькнула в них усмешка, и, слышу, она говорит: «Хорошо, тетушка Хлоя, пусть будет по-твоему», и ушла к себе в гостиную. Меня бы за такую смелость оттрепать надо, но уж какая я есть, такая и есть — не люблю, когда мне мешают на кухне.

— А тот обед удался на славу, я помню, как его все похваливали,— сказал Джордж.

— Похваливали? А вы думаете, я не стояла за дверью, не видела, как генералу три раза подкладывали пирога на тарелку? А он ест и приговаривает: «У вас просто замечательная повариха, миссис Шелби!» Ох! Как я тогда жива осталась!.. А генерал, он понимает, что такое хороший стол! — горделиво продолжала тетушка Хлоя.— Почтенный человек. Их семья — одна из самых знатных в старой Вирджинии*. Он не хуже меня знает толк в пирогах, а в них, мистер Джордж, не всякий разбирается. Я тогда еще подумала: «Ну, генералу все тонкости известны».

К этому времени Джордж достиг той степени насыщения, когда уже кусок не идет в горло (так бывает даже с мальчиками, но при совершенно исключительных обстоятельствах), и наконец-то соизволил заметить две курчавые головки и две пары горящих глаз, которые с жадностью следили с другого конца комнаты за тем, что делается у стола.

— Моз, Пит, получайте! — крикнул он, отрезав и сунув им по большому куску торта.— Вам, наверно, тоже хочется? Тетушка Хлоя, накорми их.

Гость и хозяин пересели в уютный уголок поближе к очагу, а тетушка Хлоя, нажарив еще целую гору оладий, посадила малютку на колени и начала совать кусочки по очереди то ей, то себе, то Мозу и Питу, которые предпочитали поедать свою порцию, катаясь по полу, щекоча друг друга и то и дело хватая сестренку за ноги.

— Да ну вас совсем! — покрикивала на шалунов мать и, когда возня принимала слишком буйный характер, наудачу пинала их ногой под столом.— Белые в гости пришли, а им хоть бы что! Перестать сию же минуту! Сидите смирно, не то спущу я вас на одну пуговицу ниже, дайте только мистеру Джорджу уйти!

Трудно сказать, что означала эта страшная угроза; во всяком случае, ее зловещая неопределенность не произвела никакого впечатления на малолетних грешников.

— Фу-ты господи! — воскликнул дядя Том.— Им бы целый день веселиться, угомона на них нет.

Тут оба перемазанные патокой мальчугана вылезли из-под стола и кинулись целовать сестренку.

— Да ну вас совсем! — крикнула мать, отстраняя рукой их курчавые головы.— Приклеитесь друг к дружке, потом вас не разлепишь. Марш к колодцу, умойтесь как следует!

И она сопроводила свои слова довольно увесистым шлепком, который исторг лишь новый взрыв смеха у малышей, кубарем выкатившихся за дверь.

— Видали когда-нибудь таких негодников? — благодушно спросила тетушка Хлоя и, взяв старенькое полотенце, плеснула на него воды из треснувшего чайника и стала смывать патоку с лица и рук малютки.

Натерев дочку до блеска, она посадила ее Тому на колени, а сама занялась уборкой посуды. Девочка тут же стала тянуть отца за нос, царапать ему лицо и — что доставляло ей особенное удовольствие — запускать свои пухлые ручонки в его курчавую шевелюру.

— Ишь озорница! — сказал Том, держа дочку на вытянутых руках.

Потом встал, посадил ее себе на плечо и давай прыгать и приплясывать с ней по комнате.

Мистер Джордж махал платком, Моз и Пит, уже успевшие вернуться, бегали за ними, ревя, как всамделишные медведи, и под конец тетушка Хлоя заявила, что они своей возней «совсем ее без головы оставили».

Поскольку эта хирургическая операция производилась здесь ежедневно, заявление тетушки Хлои нисколько не умерило всеобщего веселья, и тишина наступила в хижине лишь тогда, когда все накричались, набегались и натанцевались до полного изнеможения.

— Ну, кажется, угомонились,— сказала тетушка Хлоя, выдвигая на середину комнаты низенькую кровать на колесиках.— Моз, и ты, Пит, ложитесь спать...

* * *

Пока все это происходило в хижине работника, в доме хозяина разыгрывалась совсем другая сцена.

Работорговец и мистер Шелби сидели в той же столовой, за тем же столом, на котором возле чернильницы лежали какие-то бумаги.

Мистер Шелби подсчитывал пачки денег и одну за другой передавал их работорговцу.

— Все правильно,— сказал тот, в свою очередь пересчитав деньги.— А теперь проставьте вот тут и тут вашу подпись.

Мистер Шелби торопливо взял обе купчие, подписал их и отодвинул в сторону вместе с деньгами. Ему, видимо, хотелось поскорее покончить с неприятным делом. Гейли вынул из своего потрепанного саквояжа лист пергаментной бумаги и, просмотрев его, передал мистеру Шелби, который потянулся за ним, стараясь не выдать своего нетерпения.

— Ну, вот и покончили,— сказал работорговец, вставая из-за стола.

— Да, покончили,— в раздумье проговорил мистер Шелби и, глубоко вздохнув, повторил: — Покончили!

— А вы как будто вовсе и не рады! — удивился работорговец.

— Гейли,— сказал мистер Шелби,— я надеюсь, вы будете помнить, что дали мне честное слово не продавать Тома в неизвестные руки.

— Да вы сами только что это сделали, сэр,— сказал работорговец.

— Как вам известно, меня вынудили к этому обстоятельства,— высокомерно ответил Шелби.

— И меня могут вынудить,— сказал работорговец.— Да ладно, я уж постараюсь подыскать вашему Тому местечко получше. А что касается хорошего обращения, так на этот счет можете не беспокоиться. Чего другого, а жестокости во мне, благодарение создателю, и в помине нет.

Памятуя прежние доводы, которые Гейли приводил в доказательство своей гуманности, мистер Шелби не очень-то был обнадежен его заверениями, но так как ни на что другое рассчитывать ему не приходилось, он молча проводил работорговца из комнаты и, оставшись один, закурил сигару.

Глава V

ПОКАЗЫВАЕТ, КАК ОДУШЕВЛЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕМЕНЕ ХОЗЯЕВ

Мистер и миссис Шелби ушли к себе в спальню. Сидя в большом кресле, мистер Шелби просматривал дневную почту, а его жена стояла перед зеркалом и расчесывала волосы, искусно уложенные Элизой. Увидев побледневшее лицо и запавшие глаза своей служанки, миссис Шелби отпустила ее в тот вечер раньше обычного и велела ложиться спать. И сейчас, причесываясь на ночь, она вдруг вспомнила их недавний разговор и спросила мужа небрежным тоном:

— Да, кстати, Артур, кто этот неотесанный субъект, которого вы сегодня привели к обеду?

— Его зовут Гейли,— ответил Шелби и беспокойно задвигался в кресле, не поднимая головы от письма.

— Гейли? А кто он такой и что ему понадобилось?

— Я вел с ним кое-какие дела, когда был последний раз в Натчезе,— сказал мистер Шелби.

— И на этом основании он теперь считает себя своим человеком в нашем доме и напрашивается к обеду?

— Нет, я сам его пригласил. Надо было подписать счета.

— Он работорговец? — спросила миссис Шелби, подметив смущенный тон мужа.

— Откуда вы это взяли, дорогая? — сказал Шелби и взглянул на нее.

— Да, собственно, ниоткуда. Просто вспомнила, как Элиза прибежала ко мне после обеда, расстроенная, вся в слезах, и уверяла, будто бы она слышала, что работорговец предлагал вам продать ее мальчика. Такая чудачка!

— Она слышала? — повторил мистер Шелби и несколько минут не отрывал глаз от письма, не замечая, что держит его вверх ногами.

«Рано или поздно это выяснится,— думал он,— лучше уж признаться сейчас».

— Я отругала Элизу,— продолжала миссис Шелби, расчесывая волосы,— и сказала, что вы никогда не ведете дел с подобными людьми. Ведь вам и в голову не придет продавать наших негров, особенно в такие руки.

— Да, Эмили,— сказал ее муж,— до сих пор не приходило. Но теперь дела мои складываются так, что ничего другого не придумаешь. Кое-кого придется продать.

— Этому человеку? Немыслимо! Мистер Шелби, да вы шутите!

— К сожалению, нет,— сказал Шелби.— Я решил продать Тома.

— Как! Нашего Тома? Доброго, преданного негра, который служит вам с детских лет! Мистер Шелби! Вы же обещали освободить его, мы с вами столько раз говорили ему об этом! В таком случае, меня ничто не удивит, меня не удивит даже, если вы захотите продать Гарри, единственного сына несчастной Элизы! — В словах миссис Шелби слышались и негодование и горечь.

— Хорошо, Эмили, узнайте же все до конца. Я решил продать Тома и Гарри. И не понимаю, почему вы считаете меня каким-то извергом! Другие делают это чуть ли не ежедневно.

— Но почему вам понадобилось продавать именно их? Мало ли у нас других негров, если уж надо кого-то продать?

— Потому что за них дают самую высокую цену — вот почему. Вы правы, можно было бы выбрать кого-нибудь еще. Этот человек предлагал мне большие деньги за Элизу. Вас это устраивает?

— Негодяй! — воскликнула миссис Шелби.

— Я даже не стал его слушать, щадя ваши чувства. Отдайте мне справедливость хотя бы в этом.

— Простите меня,— сказала миссис Шелби, овладев собой.— Я напрасно погорячилась. Но это так неожиданно! Позвольте мне хотя бы замолвить слово за этих несчастных. Том — негр, но сколько в нем благородства, сколько преданности! Я уверена, мистер Шелби, что, если б это понадобилось, он отдал бы за вас жизнь.

— Да, знаю. Но зачем об этом говорить? Я не могу поступить иначе.

— Давайте пойдем на жертвы. Пусть часть лишений падет и на меня. О мистер Шелби! Я всегда старалась — старалась от всей души, как и подобает христианке,— выполнять свой долг по отношению к этим несчастным, бесхитростным существам, которые всецело зависят от нас. Я окружала их заботами, наставляла добру, следила за ними. Вот уже сколько лет они делятся со мной своим горем, своими радостями. Подумайте сами: разве я смогу смотреть в глаза нашим неграм, если ради какой-то ничтожной выгоды мы продадим бедного Тома — прекрасного, безгранично верящего нам человека, и отнимем у него все, что он любит и ценит! Я учила каждого из них быть хорошим семьянином, мужем, отцом, учила детей почитать родителей. Так неужели же теперь мы открыто признаем, что деньги для нас превыше родственных уз, как бы они ни были священны! А Элиза! Сколько я наставляла ее, учила быть хорошей матерью! Что же мне сказать ей, если вы отнимете у нее Гарри и продадите его человеку, лишенному всяких принципов, всякой морали? Разве она будет мне верить после этого?

— Мне очень больно огорчать вас, Эмили, очень больно,— сказал мистер Шелби.— Я уважаю ваши чувства, хотя, не скрою, разделять их с вами полностью не могу. Но поверьте моему слову — все это бесполезно. Я не в состоянии поступить иначе. Мне не хотелось говорить вам об этом, Эмили, но в двух словах дело обстоит так: продавать надо или этих двоих, или решительно всё. Другого выхода нет. К Гейли попали мои векселя, и, если я не расплачусь с ним, он пустит нас по миру. Я ухищрялся как мог, собрал все деньги, какие у меня были, взял в долг — только что не просил подаяния, но для полного расчета надо продать Тома и Гарри. Мальчик приглянулся Гейли, он потребовал, чтобы я продал его, и только на этом условии согласился уладить наши дела. Я тут ни в чем не волен. Вы принимаете так близко к сердцу продажу этих двух негров, но каково будет, если нам придется расстаться со всем, что у нас есть?

Эти слова потрясли миссис Шелби. Она подошла к туалетному столику, закрыла лицо руками, и из ее груди вырвался стон.

— Проклятие божие лежит на рабстве, и оно поражает рабов и нас, господ. И я, безумная, думала, что мне удастся исправить это страшное зло! Какой грех владеть рабами при наших законах! Я всегда это чувствовала, всегда, еще с детских лет. Но меня увлекала мысль, что рабовладельчество можно как-то скрасить добротой, мягкостью, вниманием к неграм, что рабство покажется нашим невольникам лучше свободы! Ну не безумие ли это!

— Эмили! Я вижу, вы стали настоящей аболиционисткой!*

— Аболиционисткой? Ах, если бы аболиционисты знали о рабстве то, что знаю о нем я, тогда они могли бы об этом говорить с бóльшим основанием! Нет, нам нечему у них научиться. Меня всегда тяготило то, что у нас есть рабы. Я считаю, что этого не должно быть!

— Следовательно, вы расходитесь во мнениях со многими набожными и умными людьми,— сказал мистер Шелби.— Вспомните последнюю воскресную проповедь.

— Я не желаю слушать такие проповеди, и таким проповедникам в нашей церкви тоже не место. Священники не в силах бороться со злом, так же как и мы, но зачем же они оправдывают его! Это всегда казалось мне противным здравому смыслу. И я почти уверена, что вам тоже не понравилась последняя воскресная проповедь.

— Да,— сказал Шелби,— откровенно говоря, служители божии иной раз заходят гораздо дальше нас, бедных грешников. Мы со многим вынуждены мириться, на многое вынуждены смотреть сквозь пальцы, но когда женщины или священники перестают считаться с моралью и с благопристойностью, это уже никуда не годится. Я надеюсь, моя дорогая, что теперь вы убедились, насколько такой шаг необходим,— убедились, что лучшего выхода из положения найти нельзя.

— Да, да,— произнесла миссис Шелби, рассеянно трогая свои золотые часы.— У меня нет крупных драгоценностей,— в раздумье продолжала она.— Но, может быть, вы возьмете вот эти часики? В свое время они стоили дорого. Я пожертвовала бы всем, что у меня есть, лишь бы спасти ребенка Элизы... хотя бы его одного.

— Мне очень больно, Эмили, что это вас так расстраивает,— сказал Шелби,— но теперь уже ничем не поможешь. Дело сделано, купчие подписаны, и Гейли увез их с собой. Благодарите бога, что все обошлось сравнительно благополучно. Этот человек мог разорить нас. Если б вы знали Гейли так, как знаю его я, вы бы поняли, что мы были на волосок от гибели.

— Неужели он настолько непреклонен?

— Жестоким Гейли назвать нельзя, но он человек холодный, толстокожий, печется только о своей выгоде, ни перед чем не останавливается и неумолим, как смерть. Если ему посулить хорошие деньги, он продаст родную мать, притом не желая старушке никакого зла.

— И этот негодяй стал хозяином нашего доброго Тома и ребенка Элизы!

— Да, моя дорогая, мне самому трудно примириться с этим. К тому же Гейли торопится и хочет взять их завтра. Я велю оседлать себе лошадь рано утром и уеду, чтобы не встречаться с Томом. А вы тоже уезжайте куда-нибудь и возьмите с собой Элизу. Пусть все это будет сделано без нее.

— Нет, нет! — воскликнула миссис Шелби.— Я не хочу быть пособницей в таком жестоком деле! Я пойду к несчастному Тому — да поможет ему господь в его горе! Пусть они, по крайней мере, почувствуют, что хозяйка на их стороне. А об Элизе мне даже подумать страшно. Да простит нас бог! Чем мы навлекли на себя эту беду!

Мистер и миссис Шелби не подозревали, что их разговор могут подслушать.

К супружеской спальне примыкала маленькая темная комнатка, дверь которой выходила в коридор. Когда миссис Шелби отпустила Элизу на ночь, молодая мать, сама не своя от волнения, вспомнила про эту комнатку. Она спряталась там и, прижавшись ухом к щели в стене, не пропустила ни слова из предыдущего разговора.

Но вот голоса хозяев затихли. Элиза крадучись вышла в коридор. Бледная, дрожащая, с окаменевшим лицом и сжатыми губами, она совсем не походила на прежнее кроткое, застенчивое существо.

Осторожно прошла она по коридору, замедлила на минуту шаги у двери в спальню хозяев и скользнула к себе. Ее тихая, чистенькая комнатка помещалась на одном этаже с хозяйскими покоями. Здесь, у этого залитого солнцем окна, Элиза часто сидела за шитьем, напевая вполголоса; на этой полочке стояли ее книги и безделушки — рождественские подарки миссис Шелби; в шкафу и комоде хранились ее скромные наряды. Короче говоря, этот уголок Элиза считала своим домом и жила в нем счастливо. И тут же на кровати спал ее ребенок. Его длинные кудри в беспорядке рассыпались по подушке, яркие губы были полуоткрыты, маленькие пухлые ручки лежали поверх одеяла, и улыбка, словно солнечный луч, озаряла сонное детское личико.

— Бедный мой, бедный! — прошептала Элиза.— Продали тебя! Но ты не бойся, мать не даст своего сыночка в обиду!

Ни единой слезы не упало на эту подушку. В такие минуты

сердце скупо на них. Оно исходит кровью и молчит. Элиза взяла клочок бумаги и карандаш и второпях написала следующее:

«О миссис! Дорогая миссис! Не корите меня, не обвиняйте меня в неблагодарности. Я слышала ваш разговор с мистером Шелби. Я попытаюсь спасти своего ребенка. Вы не осу́дите меня за это! Да вознаградит вас бог за вашу доброту».

Сложив листок вдвое и надписав его, она подошла к комоду, собрала в узелок кое-что из детской одежды и накрепко привязала его носовым платком к поясу. И такова сила материнской любви, что даже в этот страшный час Элиза не забыла сунуть в узелок две-три любимые игрушки сына, а пестрого попугая отложила в сторону, чтобы позабавить мальчика, когда он проснется. Ей не сразу удалось его разбудить, но вот он проснулся, сел на кровати и, пока мать надевала капор и шаль, занялся своей игрушкой.

— Мама, куда ты идешь? — спросил мальчик, когда Элиза подошла к кровати, держа в руках его пальто и шапочку.

Она нагнулась над ним и так пристально посмотрела ему в глаза, что он сразу насторожился.

— Тс! — шепнула Элиза.— Громко говорить нельзя, не то нас услышат. Злой человек хочет отнять у мамы ее маленького Гарри и унести его темной ночью. Но мама не отдаст своего сыночка. Сейчас она наденет на него пальто и шапочку и убежит с ним, и тот страшный человек их не поймает.

С этими словами она застегнула на нем пальто, взяла его на руки, снова приказала молчать и, открыв дверь, бесшумно вышла на веранду.

Ночь была холодная, звездная, и мать плотнее закутала ребенка, который, словно онемев от смутного страха, крепко цеплялся за ее шею.

Большой старый ньюфаундленд Бруно, спавший в дальнем конце веранды, встретил шаги Элизы глухим ворчаньем. Она тихо окликнула его, и пес, ее давнишний баловень и приятель, сейчас же замахал хвостом и отправился за ними следом, хотя ему явно было невдомек, что может означать столь неурочная ночная прогулка. Его, видимо, тревожили неясные сомнения в ее безопасности, потому что он часто останавливался, бросал тоскливые взгляды то на Элизу, то на дом и, поразмыслив, снова брел дальше. Через несколько минут они подошли к хижине дяди Тома, и Элиза тихонько постучала в окно.

— Господи помилуй, кто там? — вздрогнув, сказала тетушка Хлоя и быстро откинула занавеску.— Да, никак, это Лиззи? Одевайся, старик. И Бруно тоже сюда приплелся. Пойду открою ей.

Тетушка Хлоя распахнула дверь, и свет сальной свечи, ко-

торую поспешил зажечь Том, упал на измученное, с дико блуждающими глазами лицо беглянки.

— Храни нас господь! Лиззи, на тебя смотреть страшно! Что с тобой? Заболела?

— Дядя Том, тетушка Хлоя, я убегаю... Надо спасать Гарри. Хозяин продал его.

— Продал! — в один голос воскликнули те, в ужасе подняв руки.

— Да, продал,— твердо повторила Элиза.— Я спряталась в темной комнатке рядом со спальней и слышала, как хозяин сказал миссис Шелби, что он продал моего Гарри и тебя, дядя Том. Завтра утром работорговец возьмет вас обоих, а хозяин уедет из дому на это время.

Слушая Элизу, Том стоял, будто окаменев. Руки у него так и остались воздетыми к небу, глаза были широко открыты. А когда смысл этих слов постепенно дошел до него, он рухнул на стул и уронил голову на колени.

— Боже милостивый, сжалься над нами! — воскликнула тетушка Хлоя.— Неужто это правда? Чем же он провинился, что хозяин продал его?

— Он ни в чем не провинился, дело не в этом. Мистеру Шелби не хочется продавать их, а миссис... вы знаете ее доброе сердце... Я слышала, как она заступалась, просила за нас. Но хозяин сказал, что теперь ничего нельзя поделать. Он задолжал этому человеку, и этот человек держит его в руках. Если не расплатиться с ним, тогда надо будет продавать все имение и всех негров и уезжать отсюда. От этого человека не отделаешься. Я сама слышала, как хозяин говорил, что выбора у него нет — или продать Тома и Гарри, или лишиться всего остального. Ему жалко вас... а миссис! Если бы вы ее слышали! Нехорошо я с ней поступаю, но иначе я не могу.

— Старик,— сказала тетушка Хлоя,— а ты что же не уходишь? Хочешь дождаться, когда тебя увезут вниз по реке, туда, где негров морят голодом и непосильной работой? Да я бы лучше умерла! Время есть — беги вместе с Лиззи. С твоим пропуском тебя никто не остановит. Вставай, я сейчас соберу тебе вещи.

Том медленно поднял голову, обвел печальным, но спокойным взглядом хижину и сказал:

— Нет, я никуда не пойду. Пусть Элиза уходит,— это ее право. Кто осудит мать? Но ты слышала, что́ она сказала? Если меня не продадут, тогда все пойдет прахом... Ну что ж, пусть продают, я стерплю это.— Судорожный вздох вырвался из его могучей груди.— Хозяин всегда мог положиться на меня. Я не обманывал его, я никогда не пользовался своим про-

пуском без надобности и никогда на это не решусь. Пусть продадут одного меня, чем разорят все имение. Хозяина нечего винить, Хлоя. Он не оставит тебя с несчастными...

Том повернулся к кровати, посмотрел на своих ребятишек, и силы оставили его. Он поник головой на спинку стула и закрыл лицо руками. Тяжкие, хриплые рыдания сотрясали его грудь, крупные слезы, стекая по пальцам, капали на пол.

— Еще два слова,— сказала Элиза с порога.— Я виделась с мужем сегодня днем, тогда еще никто ничего не знал. Моего Джорджа довели до того, что он больше не может терпеть и решил бежать. Постарайтесь увидеть его и скажите ему, почему я ухожу. Скажите, что попытаюсь найти дорогу в Канаду, и если мы никогда больше не увидимся... Заприте Бруно,— добавила она,— не то он побежит за мной, бедняга.

Короткое, сдержанное прощание, скупые слезы, последние напутствия... и, прижав к груди своего растерянного, испуганного ребенка, Элиза бесшумно скользнула за дверь.

Глава VI

ПОБЕГ ОБНАРУЖЕН

Накануне вечером, после своего затянувшегося спора, мистер и миссис Шелби заснули не сразу и на следующее утро встали позднее обычного.

— Не понимаю, почему Элиза так задержалась? — сказала миссис Шелби, уже не в первый раз дергая звонок.

Мистер Шелби точил бритву, стоя перед зеркалом. Вскоре дверь открылась, и в спальню вошел мальчик-негр с водой для бритья.

— Энди,— обратилась к нему миссис Шелби,— постучись к Элизе и скажи ей, что я уже три раза звонила. Бедняжка! — со вздохом добавила она вполголоса.

Через несколько минут Энди вернулся, тараща глаза от изумления.

— Миссис! У Лиззи все ящики открыты, вещи валяются как попало. Не иначе, как она удрала.

Мистер и миссис Шелби мгновенно догадались о случившемся. Он воскликнул:

— Значит, Элиза что-то подозревала и решила убежать!

— Дай бог, чтобы это было так! — сказала она.

— Миссис Шелби, вы говорите вздор! В каком я окажусь положении? Гейли видел, что мне не хочется продавать ребенка, и заподозрит меня в соучастии. Тут задета моя честь! — И он быстро вышел из комнаты.

В течение следующих пятнадцати минут в доме не прекращалась беготня; хлопали двери, из-за них выглядывали лица всех оттенков.

И только один человек, который мог бы рассказать кое-что о случившемся, хранил молчание. Это была главная повариха, тетушка Хлоя. На ее всегда таком веселом лице лежало облако тяжелого раздумья. Она не говорила ни слова и продолжала жарить оладьи к завтраку, будто не видя и не слыша царившей вокруг суматохи.

На балюстраде веранды уже сидели рядком — ни дать ни взять вороны на жердочке — человек десять черномазых бесенят, которым во что бы то ни стало хотелось первыми увидеть, как примет чужой хозяин свалившуюся на него беду.

— Вот разозлится-то! — сказал Энди.

— А ты послушай, как он ругаться будет! — подхватил маленький Джейк.

— У-ух, здорово ругается! — сказала курчавая Мэнди.— Я вчера слышала, когда они обедали. Я все слышала: забралась в чулан, где миссис держит большие кувшины, и ни словечка не пропустила.

И Мэнди, которая вдумывалась в чужие слова не больше, чем котенок, напустила на себя необычайно умный вид и горделиво прошлась по веранде, совсем забыв упомянуть о том обстоятельстве, что хотя она и была в указанное время в чулане, но почивала там мирным сном, свернувшись клубочком между кувшинами.

Когда наконец Гейли подъехал к дому, в сапогах и при шпорах, дурные вести посыпались на него со всех сторон. Маленькие бесенята, торчавшие на веранде, не обманулись в своих ожиданиях и восторженно выслушали поток брани, которой разразился чужой хозяин. Они с хохотом увертывались от его хлыста и под конец повалились в кучу на увядшем газоне у веранды, крича во все горло и отчаянно дрыгая ногами.

— Только попадитесь мне, дьяволята! — пробормотал Гейли сквозь зубы.

— Пока что не попались! — крикнул Энди, торжествующе взмахнув рукой, и, когда незадачливый работорговец отошел на приличное расстояние, скорчил ему вслед зверскую гримасу.

— Это что же у вас творится, Шелби! — сказал Гейли, без доклада входя в гостиную.— Удрала чертовка вместе с мальчишкой?

— Мистер Гейли, здесь находится миссис Шелби! — ответил тот.

— Прошу прощения, сударыня! — Гейли слегка поклонился, не меняя свирепого выражения лица.— Но я еще раз повторяю:

странные вести мне приходится слышать, сэр! Неужели это верно?

— Сэр,— сказал мистер Шелби,— если вам угодно побеседовать со мной, будьте любезны соблюдать приличия, как это подобает джентльмену... Энди, прими у мистера Гейли шляпу и хлыст!.. Садитесь, сэр. Да, сэр, к моему величайшему сожалению, эта молодая женщина, вероятно, подслушала наш разговор или же узнала о нем от кого-нибудь и сегодня ночью скрылась вместе с ребенком.

— Ну, не ждал я от вас такого надувательства! — сказал Гейли.

— Как прикажете понимать ваши слова, сэр? — Мистер Шелби круто повернулся к нему.— Для тех, кто сомневается в моей честности, у меня есть только один ответ.

Работорговец струсил и сказал уже совсем другим тоном:

— Каково ж терпеть порядочному человеку, когда его так подводят!

— Мистер Гейли,— продолжал Шелби,— я вполне понимаю вашу досаду и только поэтому и прощаю вам такое бесцеремонное появление в моей гостиной. Тем не менее считаю своим долгом заявить, что я не позволю подозревать себя в столь неблаговидном поступке и бросать тень на мое честное имя. Более того: я окажу вам всяческую помощь при розыске беглецов. Мои лошади, невольники — все к вашим услугам. Короче говоря, Гейли,— добавил он, сохраняя свою обычную приветливость,— советую вам не терять хорошего расположения духа и позавтракать вместе с нами, а там мы обсудим, что предпринять дальше.

Миссис Шелби поднялась, сказала, что не сможет быть за завтраком, и, поручив почтенной горничной-мулатке подать джентльменам кофе, вышла из комнаты.

— Ваша хозяйка меня что-то невзлюбила,— сказал Гейли с неуклюжей фамильярностью.

— Я не привык, чтобы о моей жене говорили в таком развязном тоне,— сухо ответил мистер Шелби.

— Прошу прощения. С вами и пошутить нельзя! — И Гейли заключил свои слова деланным смешком.

— Не всякая шутка приятна,— возразил Шелби.

— Ишь как осмелел с тех пор, как рассчитался со мной! — буркнул про себя Гейли.— Не узнать со вчерашнего дня!

Весть о судьбе Тома вызвала такую тревогу среди его собратьев, какой не вызвало бы в придворных кругах падение премьер-министра. Ни в доме, ни в полях ни о чем другом не говорили. Побег Элизы — случай небывалый в поместье — тоже немало способствовал всеобщему волнению.

Черный Сэм, заслуживший такое прозвище потому, что он был намного темнее всех здешних негров, весьма глубокомысленно обсуждал эти события главным образом с точки зрения собственного благополучия, а его прозорливость в подобных делах могла бы оказать честь любому белому политикану в Вашингтоне.

— Не было бы счастья, да несчастье помогло... Вот оно как случается! — провозгласил Сэм, поддернул штаны и, приладив к подтяжкам длинный гвоздь вместо оторванной пуговицы, остался весьма доволен собственной изобретательностью.— Да, не было бы счастья, да несчастье помогло,— повторил он.— Вот теперь Тому по шапке — значит, вместо него поставят другого негра. А почему, скажем, не меня? Том везде разъезжал. Башмаки начищены, пропуск в кармане — сам черт ему не брат. А почему теперь Сэму не покрасоваться на его месте? Вот я что хочу знать...

— Эй, Сэм! Сэм! Хозяин велит оседлать Билла и Джерри! — прервал его рассуждения Энди.

— Что там еще стряслось?

— А ты разве не знаешь, что Лиззи убежала со своим малышом?

— Другим рассказывай! — с бесконечным презрением ответил Сэм.— Я раньше тебя узнал. За кого ты меня принимаешь, за несмышленыша?

— Ладно, ладно! Ты слушай, что хозяин велел. Седлай лошадей, и мы с тобой поедем вместе с мистером Гейли ловить Лиззи.

— Вот это я понимаю! Теперь Сэм понадобился. Сэм будет самым главным негром. Уж я ее поймаю, будьте уверены. Хозяин увидит, какой Сэм молодец!

— Подожди, Сэм! — осадил его Энди.— Ты сначала подумай хорошенько. Ведь миссис-то не хочет, чтобы Лиззи поймали. Она тебе задаст.

— Э-э! — протянул Сэм, выпучив глаза.— Откуда ты это взял?

— Сам слышал, что миссис говорила сегодня утром, когда я подавал хозяину воду для бритья. Она послала меня посмотреть, почему Лиззи не идет на звонок, а я прибежал обратно и докладываю: «Нет ее, удрала!» Она как услышала, так и вскрикнула: «Дай-то бог!» А хозяин ух как рассердился и стал ее отчитывать: «Миссис Шелби, вы говорите вздор!» Да он перед ней не устоит! Я-то знаю, как дальше будет. Ее сторону всегда лучше держать.

Черный Сэм почесал свою кудлатую голову, которая хоть и не была богата умом, зато обладала неким качеством, не-

обходимым для политиканов всех мастей и обличий и называющимся попросту уменьем определять, «куда ветер дует». Потом он снова подтянул штаны, что, по-видимому, помогало ему думать, и наконец сказал:

— Вот уж правда, не знаешь, где найдешь, где потеряешь! А я-то решил, что миссис весь свет готова обыскать, лишь бы найти Лиззи!

— И правильно,— сказал Энди.— А все-таки ты, негр, дальше своего носа ничего не видишь. Миссис не хочет, чтобы мальчишка Лиззи попал в руки этому мистеру Гейли. Вот в чем дело-то!

— Э-э! — снова протянул Сэм.

— Я тебе больше скажу,— продолжал Энди.— Ты потерапливайся с лошадьми, миссис про тебя уже спрашивала. Довольно лясы точить!

Услышав это, Сэм засуетился и вскоре лихо подлетел к дому. Он спрыгнул с седла на полном скаку и круто завернул лошадей к коновязи. Игривый жеребчик мистера Гейли вздрогнул и заплясал на месте, натягивая поводья.

— Хо-хо! — крикнул Сэм.— Не бойсь! — Его черная физиономия так и засияла лукавством.— Сейчас я тобой займусь.

Рядом с коновязью рос огромный бук, и земля под ним была усеяна колючими трехгранниками буковых орешков. Сэм поднял один такой орешек, подошел к жеребчику и стал поглаживать его, будто стараясь успокоить. Потом, поправив для виду седло, он незаметно сунул под него трехгранную колючку с таким расчетом, что, как только пугливый жеребчик почувствует тяжесть всадника, эта колючка сразу же даст о себе знать, не причинив лошадке особого вреда.

— Вот! — сказал Сэм, весьма довольный собой, и закатил глаза.— Готово дело!

В эту минуту на балконе появилась миссис Шелби. Она подозвала его поближе и сказала:

— Где ты пропадаешь, Сэм? Я уж Энди за тобой посылала. Собирайся, поедешь с мистером Гейли. Помоги ему, покажи дорогу, только смотри, Сэм, береги лошадей. На прошлой неделе Джерри немного прихрамывал, так *ты их не очень гони.*

Последние слова миссис Шелби проговорила вполголоса, но очень внушительным тоном.

— Я, миссис, понятливый,— сказал Сэм, многозначительно вращая глазами.— Вы за лошадей не беспокойтесь...

— Знаешь, Энди,— продолжал он, вернувшись под буковое дерево,— если лошадка этого джентльмена начнет артачиться, когда он на нее сядет, пусть этому другие дивятся, а

я не удивлюсь. Иной раз, Энди, с лошадками еще не то случается.— И Сэм ткнул Энди в бок.

— Э-э! — сказал Энди, мгновенно сообразив, в чем дело.

— Видишь ли, Энди, миссис хочет оттянуть время. Это всякий дурак поймет. Ну что ж, я ей немножко помогу. Так вот, если эти кони сорвутся с привязи и помчат куда-нибудь к лесу, чужой хозяин не скоро отправится в путь-дорогу.

Энди ухмыльнулся.

— Допустим, Энди,— продолжал Сэм,— допустим, что жеребчик мистера Гейли вдруг начнет артачиться. Что мы с тобой сделаем? А мы бросимся на помощь и уж поможем мистеру Гейли, будьте покойны!

Тут оба они запрокинули головы и, прыснув со смеху, начали прищелкивать пальцами и приплясывать, вне себя от восторга.

В эту минуту на веранде появился Гейли. Сменив гнев на милость после нескольких чашек хорошего кофе, он улыбался, говорил что-то, и, судя по всему, расположение духа у него было сносное.

Сэм и Энди напялили на голову пучки из пальмовых листьев, служившие им панамами, и кинулись со всех ног к коновязи «помогать чужому хозяину».

Пальмовые листья на голове у Сэма топорщились в разные стороны, словно воинственный убор какого-нибудь вождя с островов Фиджи. Панама Энди тоже обходилась без полей, и ее обладатель, ловко пришлепнув тулью ладонью, с довольным видом посмотрел по сторонам, будто спрашивая: «А что? Скажете, плохо?»

— Ну, ребята,— обратился к ним Гейли,— пошевеливайтесь! Времени терять нечего!

— Ни минуточки не потеряем,— сказал Сэм, левой рукой подавая Гейли поводья, а правой придерживая стремя, в то время как Энди отвязывал двух других лошадей.

Как только Гейли коснулся седла, горячий жеребчик взвился на дыбы и сбросил своего хозяина на мягкую сухую траву. Сэм с громкими воплями кинулся вперед, протянул руку к поводу, но вышеупомянутые пальмовые листья, как назло, угодили жеребчику в глаза, что отнюдь не способствовало успокоению его нервов. Он опрокинул и Сэма, негодующе фыркнул, потом наподдал задними ногами и поскакал галопом к дальнему концу лужайки, сопровождаемый Биллом и Джерри, которых Энди, согласно уговору, не преминул отвязать, да еще заулюлюкал им вслед.

Поднялась невообразимая суматоха. Сэм и Энди с криками бегали из стороны в сторону, собаки лаяли, Майк, Моз,

Мэнди, Фэнни и прочие малолетние обитатели здешних мест визжали, хлопали в ладоши и без устали носились взад и вперед, проявляя усердие не по разуму.

Серый жеребчик Гейли, конь резвый, норовистый, с большим азартом принял участие в этом спектакле. Имея в своем распоряжении окруженную со всех сторон лесом лужайку чуть ли не в полмили длиной, он испытывал огромное удовольствие, убеждаясь, что преследователей можно подпускать к себе совсем близко, а потом фыркать, брать с места галопом и нестись по тропинке в глубь леса. У Сэма не было ни малейшего намерения ловить лошадей раньше времени, но усилия, которые он прилагал к их поимке, казались со стороны поистине героическими. Его панама из пальмовых листьев мелькала во всех тех местах, где лошадям не грозило никакой опасности быть пойманными. Он кидался туда со всех ног с криками: «Вот она! Держи! Лови!» — и тем самым только способствовал усилению всеобщей суматохи.

Гейли бегал взад и вперед, бранился, изрыгал проклятия, топал ногами. Мистер Шелби тщетно пытался руководить с балкона действиями Энди и Сэма, а миссис Шелби, стоя у окна своей комнаты, то заливалась смехом, то недоуменно пожимала плечами, догадываясь об истинной подоплеке всей этой кутерьмы.

Наконец около полудня победоносный Сэм появился верхом на Джерри, ведя на поводу лошадь Гейли. Жеребчик был весь в мыле, но его горящие глаза и широко раздутые ноздри свидетельствовали о том, что дух свободы в нем еще не угас.

— Поймал!—торжествующим голосом крикнул Сэм.—Если б не я, до сих пор бы ловили, а вот я словчился, поймал!

— Ты поймал! — не слишком любезно буркнул Гейли.— Не будь тебя, ничего бы такого не случилось!

— Да господь с вами, сударь! — сокрушенно воскликнул Сэм.— А я-то старался, бегал! Ведь с меня семь потов сошло!

— Ладно, ладно! — сказал Гейли.— Три часа из-за тебя потерял, растяпа! Ну, довольно дурака валять, поехали!

— Что вы, сударь! — взмолился Сэм.— Вы так и нас и лошадей уморите. Мы еле на ногах держимся, а лошади все в мыле. Неужто вы, сударь, захотите уехать без обеда? И лошадку вашу, сударь, надо почистить — глядите, какая она грязная! А Джерри хромает. Миссис забранится, если мы в таком виде отправимся... Да вы не сомневайтесь, сударь, мы Лиззи поймаем. Какой она ходок!

Миссис Шелби с удовольствием прослушала весь этот разговор и решила, что теперь настала пора выступить и ей. Она

спустилась на веранду, выразила Гейли свое сожаление по поводу происшедшего и стала уговаривать его остаться обедать, уверяя, что на стол будет подано незамедлительно.

Гейли не оставалось ничего другого, как проследовать в гостиную, что он и сделал с довольно кислой физиономией, а Сэм, скорчив немыслимую гримасу ему вслед, с важным видом повел лошадей на конный двор.

— Видал, Энди? Нет, ты видал? — сказал Сэм, зайдя за конюшню, после того как лошади были привязаны.— Как он ругался, приплясывал, топал ногами — ну, просто загляденье! А я сам себе говорю: «Ругайся, ругайся, старый черт! Сейчас, говорю, тебе лошадку подавать или подождешь, когда поймаем!» Ох, Энди! Забыть его не могу!

И оба они, привалившись к стене конюшни, захохотали во все горло.

— Ты бы видел, как он на меня выпучил глаза, когда я подвел лошадь. Убил бы на месте, будь на то его воля! А я стою как ни в чем не бывало — смирненький, знать ничего не знаю, ведать не ведаю.

— Видел, видел! — сказал Энди.— И хитер же ты, Сэм! Настоящая лиса!

— Что верно, то верно,— согласился Сэм.— А миссис стояла у окна и смеялась. Я заметил. А ты?

— Где там заметить — я носился как угорелый! — сказал Энди.

— Вот видишь, Энди,— сказал Сэм, не спеша принимаясь чистить лошадь Гейли.— Я человек *замечательный*, потому что такая у меня привычка — все замечать. Это очень важно, Энди. И я тебе тоже советую: развивай в себе эту привычку с молодости... Ну-ка, подними ей ногу, Энди... Так вот, Энди, некоторые негры бывают *замечательные*, а некоторые нет. В этом вся и разница. Разве я не заметил с утра, куда ветер дует? Разве я не заметил, чего нашей миссис надобно, хотя она ни словом об этом не обмолвилась? Значит, я, Энди, замечательный. Ничего не поделаешь — талант! У разных людей и таланты разные — у одних больше, у других меньше, но ты не горюй, усердием многого можно добиться.

— Если б я тебе не шепнул кое-что сегодня утром, не был бы ты таким замечательным негром,— усмехнулся Энди.

— Энди,— сказал Сэм,— ты мальчик смышленый, далеко пойдешь. Я тебя, Энди, всегда рад похвалить и ничего не вижу в том зазорного, если позаимствую кое-что у такого, как ты. Каждый из нас может дать промах, Энди, так чего же зря нос задирать? А теперь, Энди, пойдем к дому. Чует мое сердце, что сегодня миссис велит накормить нас повкуснее!

Глава VII

БОРЬБА МАТЕРИ

Невозможно было представить себе человеческое существо более жалкое и одинокое, чем Элиза, когда она направила свои шаги прочь от хижины дяди Тома.

Страдания мужа и опасность, подстерегавшая его ежеминутно, опасность, грозившая ребенку,— все это слилось в ее сознании с гнетущим ощущением риска, которому подвергалась она сама, покидая родное гнездо и лишаясь защиты любимой и уважаемой покровительницы. Ее терзала и разлука с местами, с которыми она так сжилась,— с усадьбой, знакомой с детства, с деревьями, под которыми она играла, с рощей, куда в прежние счастливые времена молодой муж водил ее гулять. Все это вставало теперь перед ней в холодном, ясном свете звезд и словно упрекало ее, спрашивая: куда же ты бежишь из такого дома? Но сильнее всех этих сожалений была материнская любовь, граничившая в минуту такой страшной опасности чуть ли не с безумием.

Гарри был уже большой мальчик, и Элиза обычно водила его за руку. Но сейчас ее пугала даже мысль о том, чтобы выпустить сына из своих объятий, и, быстро шагая по дороге, она судорожно прижимала его к груди.

Подмерзшая земля похрустывала у нее под ногами, и она вздрагивала от этих звуков. Слетающие с ветвей листья, колеблющиеся тени заставляли трепетать ее сердце, заставляли ее ускорять шаги. Она сама не понимала, откуда у нее берется столько сил, ибо каждый новый приступ страха словно удесятерял их, а ноша ее казалась ей легкой как перышко.

Гарри спал. Он разгулялся было после необычного ночного пробуждения, но мать не давала ему вымолвить ни слова, обещая спасти его, если только он будет молчать, и мальчик затих, обвив ручонками ее шею, а когда сон стал одолевать его, спросил:

— Мама, мне нельзя спать?

— Можно, родной. Спи, спи.

— А если я усну, он меня не отнимет у тебя?

— Нет, что ты! — воскликнула мать, побледнев еще больше, и ее темные глаза вспыхнули.

— Правда, не отнимет?

— Нет, нет! — повторила она, сама испугавшись своего голоса — таким чужим он ей показался.

Мальчик устало склонил голову на плечо матери и скоро уснул. Какой пыл, какая сила сквозили в каждом движении

Элизы, чувствовавшей у себя на шее теплые ручки и безмятежное дыхание сына! Нежное прикосновение доверчиво прильнувшего к ней ребенка пронизывало ее словно электрическим током.

Границы усадьбы, аллея, роща промелькнули как во сне, а Элиза все шла, не убавляя шага, не задерживаясь ни на минуту, и розовые рассветные лучи застали ее на широкой проезжей дороге, далеко от знакомых мест.

Со своей хозяйкой она не раз бывала в гостях у родственников Шелби, живших в маленьком поселке Т., на берегу реки Огайо, и хорошо знала эту дорогу. Дойти туда, перебраться на другой берег — вот как рисовался ей неясный план побега.

Когда на дороге стали появляться проезжие — верхом и в тележках,— Элиза с быстротой соображения, свойственной человеку в минуту опасности, поняла, что ее торопливый шаг и взволнованный вид могут заинтересовать посторонних людей и возбудить в них подозрения. Поэтому она спустила ребенка с рук, оправила на себе платье и капор и пошла медленнее, стараясь соблюдать спокойствие и чинность. Элиза успела запастись на дорогу пирожками и яблоками и теперь с их помощью подгоняла ребенка. Она вынимала яблоко из узелка, катила его по дороге, и мальчик со всех ног бежал за ним. Эта уловка помогла им одолеть не одну милю.

Вскоре они подошли к густому лесу, где журчал чистый ручеек. Гарри уже начинал жаловаться на голод и жажду, и Элиза перебралась вместе с ним через изгородь, села на землю за большой камень так, чтобы никто не увидел их с дороги, и развязала узелок с завтраком. Гарри удивился и опечалился, видя, что мать ничего не ест, и, обняв ее одной рукой за шею, стал совать ей в рот пирожок, но Элиза не могла проглотить ни куска — спазмы душили ее.

— Не надо, Гарри! Мама не станет есть, пока не успокоится за тебя. Мы сейчас пойдем дальше, дальше... к реке.— И она снова вывела его на дорогу и снова заставила себя идти спокойно, не торопясь.

Места, в которых ее знали, остались далеко позади. Теперь, если случайно и встретится знакомый человек, он не подумает, что она убежала от своих хозяев, доброта которых была всем хорошо известна. А чужой, глядя на их светлую кожу, вряд ли сразу заподозрит в ней и Гарри негритянскую кровь.

Около полудня они подошли к чистенькой ферме, и Элиза решила отдохнуть там немного и купить еды себе и ребенку, ибо чем дальше уходила она от опасности, тем больше и боль-

ше спадало страшное нервное напряжение и тем сильнее давали себя знать голод и усталость.

Хозяйка фермы, женщина добродушная, разговорчивая, обрадовалась случаю поболтать с гостьей и приняла на веру слова Элизы, сказавшей, что тут неподалеку у нее живут друзья и она хочет погостить у них с недельку.

За час до захода солнца Элиза, усталая, но по-прежнему полная решимости, вошла в поселок Т. Первый взгляд несчастной матери был обращен к реке, на другом берегу которой ее ждала свобода.

Уже наступала весна, река вздулась, течение было бурное. Огромные льдины, крутясь, плыли по мутной воде. В этом месте извилистый берег штата Кентукки дугой вдавался в реку. В узком проливе образовались заторы. Льдины громоздились одна на другую, и этот барьер, напоминавший огромный зыбкий плот, заполнял собой почти все пространство между обоими берегами.

Элиза сразу поняла, что о пароме нечего и думать, и, отойдя от реки, вошла в стоявшую на берегу небольшую гостиницу.

Хозяйка, хлопотавшая у плиты, на которой что-то шипело и жарилось, услышала нежный и жалобный голос Элизы и выпрямилась, не выпуская вилки из рук.

— Вам что? — спросила она.

— Скажите, есть тут паро́м или лодка? Мне нужно попасть в Б., на тот берег.

— Какие там лодки! Они теперь уже не ходят,— ответила женщина, но, заметив разочарованный, удрученный вид Элизы, спросила:—Вам надо на ту сторону? Кто-нибудь заболел? Вы торопитесь?

— У меня ребенок в опасности,— сказала Элиза.— Я узнала об этом только вчера вечером и сегодня весь день была в дороге, думала попасть на паро́м.

— Вот беда-то! — воскликнула женщина, материнское сердце которой сразу откликнулось на чужое горе.— Не могу вам не посочувствовать... Соломон! — крикнула она, выглянув в окно.

В дверях небольшого сарая появился человек в кожаном фартуке и с очень грязными руками.

— Слушай, Сол,—обратилась к нему женщина,— поедут сегодня на тот берег?

— Говорят, опасно очень, но все-таки хотят попробовать,— ответил Сол.

— Здесь есть один фермер, который собирался ехать в Огайо с овощами, если только река позволит. Он придет сюда ужинать, так что советую вам подождать его... Какой у вас

хорошенький мальчик! — добавила она, протягивая Гарри пирожок.

Усталый, измученный ребенок расплакался.

— Бедняжка ты мой! Он никогда столько не ходил, а я ему и поспать не дала! — вздохнула Элиза.

— Уложите его в этой комнате,— сказала женщина, открывая дверь в маленькую спальню, где стояла удобная кровать.

Элиза положила на нее усталого мальчика, взяла его ручки в свои и не отходила от него до тех пор, пока он не заснул. О своем отдыхе она и не думала. Мысль о погоне жгла ее огнем, побуждая идти дальше, и она с тоской смотрела на угрюмую, бурную реку, которая лежала между ней и свободой.

А теперь мы на время покинем Элизу и посмотрим, что делают ее преследователи.

* * *

Хотя миссис Шелби и обещала не задерживать обеда, но, как говорит старая пословица, «один в поле не воин». Соответствующее распоряжение было отдано в присутствии Гейли и доведено до сведения тетушки Хлои. Однако сия важная особа, выслушав по меньшей мере пятерых юных посланцев, вместо ответа сердито фыркнула, вскинула голову и продолжала свое дело с необычной для нее медлительностью и кропотливостью.

По каким-то непонятным причинам у всей прислуги создалось впечатление, что хозяйка не будет очень сетовать на задержку, и приходилось только дивиться, сколько всяких помех замедляло ход дела! Одно злосчастное существо ухитрилось опрокинуть соус, и соус пришлось делать заново с должной тщательностью и с соблюдением сложнейших правил его изготовления. Тетушка Хлоя не сводила с него глаз, еле-еле помешивая в кастрюле ложкой, и на все просьбы поторопиться строго отвечала, что «она не собирается подавать на стол недоваренный соус по милости тех, кому понадобилось кого-то ловить». Другой из ее подручных упал с ведром, и к колодцу пришлось идти второй раз. Третий пролил масло. Время от времени на кухню прибегал кто-нибудь и, хихикая, сообщал, что «мистер Гейли сам не свой, не сидится ему не стуле, ходит взад и вперед; то в окно взглянет, то на веранду выбежит».

— И поделом! — негодовала тетушка Хлоя.— Сейчас сам не свой, а дальше ему еще хуже будет, если не образумится. Когда-нибудь спросится с него за все грехи! Посмотрим, что он тогда запоет!

— Быть ему в аду, это как пить дать! — сказал маленький Джейк.

— Туда ему и дорога,— мрачно подтвердила тетушка Хлоя.— Сколько сердец из-за него кровью обливается!

Тетушку Хлою, пользовавшуюся большим уважением на кухне, всегда слушали с открытым ртом, и теперь, когда обед был уже подан на стол, все внимали на свободе ее словам и по мере сил участвовали в беседе.

— Гореть такому на вечном огне! Ведь правда? — сказал Энди.

— Вот бы полюбоваться, как это будет! — воскликнул Джейк.

— Дети! — раздался голос.

И, услышав его, все вздрогнули. Это был дядя Том, который, остановившись в дверях, слушал их разговор.

— Дети,— повторил он,— вы сами не знаете, о чем говорите. «Вечность» — страшное слово, дети мои. О ней и думать нельзя без ужаса. Вечные мучения! Этого никому нельзя пожелать.

— Такие кровопийцы не в счет,— сказал Энди.— Им, злодеям, все этого желают.

— Сама природа против них вопиет,— сказала тетушка Хлоя.— Разве они не продают младенцев, не отрывают их от материнской груди? И постарше ребятишек тоже продают; те плачут, цепляются за материнскую юбку, а этим извергам хоть бы что — отнимут у матери и продадут. А разве им не приходилось разлучать жену с мужем? — Тетушка Хлоя всхлипнула.— Ведь это все равно, что жизни человека лишить! Им-то горя мало — веселятся, вино пьют, трубочку покуривают. Если и сатане до них дела нет, так зачем он тогда нужен! — Она закрыла лицо клетчатым передником и заплакала навзрыд.

— Священное писание говорит: молись за врагов своих,— сказал дядя Том.

— Молись за врагов? — воскликнула тетушка Хлоя.— Нет! Это мне не по силам. Не могу я за них молиться!

— Ты говоришь, Хлоя, «сама природа против них вопиет». Да, природа сильна в нас, но милость господня преодолеет и ее. Ты только подумай, какая у него душа, у этого человека, и благодари бога, что он сотворил тебя иной. Да пусть меня продадут еще десять раз, только бы мне не иметь его грехов на совести!.. Хорошо, что хозяин никуда не уехал сегодня,— продолжал Том.— Мне было бы очень тяжело перенести это, тяжелее, чем то, что меня продали. Правда, ему-то легче бы уехать. А каково мне? Ведь я его с детских лет знаю... Все-

таки повидались мы с ним, и теперь я покорился воле божией. Хозяин наш ничего другого не мог поделать и рассудил правильно. Боюсь я только, как бы тут без меня не пошло все прахом. Ведь он не станет приглядывать за каждой мелочью, входить во все, как я входил. Народ у нас неплохой, только очень уж беспечный. Вот я о чем тревожусь

В эту минуту раздался звонок, и Тома позвали в гостиную.

— Том,— ласково начал мистер Шелби,— я хочу, чтобы ты знал следующее: если тебя не окажется на месте, когда этот джентльмен за тобой приедет, мне придется уплатить ему тысячу долларов неустойки. Сегодня он займется другими делами, и ты волен располагать собой. Можешь отлучиться куда угодно.

— Спасибо, хозяин,— сказал Том.

— Запомни это хорошенько,— ввязался в разговор работорговец,— и не вздумай надуть мистера Шелби. Если ты убежишь, я с него все до единого цента взыщу. Говорю ему: не доверяйте неграм, негр — что твой угорь: секунда — и выскользнул из рук, да он меня не слушает.

— Хозяин,— сказал Том, выпрямившись,— мне шел девятый год, когда старая миссис поручила мне вас, а вам тогда и годика не было. «Вот, говорит, Том, это твой маленький хозяин, береги его». И теперь я вас спрашиваю: разве Том хоть когда-нибудь обманывал своего хозяина, хоть когда-нибудь позволял себе ослушаться его?

Мистер Шелби был глубоко взволнован, слезы выступили у него на глазах.

— Друг мой,— сказал он,— видит бог, ты говоришь правду, и будь у меня хоть малейшая возможность, я бы не продал тебя ни за какие деньги.

— Веръ мне, Том,— сказала миссис Шелби,— как только я скоплю нужную сумму, мы тебя немедленно выкупим... Сэр,— обратилась она к Гейли,— хорошенько разузнайте человека, которому вы будете продавать Тома, и известите меня, к кому он попадет.

— Непременно извещу,— ответил работорговец.— А может, через годик привезу вашего Тома в целости и сохранности обратно и предложу вам же.

— Мы купим его, и вы на этом хорошо заработаете,— сказала миссис Шелби.

— Ну что ж, мне все равно, кому бы ни продать, лишь бы себе не в убыток. Жить-то надо, сударыня! У нас у всех это первая забота.

Миссис и мистера Шелби коробила наглая развязность работорговца. Чем ярче проявлялись грубость и бессердечие

этого человека, тем больнее сжималось сердце миссис Шелби при мысли о том, что ему, быть может, удастся поймать Элизу с ребенком, и тем усерднее пускала она в ход разные женские уловки, стараясь во что бы то ни стало задержать его. Она любезно улыбалась, поддакивала ему, непринужденно болтала — одним словом, делала все, чтобы время текло незаметно.

Ровно в два часа Сэм и Энди подвели к веранде лошадей, которых утренние скачки, по всей видимости, только освежили и подбодрили.

Сэм, подкрепившись сытным обедом, был полон рвения и готовности сразу пуститься в погоню. Когда Гейли подошел к коновязи, Сэм, не скупясь на слова, стал хвастаться перед Энди, что при его участии «дело выгорит».

— Ваш хозяин собак не держит? — в раздумье спросил Гейли, ставя ногу в стремя.

— Да у нас их целая свора! — воскликнул Сэм.— Вон видите Бруно — зверь, а не пес! И у негров почти у каждого по собачке.

Гейли презрительно фыркнул и добавил еще несколько весьма нелестных слов по адресу вышеупомянутых животных, на что Сэм пробормотал:

— Что вы их зря обижаете?

— А ищеек, с которыми негров выслеживают, у вашего хозяина нет? Впрочем, что спрашивать, я и сам это знаю.

Сэм прекрасно его понял, но продолжал прикидываться простачком:

— У наших собак чутье хоть куда. Вам, верно, таких и надо. Правда, они не натасканы выслеживать негров, но собаки хорошие, их только науськать надо как следует... Бруно!— Он свистнул огромному ньюфаундленду, и тот радостно бросился на его зов.

— Поди ты к черту! — сказал Гейли, садясь в седло.— Ну ладно, пошевеливайся!

Сэм выполнил это приказание, ухитрившись незаметно ткнуть Энди пальцем в бок. Тот так и прыснул со смеху, отчего Гейли пришел в ярость и замахнулся на него хлыстом.

— Удивляюсь я тебе, Энди,— степенно проговорил Сэм.— Дело такое серьезное, а ты все хи-хи-хи да ха-ха-ха! Эдакие помощники мистеру Гейли не нужны.

— Поедем напрямик к реке,— решительно сказал работорговец, когда они выехали на границу поместья.— Я этих беглых негров знаю: они все к подпольной дороге* тянутся.

— Правильно! — воскликнул Сэм.— Мистер Гейли без промаха в самую цель бьет! Теперь я вот что вам скажу: к

реке можно проехать и по старой дороге и проселком. Как мистер Гейли решит?

Энди в простоте душевной с удивлением воззрился на Сэма, впервые слыша о таком факте из области географии, но тут же горячо подтвердил его слова.

— Мне думается,— продолжал Сэм,— что Лиззи выбрала старую дорогу, потому что там не так людно.

Гейли, человек опытный и привыкший опасаться всяческих подвохов, все же попался на эту удочку.

— Вам, пожалуй, поверишь, лгунам бессовестным...— сказал он после минутного размышления.

Неуверенный, задумчивый тон, которым были произнесены эти слова, так развеселил Энди, что он отъехал немного в сторону и весь затрясся от беззвучного хохота, рискуя, того и гляди, свалиться с седла. Но ни один мускул не дрогнул на физиономии Сэма, и он продолжал с серьезной миной взирать на Гейли.

— Дело ваше, сударь. Если решите ехать проселком, так и поедем. Нам, сударь, все равно. Пожалуй, оно и вернее будет, как поразмыслишь.

— Разумеется, она выбрала безлюдную дорогу,— продолжал Гейли размышлять вслух, не обращая внимания на Сэма.

— Да кто ее знает,— сказал Сэм.— Женщины — чудной народ. Поди угадай, что у них на уме! Думаешь, так сделают, а глядишь, все получилось шиворот-навыворот. Они от природы такие. Если вы рассчитываете, что она пошла старой дорогой, поезжайте по другой — тогда наверняка найдете. Я лично думаю, что Лиззи старую дорогу и выбрала; значит, нам надо сворачивать на проселок.

Эта глубокомысленная оценка всей женской половины рода человеческого не расположила Гейли к выбору проселка. Он решительно заявил, что надо ехать старой дорогой, и спросил Сэма, когда они до нее доберутся.

— Добраться-то недолго,— ответил Сэм, подмигнув Энди одним глазом. Потом добавил: — Но я думал, думал, и, по-моему, нам этой дорогой ехать не стоит. Я там никогда не бывал. Она безлюдная — еще заплутаемся, не приведи господь.

— И все-таки поедем по ней,— сказал Гейли.

— Вот я еще что вспомнил: говорят, она перегорожена у речки. Верно, Энди?

Энди сказал, что тоже никогда не ездил этой дорогой и знает о ней только понаслышке. Короче говоря, добиться от него путного ответа не удалось.

Гейли, привыкший отыскивать правду где-то посередине между преподносимыми ему выдумками, остановил свой вы-

бор на старой дороге. Он решил, что Сэм сболтнул о ней ненароком, а потом спохватился и, не желая подводить Элизу, всячески изворачивается, лишь бы уговорить его ехать другим путем.

Поэтому, как только Сэм показал ему старую дорогу, он пришпорил коня и поскакал по ней в сопровождении обоих негров.

Дорога эта действительно вела когда-то к реке, но после того как проложили новый проселок, ею никто не пользовался. Первые несколько миль по ней еще можно было ехать, но дальше она упиралась в огороженные поля и фермы. Сэм прекрасно знал об этом, а Энди на самом деле не подозревал о существовании старой дороги, ибо на его памяти по ней уже никто не ездил. Поэтому он с должной покорностью трусил за Гейли и лишь изредка принимался стонать и жаловаться, что теперь Джерри окончательно собьет себе ногу.

— Вы лучше помалкивайте! — сказал Гейли.— Меня не проведешь! Все равно с этой дороги не сверну, сколько бы вы ни скулили.

— Ваше дело хозяйское,— покорно ответил Сэм и так многозначительно подмигнул Энди, что тому стоило больших трудов удержаться от нового взрыва веселья.

Сэм был настроен чрезвычайно бодро. Он метался из стороны в сторону, притворяясь, что высматривает беглянку, и то ухитрялся увидеть «чей-то капор» на вершине какого-нибудь холма вдалеке, то спрашивал Энди: «Не Лиззи ли бежит вон по той ложбине?» Все свои замечания Сэм приноравливал к самым неровным и каменистым местам дороги, где погонять лошадей было почти невозможно, и таким образом не давал Гейли ни минуты покоя.

Через час всадники галопом спустились с крутого косогора к большому сараю. На дворе возле него не было ни души: по-видимому, все обитатели фермы работали в поле. Но так как сарай стоял как раз посередине дороги, было ясно, что в этом направлении их путешествие можно считать оконченным.

— Что я вам говорил, сударь? — сказал Сэм с видом оскорбленной невинности.— Вы человек не здешний, наших мест не знаете, а мы здесь родились и выросли.

— Мерзавец! — крикнул Гейли.— Ты знал, что здесь нет проезда!

— А разве я вам этого не говорил? Да ведь вы и слушать меня не захотели! А я предупреждал: сударь, дорога перегорожена, там ни пройти ни проехать. Спросите Энди, он все слышал.

Сэм был прав — спорить не приходилось, и незадачливому

Гейли не оставалось ничего другого, как подавить свою досаду и повернуть обратно.

Вследствие всех этих задержек погоня достигла поселка на берегу реки Огайо минут через сорок после того, как Элиза уложила Гарри спать в маленькой придорожной гостинице. Она стояла у окна, глядя в противоположную от Сэма сторону, но ему достаточно было одного взгляда, чтобы узнать ее, Гейли и Энди ехали сзади. В эту критическую минуту Сэм ухитрился сделать так, что у него снесло ветром панаму, и он громко крикнул. Услышав знакомый голос, Элиза отпрянула в глубь комнаты: всадники проскакали мимо окна и остановились у входной двери.

Тысячу жизней прожила Элиза в один этот миг. Дверь спальни выходила прямо на реку. Она схватила ребенка и бросилась вниз по ступенькам. Работорговец увидел ее уже у самого берега, спрыгнул с седла и, окликнув Сэма и Энди, кинулся в погоню за ней, словно гончая за оленем. Элизе казалось, что ее ноги еле касаются земли; секунда — и она уже подбежала к самой воде. Преследователи были совсем близко. Полная той силы, которая появляется у человека, доведенного до отчаяния, Элиза дико вскрикнула и в один прыжок перенеслась через мутную, бурлящую у берега воду на льдину. Такой прыжок можно было сделать только в припадке безумия, и, глядя на нее, Гейли, Сэм и Энди тоже невольно вскрикнули и взмахнули руками.

Огромная зеленоватая льдина накренилась и затрещала, но Элиза не задержалась на ней. Громко вскрикивая, она бежала все дальше и дальше, прыгала через разводья, скользила, спотыкалась, падала... Туфли свалились у нее с ног, чулки были разорваны, исцарапанные ступни оставляли кровавые следы на льду. Но она ничего этого не замечала, не чувствовала боли и очнулась лишь тогда, когда увидела перед собой смутно, словно во сне, противоположный берег и человека, протягивающего ей руку.

— Смелая вы женщина! — сказал этот человек.

Элиза признала в нем фермера, жившего недалеко от ее прежнего дома.

— Мистер Симз, спасите... умоляю вас... спрячьте меня! — крикнула она.

— Позвольте! — сказал тот.— Да ведь вы у Шелби живете!

— Моего ребенка... сына... продали! Вон его хозяин! — И она показала на другой берег.— Мистер Симз, у вас тоже есть сын!

— Да, есть! — сказал он с грубоватой лаской в голосе, по-

могая ей взобраться на крутой берег.— Кроме того, вы храбрая женщина, а я люблю таких вот отчаянных.

Поднявшись вместе с Элизой на берег, Симз остановился и сказал:

— Я бы рад вам помочь, да мне некуда вас спрятать. Могу только посоветовать: идите вон туда.— И он показал на большой белый дом, стоявший немного в стороне от главной улицы поселка.— Туда идите, там живут добрые люди. Им не впервой, они всем помогают и вас из любой беды выручат.

— Да благословит вас бог! — с чувством сказала Элиза.

— Пустяки! — ответил Симз.— Есть о чем говорить!

— Сэр! Вы никому про меня не расскажете?

— Да будет вам, конечно, не расскажу! За кого вы меня принимаете! Ну, счастливого пути. Свобода вам досталась не даром, и никто у вас ее не отнимет, помяните мое слово!

Молодая женщина прижала ребенка к груди и быстрыми, твердыми шагами пошла прочь от берега. Симз долго смотрел ей вслед.

«Шелби, наверно, сказал бы, что добрые соседи так не поступают. А что мне было делать? Если какая-нибудь из моих негритянок сбежит и попадется ему на глаза, пусть отплатит мне той же монетой. Не любитель я смотреть, как на человека спускают собак, а он бежит из последних сил, задыхается. Да вообще, с какой стати я буду ловить чужих невольников?»

Так рассуждал этот бедный, невежественный житель штата Кентукки, не разбиравшийся толком в законах своей страны и поступивший по совести, чего вряд ли можно было бы от него ожидать, если б он занимал более высокое положение в обществе и был бы человеком более осведомленным.

Гейли стоял как вкопанный, наблюдая за этой сценой, а когда Элиза скрылась из виду, он обратил недоуменно-вопрошающий взгляд на Сэма и Энди.

— Вот это здорово! — воскликнул Сэм.

— Дьявол, что ли, вселился в эту женщину? — растерянно проговорил Гейли.— Как дикая кошка прыгала!

— Ну, сударь, надеюсь, туда вы нас не пошлете? — сказал Сэм, почесывая голову.— Я скакать по льдинам не берусь, уж не взыщите.— И он захихикал.

— Ты еще посмейся у меня! — рявкнул на него работорговец.

— Ох, сударь, сил моих больше нет! — И, дав себе волю, Сэм расхохотался во все горло.— Уж больно смешно было смотреть — прыг, скок... льдины трещат... плюх, плюх! шлеп!

Дальше бежит! И какая ловкая! — Сэм, а с ним заодно и Энди так покатывались со смеху, что их даже слеза прошибла.

— Как бы вам сейчас не захныкать! — крикнул работорговец, замахиваясь на них хлыстом.

Увернувшись от удара, они с криком бросились бежать вверх по берегу к лошадям.

— Всего вам хорошего, сударь! — степенно сказал Сэм.— Миссис, наверно, давно уж беспокоится о Джерри. Мы мистеру Гейли больше не нужны. Миссис никогда бы нам не позволила гнать лошадей по тому мостику, по которому бежала Лиззи.

Сэм ткнул Энди кулаком в бок, и они поскакали прочь, заливаясь хохотом, отголоски которого ветер еще долго доносил до Гейли.

Глава VIII

СПАСЕНА!

Элиза перебежала на берег штата Огайо, когда начали спускаться сумерки. Она сразу скрылась в седом вечернем тумане, медленно поднимавшемся над рекой, а разлив и ледоход представляли собой непреодолимое препятствие для ее преследователя. Раздосадованный Гейли повернулся и медленно побрел к гостинице, раздумывая, что же предпринять дальше. Хозяйка впустила его в маленькую комнатку, где стоял стол, покрытый блестящей черной клеенкой, и несколько стульев с высокими спинками. Пол был устлан ковром, сшитым из лоскутков; над очагом, в котором еле теплился огонь, стояли на полочке ярко размалеванные гипсовые статуэтки. Гейли сел на длинную, грубо сколоченную скамью у очага и погрузился в размышления о суетности человеческих надежд и человеческого счастья.

— Дался же мне этот мальчишка! — бормотал работорговец.— Остался теперь в дураках по его милости! — И он отпустил по своему адресу такой набор проклятий, что мы, повинуясь чувству благопристойности, не будем приводить их здесь, хотя они были вполне им заслужены.

Громкий, резкий голос у дверей гостиницы прервал самобичевания Гейли, и он подошел к окну.

— Ах, черт возьми! Вот удача-то! Правду люди говорят — судьба. Неужто это Том Локкер?

Гейли быстро распахнул дверь. У стойки, в углу комнаты, стоял детина огромного роста и очень широкий в плечах. На нем была куртка из буйволовой кожи мехом наружу, прида-

вавшая его и без того свирепой физиономии нечто звероподобное. Необузданная жестокость сквозила во всем его облике. Если читатель способен вообразить бульдога, разгуливающего на задних лапах в куртке и шляпе, он получит полное представление об этом человеке. Его спутник был полной противоположностью ему. Маленький, щуплый, он напоминал движениями кошку, а его настороженность и явную пронырливость еще больше подчеркивали пронзительный взгляд черных глаз, тонкий, длинный нос и темные волосы, вихрами торчавшие надо лбом.

Великан налил полстакана виски и выпил его залпом. Маленький встал на цыпочки, повертел головой, словно принюхиваясь к бутылкам, и наконец дрожащим, тоненьким голосом заказал себе порцию мятной. Получив стакан, он бросил на него самодовольный взгляд, видимо уверенный в правильности своего выбора, и стал потягивать мятную маленькими, осторожными глотками.

— Ну и повезло мне! Какая приятная встреча! Здравствуй, Локкер! — сказал Гейли, подходя к стойке с протянутой рукой.

— Вот черт! — последовал «вежливый» ответ.— Как ты сюда попал, Гейли?

Его спутник, которого звали Мэркс, мгновенно отнял стакан ото рта и, вытянув шею, уставился на незнакомца — ни дать ни взять кошка, когда она собирается сцапать сухой лист или какой-нибудь другой движущийся предмет.

— До чего же я тебе рад, Том! У меня такая беда стряслась! Выручай! Вся надежда на тебя одного.

— Ну конечно! — буркнул тот.— Уж если ты кому рад, значит, это неспроста, значит, что-нибудь понадобилось. Ну, говори, в чем дело?

— Это твой приятель? — спросил Гейли, недоверчиво глядя на Мэркса.— Наверно, компаньон?

— Да. Познакомься. Мэркс, это тот самый, с кем я работал в Натчезе.

— Очень рад,— сказал Мэркс, протягивая Гейли свою длинную, сухую, как птичья лапа, руку.— Имею честь видеть мистера Гейли?

— Он самый, сэр,— ответил работорговец.— А теперь, джентльмены, по случаю такой счастливой встречи разрешите вас угостить... Эй ты, любезный,— обратился он к человеку за стойкой,— подай-ка нам горячей воды, сахару, сигар и побольше живительной влаги. Сейчас закатим здесь пир на весь мир!

И вот свечи зажжены, огонь в очаге разгорается жарче, и трое наших почтенных джентльменов восседают за столом,

на котором выставлены все перечисленные выше угощения, способствующие дружеской беседе.

Гейли весьма трогательно описал свои неудачи. Локкер хмуро молчал и слушал его внимательно. Мэркс хлопотал над приготовлением пунша по собственному рецепту, но время от времени отрывался от этого занятия и совал свой острый подбородок и нос чуть ли не в самое лицо Гейли, стараясь не пропустить ни одного слова. Конец рассказа, видимо, доставил ему огромное удовольствие, так как он затрясся от беззвучного смеха, скривив свои тонкие губы:

— Выходит, здорово вас надули! Хи-хи-хи! И как все чисто сделано!

— Одни хлопоты с этими мальчишками! — вздохнул Гейли.

— Да-а! Вырастить бы такую породу женщин, которые не любили бы своих детенышей! Вот это было бы усовершенствование! — И Мэркс сопроводил свою шуточку легким смешком.

— Вот именно! — сказал Гейли.— И чего они так за них цепляются, ей-богу, не понимаю! Ведь им с этими ребятишками одно горе. Уж, кажется, отделались от такой обузы, и слава богу. Так нет! Глядишь, заморыш какой-нибудь, ни цента не стоит, а им такие будто еще милее.

— Передайте-ка мне горячую воду, мистер Гейли,— сказал Мэркс.— Да, сэр, с вами нельзя не согласиться. Когда я еще занимался торговлей, попалась мне раз одна негритянка — здоровая, рослая и к тому же смышленая, а мальчишка у нее был хворый какой-то... горбатый, что ли... не знаю. Я отдал его одному человеку задаром — рискни, мол, может, что и заработаешь. Мне и в голову не пришло, что мать будет так убиваться. А вы бы посмотрели, что она вытворяла! Мальчишка хилый, капризный, казалось бы — одно мучение с ним, а она в нем души не чает! И притворства тут никакого не было — плачет-разливается, места себе не находит, будто одна-одинешенька осталась на всем белом свете. Смех смотреть! Да, женщины народ чудной, от них всего можно ждать.

— У меня тоже был такой случай,— подхватил Гейли.— Прошлым летом купил я на Красной реке одну негритянку с ребенком. Ребенок был ничего — смазливенький, глаза такие живые, блестящие, и, представьте себе, оказался слепой. Ничего не видит! Ну, думаю, сплавлю это сокровище куда-нибудь и уже сговорился сменять на бочонок виски. А попробовал взять его у матери — ну, куда там! Сущая тигрица, и не подступишься. А дело было у пристани, мы еще не отчалили, и вся моя партия была без кандалов. Так что, вы думаете, она сделала? Вскочила на кипу хлопка, точно кошка, и выхватила

нож у одного матроса. Все от нее шарахнулись кто куда, а потом она поняла, что все равно не убежишь, и прямо вниз головой кинулась в реку вместе с ребенком — только их и видели.

Том Локкер, слушавший их рассказы с плохо скрываемым презрением, громко фыркнул:

— Растяпы вы оба! У меня негритянки таких штук не проделывают.

— Да ну! Как же ты с ними справляешься? — живо спросил Мэркс.

— Как справляюсь? А вот как. Скажем, покупаю я негритянку, и, если при ней ребенок, которого можно продать, я тычу ей кулаком в нос и говорю: «Вот, видала? Попробуй только пискнуть — изобью нещадно. Чтоб я от тебя ни слова, ни полслова не услышал. Ребенок, говорю, мой, а не твой, и ты о нем забудь. Я его продам при первом же удобном случае, и не вздумай тут буянить, не то пожалеешь, что на свет божий родилась». Уверяю вас, они прекрасно понимают, что со мной шутки плохи, и молчат как рыбы. А если какая-нибудь вдруг начнет голосить...— Мистер Локкер стукнул кулаком по столу, заменив этим выразительным жестом недосказанные слова.

— Убедительно, что и говорить! — сказал Мэркс и, ткнув Гейли пальцем в бок, захихикал.— Ну и штучка наш Том! Хи-хи-хи! Он какого угодно безмозглого негра образумит. Да, Том, если ты и не сам дьявол, так родным братцем ему приходишься.

Том выслушал эту похвалу с подобающей скромностью, а Мэркс тут же обратился к Гейли:

— Так чего же вы от нас хотите? Чтобы мы поймали вашу беглянку?

— Мне на нее наплевать, она не моя, а Шелби. Все дело в мальчишке. Дурак я был, что связался с этим чертенком!

— А ты всегда был дураком,— буркнул Локкер.

— Ну-ну, Том, брось грубить! — сказал Мэркс и облизнул губы.— Насколько я понимаю, мистер Гейли предлагает нам выгодное дельце... Помолчи минутку, я с ним обо всем договорюсь, это по моей части... Итак, мистер Гейли, что это за женщина? Какая она?

— Красивая, цвет кожи светлый, хорошего воспитания. Я бы за нее ни восьмисот, ни тысячи долларов не пожалел — и то бы неплохо на ней заработал.

— Цвет кожи светлый, красивая и хорошо воспитана,— повторил Мэркс, и его нос, рот и черные глазки пришли в движение.— Слушай, Локкер, а ведь это соблазнительно! Давай возьмемся. Поймаем их обоих. Мальчишку, конечно, вер-

нем мистеру Гейли, а мать отвезем в Новый Орлеан и продадим. Плохо ли!

Локкер, слушавший своего приятеля с открытым ртом, щелкнул зубами, точно собака, которой достался кусок мяса, и погрузился в размышления, как бы пережевывая эту новую идею.

— Дело обстоит так,— сказал Мэркс, обращаясь к Гейли и помешивая свой пунш,— здесь, по всему побережью, очень покладистые судьи, с которыми вполне можно договориться. Том — мастер по кулачной части. Зато, когда надо присягнуть в чем-нибудь, тут уж на сцену выступаю я. Разоденусь в пух и прах, сапоги начищу и являюсь в суд. Вы бы посмотрели, как у меня это получается! — воскликнул он, сияя от гордости.— Сегодня я — мистер Твикем из Нового Орлеана, завтра — плантатор, только что приехавший с Жемчужной реки, где у меня до семисот негров, а то еще назовусь дальним родственником Генри Клея или какого-нибудь другого почтенного джентльмена из Кентукки. Таланты бывают разные. Например, когда нужно пустить в ход кулаки, лучше Тома этого никто не сделает, но приврать он не умеет — не выходит это у него. А вот если понадобится присягнуть в чем угодно и кому угодно и скорчить при этом постную физиономию, то на это я дока, лучшего во всей стране не найдете! Я в любую щелку пролезу, даже если бы судьи у нас были построже. Иной раз просто обидно становится, что нет у них настоящей строгости,— слишком уж легко все дается, никакого удовольствия не получаешь...

Том Локкер, который, как мы уже отметили, не отличался быстротой соображения, вдруг перебил разглагольствования Мэркса, с такой силой ударив своим тяжелым кулаком по столу, что зазвенела вся посуда.

— Согласен! — крикнул он.

— Господь с тобой, Том, зачем же стаканы бить! — сказал Мэркс.— Прибереги свой кулак до поры до времени, он тебе еще понадобится.

— Позвольте, джентльмены, а как будет со мной? Я получу свою долю прибыли? — спросил Гейли.

— А то, что мы поймаем мальчишку, этого мало? — сказал Локкер.— Чего тебе еще нужно?

— Да ведь я как-никак предлагаю вам выгодное дело, это чего-нибудь да стоит... Ну, скажем, десять процентов, за вычетом расходов.

— Что? — заорал Локкер и выругался, опять стукнув по столу кулачищем.— Будто я тебя не знаю, Ден Гейли! Хочешь меня надуть? Нет, в самом деле, даром, что ли, мы с Мэрксом ловим беглых негров в угоду таким вот белоручкам! Как же,

держи карман! Женщина будет наша, а если ты начнешь скандалить, то мы и мальчишку себе заберем. Кто нам помешает? Ты нас навел на след? Навел. Значит, теперь шансы равные. Если вы с Шелби вздумаете пуститься за нами в погоню, воля ваша — ищите ветра в поле; а найдете — наше вам почтение.

— Ну хорошо, хорошо, пусть будет по-твоему,— заторопился перепуганный Гейли.— Верните мне только мальчишку. Ты, Том, меня никогда не обманывал, я твоему слову верю.

— Еще бы не верить! — сказал Том.— Я не такой, как ты, слезу пускать не умею, но что касается деловых расчетов, так тут я самого дьявола не обману. Как сказал, так и сделаю, и ты прекрасно это знаешь, Ден Гейли.

— Правильно, Том, правильно, я то же самое говорю. Ты мне только пообещай, что через неделю мальчишка будет у меня, и сам назначь место, куда за ним приехать. Больше мне ничего не нужно.

— Зато мне нужно,— сказал Том.— Я ведь недаром вел с тобой дела в Натчезе. Это мне наука была: если поймал угря, держи его крепко. Так вот, раскошеливайся, изволь выложить пятьдесят долларов, иначе не видать тебе твоего мальчишки. Я знаю, как с тобой уговариваться.

— Вот это уж напрасно, Том,— сказал Гейли.— Ведь у тебя чистой прибыли будет тысяча долларов, а то и тысяча шестьсот.

— Ты почем знаешь? Может, у нас своих дел на целый месяц хватило бы! А теперь мы всё бросим и начнем всюду рыскать, искать твоего мальчишку и в конце концов не найдем. Ты сам знаешь, легко ли женщину поймать. А если не поймаем, что тогда? Заплатишь ты нам хоть сколько-нибудь? Как бы не так! Нет-нет, выкладывай пятьдесят долларов! Если наше дело выгорит и себя оправдает, получишь их обратно. Если нет, это пойдет нам за труды... Правильно я рассудил, Мэркс?

— Конечно, правильно,— примирительным тоном сказал тот.— Пятьдесят долларов будет в виде залога. Хи-хи-хи! Мы законники — ничего с нами не поделаешь. Зачем ссориться? Давайте по-хорошему. Мистер Гейли, скажите, куда вам доставить мальчишку, и Том так и сделает. Верно, Том?

— Если я его найду, приезжай за ним в Цинциннати. Он будет на пристани, у бабки Белчер,— сказал Локкер.

Мэркс вынул из кармана засаленный бумажник, достал оттуда листок и, уставившись в него своими острыми черными глазками, начал читать вполголоса:

— «Барнс, округ Шелби, негр Джим... триста долларов,

доставить живым или мертвым... Эдвардс Дик и Люси, муж и жена,— за поимку шестьсот долларов. Негритянка Полли с двумя детьми — шестьсот долларов... Столько же за одну ее голову». Я смотрю, какие у нас есть дела, сможем ли мы взяться за ваше... Локкер,— сказал он после паузы,— этими давно пора заняться. Поручим их Адамсу и Спрингеру.

— Сдерут втридорога,— ответил Том.

— Я сам с ними поговорю. Они в этом деле новички, и запрашивать им не годится.— Мэркс снова взялся за свой список.— Все три поимки легкие... пристрелить на месте или показать под присягой, что пристрелены, больше ничего не требуется. За такую безделицу можно посчитать подешевле. А с другими время терпит.— Он сложил бумагу.— Теперь ближе к делу. Итак, мистер Гейли, вы видели, как эта женщина перебежала через реку?

— Как вас сейчас вижу.

— И человека, который помог ей взобраться на берег? — спросил Локкер.

— Тоже видел.

— Ее, по всей вероятности, где-нибудь спрятали,— сказал Мэркс.— Но где? Вот вопрос. Ну, Том, слово за тобой.

— Чего тут раздумывать? Надо сегодня же переправиться на тот берег,— ответил Том.

— Да ведь лодки-то нет,— возразил Мэркс.— Ледоход очень сильный, Том. Опасно!

— Я знать ничего не желаю! Хочешь не хочешь, а переправиться надо,— отрезал Локкер.

— Ах ты боже мой! — засуетился Мэркс.— Как же быть...— Он подошел к окну.— Темно, ни зги не видно... Том...

— Короче говоря: ты струсил, Мэркс? Тебе, видно, хочется посидеть здесь денек-другой, пока эту женщину не переправят по подпольной дороге до Сандаски?*

— Ничуть я не струсил,— сказал Мэркс,— только...

— Только что?

— Как быть с переправой? Ведь лодок сейчас не найдешь.

— Здешняя хозяйка говорила, что вечером лодка будет — какому-то человеку понадобилось на ту сторону. Нам во что бы то ни стало надо к нему пристроиться,— сказал Том.

— Собаки у вас хорошие? — спросил Гейли.

— Собаки-то замечательные,— ответил Мэркс,— да какой от них толк? Ведь у вас ее вещей не осталось, на след навести нечем?

— Кое-что есть! — торжествующе заявил Гейли.— Она второпях забыла свою шаль на кровати. Шаль и капор.

— Нам везет! — сказал Локкер.— Давайте их сюда.

— Только как бы ее собаки не изувечили,— спохватился Гейли.

— Гм, действительно! — сказал Мэркс.— В Мобайле наши собачки чуть не загрызли одного негра. Едва успели их оттащить.

— Это не годится. Ведь такой товар за красоту и ценится.

— Правильно,— согласился Мэркс.— Да и то сказать, в Северных штатах с собаками вообще делать нечего. С ними хорошо работать здесь, на плантациях, где беглому негру никто не помогает.

— Ну-с, так,— сказал Локкер, вернувшийся от стойки после разговора с хозяином гостиницы,— лодка будет, этот человек пришел. Значит, Мэркс...

Сей храбрый муж бросил унылый взгляд на уютную комнату, которую приходилось покидать, но все же покорно встал с места. Гейли перекинулся с Локкером несколькими словами относительно дальнейшего, с явной неохотой вручил ему пятьдесят долларов, и почтенная компания разошлась.

Наши благовоспитанные читатели, пожалуй, будут недовольны, что мы вводим их в такую компанию, но это предрассудок, с которым не мешает поскорее расстаться, ибо охота за беглыми неграми занимает теперь место среди самых уважаемых профессий в Америке и почитается гражданской доблестью. Если же все огромное пространство между Миссисипи и Тихим океаном превратится в рынок, где торгуют человеческими телами и душами, а живой товар сохранит свою тягу к передвижению, работорговцы и охотники за беглыми рабами, того и гляди, приобщатся к нашей аристократии.

* * *

Пока в гостинице разыгрывалась эта сцена, Энди и Сэм, оба в отличном состоянии духа, возвращались домой.

Сэм ликовал, выражая свой восторг дикими воплями, гиканьем и резкими телодвижениями и жестами. Он то перевертывался в седле задом наперед, лицом к хвосту лошади, то, отчаянно гикнув, садился как следует и начинал строго отчитывать Энди за непрестанный хохот и дурачества, а потом, ухватившись за бока, принимался хохотать сам, да так громко, что гул шел по лесу. Все эти проделки не мешали им скакать во весь опор, и в одиннадцатом часу вечера на усыпанной гравием дорожке, ведущей к веранде, послышалось цоканье подков. Миссис Шелби подбежала к перилам.

— Это ты, Сэм? А где остальные?

— Мистер Гейли решил отдохнуть в гостинице. Он ужасно устал, миссис.

— А Элиза, Сэм?

— Она на том берегу Иордана, в земле Ханаанской*, если дозволено так выразиться.

— Что ты говоришь, Сэм!— прерывающимся голосом воскликнула миссис Шелби, чувствуя, как у нее подкашиваются ноги от ужаса, ибо она истолковала слова Сэма по-своему.

— Да, да, миссис Шелби, господь защищает своих рабов. Лиззи перебралась через реку в Огайо, да так быстро, словно сам господь перевез ее туда на огненной колеснице, запряженной двумя конями.

В присутствии хозяйки благочестие Сэма не знало границ, и он особенно охотно черпал свои сравнения и образы из Библии.

— Сэм, пойди сюда,— сказал мистер Шелби, выходя на веранду.— Расскажи все толком... Успокойтесь, Эмили!— Он обнял жену за талию.— Вы вся дрожите. Ну зачем эта излишняя чувствительность!

— Излишняя чувствительность? Разве я не женщина, не мать? Разве мы оба не отвечаем перед богом за несчастную Элизу? Господи, прости нам этот грех!

— Какой грех, Эмили? Мы поступили так, как нам повелевал долг.

— А меня терзает чувство вины,— сказала миссис Шелби,— и никакие доводы рассудка не могут победить его.

— Энди! Поворачивайся живей, черномазый! — крикнул Сэм.— Отведи лошадей на конюшню. Слышишь, хозяин меня требует?— И через минуту он появился в дверях гостиной, держа в руках свою панаму из пальмовых листьев.

— Ну, Сэм, выкладывай все по порядку,— сказал мистер Шелби.— Где Элиза?

— Я, хозяин, сам, своими глазами, видел, как она перебежала по льдинам в Огайо. И так ловко — мы просто диву дались! Чудо, да и только! А какой-то человек помог ей взобраться на берег, это я тоже видел, а больше ничего нельзя было разглядеть, потому что туман.

— Это что-то невероятное, Сэм! Можно ли перебежать реку по льдинам?

— Можно ли? Да, без божьей помощи этого нипочем не сделать! Ведь как все было? Мы трое —мистер Гейли, я и Энди — подъехали к маленькой гостинице на самом берегу. Я ехал немного впереди — сил моих не было, так мне хоте-

лось поймать Лиззи! Ну вот, поравнялся я с гостиницей и вдруг вижу — она у окна стоит, на всем виду, а те нагоняют меня... уж совсем близко... Тут, как назло, шляпа у меня слетела. Я как закричу — мертвого можно было разбудить таким криком. Ну конечно, Лиззи услыхала и метнулась от окна, а мистер Гейли тут как тут, у самой двери. Она выбежала на улицу — и прямо к берегу. Мистер Гейли увидал ее и ну кричать. Тогда мы все втроем — мистер Гейли, я и Энди — кинулись в погоню за Лиззи. А она уж у самой реки. Течение у берега быстрое, разводье широкое, а за ним сплошные льдины, будто большой остров, и крутятся, одна на другую лезут. Мы Лиззи почти догнали, я уж думал — схватит он ее, и вдруг она как взвизгнет да как перемахнет через разводье на льдину и дальше припустилась! Прыг-прыг, сама вскрикивает, лед под ней скрипит, потрескивает, а она, словно коза, скачет. Господи ты боже мой! Я сроду не видал, чтобы женщина на такое была способна!

Миссис Шелби сидела бледная от волнения и молча слушала Сэма.

— Слава создателю! Элиза жива!— воскликнула она.— Но что с ней будет дальше?

— Господь не оставит ее,— сказал Сэм, благочестиво закатывая глаза.— Миссис всегда нас учила, что все мы — орудие в руках господа. Если б не я, мистер Гейли успел бы десять раз поймать Лиззи. А кто упустил утром лошадей и гонялся за ними до самого обеда? Кто уговорил мистера Гейли дать пять миль крюку? Не будь меня, он бы живо ее сцапал, как собака енота! А я исполнял волю божью.

— Как бы тебе не пожалеть об этом, друг мой любезный! Я не потерплю, чтобы мои люди так обращались с джентльменами!— сказал мистер Шелби, напустив на себя строгий вид.

Но негра так же трудно обмануть напускной суровостью, как и ребенка. Его не проведешь. Негр прекрасно чувствует притворство. И Сэма ничуть не огорчил этот выговор, хотя он сразу же состроил покаянную мину и слушал хозяина, скорбно поджав губы.

— Верно, все верно. Я нехорошо поступил, каюсь. Ясное дело, нельзя потакать такому бесчинству. Я сам это понимаю. Но несчастного негра иной раз просто подмывает на нехорошие дела, особенно когда он видит, как такие вот люди, вроде мистера Гейли, начинают куражиться. Да и какой он джентльмен! Мы настоящих джентльменов с малолетства привыкли видеть, нас не обманешь!

— Хорошо, Сэм,— сказала миссис Шелби.— Поскольку ты

признаешь свою вину, разрешаю тебе сходить к тетушке Хлое и попросить у нее холодной ветчины, оставшейся от обеда. Вы с Энди, наверно, проголодались.

— Никогда не забуду вашей доброты, миссис!— сказал Сэм, наспех отвесил ей поклон и удалился.

Как мы уже намекали раньше, Сэм обладал одним прирожденным даром, который сослужил бы ему хорошую службу, если б он подвизался у нас на политическом поприще, а именно — прирожденным даром извлекать для себя пользу из любых жизненных обстоятельств и обращать их на возвеличение и прославление собственной персоны. Так было и на сей раз: ублажив хозяев своим благочестием и покорностью, он лихо нахлобучил набекрень панаму и проследовал во владения тетушки Хлои с намерением всласть покрасоваться на кухне.

«Пусть послушают меня эти негры,— говорил он самому себе.— Такого им порасскажу, что у них глаза на лоб полезут!»

Следует отметить, что больше всего на свете Сэм любил сопровождать своего хозяина на всякие политические сборища. Пристроившись где-нибудь на изгороди или забравшись на дерево, он упивался речами ораторов, а потом, окружив себя толпой чернокожих собратьев, тоже приехавших туда вместе с хозяевами, удивлял и восхищал их шутовским пересказом всего слышанного, умудряясь сохранять при этом полную серьезность и даже торжественность. Нередко бывало так, что к чернокожим слушателям Сэма присоединялись и белые, и их смех и подмигивания доставляли огромное удовольствие нашему краснобаю. Сэм считал ораторское искусство своим призванием и никогда не упускал случая блеснуть им.

Между Сэмом и тетушкой Хлоей с давних пор существовала вражда или, если угодно, некоторый холодок в отношениях. Но, поскольку Сэм считал необходимым подкрепиться, перед тем как выступать с речью, он решил на сей раз выказать свое миролюбие. Ему было хорошо известно, что приказание миссис Шелби будет исполнено в точности, но почему бы не расположить к себе исполнителя хозяйской воли? От этого можно только выиграть. Он предстал перед тетушкой Хлоей исполненный необычайно трогательного смирения и покорности судьбе, наславшей на него неисчислимые муки за помощь ближнему, и, подробно объяснив ей, зачем хозяйка прислала его сюда, тем самым признал владычество тетушки Хлои на вверенной ее попечениям кухне.

Эта уловка подействовала. Ни один простодушный, исполненный добродетелей гражданин не поддавался так легко на

заигрывания хитрого политикана, пустившегося во все тяжкие во время предвыборной кампании, как поддалась тетушка Хлоя на лесть Сэма. Будь он блудным сыном*, его и то не окружили бы такой поистине материнской заботой, таким радушием. Не прошло и нескольких минут, как перед гордым, счастливым Сэмом появилась большая оловянная миска, полная всяческих лакомств, скопившихся на кухне за последние три дня. Сочные ломти ветчины, золотистые куски маисовых лепешек, горбушки пирогов, куриные крылышки, потроха, ножки — все это представляло собой весьма живописную смесь, и Сэм, в сдвинутой набекрень панаме, с царственным видом восседал за столом, не забывая своими милостями примостившегося справа от него Энди.

Кухня была полна друзей-приятелей Сэма, которые сбежались сюда со всей усадьбы послушать, чем кончился этот полный событий день. Пробил долгожданный час! Слава наконец-то осенила Сэма! Он рассказывал о своих подвигах, всячески приукрашивая их. Рассказ сопровождался оглушительным хохотом; его подхватывала и мелюзга, набившаяся во все углы кухни и даже лежавшая на полу. Но сам рассказчик хранил полную невозмутимость посреди всего этого шума и гама и только изредка закатывал глаза да уморительно подмигивал слушателям, не сбиваясь с возвышенного и поучительного тона своего повествования.

— Итак, сограждане,— провозгласил под конец Сэм, взмахнув куриной ножкой,— теперь вы сами убедились, как приходится хитрить человеку, который решил стать на защиту всех вас... да, всех вас, ибо тот, кто посягнет на одного из нас, посягает на весь наш народ! Это дело нешуточное. И любому работорговцу, который будет тут рыскать и зариться на наших людей, придется иметь дело со мной. Я стану на его пути! Придите ко мне, братья мои! Сэм постоит за вас, Сэм будет защищать ваши права до последнего вздоха...

— Погоди, Сэм, да ведь ты еще сегодня утром собирался помочь мистеру Гейли изловить Лиззи, а теперь сам себе перечишь!— перебил его Энди.

— Послушай моего совета, Энди,— с необычайным высокомерием сказал Сэм,— не берись судить о том, что тебе не по разуму. Вы, мелюзга, народ неплохой, но где вам разбираться в принципах!

Энди виновато умолк, сраженный непонятным словом «принципы», которое произвело не менее сильное впечатление и на его сверстников, находившихся в кухне. А Сэм продолжал:

— Во мне заговорила совесть, Энди. Когда я решил изло-

вить Лиззи, мне думалось, что хозяин этого хочет. А у хозяйки, оказывается, на уме было совсем другое. Вот тут-то совесть во мне и заговорила, потому что держать сторону хозяйки всегда выгоднее. А человек я верный, от своих принципов никогда не отступаю, и совесть у меня есть.— С этими словами Сэм восторженно взмахнул куриной шейкой.— Какой толк в принципах, если их не придерживаться! Получай, Энди, косточку, я ее не дочиста обглодал.

— Ладно, ладно,— сказала тетушка Хлоя.— Не мешало бы тебе еще один принцип иметь: ложиться спать вовремя и не держать здесь людей до утра!.. Ну, малыши, марш отсюда мигом, не то каждый получит по затрещине.

— Негры!— провозгласил Сэм, милостиво взмахнув панамой.— Примите мое благословение! Расходитесь по домам и не грешите.

И, удостоенное этим напутствием, собрание покинуло кухню.

Глава IX,

ИЗ КОТОРОЙ СЛЕДУЕТ, ЧТО СЕНАТОР—ВСЕГО ЛИШЬ ЧЕЛОВЕК

Сидя у камина, веселый огонь которого играл на ковре уютной гостиной и поблескивал на чашках и сверкающем чайнике, сенатор* Бэрд снимал сапоги, готовясь сунуть ноги в красивые новые туфли, вышитые ему женой, пока он ездил на сессию сената. Миссис Бэрд, олицетворение безмятежного счастья, следила, как прислуга накрывает на стол, и то и дело обращалась с назиданиями к детворе, предающейся тем проказам и шалостям, от которых нет покоя матерям с самого сотворения мира.

— Том, оставь дверную ручку!.. Мэри, Мэри! Не тяни кошку за хвост — ей больно!.. Джим, нельзя лазить на стол!.. Друг мой, как хорошо, что ты дома! Мы тебя совсем не ждали сегодня! — воскликнула она, улучив наконец-то минутку, чтобы поговорить с мужем.

— Да, да! Я решил — дай-ка съезжу домой хоть на одну ночь, отдохну как следует. Устал ужасно, и голова болит.

Миссис Бэрд покосилась на стоявший в шкафу пузырек с камфарным маслом, явно собираясь прибегнуть к его помощи, но муж остановил ее:

— Нет, Мэри, не пичкай меня лекарствами. Чашка горя-

чего ароматного чая, немножко домашнего уюта — вот все, что мне нужно... Да, нелегкая жизнь у законодателей!

И сенатор улыбнулся, так как ему было приятно думать, что он приносит себя в жертву родине.

— А что у вас там делается, в сенате? — спросила его жена, когда чаепитие кончилось.

Маленькая миссис Бэрд обычно не утруждала себя заботами о сенатских делах, мудро решив, что у нее достаточно своих собственных. Поэтому мистер Бэрд удивленно поднял брови и сказал:

— Да ничего особенного.

— А правда, что сенат принял закон, запрещающий давать кров и пищу несчастным беглым неграм? Я давно об этом слышу, но мне все как-то не верится... Неужели такой закон можно утвердить?

— Что с тобой, Мэри? Ты вдруг стала интересоваться политикой.

— Вздор! Мне никакого дела нет до вашей политики, но это, по-моему, неслыханная жестокость! Я надеюсь, друг мой, что вы его не пропустили.

— Сенат действительно принял закон, запрещающий оказывать содействие невольникам, которые бегут из Кентукки. За последнее время аболиционисты так осмелели, что в Кентукки начинают серьезно беспокоиться, и мы, как добрые христиане, должны что-то предпринять у себя в штате, чтобы положить конец всем этим волнениям.

— Так неужели же нам нельзя будет приютить этих горемык хотя бы на одну ночь, покормить их, дать им что-нибудь из старой одежды и отправить дальше?

— Нельзя, моя дорогая. В этом и заключается «помощь и содействие беглым неграм».

Миссис Бэрд была женщина скромная, застенчивая, с голубыми глазами, нежным, как персик, цветом лица и певучим, мягким голосом. Но отвагой она не блистала. Индюк средних размеров мог обратить ее в бегство своим кулдыканьем, а дворовой собаке достаточно было только оскалить зубы, чтобы одержать над ней полную победу. Муж и дети составляли для миссис Бэрд весь мир — мир, которым она управляла больше уговорами и лаской, чем приказаниями. Только одно могло вывести ее из себя — жестокость; всякое проявление жестокости вызывало в ней приступы гнева, казалось бы несовместимого с ее на редкость кротким характером. Не было матери более снисходительной и доброй, и все же сыновья благоговейно хранили в памяти тот день, когда она расправилась с ними без всякой пощады за то, что они в компании

с соседними озорными мальчишками забросали камнями беззащитного котенка.

Миссис Бэрд вспыхнула, что очень шло к ней, поднялась с места и сказала весьма решительным тоном:

— Джон, признайся мне откровенно: ты тоже считаешь этот закон справедливым?

— А если я скажу «да», Мэри, ты меня не убьешь?

— Ну, этого я от тебя не ожидала! Неужели ты голосовал за него?

— Голосовал, мой очаровательный политик!

— И тебе не стыдно? Какой возмутительный, позорный закон! Я первая нарушу его, дайте только срок. До чего же мы дожили, если женщина не может накормить и обогреть несчастного, бездомного, изголодавшегося человека только потому, что он раб и всю свою жизнь знал одни лишь гонения!

— Подожди, Мэри, выслушай меня. Я понимаю твои чувства, дорогая, и еще больше люблю тебя за такую отзывчивость. Но прислушайся к голосу рассудка. Пойми, что сентименты здесь неуместны. Речь идет об очень серьезных вопросах. Ради спокойствия общества мы должны поступиться соображениями личного порядка.

— Все это вздор, Джон! Можешь поучать меня хоть до утра, все равно я с тобой не соглашусь. Скажи мне вот что: ты способен прогнать от своих дверей голодного, иззябшего человека только потому, что он беглый невольник? Ну, скажи: способен?

Если говорить всю правду, так придется признать, что, к несчастью, наш сенатор был от природы человек очень добрый и отзывчивый и отказывать людям, нуждающимся в помощи, было совсем не в его правилах. Жена прекрасно знала это и, следовательно, вела атаку на незащищенные позиции. Таким образом, ему не оставалось ничего другого, как прибегнуть к испытанным средствам, которые только для того и существуют, чтобы оттянуть время. Он сказал «гм!», несколько раз кашлянул, вынул из кармана платок и стал протирать очки. Миссис Бэрд, убедившись в безвыходном положении противника, без зазрения совести воспользовалась своим преимуществом.

— Хотела бы я посмотреть, как ты это сделаешь, Джон, очень хотела бы! Например, как ты прогонишь женщину, которая постучится к тебе зимой, в стужу и вьюгу. А может быть, ты задержишь ее и отправишь в тюрьму? Это на тебя так похоже!

— Слов нет, долг тягостный...— с расстановкой начал мистер Бэрд.

— Долг? Джон, зачем ты так говоришь! Наш долг совсем

не в этом. Пусть хозяева обращаются со своими неграми получше, тогда они никуда не убегут. Если бы у меня — упаси боже!—были рабы, я бы за них не беспокоилась: кому хорошо живется, тот не станет думать о побеге, уверяю тебя. А если негр все-таки убежит, так он, несчастный, натерпится такого страха, так будет голодать и холодать, что незачем еще натравливать на него всех и каждого. Нет, я вашему закону не подчинюсь!

— Мэри, Мэри, дорогая моя! Выслушай меня, надо рассуждать здраво!

— Ты знаешь, Джон, как я не люблю пускаться в рассуждения, да еще по такому поводу. Вы, политики, вечно мудрите, когда речь заходит о самых простых вещах, а на деле не верите в свои мудрствования. Точно я не вижу тебя насквозь, Джон! Ты сам чувствуешь, что сенат принял несправедливый закон, и не будешь ему подчиняться.

В эту критическую минуту их черный слуга, старый Каджо, приоткрыл дверь в гостиную и попросил миссис пройти в кухню. Наш сенатор, почувствовав некоторое облегчение, проводил жену взглядом, в котором сочетались досада и лукавый смешок, уселся в кресло и взялся за газету.

Но вскоре за дверью послышался взволнованный голос миссис Бэрд:

— Джон, Джон! Выйди сюда на минутку!

Отложив газету в сторону, сенатор прошел в кухню и остановился на пороге, изумленный зрелищем, открывшимся его глазам.

Хрупкая молодая женщина в изорванном, обледенелом платье лежала в глубоком обмороке на двух составленных рядом стульях. Она была без туфель, от чулок остались одни лохмотья, из свежих ран на ступнях сочилась кровь. Черты ее лица явно говорили о принадлежности к гонимой расе, но кто мог остаться равнодушным к их скорбной, трогательной красоте! Холодная, мертвенная неподвижность этого лица заставила сенатора вздрогнуть. Он стоял молча, затаив дыхание. Его жена и единственная их черная служанка, тетушка Дина, хлопотали над несчастной женщиной, стараясь привести ее в чувство, а старик Каджо держал на коленях маленького мальчика и, сняв с него башмаки и чулки, растирал ему озябшие ножки.

— Сердце разрывается, на нее глядя!— сказала тетушка Дина.— Видно, как попала в тепло, так сразу и сомлела. А ведь когда вошла на кухню, будто и ничего была, говорит: «Нельзя ли у вас погреться?» Я только собиралась спросить, откуда они с малышом пришли, а она вдруг возьми да и упади замертво. Руки нежные, сразу видно — черной работы не знали.

— Бедняжка!— с состраданием сказала миссис Бэрд, вдруг поймав на себе пустой взгляд больших темных глаз.

И тут же выражение ужаса исказило мертвенно-бледное лицо женщины. Она приподнялась на своем ложе и крикнула:

— Гарри! Где он?.. Его поймали?

Услышав голос матери, мальчик соскочил с колен Каджо и потянулся к ней.

— Он здесь! Он здесь!— воскликнула женщина.— Спасите нас! Спасите!— В этих словах, обращенных к миссис Бэрд, звучало беспредельное отчаяние.— Его отнимут у меня!

— Не бойся, тебя здесь никто не тронет,— твердо сказала миссис Бэрд.— Тебе ничто не грозит.

— Да благословит вас бог! — прошептала женщина, закрыла лицо руками и зарыдала.

А мальчик, видя, что мать плачет, взобрался к ней на колени.

Наконец участие и ласка, на которые мало кто был так способен, как миссис Бэрд, успокоили несчастную. Она легла на широкую скамью у очага, где ей наскоро постлали постель, и вскоре забылась тяжелым сном, обняв усталого, крепко спящего ребенка, ибо как ни уговаривали ее положить мальчика отдельно, она отказалась от этого наотрез и даже во сне прижимала его к груди.

Супруги вернулись в гостиную и почему-то не захотели возобновлять прерванный разговор. Миссис Бэрд взялась за свое вязанье, а мистер Бэрд развернул газету и сделал вид, что углубился в чтение.

— Любопытно, кто она такая?— сказал он наконец, опустив газету.

— Вот проснется, отойдет немножко, тогда всё узнаем,— ответила миссис Бэрд.

— Послушай, жена...— снова начал мистер Бэрд.

— Да, милый?

— Может, ей будет впору какое-нибудь твое платье, если его отпустить, расставить немного? Она, кажется, выше тебя?

По губам миссис Бэрд скользнула улыбка, и она ответила:

— Там будет видно.

Снова наступило молчание, и мистер Бэрд снова нарушил его:

— Послушай, жена...

— Ну, что еще?

— Тот теплый плащ, которым ты меня укрываешь, когда я ложусь вздремнуть после обеда... отдай его, он ей тоже пригодится.

В эту минуту Дина заглянула в гостиную и сказала, что женщина проснулась и хочет поговорить с хозяйкой.

Мистер и миссис Бэрд направились в кухню вместе с двумя старшими мальчиками; малышей к этому времени уже уложили спать.

Женщина сидела на скамье у очага, устремив тоскливый, неподвижный взгляд на огонь. От ее прежнего лихорадочного волнения не осталось и следа.

— Ты хотела меня видеть?— мягко спросила миссис Бэрд.— Надеюсь, тебе лучше теперь? Бедняжка!

Ответом послужил долгий, прерывистый вздох. Женщина подняла на миссис Бэрд свои темные глаза, и в этом взгляде было столько печали и мольбы, что та прослезилась.

— Не бойся, мы твои друзья. Расскажи мне, откуда ты пришла и что тебе надо.

— Я прибежала из Кентукки.

— Когда?— Мистер Бэрд решил сам приступить к расспросам.

— Сегодня.

— Как же ты сюда попала?

— Перешла по льду.

— По льду! — хором воскликнули все.

— Да, по льду,— медленно повторила женщина.— Господь помог мне, потому что за мной гнались, другого выхода у меня не было.

— Господи боже! Миссис!— вскрикнул Каджо.— Ведь лед тронулся, вода так и бурлит...

— Я знала это!— в исступлении сверкнув глазами, заговорила женщина.— И все-таки побежала. Я ни на что не надеялась, не думала, что доберусь до берега, но мне было все равно — либо бежать, либо умереть.

— Ты невольница?— спросил ее мистер Бэрд.

— Да, сэр. Мой хозяин живет в Кентукки.

— Он плохо обращался с тобой?

— Нет, сэр, он очень хороший человек.

— Значит, во всем виновата хозяйка?

— Нет, сэр! Кроме добра, я от нее ничего не видела,— твердо ответила она.

— Так что же заставило тебя убежать из такого дома и подвергнуть свою жизнь опасности?

Женщина пристально посмотрела на миссис Бэрд, и от ее острого взгляда не ускользнуло, что та в глубоком трауре.

— Сударыня, скажите,— начала она вдруг,— вы понимаете, что значит потерять ребенка?

Такого вопроса никто не ждал, и он задел незажившую рану,

ибо всего лишь месяц назад супруги Бэрд похоронили крошку-сына.

Мистер Бэрд круто повернулся и отошел к окну, миссис Бэрд залилась слезами, но потом, совладав с собой, сказала:

— Почему ты об этом спрашиваешь? Да, у нас умер мальчик.

— Тогда вы поймете меня. Я потеряла двоих, одного за другим... их могилки остались там, в Кентукки, и это мой единственный сын. Я не отпускаю его от себя ни на шаг. Он моя гордость, моя утеха. И его хотели отнять у меня... Продать на Юг! Вы только подумайте, сударыня! Продать ребенка, который никогда не отлучался от матери! Разве с этим можно примириться? Разве можно пережить такое горе? Я убежала ночью, как только узнала, что все бумаги уже подписаны и мой сын продан. За мной снарядили погоню. Они были совсем близко — тот, кто купил Гарри, и двое работников моего хозяина. Я прыгнула с берега на лед, и как мне удалось перебежать на эту сторону — не знаю... помню только, какой-то человек протянул мне руку, помог взобраться на берег...

Рассказывая все это, женщина не плакала. Слезы у нее давно иссякли. Зато те, кто слушал этот рассказ, откликались на него всем сердцем, каждый по-своему.

Оба мальчика сначала принялись шарить по карманам в поисках носовых платков, которых, как всем известно, никогда там не оказывается, потом уткнулись матери в колени и разревелись, утирая глаза и нос ее платьем. Миссис Бэрд закрыла лицо платком, тетушка Дина, не вытирая слез, катившихся по ее черным щекам, громко причитала: «Господи! Смилуйся над нами!», а старик Каджо усиленно прижимал обшлага к глазам, строил невероятные гримасы и время от времени с жаром подхватывал причитания тетушки Дины. Наш сенатор, будучи человеком государственным, не мог плакать подобно простым смертным, и поэтому ему пришлось повернуться ко всем спиной, устремить взгляд в окно, откашливаться, протирать очки и громко сморкаться, что показалось бы весьма подозрительным внимательному наблюдателю, если бы таковой оказался в комнате.

— Как же ты говорила, что у тебя был добрый хозяин? — вдруг воскликнул он, проглотив слезы, подступившие к горлу.

— И всегда буду так говорить! Они оба добрые, но посудите сами: у хозяина были большие долги, и он каким-то образом оказался во власти одного человека и должен был во всем ему подчиниться. Я слышала, как они говорили об этом с хозяйкой и как она заступалась за меня, но хозяин сказал ей, что бумаги уже подписаны и теперь ничего нельзя поделать. И тогда я взя-

ла сына и убежала из дому. Я все равно не смогу жить без него, это мое единственное сокровище!

— А разве у тебя нет мужа?

— Есть, но у него другой хозяин — злой, жестокий. Он не пускал мужа ко мне и день ото дня мучил его все больше и больше, грозил продать на Юг. С ним-то я, вероятно, уж никогда не увижусь.

Поверхностный наблюдатель мог бы подумать, что женщина относится с полным безразличием к разлуке с мужем — так спокойно она обо всем этом рассказывала. Но глубокая тревога, таившаяся в ее больших, темных глазах, свидетельствовала о другом.

— Куда же ты теперь пойдешь, бедняжка? — спросила миссис Бэрд.

— В Канаду... только я не знаю, где она. Это очень далеко отсюда? — И женщина доверчиво взглянула на миссис Бэрд.

— Несчастная! — вырвалось у той.

— Наверно, очень далеко?

— Гораздо дальше, чем ты себе представляешь,— сказала миссис Бэрд.— Но мы постараемся помочь тебе... Дина, постели ей у себя в комнате, к утру мы что-нибудь придумаем. А ты не тревожься, милочка, спи спокойно.

Миссис Бэрд и ее муж вернулись в гостиную. Она села в качалку и стала медленно покачиваться, задумчиво глядя в камин. Мистер Бэрд шагал по комнате и бормотал себе под нос:

— Гм! Гм! Вот положение!

Наконец он остановился перед женой и сказал:

— Вот что, друг мой: ей придется уйти отсюда сегодня же ночью. Этот работорговец явится к нам завтра утром, по свежим следам. Будь она одна — полбеды, переждала бы как-нибудь, пока он не уедет, но ведь ребенка не удержишь: высунет голову в окно или в дверь — и конец. В каком я окажусь положении, если их найдут здесь? Нет! Ее надо отправить отсюда сегодня же ночью.

— Ночью? Да как же так? Куда?

— Я знаю куда,— сказал сенатор, в раздумье берясь за сапоги.

Натянув один до половины, он обнял обеими руками колено и погрузился в глубокие размышления.

— Да, что и говорить, дело не из приятных! — И он снова потянул сапог за ушки, надел его, потом, взявшись за второй, стал сосредоточенно изучать узор на ковре.— А помочь надо, пропади они все пропадом! — Второй сапог был надет быстро, и сенатор подошел к окну.

Миссис Бэрд была женщина деликатная — женщина, кото-

рая никогда бы не позволила себе кольнуть кого-нибудь и сказать с упреком: «Ага! Что я вам говорила!» И сейчас, хотя для нее не было тайной, какой оборот приняли мысли мужа, она благоразумно молчала, сидя в качалке, и ждала, когда ее повелитель соблаговолит поделиться с ней своими соображениями.

— Видишь ли, в чем дело,— заговорил наконец мистер Бэрд,— один мой старый клиент, Ван-Тромп, отпустил всех своих рабов на волю, уехал из Кентукки и купил себе усадьбу милях в семи отсюда, вверх по реке. Она стоит в лесу, и туда без нужды никто не заглядывает, да и найти ее не так-то легко. Там эта женщина будет в полной безопасности. Но вся беда в том, что ночью ее туда никто не довезет, кроме меня.

— Почему? А Каджо? Ведь он прекрасный кучер.

— Да, верно, но реку придется дважды переезжать вброд; и второй переезд очень опасен. А я сотни раз проезжал там верхом и хорошо знаю это место. Словом, делать нечего. Пусть Каджо часам к двенадцати подаст лошадей — только осторожно, без лишнего шума,— и я отвезу ее сам. Потом он доставит меня до ближайшей гостиницы, где можно захватить трехчасовой дилижанс на Колумбус, и все будет шито-крыто, точно я прямо из дому туда и приехал. А утром меня увидят на заседании. Но как же я буду себя чувствовать там после всего этого!.. А, ладно, делать нечего!

— Ты прислушался к голосу сердца, Джон,— сказала миссис Бэрд, кладя свою крохотную белую ручку на руку мужа.— Ведь я знаю тебя лучше, чем ты сам себя знаешь.

На глазах у маленькой женщины блеснули слезинки, и она была так хороша в эту минуту, что сенатор подумал: «Какой же я, должно быть, умный человек, если мною восторгается такое очаровательное существо!» Теперь ему оставалось только пойти и распорядиться насчет экипажа. Впрочем, дойдя до двери, он остановился, снова подошел к жене и заговорил нерешительно:

— Не знаю, как ты к этому отнесешься, Мэри, но у нас в комоде лежит столько вещей нашего... нашего маленького Генри.— И, сказав это, мистер Бэрд быстро повернулся и закрыл за собой дверь.

Его жена вошла в комнатку рядом со спальней, зажгла свечу на комоде, достала из шкатулки ключ, вставила его в замочную скважину верхнего ящика и задумалась. Оба мальчика, которые, как водится, следовали за матерью по пятам, молча уставились на нее.

Миссис Бэрд медленно выдвинула ящик комода. Там лежали курточки всевозможных фасонов, передники, стопки чулок и даже пара протертых на носках башмачков, завернутых в бу-

магу. Рядом с башмачками — игрушечная лошадка, тележка, волчок и мячик — всё памятные вещи, столько раз политые материнскими слезами. Миссис Бэрд опустилась на стул и, закрыв лицо ладонями, горько заплакала. Слезы текли у нее меж пальцев и капали в открытый ящик. Наплакавшись всласть, она подняла голову и начала торопливо отбирать из комода самые простенькие, самые крепкие вещи и связывать их в узел.

Миссис Бэрд открыла гардероб, достала оттуда два-три платья, присела к своему рабочему столику, вооружилась иглой, ножницами и наперстком и, следуя совету мужа, принялась переделывать эти скромные наряды. Работа затянулась допоздна, и, когда старинные часы, стоявшие в углу, пробили полночь, она услышала у дверей негромкий стук колес.

— Мэри,— сказал мистер Бэрд, входя в гостиную с перекинутым через руку плащом,— пойди разбуди ее. Пора ехать.

Миссис Бэрд наспех сложила приготовленные вещи в маленький сундучок и, поручив мужу отнести его в коляску, отправилась в комнату тетушки Дины.

Не прошло и нескольких минут, как Элиза с ребенком на руках появилась на крыльце в плаще, капоре и шали — подарках ее благодетельницы. Мистер Бэрд быстро усадил их обоих в коляску. Миссис Бэрд проводила отъезжающих до самой подножки. Элиза высунулась из окна и протянула руку, такую же прекрасную и нежную, как та, которая была протянута ей. Большие темные глаза молодой матери не отрывались от миссис Бэрд, губы ее дрогнули, но она ничего не смогла сказать и, откинувшись на сиденье, закрыла лицо руками. Дверца захлопнулась, и коляска отъехала от крыльца.

Последнее время в этих местах шли дожди, а мягкой, рыхлой почве Огайо нужно не так уж много влаги, чтобы превратиться в невылазную грязь. В благословенных уголках Запада дороги мостят неструганными бревнами, уложенными в ряд, одно к другому, и заваленными сверху землей, дерном — всем, что попадается под руку. Счастливые обитатели тамошних мест, считая такие дороги проезжими, немедленно пускаются по ним в путь. С течением времени дожди размывают землю и дерн, бревна ложатся вкривь и вкось, а колеи и рытвины заполняются жидкой черной грязью.

По такой-то дороге путешествует сейчас и наш сенатор, предаваясь на досуге размышлениям о моральности своего поступка, насколько это возможно при данных обстоятельствах, ибо коляска его то и дело подскакивает на ухабах, утопает в грязи, а ему самому и женщине с ребенком приходится кое-как приспосабливаться к тряске и принимать самые неожиданные позы, когда их

швыряет из стороны в сторону. Вот, кажется, окончательно застряли! Каджо понукает лошадей; несколько тщетных рывков, сенатор теряет последнее терпение... и вдруг коляска становится на все четыре колеса. Потом передние ныряют в новую рытвину, седоки валятся вперед, шляпа бесцеремонно лезет сенатору на уши, на нос, и ему кажется, что его загасили, точно свечу колпачком. Ребенок плачет. Каджо обращается к лошадям с вдохновенными речами, а они бьют задом, налегают на постромки и кидаются то вправо, то влево под непрестанное щелканье кнута. Еще один толчок — теперь увязают задние колеса. Сенатора, женщину и ребенка швыряет на заднее сиденье. Он задевает локтем ее капор, она попадает обеими ногами в его шляпу, которая почему-то очутилась на полу. Но вот трясину проехали, и лошади останавливаются, тяжело поводя боками. Сенатор отыскивает свой головной убор, женщина поправляет съехавший на затылок капор, успокаивает ребенка, и они мужественно готовятся к новым испытаниям.

Проходит еще несколько минут; коляска по-прежнему ныряет по рытвинам и время от времени то заваливается набок, то вздрагивает вся до основания. Наконец седоки начинают поздравлять себя с тем, что дела их не так уж плохи. И вдруг еще один сильный рывок... они поднимаются во весь рост и с необыкновенной быстротой снова опускаются на сиденье; коляска останавливается, снаружи происходит какая-то возня, и Каджо распахивает дверцу:

— Вот беда-то, сэр! Увязли! Просто и не знаю, как мы отсюда выберемся. Придется жерди подкладывать.

Повергнутый в отчаяние, сенатор выходит из экипажа, осторожно нащупывая, куда бы ступить. Одна нога у него немедленно уходит в бездонные глубины; он пытается вытащить ее, теряет равновесие, падает в грязь и, поднявшись с помощью Каджо, являет собой весьма плачевное зрелище.

И только глубокой ночью забрызганная сверху донизу коляска переезжает вброд реку и останавливается у дверей большой фермы.

Чтобы разбудить ее обитателей, понадобилось немало терпения и настойчивости. Наконец почтенный хозяин открыл им дверь. Это был огромный детина, шести с лишним футов роста, одетый в красную фланелевую рубашку. Взлохмаченная копна светлых волос и многодневная щетина, мягко выражаясь, не очень-то располагали в его пользу. Несколько минут он стоял со свечой в руке и, хмуро насупившись, таращил глаза на наших путешественников. Сенатор долго втолковывал ему, что от него требуется, и, воспользовавшись такой задержкой, мы представим читателю этого человека.

Джон Ван-Тромп был когда-то одним из крупных плантаторов и рабовладельцев в штате Кентукки. Природа наделила его не только гигантским ростом и силой, но и добрым сердцем, и система рабовладельчества, одинаково позорная как для угнетаемых, так и для угнетателей, никогда не была ему по душе. Наконец наступил день, когда сердце Джона сбросило с себя тягостные оковы. Он вынул из стола бумажник, съездил в Огайо, купил участок хорошей, плодородной земли, дал вольную всем своим рабам, усадил их со всем скарбом в повозки и отправил устраиваться на новом месте, а сам подыскал себе ферму в глуши, вверх по реке, и с чистой совестью поселился там, предаваясь на досуге глубоким размышлениям.

— Вы не откажетесь приютить несчастную женщину с ребенком, которая спасается от погони? — без всяких обиняков спросил его сенатор.

— Не откажусь,— твердо ответил честный Джон.

— Так я и думал,— сказал сенатор.

— Пусть только сюда кто-нибудь сунется, мы им окажем достойный прием! Я готов.— Добряк расправил свои могучие плечи.— У меня семеро сыновей, каждый шести футов роста, и они тоже маху не дадут. Передайте этим смельчакам наше почтение и скажите им, что мы готовы принять их в любую минуту.— И, запустив пальцы в свою густую шевелюру, Джон разразился хохотом.

Измученная, еле живая от усталости, Элиза вошла в кухню, держа на руках забывшегося тяжелым сном ребенка. Великан осветил свечкой ее лицо, сочувственно хмыкнул и распахнул дверь в маленькую спальню рядом с кухней. Пройдя туда следом за Элизой, он зажег еще одну свечу, поставил ее на стол и только тогда заговорил:

— Вот что я скажу, милая: бояться тебе нечего, пусть за тобой кто угодно приходит — меня врасплох не застанут! — И он показал на ружья, висевшие над камином.— Не поздоровится тому, кто вздумает здесь самочинствовать, это всем в округе известно! Так что спи спокойно, будто тебя мать в колыбели качает... Писаная красавица! — сказал он, оставшись наедине с сенатором.

Тот в двух словах поведал ему историю Элизы.

— Эх! Ну что ты скажешь! Вот горе-то! — разжалобился добряк.— Охотятся за бедняжкой, как за ланью! А ведь от хорошей матери ничего другого и требовать нельзя. Ей-богу, как услышу о таком безобразии, так еле себя сдерживаю, чтобы не наговорить чего-нибудь непотребного.— И Джон вытер глаза громадной, покрытой веснушками ручищей.— Поверите ли, уважаемый, я годами не ходил в церковь, не мог слушать, как там

вещают, будто Библия оправдывает рабство. А человек я неученый, спорить со священниками не берусь.

Говоря все это, Джон откупоривал бутылку шипучего сидра и теперь поставил ее на стол.

— Оставайтесь-ка у меня до утра,— предложил он радушно.— Я сейчас подниму свою старуху, она вам живо постель приготовит.

— Благодарю вас, друг мой,— сказал сенатор.— Я хочу попасть на дилижанс, мне надо в Колумбус.

— Ну что ж, если так, я вас немножко провожу, покажу вам другую дорогу. Та, по которой вы ехали, уж очень плохая.

Джон оделся и с фонарем в руке зашагал впереди коляски сенатора, выводя ее на дорогу, проходившую за фермой. Прощаясь с добрым Джоном, сенатор сунул ему бумажку в десять долларов.

— Это ей,— сказал он.

— Ладно,— так же коротко ответил Джон.

Они обменялись рукопожатием и расстались.

Глава X

ТОВАР ОТПРАВЛЕН

Серое, моросящее дождем февральское утро заглянуло в хижину дяди Тома и осветило лица, омраченные гнетущей скорбью. На маленьком столике перед очагом была разостлана подстилка для глажения, на спинке стула висели две грубые, но чистые рубашки только что из-под утюга, третья лежала перед тетушкой Хлоей. Она старательно разглаживала каждую складку, каждый рубец, то и дело утирая слезы, ручьем катившиеся у нее по щекам.

Том сидел у стола, подперев голову рукой: перед ним лежала раскрытая Библия. Муж и жена хранили молчание. Час был ранний, и ребятишки еще спали, прижавшись друг к другу на своей низенькой деревянной кровати.

Том, который, как истый сын своего несчастного народа, всем сердцем был привязан к семье, встал из-за стола, молча подошел к кровати и долго смотрел на детей.

— Последний раз,— сказал он.

Тетушка Хлоя, не говоря ни слова, продолжала водить утюгом по выглаженной на славу рубахе, потом вдруг отставила его в сторону, упала на стул и заплакала навзрыд.

— Покориться воле божией! Да как тут быть покорной?

Хоть бы мне знать, куда тебя увезут, в какие руки ты попадешь! Миссис говорит: года через два выкупим. Господи милостивый, да разве оттуда возвращаются! Там людей замучивают насмерть! Слышала я, что с ними делают на этих плантациях!

— Господь вездесущ, Хлоя, он не оставит меня и там.

— Он вездесущ, но иной раз по его воле творятся страшные дела,— сказала тетушка Хлоя.— И этим ты хочешь меня утешить!

— Я в руках божиих,— продолжал Том.— Возблагодарим его хотя бы за то, что продали меня, а не тебя с детьми. Здесь вас никто не обидит. Я один приму на себя все муки, а господь поможет мне претерпеть их...

Он говорил с трудом, голос у него обрывался, и все же эти слова были полны мужества и твердой решимости.

— Нет, это несправедливо! Почему хозяин продал тебя? — не унималась тетушка Хлоя.— Ведь ты сторицей окупил бы его долги. Он который год обещает тебе вольную и до сих пор не дал. Может, сейчас ему нелегко, но я чувствую, что так нельзя с тобой поступать. И не пробуй разуверять меня в этом! Кто преданней ему, чем ты, кто пекся о его делах больше, чем о своих собственных, забывал ради него и жену и малых детей! Подумать только! Ты сердцем к нему привязан, а он тебя продает, чтобы выпутаться из долгов! Бог его за это накажет!

— Хлоя, если ты любишь меня, не говори так! Может, мы с тобой последний раз вместе. И хозяина не надо задевать ни одним дурным словом, Хлоя. Ведь я принял его от старой миссис с рук на руки, когда он был еще младенцем. И ничего нет удивительного, что я думаю о нем денно и нощно, а ему... где ему думать о бедном Томе! Господа привыкли, чтобы о них заботились. А ты сравни нашего хозяина с другими: у кого мне бы жилось так хорошо, где бы со мной так обращались? Если бы мистер Шелби заранее знал, как у него дела обернутся, он не довел бы до продажи. В это я твердо верю.

— Нет, тут что-то не так,— упрямо твердила тетушка Хлоя, руководствуясь присущим ей чувством справедливости. Не знаю, кого в этом винить, но тут что-то не так.

— Обрати мысли свои к господу, Хлоя. Помимо его воли ни один волос не упадет с нашей головы.

— Что верно, то верно, да не нахожу я в этом утешения,— вздохнула она.— Впрочем, что проку говорить! Сейчас пирог будет готов, позавтракаешь... кто знает, когда тебе еще придется вкусно поесть...

Если вы хотите понять, как тяжко приходилось неграм, которых продавали на Юг, вспомните, что этот народ способен

на сильные чувства. Негр привязывается к родным местам, он любит свой дом, свою семью. Добавьте к этому все ужасы, которые таятся для него в неизвестности; не забудьте также, что он с детских лет трепещет при одной только мысли: «Тебя продадут на Юг!» В его глазах это самое страшное наказание — страшнее порки, страшнее каких угодно пыток.

Миссионер*, живший среди беглых негров в Канаде, рассказывал нам, что многие оставили сравнительно добрых хозяев и не побоялись совершить побег, сопряженный со столькими опасностями, лишь бы не оказаться проданными на Юг. Страшась этой участи, которая вечно грозит и ему, и его жене, и его детям, негр, существо кроткое, робкое, обретает мужество, терпит голод, стужу и смело идет навстречу страданиям и жестокой каре, неминуемой при поимке.

Клубы пара поднимались над столом — скромный завтрак был подан. Миссис Шелби освободила тетушку Хлою от работы на господской кухне, и бедняжка собрала последние силы, чтобы приготовить этот прощальный пир: зарезала лучшую курицу, испекла мужу его любимый пирог и расставила у очага несколько банок с разными соленьями и маринадами, которые извлекались на свет божий только в самых торжественных случаях.

— Смотри, Пит! — возликовал Моз.— Какой у нас сегодня завтрак! — И он схватил кусок курятины с блюда.

Тетушка Хлоя залепила ему звонкую пощечину.

— Ну что это такое! Несчастный отец последний раз дома завтракает, а они только и думают что о еде!

— Хлоя! — мягко упрекнул ее Том.

— Сил моих больше нет! — крикнула она, пряча лицо в передник.— Голова идет кругом, сама не знаю, что делаю!..

Мальчики стояли как вкопанные и молча поглядывали то на отца, то на мать, а малютка уцепилась за ее юбку и заплакала, властно требуя чего-то.

— Ну, вот и все! — Тетушка Хлоя вытерла глаза и подхватила девочку на руки.— Больше не буду. Садитесь к столу. Самую жирную курицу сегодня зажарила! Ешьте, ребятки! Бедненькие! Досталось им от матери!

Повторять это приглашение дважды не понадобилось. Мальчуганы принялись уписывать за обе щеки стоявшие перед ними яства, что оказалось весьма кстати, так как без их помощи завтрак, пожалуй, остался бы почти нетронутым.

— Теперь надо собрать твои вещи,— сказала тетушка Хлоя, быстро убирая со стола.— Он, наверно, все потребует. У таких извергов руки загребущие, знаю я их. Вот в этот угол кладу фланель, на случай, если ревматизм тебя будет мучить. Смотри

береги ее: потеряешь — другой тебе никто не даст. Вот здесь старые рубашки, сверху — две новые. Носки я ночью надвязала; внутрь кладу моток шерсти для штопки. Господи! Да кто же тебе штопать будет! — И тетушка Хлоя, не в силах превозмочь свое горе, уронила голову на сундучок и залилась слезами.— Подумать только, здоров ли он, болен — некому будет о нем позаботиться! А от меня покорности требуют!

Мальчики, управившись со всем, что было подано к завтраку, теперь призадумались над происходящим. Увидев, что мать плачет, а отец сидит понурившись, они захныкали и начали тереть глаза кулаками. Дядя Том посадил дочку на колени и предоставил ей полную свободу развлекаться. Малютка царапала ему лицо, дергала его за волосы и весело хохотала, предаваясь восторгу, причины которого были известны только ей.

— Радуйся, бедняжка, радуйся! — сказала тетушка Хлоя.— Придет и твой час. Продадут когда-нибудь и твоего мужа, а может, и тебя. Сыновья наши вырастут — и того же дождутся. Зачем же нам, неграм, обзаводиться семьей после этого?..

Но тут один из мальчиков перебил ее, крикнув:

— Хозяйка сюда идет!

— Нечего ей тут делать! Все равно она ничем не поможет,— сказала тетушка Хлоя.

Миссис Шелби вошла в хижину. Тетушка Хлоя нахмурила брови и молча подала ей стул. Миссис Шелби ничего не заметила — ни стула, ни того, как его подали. Лицо у нее было бледное, взволнованное.

— Том,— сказала она,— я пришла...— и вдруг осеклась, обвела глазами стоявшую перед ней безмолвную семью, упала на стул и, закрыв лицо платком, зарыдала.

— Миссис, господь с вами! Да что это вы! — Тетушка Хлоя не выдержала, расплакалась сама, а за ней и все остальные.

— Друг мой,— заговорила наконец миссис Шелби,— я ничего не могу тебе дать — деньги у тебя все равно отберут. Но верь мне: я не буду терять тебя из виду и выкуплю при первой же возможности, а до тех пор полагайся на бога.

В эту минуту мальчики увидели за окном мистера Гейли.

Дверь распахнулась настежь, и работорговец появился на пороге. Он был сильно не в духе после проведенной в седле ночи и неудачных попыток поймать свою жертву.

— Ну, негр, готов? — крикнул Гейли, но, увидев миссис Шелби, снял шляпу и сказал: — Ваш покорный слуга, сударыня.

Тетушка Хлоя опустила крышку сундучка, перевязала его веревкой и, поднявшись на ноги, устремила на работорговца гневный взгляд своих темных глаз, в которых слезы словно превратились в искры.

Том покорно встал навстречу новому хозяину и взвалил тяжелый сундучок на плечо. Жена с дочкой на руках пошла проводить его; мальчики, плача, побрели следом за ней.

Миссис Шелби остановила Гейли и горячо заговорила с ним о чем-то, а тем временем семья уже подошла к стоявшей у дверей тележке. Вокруг нее собралась толпа — все негры, и стар и млад, пришли проститься со своим товарищем. Тома уважали в усадьбе как старшего, и его горю сочувствовали все, а особенно женщины.

— Хлоя, а нам, видно, тяжелее расставаться с ним, чем тебе,— сказала сквозь слезы одна негритянка, глядя на окаменевшее в суровом спокойствии лицо тетушки Хлои.

— Я свои слезы давно выплакала,— ответила та, бросив угрюмый взгляд на подходившего к тележке работорговца.— Не хочу убиваться на глазах у этого изверга!

— Садись! — крикнул Гейли, пробираясь сквозь толпу негров, которые хмуро поглядывали на него.

Том сел в тележку, и Гейли, вытащив из-под сиденья тяжелые кандалы, надел их ему на ноги. Приглушенный ропот пронесся в толпе, а миссис Шелби крикнула с веранды:

— Мистер Гейли, это совершенно излишняя предосторожность, уверяю вас!

— Как знать, сударыня. Я здесь уже пострадал на пятьсот долларов. Хватит с меня и этого.

— Чего еще от него ждать! — с негодованием сказала тетушка Хлоя.

А мальчики, которые только сейчас поняли, какая участь уготована их отцу, уцепились за юбку матери и застонали, заплакали во весь голос.

— Жаль, мистера Джорджа нет дома... так я с ним и не попрощаюсь,— сказал Том.

Джордж отправился в соседнее поместье погостить день-другой у приятеля и, выехав ранним утром, не подозревал о беде, постигшей их верного слугу.

— Передайте от меня поклон мистеру Джорджу! — с чувством сказал Том.

Гейли стегнул лошадь, и Том, до последней минуты не отрывавший печального взгляда от родных мест, скрылся за поворотом дороги.

Мистера Шелби тоже не было дома. Не желая присутствовать при тяжелой заключительной сцене этой драмы, он уехал по делам в надежде, что к его возвращению все будет кончено.

Том и Гейли тряслись по пыльной дороге, минуя одно знакомое место за другим. Наконец усадьба осталась позади, начался проселок. Проехав по нему с милю, Гейли остановился

около кузницы, достал из тележки пару наручников и велел кузнецу переделать их.

— Они ему немного малы,— пояснил он, указывая на Тома.

— Господи! Да ведь это негр мистера Шелби, Том! Неужто его продали? — спросил кузнец.

— Продали,— ответил Гейли.

— Быть этого не может! Просто глазам своим не верю! — воскликнул кузнец.— Да зачем же ему наручники? Ведь такого честного, хорошего негра...

— Вот именно,— перебил его Гейли.— Хороший негр только и глядит, как бы удрать от хозяина. Дураку какому-нибудь, бездельнику или пьянице на все наплевать, ему даже нравится ездить с места на место, а дельному негру это нож острый. Такого не мешает заковать. Ноги-то при нем — возьмет да и убежит.

— Н-да,— сказал кузнец, роясь в ящике с инструментами,— для наших кентуккийских негров хуже ничего быть не может, чем южные плантации. Попал туда — и верная смерть.

— Это правда, мрут они там как мухи. То ли климата не переносят, то ли от какой другой причины, но убыль в них большая, спрос на такой товар никогда не падает,— сказал Гейли.

— А ведь как подумаешь, жалко становится! Зашлют на какую-нибудь сахарную плантацию хорошего, смирного негра, вроде Тома, и конец ему.

— Ну, Тому жаловаться не на что. Я обещал Шелби получше его пристроить. Продам в услужение в какую-нибудь почтенную семью. Привыкнет к климату, не помрет от лихорадки — и хорошо. Чего же еще негру желать?

— А жена и дети у него дома остались?

— Подумаешь! Других заведет,— сказал Гейли.

Том с грустью слушал этот разговор, и вдруг до него донеслось быстрое цоканье подков. Не успел он прийти в себя от неожиданности, как Джордж вскочил в тележку и бросился ему на шею, плача и приговаривая сквозь слезы:

— Это подло, подло! Пусть не оправдываются — все равно подло! Какой позор! Будь я взрослым, тебя не посмели бы продать! Я не допустил бы этого!

— Мистер Джордж! Вот радость-то! — сказал Том.— Думал, уеду не попрощавшись... И выразить не могу, как я рад!

Он двинул ногой, и Джордж увидел его кандалы.

— Какой позор! — воскликнул мальчик, всплеснув руками.— Я изобью этого негодяя! Я...

— Не надо, мистер Джордж! Этим вы мне не поможете, а он только пуще озлобится. И говорите потише, прошу вас.

— Хорошо, пусть будет по-твоему. Но какая подлость! Почему мне никто ничего не сказал? Почему за мной не послали? Если б не Том Линкен, я так ничего бы и не узнал. Ну, и попало же им от меня!

— Напрасно вы так погорячились, мистер Джордж.

— Я не мог молчать. Ведь это же подлость! Слушай, дядя Том,— таинственно зашептал он, поворачиваясь спиной к кузнице,— я подарю тебе мой доллар!

— Что вы, мистер Джордж! Разве я могу принять такой подарок! — сказал Том растроганным голосом.

— Примешь, примешь! Я посоветовался с тетушкой Хлоей, а она велела мне просверлить в нем дырку и продеть в нее шнурок. Ты будешь носить мой доллар на шее так, чтобы этот негодяй ничего не заметил... Нет, как хочешь, Том, а я его все-таки поколочу — мне после этого полегчает!

— А мне будет еще тяжелее, мистер Джордж. Не надо, прошу вас.

— Ну, раз уж ты просишь, так и быть,— сказал Джордж, надевая Тому шнурок на шею.— Вот! Теперь застегни куртку... и смотри не потеряй, а как взглянешь на него, так помни всякий раз, что я тебя разыщу и привезу обратно домой. Мы с тетушкой Хлоей уже все обсудили. Я ей сказал: «Не беспокойся, тетушка Хлоя. Я допеку отца и поставлю на своем».

— Мистер Джордж, зачем вы так говорите! — остановил его Том.

— Да я ничего плохого не сказал.

— Мистер Джордж, вспомните, как вас любят, и будьте хорошим сыном! Заботьтесь о матери. Верьте мне, мистер Джордж, много прекрасного господь дает нам дважды, но мать у нас одна и другой не будет. Живите хоть до ста лет, мистер Джордж, все равно второй такой женщины, как ваша матушка, вы никогда не найдете. Любите ее, будьте ей утешением и сейчас и когда подрастете. Обещаете мне, мистер Джордж?

— Обещаю, дядя Том,— ответил мальчик.

— Будьте настоящим человеком, не обманите моих надежд, и пусть родители не услышат от вас ни одного дерзкого слова. Вы не обижаетесь, что я так говорю, мистер Джордж?

— Что ты, что ты, дядя Том! Разве ты можешь посоветовать плохое!

— Ведь я старше вас,— ласково продолжал Том, большой, сильной рукой поглаживая мальчика по кудрявой голове.— Я знаю, задатки у вас хорошие. А сколько благ вам дано, мистер Джордж! Вы и читать умеете и писать. Вот вырастете и станете ученым человеком, и все, кто ни есть у нас на ферме, и ваши родители будут гордиться вами! Берите пример с отца и

с матери — он добрый хозяин, а она женщина богобоязненная — и следуйте им во всем.

— Я постараюсь, Том, верь мне! — воскликнул мальчик.— А ты не горюй. Я верну тебя домой и отстрою твою хижину заново — мы только сегодня утром говорили об этом с тетушкой Хлоей,— и у тебя будет гостиная, а на полу в гостиной ковер. Дай только мне вырасти! Подожди, дядя Том, доживешь и ты до хороших дней!

В эту минуту Гейли вышел из кузницы с наручниками в руках.

— Слушайте, сударь,— надменно обратился к нему Джордж, спрыгнув с тележки,— я расскажу родителям, как вы обошлись с дядей Томом!

— Рассказывайте на здоровье! — ответил Гейли.

— И не стыдно вам торговать людьми и заковывать их в цепи, точно скот! Неужели вас совесть не мучает!

— Покуда вы, благородные господа, будете их покупать, я с вами на равной ноге,— ответил Гейли.— Что покупка, что продажа — одно другого стоит.

— Я не буду ни продавать, ни покупать негров, когда вырасту,— сказал Джордж.— Я раньше гордился тем, что моя родина Кентукки, а теперь мне стыдно и вспомнить об этом! — Он выпрямился в седле и посмотрел по сторонам, словно проверяя, произвели ли его слова должное впечатление на штат Кентукки.— Ну, прощай, дядя Том, и не унывай, крепись!

— Прощайте, мистер Джордж! Да хранит вас бог! — сказал Том, с любовью и восхищением глядя на него.— В Кентукки такие наперечет,— добавил он, когда открытое мальчишеское лицо скрылось у него из виду.

Джордж ускакал, а Том смотрел ему вслед до тех пор, пока стук копыт не затих вдали. Последнее видение, последний отзвук родного дома! Но на груди у него — там, где ее коснулись детские пальцы,— осталось тепло. Он поднял руку и прижал драгоценный доллар к сердцу.

— Ну, Том, давай договоримся,— сказал Гейли, бросая наручники в тележку,— будешь со мной по-хорошему, и я с тобой буду по-хорошему. Я негров зря не обижаю. Все для них делаю, что могу. Так вот, не вздумай со мной плутовать. Я негритянские плутни назубок знаю. Если негр смирный и не пытается улизнуть, ему у меня хорошо. А нет — пусть сам на себя пеняет.

Том постарался уверить Гейли, что он и не думает о побеге. В сущности, работорговец напрасно расточал красноречие, ибо куда же может убежать человек, у которого ноги закованы в тяжелые железные кандалы? Но мистер Гейли поначалу всегда

угощал свой новый товар такими краткими проповедями в полной уверенности, что это вселяет в негров бодрость и избавляет его самого от лишних неприятностей.

А теперь мы на время расстанемся с Томом и займемся другими героями нашего повествования.

Глава XI,

В КОТОРОЙ У НЕВОЛЬНИКА ПОЯВЛЯЮТСЯ ВОЛЬНЫЕ МЫСЛИ

Дождливый день уже близился к вечеру, когда к дверям маленькой гостиницы в городке Н., штат Кентукки, подъехал путешественник. В зале глазам его предстало обычное для таких заведений весьма разношерстное общество, пережидающее здесь непогоду. Заметнее всего в нем были поджарые, рослые кентуккийцы в охотничьих куртках. По своему обыкновению, они чуть не лежали на стульях, а их ружья, патронташи, сумки, собаки и егеря-негритята заполняли все углы и закоулки. Справа и слева от камина в не менее свободных позах сидели двое джентльменов — длинноногие, оба в шляпах, оба в забрызганных грязью сапогах, каблуки которых величественно покоились на каминной доске. Мы должны уведомить читателя, что завсегдатаи здешних гостиниц отдают предпочтение именно этой позе, так как она, по-видимому, благоприятствует возвышенному образу мыслей.

Хозяин, стоявший за стойкой, подобно большинству своих земляков был тоже человек поджарый, рослый, с густой шевелюрой, которую еле-еле прикрывал высоченный цилиндр.

В этой комнате все были в головных уборах, причем сии эмблемы человеческого величия — будь то фетровая или засаленная касторовая шляпа, плетенка из пальмовых листьев или какой-нибудь наимоднейший шапокляк* — воплощали в себе самые характерные черты своих обладателей. У одних шляпы лихо сидели набекрень — это были весельчаки, народ бойкий, душа нараспашку; другие нахлобучивали их на нос — с такими шутки плохи, сразу видно — люди серьезные, упрямые; если шляпа сдвинута на затылок, значит, владелец ее намерен смотреть в оба, чтобы ничего не упустить из поля зрения. Ну, а простаки обходились со своими головными уборами как придется, лишь бы держались на макушке.

Негры в широченных штанах и чрезмерно узких рубашках без толку сновали взад и вперед, хотя вид у них был такой, будто они готовы перевернуть все вверх дном в угоду хозяину

и постояльцам. Добавьте к этой картине огромный камин, веселое пламя, с ревом рвущееся в трубу, распахнутые окна и дверь, сильный сквозняк, от которого пузырятся ситцевые занавески, и вы получите полное представление о прелести кентуккийских гостиниц.

В такой-то живописной обстановке и очутился наш путешественник. Это был тщательно одетый, небольшого роста почтенный старичок с добродушной круглой физиономией и несколько суетливыми манерами. Он сам внес в гостиницу свой чемодан и зонтик, наотрез отказавшись от помощи обступивших его слуг.

Войдя в комнату, новоприбывший опасливо огляделся по сторонам, выбрал местечко поближе к огню, задвинул свои пожитки под стул и, опустившись на него, устремил недоверчивый взгляд на джентльмена, который сидел, водрузив ноги на каминную доску, и так энергично поплевывал направо и налево, что это кого угодно могло обеспокоить, а тем более человека щепетильного и несколько слабонервного.

— Как дела, любезнейший? — спросил вышеупомянутый джентльмен и в виде приветствия пустил в сторону нового гостя смачный плевок.

— Благодарю вас, недурно,— ответил тот, еле увернувшись от столь сомнительного знака внимания.

— Что новенького? — продолжал джентльмен, вынимая из кармана плитку жевательного табаку и большой охотничий нож.

— Да как будто ничего.

— Употребляете? — И он великодушно протянул собеседнику чуть ли не половину плитки.

— Нет, благодарю вас, мне это вредно,— ответил тот и отодвинул свой стул подальше от камина.

— Неужто вредно? — Джентльмен нисколько не смутился отказом и отправил угощение себе в рот, чтобы пополнить исякающий запас табачной жижи.

Почтенный старичок всякий раз вздрагивал, когда длинноногий сосед плевал в его сторону. Тот наконец заметил это, нимало не обиделся и, изменив точку прицела, подверг бомбардировке каминные щипцы, да с таким искусством, с которым впору было бы вести осаду целого города.

— Что там такое? — спросил почтенный старичок, заметив, что несколько человек столпились около большой афиши, наклеенной на стене.

— Негра разыскивают,— коротко ответили ему.

Мистер Вилсон — назовем его теперь по фамилии — встал, задвинул чемодан дальше под стул, вынул из кармана очки и

стал неторопливо прилаживать их на нос. Когда эта операция была закончена, он прочитал следующее:

> Убежал от нижеподписавшегося молодой мулат Джордж. Рост — шесть футов, кожа светлая, волосы каштановые, вьющиеся. Сметливый, говорит складно, грамотный. Вероятно, будет выдавать себя за белого. На спине и на плечах — глубокие рубцы. Клеймен в правую руку литерой «Г». За поимку живым — вознаграждение 400 долларов. Столько же, если будут представлены убедительные доказательства, что он убит.

Почтенный старичок внимательно прочитал это объявление, бормоча вполголоса каждое слово. Долговязый субъект, ведший осаду каминных щипцов, опустил ноги на пол, вытянулся во весь свой огромный рост, подошел к объявлению и всадил в него полный заряд табачной жижи.

— Вот я какого мнения об этом! — кратко пояснил он и вернулся на прежнее место.

— Что это вы, любезнейший? — удивился хозяин.

— Повстречайся я с тем, кто это писал, и его бы угостил тем же самым,— сказал длинноногий, преспокойно срезая кусок табаку от плитки.— Поделом болвану, что от него негры бегают! Имеет отличного невольника — и до чего его довел! Такие объявления — позор для Кентукки! Вот что я обо всем этом думаю, если угодно знать.

— Правильно, правильно! — поддержал его хозяин.

— У меня у самого есть негры, сэр,— продолжал длинноногий,— и я им сколько раз говорил: «Ребята, хотите бежать, бегите хоть сию минуту. Задерживать вас никто не будет». Пусть знают это, тогда у них всякая охота пропадет бегать. Мало того: у меня на всех моих рабов вольные заготовлены на тот случай, если со мной какая-нибудь беда стрясется, и об этом они тоже знают. И верьте мне, сударь: ни у кого другого негры так не работают, как у меня. Сколько раз я посылал их в Цинциннати с табунами жеребят стоимостью долларов по пятьсот, и они каждый раз возвращались обратно и все деньги мне привозили, до последнего доллара. И в этом нет ничего удивительного. Когда обращаешься с негром, как с собакой, добра от него не жди; а если он видит от тебя человеческое отношение, то и работать будет, как порядочный человек.— И честный скотопромышленник подкрепил свои слова метким плевком, угодившим прямо в камин.

— Вы совершенно правы, друг мой,— сказал мистер Вилсон.— Этот мулат, о котором здесь говорится, действительно личность незаурядная. Он лет шесть работал у меня на фабрике

мешков и считался лучшим мастером, сэр. Какие у него способности! Изобрел машину для трепания конопли. Ею пользуются и на других фабриках. Его хозяин взял на нее патент...

— И, наверно, наживается на этом патенте,— перебил его скотопромышленник,— а своему рабу ставит клеймо на правую руку! Эх, будь на то моя воля, я бы его самого заклеймил — пусть ходит с такой отметиной!

— Эти ваши смышленые да грамотные негры — народ дерзкий, потому их и клеймят,— вмешался в их разговор грубоватый с виду человек, сидевший в дальнем конце комнаты.— Вели бы себя тихо да мирно, ничего бы такого не было.

— Словом, господь создал их людьми, и превратить их в скотину не так-то легко,— сухо сказал длинноногий.

— От толковых негров хозяевам одно беспокойство,— продолжал тот, не замечая презрения, сквозившего в словах собеседника.— На что они используют свои способности и таланты? Только на то, чтобы вас же надувать. Были у меня такие умники, да я подумал-подумал и продал их на Юг — все равно в конце концов сбегут...

На этом разговор прервался, так как к дверям гостиницы подъехал изящный двухместный экипаж, в котором сидел прекрасно одетый джентльмен с кучером-негром.

Как и полагается бездельникам, коротающим в гостинице дождливый день, гости буквально ели глазами новоприбывшего. Они сразу почувствовали в нем что-то необычное. Высокий рост, оливково-смуглая кожа, выразительные карие глаза, тонкий нос с горбинкой, вьющиеся иссиня-черные волосы, прекрасная линия рта, стройная фигура — все это придавало ему сходство с испанцем. Он спокойно вошел в комнату, снял шляпу, отвесил всем общий поклон, кивком головы указал слуге, куда поставить вещи, и, подойдя к стойке, назвал свое имя: Генри Батлер из Оклендса, в округе Шелби. Потом повернулся и равнодушно пробежал глазами объявление.

— Джим,— сказал он своему слуге,— помнишь того молодчика в Бернане? Как будто его приметы.

— Верно, хозяин,— ответил Джим.— Вот только не знаю, как насчет клейма.

— Ну, рук его я не разглядывал.— Молодой человек зевнул и, обратившись к хозяину гостиницы, потребовал себе отдельную комнату.— Мне нужно написать несколько писем,— пояснил он.

Хозяин был само подобострастие. Человек семь негров обоего пола, старых и молодых, словно стая куропаток, кинулись вверх по лестнице, толкаясь, падая, наступая друг другу на ноги, в едином порыве услужить новому постояльцу, а он

преспокойно сел на стул и вступил в разговор с человеком, который оказался рядом с ним.

С тех пор как незнакомец вошел в общую комнату, фабрикант мистер Вилсон не переставал приглядываться к нему с тревожным любопытством. Ему казалось, что он когда-то встречался с этим человеком, но когда именно и где? Всякий раз, как тот заговаривал, улыбался, менял позу, мистер Вилсон вздрагивал и косился на него, но большие темные глаза незнакомца смотрели так холодно, с таким безразличием, что он немедленно отводил взгляд в сторону. Наконец фабрикант сразу все вспомнил и уставился на новоприбывшего не только с изумлением, но даже с ужасом. Тот встал и подошел к нему.

— Мистер Вилсон, если не ошибаюсь? — сказал он и протянул фабриканту руку.— Прошу прощения, но я вас не узнал сначала. Вы меня, по-видимому, помните... Батлер из Оклендса, округ Шелби.

— Да... да, как же...— залепетал мистер Вилсон, словно во сне.

В эту минуту к ним подошел негритенок и сказал, что комната господину готова.

— Джим, позаботься о вещах,— небрежно бросил молодой джентльмен слуге. Потом добавил, обращаясь к мистеру Вилсону: — Я бы хотел побеседовать с вами по одному делу. Если вас не затруднит, пройдемте ко мне.

Мистер Вилсон молча последовал за ним. Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату, по которой взад и вперед носились слуги, заканчивая уборку. В камине уже потрескивал жаркий огонь.

Когда наконец они остались одни, молодой человек не спеша запер дверь, опустил ключ в карман, повернулся и, скрестив руки на груди, посмотрел мистеру Вилсону прямо в лицо.

— Джордж! — воскликнул тот.

— Да, Джордж.

— Неужели это ты?

— Я хорошо замаскировался,— с усмешкой сказал молодой человек.— Настой из ореховой скорлупы придал моей коже аристократически смуглый оттенок, волосы у меня покрашены. Как видите, никакого сходства с тем, кого разыскивают по объявлению.

— Джордж! Ты затеял опасную игру. Послушайся моего совета, брось...

— Я сам за себя отвечаю,— с той же горделивой усмешкой сказал молодой человек.

Заметим мимоходом, что по отцу Джордж был белый. От матери он унаследовал только желтоватый оттенок кожи да

прекрасные темные глаза. Достаточно ему было слегка подкрасить лицо и волосы, и он превратился в настоящего испанца. А прирожденное изящество манер и благородство осанки помогли ему без труда разыграть эту дерзкую роль — роль джентльмена, путешествующего со своим слугой.

Мистер Вилсон, человек добрый, но до чрезвычайности осторожный и беспокойный, шагал взад и вперед по комнате, раздираемый желанием помочь Джорджу и боязнью преступить закон.

Он рассуждал вслух:

— Итак, Джордж, ты совершил побег, ушел от своего законного хозяина. Ничего удивительного в этом нет. И в то же время, Джордж, меня огорчает твой поступок... да, весьма огорчает. Я считаю своим долгом сказать тебе это.

— Что же тут огорчительного, сэр? — спокойно спросил Джордж.

— Да ведь ты идешь против законов своей родины!

— Моей родины! — с горечью воскликнул молодой человек.— Я обрету родину только в могиле... и поскорее бы мне лечь в нее!

— Что ты, Джордж, что ты! Грешно так говорить. У тебя жестокий хозяин, слов нет... Да что там толковать — он поступает с тобой возмутительно. Я его не защищаю... и все же ты меня огорчил, Джордж. Ты совершил дурной, очень дурной поступок. Надо принимать все, что посылает нам провидение, Джордж.

Молодой человек стоял, высоко подняв голову, скрестив руки на широкой груди. и горькая усмешка кривила его губы.

— Мистер Вилсон, допустим, что индейцы возьмут вас в плен, разлучат с женой и детьми и заставят до конца дней ваших мотыжить для них землю. Вы тоже сочтете своим долгом покориться этой участи?.. Да вы умчитесь от них на первом же попавшемся коне и скажете, что этого коня вам послало само провидение. Разве не так?

Старичок слушал его, широко открыв глаза. Не обладая умением спорить, он все же на сей раз превзошел мудростью некоторых завзятых спорщиков, которым не мешало бы знать, что если человеку нечего возразить, пусть лучше обойдет трудный вопрос молчанием. И теперь он попросту вернулся к прежним своим уговорам и продолжал их, поглаживая зонтик и расправляя на нем каждую складочку:

— Ты знаешь, Джордж, мое дружеское отношение к тебе. Все, что я говорю, я говорю для твоего блага. Так вот, по-моему, ты подвергаешь свою жизнь страшной опасности. Твой побег вряд ли удастся. Если ты попадешься, что тогда будет?

Над тобой надругаются, изобьют тебя до полусмерти и продадут на Юг.

— Мистер Вилсон, я все знаю,— сказал Джордж.— Да, опасность велика, но...— Он распахнул плащ; за поясом у него торчали два револьвера и длинный охотничий нож.— Видите? Я готов ко всему. На Юг меня не удастся продать. Если дойдет до этого, я сумею отвоевать себе хотя бы могилу — шесть футов кентуккийской земли, которые у меня никто не отнимет.

— Бог знает, что ты говоришь, Джордж! Я просто в отчаянии! Неужто тебе ничего не стоит пойти наперекор законам твоей родины?

— Вот вы опять о м о е й родине, мистер Вилсон! Родина есть у вас, а у людей, рожденных, подобно мне, в неволе, ее нет. На какие законы мы можем полагаться? Они издавались без нашего участия, они не имеют к нам никакого касательства, нас никто не спрашивал, согласны мы с ними или нет. Эти законы способствуют нашему угнетению, нашему бесправию — только и всего.

В голове у мистера Вилсона, как в мягкой, пушистой кипе хлопка, царила полная путаница. Он жалел Джорджа от всего сердца, он даже смутно понимал чувства, волновавшие молодого мулата, но считал своим долгом упорно твердить одно и то же и наставлять его на путь истинный:

— Это нехорошо, Джордж. Послушай дружеского совета: выбрось вредные мысли из головы. Человеку в твоем положении нельзя позволять себе такое вольнодумство.— Мистер Вилсон сел к столу и в расстройстве чувств принялся сосать ручку зонтика.

— Мистер Вилсон,— сказал Джордж, смело садясь против него,— посмотрите на меня. Вот я сижу за одним столом с вами, такой же человек, как вы. Посмотрите на мое лицо, на мои руки, на мое тело.— И молодой мулат горделиво выпрямился.— Чем я хуже других людей? А теперь выслушайте меня, мистер Вилсон. Моим отцом был один из ваших кентуккийских джентльменов, и он не дал себе труда распорядиться, чтобы после его смерти меня не продали заодно с собаками и лошадьми на покрытие его долгов. Я видел, как мою мать и шестерых моих сестер и братьев пустили с аукциона. Их распродали у матери на глазах одного за другим, в разные руки. Я был самый младший. Она валялась в ногах у моего теперешнего хозяина, умоляла его купить нас обоих, чтобы ей не расставаться хоть с последним ребенком, а он ударил ее тяжелым сапогом. Я сам это видел, сам слышал, как она кричала и плакала, когда он привязал меня к седлу и повез к себе в усадьбу.

— А что было потом?

— Потом к нему же попала и моя старшая сестра. Она была скромная, хорошая девушка, а лицом красавица — вся в мать. Я сначала обрадовался, думаю — хоть один близкий человек будет около меня. Но радость моя продолжалась недолго. Сэр! Однажды ее наказали плетьми. Я стоял за дверью, все слышал и ничем не мог ей помочь. А потом к хозяину явился торговец, мою сестру вместе с партией скованных цепями рабов угнали на невольничий рынок в Новый Орлеан, и больше я о ней ничего не знаю. Шли годы... Я рос, как собака, без отца, без матери, без братьев и сестер. Ни единой родной души рядом... Некому о тебе позаботиться. На мою долю выпадали одни побои, одна брань. Я голодал. Поверите ли, сэр, для меня были лакомством кости, которые бросали собакам! И все же, когда мне, ребенку, слезы мешали заснуть по ночам, я плакал не от голода, не от перенесенных побоев, а от тоски по матери, по сестре. Ведь меня никто не любил. Я не знал покоя, душевного тепла. Не слышал ни одного доброго слова, пока не попал к вам на фабрику. Мистер Вилсон, вы обласкали меня, вам я обязан тем, что умею писать, читать, что я чего-то добился в жизни. Бог свидетель, благодарность моя не знает границ! Потом, сэр, я встретил свою будущую жену. Вы видели ее, вы помните, какая она красавица. Когда она призналась, что любит меня, когда мы стали мужем и женой, я себя не помнил от счастья. Моя Элиза не только красавица — у нее, сэр, прекрасная, чистая душа... Что же было потом? А потом хозяин является на фабрику, отрывает меня от работы, от друзей, от всего, что мне дорого, и втаптывает своего раба в грязь. За что? За то, видите ли, что негр забыл, кто он такой. А если забыл, ему надо напомнить об этом! И, наконец, он становится между нами — между мужем и женой — и приказывает мне оставить Элизу и взять в жены другую женщину. И ваши законы дают ему право на это! Мистер Вилсон, подумайте! Ведь все, что разбило сердце моей матери, моей жены и мое собственное,— все делалось по вашим законам. Никто в Кентукки не помыслил бы воспрепятствовать этому. И вы говорите, что я преступаю законы моей родины! У меня ее нет, сэр, так же, как нет отца. Но я найду родину! А ваша мне не нужна. Отпусти меня с миром — вот все, что я от нее требую. Но пусть только кто-нибудь посмеет стать на моем пути... этим людям несдобровать! Я буду драться за свою свободу до последней капли крови!

Джордж говорил со слезами на глазах, порывисто взмахивая рукой, и то шагал взад и вперед по комнате, то снова садился к столу. Добрый старик, к которому была обращена эта речь, не выдержал — извлек из кармана желтый шелковый платок и принялся усердно утирать им лицо.

— Будь они все прокляты! — вдруг воскликнул он.— Я всегда считал их негодяями! Действуй, Джордж, действуй! Но будь осторожен, дружок, смотри не пускай в ход оружия до тех пор, пока... во всяком случае, не торопись стрелять... А где твоя жена, Джордж? — Он встал и взволнованно заходил по комнате.

— Убежала, сэр. Убежала вместе с ребенком, а куда — не знаю... Должно быть, на Север. И встретимся ли мы с ней, одному богу известно.

— Убежала? От таких добрых хозяев? Быть того не может!

— Добрые хозяева иногда запутываются в долгах, а законы *нашей* родины позволяют им отнять ребенка у матери и продать его, чтобы расплатиться с кредиторами,— с горечью сказал Джордж.

— Так, так,— пробормотал добрый старик, роясь в кармане.— Я, кажется, поступаю против своих убеждений... ну и пусть! Вот, Джордж! — И он протянул ему пачку ассигнаций.

— Мистер Вилсон! Друг мой, не надо! — сказал Джордж.— Вы уже столько для меня сделали, а это может навлечь на вас неприятности. Я не нуждаюсь в деньгах, на дорогу мне хватит.

— Возьми, Джордж, возьми. Деньги лишними не бывают, если они добыты честным путем. Не отказывайся, Джордж, прошу тебя.

— Хорошо, сэр, но только с одним условием: я верну вам этот долг, как только смогу.

— А теперь скажи мне, сколько тебе еще придется путешествовать в таком виде? Надеюсь, что недолго и недалеко. Ты неузнаваем, но все-таки это слишком опасно. А слуга твой, откуда он взялся?

— Это верный человек. Он убежал в Канаду больше года назад и там узнал, что хозяин в отместку ему высек его старуху мать. И теперь Джим вернулся обратно, чтобы увезти ее с собой, если удастся.

— Она с ним?

— Нет еще. Джим бродил около усадьбы, все ждал удобного случая, но пока безуспешно. Теперь он довезет меня до Огайо, сдаст с рук на руки друзьям, которые в свое время помогли ему, и потом вернется обратно за матерью.

— Как это опасно! — ужаснулся мистер Вилсон.

Джордж выпрямился, и надменная улыбка скользнула по его губам.

Старик, не скрывая своего удивления, оглядел молодого мулата с головы до ног:

— Джордж, что с тобой стало? Ты и держишься и говоришь совсем по-другому.

— Я теперь свободный человек! — гордо ответил Джордж.—

Да, сэр! Больше никто не услышит от меня слова «хозяин»... Я свободен!

— Берегись, Джордж! А что, если тебя поймают?

— Если дойдет до этого, мистер Вилсон, так в могиле мы все свободны и все равны.

— Я просто диву даюсь твоей смелости,— сказал мистер Вилсон.— Приехать в ближайшую гостиницу!..

— Да, это настолько смело, что никому и в голову не придет искать меня здесь. Погоня уйдет вперед. Джим из другого округа. Ему бояться нечего. Да о нем уж и думать перестали — это дело давнее. А меня, надеюсь, по объявлению не задержат — ведь вы и то меня не сразу узнали.

— А клеймо?

Джордж снял перчатку, показал свежие рубцы на руке и презрительно проговорил:

— Это прощальный дар мистера Гарриса. Недели две назад он вдруг решил поставить мне клеймо. «Как бы, говорит, ты не убежал». Красиво, правда? — Молодой человек снова натянул перчатку.

— Кровь стынет в жилах, как подумаешь, чем ты рискуешь! — воскликнул мистер Вилсон.

— У меня кровь стыла не один год, а теперь она кипит,— сказал Джордж.— Так вот, сэр,— продолжал он после минутного молчания,— ваши удивленные взгляды могли выдать меня, и я решил поговорить с вами начистоту. Завтра чуть свет я уезжаю и надеюсь провести следующую ночь уже в Огайо. Буду путешествовать днем, буду останавливаться в лучших гостиницах, садиться за общий стол вместе с господами. Итак, прощайте, сэр! Если вам скажут, что я пойман, знайте: меня уже нет в живых.

Джордж стоял неподвижно, как скала. Добрый старик крепко пожал горделиво протянутую ему руку, опасливо огляделся по сторонам, взял свой зонтик и вышел из комнаты.

Молодой человек в раздумье смотрел на закрывшуюся за стариком дверь. Потом быстро шагнул вперед, открыл ее, видимо повинуясь какой-то новой мысли, и сказал:

— Мистер Вилсон, еще на одно слово.

Старик вошел в комнату. Джордж снова повернул ключ в замке и несколько минут стоял, нерешительно глядя себе под ноги. Наконец он с видимым усилием поднял голову и заговорил:

— Мистер Вилсон, я рассчитываю на ваше доброе сердце.

— А что такое, Джордж?

— Вы были правы, сэр. Я подвергаю свою жизнь большой опасности. Если со мной что-нибудь случится, никто меня не

пожалеет.— Он тяжело дышал и говорил с трудом.— Зароют в землю, как собаку, а на другой день даже не вспомнят, что был такой... никто не вспомнит, кроме моей несчастной жены. Она-то, бедняжка, будет горевать, плакать... Мистер Вилсон, если бы вы согласились как-нибудь передать ей вот эту булавку! Это ее рождественский подарок. Верните его ей и скажите, что я до последнего вздоха любил ее. Вы исполните мою просьбу? — И он повторил еще раз: — Исполните?

— Разумеется, разумеется! — дрогнувшим голосом проговорил старик, и глаза его наполнились слезами.

— И передайте ей мою последнюю волю,— продолжал Джордж,— если сможет, пусть пробирается в Канаду. Как бы она ни любила свою добрую хозяйку и свой дом, возвращаться туда ей нельзя, ибо рабство ничего, кроме горя, нам не даст. Пусть вырастит нашего сына свободным человеком, тогда ему не придется страдать, как мне. Передайте ей это, мистер Вилсон!

— Передам, Джордж, будь спокоен. Но я верю, что ты не погибнешь! Мужайся, не падай духом и уповай на господа бога! Я от всего сердца желаю тебе удачи, я...

— А разве бог есть! — с отчаянием в голосе воскликнул Джордж, перебив старика на полуслове.— Мне столько пришлось испытать в жизни, что я уже не верю в него. Вы, белые, не знаете, каково нам живется. Если бог существует, то лишь для вас, а мы... разве мы чувствуем над собой его руку?

— Не надо... не надо так говорить! — чуть не плача, взмолился мистер Вилсон.— Не давай воли таким мыслям. Господь поможет тебе, и все будет хорошо, верь мне!

— Спасибо вам, друг мой, я не забуду ваших наставлений.

Глава XII

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОДНОМ ВПОЛНЕ ЗАКОННОМ РЕМЕСЛЕ

Мистер Гейли и Том не спеша продолжали путь, погруженные каждый в свои мысли.

Удивительное дело, о каких разных вещах могут думать люди, сидя рядом в одной тележке. Органы чувств у обоих одинаковые, одни и те же картины проносятся перед их глазами, а в мыслях у них нет ничего общего.

Вот взять хотя бы мистера Гейли. Сначала он раздумывал о своем новом невольнике — о его росте, о ширине его груди, плеч, о том, за сколько его можно будет продать, если он не

спадет с тела, о мужчинах, женщинах и детях, которые войдут в партию для следующего аукциона, и о рыночной цене на них. Затем Гейли вспомнил о своей доброте — ведь другие сковывают негров по рукам и по ногам, а он надевает своим кандалы только на ноги. Вот у Тома руки свободны и останутся свободными, пока он ведет себя как следует. И Гейли испустил вздох: «До чего же люди неблагодарны! Ведь кто его знает, этого Тома,— может, он не чувствует такого благодеяния!» Сколько раз ему, Гейли, приходилось расплачиваться за то добро, которое он делал этим неграм!

Что же касается Тома, то он повторял мысленно любимые места из Библии и находил в них утешение и поддержку.

Через некоторое время работорговец вынул из кармана пачку газет и с интересом принялся изучать объявления. Грамотей Гейли был небольшой, и, когда ему приходилось читать, он бормотал слова нараспев, точно проверяя, не обманывает ли его зрение. И сейчас он медленно, по слогам разбирал следующее:

ПРОДАЖА С ТОРГОВ! НЕГРЫ!

По судебному решению, во вторник, 20 февраля, в городе Вашингтоне*, штат Кентукки, у здания суда будут продаваться негры: Агарь — 60 лет; Джон — 30 лет; Бен — 21 год; Саул — 25 лет; Альберт — 14 лет. Торги назначены для удовлетворения кредиторов и наследников мистера Джесса Блетчфорда, эсквайра.

Судебные исполнители:
Сэмюэл Моррис,
Томас Флинт

— Этих не мешает посмотреть,— сказал Гейли, обращаясь к Тому за неимением других собеседников.— Я, видишь ли, хочу подобрать хорошую партию. У тебя будет приятная компания, Том. Значит, первым долгом поедем в Вашингтон. Я займусь там делами, а тебя на это время отправлю в тюрьму.

Том покорно выслушал это приятное известие и только подумал: «У этих обреченных людей, вероятно, тоже есть жены и дети, и они не меньше меня горюют, разлучившись с ними». Надо сказать также, что брошенные мимоходом слова Гейли о тюрьме никак не могли произвести отрадное впечатление на Тома, который всегда гордился своей честностью. Как бы там ни было, день прошел, и вечер застал Тома и Гейли в Вашингтоне, где они с удобством устроились на ночлег — один в гостинице, другой в тюрьме.

На следующее утро, часам к одиннадцати, у здания суда собралась пестрая толпа. В ожидании торгов люди — каждый сообразно своим вкусам и склонностям — курили, жевали табак, поплевывали направо и налево, бранились, беседовали. Негры, выставленные на продажу, сидели в стороне и негромко переговаривались между собой. Женщина, по имени Агарь, была типичная африканка. Изнурительный труд и болезни, по-видимому, состарили ее раньше времени. Она почти ничего не видела, руки и ноги у нее были скрючены ревматизмом. Рядом с этой старухой стоял ее сын Альберт — смышленый на вид мальчик четырнадцати лет. Он единственный остался от большой когда-то семьи, членов которой одного за другим продали на Юг. Мать цеплялась за сына дрожащими руками и с трепетом взирала на тех, кто подходил осматривать его.

— Не бойся, тетушка Агарь,— сказал ей самый старший из негров.— Я попросил за тебя мистера Томаса, он обещал, если можно будет, продать вас одному хозяину.

— Кто говорит, что я никуда не гожусь? — забормотала старуха, поднимая трясущиеся руки.— Я и стряпухой могу быть, и судомойкой, и прачкой. Почему такую не купить по дешевке? Ты им так и скажи.— И она добавила настойчиво: — Так и скажи им.

Гейли протолкался сквозь толпу, подошел к старшему негру, открыл ему рот, посмотрел зубы, заставил его встать, выпрямиться, нагнуться и показать мускулатуру. Потом перешел к следующему и проделал то же самое с ним. Наступила очередь мальчика. Гейли ощупал ему руки, осмотрел пальцы и приказал подпрыгнуть, проверяя его силу и ловкость.

— Он без меня не продается,— заволновалась старуха.— Нас вместе надо покупать. Смотрите, хозяин, какая я крепкая! Я еще вам долго послужу.

— На плантациях-то? — сказал Гейли, смерив ее презрительным взглядом.— Как бы не так! — Он отошел в сторону, довольный осмотром, заломил шляпу набекрень, сунул руки в карманы и, попыхивая сигарой, стал ждать начала торгов.

— Ну, что вы о них скажете? — обратился к нему какой-то человек, видимо не полагаясь на правильность собственной оценки.

— Я буду торговать тех, что помоложе, да мальчишку,— сказал Гейли и сплюнул.

— Мальчишка и старуха идут вместе.

— Еще чего! Кому нужны эти мощи? Она только даром хлеб будет есть.

— Значит, вы ее не возьмете?

— Нашли дурака! Старуха вся скрюченная, полуслепая, да к тому же, кажется, из ума выжила.

— А некоторые все-таки покупают таких. С виду, будто и рухлядь, а на самом деле выносливые, крепкие,— задумчиво проговорил его собеседник.

— Нет, — сказал Гейли, — мне такого добра даром не надо.

— Жалко разлучать старуху с сыном: она, кажется, души в нем не чает. Может, ее по дешевке пустят?

— Швыряйтесь деньгами, если у вас есть лишние. Мальчишку можно продать на плантации, а со старухой возиться — благодарю покорно, даже в подарок ее не приму.

— Ох и будет же она убиваться!

— Это само собой,— спокойно сказал работорговец.

На этом их разговор закончился, так как толпа загудела навстречу аукционисту, суетливому приземистому человечку, деловито пробиравшемуся на свое место. Старая негритянка охнула и обеими руками обхватила сына:

— Не отходи от матери, сынок! Держись ко мне поближе — тогда нас продадут вместе.

— Я боюсь, мама, а вдруг не вместе! — сказал мальчик.

— Не может этого быть, сынок. Если нас разлучат, я умру! — вне себя от волнения проговорила старуха.

Аукционист зычным голосом попросил толпу податься назад и объявил о начале торгов. Дело пошло без заминки. Негры продавались один за другим, и по хорошим ценам, что свидетельствовало о большом спросе на этот товар. Гейли купил двоих.

— Ну-ка, юнец,— сказал аукционист, дотрагиваясь молоточком до Альберта,— встань, пройдись, покажи себя.

— Поставьте нас вместе... вместе... Будьте так добры, сударь! — забормотала старуха, крепко уцепившись за сына.

— Убирайся! — грубо крикнул аукционист, хватая ее за руку.— Ты пойдешь напоследок... Ну, черномазый, прыгай! — И с этими словами он подтолкнул Альберта к помосту.

Сзади послышался тяжкий стон. Мальчик оглянулся, но останавливаться ему было нельзя, и, смахнув слезы со своих больших черных глаз, он вспрыгнул на помост.

Глядя на его прекрасное, гибкое тело и живое лицо, покупатели стали наперебой набавлять цену. Он испуганно озирался по сторонам, прислушиваясь к выкрикам. Наконец аукционист ударил молоточком.

Мальчик достался Гейли. Его столкнули с помоста навстречу новому хозяину. На секунду он остановился и посмотрел на мать, которая, дрожа всем телом, протягивала к нему руки:

— Сударь, купите и меня, богом вас заклинаю... купите! Мне без него не жить!

— У меня тоже долго не протянешь,— сказал Гейли.— Отстань! — и повернулся к ней спиной.

Со старухой покончили быстро. Ее купил за бесценок собеседник Гейли. Толпа стала расходиться.

Негры, сжившиеся друг с другом за долгие годы, окружили несчастную мать, которая так убивалась, что на нее жалко было смотреть.

— Последнего не могли мне оставить! Ведь хозяин столько раз обещал, что уж с ним-то меня не разлучат! — горестно причитала она.

— Уповай на господа бога, тетушка Агарь,— грустно сказал ей старик негр.

— А чем он мне поможет! — вскрикнула она с рыданием в голосе.

— Не плачь, мама, не плачь! — утешал ее сын.— Ты досталась хорошему хозяину, это все говорят.

— Да бог с ним, с хозяином! Альберт, сынок мой... последний, единственный! Как же я без тебя буду?

— Ну, что стали? Возьмите ее! — сухо сказал Гейли.— Все равно она своими слезами ничего не добьется.

Старые негры, действуя и силой и уговорами, оторвали несчастную от сына и повели к повозке ее нового хозяина.

— Ну-ка, идите сюда,— сказал Гейли, подталкивая купленный товар.

Он вынул из кармана наручники, надел их на негров, пропустил через кольца длинную цепь и погнал всех троих к тюрьме.

Несколько дней спустя Гейли благополучно погрузил свои приобретения на пароход, ходивший по реке Огайо. Эти негры должны были положить начало большой партии, которую он и его подручные намеревались составить по пути.

Пароход «Красавица река», вполне достойный той прекрасной реки, в честь которой он был назван, весело скользил вниз по течению. Над ним сияло голубое небо, на его корме развевался полосато-звездный американский флаг, по его палубе, наслаждаясь чудесной погодой, разгуливали расфранченные леди и джентльмены. Все пассажиры чувствовали себя прекрасно, все были оживлены — все, кроме рабов Гейли, которые вместе с прочим грузом поместились на нижней палубе и, по-видимому, не ценя предоставленных им удобств, сидели тесным кружком и тихо разговаривали.

— Ну как, молодцы? — сказал Гейли, подходя к ним.— Надеюсь, вы тут развлекаетесь, чувствуете себя неплохо? Кук-

ситься я вам не позволю. Гляди веселей! Нет, в самом деле! Будете со мной по-хорошему, и я у вас в долгу не останусь.

«Молодцы» хором ответили ему неизменным «да, хозяин», которое уже много лет не сходит с уст несчастных сынов Африки. Впрочем, вид у них был далеко не веселый. Как это ни странно, они любили своих жен и детей, матерей и сестер, тосковали о потерянных семьях, и «глядеть веселей» им было не так-то легко.

— Моя жена, бедная, и не знает, что со мной случилось,— сказал один из этих «молодцов» (обозначенный в списке как «Джон — 30 лет»), кладя Тому на колено закованную руку.

— Где она живет? — спросил Том.

— Неподалеку отсюда, у хозяина одной гостиницы,— ответил Джон и добавил: — Хоть бы разок ее повидать, пока жив!

Том тяжело вздохнул и попробовал, как мог, утешить несчастного.

А наверху, в салоне, царили мир и уют. Там сидели отцы и матери, мужья и жены. Веселые, нарядные, как бабочки, дети резвились между ними.

— Мама, знаешь,— крикнул мальчик, только что прибежавший снизу,— на нашем пароходе едет работорговец, везет негров!

— Несчастные! — вздохнула мать не то горько, не то с возмущением.

— О чем это вы? — спросила ее другая леди.

— На нижней палубе едут невольники,— ответила та.

— И они все закованы,— сказал мальчик.

— Какое позорное зрелище для нашей страны! — воскликнула третья леди.

— А мне кажется, можно многое сказать и «за» и «против» рабства,— вступила в разговор изящно одетая женщина, сидевшая с рукодельем у открытых дверей своей каюты. Ее дочка и сын играли тут же.— Я была на Юге, и, доложу вам, неграм там прекрасно живется. Вряд ли они могли бы так жить на свободе.

— Вы правы до некоторой степени,— ответила леди, слова которой вызвали это замечание.— Но надругательство над человеческими чувствами, привязанностями — вот что, по-моему, самое страшное в рабстве. Например, когда негров разлучают с семьями.

— Да, это, конечно, ужасно,— сказала изящная дама, разглядывая оборочки на только что законченном детском платье.— Но такие случаи, кажется, не часты.

— Увы, слишком часты! — с жаром воскликнула ее собеседница.— Я много лет жила в Кентукки и Виргинии и столько там

всего насмотрелась! Представьте себе, сударыня, что ваших детей отняли у вас и продали в рабство...

— Как же можно сравнивать наши чувства и чувства негров! — сказала та, разбирая мотки шерсти.

— Следовательно, вы их совсем не знаете, сударыня, если можете так говорить! — горячо воскликнула первая леди.— Я среди них выросла. И, поверьте мне, эти люди способны чувствовать так же, как мы, если не глубже.

Ее собеседница проговорила, зевнув:

— В самом деле? — И, выглянув в иллюминатор, в виде заключения повторила: — А все-таки в неволе им лучше.

— Сам господь бог судил африканцам быть рабами и довольствоваться своим положением,— сказал солидного вида джентльмен в черном священническом одеянии.

Тем временем «Красавица река» продолжала свой путь. Пассажиры развлекались кто как мог: мужчины беседовали друг с другом, гуляли по палубе, читали, курили, женщины занимались рукоделием, дети играли.

На третий день, когда пароход остановился у пристани одного небольшого городка в Кентукки, Гейли сошел на берег, так как у него были здесь кое-какие дела.

Том, которому кандалы не мешали понемножку двигаться, стоял у борта, рассеянно глядя вдаль. И вдруг он увидел Гейли, быстро шагавшего к причалу в сопровождении какой-то негритянки. Она была очень прилично одета и несла на руках маленького ребенка. За ней шел негр с небольшим сундучком. Оживленно переговариваясь со своим носильщиком, женщина поднялась по трапу на пароход. Зазвонил колокол, из трубы со свистом вырвался пар, машины охнули, закашлялись, и «Красавица река» отчалила от пристани.

Новая пассажирка пробралась между ящиками и тюками хлопка, загромождавшими нижнюю палубу, нашла себе место и весело защебетала, играя с ребенком.

Гейли прошелся раза два по всему пароходу, потом спустился вниз, сел рядом с женщиной и начал что-то говорить ей вполголоса.

Вскоре Том заметил, что она изменилась в лице и стала взволнованно спорить с работорговцем.

— Не верю, ни одному вашему слову не верю! — донеслось до него.— Вы меня обманываете.

— Не веришь? А вот посмотри,— сказал Гейли, протягивая ей какую-то бумагу.— Это купчая, вот тут внизу подпись твоего хозяина. Я за тебя немалые деньги заплатил.

— Не мог хозяин так меня обмануть! Не верю! Не верю! — повторяла женщина, волнуясь все больше и больше.

— Попроси любого грамотного человека — пусть тебе прочтут... Будьте любезны,— обратился Гейли к проходившему мимо пассажиру,— прочитайте нам, что тут написано. Она мне не верит.

— Это документ о продаже негритянки Люси с ребенком,— сказал тот.— Подпись «Джон Фосдик». Составлено по всей форме.

Горестный плач женщины привлек к ней всеобщее внимание, вокруг нее собралась толпа. Гейли в нескольких словах объяснил, в чем дело.

— Хозяин сказал, что я поеду в Луисвилл и меня возьмут поварихой в ту же гостиницу, где работает мой муж. Это его собственные слова. Не мог же он лгать мне! — говорила женщина.

— Да он продал тебя, бедняжка, тут и сомневаться нечего,— сказал ей добродушного вида джентльмен, читая купчую.— Продал — и дело с концом!

— Тогда не стоит больше об этом говорить! — отрезала женщина, сразу овладев собой.

Она прижала ребенка к груди, села на ящик, повернувшись ко всем спиной, и устремила безучастный взгляд на реку.

— Ну, кажется, обойдется,— сказал работорговец.— Видно, не из плаксивых, с характером.

Женщина сидела совершенно спокойно, а в лицо ей ласково, словно сочувствуя материнскому горю, дул летний ветерок, которому все равно, какое овевать чело — белое или черное. Она видела золотую под солнцем рябь на воде, слышала доносившиеся со всех сторон довольные, веселые голоса, но на сердце у нее лежал камень. Ребенок прыгал у матери на коленях, гладил ей щеки, лепетал что-то, словно стараясь вывести ее из задумчивости. И вдруг она крепко прижала его к груди, и материнские слезы одна за другой закапали на головку бедного несмышленыша. А потом женщина мало-помалу успокоилась и снова принялась нянчить его.

Десятимесячный мальчик, не по возрасту крупный и живой, вертелся во все стороны, не давая матери ни минуты покоя.

— Славный малыш! — сказал какой-то человек и остановился перед ними, засунув руки в карманы.— Сколько ему?

— Десять месяцев с половиной,— ответила мать.

Человек свистнул, привлекая внимание мальчика, и протянул ему леденец, который тот схватил обеими ручонками и отправил в рот.

— Забавный! Все понимает! — Человек свистнул еще раз и, обойдя палубу, увидел Гейли, который сидел на груде ящиков и курил.

Он чиркнул спичкой и, поднося ее к сигаре, сказал:

— Недурная у вас негритянка, любезнейший.

— Да, как будто в самом деле ничего,— подтвердил Гейли и пустил кольцо дыма.

— На Юг ее везете?

Гейли кивнул, попыхивая сигарой.

— Думаете продать там?

— Мне дали большой заказ на одной плантации,— сказал Гейли.— Она, говорят, хорошая повариха. Пристроится там на кухне или пойдет собирать хлопок. Пальцы у нее длинные — в самый раз. Так или иначе, а такой товар не продешевлю.— И он снова сунул сигару в рот.

— А кому нужен ребенок на плантации?

— Да я его продам при первом же удобном случае,— сказал Гейли и закурил вторую сигару.

— Цена, вероятно, будет невысокая? — спросил человек, усаживаясь на ящик.

— Там посмотрим,— сказал Гейли.— Мальчишка хоть куда — крупный, упитанный, не ущипнешь!

— Это все правильно, да ведь пока его вырастишь! Сколько забот, расходов...

— Чепуха! Какие там особенные заботы? Растут себе и растут, как щенята. Этот через месяц уж бегать будет.

— Есть одно место, куда его можно отправить на воспитание. Там у стряпухи на прошлой неделе мальчишка утонул в лохани, пока она вешала белье. Вот бы к ней его и пристроить...

Некоторое время оба курили молча, так как ни тому, ни другому не хотелось первому заговаривать о самом главном.

Наконец собеседник Гейли нарушил молчание:

— Ведь больше десяти долларов вы за этого мальчишку не запросите? Вам, так или иначе, надо сбыть его с рук.

Гейли покачал головой и весьма выразительно сплюнул.

— Нет, не подходит,— сказал он, не вынимая изо рта сигары.

— А сколько же вы хотите?

— Я, может, себе его оставлю или отдам куда-нибудь на воспитание,— сказал Гейли.— Мальчишка смазливый, здоровенький. Через полгода цена ему будет сто долларов, а через год-другой и все двести. Так что сейчас меньше пятидесяти и смысла нет просить.

— Что вы, любезнейший! Это курам на смех!

Гейли решительно мотнул головой:

— Ни цента не уступлю.

— Даю тридцать,— сказал незнакомец,— и ни цента больше.

— Ладно! — И Гейли сплюнул еще решительнее.— Поделим разницу — сорок пять долларов последняя цена.

Незнакомец минуту подумал и сказал:

— Ну что ж, идет.

— По рукам! — обрадовался Гейли.— Вам где сходить?

— В Луисвилле.

— В Луисвилле? Вот и прекрасно! Мы подойдем туда в сумерках. Мальчишка будет спать, а вы его потихоньку... так, чтобы обошлось без рева... и дело в шляпе. Я лишнего шума не люблю. Слезы, суматоха — ну к чему это?

И, после того как несколько ассигнаций перешли из бумажника покупателя в бумажник продавца, последний снова закурил сигару.

Был ясный, тихий вечер, когда «Красавица река» остановилась у луисвиллской пристани. Женщина сидела, прижав спящего ребенка к груди. Но вот кто-то крикнул: «Луисвилл!», она встрепенулась, положила сына между двумя ящиками, предварительно подостлав под него свой плащ, и побежала к борту в надежде, что среди слуг из местной гостиницы, глазеющих на пароход, будет и ее муж. Она перегнулась через поручни, пристально вглядываясь в каждое лицо на берегу, и столпившиеся сзади пассажиры загородили от нее ребенка.

— Пора! — шепнул Гейли, передавая спящего малыша его новому хозяину.— Только не разбудите, а то раскричится. Не оберешься хлопот с матерью...

Тот осторожно взял свою покупку и вскоре затерялся с ней в толпе на берегу.

Когда пароход, кряхтя, отдуваясь и пофыркивая, отвалил от пристани и начал медленно разворачиваться, женщина вернулась на прежнее место. Там сидел Гейли. Ребенка не было.

— Где... где он? — растерянно забормотала она.

— Люси,— сказал работорговец,— ты его больше не увидишь, так и знай. Все равно на Юг с ребенком ехать нельзя, а я продал твоего мальчишку в хорошую семью, там ему будет лучше, чем у тебя.

Полный муки и безграничного отчаяния взгляд, который бросила на Гейли женщина, мог бы смутить кого угодно, только не его. Он давно привык к таким взглядам, к искаженным болью темным лицам, к судорожно стиснутым рукам, прерывистому дыханию и считал, что в его ремесле без этого не обойдешься. Сейчас ему важно было только одно: поднимет женщина крик на весь пароход или нет, так как Гейли терпеть не мог лишнего шума и суеты.

Но женщина не стала кричать. Удар обрушился на нее слишком внезапно.

Она как подкошенная упала на ящик, устремив вперед невидящий взгляд, руки ее бессильно повисли вдоль тела. Людские

голоса, грохот машин доносились до ее слуха точно сквозь сон. Раненое сердце не могло исторгнуть ни стона, чтобы облегчить невыносимую боль. Внешне она была совершенно спокойна.

Работорговец, обдумав положение, счел нужным выказать приличествующее случаю участие.

— Знаю, Люси, знаю, на первых порах тяжело,— сказал он.— Но ведь ты у нас умница, не будешь попусту убиваться. Что же тут поделаешь, иначе нельзя!

— Перестаньте, хозяин, не надо! — сдавленным голосом проговорила она.

— Ты умница, Люси,— продолжал работорговец,— я тебя в обиду не дам, подыщу тебе хорошее местечко на Юге. Ты там и другого мужа себе найдешь. Такой красавице...

— Оставьте меня, хозяин, не говорите со мной!

И в этих словах послышалось столько боли и тоски, что Гейли подумал: «Нет, тут никакими уговорами не поможешь», и решил отступиться от нее. Он встал, а женщина повернулась к нему спиной и с головой закуталась в плащ.

Работорговец прохаживался по палубе, то и дело останавливаясь и поглядывая на нее.

«Убивается... но хоть не голосит, и то хорошо,— рассуждал он сам с собой.— Ничего, отойдет, со временем все образуется».

Том был свидетелем этой сделки, и ему с самого начала было ясно, чем она кончится. Сердце его обливалось кровью при виде несчастной женщины, при виде этой живой страдающей в е щ и, равной, согласно американским законам, тем ящикам с товарами и кипами хлопка, на которых она лежала теперь, точно сломанная тростинка.

Он подсел к ней, пытаясь хоть как-нибудь утешить ее, но она только стонала в ответ на его увещания.

Настала ночь — спокойная, величавая ночь, сияющая множеством прекрасных золотых звезд. Но далекое небо безмолвствовало, от него нельзя было ожидать ни помощи, ни даже сочувствия. Веселые, оживленные голоса умолкли один за другим; все уснуло на пароходе, и в наступившей тишине было явственно слышно журчанье волны у борта. Том лежал на ящиках, прислушиваясь к глухим причитаниям несчастной женщины:

— Что же я теперь буду делать? Боже мой, боже! Помоги мне!

Но потом и эти звуки стихли.

Среди ночи Том проснулся, будто от толчка. Темная тень промелькнула между ним и бортом, и он услышал всплеск воды. Этот всплеск никого не потревожил, кроме него. Он поднял голову — место, где лежала женщина, было пусто! — потом встал, осмотрелся по сторонам... ее нигде не было! Несчастное,

истерзанное сердце наконец-то нашло покой, а волны, сомкнувшиеся над ним, как ни в чем не бывало покрывались рябью и весело журчали.

Работорговец проснулся чуть свет и тут же отправился посмотреть на свой живой товар. Настала теперь его очередь растерянно озираться по сторонам.

— Куда она девалась? — спросил он Тома.

Том, давно убедившийся, что в таких случаях лучше молчать, решил не делиться с работорговцем своими подозрениями.

— Не могла же она сойти ночью на берег! Я на каждой остановке просыпался и сам за ней следил. В таких делах ни на кого нельзя полагаться.

Это признание было обращено к Тому, как будто оно могло заинтересовать его. Но Том молчал.

Работорговец обшарил пароход от носа до кормы, искал между ящиками, тюками, бочками, заглянул даже в машинное отделение — все напрасно.

— Слушай, Том, не таись,— сказал он, оставив наконец свои бесплодные поиски.— Ты все знаешь. Нечего вилять, меня не проведешь. Я же смотрел и в десять часов, и в полночь, и между часом и двумя — она была здесь, вот на этом самом месте. А в четыре ее и след простыл! Ты же рядом лежал, значит, все видел. Ну, не отпирайся!

— Вот что я вам доложу, хозяин,— ответил Том,— под утро я услышал сквозь сон, будто мимо меня кто-то проскользнул. А потом вода сильно всплеснула. Тут я проснулся, гляжу — женщины нет. Вот и все, больше я ничего не знаю.

Услышав это, работорговец не пришел в ужас и даже не удивился, ибо, как мы уже говорили, он был человек привычный, не чета нам. Грозное присутствие смерти и то не заставило его содрогнуться. По роду своего почтенного ремесла он сталкивался со смертью не раз и был с ней на короткой ноге, хоть и считал, что эта злая старуха сплошь и рядом портит ему всю коммерцию. Так и теперь: ничего другого от него не услышали, кроме проклятий по адресу негритянки и жалоб на свою незадачливость: «Так, пожалуй, за всю поездку ни цента не заработаешь!»

Короче говоря, Гейли считал себя несправедливо обиженным судьбой, но помочь горю не мог, ибо женщина ушла от него в такой штат, который никогда не выдает беглецов, даже по требованию нашего великого государства. Крайне раздосадованный, он вынул из кармана записную книжку и внес погибшее человеческое существо под рубрику «убытки».

Глава XIII

В ПОСЕЛКЕ КВАКЕРОВ*

Теперь перед нами открывается тихая, мирная картина. Представьте себе просторную кухню — стены ее свежевыбелены, пол навощен, на нем ни соринки; широкая плита покрыта черной краской, начищенная до блеска посуда наводит на мысль о разных вкусных вещах, зеленые деревянные стулья сверкают лаком. А вот маленькая качалка с подушкой, сшитой из пестрых шерстяных лоскутов, рядом — другая побольше; ее широкие ручки так и манят в свои гостеприимные объятия, суля отдых на мягком, пуховом сиденье. И в этой качалке, с шитьем в руках, покачивается наша старая приятельница — Элиза. Да, это она, похудевшая, бледная. Тихая грусть таится под сенью ее длинных ресниц и в складке губ. Нежное сердце молодой женщины не только закалилось, но и повзрослело под тяжестью горя, и когда по временам она поднимает глаза на сына, который, словно тропическая бабочка, носится взад и вперед по кухне, в этом взгляде чувствуется непоколебимая воля и решимость — то, чего у нее не было в прежнюю, счастливую пору жизни.

Рядом с Элизой сидит женщина в белоснежном чепце и сером платье строгого квакерского покроя; она держит на коленях миску и перебирает в ней сушеные фрукты. Этой женщине можно дать лет пятьдесят пять, а то и все шестьдесят, но у нее одно из тех лиц, которые время только красит — круглое, румяное, напоминающее своей свежестью покрытый пушком спелый персик. Чуть посеребренные годами волосы гладко зачесаны назад со лба — высокого, чистого. Печать покоя и благоволения к человеку лежит на нем. Большие карие глаза излучают ясный, мягкий свет — загляните в них, и вы увидите, какое верное, доброе сердце бьется у нее в груди. Сколько воспевалась и воспевается красота юных девушек! Почему же никто не замечает обаяния старости? Тех, кого увлечет эта тема, мы отсылаем к нашему доброму другу Рахили Хеллидэй. Пусть посмотрят на нее сейчас, пока она сидит в своей маленькой качалке. Качалка эта имеет привычку скрипеть и попискивать — то ли от схваченной в молодости простуды, то ли от астмы, а может быть, и просто от расстроенных нервов. Легкое «скрип-скрип» раздается непрестанно, и всякому другому креслу никто бы не простил таких звуков. Но старый Симеон Хеллидэй считает, что это настоящая музыка, а для детей поскрипывание материнской качалки дороже всего на свете.

— Значит, Элиза, ты все еще не оставила мысли о Канаде?— спросила Рахиль, неторопливо перебирая сушеные фрукты.

— Нет,— твердо ответила та.— Я больше не могу здесь задерживаться.

— Ну, доберешься ты до Канады, а там что будешь делать? Надо и об этом подумать, дочь моя.

Как естественно прозвучали слова «дочь моя» в устах Рахили Хеллидэй! Так же естественно, как и слово «мать», с которым к ней так часто обращались.

У Элизы задрожали руки, две-три слезинки упали на ее рукоделие, но она ответила не менее твердо:

— Я ни от какой работы не откажусь. Что-нибудь найдется.

— Ты можешь жить здесь сколько тебе угодно.

— Благодарю вас! Но...— Элиза показала глазами на Гарри.— Я не сплю по ночам. Я не знаю ни минуты покоя! — И она добавила, вздрогнув: — Вчера мне приснилось, будто тот человек вошел во двор.

— Бедняжка! — сказала Рахиль, смахивая слезы.— Только напрасно ты так тревожишься. В нашем поселке еще ни разу никого не изловили, и тебя не поймают.

В эту минуту дверь открылась, и в комнату вошла маленькая, пухлая, румяная, как спелое яблочко, женщина. На ней тоже было скромное серое платье с батистовой косынкой, завязанной крест-накрест на груди.

— Руфь Стедмен! — воскликнула Рахиль, радостно поднимаясь навстречу гостье.— Ну, как ты поживаешь? — И она взяла ее за обе руки.

— Хорошо,— сказала Руфь, снимая темный капор и стряхивая с него пыль носовым платком.

Под капором обнаружился квакерский чепец, сидевший весьма легкомысленно на ее круглой головке, несмотря на все старания пухлых маленьких рук образумить его. Несколько непокорных кудряшек выбилось из-под чепца, и с ними тоже пришлось повозиться, прежде чем они согласились лечь на место. Проделав все это, гостья, которой было лет двадцать пять, отвернулась от зеркала, видимо очень довольная собой, что было вполне понятно, ибо кто же останется недовольным, глядя на такое веселое, добродушное, пышущее здоровьем существо!

— Руфь, это Элиза Гаррис, а вот ее сынок, о котором я тебе рассказывала.

— Очень рада тебя видеть, Элиза! — сказала Руфь, пожимая ей руку, словно старой, долгожданной подруге.— Так это твой мальчуган? А я принесла ему гостинец.— И она протянула Гарри слепленный сердечком пряник.

Мальчик робко взял его, исподлобья глядя на Руфь.

— А где твой малыш? — спросила Рахиль.

— Сейчас появится. Я как вошла, твоя Мэри выхватила его у меня и побежала с ним в сарай показывать ребятишкам.

Не успела она договорить, как Мэри, румяная девушка, с большими, унаследованными от матери карими глазами, вбежала в кухню с ребенком на руках.

— Ага! Вот он! — воскликнула Рахиль, принимая от нее упитанного малыша.— Как он хорошо выглядит и какой стал большой!

— Растет не по дням, а по часам,— сказала Руфь.

Она сняла с сына голубой шелковый капор и множество самых разнообразных одежек, потом обдернула на нем платьице, расправила все складочки, чмокнула его в щеку и спустила на пол — собраться с мыслями. Малыш, по-видимому привыкший к подобному обращению, сунул палец в рот и задумался о своих делах, а его мамаша уселась в кресло, вынула из кармана длинный чулок в белую и синюю полоску и проворно заработала спицами.

— Мэри, налила бы ты, голубушка, воды в чайник,— мягко сказала мать.

Мэри сбегала к колодцу и, вернувшись, поставила чайник на плиту, где он вскоре замурлыкал и окутался паром, являя собой символ гостеприимства и домашнего уюта. Те же самые руки, повинуясь мягким указаниям Рахили, поставили на плиту и кастрюлю с фруктами.

Сама же Рахиль положила на стол чисто выскобленную доску, подвязала передник и спокойно, без всякой суеты, принялась делать печенье, предварительно сказав Мэри:

— Ты бы попросила Джона, голубушка, ощипать курицу.

И Мэри мгновенно исчезла.

Вскоре к их компании присоединился Симеон Хеллидэй — человек высокий, статный, в темной куртке, темных штанах и в широкополой шляпе.

— Здравствуй, Руфь,— ласково проговорил он, пожимая широкой рукой ее маленькую пухлую ручку.— Как твой Джон?

— Мои все здоровы, и Джон в том числе! — весело ответила Руфь.

— Ну, что нового, отец? — спросила Рахиль, ставя печенье в духовку.

— Питер Стеббинс сказал мне, что сегодня к вечеру он будет здесь с д р у з ь я м и,— ответил Симеон, многозначительно подчеркнув последнее слово.

— Вот как! — воскликнула его жена и задумчиво посмотрела на Элизу.

— Твоя фамилия Гаррис — правильно я запомнил? — спросил Симеон.

Рахиль быстро взглянула на мужа, когда Элиза, испугавшись, не появилось ли где-нибудь объявление о ее розыске, дрожащим голосом ответила:

— Да.

— Мать! — позвал Симеон жену и вышел на крыльцо.

— Ты что, отец? — спросила она, вытирая на ходу белые от муки руки.

— Ее муж здесь, в поселке, и будет у нас сегодня ночью,— сказал Симеон.

— Да что ты, отец! — воскликнула Рахиль, просияв от радости.

— Верно тебе говорю! Питер ездил вчера на нашу станцию, и там его ждали старуха и двое мужчин. Один из них назвался Джорджем Гаррисом, и, судя по тому, что́ он о себе рассказывал, это и есть муж Элизы. Питеру он очень понравился. Неглупый, говорит, и красивый. Как ты думаешь, сейчас ей сказать?

— Посоветуемся с нашей Руфью,— предложила Рахиль.— Руфь, поди-ка сюда!

Та отложила вязанье и мигом очутилась на крыльце.

— Руфь, ты только подумай! — сказала Рахиль.— Отец говорит, что муж Элизы прибыл с последней партией и ночью будет у нас!

Эти слова были встречены взрывом восторга. Молоденькая квакерша так и подпрыгнула на месте, громко захлопав в ладоши, и два локона опять выбились у нее из-под чепчика на белую косынку.

— Тише, дорогая, тише! — мягко остановила ее Рахиль.— Посоветуй лучше: сказать ей об этом или повременить?

— Сейчас! Сию же минуту! И не думай откладывать! Да будь это мой Джон, как бы я обрадовалась! — И она взяла Рахиль за руки.— Пойди с ней в спальню, а я присмотрю за печеньем.

Рахиль вернулась в кухню, где Элиза сидела за шитьем, и, открыв дверь в маленькую спальню, сказала:

— Поди сюда, дочь моя, мне надо поговорить с тобой.

Кровь прилила к бледным щекам Элизы. Она поднялась, задрожав от предчувствия беды, и взглянула на Гарри.

— Нет, нет! — воскликнула Руфь, кидаясь к ней.— Не бойся, Элиза! Вести хорошие. Иди, иди! — И, ласково подтолкнув Элизу к двери, она подхватила Гарри на руки и принялась целовать его.— Скоро увидишь отца, малыш! Понимаешь? Твой отец приехал! — повторила Руфь глядевшему на нее во все глаза мальчику.

А за дверью спальни происходила иная сцена. Рахиль Хеллидэй привлекла к себе Элизу и сказала:

— Дочка! Господь смилостивился над тобой: твой муж порвал оковы рабства!

Сердце у Элизы бурно заколотилось, она вспыхнула, потом побледнела как полотно и, чувствуя, что силы оставляют ее, опустилась на стул.

— Мужайся, дитя мое,— сказала Рахиль, кладя руку ей на голову.— Он среди друзей, и сегодня ночью его приведут сюда.

— Сегодня... сегодня! — повторяла Элиза, сама не понимая, что говорит.

В голове у нее все спуталось, заволоклось туманом, и она потеряла сознание.

* * *

Очнувшись, Элиза увидела, что лежит в постели, укрытая одеялом, а маленькая Руфь растирает ей руки камфарой. Она открыла глаза с ощущением блаженной истомы во всем теле, как человек, сбросивший с плеч тяжкий груз. Нервное напряжение, сковывавшее ее с первой минуты побега, теперь исчезло, и она наслаждалась непривычным чувством безмятежного покоя. Все еще словно во сне, она увидела, как приотворилась дверь в соседнюю комнату, увидела там стол с белоснежной скатертью, накрытый к ужину; услышала сонливую песенку закипающего чайника... Руфь то и дело подходит к столу, ставит на него блюдо с пирогом, разные соленья, варенья, сует Гарри вкусные кусочки, гладит по головке, перебирает пальцами его длинные кудри. Рахиль, дородная, статная, останавливается у ее кровати, оправляет одеяло, подушки, и большие карие глаза этой женщины словно лучатся солнечным теплом. А вот муж Руфи, Руфь бросается ему навстречу, взволнованно шепчет что-то, показывая на ту комнату, где лежит она, Элиза. Потом все садятся за стол— вон Руфь с малышом, вон Гарри на высоком стульчике, под крылышком Рахили. До Элизы доносятся их негромкие голоса, мелодичный звон чайных ложек... Все это снова сливается с ее дремотой, и она погружается в такой глубокий сон, какого не знала после той страшной ночи, когда холодные звезды смотрели на нее, бежавшую из дому с сыном на руках. И во сне она видит перед собой чудесную страну — страну, полную мира и тишины. Зеленеющие берега, сверкающие на солнце во́ды, островки, чей-то дом... дружеские голоса говорят ей, что это ее дом, и она видит в нем своего ребенка, свободного, счастливого. Она слышит шаги мужа... все ближе, ближе. Вот он обнимает ее, она чувствует, как его слезы капают ей на лицо... и просыпается. Это не сон! На дворе уже давно стемнело. Ребенок спокойно спит, горит свеча, а у кровати стоит на коленях ее муж и рыдает, уткнувшись лицом в подушку.

* * *

На следующее утро Рахиль поднялась чуть свет и занялась приготовлением завтрака, окруженная своей детворой, которая беспрекословно подчинялась ее ласковым «сбегай туда-то, голубчик», «сделай то-то, голубушка».

Когда Джордж, Элиза и маленький Гарри вышли в кухню, их встретили так сердечно, что они даже растерялись.

Все сели завтракать, а Мэри, стоя у плиты, жарила оладьи и, когда они покрывались золотистой, румяной корочкой, подавала их на стол.

Джордж впервые сидел как равный за одним столом с белыми, и сначала ему было не по себе. Но вскоре чувство смущения и неловкости рассеялось, как туман, в мягких лучах непритворной сердечности добрых хозяев.

— Отец, а что, если ты опять попадешься? — спросил Симеон-младший, намазывая маслом оладью.

— Ну что ж, заплачу штраф, только и всего,— спокойно ответил Хеллидэй.

— А вдруг тебя посадят в тюрьму?

— Неужто вы с матерью не управитесь без меня на ферме?— с улыбкой сказал он.

— Мать с чем угодно управится,— ответил мальчик.

— Я надеюсь, сэр, что у вас не будет никаких неприятностей из-за нас? — встревожился Джордж.

— Не бойся, Джордж,— успокоил его Симеон.— День ты побудешь здесь, а вечером, часов в десять, Финеас Флетчер отвезет вас всех дальше, на нашу следующую станцию. Погоня близка, нельзя терять ни минуты.

— Если так, зачем же откладывать до вечера? — спросил Джордж.

— Днем ты в полной безопасности: здесь все друзья, и, в случае чего, нас предупредят. А ехать лучше ночью, это мы знаем по опыту.

Глава XIV

ЕВАНГЕЛИНА

Косые лучи заходящего солнца бросают золотые блики на трепетный камыш, на высокие сумрачные кипарисы, увитые траурно-темными гирляндами моха, и дрожат на широкой, как море, глади реки, по которой идет тяжело груженный пароход.

Загроможденный сверху донизу кипами хлопка, собранного

на многих плантациях, он кажется издали квадратной серой глыбой. Нам придется долго бродить по его тесным закоулкам в поисках нашего скромного друга Тома. Но мы найдем его... Вот он сидит на верхней палубе в самом уголке, потому что здесь тоже тесно от хлопка.

Хороший отзыв, который дал своему невольнику мистер Шелби, и на редкость безобидный, кроткий характер Тома внушили доверие даже такому человеку, как Гейли.

Сначала работорговец целыми днями не спускал с него глаз, а по ночам не разрешал спать без кандалов; но мало-помалу, видя его безропотную покорность, он отменил строгости, и Том, отпущенный, так сказать, под честное слово, мог свободно ходить по всему пароходу.

Матросы и грузчики не скупились на похвалы тихому, услужливому негру, который никогда не отказывался помочь им в трудную минуту и работал иной раз по нескольку часов кряду с такой же охотой, как и у себя дома, в Кентукки. Когда же помощь его была не нужна, он отыскивал укромное местечко среди кип хлопка и погружался в чтение Библии. За этим занятием мы и застаем его сейчас.

Последние сто миль до Нового Орлеана уровень Миссисипи выше окружающей местности, и она катит свои мощные воды меж наносных валов в двадцать футов вышиной. С пароходной палубы, точно с башни плавучего замка, можно видеть окрестности на многие мили вокруг. Перед глазами Тома, как на карте, расстилалась плантация за плантацией, и теперь он ясно представлял себе ту жизнь, которая ждала его в недалеком будущем.

Он видел вдали невольников, гнувших спину на полях; видел их лачуги, сбившиеся кучкой на почтительном расстоянии от великолепных господских домов и парков. И, по мере того как эти картины проплывали мимо, его бедное неразумное сердце все больше тосковало по ферме в Кентукки, осененной тенистыми буками, по просторному, полному прохлады хозяйскому дому и маленькой хижине, увитой бегонией и розами. Он видел перед собой знакомые с детских лет лица товарищей, видел свою хлопотунью-жену, занятую приготовлением ужина, слышал заливистый смех разыгравшихся ребятишек, щебетанье малютки, скачущей у него на коленях. И вдруг все это исчезало. Перед ним снова тянулись камыши, кипарисы, хлопковые плантации, в ушах снова раздавался грохот машин, и он вспоминал, что прежняя жизнь ушла от него навсегда.

В такую минуту вы бы взялись за перо и послали бы весточку жене и детям. Но Том не умел писать — почта для него все равно что не существовала, и ему ничто не могло смягчить боль разлуки с близкими — ни теплое слово, ни привет из родного дома. Так

мудрено ли, что слезы капают у него из глаз на страницу, по которой он терпеливо водит пальцем, медленно переходя от слова к слову! В былые дни дети мистера Шелби, а чаще всех Джордж читали Тому вслух эту книгу, и он отмечал в ней любимые места, чтобы сразу находить их, и теперь каждое из этих мест напоминало ему дом, семью, а сама Библия была единственным, что осталось у него от прежней жизни.

Среди пассажиров на пароходе был богатый и знатный джентльмен из Нового Орлеана, по имени Сен-Клер. Он путешествовал с дочерью — девочкой лет шести, за которой присматривала немолодая леди, очевидно их родственница.

Девочка постоянно попадалась Тому на глаза, ибо ее, вероятно, так же трудно было удержать на одном месте, как солнечный луч или летний ветерок. А увидев эту крошку, на нее нельзя было не заглядеться.

Представьте себе детскую фигурку, в которой нет и следа ребяческой неуклюжести, личико, пленяющее не столько тонкостью черт, сколько выражением мечтательной задумчивости, легкие, как облако, золотисто-каштановые волосы, глубокий, одухотворенный взгляд голубых глаз, оттененных густыми, длинными ресницами,— представьте себе все это, и вы поймете, что выделяло дочь Сен-Клера среди других детей и заставляло взрослых оглядываться и смотреть ей вслед, когда она порхала среди них по всему пароходу.

Отец и наставница только и знали, что бегать за ней. Но стоило им поймать ее, как она снова исчезала, точно летнее облачко. Ей прощалось все, и, пользуясь этим, девочка носилась где вздумается. Белое платьице легкой тенью появлялось в самых неожиданных местах, оставаясь все таким же свежим и чистым. Не было такого уголка на пароходе, где не раздавались бы легкие шажки этой феи, где не мелькала бы ее золотистая головка.

Разгибая усталую спину, кочегар ловил взгляд ее широко открытых глаз, устремленных сначала на яростное пламя топки, потом — с ужасом и жалостью — на него, словно ему грозила страшная опасность. Штурвальный улыбался, глядя в окно рубки, где, как на картине, появлялась на миг ее фигурка. При виде этой девочки по хмурым лицам скользили непривычно мягкие улыбки, суровые голоса слали ей вслед благословения. А когда она бесстрашно подбегала к опасным местам, черные от сажи, мозолистые руки протягивались к ней со всех сторон, оберегая каждый ее шаг.

Том с интересом наблюдал за девочкой, ибо негры со свойственной им добротой и впечатлительностью всегда тянутся ко всему чистому, детскому. У него было наготове множество бесхитростных приманок, на которые так легко идут дети. Он умел

выпиливать крохотные корзинки из вишневых косточек, вырезать забавные рожицы из орехов, делать прыгунчиков из бузинной мякоти; а уж что касается свистулек всех сортов, так другого такого мастера, как наш Том, не нашлось бы во всем свете. Его карманы были полны всяких интересных вещиц, которые в свое время предназначались для хозяйских детей, и теперь он извлекал эти сокровища одно за другим, стараясь с их помощью завязать знакомство и дружбу с девочкой.

На первых порах малютка дичилась, и приручить ее было не так-то легко. Она усаживалась, словно канарейка, на каком-нибудь ящике или тюке, смотрела, как Том мастерит свои произведения искусства, и застенчиво принимала их в подарок. Но в конце концов они подружились.

— А как зовут маленькую мисс? — спросил однажды Том, решив, что время для более близкого знакомства настало.

— Евангелина Сен-Клер,— ответила девочка,— хотя папа и все другие зовут меня просто Евой. А тебя как?

— Меня зовут Том. А в Кентукки детвора называла меня дядя Том.

— Тогда я тоже буду звать тебя дядей Томом, потому что ты мне нравишься,— сказала Ева.— А куда ты едешь, дядя Том?

— Сам не знаю, мисс Ева.

— Не знаешь?

— Нет. Меня везут продавать. Кому еще я достанусь, бог весть...

— Мой папа может купить тебя,— живо сказала Ева.— А если он купит, тебе будет хорошо у нас. Я сегодня же попрошу его об этом.

— Благодарю вас, моя маленькая леди,— сказал Том.

Пароход остановился у небольшой пристани погрузить топливо. Ева, услышав голос отца, сорвалась с места и убежала. Том пошел помочь грузчикам и вскоре принялся за работу.

Ева стояла с отцом у поручней, глядя, как пароход отваливает от причала. Колесо сделало два-три поворота, и вдруг девочка потеряла равновесие от сильного толчка и, не удержавшись, упала за борт. Отец, едва сознавая, что делает, хотел броситься за ней, но стоявшие позади удержали его, так как у девочки уже был спаситель, и куда более надежный.

Падая, Ева пролетела как раз мимо Тома, стоявшего на нижней палубе. Он видел, как она ушла под воду, и кинулся за ней не раздумывая. Ему ничего не стоило продержаться на воде несколько секунд, пока девочка не всплыла на поверхность. Тогда он схватил ее и поплыл назад, к пароходу. Десятки рук протянулись им навстречу. Через секунду Ева была уже в объятиях отца,

и он понес ее, мокрую, бесчувственную, в дамскую каюту, обитательницы которой засуетились и, казалось, делали все от них зависящее, чтобы помешать друг другу привести девочку в сознание.

* * *

На следующий день, в духоту и зной, пароход подходил к Новому Орлеану. На палубах и в каютах царила обычная в таких случаях суматоха. Пассажиры складывали вещи, стюарды и горничные чистили, скребли, убирали красавец пароход, приготовляя его к прибытию в большой город.

Наш друг Том сидел на нижней палубе и время от времени с тревогой посматривал на корму.

Он видел там Евангелину, чуть побледневшую после вчерашнего происшествия,— никаких других следов оно на ней не оставило. Возле нее, небрежно облокотившись на кипу хлопка и положив перед собой открытый бумажник, стоял высокий, стройный молодой человек. Достаточно было одного взгляда, чтобы признать в нем отца девочки. Та же благородная посадка головы, те же золотистые волосы, большие голубые глаза, только взгляд другой — не мечтательный, а житейски трезвый, смелый; в уголках красиво очерченного рта то и дело мелькает горделивая, насмешливая улыбка, в каждом движении сквозит непринужденность и вместе с тем чувство собственного достоинства.

Этот молодой джентльмен насмешливо, но добродушно слушал Гейли, расхваливавшего качество своего товара, из-за которого у них шел торг.

— Словом, полный каталог всех христианских добродетелей, переплетенный в черный сафьян! — сказал он, когда Гейли умолк.— Ну хорошо, любезнейший, ближе к делу. Сколько вы за него заломите? Довольно тянуть, говорите!

— Что же,— сказал Гейли,— если назначить тысячу триста долларов, я на этом негре не заработаю. Честное слово!

— Бедняга! — воскликнул молодой джентльмен, насмешливо щуря свои голубые глаза.— И все-таки я надеюсь, что вы отдадите негра за эту цену исключительно из уважения ко мне.

— Что ж! Маленькой барышне, как видно, очень хочется, чтобы вы его купили.

— Ну разумеется! Мы только на ваше бескорыстие и рассчитываем. Итак, если вы такой уж бессребреник, говорите, сколько вам не жалко уступить, чтобы сделать одолжение маленькой барышне.

— Да вы посмотрите на него! — воскликнул работорговец.— Грудь колесом, сильный, как лошадь. А лоб какой высокий!

По такому лбу сразу видно, что негр смышленый. Я уж это не первый раз замечаю. Да если б такому молодцу бог ума не дал, он и то стоил бы больших денег. А Том, ко всем своим прочим достоинствам,— умнейшая голова. Поэтому и цена на него выше. Ведь он — да будет вам известно — управлял у своего хозяина имением. У него сметки на все хватит.

— Скверно, совсем скверно! Что может быть хуже умного негра? — сказал молодой джентльмен с той же насмешливой улыбкой.— Такие умники только и знают, что бегать от хозяев да заниматься конокрадством. И вообще от них, кроме неприятностей, ничего не жди. Придется вам скостить сотню-другую, принимая во внимание его ум.

— Это вы правильно говорите, но ведь он, ко всему прочему, и благонравный. Я вам покажу, какие у него рекомендации от хозяина. Там сказано, что другого такого смирного, набожного негра днем с огнем не сыщешь.

— Значит, его можно будет использовать и в качестве домашнего духовника? Недурно! Тем более, что избытка набожности в нашем доме не наблюдается.

— Вы всё шутите!

— Откуда вы это взяли? Ну хорошо, покажите, какие там у вас бумаги.

Если б работорговец не приметил лукавых искорок, игравших в больших голубых глазах джентльмена, и не понял, что в конце концов все эти шутки обернутся звонкой монетой, терпение у него давно бы лопнуло. Так или иначе, он извлек из кармана засаленный бумажник и начал озабоченно рыться в нем под насмешливым взглядом молодого джентльмена.

— Папа, купи его. Не все ли равно, сколько он стоит! — тихонько шепнула Ева, взобравшись на ящик и обняв отца за шею.— Ведь я знаю, у тебя много денег, а мне он очень нравится.

— Зачем тебе этот негр, крошка? Что ты с ним будешь делать — играть, как с погремушкой, или скакать на нем, как на деревянной лошадке?

— Я хочу, чтобы ему хорошо жилось.

— Нечего сказать — своеобразный довод!

Но тут Гейли выудил из бумажника рекомендацию, подписанную мистером Шелби. Джентльмен взял ее кончиками своих длинных пальцев и небрежно пробежал.

— Почерк образованного человека, и написано без грамматических ошибок. Однако набожность этого негра меня смущает,— сказал он, снова бросив насмешливый взгляд на Гейли.— Набожные люди — я говорю о белых — привели нашу страну почти на край гибели. Благочестие сейчас в таком ходу среди кандидатов на предстоящих выборах и среди столпов церкви

и государства, что просто не знаешь, кому верить, на кого полагаться! Ну, во сколько вы цените набожность своего товара?

— Вам только бы шутить! — улыбнулся Гейли.— Но в ваших словах есть доля правды. Набожный, честный негр ни за какие коврижки не пойдет против собственной совести, а про Тома в письме так и сказано.

— Ну хорошо, приятель,— и молодой джентльмен протянул работорговцу пачку денег,— получите и пересчитайте.

— Слушаюсь! — Гейли просиял от восторга, вынул из кармана чернильницу, и через минуту купчая крепость на Тома была готова.

— Пойдем, Ева! — Сен-Клер взял дочь за руку, подошел с ней к Тому, тронул его за подбородок и сказал добродушно: — Ну, как тебе нравится твой новый хозяин?

Том поднял голову. Какое иное чувство, кроме удовольствия, можно было испытать, глядя на это веселое, красивое молодое лицо? На глазах у Тома навернулись слезы, и он проговорил с чувством:

— Да благословит вас бог, хозяин!

— Будем надеяться, что благословит. Как тебя зовут?.. Том? А ты сможешь быть за кучера, Том?

— Я смолоду при лошадях. У мистера Шелби была большая конюшня.

— Ну так вот, сделаем тебя кучером, но при одном условии: напиваться не чаще одного раза в неделю, за исключением особо торжественных случаев.

Том ответил ему удивленным и обиженным взглядом.

— Я непьющий, хозяин,— сказал он.

— Слыхали мы эти сказки, Том! А впрочем, посмотрим. Если ты говоришь правду, выгода будет обоюдная... Не обижайся, дружок,— добавил он добродушно, глядя на омрачившееся лицо Тома.— Я не сомневаюсь, что ты будешь стараться.

— Да, хозяин,— сказал Том.

— И тебе будет хорошо у нас,— добавила от себя Ева.— Папа всегда над всеми подшучивает. Но на самом деле он добрый.

— Папа весьма тебе обязан за такую рекомендацию! — со смехом сказал Сен-Клер и, повернувшись на каблуках, отошел от Тома.

Глава XV

О НОВОМ ХОЗЯИНЕ ТОМА И О МНОГОМ ДРУГОМ

Скажем несколько слов о людях, с которыми наш скромный герой столкнулся теперь на своем жизненном пути.

Огюстен Сен-Клер был сыном богатого луизианского плантатора. Его отец и дядя, покинув свою родину, Канаду, поселились один на прекрасной ферме в Вермонте*, другой — на большой плантации в Луизиане*. Мать Огюстена, предки которой эмигрировали в Луизиану еще в те времена, когда этот штат только заселялся, была француженка. Огюстен назвал в ее честь дочку, льстя себя надеждой, что она унаследует от бабушки душевную чистоту и благородство характера. Жена ревновала его к ребенку, чувствуя, что он отдает ему все свое сердце. Рождение Евы сказалось на ее здоровье — ее мучили мигрени, из-за которых она по три дня не выходила из комнаты. Всем в доме, разумеется, правили слуги, и Сен-Клер не испытывал особенной радости от такого устройства своего семейного очага. Ева была хрупкая девочка; ему не давала покоя мысль, что его единственная дочь, лишенная материнского присмотра, может потерять не только здоровье, но и жизнь. Собравшись в Вермонт к дяде, он взял Еву с собой, а там уговорил свою двоюродную сестру, мисс Офелию Сен-Клер, уехать с ними в Новый Орлеан. И теперь они все трое возвращаются домой на пароходе, где мы и представили их читателю.

Пока шпили и купола Нового Орлеана медленно вырастают вдали, у нас есть еще время познакомить вас с мисс Офелией несколько ближе.

Тем, кто путешествовал по Новой Англии*, вероятно, запомнились ее тенистые городки и какая-нибудь большая ферма: дом с чистым, заросшим травой двором, густая листва раскидистых кленов и тот невозмутимый покой, которым, кажется, от века веет над такими местами. Как там все прибрано, ухожено! Ни один колышек не торчит из ограды, ни соломинки не найдешь на зеленой глади двора, обсаженного кустами сирени. А какая чистота в доме, в этих просторных комнатах, где будто никогда ничего не случается, никогда ничего не делается! Все вещи в них расставлены по своим местам раз и навсегда, и жизнь здесь течет размеренно, с точностью старинных часов. Прислуги в доме не держат, а между тем старушка в белоснежном чепце и в очках проводит день за рукодельем в кругу дочерей, словно никакого другого занятия у них нет и быть не может. Вы застанете их в гостиной в любой час дня. Но не бес-

покойтесь, вся работа по дому сделана спозаранку. На полу в кухне ни пятнышка, ни соринки; столы, стулья и всевозможные кухонные принадлежности стоят в таком порядке, точно до них никто никогда не дотрагивается, а ведь здесь едят по три, по четыре раза в день, здесь стирают и гладят на всю семью, здесь каким-то таинственным образом незаметно для глаз изготовляются горы масла и сыра.

На такой ферме, в таком доме и в такой семье мисс Офелия провела сорок пять лет своей жизни, до того как двоюродный брат пригласил ее погостить у него на Юге. Мисс Офелия была старшей дочерью в семье, но отец и мать все еще считали, что «дети есть дети», и приглашение в Новый Орлеан обсуждалось в семейном кругу как нечто из ряда вон выходящее. Убеленный сединами отец достал из книжного шкафа атлас и проверил широту и долготу этого города. Старушка мать беспокоилась: «Говорят, Орлеан ужасное место! Ехать туда так же опасно, как на Сандвичевы острова, к язычникам».

Слухи о том, что в доме Сен-Клеров обсуждают вопрос о поездке мисс Офелии в Новый Орлеан, к двоюродному брату, дошли до священника, доктора и владелицы модной лавки мисс Пибоди, и весь городок принялся с жаром обсуждать это событие. Вскоре стало доподлинно известно, что Огюстен Сен-Клер отсчитал мисс Офелии пятьдесят долларов на покупку самых лучших нарядов и что из Бостона уже получены два шелковых платья и шляпка. Такого зонтика, какой ей прислали из Нью-Йорка, в здешних местах и не видывали — это было признано всеми, а про одно шелковое платье рассказывали, будто бы его как поставишь на пол, так оно и стоит само и не падает. Поговаривали также о носовых платках. Вы только подумайте — один с мережкой, а другой весь оторочен кружевом и будто бы даже уголки вышиты гладью! Впрочем, последнее сообщение так и осталось непроверенным по сей день.

И вот мисс Офелия — высокая, прямая, угловатая — стоит перед нами в дорожном платье из сурового полотна. Черты лица у нее тонкие, заостренные, губы плотно сжаты, как и подобает женщине, которая имеет совершенно определенное мнение по всем жизненным вопросам, а темные глаза зорко поглядывают по сторонам, точно выискивая, нет ли где беспорядка.

Движения у мисс Офелии резкие, решительные, энергичные; слов она попусту не тратит, но уж если говорит, то веско, с толком. Она — олицетворение порядка, методичности, точности. Она пунктуальна, как часы, в достижении своих целей неуклонна, как паровоз, и относится с величайшим презрением ко всему, что противоречит ее привычкам и образу мыслей.

Самым большим грехом в глазах мисс Офелии, корнем всех

зол в мире является «безалаберщина», и это слово, произносимое с предельной четкостью, часто слетает с ее уст. Она клеймит им все поступки, не имеющие прямого отношения к тому или иному делу. Людей, которые ничего не делают, или не знают в точности, что им делать, или берутся за дело кое-как, мисс Офелия глубоко презирает, выражая свое отношение к ним не столько словами — этим она редко кого удостаивает,— сколько ледяной суровостью взгляда.

Ум у нее ясный, непреклонный, деятельный. Она отличается большой начитанностью в истории и в классической английской литературе и весьма здраво рассуждает о том, что входит в ее ограниченный кругозор. Но основной жизненный принцип мисс Офелии, который руководит всеми ее мыслями и поступками,— это чувство долга. Она покоряется ему рабски. Убедив себя, что «стезя долга» лежит в таком-то направлении, мисс Офелия идет по ней, и ни огонь, ни вода не могут заставить ее свернуть в сторону. Повинуясь долгу, она способна броситься в колодец, стать грудью перед жерлом пушки. Ее идеалы настолько возвышенны, настолько всеобъемлющи и так мало делается в них уступок человеческим слабостям, что она, несмотря на все свои поистине героические усилия, не может к ним приблизиться и чувствует себя существом недостойным.

Но как же тогда мисс Офелия ладила с беззаботным, рассеянным, непрактичным Сен-Клером — человеком, который со свойственным ему дерзостным вольнодумством попирал все ее самые заветные убеждения и привычки?

Сказать по правде, мисс Офелия любила его. Когда он был мальчиком, на ней лежала обязанность обучать его молитвам, чинить его одежду, причесывать его и вообще следить за ним. А так как в сердце у нее все же был теплый уголок. Огюстен, по своему обыкновению, завладел им, и поэтому теперь ему не стоило большого труда уговорить свою двоюродную сестрицу, что «стезя ее долга» лежит в направлении Нового Орлеана и что она должна взять на себя заботы о Еве и спасти от разрухи дом, хозяйка которого вечно болеет. Мысль о доме, брошенном на произвол судьбы, поразила мисс Офелию в самое сердце. Кроме того, к маленькой Еве нельзя было не привязаться, а к ее отцу она всегда питала слабость и, в глубине души считая Огюстена «язычником», все же находила его шутки очень забавными и, на удивление всем, мирилась с его недостатками.

Прочие сведения о мисс Офелии читатель получит из дальнейшего знакомства с ней.

Сейчас она сидит в своей каюте, окруженная множеством больших и маленьких саквояжей, корзинок, сундуков, и, оза-

боченно хмурясь, закрывает их, запирает на ключ и перевязывает ремнями.

— Ева, ты помнишь, сколько у нас мест? Наверно, нет! Дети никогда ничего не помнят. Вот считай: ковровый саквояж — раз, маленькая синяя картонка с твоей самой нарядной шляпкой — два, резиновая сумка — три, моя рабочая корзиночка — четыре, моя картонка — пять, моя коробка с воротничками — шесть и вот этот чемоданчик — семь. Куда ты дела зонтик? Дай я заверну его в бумагу и упакую вместе с двумя своими... Ну, вот так!

— Тетушка, зачем? Ведь мы же скоро будем дома!

— Все должно быть в порядке, дитя мое. Вещи надо беречь, иначе у тебя ничего не сохранится... Ева, а наперсток ты спрятала?

— Право, не помню, тетушка.

— Хорошо, я сама проверю, что у тебя делается в рабочей корзинке. Наперсток — вот он, воск, две катушки, ножницы, ножичек, игольник... так, все в порядке. Поставь ее сюда. Просто не представляю себе, как это вы путешествовали вдвоем с папой! Ты, наверно, все теряла.

— Да, кое-что терялось, но потом папа все мне покупал.

— Боже мой! Да разве так делают!

— А почему, тетушка? Это очень удобно,— сказала Ева.

— Безалаберщина! — отрезала мисс Офелия.

— Тетушка! Что же вы теперь будете делать? Этот сундук так набит, что он, пожалуй, не закроется.

— Должен закрыться! — властно заявила тетушка и, умяв сверху вещи, захлопнула крышку и вспрыгнула на нее.

Но и это не помогло — небольшая щель оставалась.

— Ева, становись и ты,— скомандовала мисс Офелия.— Если нужно закрыть, он закроется и будет заперт на ключ. Тут раздумывать нечего.

И сундук, по-видимому устрашенный такой решительностью, сдался. Накладка защелкнулась, мисс Офелия повернула ключ в замке и с торжествующим видом положила его в карман.

— Ну вот, теперь все готово. Багаж пора выносить. Где же папа? Ева, пойди поищи его.

— Папа ест апельсин в курительной, я его отсюда вижу.

— Он, может быть, не знает, что мы уже подъезжаем? — заволновалась тетушка.— Сбегай, скажи ему.

— Папа не любит торопиться,— ответила Ева.— Да ведь пристань еще далеко... Тетушка, вы лучше подойдите к борту. Смотрите! Вон наш дом!

Пароход, тяжко вздыхая, словно умаявшееся чудовище, пробирался к причалу среди множества других судов. Ева с востор-

гом показывала тетушке купола, шпили и прочие приметы, по которым она узнавала улицы родного города.

— Да, да, милочка, очень красиво,— сказала мисс Офелия.— Но боже мой, пароход остановился! Где же твой отец?

В каютах и на палубах поднялась обычная в таких случаях суматоха. Носильщики сновали взад и вперед, мужчины тащили сундуки, саквояжи, картонки, женщины сзывали детей — и все толпой валили к сходням.

Мисс Офелия уселась на только что покоренный сундук и, расставив в боевом порядке все свои вещи, видимо, решила защищать их до конца.

— Прикажете вынести сундук, миссис?.. Разрешите взять ваши вещи, миссис?.. Донесем, сударыня?..— слышалось со всех сторон.

Но мисс Офелия не внимала этим предложениям. Она сидела прямая, точно спица, не выпуская из рук связанных зонтиков, и отпугивала своим мрачно-решительным видом даже носильщиков. Ева то и дело слышала:

— О чем думает твой отец? За борт он, что ли, свалился? Иначе я никак не могу объяснить его отсутствие.

Когда мисс Офелия уже начала приходить в отчаяние, Сен-Клер вошел в каюту своей обычной неторопливой походкой, протянул Еве дольку апельсина и спросил:

— Ну, надеюсь, вы готовы?

— Я уже думала, не случилось ли с вами чего-нибудь! — воскликнула мисс Офелия.— А готова я была час тому назад.

— Вот и молодец! — сказал Сен-Клер.— Ну-с, коляска ждет нас, толпа схлынула, и теперь можно без всякой толкотни, чинно и мирно сойти на берег. Берите вещи,— добавил он, обращаясь к стоявшему сзади вознице.

— Я послежу за ним,— сказала мисс Офелия.

— Ну что вы, кузина, зачем?

— Хорошо, тогда я сама понесу вот это и это.— И мисс Офелия отставила в сторону три картонки и маленький саквояж.

— Дорогая моя, бросьте свои вермонтские привычки и переймите кое-что из наших обычаев. Не забывайте, где мы находимся. Если вы так нагрузитесь, вас примут за горничную. Не беспокойтесь за свои вещи, их снесут осторожно, как стекло.

Мисс Офелия бросила отчаянный взгляд на кузена и успокоилась только в коляске, убедившись, что все ее сокровища в целости и сохранности.

— А где Том? — спросила Ева.

— Он на козлах, крошка. Я преподнесу его маме в виде

искупительной жертвы за того пьяного бездельника, который опрокинул ее экипаж.

— Том будет прекрасным кучером! — воскликнула Ева.— Он не напьется, я знаю.

Коляска подъехала к старинному особняку в том причудливом стиле — полуиспанском, полуфранцузском,— образцы которого встречаются в некоторых кварталах Нового Орлеана. Со всех четырех сторон его опоясывали галереи на стройных колоннах, украшенных мавританским орнаментом. За аркой ворот открывался внутренний двор с фонтаном посередине. Его серебристые струи высоко взлетали в воздух и брызгами падали в мраморный бассейн, окаймленный бордюром из душистых фиалок. В кристально чистой воде, сверкая, словно бриллианты, сновали золотые и серебряные рыбки. Вокруг фонтана шла дорожка, затейливо выложенная галькой, за ней расстилался зеленый бархат газона, и все это замыкалось широкой подъездной дорогой. Два развесистых апельсиновых дерева в полном цвету бросали на двор густую тень. Огромные гранаты с глянцевитой листвой и пылающими огнем цветами, темнолистый арабский жасмин, весь усыпанный белыми звездочками, герань, кусты роз, сгибающиеся под своей пышной тяжестью, пряная, как лимон, вербена — все цвело и благоухало, а таинственное алоэ с мясистыми листьями, как древний чародей, величаво покоилось среди мимолетной красы своих соседей.

Когда коляска остановилась у подъезда, Ева, сама не своя от радости, стала рваться на свободу, точно птичка из клетки.

— Вот он, мой милый, родной дом! Тетушка, посмотрите, как здесь хорошо! — говорила она мисс Офелии.— Правда, хорошо?

— Да, очень красиво,— сказала та, выходя из коляски,— хотя на мой вкус в этой красоте есть что-то варварское.

Вещи внесли в дом, с возницей расплатились. Навстречу хозяину высыпала толпа слуг всех возрастов. Впереди стоял разодетый по последней моде молодой мулат. Этот важный франт изящно помахивал надушенным батистовым платком, стараясь осадить негров на дальний конец веранды.

— Назад! Назад! Мне стыдно за вас! — покрикивал он.— Хозяин только ступил под сень родного дома, а вы мешаете ему насладиться встречей с близкими!

Все попятились, пристыженные этой пышной речью, и столпились в углу веранды, на почтительном расстоянии от Сен-Клера — все, кроме двух рослых негров, которые взялись за чемоданы и сундуки.

Отпустив экипаж, Сен-Клер никого перед собой не увидел,

кроме изящно раскланивающегося мулата в белых брюках и в атласном жилете с пропущенной по нему цепочкой от часов.

— Это ты, Адольф?— сказал он, протягивая ему руку.— Ну, как поживаешь, друг мой любезный?

И Адольф разразился приветственной речью, каждое слово которой обдумывалось им в течение последних двух недель.

— Хорошо, хорошо, Адольф, ты молодец,— сказал Сен-Клер своим обычным небрежно-шутливым тоном.— Позаботься о багаже, а я сейчас выйду к людям.— И с этими словами он подвел мисс Офелию к парадной гостиной, выходившей на веранду.

Тем временем Ева птичкой порхнула мимо них в соседний маленький будуар.

Темноглазая, с болезненным цветом лица женщина приподнялась на кушетке навстречу ей.

— Мама! — радостно крикнула Ева и бросилась обнимать ее.

— Осторожней, дитя мое! Довольно, не то у меня опять разболится голова,— сказала мать, томно целуя девочку.

Вошедший следом за Евой Сен-Клер обнял жену и представил ей свою кузину. Мари с любопытством посмотрела на мисс Офелию и приветствовала ее учтиво, но столь же томно. А у дверей будуара уже толпились слуги, и впереди всех стояла почтенная пожилая мулатка, дрожавшая от радости и нетерпения.

— Вот и няня! — крикнула Ева, с разбегу бросаясь ей на шею, и принялась целовать ее.

Эта женщина не стала останавливать девочку, ссылаясь на головную боль; напротив, она прижимала ее к груди, смеялась, плакала от счастья. Ева перелетала из одних объятий в другие, жала протянутые ей руки, со всеми целовалась.

— Гм! — сказала мисс Офелия.— Оказывается, здесь, на Юге, дети способны на такое, о чем я и помыслить бы не могла.

— Что вас так удивило? — осведомился Сен-Клер.

— Одно дело — гуманное, справедливое отношение, но цеховаться...

— ...с неграми? — подхватил он.— На это вас не хватит, не так ли?

— Разумеется, нет! Я просто не понимаю Еву!

Сен-Клер рассмеялся на ее слова, вышел на веранду и увидел Тома, смущенно переминавшегося с ноги на ногу под взглядом Адольфа, который, небрежно опершись о перила, с видом заправского денди рассматривал его в лорнет.

— Ах ты щенок! — воскликнул Сен-Клер и выбил лорнет из рук мулата.— Разве так обращаются с новым товарищем? И, насколько я могу судить, Дольф, это моя вещь,— добавил он, ткнув пальцем в узорчатый атласный жилет.

— Хозяин, да ведь он весь залит вином! Такому важному джентльмену, как вы, не подобает носить грязные жилеты. Я решил, что теперь он может перейти ко мне. Бедному негру не зазорно в нем показаться.

Адольф вскинул голову и грациозно провел рукой по надушенным волосам.

— Ах, вот оно что! — небрежно протянул Сен-Клер.— Ну хорошо. Сейчас я покажу Тома хозяйке, а потом ты сведешь его в кухню. И не смей задирать перед ним нос! Он стоит двух таких щенков, как ты. Помни это!

— Хозяин любит пошутить,— сказал Адольф со смешком.— Как приятно видеть хозяина в таком хорошем расположении духа!

— Иди за мной, Том,— сказал Сен-Клер, кивнув ему головой.

Том вошел в будуар. Он увидел бархатные ковры, зеркала, картины, статуи, занавеси — и приуныл. Ему даже страшно было шевельнуться посреди всего этого великолепия.

— Вот, Мари,— сказал жене Сен-Клер,— наконец-то я смог выполнить ваш заказ на кучера. Он черен и почтенен, как похоронные дроги, и с такой же скоростью будет возить вас. Ну, откройте глаза и полюбуйтесь на него. Надеюсь, теперь вы не будете жаловаться, что я перестаю о вас думать, как только уезжаю из дому.

Мари открыла глаза и, не поднимаясь с кушетки, осмотрела Тома с головы до ног.

— Он, наверно, пьяница,— проговорила она.

— Нет, мне рекомендовали его как смирного, непьющего негра.

— Будем надеяться, что это так. Впрочем, я на многое не рассчитываю.

— Дольф! — крикнул Сен-Клер.— Сведи Тома вниз. И не забывайся! Помни, что́ я тебе говорил.

Адольф грациозными шажками засеменил по веранде, и Том, тяжело ступая, двинулся за ним.

— Настоящий бегемот! — сказала Мари.— У меня с самого утра мигрень, а с вашим приездом в доме поднялся такой шум, что я теперь просто полумертвая.

— Вы подвержены мигреням? — спросила мисс Офелия, внезапно возникая из глубины кресла, где она сидела в полном молчании и прикидывала мысленно стоимость обстановки будуара.

— Да, я в этом отношении сущая мученица,— ответила Мари.

— Настой из можжевельника — лучшее средство от мигре-

ней,— сказала мисс Офелия.— По крайней мере, так утверждает Августа, жена дьякона Абраама Перри, а ее совет чего-нибудь да стоит.

— Как только у нас в саду на вилле поспеет можжевельник, прикажу обобрать с него все ягоды специально для этой цели,— совершенно серьезным тоном сказал Сен-Клер, дергая за шнурок звонка.— Кузина, вы, наверно, хотите пройти к себе и отдохнуть с дороги... Адольф,— обратился он к вошедшему лакею,— пришли сюда няню.

Почтенная мулатка, которой так обрадовалась Ева, вошла в комнату.

— Няня,— сказал Сен-Клер,— поручаю эту леди твоим заботам. Она устала и хочет отдохнуть. Покажи мисс Офелии ее комнату и постарайся угодить ей во всем.

И мисс Офелия вышла из будуара следом за няней.

Глава XVI

ХОЗЯЙКА ТОМА И ЕЕ ВОЗЗРЕНИЯ НА ЖИЗНЬ

— Итак, Мари,— сказал Сен-Клер,— для вас скоро наступят блаженные времена. Наша практичная, деловитая кузина снимет с ваших плеч бремя домашних забот, и вы будете наслаждаться жизнью. К церемонии передачи ключей можно приступить сейчас же.

Это было сказано за завтраком спустя несколько дней после приезда мисс Офелии.

— Пожалуйста,— проговорила Мари, томно склоняя голову на руку.— Кузина не замедлит убедиться, что мы, хозяйки,— сущие рабыни у себя в доме.

— Правильно! Она откроет не только эту, но и много других полезных истин,— подтвердил Сен-Клер.

— Можно подумать, что мы держим невольников исключительно ради удобства,— продолжала Мари.— А на самом деле куда спокойнее было бы немедленно отделаться от них.

Евангелина подняла на мать свои большие глаза и недоуменно спросила:

— А зачем же ты их держишь, мама?

— Сама не знаю. Вероятно, только затем, чтобы доставлять себе лишние мучения. Это мой крест. Я уверена, что они — главная причина всех моих болезней. И таких ужасных негров, как у нас, больше ни у кого нет.

— Перестаньте, Мари, вы просто сегодня не в духе,— сказал

Сен-Клер.— Это неверно. Возьмите, например, няню — чуднейшая женщина! Что бы вы стали делать без нее?

— Няня лучше других,— согласилась Мари.— Но она такая эгоистка, просто ужас! Впрочем, негры все эгоисты.

— Да, эгоизм — серьезный недостаток,— сдержанно проговорил Сен-Клер.

— Ну разве это не эгоистично с ее стороны так крепко спать по ночам? — воскликнула Мари.— Она прекрасно знает, что, когда у меня бывают приступы мигрени, за мной нужен уход, нужно подходить ко мне каждый час, а попробуйте разбудите ее! Это стоит таких трудов, что, например, сегодня утром я чувствую себя совершенно разбитой.

— Мама, а разве она не дежурила около тебя несколько ночей подряд? — спросила Ева.

— Откуда ты это знаешь? — встрепенулась Мари.— Она жаловалась тебе?

— Нет, няня не жаловалась, она просто рассказывала, как ты последнее время плохо себя чувствовала по ночам.

— Почему вы не посадите вместо нее Джейн или Розу, хотя бы на одну-две ночи? — сказал Сен-Клер.— Няне надо отдохнуть.

— И вы можете предлагать это? — возмутилась Мари.— Благодарю вас за внимание, Сен-Клер! Мои нервы так натянуты, что я просто не перенесу, если меня будут касаться чьи-то другие руки. Когда бы няня действительно заботилась обо мне, она бы спала более чутко. Ах, как я завидую людям, у которых есть преданные слуги! — И Мари тяжко вздохнула.

Мисс Офелия слушала внимательно и строго; судя по ее крепко сжатым губам, она не хотела вступать в этот разговор, не уяснив себе предварительно собственной позиции.

— Няня, в сущности, не так уж плоха,— говорила Мари.— Характер у нее ровный, она почтительна, но этот эгоизм! Она только и знает, что терзаться о своем муже. Когда я вышла за Сен-Клера и переехала сюда, мне, конечно, пришлось взять няню с собой, но ее мужа мой отец не мог отпустить. Он кузнец и, естественно, человек нужный в хозяйстве. Я еще тогда говорила, что им нечего надеяться на совместную жизнь. Надо бы, конечно, выдать няню за кого-нибудь другого, а я не настояла на этом и глупо сделала. Воздух отцовской усадьбы мне вреден. Няня прекрасно знала, что я не смогу туда ездить, и все-таки, несмотря на все мои уговоры, не захотела найти себе другого мужа. Она страшно упрямая, только никто этого не замечает, кроме меня.

— У нее есть дети? — спросила мисс Офелия.

— Да, двое.

— Она, вероятно, тоскует по ним?

— Не стану же я держать их здесь! Они такие чумазые и отнимают у нее массу времени. Но няня до сих пор не может с этим примириться и отказывается выходить замуж. Дайте ей волю, и она завтра же уедет к мужу и не посмотрит, что ее хозяйка совсем слабая и больная. Они все такие эгоисты, все без исключения!

— Прискорбный факт,— сухо сказал Сен-Клер.

Мисс Офелия бросила на него быстрый взгляд и подметила, что он вспыхнул и язвительно скривил губы, стараясь подавить раздражение.

— Няня всегда была моей любимицей,— снова заговорила Мари.— Заглянули бы ваши северные служанки в ее платяной шкаф! Сколько у нее всяких нарядов — и шелк и муслин! — Даже батистовое платье есть. Я иногда по целым дням отделываю ей какой-нибудь чепец, перед тем как взять ее в гости. Она понятия не имеет, что такое плохое обращение. Секли ее не больше одного-двух раз за всю жизнь. Кофе и чай она пьет каждый день, и даже с сахаром. Это, конечно, сущее безобразие, но Сен-Клер хочет, чтобы слуги у нас были наравне с господами, и они живут в свое удовольствие. Мы их развратили, и отчасти это наша вина, что они такие эгоисты и ведут себя, как избалованные дети. Мне уж надоело говорить об этом Сен-Клеру.

— А мне надоело слушать,— сказал Сен-Клер, берясь за утреннюю газету.

Ева, красавица Ева, сидела, устремив на мать не по-детски серьезный взгляд своих голубых глаз. Потом она тихонько подошла к ней сзади и обняла ее за шею.

— Что ты, Ева? — спросила Мари.

— Мама, позволь мне поухаживать за тобой... Ну, хоть одну ночь. Я не буду тебя раздражать и не засну. Я часто не сплю по ночам, лежу и думаю...

— Что за вздор, Ева! — воскликнула Мари.— Какой ты странный ребенок!

— Ну позволь, мамочка! — И Ева робко добавила: — Знаешь, няня, должно быть, нездорова, она все время жалуется на головную боль.

— Вот еще выдумки! Твоя няня не лучше других. Негры все такие: чуть что — голова заболит или палец уколют — и они уж разохались. Им нельзя потакать, ни в коем случае нельзя! На этот счет я держусь твердых правил.— Она обратилась к мисс Офелии: — Вы сами убедитесь, насколько это необходимо. Позвольте негру хоть раз пожаловаться на какое-нибудь пустяковое недомогание, и все кончено — с ним не оберетесь хлопот. Я, например, никогда не жалуюсь на плохое

самочувствие. Никто не знает, какие страдания мне приходится испытывать. Но я считаю своим долгом сносить их молча и сношу без единого слова жалобы.

Мисс Офелия так широко открыла глаза, выслушав это неожиданное заявление, что Сен-Клер не выдержал и расхохотался.

— Стоит мне только намекнуть на свое плохое здоровье, и Сен-Клер не находит ничего лучшего, как смеяться надо мной! — тоном мученицы проговорила Мари.— Дай бог, чтобы ему не пришлось в один прекрасный день пожалеть об этом.— И она прижала платок к глазам.

Наступило молчание, довольно неловкое. Наконец Сен-Клер поднялся, взглянул на часы и сказал, что ему нужно уйти по делам. Ева выскользнула из комнаты следом за ним. Мисс Офелия и Мари остались наедине.

— Сен-Клер всегда такой,— сказала последняя, резким движением отнимая платок от лица, как только преступник, на которого этот платок должен был воздействовать, скрылся из виду.— Он не отдает себе отчета, он не понимает... не может понять, как я страдаю все эти годы!

Мисс Офелия не знала, что полагается говорить в таких случаях.

Пока она раздумывала над этим, Мари вытерла слезы и, так сказать, оправила перышки, словно голубка после дождя, а затем перешла к беседе на хозяйственные темы, посвящая мисс Офелию в тайны буфетов, кладовых, чуланов, комодов и прочих хранилищ, которыми последняя должна была отныне заведовать. Посвящение это сопровождалось таким количеством советов и наставлений, что у другого человека, менее делового и методичного, давно бы голова пошла кру́гом.

— Ну, кажется, я все вам рассказала,— закончила Мари.— Теперь, когда у меня начнутся приступы мигрени, вы прекрасно обойдетесь без моей помощи. Да, вот еще Ева... за ней нужен глаз да глаз.

— По́-моему, Ева прекрасная девочка,— сказала мисс Офелия.— Лучше, кажется, и быть не может.

— Ева очень странный ребенок. У нее столько всяких причуд! Она ни капельки на меня не похожа.— И Мари вздохнула, сожалея о столь прискорбном факте.

Мисс Офелия подумала: «И слава богу!», но благоразумно оставила эту мысль при себе.

— Ева любит общество прислуги. Некоторым детям это даже полезно. Я, например, всегда играла дома с негритятами, и ничего плохого в этом не было. Но Ева держится с ними, как с равными! Я ничего не могу с ней поделать, а Сен-Клер, ка-

жется, поощряет ее чудачества. Вообще он потакает всем в доме, кроме собственной жены.

Мисс Офелия по-прежнему хранила глубокое молчание.

— Прислугу надо держать в строгости,— продолжала Мари.— Я с детства знала, как с ней обращаться. А Ева способна избаловать всех негров без исключения. Что будет, когда она сама станет хозяйкой, просто не представляю! Я не сторонница жестокого обращения с неграми, но они должны знать свое место. Ева не умеет поставить себя с ними. Ей этого никак не втолкуешь. Вы сами слышали — ведь она предлагала дежурить около меня по ночам, чтобы дать няне выспаться. Вот вам пример, на что эта девочка способна, если ее предоставить самой себе.

— Ваши негры как-никак люди,— резко сказала мисс Офелия,— им тоже требуется отдых.

— Ну разумеется! Но няня всегда найдет время поспать. Я такой сони в жизни не видывала! Она ухитряется дремать сидя, стоя, за шитьем — когда и где угодно. В этом отношении за няню можно не беспокоиться. Но зачем носиться со слугами, будто это какие-то тропические цветы или драгоценный фарфор! — И, сказав это, Мари томно опустилась на широкий, весь в мягких подушках диван и протянула руку к изящному хрустальному флакончику с нюхательными солями.— Должна вам признаться, кузина, что мы с Сен-Клером часто расходимся во взглядах,— продолжала она жеманным голоском.— Сен-Клер никогда не понимал меня, не отдавал мне должного. Я думаю, что это и подорвало мое здоровье.

Мисс Офелия, которая, подобно всем уроженкам Новой Англии, обладала немалой долей осторожности и больше всего на свете боялась вмешиваться в чужие семейные дела, почувствовала, что сейчас ей именно такая опасность и угрожает. Поэтому она придала своему лицу выражение полной безучастности, вытащила из кармана длинный-предлинный чулок, который был у нее всегда наготове против наваждений дьявола, имеющего привычку улавливать людей в свои сети в ту минуту, когда руки у них ничем не заняты, и яростно заработала спицами. Ее плотно сжатые губы говорили яснее ясного: «Вы не вырвете из меня ни единого слова. Я ни во что не желаю вмешиваться». Но Мари это не смутило. Наконец-то нашелся человек, с которым можно поговорить, человек, которому следует рассказать все! И, подкрепляя себя время от времени нюхательными солями, она продолжала:

— Когда мы с Сен-Клером поженились, я принесла ему в приданое и капитал и негров, и никто не может лишить меня права распоряжаться моей собственностью. У Сен-Клера есть

свое имущество, свои слуги — пусть поступает с ними как угодно. Но ему этого мало — он вмешивается в мои дела. Я не могу примириться с такими дикими взглядами на жизнь, а уж что касается его отношения к неграм, так это для меня совершенно непонятно. Он с ними больше считается, чем со мной и даже с самим собой. Они вертят им, как хотят, а ему хоть бы что. Ведь у нас в доме их никто не смеет ударить, кроме него самого и меня. А вы понимаете, к чему это приводит? Сен-Клер пальцем их не тронет, что бы ни случилось, а я... где уж мне! Разве от меня можно требовать такого напряжения сил? Вы ведь знаете, что такое негры,— это дети, настоящие дети.

— Я, слава богу, понятия о них не имею! — отрезала мисс Офелия.

— Поживете здесь — будете иметь понятие, и вам это дорого обойдется. Что может быть хуже негров? Они глупые, неблагодарные, беспечные, как дети!

Откуда только у Мари брались силы, когда она заводила разговор на эту тему! От ее былой томности не осталось и следа.

— Разве господь не сотворил всех людей одинаковыми? — сказала мисс Офелия.

— Ну что вы! Такие слова смешно слушать! Негры принадлежат к низшей расе. Сен-Клер старается мне внушить, будто няня так же тяжело переживает разлуку с мужем, как переживала бы я, если б нам пришлось жить врозь. Но какое же тут может быть сравнение! Няня не способна на глубокие чувства, а Сен-Клер не желает этого понять. Можно подумать, что няня любит своих замарашек не меньше, чем я люблю Еву!

Боясь, как бы не сказать лишнего, мисс Офелия умолкла и быстро заработала спицами; и будь ее собеседница хоть чуточку понаблюдательнее, она поняла бы всю многозначительность этого молчания.

— Надеюсь, теперь вы понимаете, какой челядью вам придется командовать? Порядка у нас в доме нет, слуги делают все, что им заблагорассудится, и ни в чем не встречают отказа. Я, конечно, стараюсь держать их в узде по мере своих слабых сил и иной раз пускаю в ход плетку, но меня это так утомляет! Вот если б Сен-Клер поступал, как все...

— То есть?

— То есть посылал бы наших негров в каталажку или куда-нибудь еще, где их наказывают плетьми. Другого выхода нет! Вы сами убедитесь, что с такими негодяями, бездельниками нужна строгость и строгость.

— Старая песня! — сказал Сен-Клер, входя в комнату.— Но вы только подумайте, кузина,— и с этими словами он лег

на кушетку,— мы с женой подаем нашим слугам такой благой пример, а они почему-то продолжают бездельничать!

— Да, на вас, рабовладельцах, лежит огромная ответственность,— сказала мисс Офелия,— и я ни за какие сокровища в мире не согласилась бы стать на ваше место. Невольников надо учить, с ними надо обращаться, как с разумными существами.

В эту минуту в саду послышался веселый смех. Сен-Клер вышел на веранду, отдернул шелковую штору и тоже рассмеялся.

— Что там такое? — спросила мисс Офелия.

В саду на дерновой скамейке сидел Том; в петлицах его куртки торчали веточки жасмина, а весело смеющаяся Ева надевала ему на шею гирлянду из роз. Сделав свое дело, девочка, словно воробышек, вспорхнула Тому на колени и снова залилась веселым смехом.

— Какой ты смешной, дядя Том!

А Том улыбался своей маленькой хозяйке спокойной, доброй улыбкой и, кажется, был не меньше ее доволен всем этим.

— Огюстен, как вы допускаете подобные вещи! — воскликнула мисс Офелия.

— А что тут плохого! — удивился Сен-Клер.

— По-моему, это просто ужасно!

— Вот вы какие, северяне! Я не раз замечал, насколько сильно в вас отвращение к неграм. Признайтесь, кузина, что это так! Вы относитесь к ним с брезгливостью, будто перед вами жаба или змея, и в то же время заступаетесь за них. Вас возмущает жестокое обращение с неграми, но иметь с ними дело — нет, об этом вы даже думать не можете! Отправить их куда-нибудь с глаз долой, в Африку, а там пусть с ними возятся миссионеры! Ну, скажите, прав я или нет?

— Да,— задумчиво проговорила мисс Офелия,— пожалуй, вы правы.

Жизнь Тома складывалась так, что ему как будто не на что было пожаловаться. Ева упросила отца отдать ей нового кучера в полное ее распоряжение, и, когда девочку надо было сопровождать на прогулку, Тому разрешалось бросать все другие дела и следовать за мисс Евой. Сен-Клер придавал большое значение внешнему виду своих слуг, и Том был одет хоть куда: костюм тонкого сукна с белоснежными манжетами и воротничком, касторовая шляпа, лакированные сапоги. На конюшне ему почти ничего не приходилось делать; со всей работой справлялся под его наблюдением младший конюх, так как хозяйка

заявила, что она не потерпит, если от ее кучера будет пахнуть лошадьми.

Однажды в воскресное утро Мари Сен-Клер, одетая по-праздничному, стояла на веранде, застегивая бриллиантовый браслет. Шелк, кружева, драгоценности — всем этим она собиралась блеснуть в церкви. По воскресеньям Мари проявляла особенное благочестие. Сколько грации, сколько изящества было в этой тонкой фигурке, окутанной, словно облаком, кружевной мантильей! Какая плавность движений! Мари чувствовала себя необычайно элегантной и была в прекрасном расположении духа. Мисс Офелия являла собой полную противоположность ей. Не подумайте, что у мисс Офелии не было такого же роскошного шелкового платья, такой же шали и такого же тонкого носового платка,— нет, контраст создавался ее угловатостью и чопорностью, что особенно подчеркивало изящество молодой женщины, стоявшей рядом с ней.

— Где Ева? — спросила Мари.

— Она задержалась на лестнице поговорить с няней.

Послушаем, о чем же Ева разговаривает с няней.

— Няня, душечка, у тебя опять болит голова?

— А вы не беспокойтесь, мисс Ева, господь с вами! Ведь у меня теперь голова изо дня в день болит.

— Я рада, что ты поедешь в церковь, няня! — И девочка обняла ее.— Вот, возьми мой флакон с нюхательными солями.

— Ваш золотой флакон, усыпанный драгоценными камешками? Да что вы, мисс Ева, разве можно!

— Можно! Можно! Тебе он понадобится, а мне нет. Мама всегда нюхает соли, когда у нее болит голова, и тебе тоже полегчает. Ну, сделай мне такое удовольствие, возьми!

— Чего она только не придумает, моя крошечка! — воскликнула няня.

А Ева сунула флакон ей за пазуху, расцеловала ее и помчалась вниз по ступенькам.

— Почему ты задержалась?

— Я дала няне свой флакон с солями — пусть возьмет его с собой в церковь.

— Ева! — Мари сердито топнула ногой.— Отдать свой золотой флакон н я н е! Когда ты наконец поймешь, что м о ж н о делать и чего н е л ь з я? Сию же минуту возьми его назад!

Ева грустно повесила голову и побрела в дом.

— Мари, оставьте ребенка в покое. Пусть поступает как хочет,— сказал Сен-Клер.

— Кузен, вы поедете с нами в церковь? — спросила мисс Офелия, круто поворачиваясь к нему.

— Нет, благодарю вас, не поеду.

— Сен-Клер, вы хоть бы раз в жизни съездили! — сказала Мари.— В вас нет никакого религиозного чувства. Это просто неприлично!..

— Со слугами надо быть приветливой, ровной, Евангелина,— наставляла Мари Сен-Клер свою дочь по дороге в церковь,— но обращаться с ними, как с родственниками, как с людьми, равными нам по положению, совершенно непозволительно! Если б няня заболела, неужели ты бы уложила ее к себе в постель?

— Я бы с удовольствием это сделала, мамочка,— сказала Ева,— потому что тогда мне легче было бы ухаживать за ней, и постель у меня мягче, чем у нее.

Полное отсутствие у дочери моральных устоев привело Мари в отчаяние:

— Что мне сделать, чтобы этот ребенок наконец понял меня?

— Ничего тут не поделаешь,— многозначительно ответила мисс Офелия.

Ева смутилась и приуныла, но, к счастью, дети не способны задерживаться подолгу на одном впечатлении, и через несколько минут она уже весело смеялась над чем-то, глядя в окно кареты.

— Ну-с, чем вас развлекали в церкви? — спросил Сен-Клер, когда вся семья собралась за обеденным столом.

— Проповедь была прекрасная! — ответила Мари.— Проповедник будто повторял все мои мысли!

— Представляю себе, как это было поучительно! — сказал Сен-Клер.

— Да, он доказывал, что все разграничения в обществе созданы по воле божьей и что различие между высшими и низшими справедливо, ибо одним суждено от рождения повелевать, а другим — повиноваться. Если б вы слышали сегодняшнюю проповедь, вам стало бы ясно, насколько нелепы все возражения против рабства и насколько убедительны все доводы в его защиту, которые приводятся в Библии.

— Нет, увольте! — сказал Сен-Клер.— То, о чем вы говорите, я с таким же успехом могу почерпнуть из газет, да еще выкурить при этом сигару, чего в церкви делать не дозволено.

— Но позвольте, Огюстен,— вмешалась в их разговор мисс Офелия,— разве вы не разделяете взглядов проповедника?

— Кто? Я? Если б меня попросили изложить мое мнение о системе рабства, я бы сказал честно: «Мы владеем рабами и не собираемся отказываться от своих прав, ибо это отвечает нашим интересам, вот и все». Благочестивая болтовня сводится

в конце концов к тому же самому. И я надеюсь, что меня поняли бы.

— Но все-таки: вы считаете рабство злом или нет?

— Ваша прямолинейность, кузина, просто ужасает меня! Каюсь, я на такое не способен! — со смехом воскликнул Сен-Клер.— Вы лучше представьте себе на минутку, что цена на хлопок почему-то упала раз и навсегда и рабовладение становится для нас обузой. Будьте уверены — соответственно с этим изменится и толкование библейских текстов! Церковь не замедлит прозреть истину, призвав на помощь здравый смысл и ту же Библию.

— Как бы там ни было,— протянула Мари, ложась на кушетку,— я благодарю судьбу, что родилась в стране, где существует рабовладение. По-моему, ничего плохого в нем нет, и я не знаю, как бы мы без него жили.

Глава XVII

КАК ОТСТАИВАЮТ СВОБОДУ

К вечеру в доме Симеона Хеллидэя начались неторопливые сборы. Рахиль спокойно ходила из комнаты в комнату, отбирая из своих запасов то, что можно было уложить в небольшой баул и дать на дорогу путникам, которые ночью должны были оставить их дом.

Вечерние тени протянулись на восток, багровый шар солнца словно в раздумье медлил на горизонте, засылая свои мягкие желтоватые лучи в маленькую спальню, где сидела Элиза с мужем. Джордж держал ребенка на коленях, рука жены лежала в его руке. Лица у них были задумчивые, грустные, на щеках еще не успели высохнуть слезы.

— Да, Элиза,— говорил Джордж,— в твоих словах сама правда. Ты лучше, гораздо лучше меня! Я постараюсь сделать по-твоему. Постараюсь быть достойным своей свободы...

— Когда мы попадем в Канаду,— сказала Элиза,— я тоже буду работать. Ведь я умею шить, умею стирать и гладить самое тонкое белье. Вдвоем мы как-нибудь перебьемся.

— Да! Пока мы вместе, нам ничто не страшно. Элиза, если б мои враги знали, какое это счастье иметь семью! Я теперь чувствую себя таким богачом, таким сильным, а ведь нам не на что надеяться, кроме как на свои руки. Я работал всю свою жизнь, но у меня нет ни цента в кармане, ни клочка земли, у меня нет крыши над головой. И все же я ни на что не жалуюсь, лишь бы нас оставили в покое. Я буду работать и уплачу мистеру

Шелби за тебя и сына. А мой хозяин давно окупил все свои расходы на меня. Я ему ничего не должен.

— Мы еще не избавились от опасности,— напомнила Элиза.— Канада еще далеко.

— Это верно, но мне уже кажется, что я чувствую ветер свободы у себя на лице, и, если б ты знала, сколько у меня теперь сил!

В соседней комнате послышались голоса, потом в дверь постучали. Элиза вздрогнула и пошла отворить.

На пороге стоял Симеон Хеллидэй и с ним какой-то долговязый рыжий детина, судя по виду — человек хитрый и с большой сметкой.

— Это наш друг Финеас Флетчер,— представил его Хеллидэй,— он привез кое-какие новости, важные для тебя и для твоих спутников, Джордж. Послушай, что он рассказывает.

— Да, я кое-что узнал,— сказал Флетчер.— Иной раз бывает невредно держать ушки на макушке. Нынче ночью заехал я в одну маленькую захолустную гостиницу. Помнишь, Симеон, мы в прошлом году продали там яблоки хозяйке. Она толстая такая, с большими серьгами. Ну вот! С дороги я устал, поужинал поскорее и, покуда мне готовили постель, накрылся буйволовой шкурой и прилег на мешках в углу. И что вы думаете? Заснул крепким сном!

— А ушки на макушке, Финеас? — спокойно спросил Симеон.

— Нет, часа два я спал как убитый — уж очень умаялся, а потом приоткрыл глаза и вижу — сидит за столом компания, винцо попивает. Дай-ка, думаю, послушаю, о чем у них беседа идет. Один и говорит: «Они здесь неподалеку, в ближайшем поселке». Вот тут-то я и навострил уши и вскорости понял, что речь идет о нас, о квакерах. Мало-помалу они выложили все свои планы и намерения. Молодого мулата, видите ли, надо отправить в Кентукки, к хозяину, который так его проучит, что это и у других рабов отобьет охоту бегать. Его жену двое из этой компании отвезут в Новый Орлеан на рынок и продадут за тысячу шестьсот — тысячу восемьсот долларов, а ребенком завладеет торговец, который его купил. Джима со старухой тоже вернут хозяину в Кентукки. Всё это они собираются обделать с помощью двух полисменов из соседнего городка, причем жену мулата сначала потащат в суд, и там один из этих молодцов, плюгавый такой, зато самый речистый, присягнет, что она принадлежит ему. Они точно знают, какой дорогой мы поедем, и собираются напасть на нас вшестером, а то и больше. Так вот, что же нам теперь делать?

Группа, молча слушавшая Финеаса, поистине была достойна

кисти художника. Рахиль Хеллидэй бросила месить тесто и в ужасе воздела кверху белые от муки руки. Симеон стоял, глубоко задумавшись. Элиза обняла мужа и не отрывала глаз от его лица. Джордж стиснул кулаки, глаза у него горели недобрым огнем, но чего же можно ждать от человека, который узнал, что его жену собираются продать с аукциона, а сына — отдать работорговцу, и все с благословения законов этой «богоспасаемой» страны!

— Что же нам теперь делать, Джордж? — прошептала она.

— Я знаю, что мне делать,— сказал Джордж и, выйдя в соседнюю комнату, стал осматривать свои пистолеты.

— Э-э, Симеон! — Финеас мотнул головой в сторону Джорджа.— Видишь, к чему дело клонится?

— Вижу,— вздохнул тот.— Молю бога, чтобы до этого не дошло.

— Я никого не хочу впутывать в свои дела,— сказал Джордж.— Дайте мне тележку, укажите дорогу, и мы одни доедем до следующей станции. Джим — силач, храбрец, меня тоже никто не назовет трусом...

— Это все хорошо, друг,— перебил его Финеас,— но без провожатого тебе не обойтись. Подраться ты сможешь, в этом мы не сомневаемся, а что касается дороги — положись лучше на меня.

— Я не хочу, чтобы у вас были неприятности,— сказал Джордж.

— Неприятности? — повторил Финеас, и в глазах у него мелькнул лукавый огонек.— А ты меня заранее уведоми, когда они начнутся, эти неприятности.

— Финеас — человек умный, бывалый,— сказал Симеон.— Послушайся его и...— ласково тронув Джорджа за плечо, он показал на пистолеты,— и не торопись пускать это в ход. Молодая кровь горяча.

— Я не стану нападать первым,— сказал Джордж.— Я прошу только одного: чтобы эта страна отпустила меня с миром. Но...— Он замолчал, сдвинув брови, и лицо его передернулось.— В Новом Орлеане продали на рынке мою сестру, теперь и жену мою ждет та же участь. Неужели же я покорюсь этому? Нет! Я буду бороться за жену и сына до последнего вздоха! И кто из вас осудит меня?

— Тебя никто не осудит, Джордж. Ты повинуешься голосу сердца и крови,— сказал Симеон.

— Так давайте же трогаться в путь, надо торопиться!

— Я поднялся ни свет ни заря и лошадей не жалел. Думаю, что часа два-три у нас есть в запасе, если эти молодцы выедут, как собирались. Во всяком случае, засветло ехать

опасно, надо ждать темноты. В поселках, через которые нам придется проезжать, есть дрянные люди. Чего доброго, привяжутся с расспросами. Уж лучше здесь задержаться часа на два, чем в дороге. Я сейчас сбегаю к Майклу Кроссу, скажу, чтобы выезжал немного погодя после нас. Он, если увидит погоню, предупредит. Конь у него добрый, другого такого коня ни у кого нет. Джиму со старухой тоже надо сказать, чтобы собирались, а заодно я и лошадей приведу. Время у нас есть, успеем добраться до места без всякой помехи. Так что не беспокойся, друг Джордж. Мне не в первый раз выручать таких, как ты.— И с этими словами Финеас вышел.

— Финеас — стреляный воробей,— сказал Симеон.— Можешь на него положиться, Джордж, он все сделает, что нужно.

— Я только одного боюсь: как бы вас не подвести.

— Сделай мне такое одолжение, друг мой, не говори больше об этом! Мы не можем поступать иначе — так велит нам совесть... Мать,— обратился он к Рахили,— а ты поторапливайся — не отпускать же нам гостей голодными!

И пока Рахиль и дети пекли пирог, жарили курицу, свинину и тому подобную снедь, Джордж и Элиза сидели, обнявшись, в своей маленькой комнатке и говорили так, как могут говорить муж и жена, когда они знают, что им угрожает разлука на всю жизнь.

— Элиза,— говорил Джордж,— люди, у которых есть друзья, дом, земля, деньги, не могут любить друг друга сильнее, чем любим мы с тобой. Ведь у нас больше ничего нет. Меня любили мать и сестра, обе несчастные, истерзанные горем. Я помню Эмили в то утро, когда работорговец должен был увезти ее. Она прокралась ко мне тайком и сказала: «Бедный Джордж, последний твой друг уходит от тебя! Что с тобой станет?» Я обнял ее, заплакал, и она тоже заплакала. И это были последние ласковые слова, которые мне пришлось услышать. За десять лет, что протекли с тех пор, сердце мое очерствело, высохло, но потом я встретил тебя, и твоя любовь дала мне новую жизнь. С тех пор я стал другим человеком. И теперь, Элиза, я буду отстаивать тебя до последней капли крови! Тот, кто захочет отнять у меня жену, должен будет переступить через мой труп!

— Господи, сжалься над нами! — рыдая, проговорила Элиза.— Дай нам уйти вместе из этой страны — больше мы ничего не просим!

Вошла Рахиль и, ласково взяв Элизу за руку, повела ее ужинать. Когда все уселись за стол, в дверь негромко постучали. Появилась Руфь.

— Я на минутку,— сказала она.— Принесла чулки маль-

чику. Вот погляди — три пары, теплые, шерстяные. Ведь в Канаде холодно. А тебе не страшно ехать? — Руфь подошла к Элизе, горячо пожала ей руку и сунула Гарри мятный пряник.— Я ему много напекла таких пряников,— сказала она, вытаскивая из кармана целый пакет.— Дети любят сласти.

— Спасибо! Какая вы добрая!

— Руфь, садись поужинай с нами,— сказала Рахиль.

— Нет, никак не могу. Я оставила на попечение Джона ребенка и пирожки. Разве мне можно задерживаться? Пирожки у него подгорят, а малыш непременно объестся сахаром. Прощай, Элиза, прощай, Джордж! Счастливого пути!— И с этими словами Руфь упорхнула.

Вскоре после ужина к двери подъехал большой крытый фургон. Ночь была безоблачная, звездная. Финеас спрыгнул с передка в ожидании своих пассажиров. Джордж появился на крыльце вместе с Элизой, неся на руках ребенка. Шаг у него был твердый, взгляд смелый, решительный. Следом за ними вышли Рахиль и Симеон.

— Сойдите на минуточку,— обратился Финеас к тем, кто сидел в фургоне.— Я сначала устрою женщин и ребенка.

— Финеас, возьми вот эти две шкуры,— сказала Рахиль.— Уложи их там поудобнее. Ведь ехать придется всю ночь.

Джим вылез из фургона и заботливо высадил свою старуху мать, которая цеплялась за него, испуганно озираясь по сторонам, словно погоня вот-вот должна была нагрянуть.

— Джим, пистолеты у тебя заряжены?— тихо спросил Джордж.

— Заряжены,— ответил Джим.

— Ты твердо знаешь, что тебе надо делать, если нас настигнут?

— Сомневаться не приходится,— сказал Джим, с глубоким вздохом расправляя свои могучие плечи.— Неужто я расстанусь с матерью во второй раз?

Пока они говорили между собой, Элиза успела проститься со своим добрым другом Рахилью Хеллидэй и, забравшись с помощью Симеона в фургон, села вместе с Гарри в самую его глубь на буйволовые шкуры. Следом за ней усадили старуху; Джим и Джордж поместились на сиденье лицом к ним, а Финеас вскочил на передок.

— В добрый час, друзья!— крикнул Симеон.

— Да благословит вас бог!— хором ответили ему путники.

Фургон тронулся, громыхая колесами по подмерзшей дороге. Грохот и тряска не располагали к разговору, и беглецы молча ехали темными перелесками, широкими голыми полями, поднимались на холмы, спускались в долины. Часы бежали

один за другим. Ребенок вскоре заснул у матери на коленях, несчастная старуха мало-помалу успокоилась, и даже Элиза забыла о своих страхах и закрыла в дремоте глаза. Один Финеас был бодр по-прежнему и коротал время, насвистывая какую-то веселую песенку.

Но часов около трех Джордж уловил вдали быстрое цоканье подков и тронул Финеаса за локоть. Тот остановил лошадей, прислушался и сказал:

— Это Майкл, его лошадь так скачет.

Джордж и Джим, не раздумывая, выскочили из фургона и замерли в напряженном молчании. Цоканье приближалось. И наконец на вершине холма они увидели всадника.

— Так и есть, он!— сказал Финеас и крикнул:— Майкл!

— Это ты, Финеас?

— Я! Ну, что скажешь? Догоняют?

— Совсем близко. Человек восемь—десять, пьяные, горланят, злые, как волки...

И не успел он договорить, как ветер донес издали еле слышный топот мчащихся во весь опор лошадей.

— Садись, живо!— крикнул Финеас.— Если уж вы решили драться, так надо отъехать подальше.

Джордж и Джим в мгновение ока очутились на своих местах. Финеас стегнул лошадей, и фургон в сопровождении Майкла загрохотал по дороге, подскакивая на кочках. Погоня приближалась. Женщины услышали ее и, выглянув из фургона, увидели вдали, на гребне холма, группу всадников, которая четко вырисовывалась на фоне розовеющего неба. Через несколько минут преследователи, очевидно, разглядели фургон с белым брезентовым верхом, и беглецы услышали их торжествующие крики. Элиза, почти теряя сознание, припала к ребенку, старуха с громкими стонами бормотала слова молитв, а Джордж и Джим сжимали в руках пистолеты. Погоня была уже совсем близко. И вдруг фургон круто свернул к подножию отвесной скалы, которая одиноко возвышалась над длинной каменистой грядой, чернея на светлеющем небе. Финеас с давних пор знал это место и спешил добраться до него в надежде, что здесь беглецы найдут спасение.

— Вылезайте!— крикнул он, разом осаживая лошадей и соскакивая на землю.— Все за мной вон на ту скалу! Майкл, привяжи своего коня к фургону, мчись к Амарии, пусть он со своими ребятами спешит сюда — побеседовать с этими молодчиками!

Фургон опустел мгновенно.

— Помогайте женщинам!— командовал Финеас, хватая на руки Гарри.— И бегите, бегите что есть сил!

Уговаривать их не пришлось. Быстрее, чем это можно передать словами, беглецы перелезли через изгородь и бросились к тропинке. Майкл спрыгнул с седла, привязал повод своего коня к задку фургона и пустил лошадей вскачь.

— За мной!— крикнул Финеас, когда при слабом свете тускнеющих звезд перед ними обозначилась тропинка среди скал.

С ребенком на руках Финеас прыгал с камня на камень, точно горный козел. Джим бежал следом за ним, неся на спине старуху мать, Джордж и Элиза не отставали от них. Верховые с криками и бранью подскакали к изгороди и спешились. Но беглецы были уже у самой вершины каменистой гряды. Отсюда тропинка шла узким ущельем. Они двигались поодиночке, и вдруг перед ними открылась расселина шириной по меньшей мере в три фута. Финеас легко перепрыгнул через нее и опустил Гарри на поросшую кудрявым белым мхом плоскую вершину скалы.

— За мной!— повторил он.— Прыгайте, кому жизнь дорога!

И все, один за другим, перепрыгнули через расселину. Глыбы камней, окаймлявших площадку, скрыли их с головой.

— Ну, вот и добрались!— сказал Финеас, заглядывая вниз на карабкающихся по тропинке преследователей.—Они хотят изловить нас... Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Тем, кто сунется сюда, придется идти гуськом между вот этими двумя скалами, и они будут у вас на прицеле, друзья. Видите?

— Вижу,— сказал Джордж.— И, поскольку речь идет о нашей судьбе, мы и схватимся с ними, а вы не вмешивайтесь.

— Схватывайся, Джордж, сколько твоей душе угодно,— сказал Финеас, пожевывая стебелек травы.— Но ведь полюбоваться на вашу драку не возбраняется? Смотри, они, видно, держат между собой совет, поглядывают сюда, точно куры на нашест. Ты бы лучше предупредил этих молодцов повежливее, что́ их здесь ждет.

Группа на тропинке, ясно различимая теперь, при свете утренней зари, состояла из наших старых знакомцев — Тома Локкера и Мэркса, двух полисменов и нескольких забулдыг, которых нанимают за бутылку спиртного на веселую охоту за неграми.

— Ну, Том, теперь твои черномазые не улизнут!— послышалось снизу.

— Я видел, как они туда карабкались,— сказал Том.— Вот по этой тропинке. Ну, пошли! Оттуда небось не спрыгнешь. Мы их всех переловим!

— А что, если они будут стрелять из-за камней?— сказал Мэркс.— Тогда наше дело дрянь.

— Гм!— хмыкнул Локкер.— Мэркс только о своей шкуре и думает. Не бойся! У этих негров, должно быть, душа в пятки ушла от страха.

— Почему бы мне и не думать о своей шкуре?— сказал Мэркс.— Это лучшее, что у меня есть. А дерутся они иной раз, как черти.

В эту минуту Джордж появился на вершине скалы и заговорил спокойно и отчетливо:

— Джентльмены, кто вы такие и что вам нужно?

— Нам нужны беглые негры,— сказал Том Локкер.— А именно: Джордж Гаррис, Элиза Гаррис, их сын, Джим Селден и старуха негритянка, его мать. Мы не одни, а с полисменами, и у нас есть приказ об аресте. Слышал? Ты, наверно, и есть Джордж Гаррис, невольник мистера Гарриса из округа Шелби, штат Кентукки?

— Да, я Джордж Гаррис, и некий мистер Гаррис из штата Кентукки действительно считал меня своей собственностью. Но теперь я свободный человек, стою на свободной земле и со мной здесь моя жена и мой ребенок. Джим с матерью тоже здесь. При нас оружие, и мы будем защищаться. Поднимитесь сюда, если сможете, но предупреждаю вас: первый, кто приблизится к нам на расстояние выстрела, получит пулю, и мы перестреляем вас всех до одного.

— Брось, брось, голубчик!— сказал толстый, коротконогий полисмен, выступая вперед и громко сморкаясь.— Не годится так разговаривать. Мы блюстители порядка. На нашей стороне закон, власть и тому подобное, так что советую тебе не тянуть и сдаваться сразу.

— Я прекрасно понимаю, что закон и власть на вашей стороне! — с горечью воскликнул Джордж.— Вы хотите продать мою жену на новоорлеанском невольничьем рынке, моего сына посадить, как теленка, в загон, а мать Джима отошлете хозяину, который бил ее, издевался над ней, вымещая на старухе свою злобу, потому что не мог добраться до ее сына. Вы хотите, чтобы мы с Джимом покорились тем, кого вы называете нашими господами, и претерпели от них муки. Что ж, таков закон! Но попробуйте возьмите нас! Мы не признаем ваших законов, мы отказываемся от вашей страны! Мы свободные люди и будем отстаивать свою свободу до последней капли крови!

Провозглашая эту декларацию независимости, Джордж стоял у всех на виду. Заря бросала розовые отблески на смуглое лицо молодого мулата, отчаяние и горечь зажгли огнем его темные глаза.

Горделивая осанка, взгляд и голос Джорджа, видимо, произвели впечатление на стоявших внизу, ибо они замолчали. Отвага

и решительность действуют даже на самые грубые натуры. Один только Мэркс остался верен себе. Он не спеша взвел курок и выстрелил в Джорджа.

— В Кентукки за него заплатят одинаково — что за мертвого, что за живого,— хладнокровно сказал он, вытирая пистолет о рукав.

Джордж отпрянул назад, Элиза вскрикнула. Пуля пролетела на волосок от них обоих и угодила в ствол дерева.

— Ничего, Элиза,— быстро проговорил Джордж.

— Уж если ты хочешь разглагольствовать, стань так, чтобы тебя не видели! — проворчал Финеас.— С кем ты имеешь дело? С подлецами.

— Ну, Джим,— сказал Джордж,— проверь пистолеты и держи тропинку под прицелом. В первого, кто на ней покажется, стреляю я, во второго — ты, и дальше так же. По две пули на одного тратить нельзя.

— А если ты промахнешься?

— Не промахнусь,— спокойно сказал Джордж.

— Вот это я понимаю — характер!— пробормотал Финеас.

После того как Мэркс выстрелил, внизу наступило некоторое замешательство.

— Кажется, попал,— проговорил кто-то из его подручных.— Мне послышалось, будто крикнули.

— Ну, я полезу,— сказал Том Локкер.— Негров я никогда не боялся и сейчас не испугаюсь. Кто за мной?— И он стал карабкаться вверх по камням.

Джордж ясно слышал эти слова. Он вынул из-за пояса пистолет, осмотрел его и прицелился в ожидании первой мишени.

Какой-то смельчак полез на скалу следом за Локкером и показал пример остальным. Прошла минута, и на самом краю расселины выросла грузная фигура Тома.

Джордж выстрелил. Пуля попала Тому в бедро, но он не хотел отступать и, взревев, точно бешеный бык, перепрыгнул через расселину.

— Тебя сюда не звали, приятель,— сказал Финеас, быстро подавшись вперед и толкая его своими длинными руками.

И Локкер полетел в пропасть сквозь кусты, деревья, по острым камням. Падение с высоты тридцати футов кончилось бы для него плохо, но он зацепился одеждой за ветку большого дерева и только благодаря этому уцелел.

— Помилуй нас бог, да это сущие дьяволы! — крикнул Мэркс и со всех ног бросился вниз, проявляя при спуске гораздо бо́льшую прыткость, чем при подъеме.

Остальные, в том числе и окончательно запыхавшийся толстяк полисмен, гурьбой устремились за ним.

— Знаете что, ребята,— сказал Мэркс,— вы обойдите кругом и подберите Тома, а я поеду за подмогой.

И, не обращая внимания на крики и улюлюканье своих товарищей, он вскочил в седло и был таков.

— Вот прохвост бесстыжий!— возмутился один из полисменов.— Мы сюда по его же милости приехали, а он дал тягу и бросил нас!

— Все-таки того подобрать надо,— сказал другой.— Хотя, по правде говоря, мне все равно, жив он или подох.

Прислушиваясь к стонам и ругани Локкера, они добрались до него сквозь густые заросли кустарника, поваленные деревья и обломки скал.

— Ты что кричишь, Том? Сильно тебя ранило?— спросил один из них.

— Ох, не знаю... Будь он проклят, этот квакер!.. Что же вы стоите! Поднимите меня!

Поверженного героя подняли с большим трудом и повели под руки к лошадям.

— Помогите мне добраться до гостиницы. Кровь так и хлещет... дайте платок, что ли... перевязать рану.

Выглянув из-за скалы, Джордж увидел, что полисмены стараются подсадить Локкера в седло. После двух-трех неудачных попыток тот зашатался и тяжело рухнул на землю.

— Неужели умер?— воскликнула Элиза, которая вместе со всеми наблюдала за тем, что делалось внизу.

— Ну что ж, и поделом ему,— сказал Финеас.— Смотрите! Да они, кажется, бросили его!

И в самом деле, постояв несколько минут в нерешительности и посовещавшись между собой, подручные Локкера и Мэркса вскочили на лошадей и ускакали. Как только они скрылись из виду, Финеас заторопился.

— Я послал Майкла за подмогой,— сказал он.— Надо выйти ему навстречу. В такой ранний час его никто не задержит. Поскорее бы он вернулся! Ведь нам остались сущие пустяки — каких-нибудь две мили. Будь дорога немного получше, они бы нас ни за что не догнали.

Спустившись к изгороди, беглецы увидели вдали свой фургон и нескольких верховых.

— Ну вот и Майкл, а с ним Амария и Стивен!— радостно воскликнул Финеас.— Теперь наше дело в шляпе!

— Подождите,— сказала Элиза.— Надо помочь этому несчастному. Слышите, как он стонет?

— Давайте донесем его до фургона,— предложил Джордж.

— А потом что же — прикажите выхаживать его? Недурно! Впрочем, дело ваше. Только давайте сначала посмотрим, что

с ним.— Финеас опустился на колени рядом с раненым и стал внимательно осматривать его.

— Мэркс!— еле внятно проговорил Том.— Это ты, Мэркс?

— Нет, приятель, это не Мэркс,— сказал Финеас.— Станет он о тебе заботиться! Ему лишь бы свою шкуру спасти. Твой Мэркс давно улепетнул.

— Ну, теперь мне конец,— пробормотал Том.— Собака... Бросил меня на верную смерть... Мать всегда мне пророчила, что так оно и будет.

— Ах ты господи! У него, у горемыки, мать еще жива!— жалобно проговорила старуха негритянка.— Ну как ему не посочувствовать!

— Тихо, тихо, приятель, не рычи, не лязгай зубами,— сказал Финеас, когда Локкер сморщился и оттолкнул его руку.— Если кровь не остановить, плохо будет твое дело.— И он принялся мастерить ему повязку из носовых платков, собранных у всех по карманам.

— Это ты столкнул меня вниз?— слабым голосом проговорил Том.

— Я. А спросишь, зачем? Затем, чтобы ты сам нас не столкнул,— ответил Финеас.— Стой! Дай наложить повязку. Мы народ незлопамятный, ничего плохого тебе не сделаем. Отвезем к добрым людям, они за тобой ходить будут лучше родной матери.

Том охнул и закрыл глаза.

Тем временем подоспел фургон. Сиденья из него вынули, буйволовые шкуры сложили к одному краю, и четверо мужчин с трудом подняли грузного Тома. Он был уже без сознания. Сердобольная старушка села рядом с ним. Джим и Элиза примостилась тут же.

— Тяжелая у него рана?— спросил Джордж, вскакивая на передок рядом с Финеасом.

— Слов нет, глубокая, и побило его порядком, пока он валился вниз. Обессилел совсем от потери крови. Да ничего, поправится. Это ему на пользу пойдет. Научится уму-разуму.

— Куда же мы с ним денемся?

— Отвезем к Амарии. Там у него есть старушка, по имени Доркас,— великая мастерица за больными ходить.

Примерно через час усталые путешественники подъехали к чистенькой ферме, где их ожидал сытный завтрак. Тома Локкера бережно уложили в такую опрятную и мягкую постель, какой ему, вероятно, за всю его жизнь не приходилось видеть. Рану промыли, перевязали, и он лежал, глядя сквозь полузакрытые веки на белые занавески и на людей, которые бесшумно двигались около его кровати.

Глава XVIII

НАБЛЮДЕНИЯ И ВЗГЛЯДЫ МИСС ОФЕЛИИ

Бережливость не принадлежала к числу добродетелей Сен-Клера. До сих пор все закупки для дома делал Адольф, который не уступал хозяину в расточительности, и деньги текли у них меж пальцев с необычайной быстротой. Том, привыкший беречь хозяйское добро, как свое собственное, огорчался, видя такое мотовство, и иной раз осторожно высказывал то, что он думает по этому поводу.

На первых порах к Тому лишь изредка обращались с какими-нибудь поручениями, но, выполняя их, новый слуга проявил столько здравого смысла и деловитости, что Сен-Клер вскоре переложил на него все хозяйственные заботы.

— Нет, нет, Адольф,— сказал он однажды своему лакею, когда тот начал жаловаться, что власть ускользает из его рук,— оставь Тома в покое. У тебя на уме только твои прихоти, а Том человек бережливый. Мы с тобой должны поручить кому-то свои денежные дела, иначе нас ждет разорение.

Пользуясь неограниченным доверием хозяина, который давал ему деньги не глядя и совал сдачу в карман не считая, Том вполне мог бы плутовать, и только душевная чистота удерживала его от такого искушения.

Но разве можно сравнить заботы, выпавшие на долю Тома, с теми бесчисленными огорчениями, которые испытывала мисс Офелия, взявшись вести хозяйство джентльмена-южанина! У ленивой, ребячливо-беззаботной Мари Сен-Клер слуги были точно такие же. В разговоре с кузиной она дала правдивое описание царившего в доме беспорядка, хоть и неверно указала его виновников.

Приступая впервые к своим обязанностям, мисс Офелия поднялась в четыре часа утра, сама убрала комнату, как это было у нее заведено, к немалому удивлению здешних горничных, и приготовилась к сокрушительной атаке на буфеты и чуланы, ключи от которых были вручены ей.

Кладовая, бельевые шкафы, горки с фарфором, кухня, погреб — все это подверглось самому тщательному осмотру. Сколько сокровенных тайн выплыло в тот день на свет божий к немалой тревоге некоторых обитателей дома, захвативших власть в кухне и в комнатах, и как там перемывались косточки «этим дамам-северянкам»!

Главная повариха Дина, до сих пор безраздельно повелевавшая в своих владениях, выходила из себя, видя в такой ревизии нарушение ее прав.

Справедливость требует, чтобы мы возможно полнее описали читателю эту яркую личность. Она была прирожденная кулинарка, так же как и тетушка Хлоя, но деятельность последней протекала в весьма хозяйственном доме, где знали, что такое порядок, а Дина руководствовалась во всех своих поступках только вдохновением и, подобно всем гениальным натурам, отличалась крайней самоуверенностью, упрямством, а следовательно, и способностью заблуждаться.

Логика и здравый смысл не существовали для Дины. Она никого не признавала, полагаясь исключительно на собственное чутье. Никакими доводами, никакими уговорами нельзя было сбить эту женщину с раз избранного ею пути или хотя бы добиться от нее малейшей уступки. Так было и при старой хозяйке, матери Мари, а сама «мисс Мари», как называла Дина свою теперешнюю госпожу даже после ее замужества, предпочитала подчиняться поварихе и не оспаривать ее власти.

По части измышления всяческих отговорок Дина была непревзойденной мастерицей. Она твердо верила, что повариха ошибаться не может, и хранила свою репутацию незапятнанной, ибо в кухне у южан всегда найдутся головы и плечи, на которые удобно свалить любую вину, любой проступок. Если какое-нибудь блюдо в обеденном меню не удавалось, она находила по меньшей мере пятьдесят причин для этого и соответствующее количество виноватых, которым и воздавала по заслугам.

Но такие неудачи случались у Дины редко. Хотя сплошь и рядом она делала все шиворот-навыворот, не сообразуясь ни с временем, ни с местом, хотя кухня у нее обычно выглядела так, словно по ней только что пронесся ураган, хотя для каждой кастрюли, каждой ложки тут имелось столько мест, сколько дней в году, все же, если у вас хватало терпения выждать, когда Дина разрешит подавать на стол, вы вознаграждались такой трапезой, которая могла бы угодить самому изощренному вкусу.

Вот вам, дорогой читатель, предварительные сведения о поварихе Сен-Клера, а сейчас вы увидите ее воочию.

Пришла пора начинать неспешные приготовления к обеду. Дина, всегда уделявшая немало времени размышлениям и отдыху и любившая устраиваться с удобством, сидела в кухне на полу, попыхивая коротенькой трубочкой, в которой она находила и усладу и неисчерпаемый источник вдохновения.

Вокруг нее разместились кружком негритята, коими изобилует каждый богатый дом на Юге. Они лущили горох, чистили картофель, щипали птицу, а Дина, отрываясь время от времени от своих размышлений, угощала их затрещинами или стукала по голове мешалкой, которая лежала около нее наготове.

Закончив ревизию всего дома, мисс Офелия появилась наконец и в кухне. До Дины уже дошли слухи о предстоящих переменах в хозяйстве, и, решив занять оборонительную позицию, она готовилась противодействовать всем новшествам твердо, но втихомолку, не вступая в открытую борьбу.

Просторная кухня была вымощена кирпичом; одну ее стену занимал большой старинный очаг, который Дина, несмотря на все уговоры Сен-Клера, упорно отказывалась сменить на более современную плиту.

Приехав в Новый Орлеан с Севера, Сен-Клер хотел оборудовать свою кухню по образцу дядиной, которая пленила его идеальным порядком и чистотой. Льстя себя надеждой, что Дина наладит такой же порядок в своих владениях, он накупил посудных шкафов, ларей и всяких других предметов кухонного обихода. Увы! С тем же успехом он мог бы предоставить все это в распоряжение белки или сороки. Чем больше шкафов и ларей было у Дины, тем больше находила она в них места для тряпок, гребенок, стоптанной обуви, лент, отслуживших свой век искусственных цветов и тому подобного хлама, который был для нее дороже всех сокровищ мира.

Когда мисс Офелия вошла на кухню, Дина не тронулась с места и продолжала курить, делая вид, что наблюдает за своими помощниками, а на самом деле украдкой поглядывая на новую домоправительницу.

Мисс Офелия выдвинула нижний ящик кухонного шкафа.

— Что ты здесь держишь, Дина? — спросила она.

— Да все, что придется, мисс,— последовал ответ.

Так оно и было. Мисс Офелия извлекла из ящика тончайшую камчатную скатерть, всю в кровяных пятнах.

— Дина, что это! Неужели ты заворачиваешь мясо в такую красивую скатерть?

— Господь с вами, мисс, разве это можно? Просто не было под руками полотенца, вот я и завернула в скатерть, а потом отложила ее в стирку.

«Безалаберщина какая!»— мысленно проговорила мисс Офелия, продолжая рыться в ящике и постепенно извлекая оттуда терку с мускатными орехами, молитвенник, два грязных носовых платка, моток пряжи, вязанье, пачку табаку и трубку, несколько печений, два позолоченных фарфоровых блюдечка с помадой, пару старых башмаков, узелок с мелкими луковицами, полдюжины салфеток камчатного полотна, суровое посудное полотенце, штопальные иголки и груду разорванных пакетов, из которых посыпались сушеные ароматические травы.

— Дина, где ты держишь мускатные орехи?— спросила мисс Офелия, всеми силами стараясь сдержать негодование.

— Да где придется, мисс: в комоде, а еще вон в той разбитой чашке.

— И в терке?— сказала мисс Офелия, высыпая орехи на ладонь.

— Ох, верно! Это я их сегодня утром туда положила. Люблю, чтобы все было под руками. Эй, Джек! Опять бездельничаешь? Смотри у меня! — И Дина стукнула провинившегося Джека мешалкой.

— А это что?— Мисс Офелия показала ей блюдечко с помадой.

— Как «что»! Помада для волос. Это тоже всегда должно быть под руками.

— И ты выложила ее в такое блюдечко?

— Второпях куда только не выложишь! Я как раз сегодня думала — надо найти какую-нибудь другую посуду.

— А зачем здесь камчатные салфетки?

— Я их собрала в стирку.

— Неужели у тебя нет другого места для грязного белья?

— Как же, есть! Мистер Сен-Клер купил для белья вот этот ларь, а я приспособилась месить на нем тесто и кое-какие вещи на него ставлю. Ну, как же тут крышку открывать? Ведь неудобно!

— Тесто можно месить на столе.

— Ох, что вы, мисс! Да разве на нем мало грязной посуды? Туда и не приткнешься.

— Посуду надо мыть и убирать на место.

— Мыть?— возопила Дина, забыв о почтительности.— А что вы понимаете в нашем деле! Когда же у меня господа за стол сядут, если я буду все утро мыть посуду? Мисс Мари никогда от меня не требовала, чтобы я с посудой возилась.

— Ну хорошо, а лук как сюда попал?

— Ох, боже ты мой, вот он где! А я-то его ищу! У нас сегодня будет тушеная баранина, это у меня к ней припасено. Завернула его в тряпочку да и запамятовала.

Мисс Офелия приподняла дырявые пакетики с ароматическими травами.

— Сделайте мне такое одолжение, мисс, не трогайте их. У меня так все положено, чтобы сразу можно было найти,— твердо сказала Дина.

— А почему они рваные?

— Так удобнее, разворачивать не надо — само сыплется.

— Но ведь ящик полон мусора!

— Да вы, мисс, так все переворошили, что ничего в этом удивительного нет. Вон сколько просыпали!— проворчала Дина, подходя к шкафу.— Шли бы вы, мисс, к себе наверх, подо-

ждали бы, пока у меня будет уборка. Я не могу, когда господа во все вмешиваются... Сэм! Ты зачем сунул ребенку сахарницу? Вот я тебе задам сейчас!

— Я наведу порядок в кухне раз и навсегда, Дина, и будь добра его поддерживать.

— Бог с вами, мисс Фели! Да разве это господское дело! Я еще не видывала, чтобы леди возились на кухне. Наша старая госпожа и мисс Мари ко мне и не заглядывали.

Дина возмущенно заходила по кухне, а мисс Офелия тем временем пересмотрела посуду, ссыпала сахар из десяти сахарниц в одну, отобрала в стирку скатерти, полотенца, салфетки, собственноручно перемыла и вытерла грязную посуду — и все это с такой ловкостью и быстротой, что повариха только диву давалась, на нее глядя.

— Господи боже! Да если у них на Севере все леди такие, грош им цена!— объявила Дина кое-кому из своих приближенных, удостоверившись предварительно, что никто другой ее не услышит.— Придет время — я сама уберусь. А господам сюда соваться нечего — после них ни одной вещи не найдешь!

Надо отдать Дине справедливость: время от времени на нее вдруг нападала такая любовь к чистоте, что она выворачивала содержимое всех ящиков и ларей прямо на пол, только усугубляя этим общий беспорядок, потом закуривала трубочку, не спеша обозревала свои владения и сажала мелюзгу за чистку оловянной посуды, отчего на кухне в продолжение нескольких часов творилось нечто невообразимое. Когда же посуда была вычищена, столы выскоблены, а мелочь рассована по углам и другим потайным местечкам, Дина надевала нарядное платье, накручивала на голову тюрбан, подвязывала чистый передник и выпроваживала своих подручных из кухни, чтобы они не нарушали ее благолепия.

Эти периодические припадки чистоплотности причиняли немало неудобств в хозяйстве, ибо во время их Дина так тряслась над своими сверкающими кастрюлями, что не позволяла пользоваться ими, во всяком случае до тех пор, пока пыл ее не остывал.

За несколько дней мисс Офелия произвела полный переворот в доме, но там, где дело касалось прислуги, все ее труды шли прахом — с ней она ничего не могла поделать.

Как-то под вечер, когда мисс Офелия была в кухне, кто-то из негритят крикнул:

— Смотрите, Прю идет! Вечно она бормочет себе под нос!

Высокая, костлявая негритянка, появившаяся в дверях, несла на голове корзину с сухарями и горячими булками.

— А, опять к нам пожаловала!— сказала Дина.

Лицо у Прю было хмурое, голос хриплый, ворчливый. Она поставила корзинку на пол, опустилась рядом с ней на корточки, уперлась локтями в колени и пробормотала:

— Ох! И когда только меня господь приберет!

— Почему ты так говоришь?— спросила ее мисс Офелия.

— Довольно, намучилась я!— ответила Прю, не поднимая глаз.

— А кто тебе велит пьянствовать и буянить?— сказала щеголиха горничная, тряхнув коралловыми серьгами.

Старуха бросила на нее угрюмый взгляд:

— Не зарекайся, может, сама тем же кончишь. Вот тогда я порадуюсь, глядя, как ты будешь заливать горе вином.

— Ну-ка, Прю, покажи свой товар,— сказала Дина.— Может, мисс что-нибудь купит.

Мисс Офелия взяла сухарей и десятка два булочек.

— Билетики вон в том разбитом кувшине,— сказала Дина.— Джек, слазь, достань.

— Какие билетики? — удивилась мисс Офелия.

— Мы с ней расплачиваемся вот этими билетиками, а покупаем их у ее хозяина.

— А он потом все подсчитывает,— вставила Прю,— и, если заметит нехватку, избивает меня до полусмерти.

— И поделом тебе,— сказала бойкая Джейн,— не пропивай хозяйские деньги!.. Она ведь пьет, мисс Офелия.

— И буду пить, потому что я без этого не могу. Напьешься— и забываешь свою горькую долю.

— Это очень нехорошо,— сказала мисс Офелия.— Разве можно красть у хозяев деньги, да еще пропивать их!

— Так-то оно так, да ведь я все равно от этого не отстану. Ох, хоть бы прибрал меня господь! Долго ли мне еще маяться!

Прю медленно, с трудом выпрямилась, поставила корзинку на голову и устремила взгляд на Джейн, которая стояла перед ней, потряхивая сережками.

— Ишь, нацепила побрякушки и думает, что красивей ее нет никого на свете! Подожди, доживешь до моих лет, сопьешься и будешь такой же несчастной, дряхлой старухой, как я. И поделом тебе!— Она злобно хмыкнула и с этим удалилась.

Наш друг Том, присутствовавший при этом разговоре, вышел за старой булочницей на улицу. Она прошла несколько домов, со стоном опустила свою ношу на крыльцо и оправила на плечах старую, выцветшую шаль.

— Дай я понесу корзинку,— участливо сказал Том.

— Зачем это? Я и сама справлюсь.

— Ты больная или, может, горе у тебя какое?

— Ничем я не больна!— отрезала старуха.

— Много бы я дал, чтобы ты послушалась меня и бросила пить,— сказал Том, сочувственно глядя на нее.— Ведь это для тебя гибель!.. Откуда ты родом?

— Из Кентукки. Жила там у одного хозяина, растила детей, а он продавал их всех по очереди. Потом и меня продал перекупщику, а от него я попала к теперешним господам.

— Почему же ты к вину пристрастилась?

— Горе заливаю. Здесь у меня тоже был ребенок, и я думала— хоть он-то при мне останется. Хороший такой был мальчик, здоровенький, спокойный, никогда не кричал... и хозяйка любила с ним возиться. Потом она заболела, я ухаживала за ней, а хворь возьми да на меня и перекинься. Молоко пропало, ребенок отощал — одна кожа да кости. А покупать молоко хозяйка не позволяла: корми, говорит, тем, что сама ешь. Он чахнет день ото дня, плачет-разливается, а она сердится: это, мол, всё одни капризы. На ночь мне не позволяли его брать, говорят — ты с ним умаешься и работать не сможешь. Сама-то я спала у хозяйки в комнате, а его выносили на чердак. Как-то утром прихожу, а он мертвый... С тех самых пор и стоит у меня в ушах его крик, а выпьешь — все забываешь...

Том с болью в сердце выслушал этот рассказ, повернулся и пошел домой.

Глава XIX

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

Через несколько дней с сухарями и булками пришла другая женщина. Мисс Офелия была в это время в кухне.

— Господи боже!— воскликнула Дина.— А где Прю?

— Прю больше никогда не придет,— таинственно сказала новая булочница, покосившись на мисс Офелию.

— Почему? Неужто умерла?

— Да мы не знаем... Она ведь в погребе лежит.

Дина пошла проводить ее до дверей.

— Что там у вас случилось?— спросила она.

Новая булочница хоть и побаивалась говорить, но все-таки не утерпела и сказала шепотом:

— Только никому не рассказывай... Прю напилась, и ее посадили в погреб на весь день. Говорят, умерла она, мухи ее всю облепили.

Дина всплеснула руками и вдруг увидела рядом с собой Еву, которая слушала их, широко раскрыв глаза. В лице у нее не было ни кровинки.

— О господи! Мисс Еве дурно! Мы-то хороши, разговорились при ней! Да хозяин нам за это голову с плеч снимет!

— Ничего со мной не будет, Дина,— твердо сказала девочка.— И почему мне нельзя этого слушать? Ты не меня жалей, а бедную Прю— ей тяжелее.

— Нет, нет! Вы барышня нежная, деликатная, вам и знать об этом нельзя!

Ева вздохнула и, грустная, медленно пошла вверх по лестнице.

Мисс Офелия встревожилась и пожелала узнать, что случилось с несчастной старухой. Дина рассказала ей все до мельчайших подробностей, а Том добавил к этому рассказу то, что слышал от самой Прю.

— Возмутительная история! Боже, какой ужас!— С этими словами мисс Офелия вошла к Сен-Клеру, который лежал с газетой на кушетке.

— Ну, какое еще беззаконие вы обнаружили?— спросил он.

— Какое беззаконие? Прю запороли насмерть!— И мисс Офелия, не жалея красок, поведала ему все.

— Я так и знал, что рано или поздно этим кончится,— сказал Сен-Клер, снова берясь за газету.

— Знали? Неужели же вы так это и оставите? — воскликнула мисс Офелия.— Подайте кому-нибудь жалобу! Есть же у вас тут должностные лица, которые могут вмешиваться в подобные дела!

— Заинтересованность владельца в сохранности своего имущества считается у нас достаточной гарантией для негров. Но если владелец собственноручно губит свою собственность, тут ничего не поделаешь. Кроме того, эта несчастная старуха была, кажется, воровка и пьяница. Кто же будет за такую заступаться?

— Это ужасно, Огюстен! Это просто чудовищно!

— Я тут совершенно ни при чем, дорогая моя кузина. Что можно поделать с огрубевшими, жестокими людьми! Они пользуются неограниченной властью и ни перед кем не несут ответа за свои злодеяния. Вмешательство в таких случаях бесполезно. Закон бессилен против них. Нам ничего не остается, кроме как закрыть глаза, заткнуть уши и на том успокоиться.

— «Закрыть глаза, заткнуть уши»! Да разве можно попустительствовать таким безобразиям!

— Дорогая моя, чего вы, собственно, хотите? Негры — существа невежественные, забитые —отданы в полную, безоговорочную власть самодуров, которые не желают считаться ни с чем, даже с соображениями собственной выгоды, а таких среди

нас большинство. Что же остается делать в их среде людям порядочным и гуманным? Только закрывать глаза и мало-помалу черстветь. Я не могу скупать всех несчастных рабов, я не странствующий рыцарь, который борется с несправедливостью везде, где бы он ее ни увидел. В нашем городе это занятие бесцельное. Лучшее, что я могу сделать,— это держаться в стороне.

Сен-Клер нахмурился, но ненадолго. Через минуту он опять заговорил с веселой улыбкой:

— Полно, кузина, не смотрите на меня так строго. Ведь вы только одним глазком, в щелочку увидели образчик того, что в той или иной форме творится повсюду на земле. Если вникать во все ужасы и бедствия, так и жить не захочется. Это все равно что слишком внимательно приглядываться к стряпне нашей Дины.

И Сен-Клер снова взялся за газету.

Мисс Офелия села в кресло, вынула вязанье из сумочки и с негодующим видом задвигала спицами. Так прошло несколько минут, и наконец огонь, разгоравшийся в ее груди, вырвался наружу.

— Нет, Огюстен, я не могу примириться с этим и выскажу вам свое мнение напрямик! Меня возмущает, что вы защищаете рабство!

— Как! Вы все еще не успокоились? — сказал Сен-Клер, поднимая голову.

— Да, да! Меня возмущает, что вы защищаете рабство! — с еще большей горячностью повторила мисс Офелия.

— Я защищаю рабство? Да откуда вы это взяли?

— Конечно, защищаете! И не вы один, а все южане. Иначе, кто бы из вас стал держать рабов?

— Хорошо, будем говорить серьезно,— сказал Огюстен,— но сначала подвиньте мне вазу с апельсинами. Итак, дорогая моя кузина, по вопросу о рабовладельчестве двух мнений быть не может,— начал он, и лицо у него сразу приняло вдумчивое выражение.— Плантаторы, которые богатеют на этом, священники, которые угождают плантаторам, и политиканы, которые видят в рабовладении основу своей власти, могут изощряться как им угодно, пускать в ход все свое красноречие и ссылаться на евангелие, но истина остается истиной: система рабства есть порождение дьявола и служит лучшим доказательством того, на что сей джентльмен способен.

Мисс Офелия перестала вязать и устремила недоуменный взгляд на Сен-Клера, а он, явно довольный тем, что его слова произвели на кузину такое впечатление, продолжал:

— Вы удивлены? Подождите, выслушайте меня до конца. Что такое рабовладение, проклятое богом и людьми? Лишенное

всяких прикрас, оно предстанет пред нами вот в каком виде: негр Квэши — существо невежественное и беспомощное, а я образован и в руках у меня власть, следовательно, ничто не мешает мне обирать его до нитки и уделять ему лишь то, что я найду нужным. Негр Квэши делает за меня всю тяжелую, грязную работу. Сам я не люблю трудиться, поэтому пусть за меня трудится Квэши. Гнуть спину под палящими лучами солнца мало приятно — опять же вместо меня это может делать Квэши. Пусть Квэши зарабатывает деньги — тратить их буду я. Пусть Квэши увязает по пояс в болоте, чтобы я мог пройти по́суху. Квэши будет всю жизнь исполнять мою волю, так как своей воли у него нет. Вот что такое рабство, кузина!

Сен-Клер встал и большими шагами заходил по веранде. На щеках его появился румянец, большие глаза метали искры. Мисс Офелия никогда еще не видела его в таком волнении.

— Уверяю вас, кузина, было время, когда я думал так: пусть вся наша страна провалится в преисподню и навеки скроет от мира пятнающую ее мерзость — я без тени сожаления погибну вместе с ней. Мне много приходилось путешествовать по Америке, и, видя, что наши законы позволяют любому негодяю распоряжаться судьбой людей, которые куплены на деньги, добытые иной раз нечестным путем, позволяют властвовать над беззащитными детьми, девушками и женщинами, я был готов проклясть свою родину, а заодно и все человечество!

— Да, но как же вы...— начала было мисс Офелия.

— Как я мог сам погрязнуть в такой мерзости? — перебил ее Сен-Клер.— Вопрос коварный, но я на него отвечу. Эти невольники принадлежали раньше моему отцу и моей матери, а теперь они принадлежат мне. Умирая, отец завещал все свое состояние нам с братом. Сначала мы хозяйничали на плантации вдвоем, но года через два я понял, что помощи ему от меня мало. Вы только представьте себе: семьсот невольников, которых ты даже в лицо не знаешь, до которых тебе, в сущности, нет никакого дела, а о них надо заботиться, их надо кормить, с них надо требовать работу, как со скотины. А чего сто́ят надсмотрщики и неизбежный кнут!

— Я полагала, что вы все здесь оправдываете такое отношение к рабам,— проговорила мисс Офелия.

— Нет! До этого еще никто из нас не дошел, даже мой братец Альфред, закоренелый деспот. Но он утверждает, и, по-моему, не без оснований, что американские плантаторы, правда в несколько иной форме, делают то же, что английская аристократия и английские капиталисты, которые полностью подчинили себе низшие классы. Альфред оправдывает и их и нас, и ему нельзя отказать в последовательности.

— Но это совершенно разные вещи, их даже сравнивать нельзя! — воскликнула мисс Офелия.— Английского рабочего не продашь, не разлучишь с семьей, не накажешь плетьми!

— Он точно так же во всем зависит от воли хозяина. Рабовладелец может запороть своего непокорного раба насмерть, а капиталист заморит его голодом. Что же касается нерушимости семейных уз, то еще неизвестно, что хуже: когда детей твоих продают или когда они умирают у тебя на глазах голодной смертью.

— Такие сопоставления никогда не приходили мне в голову,— сказала мисс Офелия.

— Я был в Англии, и мне легко судить, прав ли Альфред, когда он говорит, что его рабам живется лучше, чем большинству населения Англии.

— Расскажите, почему вы уехали с плантации,— попросила его мисс Офелия.

— Некоторое время мы с Альфредом распоряжались там всеми делами вдвоем, но потом он убедился, что плантатора из меня не получится, и посоветовал мне взять мою долю наследства деньгами и поселиться в Новом Орлеане, в нашем фамильном особняке.

— А вам никогда не приходила в голову мысль освободить своих рабов?

— Было такое время,— задумчиво проговорил Сен-Клер,— когда я тешил себя надеждой, что не зря проживу жизнь и совершу благое дело. Я хотел стать освободителем негров, хотел стереть позорное пятно с лица нашей родины. Юношам свойственно носиться с такими мечтами... Однако все сложилось иначе, и я уподобился щепке, плывущей по воле волн. Впрочем, не думайте, что мои взгляды на рабство представляют собой какое-то исключение в нашей среде. Нет, у меня много единомышленников. Да может ли быть иначе? Ведь наша страна изнывает под этим игом! Оно убийственно не только для раба, но и для рабовладельца. Простым глазом видно, какое это страшное зло, что мы живем среди массы невежественных, нами же развращенных людей. Наши законы весьма решительным образом запрещают давать им даже самое скромное образование, и это правильно! Обучите грамоте одно поколение негров, и вся система рабства взлетит на воздух. Если мы не дадим им свободы, они сами вырвут ее у нас из рук.

— Чем же все это кончится? — спросила мисс Офелия.

— Не знаю. Мне ясно только одно: народные массы рано или поздно поднимут голову и в Европе и в Америке. И это все, что я могу вам сказать... А вот и звонок к чаю! Пойдемте.

За столом Мари заговорила о Прю.

— Вы, кузина, вероятно, считаете нас варварами,— сказала она.

— Да, это варварство. Но не все же здесь, на Юге, варвары!

— Бывают негры, с которыми просто невозможно справиться,— продолжала Мари.— Такие не вызывают у меня никакого сожаления. Вели бы себя как следует, и никто бы их не трогал.

— Мама, но ведь Прю была такая несчастная! Вот почему она пила,— сказала Ева.

— Вздор! Как будто это может служить оправданием! Я тоже несчастная, вероятно, несчастнее ее. Нет, все дело в том, что негры дрянной народ. Среди них попадаются такие, которых никак не образумишь.

* * *

У автора возникают опасения, как бы наши знатные герои не заслонили от нас скромную фигуру Тома. Ну что ж, если читатель хочет узнать кое-что о его делах, пусть последует за нами на маленький чердак над конюшней.

Представьте себе скромную комнатку с кроватью, стулом и простым, грубо сколоченным столом, за которым Том сидит сейчас, наклонившись над грифельной доской, и с величайшей сосредоточенностью выписывает на ней какие-то слова.

Тоска по дому довела Тома до того, что он решился попросить у Евы листок писчей бумаги и, собрав все свои скудные познания, почерпнутые на уроках Джорджа, задался дерзкой мыслью написать письмо. И сейчас он составлял на грифельной доске свой первый черновик. Задача эта была не из легких, ибо Том успел забыть, как пишутся некоторые буквы, а те, которые остались у него в памяти, почему-то не складывались в слова. Он тяжко вздыхал, уйдя с головой в свое занятие, как вдруг Ева, словно птичка, впорхнула в комнату и, пристроившись сзади него на стуле, заглянула ему через плечо.

— Дядя Том, какие ты смешные закорючки выводишь!

— Задумал послать весточку своей старухе и ребятишкам, мисс Ева,— сказал Том, проводя рукой по глазам,— да что-то ничего не выходит.

— Как бы мне тебе помочь, дядя Том? Я ведь немножко училась, в прошлом году знала все буквы, да, наверно, позабыла.

Ева прислонилась своей золотистой головкой к его голове, и оба они с одинаковой серьезностью и почти с одинаковым знанием дела принялись обсуждать каждое слово этого послания.

— Смотри, дядя Том, как красиво у нас получилось! — сказала Ева, с восхищением глядя на грифельную доску.— Вот они обрадуются-то! Как тебе, наверно, скучно без жены и детей, дядя Том! Подожди, я уговорю папу отпустить тебя домой.

— Миссис обещала выкупить меня, как только у них будут деньги,— сказал Том.— Я крепко на это надеюсь. Мистер Джордж хотел сам за мной приехать и дал мне в залог вот это.— И он вытащил из-за пазухи заветный доллар.

— Ну, значит, приедет,— сказала Ева.— Как я за тебя рада, дядя Том!

— Вот мне и захотелось написать им письмо, чтобы знали, где я, и чтобы не беспокоились. Хлоя, бедняжка, уж очень убивалась, когда меня провожала.

— Ты здесь, Том? — раздался за дверью голос Сен-Клера.

Том и Ева вздрогнули.

— Что это у вас? — спросил Сен-Клер, подходя к столу и глядя на грифельную доску.

— Том пишет письмо, а я ему помогаю,— сказала Ева.— Правда, хорошо получается?

— Не буду вас обоих огорчать,— сказал Сен-Клер,— но советую тебе, Том, обращаться за помощью ко мне. Я вернусь с верховой прогулки, тогда приходи — напишем.

— Это очень важное письмо,— шепнула отцу Ева.— Знаешь почему, папа? Хозяйка Тома обещала прислать за него выкуп. Он сам мне сказал.

Сен-Клер подумал, что это, вероятно, одно из тех никогда не выполняющихся обещаний, на которые не скупятся добрые хозяева, стараясь хоть как-нибудь смягчить горе проданных слуг. Но он не высказал вслух своих соображений и только приказал Тому седлать лошадь.

Письмо от имени Тома было написано в тот же вечер и благополучно доставлено в почтовую контору.

Между тем мисс Офелия, не слагая оружия, продолжала свою полезную деятельность. Все домочадцы, начиная с Дины и кончая последним негритенком, единодушно считали ее «чудачкой», а такой характеристикой невольники на Юге наделяют тех хозяев, которые им не по вкусу. Что же касается персон более важных (Адольфа, Джейн и Розы), то, по их мнению, мисс Офелия была вовсе не из благородных. «Разве благородные столько работают? Да и вида у нее нет никакого. Тоже, нашлась родственница у мистера Сен-Клера!» Мари жаловалась, что ей даже смотреть утомительно на свою хлопотливую кузину. И действительно, бурная деятельность мисс Офелии давала некоторые основания для таких жалоб. Она весь день, с раннего утра, строчила, шила что-то, как будто ее побуждала к этому крайняя необходимость, а чуть начинало темнеть, шитье откладывалось в сторону, и в руках у мисс Офелии появлялось неизменное вязанье. Мари Сен-Клер была права: такая деловитость производила удручающее впечатление.

Глава XX

ТОПСИ

Как-то утром, когда мисс Офелия была, по своему обыкновению, погружена в хозяйственные заботы, у лестницы раздался голос Сен-Клера:

— Кузина, сойдите, пожалуйста, вниз. Я хочу кое-что показать вам.

— Что такое? — спросила мисс Офелия, спускаясь по ступенькам с шитьем в руках.

— Я сделал одну покупку, специально для вас. Вот смотрите! — И с этими словами Сен-Клер подтолкнул к мисс Офелии маленькую негритянку лет восьми-девяти.

Такие чернушки редко встречаются даже среди негров. Она стояла, степенно сложив руки на животе, а глазами, поблескивающими, словно бусинки, так и стреляла из угла в угол, дивясь чудесам, которыми изобиловала гостиная ее нового хозяина. Полуоткрытый рот девочки сверкал двумя рядами ослепительно белых зубов, на голове во все стороны торчало множество косичек. Личико выражало торжественно-печальную строгость, а сквозь нее проглядывали хитреца и живой ум. Всю одежду девочки составляло грязное, рваное платье. Она производила очень странное впечатление. «Настоящий чертенок»,— как выразилась потом мисс Офелия.

— Огюстен! Зачем вы привели ее ко мне? — спросила эта почтенная леди, не скрывая своего крайнего неудовольствия.

— Как зачем? Воспитайте ее, научите уму-разуму. Она очень забавная... Топси! — Сен-Клер свистнул девочке, точно собаке.— Ну-ка, спой нам песенку и спляши.

Глазки-бусинки загорелись озорным огоньком, и чернушка запела пронзительным чистым голосом негритянскую песенку, отбивая такт руками и ногами, приплясывая, кружась, хлопая в ладоши, приседая, гортанно вскрикивая, и все это в том капризном ритме, которым отличаются мелодии ее народа. Прыжок, за ним другой, заключительный вопль, не уступающий своей протяжностью паровозному гудку, и плясунья замерла на месте, сложив руки и изобразив всем своим видом необычайное смирение, притворность которого изобличал только ее плутовской взгляд.

Мисс Офелия не могла выговорить ни слова от неожиданности.

Сен-Клер, чрезвычайно довольный ее растерянным видом, снова обратился к девочке:

— Топси, вот твоя новая хозяйка. Слушайся ее во всем.

— Да, хозяин,— проговорила Топси все с тем же напускным смирением и озорно сверкнула глазами.

— Будь примерной девочкой, Топси,— продолжал Сен-Клер.

— Да, хозяин.— И Топси снова сверкнула глазами, не разнимая скромно сложенных рук.

— Огюстен, что это за выдумки! — заговорила наконец мисс Офелия.— Ваш дом и так кишит этими сорванцами, от них буквально проходу нет. Утром выйдешь из комнаты — один спит за дверью, другой прикорнул на циновке; оглянешься — из-под стола торчит еще чья-то черная голова. Вечно виснут на перилах, кривляются, скалят зубы, на кухне катаются клубком по полу. Зачем же вы еще эту привели?

— Повторяю: Топси будет вашей воспитанницей. Вы столько говорите о том, как надлежит воспитывать негров, что я решил подарить вам это дитя природы. Испробуйте на ней свои силы, наставьте ее на путь истинный.

— Нет, нет, боже избави! С меня их и так довольно!

— Узнаю истинную христианку! Вам и вам подобным ничего не стоит учредить благотворительное общество и заслать какого-нибудь несчастного миссионера на всю жизнь к язычникам, но чтобы принять к себе в дом вот такую бедняжку,— нет, на это вы не способны! Ведь они грязные, противные и с ними слишком много возни!

— Да, это работа, достойная миссионера,— проговорила мисс Офелия, поглядывая на девочку несколько более благосклонно.

Сен-Клер знал, чем взять кузину. Мисс Офелия никогда не уклонялась от выполнения своего долга.

— Хорошо! — сказала она.— Хотя я все-таки не понимаю, зачем вам понадобилось покупать эту девочку. У вас в доме столько негритят, что все мои силы и уменье могли бы полностью уйти на них.

— Кузина,— сказал Сен-Клер, отводя мисс Офелию в сторону,— простите меня за глупую болтовню. Когда имеешь дело с таким добрым человеком, как вы, она совершенно неуместна. Слушайте, как все было. Эта девочка жила у двух пьянчуг, хозяев одного низкопробного трактира, мимо которого я прохожу чуть ли не ежедневно. Они избивали ее, и мне надоело слушать эти вопли. Девочка очень забавная и, по-видимому, смышленая, над ней стоит потрудиться. И вот я решил купить ее и преподнести вам. Пусть пройдет вашу суровую школу. Посмотрим, что из этого получится. Я как воспитатель — полная бездарность, но мне хочется, чтобы вы занялись ею.

— Что могу, сделаю,— сказала мисс Офелия и подошла к своей новой подданной с величайшей осторожностью, точно это был паук, но такой, который вполне заслуживал доброго отношения к себе.— Она ужасно грязная... и, кажется, полуголая!

— Пойдите с ней вниз, пусть ее там вымоют и переоденут.

... Мисс Офелия и Топси отправились в кухню.

— Мало мистеру Сен-Клеру своих негритят! — сказала Дина, весьма недружелюбно разглядывая новое приобретение хозяина.— Не позволю ей вертеться тут у меня под ногами!

— Фи! — брезгливо поморщились Роза и Джейн.— От такой надо держаться подальше. И зачем она, черномазая, понадобилась мистеру Сен-Клеру!

— Ну, вы там, потише! — прикрикнула на них Дина, принявшая последние слова на свой счет.— Сами черномазые!

Мы не будем оскорблять слух нашего читателя, описывая ему, до какого состояния можно довести ребенка, если не следить за ним. Но мисс Офелия была женщина твердая, решительная, и она собственноручно, с героическим самообладанием приступила к мало приятной процедуре омовения Топси. Особого удовольствия от этого мисс Офелия не испытала, но, когда она увидела на плечах и на спине у девочки рубцы и шрамы — неизгладимые следы той воспитательной системы, которая к ней применялась,— сердце у нее дрогнуло от жалости.

Наконец туалет был закончен. Топси одели в хорошее платье, волосы ей коротко подстригли, и мисс Офелия с удовлетворением сказала, что вот теперь этот чертенок приобрел более или менее христианский облик. А в голове у нее уже зрели планы, как приняться за воспитание девочки. Усевшись перед ней, она приступила к расспросам:

— Сколько тебе лет, Топси?

— Не знаю, мисс,— ответила чернушка, сверкнув зубами.

— Не знаешь? Разве тебе никогда этого не говорили? А кто была твоя мать?

— Матери не было,— не переставая улыбаться, ответила девочка.

— Не было? Как же это так? Где ты родилась?

— А я не родилась,— упорствовала Топси и скорчила такую гримасу, что всякая другая женщина приняла бы это странное существо за дьявольское отродье.

Но мисс Офелию, с ее крепкими нервами, здравым смыслом и деловитостью, не так-то легко было сбить с толку.

— Нельзя так отвечать, дитя мое,— строго сказала она.— Я не шучу с тобой. Ну, говори: где ты родилась, кто были твои отец и мать?

— Я нигде не родилась,— еще более решительно повторила Топси.— Матери не было, отца не было... никого не было. Жила я у работорговца, вместе с другими ребятами. А тетушка Сью за нами присматривала.

Девочка, по-видимому, говорила искренне, и Джейн, рассмеявшись, подтвердила ее слова:

— Да вы разве не знаете, мисс? Торговцы скупают их по дешевке совсем маленькими, а потом продают на рынке.

— А у последних своих хозяев ты долго жила?

— Не знаю, мисс.

— Ну все-таки: год или больше?

— Не знаю, мисс.

— Топси, а тебе рассказывали о боге?

Девочка бросила на нее недоуменный взгляд и улыбнулась.

— Ты знаешь, кто тебя сотворил?

— Меня никто не сотворил,— фыркнув, ответила Топси. Слова мисс Офелии, видимо, показались ей очень забавными, так как она добавила, озорно прищурив глаза: — Никто меня не сотворил. Я сама выросла.

Мисс Офелия решила перевести разговор на более практическую тему:

— А шить ты умеешь?

— Нет, мисс.

— А что ты умеешь? Чем ты занималась у своих хозяев?

— Воду носила, посуду мыла, ножи чистила, гостям прислуживала.

— А хозяева были добрые?

— Ничего, добрые,— сказала девочка и с хитрецой посмотрела на мисс Офелию.

Та встала, решив прекратить эту малоразумительную беседу. Сен-Клер стоял сзади, облокотившись на спинку ее кресла.

— Как видите, кузина, почва совершенно девственная. Вам есть к чему приложить силы.

Воспитательные методы мисс Офелии, как и вообще все ее воззрения на жизнь, отличались четкостью и были в полном согласии с обычаями, которые господствовали в Новой Англии еще сто лет назад, а теперь сохранились только в самых захолустных, не тронутых цивилизацией местах, где нет железных дорог. В сжатом виде они излагались так: учите детей прежде всего слушаться старших; учите их молитвам, рукоделию и грамоте. За каждую ложь — розги.

В семье так и решили, что новая негритянка поступила в полное распоряжение кузины, и, поскольку в кухне к Топси относились пренебрежительно, мисс Офелия ограничила сферу ее деятельности своей комнатой. До сих пор она сама стелила постель, сама подметала пол, отказываясь от услуг горничных, а теперь решила пожертвовать собой и обучить этой премудрости Топси.

На следующий же день мисс Офелия привела девочку в свои покои и стала посвящать ее в сложные тайны нового для нее искусства.

И вот Топси, умытая, без косичек, бывших некогда радостью ее жизни, в чистом платьице, туго накрахмаленном переднике, с торжественно-печальной физиономией, точно на похоронах, стоит перед мисс Офелией, почтительно выслушивая ее наставления.

— Итак, Топси, сейчас я научу тебя стелить постель. Я люблю, чтобы она была постлана аккуратно. Пожалуйста, запомни, как это делается.

— Хорошо, мисс,— сказала Топси с глубоким вздохом и устремила на мисс Офелию скорбный взгляд.

— Смотри, Топси. Вот это рубец простыни, вот это ее лицо, это изнанка. Запомнишь?

— Запомню, мисс.— И Топси снова испустила вздох.

— Хорошо! Простыню надо стлать поверх валика для подушки — вот так, и подтыкать ее под матрац, только ровно, чтобы нигде не было ни морщинки. Видишь, как я делаю?

— Вижу, мисс,— ответила Топси, внимательно следя за ее движениями.

— А пододеяльник будешь стелить рубцом к ногам и подоткнешь с этого конца,— продолжала мисс Офелия.— Видишь?

— Вижу, мисс,— повторила Топси.

Увы! Мисс Офелия, поглощенная своим делом, не замечала того, что происходит у нее за спиной. А между тем ученица, улучив минутку, схватила со стола пару перчаток и ленту, ловко запихала все это в рукава и опять смиренно сложила ручки.

— Ну, Топси, теперь ты сама постели,— сказала мисс Офелия и, сняв простыни с кровати, села в кресло.

Топси с серьезнейшим видом проделала все, что от нее требовалось — постелила простыню, пододеяльник, разгладила на них каждую морщинку,— и проявила при этом такую сосредоточенность и ловкость, что наставница осталась весьма довольна успехами своей ученицы. Дело уже подходило к концу, как вдруг из рукава Топси высунулся кончик ленты. Мисс Офелия тотчас же углядела его и ринулась к преступнице.

— Это что такое? Ах ты, дрянная, испорченная девчонка! Ленту украла!

Ленту извлекли из рукава, но Топси, нисколько не смутившись этим, уставилась на нее с неподдельным изумлением.

— Ох! Да ведь это ваша лента, мисс Фели! Как же она попала ко мне в рукав?

— Топси! Не смей лгать! Ты украла ее, дрянная девчонка!

— Да что вы, мисс! Я эту ленту только сию минуточку увидела!

— Топси,— сказала мисс Офелия,— ты разве не знаешь, что лгать грешно?

— Я никогда не лгу, мисс Фели! — с достоинством возразила Топси.— Я вам чистую правду говорю.

— Смотри, Топси, дождешься ты порки!

— Порите меня хоть с утра до вечера, мисс Фели, я все равно ничего другого не могу сказать! — Топси захныкала.— Слыхом не слыхала, видом не видала вашей ленты! И как только она ко мне попала? Мисс Фели, вы, наверно, забыли ее на кровати, она завалилась между простынями, а оттуда прямо ко мне в рукав.

Мисс Офелию так возмутила эта наглая ложь, что она схватила Топси за плечи и начала трясти ее что было сил.

Из другого рукава выпали перчатки.

— Ага! — крикнула мисс Офелия.— Будешь теперь отпираться!

Топси призналась, что стащила перчатки, но кражу ленты продолжала упорно отрицать.

— Слушай, дитя мое,— сказала мисс Офелия,— если ты во всем чистосердечно покаешься, я не буду тебя сечь.

Топси призналась в краже ленты и перчаток и заверила хозяйку в своем раскаянии.

— Ну хорошо! Теперь скажи: ты, наверно, еще что-нибудь украла? Ведь вчера я позволила тебе бегать по всему дому. Признавайся: да или нет? Сечь тебя я не буду.

— Ох, мисс Фели! Я стащила у мисс Евы красные камешки, которые она носит на шее.

— Вот гадкая девчонка! Еще что?

— Еще сережки у Розы — красные.

— Сию же минуту принеси все сюда!

— Ох, мисс Фели, не могу... Я их сожгла.

— Сожгла? Лжешь! Пойди принеси их, или я тебя высеку!

Топси плакала, стонала и каялась, что не может принести ни сережек, ни ожерелья.

— Я сожгла их, сожгла! — твердила она.

— Почему же ты это сделала? — спросила мисс Офелия.

— Я нехорошая, вот почему! Я просто не могу удержаться.

В эту минуту в комнате появилась ничего не подозревающая Ева. На шее у нее было коралловое ожерелье.

— Ева! Где ты его взяла? — воскликнула мисс Офелия.

— Как где? Я весь день в нем хожу,— ответила Ева.

— А вчера?

— И вчера тоже. И, что забавнее всего, тетушка: я забыла его снять вечером и так всю ночь в нем и проспала.

Мисс Офелия была совершенно сбита с толку, тем более, что тут, как нарочно, в комнату вошла Роза, неся на голове полную корзину свежевыглаженного белья и потряхивая красными коралловыми сережками.

— Просто не знаю, что мне делать с этим ребенком! — в отчаянии воскликнула мисс Офелия.— Топси, зачем же ты солгала?

— Вы же сами велели мне покаяться, мисс Фели, а мне больше не в чем было каяться,— сказала Топси, утирая кулаками глаза.

— Неужели же я добивалась от тебя признания в том, в чем ты неповинна! — воскликнула мисс Офелия.— Это такая же ложь!

— Ох, мисс! Неужто ложь? — изумилась Топси.

Ева долго смотрела на нее, потом ласково сказала:

— Топси, бедняжка! Зачем тебе воровать? У тебя теперь все будет, что нужно. Да я лучше подарю тебе любую свою вещь, лишь бы ты не воровала!

Это было первое доброе слово, которое девочка услышала за всю свою жизнь. Ласковый голос Евы тронул сердце маленькой дикарки, и в ее круглых черных глазах блеснуло что-то похожее на слезу. Но она тут же фыркнула и показала зубы в своей обычной усмешке. Да, ухо, которое привыкло к одним попрекам и брани, с трудом воспринимает ласку. Слова Евы показались Топси непонятными и смешными. Она не поверила им.

Что было делать с Топси? Мисс Офелия стала в тупик. Ее прежние навыки оказались здесь непригодными. Она решила обдумать как следует свои дальнейшие шаги и, чтобы выиграть время, заперла Топси в темный чулан, веря в благотворное влияние такового на детскую натуру.

— Просто не знаю, как мне быть,— призналась она Сен-Клеру,— но без розог с этой девочкой не справишься.

— Ну что ж, секите ее, сколько вашей душе угодно. Я даю вам полную свободу действий в этом отношении.

— Детей необходимо сечь,— продолжала мисс Офелия.— Я что-то не слышала, чтобы кого-нибудь воспитали без розог.

— Правильно,— согласился Сен-Клер.— Поступайте, как найдете нужным. Только имейте в виду вот что: эту девочку били кочергой, лопатой, каминными щипцами — всем, что попадалось под руку, и, поскольку она привыкла к такому обращению, вам придется применять к ней особенно сильные меры воздействия.

— Таких детей порождает рабство! — воскликнула мисс Офелия.

— Да, я это знаю, но они существуют, и с ними надо что-то делать.

— Хорошо, я постараюсь выполнить свой долг и не пожалею на это сил.

Мисс Офелия взялась за Топси всерьез: назначила опреде-

ленные часы для занятий с ней и прежде всего стала обучать ее чтению и шитью.

Первое далось Топси без всякого труда. Она выучила буквы мгновенно, точно по волшебству, и вскоре могла читать легкие книжки. Но с рукодельем дело обстояло хуже. Проворная, как кошка, вертлявая, как обезьянка, девочка не могла примириться с этим занятием. Она ломала иголки, швыряла их исподтишка за окно, втыкала в щели; она путала, рвала, пачкала нитки, незаметным броском закидывала катушку куда-нибудь с глаз долой. Движения у нее были быстрые, как у фокусника, физиономия совершенно невозмутимая. И, хотя мисс Офелия прекрасно понимала, что подобные несчастья не могут сыпаться одно за другим, поймать свою воспитанницу на месте преступления ей не удавалось.

Вскоре Топси стала заметной фигурой в доме. Ее талант ко всякого рода шутовству, передразниванию, кривлянью был неистощим. Она плясала, кувыркалась, пела, насвистывала, прекрасно подражала любому звуку. Все дети, в том числе и Ева, бегали за Топси по пятам, когда она была свободна от занятий, и взирали на ее проделки, открыв рот от изумления и восторга. Мисс Офелии не нравилось, что Ева проводит столько времени в обществе Топси, и она не раз просила Сен-Клера положить этому конец.

— Вздор! — говорил Сен-Клер.— Не беспокойтесь за Еву. Дружба с Топси принесет ей только пользу.

— Но Топси такая испорченная! Неужели вы не боитесь, что Ева наберется от нее дурного?

— Топси может испортить кого угодно, только не Еву. Дурное скатывается с нее, как роса с капустного листа.

— Вы так в этом уверены? Я бы не позволила своим детям играть с Топси.

— Ничего, пусть играет,— успокаивал ее Сен-Клер.— Ева давно могла бы испортиться, а ведь пока этого не заметно.

Первое время слуги рангом повыше посматривали на Топси весьма пренебрежительно. Но им пришлось переменить свое отношение к ней. Мало-помалу обнаружилось, что с теми, кто обижал ее, неминуемо приключались разные беды: то исчезнут серьги или другая любимая безделушка, то вдруг какое-нибудь платье окажется в таком виде, что его больше и надеть нельзя, то кто-нибудь нежданно-негаданно споткнется о ведро с кипятком или попадет во всем параде под струю помоев, выплеснутых откуда-то сверху. Расследования всех этих несчастных случаев оканчивались ничем — виновник не находился. Топси каждый раз вызывали на домашнее судилище, но она выдерживала допрос с непоколебимой серьезностью и разыгрывала полную

невинность. Все знали, чьих рук это дело, а прямых улик не было, и чувство справедливости не позволяло мисс Офелии наказывать Топси.

Топси проказничала так, что всегда выходила сухой из воды. Например, расплата с горничными Розой и Джейн происходила в те дни, когда они были в немилости у хозяйки, что случалось довольно часто, и не могли рассчитывать на сочувствие с ее стороны. Короче говоря, Топси сумела внушить всем в доме, что с ней лучше не связываться, и в конце концов ее оставили в покое.

Работа так и горела у девочки в руках, и всё, чему ее учили, она схватывала с поразительной быстротой. После нескольких уроков Топси так наловчилась убирать комнату мисс Офелии, что даже эта требовательная леди не находила, к чему придраться. При желании, которое, кстати сказать, появлялось у Топси не часто, она, как никто другой, могла застелить кровать покрывалом, взбить подушки, обмести пыль с мебели, прибрать комнату. Но если мисс Офелия, понаблюдав за своей воспитанницей дня три-четыре, наивно предполагала, что уборка стала наконец для Топси привычным делом, и оставляла ее без присмотра, в комнате начиналось нечто невообразимое. Вместо того чтобы стелить постель, Топси зарывалась своей курчавой головой в подушки, предварительно сняв с них наволочки, и вылезала вся в пуху и в перьях, взбиралась на столбики кровати и свешивалась оттуда вниз головой, размахивала простынями, наряжала валик в ночную сорочку мисс Офелии и разыгрывала с ним всевозможные представления, строя себе в зеркале рожи, напевая и посвистывая.

Однажды мисс Офелия оставила комод незапертым (забывчивость, совершенно ей несвойственная!) и, вернувшись, застигла Топси в ту минуту, когда та кривлялась перед зеркалом, накрутив на голову ее красную индийскую шаль.

— Топси! — воскликнула мисс Офелия, доведенная до отчаяния проказами девочки.— Почему ты так безобразно себя ведешь?

— Не знаю, мисс. Должно быть, потому, что я гадкая девчонка.

— Что же мне с тобой делать, Топси?

— Да высечь, конечно! Прежняя хозяйка постоянно меня секла. Я только после порки и могу работать.

— Но, Топси, мне вовсе не хочется тебя сечь. Ты и без этого можешь прекрасно все делать. Ну скажи, почему ты отлынываешь от работы?

— Ох, мисс, да я привыкла к порке! Мне она только на пользу.

Мисс Офелия пробовала и это средство... себе на горе. Топси

кричала, стонала, умоляла о пощаде, а через полчаса, усевшись на балконные перила и окружив себя толпой восхищенно взиравшей на нее мелюзги, говорила презрительным тоном:

— Разве это порка? Да мисс Фели и комара не убьет! Вот мой старый хозяин порол так порол! Кожу клочьями с меня сдирал!

По воскресеньям мисс Офелия учила Топси катехизису*. Память у девочки была прекрасная, она с легкостью повторяла за своей учительницей целые фразы, приводя ее этим в восторг.

— Неужели ей нужно заучивать наизусть катехизис? — спросил однажды Сен-Клер.— Зачем?

— Кроме пользы, это ничего не принесет. Детям полагается учить катехизис,— ответила мисс Офелия.

— Даже если они не понимают в нем ни слова?

— Вначале не понимают, зато, когда вырастут, вникнут во все как следует.

— А я так до сих пор не вник,— признался Сен-Клер,— хотя в свое время вы потратили немало труда, чтобы вбить мне в голову эту премудрость.

Воспитание Топси продолжалось около двух лет. Мисс Офелия не знала с ней ни минуты покой и под конец даже привыкла к этим мученьям, как привыкают к невралгии или мигреням.

Что касается Сен-Клера, то он забавлялся Топси, точно это был попугай или собачка. Впав в немилость за свои проделки, она пряталась за его стулом, и он всякий раз выручал ее из беды. На деньги, которые время от времени перепадали Топси от хозяина, она покупала орехов и леденцов и щедрой рукой одаривала ими всех негритят в доме, ибо в чем другом, а в скаредности упрекать эту девочку не приходилось. Сердце у нее было доброе, а озорство служило ей только средством самозащиты.

Глава XXI

В КЕНТУККИ

Читатели, вероятно, не откажутся заглянуть вместе с нами в хижину дяди Тома в кентуккийском поместье и узнать, как живут те, с кем он так давно расстался.

Летний день клонился к вечеру, двери и окна гостиной были распахнуты навстречу залетному ветерку. Мистер Шелби сидел рядом с гостиной, в большом зале, который тянулся через весь дом и выходил обоими концами на веранды. Откинувшись на спинку одного кресла и положив ноги на другое, он наслаждался послеобеденной сигарой. Миссис Шелби сидела у раскрытых

дверей с вышиваньем в руках. Она сосредоточенно думала о чем-то и, видимо, выбирала минуту, чтобы поделиться своими мыслями с мужем.

— Вы знаете, Хлоя получила письмо от Тома,— заговорила наконец миссис Шелби.

— Вот как! Значит, у него завелись там друзья. Ну, как ему живется?

— Судя по всему, он попал в очень хороший дом. К нему там прекрасно относятся, работа нетрудная.

— Вот и хорошо, я очень рад за него... искренне рад,— сказал мистер Шелби.— Наш Том так приживется на Юге, что, пожалуй, не захочет возвращаться сюда.

— Напротив, он очень беспокоится, спрашивает, когда его выкупят.

— Вот это я затрудняюсь сказать. Стоит только наделать долгов, и из них, кажется, никогда не выпутаешься. У меня такое ощущение, будто я увязаю в трясине. Сегодня занимаешь у одного, чтобы расплатиться с другим, завтра — у третьего, чтобы расплатиться с первым. Не успеешь передохнуть, выкурить сигару — подходят сроки разных векселей, заемных писем и тому подобной дряни, которая сыплется на тебя со всех сторон.

— Мне кажется, друг мой, что поправить наши дела можно. Давайте продадим всех лошадей, продадим какую-нибудь ферму и расплатимся с долгами.

— Перестаньте говорить вздор, Эмили! Вы прекраснейшая жена, другой такой не найдется во всем Кентукки, но в делах вы ничего не смыслите, как, впрочем, и все женщины.

— Может быть,— сказала миссис Шелби.— Но почему бы вам не поделиться со мной своими заботами? Дайте мне хотя бы список ваших кредиторов и должников, и я сделаю все, чтобы свести концы с концами.

— Довольно, Эмили! Перестаньте меня мучить! Я и самому себе не могу дать точный отчет о своих затруднениях, а вы так о них говорите, будто это пироги тетушки Хлои, которые она подравнивает и защипывает со всех сторон. Нет, это все не вашего ума дело!

Мистер Шелби даже повысил голос, не найдя лучшего способа убедить жену в своей правоте.

Она замолчала, подавив вздох. Откровенно говоря, характер у нее был гораздо тверже, чем у мужа, и мистер Шелби напрасно не доверял ее женскому уму, так как она обладала большой практической сметкой и прекрасно разобралась бы в его делах.

Миссис Шелби всей душой хотела выполнить обещание, данное Тому и тетушке Хлое, и эта новая задержка очень ее огорчила.

— Неужели мы не сможем скопить нужную сумму? Бедная тетушка Хлоя! Она так надеется на это!

— Очень жаль! Я поторопился — не надо было давать им никаких обещаний. А теперь, по-моему, разумнее всего было бы сказать об этом Хлое. Пусть привыкает к мысли, что Том не вернется. Через год-два он найдет себе другую жену, и Хлое тоже следовало бы подумать о другом муже.

— Мистер Шелби! Я учила наших негров, что их брак священ так же, как и наш, и теперь не осмелюсь дать Хлое подобный совет! Вы только подумайте, друг мой, разве можно забывать обещания, которые мы даем этим беззащитным существам? Если другим путем денег добыть нельзя, я буду давать уроки музыки. Моих заработков хватит на выкуп.

— И вы пойдете на такое унижение, Эмили? Я не допущу этого!

— Унижение? Для меня гораздо унизительнее, если люди перестанут верить моему слову.

— Я знаю вашу склонность к геройству и несбыточным мечтаниям,— сказал мистер Шелби,— но, прежде чем идти на такое донкихотство, надо как следует подумать, Эмили...

Их разговор прервала тетушка Хлоя, появившаяся на веранде.

— Будьте так любезны, миссис...— сказала она.

— Ты что, Хлоя? — спросила хозяйка, поднимаясь с кресла.

— Не угодно ли миссис взглянуть на птицу?

Миссис Шелби вышла на веранду и с улыбкой посмотрела на Хлою, которая сосредоточенно разглядывала битых цыплят и уток, разложенных в ряд на земле.

— Я думаю, не приготовить ли нам паштет из цыплят?

— Мне, право, все равно, тетушка Хлоя. Делай как знаешь.

Хлоя не двигалась с места, рассеянно поворачивая на ладони цыпленка. Ее мысли были, очевидно, заняты чем-то другим. Наконец она собралась с духом, коротко рассмеялась и заговорила:

— Господи, миссис! И зачем только вам с хозяином думу думать, где достать деньги, когда они у вас в руках! — И Хлоя снова рассмеялась коротким смешком.

— О чем ты? Я не понимаю,— сказала миссис Шелби, не сомневаясь, что Хлоя слышала ее разговор с мужем от первого до последнего слова.

— Да вы сами посудите, миссис! — посмеиваясь, ответила та.— Другие господа посылают своих негров на заработки и получают за это немалые деньги. Кому охота держать такую ораву дома, ведь ее прокормить чего стоит!

— Что же ты предлагаешь, Хлоя?

— Я, миссис, ничего не предлагаю. А вот Сэм говорит, будто в Луисвилле есть один... как их там называют... бандитер, что ли, и будто ему нужна хорошая пирожница. Жалованье обещает положить четыре доллара в неделю.

— Ну и что же?

— Вот я и думаю: пора бы вам, миссис, приставить Салли к настоящему делу. Я ведь который год с ней вожусь, кое-чему научила. Если миссис отпустит меня на заработки, вот вам и лишние деньги будут. Я со своими печеньями и пирожками ни перед кем не осрамлюсь, любой бандитер останется доволен.

— Кондитер, Хлоя.

— Ну, кондитер! Никак я это слово не запомню.

— А что же с детьми будет — бросишь их?

— Господи, миссис! Да мальчишки-то уж подросли, работать будут, они шустрые. А девочка у меня зря никогда не капризничает, с ней возни немного. Ее Салли к себе возьмет.

— Луисвилл далеко отсюда.

— Да разве меня этим запугаешь? Ведь он вниз по реке? Может, и мой старик где-нибудь в тех местах? — И, сказав это, Хлоя вопросительно посмотрела на миссис Шелби.

— Нет, Хлоя, он еще дальше, на несколько сот миль.

Лицо у Хлои вытянулось.

— Ну ничего. Все-таки ты будешь ближе к нему. Хорошо, я тебя отпущу, а твои заработки все, до последнего цента, пойдут на выкуп Тома.

Как туча расцвечивается серебром, когда ее коснется солнечный луч, так осветилось сейчас темное лицо тетушки Хлои. Она буквально просияла, услышав эти слова.

— Господи, миссис! Какая же вы добрая! Я сама об этом думала. Ведь мне ничего не надо — ни одежды, ни обуви. Я все до цента сберегу. А сколько в году недель, миссис?

— Пятьдесят две,— сказала миссис Шелби.

— Подумать только! И за каждую неделю по четыре доллара! Сколько же это всего будет?

— Двести восемь долларов.

— У-ух ты! — удивленно и радостно протянула Хлоя.— А долго ли мне работать, пока я скоплю все деньги?

— Года четыре, а может быть, и пять. Но тебе не придется отрабатывать всю эту сумму, я и своих денег туда добавлю.

— Чтобы миссис давала уроки? Да кто же это потерпит! Хозяин правильно говорит — не к лицу вам такое занятие.

— Ничего, Хлоя, не беспокойся. Я не уроню чести нашей семьи,— с улыбкой сказала миссис Шелби.— Когда же ты думаешь уезжать?

— Да я еще ничего не думаю. Правда, Сэм ведет в Луис-

вилл стригунков на продажу, обещал и меня с собой прихватить. Я кое-какие вещи собрала... Если миссис будет угодно, я завтра утром и уеду с Сэмом. Мне только пропуск надо и рекомендацию.

— Хорошо, Хлоя, если мистер Шелби не будет возражать, я все сделаю. Но сначала надо с ним поговорить.

Миссис Шелби поднялась наверх, а Хлоя, радостная, помчалась к себе в хижину готовиться к отъезду.

— Мистер Джордж, а вы ничего не знаете! Я завтра уезжаю в Луисвилл! — объявила она Джорджу Шелби, когда тот застал ее за разборкой детской одежды.— Надо все пересмотреть, привести в порядок. Да, мистер Джордж, уезжаю... буду получать четыре доллара в неделю, а миссис будет копить эти деньги на выкуп моего старика.

— Фью! Вот здорово! — воскликнул Джордж.— Когда же ты едешь?

— Завтра утром, вместе с Сэмом. А вы, мистер Джордж, сели бы да прописали моему старику про наши дела.

— Сейчас напишем,— сказал Джордж.— Вот дядя Том обрадуется, когда получит от нас весточку! Я только сбегаю домой за бумагой и чернилами. Тетушка Хлоя, а про стригунков тоже надо написать, правда?

— Обязательно, мистер Джордж. Ну, бегите, а я приготовлю чего-нибудь закусить. Теперь не скоро вам придется ужинать у вашей бедной старенькой Хлои!

Глава XXII

«ЗАСЫХАЕТ ТРАВА, УВЯДАЕТ ЦВЕТОК»

Незаметно, день за днем, прошли два года. Наш друг Том жил в разлуке с близкими и тосковал по дому, но уныние никогда не овладевало им. Он умел в любой обстановке находить что-нибудь хорошее, а чтение Библии поддерживало в нем спокойное и бодрое состояние духа.

На свое письмо, о котором мы уже упоминали, он вскоре получил ответ, написанный почерком Джорджа, таким крупным и четким, что, по словам Тома, его можно было прочитать «с другого конца комнаты». В письме сообщались весьма важные домашние новости, уже известные нашему читателю. Там было сказано, что тетушка Хлоя пошла в услужение к одному кондитеру в Луисвилле и, будучи большой искусницей по части разных пирожков и тортов, зарабатывает немалые деньги, и деньги эти все, до последнего цента, откладываются на выкуп Тома. Моз и

Пит процветают, а малютка бегает по всем комнатам и находится под присмотром Салли и самих хозяев.

Без тетушки Хлои хижина будет стоять закрытая, но Джордж не пожалел слов, описывая, как ее отделают и разукрасят, когда Том вернется домой.

В конце письма перечислялись все предметы, которые Джордж проходил в школе, и название каждого из них начиналось с заглавной буквы, снабженной множеством завитушек. Дальше приводились клички четырех жеребят, появившихся на конюшне в отсутствие Тома, а заодно сообщалось, что папа и мама здоровы.

Письмо было написано слогом сухим и сжатым, но Тому оно показалось верхом совершенства. Он не уставал любоваться им и даже советовался с Евой, не повесить ли его в рамке на стену. Привести этот план в исполнение помешало только то, что одной стороны листка тогда не было бы видно.

Дружба между Томом и Евой росла с каждым днем. На рынке он выбирал для нее самые красивые букеты, покупал ей то спелый персик, то апельсин. И сердце его наполнялось радостью, когда, возвращаясь домой, он издали видел ее золотистую головку и слышал детский голосок:

— Ну, дядя Том, покажи, что ты мне принес сегодня!

К тому времени, о котором сейчас идет речь, Сен-Клеры перебрались всем домом на свою виллу на озере Поншартрен. Летний зной заставил всех, кто только мог, бежать из душного города к этим берегам, куда долетал освежающий ветер с моря.

Вилла Сен-Клера, окруженная со всех сторон верандой, выходила окнами на лужайку и в огромный сад, благоухающий тропическими цветами и растениями. Его извилистые дорожки сбегали к самому озеру, широкая гладь которого искрилась серебром в лучах солнца, непрестанно меняясь и становясь час от часу ярче и прекраснее.

День клонился к вечеру. Огненный закат зажег весь горизонт и отражался в воде, неотличимой от неба. По озеру, подернутому золотисто-розовыми бликами, легко, словно призраки, скользили белые паруса лодок, а первые звездочки мерцали высоко в небе, глядя на свое трепетное отражение внизу.

Том и Ева сидели на дерновой скамье в увитой зеленью беседке, у самой воды.

— Знаешь, дядя Том,— сказала девочка,— я скоро уйду туда.

— Куда, мисс Ева?

Она встала и подняла руку, показывая на небо.

Сердце Тома сжалось, и он вспомнил, как часто ему приходилось замечать за последние полгода, что Ева уже не может

по-прежнему часами играть и бегать по саду, что ручки у нее становятся все тоньше и тоньше, личико прозрачнее, дыхание короче. Вспомнились ему и жалобы мисс Офелии, что никакие лекарства не помогают Еве от кашля. Да и сейчас щеки у девочки горели... Однако мысль, на которую наводили слова этой доброй женщины, до сих пор ни разу не приходила ему в голову.

И как раз в эту минуту вдали послышался встревоженный голос мисс Офелии:

— Ева! Ева! Такая роса, а ты все еще в саду!

Они вышли из беседки и поспешили домой.

Мисс Офелия вы́ходила не одного больного на своем веку. С детства живя в Новой Англии, она умела распознавать первые признаки того коварного, незаметно подкрадывающегося недуга, который губит столько прекрасных жизней и задолго до конца кладет на них печать смерти. И мисс Офелия не могла не заметить у Евы легкого сухого кашля и болезненного румянца, не могла обмануться блеском ее глаз и лихорадочной возбужденностью.

Она пробовала высказывать свои опасения Сен-Клеру, но он всякий раз с несвойственной ему раздражительностью отметал их в сторону:

— Будет вам каркать, кузина! Терпеть этого не могу! Неужели вы не понимаете, что ребенок растет? Быстрый рост всегда ослабляет детей.

— А этот кашель?

— Пустяки! Есть о чем говорить! Она, вероятно, простудилась, только и всего.

— Да, но у Элизы Джейн, у Эллен и у Мари Сендерс это начиналось точно так же.

— Перестаньте рассказывать мне всякие ужасы! Вы, так называемые опытные сиделки, всегда готовы перемудрить. Стоит ребенку чихнуть или кашлянуть, и вам уже кажется, что все кончено. Следите за Евой, не выпускайте ее по вечерам из комнат, не давайте ей утомляться, и она скоро поправится.

Сен-Клер только говорил так, а на самом деле его тревога за дочь день ото дня становилась все сильнее. Он с волнением наблюдал за Евой и то и дело твердил, что ребенок совершенно здоров, что это желудочный кашель, который часто бывает у детей, а сам почти не отпускал ее от себя, все чаще и чаще брал с собой на верховые прогулки и чуть не каждый день приносил домой рецепты разных укрепляющих снадобий — «не потому, что девочке они нужны, а просто так... вреда от этого не будет».

А Ева всеми своими помыслами стремилась лишь к тому, чтобы делать добро, чтобы согревать лаской тех, кто в этом нуждался. Сердце у нее всегда было доброе, но теперь все в доме

стали замечать в ней необычайно трогательную чуткость к окружающим. Она по-прежнему проводила много времени с Топси и другими негритятами, но была не столько участницей их игр, сколько зрительницей, по-прежнему смеялась над забавными проделками Топси и вдруг умолкала, и по лицу ее пробегала тень, глаза затуманивались, а мысли улетали куда-то далеко-далеко.

— Мама,— обратилась она как-то к Мари Сен-Клер,— почему мы не учим наших негров читать?

— Что за нелепый вопрос, Ева! Этого никто не делает.

— А почему?

— Потому что грамота им совершенно не нужна. Работать лучше они все равно не станут, а ни на что другое негры не годны.

— Мисс Офелия научила Топси грамоте,— стояла на своем Ева.

— Да, но ты видишь, к чему это привело? Более отвратительной девчонки я в жизни не видела!

— А бедная няня! — продолжала Ева.— Ей так хочется научиться грамоте. Что она будет делать, когда я не смогу читать ей?

Мари ответила, не прерывая своего занятия (она разбирала вещи в комоде):

— Со временем, Ева, у тебя будут другие дела и обязанности. В том, что ты читаешь вслух неграм, ничего плохого нет. Я сама это делала, когда была здорова. Но как только ты начнешь выезжать и думать о нарядах, у тебя не останется ни одной свободной минуты. Вот смотри: эти бриллианты я подарю тебе к твоему шестнадцатилетию. Я тоже надевала их на свой первый бал. Ах, Ева, если б ты знала, какой я тогда имела успех!

Ева взяла футляр, вынула оттуда бриллиантовое колье и устремила на него задумчивый взгляд своих больших глаз. Мысли ее витали где-то далеко.

— Какая ты вдруг стала серьезная! — воскликнула Мари.

— Мама, а эти бриллианты дорого стоят?

— Ну еще бы! Папа выписал их мне из Франции. Это целое состояние.

— Как бы мне хотелось, чтобы они были мои,— сказала Ева,— и чтобы я могла сделать с ними все, что захочу!

— А что бы ты с ними сделала?

— Продала бы, купила бы на эти деньги имение в свободных штатах, переселила бы туда всех наших негров, наняла бы учителей, чтобы они учили их читать и писать...

Мари рассмеялась, не дав ей договорить:

— Да это настоящий пансион для негров! А игре на фортепьяно и рисованию по бархату ты бы тоже их обучала?

— Они бы у меня научились сами писать и читать письма,— твердо сказала Ева.— Я ведь знаю, мама, как им тяжело. Том страдает оттого, что он неграмотный, и няня, и многие другие. По-моему, это очень нехорошо, что их не учат.

— Ах, перестань, Ева! Ты еще совсем ребенок, где тебе разбираться в таких вопросах! — сказала Мари.— И кроме того, от твоей болтовни у меня разболелась голова.

Мари всегда ссылалась на головную боль, если хотела прекратить разговор, который был ей не по вкусу.

Ева тихонько вышла из комнаты. Но с того самого дня она начала прилежно обучать няню грамоте.

Глава XXIII

ЭНРИК

Однажды, вскоре после этого разговора Евы с матерью, к Сен-Клеру приехал погостить его брат Альфред со своим старшим сыном. Двенадцатилетний Энрик был стройный темноглазый мальчик, властный не по годам, но очень живой и веселый. Свою кузину он увидел впервые и сразу же пленился ее ангельской кротостью и добротой.

У Евы был белый пони, очень спокойный на ходу и такой же смирный, как его маленькая хозяйка.

На следующий день после приезда гостей к веранде подали двух оседланных лошадок. Дядя Том вел пони, а красивый мальчик-мулат лет тринадцати — вороного арабского коня, которого только что купили Энрику.

Энрик, по-мальчишески гордый новым конем, внимательно осмотрел его, приняв поводья из рук своего маленького грума, и вдруг нахмурился:

— Додо! Это что такое? Ты, лентяй, не почистил его?

— Почистил, хозяин,— робко ответил Додо,— а он опять запылился.

— Молчать, негодяй! — крикнул Энрик, взмахнув хлыстом.— Смеешь еще разговаривать!

— Мистер Энрик...— начал было мулат.

Энрик наотмашь стегнул его по лицу, схватил за руку, бросил перед собой на колени и принялся бить, не жалея сил.

— Вот, получай! Я тебе покажу, как мне перечить! Отведи лошадь в стойло и вычисти ее как следует. Знай свое место, собака!

— Сударь,— сказал Том,— Додо хотел вам объяснить, что лошадь вывалялась в пыли, когда ее вывели из конюшни. Она горячая, вот и разыгралась. А что он чистил ее, это правда, я сам за ним присматривал.

— Молчи, тебя не спрашивают! — крикнул мальчик и, повернувшись на каблуках, взбежал на веранду, где стояла Ева в синей амазонке.— Кузина, прости! Из-за этого болвана тебе придется ждать. Давай посидим здесь, они сейчас вернутся... Но что с тобой? Почему ты такая грустная?

— Зачем ты обидел Додо? Как это нехорошо... жестоко! — сказала Ева.

— Жестоко? — с непритворным удивлением повторил мальчик.— Я тебя не понимаю, милая Ева.

— Я не позволю тебе называть меня милой Евой, если ты будешь так поступать.

— Кузина, ты не знаешь Додо! С ним иначе нельзя. Он лгун, притворщик. Его надо сразу же осадить, чтобы он пикнуть не посмел. Папа всегда так делает.

— Ведь дядя Том сказал, как это все случилось, а он никогда не лжет.

— Ну, значит, этот негр какой-то особенный! У моего Додо что ни слово, то ложь.

— Это потому, что ты его запугал.

— Ева, да что ты так беспокоишься о Додо? Смотри, я начну ревновать тебя к нему!

— Он ни в чем не виноват, а ты побил его.

— Ну, пусть ему это зачтется за какую-нибудь следующую провинность. Лишний удар хлыстом Додо не повредит — он своевольный мальчишка. Но, если ты принимаешь это так близко к сердцу, я не буду больше бить его при тебе.

Такое обещание не удовлетворило Еву, но все ее попытки убедить кузена в своей правоте были тщетны.

Вскоре появился Додо с лошадьми.

— Ну вот, Додо, теперь я вижу, ты постарался,— более милостивым тоном сказал его юный хозяин.— Подержи пони, а я помогу мисс Еве сесть.

Додо подошел и стал рядом с лошадкой. Лицо у него было грустное, глаза заплаканные.

Энрик, щеголявший своей галантностью, усадил кузину в седло и подал ей поводья.

А Ева нагнулась к Додо и сказала:

— Спасибо, Додо, ты хороший мальчик.

Мулат изумленно взглянул на Еву. Щеки его залились румянцем, на глаза навернулись слезы.

— Додо! — повелительно крикнул его хозяин.

Мальчик кинулся к его лошади.

— Вот тебе деньги на леденцы,— сказал Энрик, сев в седло, и поскакал за Евой.

Мальчик долго смотрел вслед удалявшимся всадникам. Один из них одарил его деньгами, другая — тем, что было ему во сто крат дороже: добрым, ласковым словом. Додо разлучили с матерью всего несколько месяцев назад. Альфред Сен-Клер купил его на невольничьем рынке, решив, что красивый мулат будет под стать прекрасной арабской лошадке. И теперь Додо проходил выучку у своего молодого хозяина.

Братья Сен-Клер видели из глубины сада всю эту сцену.

Огюстен вспыхнул, но ограничился лишь насмешливо-небрежным вопросом:

— Вот это и называется у нас республиканским воспитанием, Альфред?

— Энрик вспыльчив, как порох,— невозмутимо ответил тот.

— И ты считаешь, что такие вспышки ему на пользу? — сухо спросил Огюстен.

— А что с ним поделаешь? Он настоящий бесенок. Мы дома давно махнули на него рукой. Но Додо тоже хорош! Порка ему никогда не повредит.

— И вот так-то твой Энрик усваивает первый республиканский завет: «Все люди рождаются равными и свободными»!*

— А! Это все французский сентиментальный вздор в духе Тома Джефферсона*,— сказал Альфред.— В наше время просто нелепо вспоминать его болтовню.

— Да, пожалуй, ты прав,— многозначительно проговорил Огюстен.

— Мы прекрасно знаем,— продолжал его брат,— что не все люди рождаются свободными и равными. На мой взгляд, эти республиканские разглагольствования — чистейший вздор. Равными правами могут пользоваться люди образованные, богатые, люди тонкого ума и воспитания, а не жалкая чернь.

— Если бы ты мог внушить черни эти мысли! — воскликнул Огюстен.— А ведь во Франции она однажды показала себя во всей силе*.

— Чернь надо держать в повиновении, не ослабляя узды ни на минуту! — сказал Альфред и топнул ногой в подтверждение своих слов.

— Зато когда она поднимает голову, тогда берегись! Вспомни хотя бы, что творилось в Сан-Доминго*.

— Ничего! В нашей стране мы как-нибудь обойдемся без этого. Надо только раз и навсегда положить конец теперешним разговорам о том, что негров следует развивать, неграм следует

давать образование и прочее тому подобное. Низшему классу образование ни к чему.

— Ты поздно спохватился,— сказал Огюстен.— Образование они получат, весь вопрос только в том — какое. Наша социальная система ничего, кроме варварства и жестокости, преподать им не может. Мы повинны в том, что негры теряют человеческий облик и превращаются в животных. И если они когда-нибудь поднимут голову, нам несдобровать!

— Никогда этого не будет! — воскликнул Альфред.

— Ну что ж,— сказал Сен-Клер,— разведи пары́ в котле, завинти крышку потуже и сядь на нее. Посмотрим, что с тобой будет.

— Посмотрим! — ответил Альфред.— Если машина работает без перебоев и котел в исправности, сидеть на крышке не страшно.

— Точно так же рассуждало французское дворянство времен Людовика Шестнадцатого*, а в наши дни так рассуждают Австрия* и Пий Девятый*. Но в одно прекрасное утро котлы взорвутся, и вы все взлетите на воздух.

— Будущее покажет, кто из нас прав,— со смехом сказал Альфред.

— Помяни мое слово: массы восстанут, и низшие классы возьмут над нами верх.

— Перестань твердить эту красную республиканскую чепуху, Огюстен! Ты, я вижу, хочешь стать уличным оратором. Впрочем, у тебя все данные для этого. Но что касается меня, то я надеюсь умереть прежде, чем твоя грязная чернь будет нашей владычицей.

— Грязная или не грязная, а ее день когда-нибудь настанет, и она будет диктовать вам свою волю,— сказал Огюстен.— А какой из нее получится властелин, это зависит только от вас. Французское дворянство навлекло на свою голову санкюлотов*, народ на Гаити...

— Брось, Огюстен! Хватит с нас разговоров об этом проклятом Гаити! Если б там были англосаксы, все повернулось бы по-другому. Англосаксонская раса — вот кто истинный властелин мира, и так будет всегда! Власть в наших руках, а эта низшая раса останется у нас в подчинении! — Альфред снова топнул ногой.— Не бойся! Мы держим свой порох под надежной охраной.

— Что и говорить! Ваши сыновья, воспитанные подобно Энрику, будут хорошей охраной у порохового погреба — в них столько хладнокровия, выдержки! Вспомни пословицу: «Если не властвуешь над собой, не берись властвовать над другими».

— Да, это серьезный вопрос,— в раздумье проговорил

Альфред.— Воспитывать детей при нашей системе нелегко. Она дает слишком большой простор страстям, которые в нашем климате и без того горячи. Энрик доставляет мне много беспокойства. Он мальчик великодушный, добрый, но стоит ему вспылить, и с ним буквально нет сладу. Я думаю послать его учиться на Север, где еще не забыли, что такое послушание. Кроме того, там он будет среди равных, а не среди подчиненных.

— Вот видишь! Значит, в нашей системе есть серьезный изъян, если она мешает нам выполнять важнейшую обязанность человечества — воспитание детей.

— Мы с тобой заводили этот разговор сотни раз, Огюстен, и ни к чему не пришли. Даваи лучше сыграем партию в шахматы.

Братья поднялись на веранду и сели за легкий бамбуковый столик. Расставляя фигуры на доске, Альфред сказал:

— Если бы я придерживался твоего образа мыслей, Огюстен, я не стал бы сидеть сложа руки.

— Не сомневаюсь! Ты ведь человек действия. Но что бы ты предпринял на моем месте?

— Ну, скажем, занялся бы развитием своих рабов,— с презрительной усмешкой ответил Альфред.

— С таким же успехом ты мог бы навалить на них Этну и потом приказать им распрямить спину под этой тяжестью! Один человек не может пойти наперекор обществу. Образование негров должно взять в свои руки государство, а если нет — так пусть, по крайней мере, не противодействует этому.

— Твой ход,— сказал Альфред.

Братья погрузились в игру и отвлеклись от нее лишь тогда, когда в саду послышался стук лошадиных копыт.

— Вот и дети,— сказал Огюстен, вставая из-за стола.— Посмотри, Альф! Ну что может быть прекраснее этого?!

И действительно, картина, открывшаяся их глазам, была прекрасна. Энрик, кудрявый, разрумянившийся, весело смеялся, наклоняясь с седла к своей очаровательной кузине. Щеки девочки разгорелись от быстрой езды, и румянец еще больше подчеркивал золото ее волос, выбившихся из-под синей шапочки.

— Какая она у тебя красавица, Огюстен! — воскликнул Альфред.— Придет время, и сколько сердец будет страдать из-за нее!

— Боюсь, что ты прав! — с неожиданной горечью сказал Сен-Клер и, сбежав вниз по ступенькам, снял дочь с седла.— Ева, радость моя! Ты устала? — Он прижал ее к груди.

— Нет, папа,— ответила девочка.

Но отец не мог не заметить ее прерывистого дыхания.

— Зачем же ты так быстро скакала? Ведь тебе это вредно!

— Я обо всем забыла, папа, мне было так хорошо!

Сен-Клер отнес ее в гостиную и уложил на диван.

— Энрик, ты должен беречь Еву,— сказал он.— Помни, ей нельзя быстро ездить.

— Я всегда буду ее беречь,— сказал мальчик, садясь на диван и беря кузину за руку.

Вскоре Ева стала дышать ровнее. Ее отец и дядя снова занялись шахматами, предоставив детей самим себе.

— Как мне грустно, Ева, что папа не может остаться здесь подольше! Когда я теперь тебя увижу? Если бы мы жили вместе, я бы постарался исправиться, стал бы лучше обращаться с Додо. У меня нет против него зла, просто я очень вспыльчивый. Да он и не может пожаловаться на дурное обращение. Я постоянно даю ему денег, одет он прекрасно. И вообще моему Додо живется неплохо.

— А тебе хорошо бы жилось, если б рядом с тобой не было ни одной любящей души?

— Конечно, нет!

— А ведь ты разлучил Додо с родными, с друзьями, и теперь у него нет ни одного близкого человека.

— Ну, как же быть? Ведь мать к нему не привезешь, а полюбить его сам я не могу.

— Почему? — спросила Ева.

— Полюбить Додо? Да что ты, Ева! Он мне может нравиться или не нравиться, но кто же любит своих слуг?

— Я люблю.

— Вот странно!

— Ведь в Библии сказано, что нужно любить всех.

— Ну, в Библии. Там много чего сказано, но кому же придет в голову это выполнять?

Ева ничего не ответила и устремила задумчивый взгляд куда-то вдаль.

— И все-таки, Энрик,— сказала она после долгого молчания,— постарайся полюбить Додо, не обижай его... хотя бы ради меня.

— Ради тебя, дорогая кузина, я готов полюбить кого угодно, потому что ты лучше всех на свете! — с жаром воскликнул Энрик.

— Вот и хорошо! — сказала Ева.— Только смотри не забудь своего обещания.

Звонок к обеду прервал их разговор.

Глава XXIV

ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ

Через два дня Альфред с сыном уехали, и с этого времени Ева, для которой игры и прогулки в обществе кузена были непосильны, начала быстро слабеть. До сих пор Сен-Клер избегал советоваться с врачами, боясь услышать от них страшную истину, но последние дни Ева чувствовала себя так плохо, что не выходила из комнаты, и он наконец решился вызвать к ней доктора.

Мари Сен-Клер, поглощенная изучением своих новых воображаемых недугов, не замечала состояния дочери. Она твердо верила, что ее муки не сравнимы ни с чем, и возмущалась, когда кто-нибудь из домашних осмеливался пожаловаться на недомогание. Это все от лени, от распущенности, утверждала Мари. Побыли бы на ее месте, тогда узнали бы, что такое настоящие страдания!

Мисс Офелия не раз пыталась пробудить в ней материнскую тревогу, но безуспешно.

— Девочка совершенно здорова,— возражала Мари.— Она резвится, играет как ни в чем не бывало.

— Но у нее не проходит кашель.

— Кашель? Ах, что вы мне рассказываете! Я всю жизнь кашляю. Когда я была в возрасте Евы, у меня подозревали чахотку. Няня проводила все ночи у моей постели. А вы говорите, у Евы кашель. Пустяки!

— Она слабеет с каждым днем, у нее одышка.

— Бог мой! Я живу с одышкой годы! Это нервы, и больше ничего.

— А испарина по ночам?

— У меня тоже испарина, вот уже лет десять. Ночные сорочки хоть выжимай! Простыни приходится развешивать для просушки. Разве Ева потеет так, как я?

Мисс Офелия решила на время замолчать.

Но теперь, когда болезнь Евы была несомненна и в доме появился доктор, Мари вдруг круто изменила свою тактику.

Так она и знала, так она и предчувствовала, что ей суждено стать самой несчастной матерью на свете. Единственная, горячо любимая дочь сходит в могилу у нее на глазах, а она сама еле жива! И Мари заставляла няню проводить около себя все ночи напролет, а днем капризничала больше, чем когда-либо, словно черпая силы в своем новом несчастье.

— Мари, дорогая, перестаньте! — успокаивал ее Сен-Клер.— Не надо отчаиваться.

— Где вам понять материнское сердце, Огюстен! Вы и раньше мне не сочувствовали, а теперь и подавно.

— Но зачем приходить в отчаяние, как будто надежды уже нет!

— Я не могу относиться к этому с таким безразличием, как вы, Сен-Клер. Если вас не беспокоит здоровье единственной дочери, то обо мне этого никак нельзя сказать. После всего, что я вынесла, еще один удар! Да я этого не переживу!

— Ева всегда была хрупкого здоровья,— говорил Сен-Клер.— Кроме того, быстрый рост истощает детей. Ее теперешнее состояние я приписываю летней жаре и приезду Энрика, с которым она столько играла и бегала. Доктор уверяет, что надежда на выздоровление есть.

— Ну что ж, если вы предпочитаете видеть все в розовом свете, воля ваша. Есть же такие счастливцы, которым бог дал черствое сердце! А моя чувствительность несет мне одни страдания. Как бы я хотела обладать вашим спокойствием!

И все домочадцы желали ей того же, ибо Мари использовала свое новое несчастье как предлог, чтобы изводить окружающих. Все, что говорилось, все, что делалось или не делалось в доме, служило ей лишним доказательством того, что она окружена черствыми, бессердечными людьми, равнодушными к материнскому горю. Ева не раз слышала ее причитания и выплакала все глаза, жалея бедную маму и чувствуя себя виновницей ее страданий.

Прошло недели две, и в здоровье девочки наступило заметное улучшение — одно из тех обманчивых затиший, которыми эта безжалостная болезнь так часто усыпляет любящие сердца, сжимающиеся болью за близкого человека. Шаги Евы снова послышались в саду и на веранде. Она снова смеялась, играла. И отец, вне себя от радости, говорил, что скоро девочка будет совсем здорова. Только мисс Офелия и доктор знали истинную цену этой короткой отсрочке.

И еще одно сердце не хотело обманывать себя — сердце маленькой Евы. Его переполняла щемящая нежность ко всем, кого она должна была покинуть. И больше всего к отцу, так как девочка, не отдавая себе в том ясного отчета, чувствовала, что у отца нет никого дороже ее на всем свете. Она любила и мать и со свойственной детям безграничной верой в непогрешимость мамы только печалилась и терялась, чувствуя ее эгоизм.

А как Ева жалела любящих, преданных слуг, в жизни которых она была светлым лучом! Дети не склонны к обобщениям, но этой не по летам вдумчивой девочке глубоко запало в сердце все то зло, которое порождает система рабства. Ей хотелось что-то сделать для негров — и не только для своих,— как-то помочь им, но как, она и сама не знала...

* * *

Однажды вечером Сен-Клер позвал дочь, чтобы показать ей статуэтку, которую он купил ей в подарок. Ева поднялась на веранду. Лучи заходящего солнца окружили сиянием ее тонкую фигурку в белом платье, зажгли золотом ее волосы. И сердце Сен-Клера мучительно сжалось, когда он увидел перед собой эти пылающие щеки и лихорадочно горящие глаза. Он привлек дочь к себе и забыл, зачем звал ее.

— Ева, родная моя, тебе лучше? Правда, лучше?

— Папа,— с неожиданной твердостью сказала Ева,— я давно хочу поговорить с тобой. Давай поговорим сейчас, пока мне не стало хуже.

Сен-Клер, весь дрожа, усадил ее на колени. Она прижалась головой к его груди и сказала:

— Зачем таить это про себя, папа? Я скоро покину вас... покину и больше никогда не вернусь.— И девочка всхлипнула.

— Ева, милая, перестань! — воскликнул Сен-Клер, стараясь сдержать дрожь в голосе.— Это просто нервы, вот ты и приуныла. Гони прочь мрачные мысли! Смотри, что я тебе купил!

— Нет, папа,— сказала Ева, мягко отстраняя его руку,— не обманывай себя. Мне не стало лучше. Я знаю, что скоро уйду от вас. И если б не ты, папа, и не все мои друзья, я была бы очень счастлива. Мне хочется уйти отсюда, очень хочется!

— Дитя мое! Откуда в тебе эта грусть? Я сделал все для твоего счастья...

— Да, папа, но как же мне не грустить, когда вокруг столько горя! И все-таки... все-таки мне больно расставаться с тобой!

— О чем ты говоришь? Что тебя так печалит?

— Многое, папа... Я горюю о наших несчастных невольниках. Они так любят меня, так ласковы со мной... Ах, папа! Если бы их можно было освободить!

— Дитя мое! Разве им плохо живется у нас?

— А если с тобой что-нибудь случится, что будет тогда? Таких, как ты, мало. Дядя Альфред совсем другой, и мама тоже другая. А вспомни хозяев несчастной Прю! Какие люди бывают жестокие! — И плечи у Евы вздрогнули.

— Ева! Ты слишком впечатлительна. Как я мог допустить, чтобы при тебе рассказывали все эти истории!

— Вот это меня и огорчает, папа. Ты хочешь, чтобы я жила счастливо, не знала горя и даже никогда не слыхала ничего печального. Это нехорошо: ведь у других людей вся жизнь — сплошное горе, сплошные страдания. Я должна все знать. И вот я думаю, думаю... Папа, а разве нельзя отпустить на волю всех рабов?

— Ты задала мне трудный вопрос, дорогая. Рабство —

большое зло, в этом не может быть никакого сомнения. Так думают многие, в том числе и я. Мне очень хотелось бы, чтобы в нашей стране не осталось ни одного раба. Но как это сделать, я не знаю.

— Папа, ты такой благородный и добрый и так хорошо умеешь говорить! Тебе удалось бы убедить других людей отпустить рабов на волю. Когда я умру, папа, подумай обо мне и сделай это ради меня! Я и сама освободила бы наших невольников, если бы могла.

— Когда ты умрешь? Ева, не надо так говорить! — с болью в сердце воскликнул Сен-Клер.— Ты единственное, что у меня есть на свете!

— У бедной Прю тоже был ребенок... единственное ее сокровище. Она слышала, как он плачет, и ничего не могла поделать. Папа, эти несчастные люди любят своих детей не меньше, чем ты любишь меня! Помоги им! Няня постоянно плачет о своих ребятишках. И Том стосковался по родным. А сколько других негров живет в разлуке с семьей! Как это ужасно, папа!

— Ну хорошо, хорошо, дорогая! — ласково сказал Сен-Клер.— Я сделаю все, что ты захочешь, только не огорчайся и не говори о смерти.

— И обещай мне, папа, отпустить Тома на волю, когда я...— Она запнулась, потом неуверенно договорила: — ...когда я уйду...

— Хорошо, моя дорогая. Все будет сделано. Все, о чем ты просишь.

Вечерние тени становились все гуще и гуще. Сен-Клер отнес Еву в спальню, и, когда она легла в постель, он выслал из комнаты слуг и оставался с ней, пока она не уснула.

Глава XXV

УРОК

Был воскресный день. Сен-Клер курил сигару на веранде, откинувшись на спинку бамбукового кресла. Мари лежала на кушетке под легким, прозрачным пологом от комаров и держала в руках изящно переплетенный молитвенник. Она взялась за него только потому, что было воскресенье, и притворялась, будто читает молитвы, а на самом деле нет-нет да и погружалась в сладкую дремоту.

— Огюстен,— сказала она, открыв наконец глаза,— надо послать в город за доктором Пози. Я уверена, что у меня что-то неладное с сердцем.

— Зачем же вам понадобился Пози? Доктор, который пользует Еву, тоже очень знающий.

— Со всякой болезнью к нему не обратишься, а у меня, по-видимому, что-то очень серьезное,— сказала Мари.— Я уж третью ночь об этом думаю. Не могу спать — такие боли, такое странное ощущение в груди!

— Ах, Мари, вы просто не в духе! Я уверен, что никакой болезни сердца у вас нет.

— Ну разумеется! — воскликнула Мари.— Я была готова к этому. Еве стоит только кашлянуть или чуть прихворнуть, и вы уже вне себя от тревоги! А до меня вам дела нет.

— Если вы хотите во что бы то ни стало иметь больное сердце, я не буду лишать вас такого удовольствия,— сказал Сен-Клер.

— Надеюсь, что вам не придется пожалеть о своих словах, когда будет поздно. Хотите — верьте, хотите — нет, а тревога за Еву и уход за нашей бедной девочкой только обострили эту болезнь. Я-то давно о ней подозревала.

«Трудно догадаться, о каком уходе говорит Мари»,— подумал Сен-Клер и, как и подобало такому «злодею», молча продолжал курить сигару до тех пор, пока к крыльцу не подъехала коляска, из которой вышли мисс Офелия и Ева.

Мисс Офелия проследовала к себе в спальню снять шляпку и шаль, а Ева подбежала к отцу и забралась к нему на колени. Не прошло и двух минут, как из комнаты мисс Офелии послышался громкий, возмущенный голос.

— Опять Топси натворила каких-то бед! — сказал Сен-Клер.— Бьюсь об заклад, что это она прогневала кузину.

И не успел он договорить, как негодующая мисс Офелия появилась на веранде, таща за руку маленькую преступницу.

— Иди сюда, иди! Я сейчас все расскажу твоему хозяину.

— Ну, что случилось? — спросил Огюстен.

— То случилось, что я отказываюсь от этой девчонки! Сил моих больше с ней нет! Всякому терпению есть предел! Я запорола ее в комнате и велела выучить наизусть один гимн. И как вы думаете, что она натворила? Подглядела, куда я прячу ключ от комода, забралась в ящик, вытащила оттуда шелк для отделки шляпок и разрезала его кукле на платье! Это же неслыханное безобразие!

— Я вам говорила, кузина, что с неграми добром ничего не сделаешь,— сказала Мари.— Будь на то моя воля,— и она бросила укоризненный взгляд на Сен-Клера,— я бы отослала эту девчонку на конюшню и приказала бы как следует ее высечь. Она бы у меня долго этого не забыла!

— Не сомневаюсь,— сказал Сен-Клер.— А еще говорят, что у женщин доброе сердце!

— Ваша сентиментальность, Сен-Клер, здесь совершенно неуместна. Кузина — человек разумный, и она теперь сама убедилась, что иначе ничего не сделаешь.

Мисс Офелия, как женщина аккуратная, не могла не возмутиться хозяйничаньем Топси в комоде. Да многие из наших читательниц отнеслись бы к этому точно так же. Но слова Мари не понравились ей и несколько остудили ее гнев.

— Нет, этого я никогда не допущу,— сказала она.— Но, Огюстен, посоветуйте, что мне делать? Сколько я возилась с этой девочкой! И вразумляла ее, и секла, и как только ни наказывала — и все попусту, будто об стену горох!

— Ну-ка, поди сюда, мартышка,— сказал Сен-Клер, подзывая Топси к себе.

Та подошла к хозяину, боязливо и вместе с тем лукаво поглядывая на него своими блестящими круглыми глазами.

— Почему ты так скверно себя ведешь? — спросил Сен-Клер, еле сдерживая улыбку при виде этой хитренькой рожицы.

— Наверно, потому, что я дрянь девчонка,— смиренно ответила Топси.— Мисс Фели сама так говорит.

— Сколько она для тебя сделала, а ты этого не ценишь!

— О господи! Да со мной всегда так. Уж чего только моя старая хозяйка не вытворяла! И секла меня — побольнее, чем мисс Фели, и за волосы таскала, и о дверь головой колотила... Да если мне по волоску все мои космы повыдергают, все равно ничего не поможет. Одно слово — негритянка.

— Нет, я отказываюсь от нее! — сказала мисс Офелия,— Хватит! Не хочу больше мучиться.

Ева, которая молча наблюдала за этой сценой, тихонько сделала знак Топси, приглашая ее за собой. Сбоку к веранде примыкала маленькая застекленная комнатка, где Сен-Клер часто сидел с книгой, и обе девочки вошли туда.

— Любопытно, что Ева задумала,— сказал Сен-Клер.— Пойду посмотрю.

Подкравшись на цыпочках к стеклянной двери, он откинул портьеру и заглянул в комнату. Потом приложил палец к губам и поманил к себе мисс Офелию.

Девочки сидели на полу, лицом друг к дружке. Топси хранила свой обычный лукаво-насмешливый вид, а Ева, взволнованная, смотрела на нее полными слез глазами.

— Топси, почему ты такая нехорошая? Почему ты не хочешь исправиться? Неужели ты никого не любишь, Топси?

— А я не знаю, как это — любят. Леденцы любить и всякие сласти — это еще понятно,— ответила Топси.

— Но ведь отца с матерью ты любишь?

— Не было их у меня. Я вам об этом говорила, мисс Ева.

— Да, правда,— грустно сказала та.— Но, может быть, у тебя были друзья, сестры...

— Никого у меня нет — нет и не было.

— Ах, Топси, если бы ты захотела исправиться, если б ты постаралась...

— Нечего мне стараться, все равно я негритянка,— сказала Топси.— Вот если б с меня содрали кожу добела, тогда еще можно было бы попробовать.

— Это ничего не значит, что ты черная, Топси. Мисс Офелия полюбила бы тебя, если б ты слушалась ее.

Топси рассмеялась резким, коротким смешком, что обычно служило у нее выражением недоверия.

— Ты мне не веришь? — спросила Ева.

— Нет. Она меня терпеть не может, потому что я негритянка. Ей лучше до жабы дотронуться. Негров никто не любит... Ну и пусть,— отрезала Топси и принялась насвистывать.

— Топси, бедная, да я тебя люблю! — от всего сердца сказала Ева и положила свою тонкую, прозрачную ручку ей на плечо.— Я люблю тебя, потому что ты одна, без отца, без матери, без друзей, потому что ты несчастная... Я очень больна, Топси, и мне недолго осталось жить. Как бы я хотела, чтобы ты исправилась... Сделай это хотя бы ради меня! Ведь мы с тобой скоро расстанемся...

Из круглых глаз чернушки так и хлынули слезы. Крупные капли градом падали на ласковую белую ручку.

— Я буду хорошая... обещаю вам, честное слово!

Сен-Клер опустил портьеру.

— Как она напоминает мне мою мать! — сказал он.

— Не могу побороть в себе предубеждения против негров,— вздохнула мисс Офелия.— Что правда, то правда: я брезгала этой девочкой, но мне и в голову не приходило, что она об этом догадывается.

— Ребенка не проведешь,— сказал Сен-Клер.— Он всегда чувствует, как к нему относятся. Если вы питаете отвращение к детям, их благодарность не завоюешь никакими заботами, никакими милостями. Странно, но это так.

— Я ничего не могу с собой поделать,— повторила мисс Офелия.— Негры мне вообще неприятны, а эта девочка в особенности. Отвращение побороть трудно.

— А вот у Евы его нет.

— Это все ее доброта! Как бы я хотела быть такой, как наша Ева! Она многому может научить меня.

— Старшие не в первый раз получают уроки от маленьких детей,— сказал Сен-Клер.

Глава XXVI

СМЕРТЬ

Обманчивый прилив сил, поддерживавший Еву последние дни, был на исходе. Все реже и реже слышались ее легкие шаги в саду, все чаще прикладывалась она на маленький диванчик у выходящего на веранду окна и подолгу не сводила с озера задумчиво-печального взгляда.

Как-то днем, лежа с открытой книжкой в руках, она услыхала на веранде сердитый голос матери:

— Это еще что за новости! Ты рвешь цветы, негодница!

И до Евы донесся звук шлепка.

— Миссис! Я для мисс Евы! — послышался голос Топси.

— Для мисс Евы? Лжешь! Очень ей нужны твои цветы, негритянское отродье! Убирайся отсюда вон!

Ева вскочила с дивана и выбежала на веранду.

— Мама, не гони ее! Дай мне этот букет!

— Ева, у тебя и так полна комната цветов.

— Чем больше, тем лучше,— сказала девочка.— Топси, поди сюда.

Топси подняла угрюмо потупленную голову, подошла к Еве и протянула ей свой букет. Она сделала это нерешительно и робко. Куда девалась ее былая живость и смелость!

— Какой красивый! — сказала Ева.

Букет был не столько красив, сколько оригинален. Он состоял из пунцовой герани и одной белой камелии с глянцевитыми листьями; этот резкий контраст, по-видимому, и прельстил Топси.

— Ты замечательно умеешь подбирать цветы,— сказала Ева, и Топси осталась очень довольна этой похвалой.— Поставь их вон в ту вазу. И теперь носи мне букеты каждый день.

— Странная причуда! — сказала Мари.— Зачем тебе это нужно?

— Ничего, мама, ты только не сердись. Не будешь?

— Конечно, нет, милая. Делай как хочешь... Топси, ты слышала, что тебе говорят? Смотри же не забудь!

Топси сделала реверанс и снова потупилась, а когда она повернулась к двери, Ева увидела слезинку, блеснувшую на ее черной щеке.

— Мама, я знала, что Топси хочется доставить мне удовольствие,— сказала она матери.

— Вздор! Эта девчонка только и ждет, как бы набедокурить. Ей не позволяют рвать цветы, вот она и нарвала целый букет. Но если тебе это нравится, пожалуйста.

— Мама, а мне кажется, что Топси теперь не такая, как прежде. Она старается быть хорошей.

— Ох! Сколько еще ей надо стараться, чтобы стать примерной девочкой! — с пренебрежительным смешком сказала Мари.

— Но ведь у Топси такая тяжелая жизнь!

— Уж в нашем-то доме ей не на что пожаловаться! Мало ли было возни с этой девчонкой! Да ведь ее ничем не проймешь — ни просьбами, ни уговорами. Какой была, такой и осталась.

— Мама, ты попробуй сравнить нас! Я живу среди родных, среди друзей, у меня есть всё. А Топси? Вспомни, что она вытерпела, прежде чем попасть к нам!

— Не знаю... может быть.— И Мари зевнула.— Господи, какая жара!

— Мама,— сказала Ева,— я хочу подстричь покороче волосы.

— Зачем это? — спросила Мари.

— Чтобы раздать локоны друзьям, пока у меня еще есть силы. Позови тетю, пусть она принесет ножницы.

Мари кликнула мисс Офелию из соседней комнаты.

Девочка приподнялась ей навстречу, тряхнув головкой, распустила по плечам длинные золотистые кудри и сказала:

— Тетушка, остригите овечку!

— Что такое? — удивился Сен-Клер, входя в комнату с вазой фруктов для дочери.

— Папа, я решила подстричь волосы — они слишком густые, мне жарко от них, а локоны подарю всем домашним.

— Осторожнее! — сказал Сен-Клер мисс Офелии.— Выстригайте так, чтобы не было заметно. Евины кудри — моя гордость.

Он стоял, нахмурив брови, сжав губы, и смотрел, как ножницы отреза́ли длинные пряди золотистых волос. Девочка брала их в руки, обвивала вокруг своих тонких пальцев и складывала одну за другой на колени, с тревогой поглядывая на отца.

— А теперь позовите сюда всех наших слуг,— проговорила она наконе́ц.— Мне надо кое-что сказать им.

— Хорошо,— коротко, через силу бросил Сен-Клер.

Мисс Офелия распорядилась, чтобы желание Евы было выполнено, и вскоре все слуги собрались около ее кровати.

Ева лежала с рассыпавшимися по подушке волосами, яркий румянец пятнами выступал у нее на щеках, подчеркивая худобу этого личика и проникновенный взгляд больших голубых глаз.

Слуги посматривали друг на друга, вздыхали, грустно по-

качивали головой. Женщины закрывали лицо передником. Первые минуты в комнате стояло молчание.

Но вот Ева приподнялась с подушек и сказала:

— Милые мои друзья, мне захотелось повидаться с вами, потому что я люблю вас всех. Вы всегда были так добры ко мне! Примите же от своей Евы маленький подарок, и пусть он всегда напоминает вам о ней. Я дам каждому из вас по прядке волос...

Со слезами и рыданиями негры столпились около кровати и приняли из рук больной последний знак ее любви к ним.

Мисс Офелия, опасавшаяся, как бы эта волнующая сцена не повредила девочке, делала то одному, то другому знак рукой, чтобы они, отходя от кровати, не задерживались в комнате.

Наконец все ушли, остались только Том и няня.

— Дядя Том,— сказала Ева,— вот этот самый красивый локон — тебе... Возьми и ты, няня, моя добрая, дорогая няня! — И она ласково обняла старую мулатку.

— Мисс Ева, как же я останусь без вас! На кого вы меня покидаете, одну-одинешеньку! — обливаясь горькими слезами, проговорила ее верная нянюшка.

Мисс Офелия мягко подтолкнула обоих слуг к двери в полной уверенности, что больше в комнате никого не осталось, но, оглянувшись, вдруг увидела перед собой Топси.

— Ты откуда взялась? — удивилась она.

— Я все время здесь стою,— ответила Топси, утирая кулачками глаза.— Мисс Ева! Неужто вы мне ничего не дадите?

— Дам, Топси, дам! Вот, возьми этот локон и каждый раз, когда будешь смотреть на него, вспоминай меня, вспоминай, что я тебя любила и желала тебе добра.

Топси спрятала заветный дар за пазуху, уткнулась лицом в передник и, повинуясь приказанию, вышла из комнаты.

Мисс Офелия, которая украдкой смахнула не одну слезу в продолжение этой сцены, затворила за ней дверь. Сен-Клер сидел в кресле, закрыв рукой глаза.

— Папа! — прошептала Ева, коснувшись его плеча.

Он вздрогнул, но ничего не ответил ей.

— Папа, милый! — повторила девочка.

— А мне ты ничего не подаришь? — с печальной улыбкой спросил он.

— Они все твои! — воскликнула Ева.— Твои и мамины. И тетушка пусть возьмет себе сколько захочет. А моим бедным друзьям я раздала эти подарки сама, потому что... потому что, когда меня не будет, папа, вы, может быть, и не вспомните об этом...

...Ева быстро угасала. Никто больше не сомневался в исходе ее болезни. Надежды на выздоровление быть не могло. Мисс Офелия день и ночь проводила у ее постели, и в доме только теперь сумели по-настоящему оценить эту достойную женщину. Опытные руки, наметанный глаз, трезвая голова, умение незаметно справляться с самой неприятной работой по уходу за больными и создавать покой и уют в их комнате, точность, с которой она выполняла предписания врача,— все это делало мисс Офелию незаменимой сиделкой. Те, кто раньше пожимал плечами, дивясь чудачествам и излишней, на взгляд южан, строгости и дотошности этой леди, теперь признали, что такой человек и нужен около Евы.

Много времени проводил в комнате больной и дядя Том. Девочка не могла лежать спокойно, ей было легче, когда ее носили. И ничто не доставляло такой радости Тому, как держать на руках это истаявшее от недуга тельце, шагая взад и вперед то по комнате, то по веранде. А по утрам, когда девочка чувствовала себя бодрее и с озера веяло прохладным ветерком, он ходил с ней под апельсиновыми деревьями в саду или, сидя на скамье, напевал ее любимые песни.

Сен-Клер тоже часто брал Еву на руки, но он был слабее Тома, и, замечая, что отец устает, девочка говорила:

— Папа, пусть дядя Том со мной походит. Ему, бедному, хочется хоть что-нибудь для меня сделать.

— Мне тоже хочется, Ева,— отвечал Сен-Клер.

— Да, но ты и так столько всего делаешь! Читаешь вслух, сидишь со мной по ночам... А Том может только носить меня на руках да петь. И он сильнее тебя — ему легче.

Не один Том горел желанием помочь Еве. Все негры в доме старались, каждый по мере своих сил, хоть что-нибудь сделать для нее.

Бедная няня всем сердцем рвалась к своей любимице, но у нее не было ни одной свободной минуты, ибо Мари не отпускала ее от себя ни днем, ни ночью, заявляя, что она совершенно потеряла покой. А если Мари теряла покой, то его лишались и другие. За ночь няня раз по двадцать вставала к хозяйке, которой требовалось то растереть ноги, то положить холодный компресс на голову, то подать носовой платок, то посмотреть, что делается в комнате Евы, то опустить шторы на окнах, потому что слишком светло, то поднять, потому что темно. А днем, когда няня могла бы ухаживать за Евой, Мари ухитрялась придумывать для нее самые разнообразные дела по хозяйству или держала около себя, так что няня виделась со своей питомицей только украдкой.

— Теперь мне надо особенно беречь свое здоровье, это мой

прямой долг,— говорила Мари.— Ведь я буквально через силу ухаживаю за нашей крошкой.

— По-моему, дорогая, кузина освободила вас от этой обязанности,— возражал ей Сен-Клер.

— Так могут рассуждать только мужчины! Как будто с матери можно снять заботы о тяжелобольном ребенке! Ну что толку спорить? Вы же не представляете себе моих мучений. Я не могу так легко относиться к этому, как вы.

Сен-Клер улыбался, слушая жену. Простим ему это. В ту пору он еще мог улыбаться, ибо Ева доживала свои последние дни так тихо, так безмятежно, что в ее близкую смерть невозможно было поверить. Девочка не страдала, а чувствовала только слабость, почти незаметно возраставшую день ото дня. Единственный, с кем она делилась своими предчувствиями, утаивая их даже от отца, чтобы не огорчать его, был ее верный друг Том.

Он уже не ночевал больше в своей каморке, а ложился на веранде, готовый вскочить по первому зову.

— Дядя Том, почему это тебе вздумалось спать где попало, как бездомной собачонке? — спросила его однажды мисс Офелия.— А я-то считала, что ты человек обстоятельный, во всем любишь порядок.

— Это все правильно, мисс Фели,— сказал Том,— но сейчас такое время...

— Какое время?

— Тише, мисс Фели, как бы хозяин не услышал... Мисс Фели, сегодня ночью надо кому-нибудь быть настороже.

— А разве мисс Ева жаловалась, что ей хуже?

— Нет... Она только сказала мне сегодня утром, что теперь уже недолго.

Этот разговор происходил между десятью и одиннадцатью часами вечера, когда мисс Офелия пошла запереть на засов входную дверь и обнаружила на веранде Тома.

Чрезмерная нервозность и впечатлительность были чужды мисс Офелии, но Том говорил так проникновенно, что она не могла не внять его словам.

В тот день Ева была бодрее и веселее обычного и даже сидела в постели, перебирая свои безделушки и сокровища и распределяя, кому что отдать. Ее давно не видели такой оживленной, такой разговорчивой. Вечером Сен-Клер пришел навестить дочь, и ему показалось, что перед ним прежняя Ева. Поцеловав ее на ночь, он сказал мисс Офелии:

— Кузина, может быть, нам удастся спасти нашу девочку. Смотрите, ей стало лучше! — и ушел к себе успокоенный, чувствуя, что у него давно не было так легко на сердце.

Но среди ночи в комнате Евы послышались шаги. Мисс Офелия, решившая бодрствовать до утра, в полночь заметила у больной признаки того, что опытные сиделки называют «переломом». Она вышла на веранду и окликнула Тома, который сразу вскочил на ее зов.

— Том, беги за доктором! Не теряй ни минуты! — сказала мисс Офелия и постучала к Сен-Клеру:— Огюстен, выйдите ко мне!

Эти слова упали на сердце Сен-Клера, словно комья земли на крышку гроба. Он выбежал из комнаты и через мгновение уже склонился над спящей Евой.

Отчего у него замерло сердце? Что он увидел? Почему они с мисс Офелией не обменялись ни словом? Пусть на это ответит тот, кому пришлось перенести смерть близкого человека, кто видел на его челе еле уловимые, но не оставляющие никаких надежд признаки неотвратимого конца.

Смертная тень еще не коснулась личика Евы — оно было безмятежно и ясно.

Сен-Клер и мисс Офелия в глубоком молчании смотрели на нее. В комнате слышалось только тиканье часов — такое громкое в этой мертвой тишине!

Вошел Том с доктором. Доктор взглянул на Еву и, как остальные, молча стал у кровати. Потом спросил шепотом:

— Когда это началось?

— Около полуночи,— ответила мисс Офелия.

Прибежала Мари, разбуженная приходом доктора.

— Огюстен!.. Кузина! Что случилось?

— Тс! — хриплым голосом остановил ее Сен-Клер.— Она умирает.

Няня услышала его слова и кинулась будить слуг. Вскоре весь дом был на ногах — в комнатах замелькал свет, послышались шаги, за стеклянной дверью веранды виднелись заплаканные лица. Но Сен-Клер ничего этого не замечал — перед ним было только лицо спящей дочери.

— Неужели она не проснется, не скажет хоть одно слово! — проговорил он наконец и, нагнувшись над Евой, шепнул ей на ухо: — Ева, радость моя!

Огромные голубые глаза открылись, по губам девочки скользнула улыбка. Она хотела поднять голову с подушки, хотела заговорить...

— Ты узнаешь меня, Ева?

— Папа, милый! — чуть слышно сказала она и из последних сил обвила руками его шею.

А потом руки ее упали и по лицу пробежала смертная судорога. Она заметалась, ловя губами воздух.

— Боже мой! — воскликнул Сен-Клер и, отвернувшись, не сознавая, что делает, стиснул Тому руку.— Том, друг мой! Я не вынесу этого!

По черному лицу Тома катились слезы.

— У меня разрывается сердце! Боже, молю тебя, сократи ее страдания!

— Они кончились, слава создателю! Хозяин, посмотрите на нее!

Девочка лежала, глубоко дыша, точно от усталости. Остановившийся взгляд ее голубых глаз был устремлен ввысь. И на этом лице было такое величавое спокойствие, что горестные стенания стихли. Все молча, затаив дыхание столпились около кровати.

— Ева! — прошептал Сен-Клер.

Но она уже ничего не слышала. Светлая улыбка озарила ее лицо, и Евы не стало.

Глава XXVII

ПРОЩАНИЕ

Картины и статуи в комнате Евы были затянуты белыми простынями, шторы на окнах приспущены. Сдержанные вздохи и приглушенные шаги не нарушали царившей там тишины. Кровать тоже была накрыта белым, и на ней лежала маленькая Ева, уснувшая навеки.

Ее одели в скромное белое платье, которое она носила при жизни. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь розовые шторы, бросали теплые отсветы на мертвенно-холодные щеки, оттененные пушистыми ресницами. Головка ее была повернута набок, словно она и вправду спала.

Сен-Клер стоял, сложив руки на груди, и не сводил глаз с умершей дочери. Кто знает, о чем он думал? Вокруг него раздавались негромкие голоса, к нему обращались с вопросами, он отвечал на них. Но, когда его попросили назначить день похорон и выбрать место для могилы, он нетерпеливо сказал:

— Мне все равно.

Комната, как и прежде, была полна белых цветов — нежных, благоухающих. На столике, покрытом белой скатертью, стояла любимая ваза Евы и в ней полураспустившийся белый розан. Полог над кроватью и оконные шторы были собраны в густые складки. Адольф и Роза положили на это немало труда и выполнили свое дело с тем большим вкусом, который присущ неграм.

И сейчас, когда Сен-Клер стоял у постели дочери, погруженный в глубокое раздумье, Роза снова вошла в комнату с корзиной белых цветов. Она почтительно остановилась на пороге, но, убедившись, что хозяин не замечает ее, стала убирать цветами умершую. Сен-Клер видел будто во сне, как Роза вложила ветку жасмина в безжизненные тоненькие пальцы и разбросала остальные цветы по кровати.

Дверь снова открылась: вошла Топси с опухшими от слез глазами. Она прятала что-то под передником. Роза замахала на нее руками, но Топси шагнула вперед.

— Ступай отсюда! — сердито шепнула Роза.— Нечего тебе здесь делать!

— Пусти меня! Я принесла цветок — смотри, какой красивый! — И Топси вытащила из-под передника чайную розу.— Я положу ее туда... Ну, позволь!

— Ступай, ступай! — решительно повторила горничная.

— Оставь ее! — вдруг сказал Сен-Клер.— Пусть войдет.

Роза отступила назад, а Топси подошла к кровати, положила свой цветок к ногам умершей и вдруг, отчаянно зарыдав, упала на пол.

Мисс Офелия, прибежавшая на крик, бросилась поднимать и успокаивать девочку, но все ее старания так ни к чему и не привели.

— Мисс Ева! О мисс Ева! Я хочу умереть, я тоже хочу умереть!

Краска разлилась по мертвенно-бледному лицу Сен-Клера, когда он услышал этот пронзительный, дикий вопль, и на глаза его впервые после смерти Евы навернулись слезы.

— Встань, дитя мое, встань,— мягко сказала мисс Офелия.— Не плачь, не надо. Мисс Еве теперь хорошо.

— Я больше не увижу ее, никогда не увижу! — не унималась Топси.

Сен-Клер и мисс Офелия молчали.

— Она любила меня! Она сама мне так говорила. Господи! Что же теперь со мной будет? Никого у меня не осталось!

— Это верно,— сказал Сен-Клер.— Кузина, прошу вас, успокойте ее, бедняжку.

— И зачем я только родилась! — причитала Топси.— Я не хотела родиться, не хотела!

Мисс Офелия ласковой, но твердой рукой подняла девочку и повела к себе, смахивая набегающие на глаза слезы.

— Топси, бедная,— сказала она, оставшись с ней наедине,— не отчаивайся. Я тоже буду любить тебя, хоть мне и далеко до нашей бесценной Евы,— буду любить и помогу тебе стать хорошей девочкой.

Голос мисс Офелии выражал больше чувства, чем ее слова, а еще убедительнее были слезы, катившиеся у нее по щекам. И с этого дня несчастная, одинокая Топси привязалась к ней всей душой.

В комнате Евы слышались осторожные шаги и сдержанный шепот — слуги один за другим приходили прощаться со своей любимицей. А потом внесли гроб, к дому начали подъезжать экипажи, из них выходили друзья, знакомые. Белые шарфы, ленты, черный траурный креп... Сен-Клер двигался, говорил, но слез у него больше не было. Он видел перед собой только одно — золотистую головку в гробу. А потом ее накрыли покрывалом, на гроб опустили крышку... Сен-Клер в толпе провожающих пошел в конец сада; там, около дерновой скамьи, где Ева так часто сидела с Томом, разговаривая, слушая его песни или читая ему вслух, теперь была вырыта могила. Сен-Клер остановился, безучастно глядя вниз, в зияющую перед ним яму. Он видел, как туда опустили гроб, и, когда над могилой вырос холмик, ему все еще не верилось, что Ева навсегда ушла от него.

А потом все вернулись в дом, который никогда больше не услышит ни ее голоса, ни ее шагов. В комнате Мари опустили шторы. Она лежала на кровати и, громко рыдая, поминутно звала к себе то няню, то горничных. Им, бедным, и поплакать-то не пришлось. Да разве слуги способны плакать? Мари твердо верила, что только она одна может испытывать такое глубокое горе. Другим его не понять, не почувствовать!

— Сен-Клер не пролил ни слезинки! — говорила Мари.— Такая черствость просто уму непостижима! Хоть бы он мне посочувствовал!

Внешние проявления горя так часто обманывают людей, что многие из слуг и в самом деле считали, будто их хозяйка тяжелее всех переносит смерть дочери. К тому же у Мари началась истерика, и, вообразив, что конец ее близок, она послала за доктором. И тут поднялась такая суматоха, столько понадобилось бутылок с горячей водой, горячих припарок и холодных компрессов, что горевать слугам было уже некогда!

А Том всем сердцем тянулся к Сен-Клеру. Куда бы хозяин ни пошел, он грустно следовал за ним по пятам. И, когда Сен-Клер, бледный, безмолвный, сидел в комнате Евы, Том чувствовал, что неподвижный взгляд этих сухих глаз говорит о таких муках, которые неведомы Мари, сколько бы она ни плакала, сколько бы ни причитала.

Через несколько дней после похорон Сен-Клеры вернулись в город. Огюстен, не находивший себе места от горя, решил

переменить обстановку, чтобы хоть немного рассеяться. Они покинули виллу и сад со свежей могилой и уехали в Новый Орлеан.

Сен-Клер почти не сидел дома, пытаясь заглушить сердечную боль повседневной деловой суетой, новыми впечатлениями. Те, кто встречал этого человека на улице или в кафе, догадывались о его утрате только по крепу на шляпе, так как он улыбался, разговаривал, читал газеты, рассуждал о политике, занимался делами. И кому из его знакомых могло прийти на ум, что эта беззаботная внешность — только маска, под которой таится могильный холод и мрак опустошенной души!

— Сен-Клер такой странный человек! — жаловалась Мари мисс Офелии.— Мне думалось раньше, что если ему вообще кто-нибудь дорог, так это наша бедная Ева. Но он ее почти забыл. Его не заставишь даже поговорить о ней. Я никак не ожидала, что мой муж окажется таким бесчувственным!

— Тихие воды глубоки,— многозначительно сказала мисс Офелия.

— А! Не верю! Это всё одни слова. Глубину чувства не скроешь, она так или иначе даст о себе знать. Но те, кто способен глубоко чувствовать,— самые несчастные люди. Я завидую Сен-Клеру: ему мои страдания неведомы.

— От хозяина осталась одна тень, мисс. Слуги говорят, он ничего не ест,— вмешалась в их разговор няня и добавила, утирая слезы: — Да разве ему забыть мисс Еву! И никто ее не забудет, нашу крошку!

— Ну, не знаю... Во всяком случае, меня он совершенно не жалеет,— сказала Мари.— Я не слышала от него ни одного участливого слова, а ведь материнское сердце не чета отцовскому.

— Чужая душа — потемки,— строго проговорила мисс Офелия.

— Совершенно верно! Того, что я чувствую, никто не знает. Одна только Ева меня понимала, но ее больше нет со мной! — Мари откинулась на спинку кресла и горько расплакалась.

Между тем в кабинете Сен-Клера происходил совсем другой разговор..

Том, не спускавший глаз с хозяина, видел, как тот удалился к себе, и, прождав его напрасно несколько часов, тихонько вошел к нему в кабинет. Сен-Клер лежал на диване, уткнувшись лицом в подушку. Том стал рядом, не решаясь окликнуть его, но Сен-Клер вдруг поднял голову. Увидев перед собой это исполненное любви и грусти лицо, поймав на себе этот умоляющий взгляд, он взял Тома за руку и прижался к ней лбом.

— Том, друг мой, весь мир для меня опустел!

— Я знаю, хозяин, знаю,— сказал Том.— Но веруйте в бога, он поможет вам снести это горе.

— Спасибо тебе, друг мой! Иди, оставь меня одного. Мы еще поговорим с тобой, только не сейчас.

И Том молча вышел из кабинета.

Глава XXVIII

НЕ СУЖДЕНО!

Неделя проходила за неделей. Волны жизни снова сомкнулись над пучиной, поглотившей маленькую ладью, ибо повседневность не считается с нашими чувствами и властно заставляет нас покоряться своей воле.

Все интересы и надежды Сен-Клера незаметно для него самого сосредоточивались раньше вокруг дочери. Ради Евы он устраивал свои денежные дела; применяясь к ней, распределял свое время. Все делалось для Евы, и Сен-Клер так привык к этому, что теперь, когда ее не стало, ему нечем было заняться, не о чем было думать.

Но теперь он более трезво и серьезно смотрел на свое отношение к невольникам и вскоре после переезда в Новый Орлеан начал хлопоты об освобождении Тома. Оставалось проделать только кое-какие формальности, и Том был бы свободен. А тем временем Сен-Клер все больше и больше привязывался к своему слуге, видя в нем живое напоминание о Еве. Он почти не отпускал его от себя и при всей своей скрытности и замкнутости чуть ли не думал при нем вслух.

— Ну, Том,— сказал он на другой день после того, как ходатайство об освобождении было подано,— скоро ты будешь свободным человеком, так что складывай свои вещи в сундучок и готовься к отъезду в Кентукки.

Радость, вспыхнувшая в глазах Тома, и его возглас «Слава создателю!» неприятно удивили Сен-Клера. Он не ожидал, что его слуге будет так легко расстаться с ним.

— Не понимаю, чего ты так возликовал! Разве тебе плохо живется у нас? — сухо спросил он.

— Нет, что вы, хозяин! Не в том дело. Я радуюсь, что стану свободным человеком.

— Да тебе будет хуже на свободе.

— Нет, никогда, мистер Сен-Клер! — горячо воскликнул Том.

— Ты не сможешь одеваться и кормиться на свои заработки так, как тебя кормят и одевают у меня.

— Я это знаю, мистер Сен-Клер, знаю. Но лучше ходить в отрепьях и жить в лачуге, только чтобы оно было мое, а не чужое. Ничего не поделаешь, хозяин, такова, видно, природа человеческая.

— Может быть, ты прав, Том... Ну так вот, через месяц-другой мы с тобой расстанемся...

На этом их разговор был прерван, так как Сен-Клеру доложили о приезде гостей.

Мари чувствовала утрату дочери, насколько ей вообще дано было чувствовать что-либо, а так как она не умела страдать в одиночестве и обладала способностью делать несчастными всех вокруг себя, ее слуги имели все основания вспоминать Еву, которая своим заступничеством столько раз спасала их от нападок деспотической и придирчивой хозяйки. Что же касается бедной няни, оторванной от семьи и находившей единственное утешение в своей любимице, для нее смерть Евы была неизбывным горем. Она плакала день и ночь и не могла с прежней расторопностью ухаживать за хозяйкой, чем непрестанно навлекала ее гнев на свою беззащитную голову.

Смерть Евы не прошла даром и для мисс Офелии. Эта суровая леди стала прислушиваться к голосу сердца, стала мягче, добрее. Она еще усерднее принялась учить Топси, поборов в себе прежнюю неприязнь к ней. Топси не сразу превратилась в ангелочка, но пример Евы и ее смерть произвели в девочке заметную перемену. Прежнее холодное равнодушие ко всему на свете уступило место новым интересам, надеждам. Правда, став на этот путь, Топси часто сбивалась с него и принималась за старое, но ненадолго.

— Девочка с каждым днем становится все лучше и лучше,— сказала однажды мисс Офелия Сен-Клеру.— Я возлагаю на нее большие надежды. Но, Огюстен...— и она коснулась его плеча,— мне хочется выяснить, чья Топси: моя или ваша?

— Я же подарил ее вам,— ответил Сен-Клер.

— Да, но ведь это нигде не записано, а я хочу, чтобы она принадлежала мне по всем правилам и чтобы ее можно было увезти в свободные штаты и там отпустить на волю. Составьте дарственную запись или выдайте мне на руки какой-нибудь другой документ, имеющий законную силу.

— Хорошо, хорошо! Что-нибудь придумаем,— сказал Сен-Клер и взялся за газету.

— Я прошу вас, сделайте это сейчас.

— Почему вдруг такая спешка?

— Потому что никогда не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня,— сказала мисс Офелия.— Вот вам бумага, чернила, перо. Садитесь и пишите.

Сен-Клер по складу своего характера терпеть не мог, когда от него требовали немедленных действий, и настойчивость мисс Офелии ему не понравилась.

— Да что случилось? — воскликнул он.— Неужели вы не верите мне на слово?

— Я хочу, чтобы это было наверняка,— сказала мисс Офелия.— Вы можете умереть, разориться, и тогда ничего не поделаешь — Топси продадут с аукциона.

— Однако вы предусмотрительны! Ну что ж, раз уж попался в лапы янки, придется проявить покорность.

Сен-Клер, хорошо знавший все юридические тонкости, без труда написал дарственную и поставил внизу свою размашистую подпись с росчерком чуть ли не в полстраницы.

— Ну-с, уважаемая кузина, вот вам — черным по белому,— сказал он, протягивая бумагу мисс Офелии.

Она улыбнулась:

— Умница! Но, по-моему, это надо еще скрепить свидетельской подписью.

— Ах ты господи! И в самом деле! Сейчас! — И он открыл дверь в комнату жены.— Мари! Кузина желает получить ваш автограф. Распишитесь, пожалуйста.

— Что это? — спросила та, пробегая глазами бумагу.— Боже мой! А я-то думала, что благочестие не позволяет кузине заниматься такими предосудительными делами. Впрочем, если вы так уж прельстились этой девчонкой, я не возражаю.— И она небрежно нацарапала свою подпись.

— Ну вот, теперь Топси ваша и душой и телом,— сказал Сен-Клер, вручая кузине документ.

— Душа и тело Топси как были свободными, такими и останутся,— возразила мисс Офелия.— Но теперь, по крайней мере, я смогу взять ее под свою защиту.

— Хорошо! Значит, она принадлежит вам только на бумаге,— усмехнулся Сен-Клер и, взяв газету, ушел в гостиную.

Мисс Офелия, не очень-то любившая проводить время в обществе Мари, пошла следом за ним, предварительно спрятав у себя в комнате только что полученный документ.

Она просидела несколько минут молча, с вязаньем в руках, потом вдруг спросила:

— Огюстен, вы сделали какие-нибудь распоряжения на случай своей смерти?

— Нет,— ответил Сен-Клер, не поднимая головы от газеты.

— Тогда вся ваша снисходительность к невольникам может дорого им обойтись в дальнейшем.

Сен-Клер и сам часто думал об этом, но сейчас он ответил небрежным тоном:

— Да, надо составить завещание.

— Когда?

— Как-нибудь на днях займусь этим.

— А если вы умрете раньше?

— Что случилось, кузина? — воскликнул он, откладывая газету в сторону.— Почему вы с таким усердием принялись за устройство моих посмертных дел? Разве у меня появились признаки холеры или желтой лихорадки?

— Смерть часто настигает нас нежданно-негаданно,— сказала мисс Офелия.

Сен-Клер встал, бросил газету на пол и, чтобы положить конец этому неприятному разговору, вышел на веранду. «С м е р т ь!» — машинально повторил он. Потом облокотился о перила и, глядя невидящими глазами на серебристые струи фонтана, на цветы, деревья и вазы во дворе, снова произнес это слово, такое обычное в наших устах и вместе с тем полное такой грозной силы: «С м е р т ь!»

Он выпрямился и стал ходить взад и вперед по веранде, погруженный в глубокое раздумье. Прозвонил звонок к чаю, но Сен-Клер ничего не слышал и очнулся от своих мыслей только тогда, когда Том окликнул его во второй раз.

За столом Сен-Клер был рассеян и задумчив. После чая он, Мари и мисс Офелия, почти не обменявшись ни словом, перешли в гостиную.

Мари расположилась на кушетке, затянутой шелковым пологом от комаров, и вскоре уснула крепким сном. Мисс Офелия молча вязала. Сен-Клер сел за рояль, взял несколько аккордов, но тут же опустил голову на руки, посидел так несколько минут, поднялся и заходил взад и вперед по комнате.

— Бедная моя маленькая Ева! — проговорил он.— Это ты вывела меня на правильный путь. С твоей смертью я потерял все, а тот, кому нечего больше терять, обретает смелость и отвагу.

— Что же вы собираетесь делать теперь? — спросила мисс Офелия.

— Выполнить свой долг по отношению к несчастным, беззащитным людям,— ответил Сен-Клер.— И прежде всего начну с наших слуг. А впоследствии... кто знает, может, мне удастся спасти Америку от позора, который унижает ее в глазах всего цивилизованного мира.

— Неужели вы думаете, что рабовладельцы добровольно откажутся от своих прав?

— Не знаю... Может быть, среди нас все-таки найдутся люди, не способные расценивать честь и справедливость на доллары и центы.

— Сомневаюсь,— сказала мисс Офелия.

— Но, если мы освободим своих рабов, кто займется ими, кто научит их использовать дарованную им свободу на благо им самим? — продолжал Сен-Клер.— Мы слишком ленивы и непрактичны, чтобы воспитать в бывших невольниках любовь к труду, без которой они не станут настоящими людьми. Им придется двинуться на Север, но признайтесь мне откровенно: много ли найдется людей в Северных штатах, которые захотят взять на себя роль их воспитателей? У вас не жалеют денег на миссионеров, но что вы скажете, когда в ваши города и поселки хлынут чернокожие? Вот что меня интересует! Если Юг освободит своих рабов, соизволит ли Север заняться их воспитанием? Много ли семейств в вашем городе пустит к себе в дом негра или негритянку? Если я посоветую Адольфу стать приказчиком или изучать какое-нибудь ремесло, найдутся ли торговцы и мастера, которые возьмут его к себе в услужение? Сколько школ в Северных штатах примут Розу и Джейн? Я хочу, кузина, чтобы о нас судили справедливо. Наше положение не из легких. Мы угнетаем негров — это факт совершенно очевидный, но, может быть, им не менее тяжело сносить предрассудки, которые так распространены на Севере!

Он прошелся по комнате раз-другой и сказал:

— Пойду погулять немножко и кстати узнаю, какие новости в городе,— и, взяв шляпу, вышел.

Том проводил хозяина до ворот и спросил, не пойти ли ему вместе с ним.

— Нет, друг мой,— сказал Сен-Клер.— Я через час вернусь.

Был тихий лунный вечер. Том сидел на веранде, смотрел на взлетающие ввысь струи фонтана и, прислушиваясь к их плеску, думал о семье, о своем скором возвращении домой. Он получит свободу, будет много работать и выкупит жену и детей. Он потрогал свои мускулистые руки и радостно улыбнулся. Только бы стать хозяином самому себе, а тогда не пожалеешь сил, чтобы вызволить семью из рабства!

Думая свои думы, Том задремал, уже видел сны и вдруг очнулся от звука голосов на улице и громкого стука в ворота. Он открыл их, быстро сбежав с веранды. Во двор осторожно внесли носилки. На них лежал человек, прикрытый плащом. И, когда свет фонаря упал на его лицо, Том в ужасе вскрикнул и бросился вслед за носильщиками, двигавшимися к дверям гостиной, где с вязаньем в руках все еще сидела мисс Офелия.

Что же произошло? Сен-Клер зашел в кафе посмотреть вечернюю газету и, пока он сидел там, двое подвыпивших

джентльменов затеяли драку. Посетители кинулись разнимать дерущихся, и Сен-Клер, пытаясь отнять у одного из них нож, был смертельно ранен в бок.

Трудно себе представить, что поднялось в доме. Слуги с плачем метались по веранде, рвали на себе волосы, катались по полу, Мари билась в истерике. Только мисс Офелия и Том сохраняли присутствие духа среди всеобщего смятения. Мисс Офелия распорядилась, чтобы Сен-Клера положили в гостиной, и ему наскоро приготовили там постель. Он лишился чувств от боли и большой потери крови.

Приехал доктор, осмотрел раненого, и все поняли по выражению его лица, что надежды нет. Но он спокойно перевязал рану с помощью мисс Офелии и Тома, словно не слыша стонов и причитаний негров, толпившихся у дверей и окон гостиной. А когда перевязка была закончена, сказал:

— Уведите их отсюда. Ему нужен покой, иначе я ни за что не ручаюсь.

Сен-Клер открыл глаза и пристально посмотрел на своих плачущих слуг, которых мисс Офелия и доктор старались выпроводить с веранды.

— Несчастные! — сказал он голосом, полным горького раскаяния.

Слуги наконец-то вняли увещаниям мисс Офелии, повторявшей, что их стоны и плач могут стоить жизни хозяину, и удалились.

Сен-Клер лежал молча, с закрытыми глазами. Так прошел час-другой. Вдруг он коснулся руки Тома, стоявшего на коленях возле дивана, и сказал:

— Бедный мой друг!

— Что вы, хозяин?

— Я умираю...— тихо проговорил Сен-Клер, сжимая руку Тома.

И силы изменили ему. Мертвенная бледность разлилась по его лицу, и оно стало спокойным, как у засыпающего ребенка. Через мгновение он открыл глаза, вдруг озарившиеся внутренним светом, прошептал: «Мама!» — и умер.

Глава XXIX

БЕЗЗАЩИТНЫЕ

Ужас и смятение царили в осиротевшем доме. Смерть настигла молодого хозяина внезапно, в полном расцвете сил, и слуги не переставали оплакивать свою потерю.

Когда муж умирал, Мари, не отличавшаяся стойкостью духа, лежала в обмороке, и тот, с кем она была связана узами брака, ушел от нее навсегда, не успев даже сказать ей последнее «прости».

Но мисс Офелии мужество не изменило, и она до последней минуты оставалась у постели умирающего, стараясь как только можно облегчить его страдания.

Том сначала не подумал, что этот неожиданный удар обрекает его на беспросветное рабство. Но вот отошли пышные похороны, на которых не было недостатка ни в траурном крепе, ни в молитвах, ни в торжественно печальных лицах. Холодные, мутные волны повседневности снова сомкнулись над осиротевшим домом, и перед всеми его обитателями стал неизбежный суровый вопрос: что же теперь делать?

В один прекрасный день вопрос этот стал и перед Мари, которая, сидя в кресле и окруженная толпой слуг, отбирала образцы крепа и черных тканей, присланные из магазина. Стал он и перед мисс Офелией, уже начинавшей подумывать о возвращении домой, на Север. Задавались им и слуги, хорошо знавшие жестокий, крутой нрав своей хозяйки, во власти которой они остались. Все они прекрасно понимали, что прежние милости исходили не от нее, а от хозяина и что теперь никакая сила не защитит их от произвола женщины, которую еще больше ожесточило перенесенное горе.

После похорон прошло около двух недель. Как-то днем мисс Офелия, сидя у себя в комнате, услышала осторожный стук в дверь. Она открыла ее и увидела молоденькую горничную-квартеронку Розу, которая стояла на пороге растрепанная, с опухшими от слез глазами.

— Мисс Фели,— вскричала девушка, падая перед мисс Офелией на колени и цепляясь за подол ее платья,— пойдите к мисс Мари, умоляю вас! Будьте моей заступницей! Мисс Мари посылает меня на порку. Вот, смотрите! — И она протянула мисс Офелии сложенную вдвое бумажку.

Это была записка, написанная изящным почерком Мари и адресованная специальному заведению для порки рабов, с просьбой дать подательнице сего пятнадцать ударов плетью.

— В чем же ты провинилась? — спросила мисс Офелия.

— Ах, мисс Фели, вы же знаете, какой у меня скверный характер! Я примеряла мисс Мари платье, и она ударила меня по лицу... А я, не подумав, наговорила ей дерзостей. Мисс Мари сказала, что она больше не желает этого терпеть и приструнит меня раз и навсегда, чтобы я не смела зазнаваться. И вот написала эту записку и велит мне самой отнести ее. Уж лучше бы она убила меня на месте!

Мисс Офелия молчала, размышляя, как ей поступить.

— Если бы вы или сама мисс Мари меня высекли, это еще ничего, я стерплю,— продолжала Роза.— Но, мисс Фели, вы подумайте — мужчина будет меня сечь! Срам-то какой!

Мисс Офелия знала о существовании специальных заведений, куда посылают на порку женщин и молодых девушек. Но одно дело знать, а другое — видеть перед собой несчастную, которая дрожит от страха в ожидании такого позора. И сердце мисс Офелии забилось от негодования, щеки ее вспыхнули. Однако обычная выдержка не изменила ей, она овладела собой и, сжав записку в руке, сказала Розе:

— Побудь здесь, дитя мое, а я пойду поговорю с хозяйкой.

«Чудовищно! Позор! Неслыханный позор!» — восклицала она мысленно, направляясь в гостиную.

Мари с распущенными волосами полулежала в кресле, няня причесывала ее, а Джейн, сидя на полу, растирала ей ноги.

— Как вы себя чувствуете сегодня?— спросила мисс Офелия.

Мари испустила глубокий вздох, закрыла глаза и, выдержав паузу, ответила:

— Ах, кузина, я и сама не знаю! Лучше мне, вероятно, уже никогда не будет!— И она поднесла к лицу батистовый платочек, обшитый широкой траурной каймой.

— Я пришла...— начала мисс Офелия, покашливая тем сухим, коротким кашлем, которым обычно предваряют неприятный разговор.— Я пришла поговорить с вами относительно бедняжки Розы.

Мари сразу открыла глаза, и ее бледные щеки вспыхнули.

— А что такое?— резко спросила она.

— Роза раскаивается в своем поступке.

— Ах, вот как! Рано она об этом заговорила. Получит по заслугам, тогда еще больше будет раскаиваться. Я не намерена терпеть наглость этой девчонки. Она за все теперь поплатится и впредь будет умнее!

— Неужели нельзя придумать ей какое-нибудь другое наказание, не такое позорное?

— Пусть терпит позор! Пусть! Я этого и хочу. Она зазналась! Возомнила себя невесть какой деликатной барышней, забыла, кто она такая! А теперь я ее проучу как следует!

— Вы ответите перед богом за такую жестокость!— горячо воскликнула мисс Офелия.

— Жестокость? Я приказала дать ей только пятнадцать ударов, да и то не очень сильных! И вы называете это жестокостью?

— А как же это назвать? Я уверена, что всякая девушка на ее месте скорее согласится пойти на смерть, чем терпеть такой позор!

— Не судите об этих тварях по себе. Для них это дело привычное. С ними только так и можно управляться, а дай им волю — они вам на голову сядут. Нет! Довольно церемониться со служанками! Я их всех до единой туда отправлю, если они будут со мной вольничать! Пусть так и знают!— И Мари с победоносным видом оглянулась по сторонам.

Джейн съежилась и вобрала голову в плечи, как будто эта угроза относилась непосредственно к ней. Минуту мисс Офелия сидела с таким видом, точно она проглотила какое-то взрывчатое вещество и ее, того и гляди, разорвет на части. Потом, поняв всю бесполезность этого разговора, решительно сжала губы, поднялась и вышла из комнаты.

Нелегко было мисс Офелии признаться Розе, что ее заступничество ни к чему не привело. А вскоре в комнату заглянул один из негров и, сказав, что хозяйка велела ему проводить Розу в заведение для порки, увел несчастную девушку, несмотря на все ее мольбы и слезы.

Прошло еще несколько дней. Том стоял, задумавшись, на веранде, когда к нему подошел Адольф, безутешный после смерти Сен-Клера. Адольф всегда чувствовал, что миссис Мари относится к нему с неприязнью, но при жизни хозяина его это мало тревожило. Зато теперь он дрожал за свою судьбу, не зная, что его ждет в ближайшем будущем. Мари уже несколько раз совещалась со своим поверенным и, списавшись с братом Сен-Клера, решила продать дом и всех невольников мужа, а тех, которые принадлежали ей лично, увезти с собой на отцовскую плантацию.

— Знаешь, Том, ведь нас всех продадут,— сказал Адольф.

— Кто тебе это сказал?— спросил Том.

— Я спрятался за портьерой, когда хозяйка разговаривала со своим адвокатом. Через несколько дней нас отправят на аукцион.

— Всё в руках божиих!— тяжело вздохнул Том.

— Такого хозяина у нас больше не будет,— уныло продолжал Адольф.— Да пусть продают! Все лучше, чем оставаться без него у нашей хозяйки.

Том отвернулся. Сердце у него сжалось от боли. Надежда на свободу, мысли о далекой жене и детях мелькнули в его сознании и тут же погасли. Так моряк видит с гибнущего у родных берегов корабля крыши своего селения, церковный шпиль... они мелькают перед ним на миг, а потом навсегда скрываются за бурной волной. Он стиснул руки, стараясь пода-

вить горькие слезы, просившиеся на глаза. Как это ни покажется вам странным, но несчастного Тома обуревала такая жажда свободы, что ему нелегко было перенести этот удар, и чем больше он твердил «всё в руках божиих», тем тяжелее становилось у него на душе.

Он отправился на поиски мисс Офелии, которая после смерти Евы относилась к нему с особенным уважением.

— Мисс Фели,— сказал Том,— мистер Сен-Клер обещал отпустить меня на свободу. Он говорил, что все бумаги уже поданы... Если б вы, мисс Фели, были так добры и напомнили об этом хозяйке, может быть, она исполнила бы волю покойного.

— Хорошо, Том, я поговорю и сделаю все, что в моих силах,— сказала мисс Офелия.— Хотя, если это зависит от миссис Сен-Клер, ты лучше не тешь себя надеждой. Но попробовать все-таки надо.

Этот разговор происходил через несколько дней после случая с Розой, когда мисс Офелия уже начала готовиться к отъезду домой, на свой родной Север.

Поразмыслив как следует, она пришла к заключению, что слишком погорячилась, заступаясь за Розу, и решила на сей раз умерить свою резкость и проявить как можно больше миролюбия. И вот эта добрая душа захватила с собой вязанье и, призвав на помощь все свои дипломатические способности, отправилась в комнату Мари вести переговоры о Томе.

Мари покоилась на диване, подложив под локоть подушку, и рассматривала образчики черного газа, который Джейн принесла из магазина.

— Пожалуй, надо взять вот этот,— сказала она, откладывая в сторону один кусок.— Только не знаю, годится ли такая материя для траура.

— Да что вы, миссис!— затараторила Джейн.— Генеральша Дербеннон как овдовела прошлым летом, так и сшила себе такое платье. И очень красивое получилось!

— Что вы скажете?— обратилась Мари к мисс Офелии.

— Я не знаю, как у вас здесь принято,— ответила та.— Вам лучше об этом судить.

— Мне совершенно нечего надеть, а решать надо как можно скорее, потому что на будущей неделе я отсюда уеду,— сказала Мари.

— Как, уже?

— Да. Брат Сен-Клера пишет, что обстановку и слуг надо продать с аукциона, а дом оставить на попечение поверенного.

— Как раз об этом я и хотела с вами поговорить,— сказала мисс Офелия.— Огюстен обещал отпустить Тома на свободу

и успел предпринять кое-какие шаги к этому. Я надеюсь, что вы доведете начатое им дело до конца.

— И не подумаю!— отрезала Мари.— Том — один из самых ценных невольников. Я не могу позволить себе такую роскошь. И вообще, что он будет делать на свободе? Ему так гораздо лучше живется.

— Том мечтает стать свободным человеком, тем более что хозяин обещал ему это,— сказала мисс Офелия.

— Ну еще бы! — воскликнула Мари.— Они все об этом мечтают, вечно всем недовольны! А я принципиально против освобождения негров. Когда у них есть хозяева, они и живут по-человечески и от рук не отбиваются. Но стоит только отпустить негра на волю, и кончено! Он сопьется, перестанет работать и превратится в бездельника, в бродягу. Таких примеров сотни! Свобода не доводит их до добра.

— Но Том такой работящий, смирный, набожный!

— Ах, что вы мне рассказываете! Будто я не знаю этих негров! Они хороши до тех пор, покуда не уйдут из-под крылышка хозяина.

— Если вы продадите его с аукциона, еще неизвестно, в какие руки он попадет. Об этом тоже следует подумать.

— А, вздор! Почему это вдруг хороший негр достанется плохому хозяину? Плохих хозяев не так уж много. Это все одни разговоры. Я родилась и выросла на Юге и что-то не припомню, чтобы к неграм относились хуже, чем они того заслуживают. Чего другого, а этого опасаться нечего!

— Хорошо, допустим,— твердо сказала мисс Офелия.— Но ведь освобождение Тома было предсмертным желанием вашего мужа! Он обещал умирающей Еве отпустить его, и, по-моему, вам следовало бы считаться с этим.

Мари закрыла лицо платком, разрыдалась и начала усердно нюхать флакон с солями.

— Все против меня!— сквозь слезы причитала она.— Такая нечуткость! Уж от вас-то я совсем не ожидала, что вы будете лишний раз напоминать мне о моем горе! Хоть бы кто-нибудь меня пожалел! Кому еще приходилось терпеть такие испытания! Была у меня единственная дочь — и она умирает. Был муж, который понимал мою сложную натуру,— и его тоже уносит смерть! Вы знаете, как я тяжело перенесла эти утраты, и все-таки не боитесь напоминать мне о них! Это жестоко! Намерения у вас были, вероятно, добрые, но это такая нечуткость с вашей стороны... такая нечуткость!

Мари совсем зашлась от слез и крикнула няне, чтобы та распахнула окна, принесла ей камфару, положила холодный компресс на голову и расстегнула платье. Поднялась обычная

в таких случаях суматоха, и мисс Офелия поспешила скрыться у себя в комнате. Она сразу поняла, что дальнейшие разговоры ни к чему не приведут и только вызовут очередной припадок. После этого стоило кому-нибудь напомнить Мари об отношении ее мужа и Евы к слугам, как она устраивала истерику.

И мисс Офелия помогла Тому лишь тем, что написала письмо миссис Шелби, где сообщала о его невзгодах и настоятельно просила как-нибудь помочь ему.

А вскоре Тома, Адольфа и еще нескольких негров отправили в невольничий барак, в распоряжение одного работорговца, который подбирал партию к предстоящему аукциону.

Глава XXX

НЕВОЛЬНИЧИЙ БАРАК

Невольничий барак! При этих словах некоторые из моих читателей, вероятно, нарисуют себе страшную картину. Перед их мысленным взором предстанет мрачное, смрадное логово. Но вы ошибаетесь, мои простодушные друзья! Живой товар высоко ценится на рынке, следовательно, за ним нужен уход, его надо хорошо кормить и содержать в чистоте так, чтобы он лоснился. Невольничий барак в Новом Орлеане мало чем отличается от всякого другого торгового склада. Подойдя к нему, вы увидите под навесом у входа нескольких негров и негритянок, выставленных там в качестве образца товара, имеющегося в самом помещении.

Вам вежливо предложат пройти внутрь и покажут мужей, жен, братьев, сестер, отцов, матерей и маленьких ребятишек, которых «можно приобрести поштучно и оптом, в зависимости от желания покупателя», можно нанять на время, заложить или обменять на любой другой товар, пользующийся спросом на рынке.

Дня через два после разговора мисс Офелии с Мари Адольфа, Тома и еще нескольких негров Сен-Клера поручили заботам некоего мистера Скеггса, содержателя барака, откуда их должны были повести на аукцион.

Том, как и остальные его товарищи, взял с собой солидных размеров сундучок с одеждой. На ночь их поместили в длинную комнату, обитатели которой — негры всех возрастов, всех оттенков кожи — предавались безудержному веселью и то и дело разражались громкими взрывами хохота.

— Я вижу, вы, ребята, не скучаете. И правильно делаете,— сказал мистер Скеггс, входя в барак.— У меня негры всегда

веселятся. Молодец, Сэмбо!— обратился он к огромному детине, который кривлялся и паясничал на потеху своим собратьям.

Несчастному Тому, как вы легко можете вообразить, было не до веселья, и, поставив свой сундучок подальше от этой шумной компании, он сел на него и прислонился головой к стене.

Торговцы живым товаром обычно из кожи вон лезут, стараясь поддерживать среди невольников бесшабашное веселье, ибо это лучший способ отвлечь их от мыслей о своем положении. Люди, которые вершат судьбу негра с той минуты, как его продают на Севере, и до тех пор, пока он не попадет на Юг, прилагают немало усилий к тому, чтобы сделать свой товар ко всему равнодушным, бесчувственным, грубым. Работорговец собирает партию невольников в Виргинии или Кентукки и гонит их в какую-нибудь здоровую местность на откорм. Сыты они там бывают по горло и все-таки нет-нет да и затоскуют; а чтобы не тосковали, к ним приставляют скрипача и велят плясать и веселиться под музыку. Но попадаются среди них такие, кому пляски и пение не идут на ум, кто не перестает думать о жене, детях, о родном доме. И этих считают строптивыми, опасными и обращаются с ними соответственно. А какого обращения можно ждать от работорговцев — людей жестоких и к тому же ни перед кем не отвечающих за свои действия! «Будь молодцом — веселым, бойким, особенно когда ты на виду,— внушают негру,— иначе не попасть тебе к хорошему хозяину, да и от работорговца влетит, если он не сбудет тебя с рук».

— А что этот негр здесь делает? — сказал Сэмбо, когда мистер Скеггс вышел из комнаты. Сэмбо был черный-пречерный, огромного роста, очень живой и проказливый, как обезьяна.— Ты что тут делаешь?— И он шутливо ткнул Тома пальцем в бок.— Никак, размечтался?

— Меня продадут завтра с аукциона,— негромко ответил Том.

— Продадут с аукциона? Хо-хо! Ребята, видали, каков шутник? Мне бы научиться так людей веселить! И этого тоже завтра продадут?— И Сэмбо бесцеремонно хлопнул Адольфа по плечу.

— Прошу ко мне не лезть!— свирепо огрызнулся тот и выпрямился, выказывая всем своим видом крайнее отвращение.

— Ого! Полюбуйтесь-ка, ребята! Белый негр! Что твои сливки, белый! А надушился-то как!— И Сэмбо потянул носом, принюхиваясь к Адольфу.— Такому место только в табачной лавке! От него весь табак пропахнет духами, покупатели валом будут валить.

— Говорю тебе, не лезь!— повторил взбешенный Адольф.

— Ишь ты, какие мы, белые негры, недотроги! Полюбуйтесь-ка на нас!— И Сэмбо стал кривляться, передразнивая Адольфа.— Фу-ты ну-ты, ножки гнуты! Сразу видно — в хорошем доме жил.

— Правильно!— сказал Адольф.— Мой хозяин за вас всех ломаного гроша бы не дал.

— Ишь ты, поди ж ты,— не унимался Сэмбо,— какие мы важные джентльмены!

— Мои хозяева были Сен-Клеры! — гордо заявил Адольф.

— Да что ты говоришь! Вот они, наверно, радуются, что избавились от такого чучела! Думают, сбыть бы его поскорее с рук вместе с битой посудой и прочей дребеденью!— сказал Сэмбо с издевательской ухмылкой.

Адольф, окончательно выйдя из себя, бросился на своего обидчика с кулаками. В комнате поднялся такой крик и хохот, что на шум прибежал мистер Скеггс.

— Что у вас тут делается! Ну, тихо! — крикнул он, взмахнув длинным бичом.

Негры бросились врассыпную. Один только Сэмбо, успевший завоевать благоволение Скеггса своими шутовскими выходками, остался на месте и, гримасничая, увертывался от ударов его бича.

— Да что вы, сударь! Мы народ смирный. Это вот они, новенькие. Такие задиры оказались, все время к нам привязываются.

Мистер Скеггс налетел на Тома с Адольфом и, не разбираясь, кто прав, кто виноват, наградил обоих тумаками, затем велел всем ложиться спать и удалился.

Теперь, читатель, давайте оставим мужскую половину барака и посмотрим, что делается в помещении, отведенном для женщин. Войдя туда, вы увидите спящих на полу негритянок всех оттенков кожи, всех возрастов. Тут есть и черные как смоль, и почти белые, и маленькие дети, и старухи. Вот лежит хорошенькая девочка лет десяти. Мать ее вчера продали, и она долго плакала втихомолку и наконец заснула. Вот дряхлая старуха. Посмотрите на ее мозолистые ладони и высохшие руки — сколько она потрудилась на своем веку! А завтра ее продадут за бесценок, лишь бы нашелся покупатель. И еще сорок — пятьдесят невольниц лежат в этой комнате, закутавшись с головой кто в одеяло, кто в шаль. А в углу, поодаль от остальных, сидят две женщины, сразу бросающиеся в глаза своим не совсем обычным видом. Одна из них — мулатка лет пятидесяти, с мягким взглядом темных глаз, с приятным лицом. Платье на ней добротное, хорошо сшитое, на голове — высокий тюрбан из цветастого шелка. Сразу видно, что она жила у

заботливых хозяев. Тесно прижавшись к ней, сидит девушка лет пятнадцати — это ее дочь. Судя по светлому оттенку кожи, она квартеронка, но очень похожа на мать. Те же ласковые темные глаза, только ресницы длиннее; те же вьющиеся волосы, только каштановые, а не черные. Одета девушка не менее опрятно, ее нежные, белые руки, видимо, не знали тяжелой работы. И мать и дочь в той же партии, что и слуги Сен-Клера, и завтра их тоже продадут с аукциона. А джентльмен, которому они принадлежат, проживает в Нью-Йорке и считается добрым христианином. Он получит деньги после торгов, преспокойно пойдет в церковь и даже не помянет этих двух женщин в своих благочестивых молитвах.

Обе они — мы будем называть их Сусанной и Эммелиной — были в услужении у одной добрейшей новоорлеанской леди, которая относилась к ним с большой душевностью и даже научила их читать и писать. И, если жизнь в неволе может быть счастливой, Сусанне и Эммелине жилось хорошо. Но делами их благодетельницы управлял ее единственный сын, человек ветреный и любивший сорить деньгами. Мало-помалу он промотал матушкино имение и оказался несостоятельным должником. Одним из самых крупных его заимодавцев была солидная нью-йоркская фирма «Б. и К°». Поверенный «Б. и К°» в Новом Орлеане, получив соответствующее распоряжение от своих доверителей, наложил арест на собственность должника, самыми ценными статьями которой были эти две женщины да негры с плантации. Мистер Б., будучи, как мы уже говорили, добропорядочным сыном церкви и гражданином свободного штата, несколько смутился, получив письмо от своего поверенного. Он не одобрял торговли рабами — принципиально не одобрял! — но речь шла о тридцати тысячах долларов, а тридцать тысяч долларов слишком крупная сумма, чтобы жертвовать ею ради принципа. И вот, поразмыслив как следует и посоветовавшись с людьми, в чьей поддержке он не сомневался, мистер Б. написал поверенному, чтобы тот распорядился делами по своему усмотрению, а затем переслал в Нью-Йорк вырученную сумму.

В положенный срок письмо пришло в Новый Орлеан, и на другой же день Сусанну и Эммелину препроводили в невольничий барак, откуда наутро их должны были повести на аукцион.

Прислушаемся же к разговору этих двух женщин, которые еле виднеются в лунном свете, льющемся сквозь забранное решеткой окно. Обе они плачут, но плачут тихо, так, чтобы никто их не услышал.

— Мама, положи голову мне на колени, поспи немножко,— говорит девушка, стараясь сдержать слезы.

— Где уж тут спать, Эмми! Это последняя ночь, когда мы вместе, ведь завтра расстанемся.

— Мама, не говори так! Кто знает, может быть, нас продадут вместе...

— Эх, Эмми, я так боюсь потерять тебя, что уже ничему не верю! Но если нас разлучат завтра, обещай мне не забывать, чему тебя наставляли с детских лет.

Так говорит несчастная мать, ибо она знает, что завтра любой, самый жестокий, самый подлый, человек может стать хозяином ее дочери, если только у него найдутся деньги на такую покупку.

Но вот наступило утро, и в бараке все пришло в движение. У почтеннейшего мистера Скеггса немало хлопот, так как товар надо подготовить к аукциону. Он наспех оглядывает одежду невольников, приказывает им смотреть веселее и выстраивает их в круг для окончательной проверки, перед тем как вести на биржу.

* * *

Под величественными сводами биржи по мраморным плитам круглого зала расхаживает множество людей. В разных концах его для аукционистов приготовлены небольшие помосты. Два из них уже заняты блистательными ораторами, которые, мешая английский язык с французским, превозносят достоинства своего товара. Возле свободного помоста толпятся невольники, ожидающие начала торгов. Среди них мы видим слуг Сен-Клера — Тома, Адольфа и еще нескольких человек. Тут же стоят Сусанна и Эммелина, испуганные, печальные. Будущие покупатели, а может быть, просто любопытные, ощупывают, разглядывают этот товар со всех сторон, обсуждая его качества вслух, точно жокеи, оценивающие стати скаковых лошадей.

— Альф! А ты как сюда попал? — воскликнул какой-то щеголеватый молодой человек, хлопая по плечу другого такого же щеголя, который разглядывал Адольфа в монокль.

— Мне нужен лакей. Я услыхал, что сен-клеровские негры идут с торгов, и решил посмотреть, может быть...

— Покупать негров Сен-Клера! Да упаси тебя боже! Они избалованные, наглые.

— Я этого не боюсь! — сказал первый. — Если какой-нибудь из них попадет ко мне, живо из него дурь выбью. Со мной шутки плохи, я не Сен-Клер. Нет, в самом деле, надо купить этого молодца. Он мне нравится.

— Да ты с ним разоришься вконец! Ведь он, наверно, счета деньгам не знает.

— У меня узнает! Посидит разок-другой в каталажке и образумится. Будь покоен, я этому милорду покажу, где раки зимуют! Нет, решено: покупаю!

Том тоскливо поглядывал на мелькающие перед ним лица, думая, кого же из этих людей ему бы хотелось назвать своим хозяином. И, если б вам, уважаемый сэр, пришлось вместе с Томом выбирать себе полновластного господина, вы бы убедились, как трудно найти в людской массе такого человека, которому можно безбоязненно доверить свою судьбу. Том видел перед собой людей рослых, широкоплечих, горластых; людей маленьких, щуплых, писклявых; людей подтянутых, вылощенных, холодных и множество представителей той братии, для которой ближний все равно что щепка: понадобится — бросай ее в огонь, не понадобится — оставляй в корзине. Похожих на Сен-Клера среди них не было.

Незадолго до начала аукциона какой-то коренастый, небольшого роста человек с деловым видом протолкался сквозь толпу, бесцеремонно работая локтями, и приступил к осмотру невольников. Том сразу почувствовал к нему отвращение, возраставшее с каждой минутой. Человек этот, несмотря на свой небольшой рост, вероятно, отличался необычайной силой. Круглая, как шар, голова, зеленоватые глаза навыкате, косматые белесые брови и лохмы выцветших волос — все это, надо признаться, не располагало в его пользу. Он жевал табак и то и дело сплевывал густую жижу, утирая свои мясистые губы волосатой, веснушчатой ручищей с грязными ногтями. Осмотр невольников продолжался, очередь дошла до Тома. Незнакомец схватил его за подбородок, осмотрел ему зубы, заставил показать бицепсы, повернуться кругом, подпрыгнуть.

— Откуда родом?— коротко спросил он.

— Из Кентукки, сударь,— ответил Том, беспомощно озираясь по сторонам.

— На какой работе был?

— Управлял хозяйством у господ.

— Ври больше!— бросил незнакомец, отходя от него.

Он задержался на минуту около Адольфа, сплюнул табачную жижу прямо на его начищенные сапоги и, презрительно хмыкнув, двинулся дальше. Теперь перед ним стояли Сусанна и Эммелина. Он поднял свою тяжелую грязную лапу, потрогал руки девушки, посмотрел, какие у нее зубы, и оттолкнул к Сусанне, на лице которой отражались все муки, перенесенные материнским сердцем за эти несколько минут.

Испуганная Эммелина разрыдалась.

— Молчать, тварь! — крикнул аукционист.— Торги начинаются, а она хныкать вздумала!

И торги начались.

Адольф достался за солидную сумму тому самому молодому джентльмену, который и хотел купить его.

Остальных невольников Сен-Клера разобрали другие покупатели.

— Ну, теперь твоя очередь. Слышишь?— окликнул Тома аукционист.

Том поднялся на помост и испуганно огляделся по сторонам. Все звуки слились для него в неясный гул — голос аукциониста, расхваливающего свой товар по-английски и по-французски, выкрики покупателей с мест... и вдруг молоток стукнул в последний раз... Том расслышал только слово «долларов» и понял, что он продан!

Его столкнули с помоста. Коренастый человек с круглой головой грубо схватил свою покупку за плечи и крикнул:

— Стань здесь!

Том почти не сознавал, что с ним происходит. А торги продолжались.

Снова стукнул молоток — Сусанна продана! Она сходит с помоста, задерживает шаги, с тоской оглядывается назад. Дочь протягивает к ней руки. Сусанна обращает страдальческий взгляд на человека, который купил ее. Это почтенный, пожилой джентльмен с добрым лицом.

— Сударь, умоляю вас, купите мою дочь!

— Я бы охотно это сделал, да боюсь, денег не хватит,— говорит тот и с жалостью смотрит, как Эммелина поднимается на помост, испуганно и робко озираясь по сторонам. Кровь приливает к ее бледным щекам, глаза загораются лихорадочным огнем.— Я постараюсь что-нибудь сделать, по мере своих возможностей,— говорит добрый джентльмен, пробираясь к помосту, и вступает в торг.

Впрочем, его хватает ненадолго. Предложения так высоки, что он быстро выбывает из строя. Аукционист горячится, но покупатели умолкают один за другим. Остались двое: какой-то старик весьма важного вида и наш коренастый знакомец с круглой, как шар, головой. Старик набавляет цену, презрительно поглядывая на своего конкурента. Но у коренастого, по-видимому, и упорства больше, и кошелек набит туже. Еще минута — и торг закончен. Стук молотка... девушка досталась ему!

Ее хозяина зовут мистер Легри. Он владелец хлопковой плантации на Ред-ривер. По его приказанию Эммелина становится рядом с Томом и двумя другими неграми и вместе с ними уходит, обливаясь горькими слезами.

Добрый джентльмен огорчен. Впрочем, такие вещи происходят чуть не каждый день. Ни одного аукциона не обходится

без слез — плачут матери, плачут дети. Что поделаешь! Такова жизнь... и так далее, и тому подобное. И он удаляется со своей покупкой в другую сторону.

А через два дня поверенный уважаемой фирмы «Б. и К°» высылает своему клиенту в Нью-Йорк причитающуюся ему сумму денег.

Глава XXXI

В ПУТИ

На нижней палубе захудалого суденышка, плывшего вверх по Ред-ривер, сидел Том. Он был скован по рукам и ногам, но тяжелее этих оков был камень, что лежал у него на сердце. Ясное небо, прежде расстилавшееся над ним, затянулось мглой. Луна, звезды — все померкло. Все уплыло, как уплывают сейчас мимо вот эти деревья на берегу, с тем чтобы никогда больше не возвратиться. Родной угол в Кентукки, жена, дети, добрые хозяева, богатый дом Сен-Клера и сам он — красавец, гордец, казалось бы ко всему равнодушный, но в глубине души такой сердечный, мягкий, золотая головка Евы, привольная, полная досуга жизнь — все это исчезло навсегда. А что осталось взамен?

Одним из самых страшных обстоятельств, связанных с рабством, является то, что негр, привыкший жить в богатом доме, у добрых хозяев, в любую минуту может попасть в руки жестокого и грубого тирана,— точь-в-точь как стол, когда-то украшавший роскошную гостиную, доживает свой век в грязном трактире. Существенная разница состоит лишь в том, что стол ничего не чувствует, тогда как у человека, несмотря на закон, гласящий, что он «приравнивается к домашнему имуществу», нельзя отнять его душу, его воспоминания и привязанности, желания и страхи.

Хозяин Тома, мистер Саймон Легри, купил в Новом Орлеане еще нескольких негров, сковал их в четыре пары и отвел на пароход «Пират», который уже стоял у причала, готовый к отплытию.

Как только судно отошло от пристани, Легри, человек весьма деловитый, явился осмотреть своих негров. Он остановился перед Томом, которому велели одеться к аукциону во все лучшее — в суконный костюм, накрахмаленную сорочку, начищенные сапоги,— и коротко распорядился:

— Встань!

Том встал.

— Сними галстук!

Кандалы мешали Тому, и Легри сам сорвал галстук у него с шеи и сунул его в карман.

Потом он открыл сундучок Тома, уже подвергавшийся предварительному осмотру, вынул оттуда старые штаны и потрепанную рабочую куртку и, сняв с Тома кандалы, мотнул головой на проход между ящиками, нагроможденными на палубе.

— Вон там переоденешься.

Том взял одежду и через несколько минут вернулся.

— Сапоги тоже сними,— скомандовал Саймон.

Том выполнил и это приказание.

— Вот тебе взамен.

К его ногам упала пара грубых башмаков, какие обычно носят невольники.

Снова надев на Тома́ кандалы, Легри приступил к тщательному осмотру карманов на снятом костюме. Он извлек оттуда шелковый носовой платок и тут же завладел им. Несколько мелких вещичек, которые Том хранил на память о Еве, были с презрительным смешком выброшены за борт.

Покончив с карманами, Легри отнес сундучок Тома на бак, где его тут же обступили матросы. Под всеобщий хохот и шуточки по адресу негров, которые «мнят себя джентльменами», гардероб Тома был быстро распродан, а пустой сундучок пущен с аукциона. Все находили очень забавным, что вещи уплывают одна за другой на глазах у их владельца, а когда дело дошло до сундучка, веселью и остротам конца не было.

Но вот распродажа закончилась, и Саймон снова подошел к своему невольнику.

— Ну, Том, как видишь, я избавил тебя от лишнего багажа. А эту одежду береги пуще глаза — другую не скоро получишь. Я своих негров приучаю к бережливости. Одна смена в год — такой уж у меня порядок.

И, отвернувшись от Тома, Легри направился к Эммелине, которая была скована в паре с пожилой мулаткой.

— Смотри веселей, красавица!— крикнул он, потрепав девушку по подбородку.

Ее взгляд, полный невольного отвращения и ужаса, не ускользнул от внимания Легри. Он нахмурился.

— Брось капризничать! Изволь улыбаться, когда хозяин с тобой разговаривает! Слышишь?.. А ты что постную рожу скорчила, старая крыса!— И он толкнул мулатку.— Чтоб я больше этого не видел!.. Эй, вы!— Легри отступил назад.— Смотрите на меня... в глаза, в глаза мне смотрите!— говорил он, топая ногой.

И все невольники, словно завороженные, уставились в яростно сверкающие глаза Саймона.

— Вот это видали? — Он потряс огромным, как кузнечный молот, кулаком.— Тяжелый? — Кулак опустился на плечо Тома.— А мослы какие, видите? Железные! А почему у меня такой кулак? Потому что я бью им негров. С одного удара замертво валятся все, как один.— И Легри так близко поднес кулак к лицу Тома, что тот зажмурился и отпрянул назад.— Управляющих я не держу. Мне этого добра не надо — один справляюсь. И зарубите себе на носу: слушаться меня с первого слова. Со мной только так и можно ладить. Миндальничать с вами я не собираюсь. Запомните это раз и навсегда!

Женщины не удержались и охнули, и все невольники, все восемь человек, уныло опустили головы. А Саймон повернулся на каблуках и направился в буфет выпить стаканчик виски.

— Вот так я начинаю обучение своих рабов,— сообщил он солидному джентльмену, который слышал его речь, обращенную к неграм.— Их надо сразу же припугнуть — пусть знают, что церемониться с ними никто не станет.

— В самом деле?— сказал джентльмен, разглядывая его с таким интересом, точно это был зверь какой-то невиданной доселе породы.

— Да-да! Я не такой, как ваши плантаторы-белоручки, которые нянчатся с неграми и позволяют негодяям управляющим обжуливать себя на каждом шагу. Полюбуйтесь на мои кулаки — каменные, это я на неграх натренировался. Да вы не стесняйтесь, пощупайте!

Его собеседник дотронулся пальцем до этого приспособления для расправы с неграми и сказал:

— Да, действительно! И сердце у вас тоже такое... закаленное?

— Смею думать, что закаленное!— И Саймон расхохотался.— Разжалобить его трудно. Меня ничем не проймешь — ни слезами, ни лестью.

— А невольники у вас все как на подбор.

— Да, жаловаться не на что. Взять хотя бы Тома — вон того, высокого. Мне говорили, что таких негров днем с огнем не сыщешь. Я за него малость переплатил... ну да ничего, он у меня будет кучером или надсмотрщиком. Только сначала ему надо мозги вправить, чтобы забыл начисто, как с ним нянчились прежние хозяева... А вон на той мулатке меня надули. Она, видно, хворая, но все-таки, думаю, себя окупит. Протянет годик-другой, и ладно. Стоит ли беречь этих негров? Одного использовал, покупай другого — и хлопот меньше, и в конечном счете дешевле обходится.— Саймон отхлебнул виски из стакана.

— А на сколько их хватает в среднем?— спросил джентльмен.

—Да как вам сказать... все зависит от здоровья. Кто покрепче, и шесть и семь лет протянет, а хилым срок года три, не больше. Я сначала бог знает как с ними возился, все хотел, чтобы они подольше мне служили. Бывало, заболеют — лечишь их, и одеваешь хорошо, и одеяла им даешь. Ни к чему все это! Сколько денег зря просадил, уж не говоря о хлопотах. А теперь у меня такой порядок: здоров ли, болен — все равно работай. Помрет — покупаю другого. Это и дешевле и проще.

Его собеседник отвернулся и подсел к молодому человеку, который с явным неудовольствием прислушивался к их разговору.

— Вот мерзавец!— сказал первый джентльмен.

— Да, мерзавец! Однако ваши законы позволяют таким мерзавцам вершить судьбы человеческих существ, которые во всем зависят от их воли. А так называемые гуманные люди потакают им. Если б не их попустительство, эта бесчеловечная система не продержалась бы и часа.

— Я советую вам говорить потише,— сказал первый джентльмен.— Здесь среди пассажиров есть такие, которым подобные разговоры могут не понравиться.

Молодой человек покраснел, улыбнулся и предложил своему собеседнику сыграть партию в шахматы.

Тем временем на нижней палубе происходил другой разговор. Беседовали скованные вместе Эммелина и пожилая мулатка. Как и следовало ожидать, они рассказывали друг другу о себе.

— У кого ты жила?— спросила Эммелина.

— У мистера Эллиса, на Леви-стрит. Ты, может, знаешь этот дом?

— А как он с тобой обращался?

— Пока не заболел, хорошо. А как слег в постель на полгода, так замучились мы с ним. Покоя нам не давал ни днем ни ночью. Ничем на него не угодишь! День ото дня все злее и злее становился. Я под конец с ног стала валиться, хожу как сонная муха. Как-то ночью не выдержала и заснула. Что тут поднялось! Света божьего невзвидела! Кричать на меня стал. Я, говорит, тебя продам, такого хозяина тебе подыщу, что не обрадуешься! А ведь раньше обещал отпустить меня на волю после своей смерти.

— А близкие у тебя есть?— спросила Эммелина.

— Есть муж. Он кузнец. Хозяин всегда посылал его на заработки. Я с ним и повидаться не успела... И дети у меня есть — четверо. Ох, горе мое горькое!— И она закрыла лицо руками.

Когда слышишь рассказы о чужих бедах, слова утешения

невольно просятся на язык, но Эммелина ничем не могла смягчить горе несчастной женщины. Да разве утешения тут помогут? И, словно сговорившись, обе они даже не обмолвились о страшном человеке, который стал теперь их полновластным господином.

А «Пират» влачил свой скорбный груз все дальше и дальше по излучинам Ред-ривер, катившей мутные волны среди унылого однообразия крутых глинистых берегов, на которые с такой тоской были устремлены глаза пассажиров нижней палубы.

Наконец он остановился у маленького городка, и здесь Легри со своими неграми сошел на пристань.

Глава XXXII

ПРОКЛЯТЫЕ МЕСТА

Том и его товарищи устало брели по неровной дороге следом за катившимся перед ними фургоном.

В фургоне восседал Саймон Легри, а обе женщины, все еще прикованные друг к другу, пристроились среди багажа в самом его задке. Вся эта процессия направлялась к плантации Легри, а путь до нее был дальний.

Заброшенная дорога вилась то среди унылых, поросших соснами равнин, по которым со свистом гулял ветер, то среди бесконечных болот, где кипарисы, увитые траурными гирляндами черного мха, печально шумели ветвями над зыбучей трясиной, вплотную подступавшей к бревенчатой гати. Под ногами у путников то и дело шныряли ядовитые змеи, гнездившиеся среди гнилых сучьев и пней.

Любой путник загрустит на такой дороге, даже тот, кто едет на добром коне и у кого кошелек набит деньгами. Но какой же безнадежной и мрачной кажется она рабам, которые, ступая по ней, с каждым шагом удаляются от того, что дорого их сердцу!

Так подумал бы каждый, взглянув на угрюмые черные лица этих людей, поймав тоскливые, но полные бесконечной покорности взгляды, которыми они провожали все, что попадалось им на их скорбном пути.

Впрочем, Саймон, по-видимому, чувствовал себя отлично и время от времени вытаскивал из кармана бутылку и подкреплялся глотком виски.

— Эй, вы!— крикнул он, оглянувшись и увидев печальные лица невольников.— Заводи песню, ребята! Ну!

Негры молча переглянулись, и Саймону пришлось повторить свое «Ну!», сопроводив его на сей раз щелканьем бича.

После второго окрика один из негров затянул излюбленную рабами бесхитростную песню:

Енота поймать нелегко, нелегко!
Хай-хай-эй-хо!
Хозяин смеется, а луна высоко.
Хай-хай-эй-хо!
Хай-эй-хай-хо!

Запевала отчеканивал ритм песни, не особенно заботясь о словах, а остальные подтягивали ему хором:

Хай-хай-эй-хо!
Хай-эй-хай-хо!

Пели громко, с напускной веселостью, но никакой самый жалобный вопль не мог бы выразить столько тоски и горя, сколько слышалось в этом разудалом припеве.

— Ну, милочка,— сказал Саймон, поворачиваясь к Эммелине и кладя руку ей на плечо,— вот мы скоро и дома.

Когда Легри злобствовал и бранился, Эммелина дрожала от страха, но она согласилась бы терпеть от него побои, лишь бы не слышать этого умильного голоса, не чувствовать прикосновения этой грубой руки. Она промолчала и только теснее прижалась к соседке, ища у нее защиты, словно у матери.

— Ты серег никогда не носила?— спросил Легри, касаясь заскорузлым пальцем ее маленького уха.

— Нет, хозяин,— чуть слышно проговорила Эммелина, дрожа всем телом и не глядя на него.

— Вот подожди — приедем домой, я тебе такие сережки подарю, если будешь умницей! Не бойся, работать я тебя не заставлю, ты у меня по-барски заживешь.

Выпитое виски настроило Легри на благодушный лад, тем более что путь их приближался к концу: вдали виднелась изгородь его плантации.

Поместье это когда-то принадлежало весьма состоятельному и обладавшему к тому же большим вкусом джентльмену, который положил немало труда на украшение своей усадьбы. Но после его смерти она была продана за долги и досталась Саймону по дешевке, а он думал только об одном — как бы выжать из нее побольше денег. С годами усадьба приняла совершенно запущенный вид, и все старания ее прежнего владельца пошли прахом.

Газон перед домом, некогда обсаженный кудрявым кустар-

ником, зарос сорной травой; часть его, у коновязи, была вытоптана лошадьми. Повсюду валялись дырявые ведра, обглоданные кукурузные початки и прочий мусор. Кусты жасмина и жимолости еще цеплялись кое-где за покосившиеся гипсовые столбики, к которым теперь привязывали лошадей. Большой цветник тоже глушили сорняки, сквозь них еле пробивались одинокие головки редкостных садовых растений. Стекла в оранжерее были выбиты, а на ее зеленых от плесени полках стояли горшки с высохшими палочками вместо цветов.

Фургон свернул на заглохшую аллею, обсаженную благородными ясенями, которые по-прежнему были покрыты густой листвой и, кажется, единственные здесь не боялись никаких невзгод.

Дом, большой, красивый и, как большинство помещичьих домов на Юге, двухэтажный, был опоясан широкими верандами, куда выходили двери всех комнат; нижняя веранда покоилась на кирпичных подпорках. Однако он тоже казался нежилым. Несколько окон в нем было забито досками, в других не хватало стекол, ставни висели на одной петле — все говорило о полном запустении.

Во дворе повсюду валялись щепки, клочья соломы, рассохшиеся бочки, ящики. Четыре свирепых пса с лаем выскочили откуда-то на стук колес, и, если бы подоспевшие слуги не отогнали их, Тому и его товарищам пришлось бы плохо.

— Только осмельтесь бежать отсюда — вот, смотрите, что вас ждет!— сказал Легри, лаская собак.— Они у меня натасканы ловить беглых негров. И оглянуться не успеете — загрызут. Зарубите это себе на носу!.. Ну, Сэмбо,— обратился он к оборванному негру в шляпе без полей, который угодливо юлил около него,— как тут у вас дела?

— Лучше некуда, хозяин.

— Квимбо!— окликнул Легри другого такого же оборванца, всячески старавшегося попасться ему на глаза.— Ты все выполнил, что тебе было приказано?

— Я да не выполню!

Эти два негра были старшими работниками на плантации. Хозяин выдрессировал их не хуже своих бульдогов, и они, пожалуй, не уступали им в свирепости. Подобно многим повелителям, о которых говорится в истории, Легри властвовал над своими рабами, сея между ними раздор. Сэмбо и Квимбо яростно ненавидели друг друга, все остальные невольники ненавидели их, и, пользуясь этим, хозяин мог быть уверенным, что в доносчиках у него недостатка не будет.

От скуки Легри приятельствовал со своими двумя подручными. Впрочем, эти приятельские отношения каждую минуту

грозили им бедой, потому что оба они только и ждали, как бы оговорить друг друга перед хозяином.

— Сэмбо,— сказал Легри,— отведи этих молодцов в поселок. А вот эту красавицу я привез тебе.— Он снял кандалы с мулатки и толкнул ее к нему.— Я своих обещаний не забываю.

Мулатка в ужасе отпрянула от Сэмбо.

— Что вы, хозяин! У меня муж остался в Новом Орлеане!

— Подумаешь, важность! Я тебе другого даю. Не рассуждать! Ступай!— крикнул Легри, замахиваясь на нее бичом.— А ты пойдешь со мной,— обратился он к Эммелине.

Чье-то смуглое, искаженное злобой лицо мелькнуло в окне дома, и, когда Легри распахнул дверь, ведущую с веранды в комнаты, там раздался властный женский голос. До Тома, с тревогой смотревшего вслед Эммелине, донесся сердитый окрик хозяина:

— Молчать! Что хочу, то и делаю!

Но больше он ничего не расслышал, так как Сэмбо погнал их всех в поселок.

Сердце у Тома сжалось, когда перед ним показались два ряда убогих, ветхих лачуг, стоявших далеко от господского дома. Он утешал себя мыслью, что ему дадут хижину, пусть бедную, но такую, где можно будет навести порядок и спокойно проводить свободные от работы часы. А в этих лачугах ничего не было — четыре стены и куча грязной соломы на земляном полу, утоптанном ногами их прежних обитателей.

— В какой же я буду жить? — покорно спросил он Сэмбо.

— Не знаю... Да вот хоть в этой,— ответил тот.— Здесь, кажется, одно место не занято. Остальные битком набиты. И куда я вас всех дену, просто ума не приложу!

* * *

Был уже поздний вечер, когда измученные тяжелой работой, оборванные, грязные невольники потянулись с полей домой. Они оглядели новоприбывших неприветливо, хмуро. Маленький поселок ожил — всюду звучали злобные гортанные голоса. То там, то здесь вспыхивала перебранка из-за ручных мельниц, на которых каждый должен был смолоть свою жалкую порцию кукурузы. На ужин у невольников были только лепешки из этой муки. Все они уходили в поле чуть свет и работали допоздна под надзором вооруженных бичами Сэмбо и Квимбо. Сбор хлопка был в самом разгаре, а Легри не церемонился со своими рабами и выжимал из них все, что мог.

Том приглядывался к лицам этих людей, тщетно стараясь найти среди них хоть одно приветливое, дружеское. Он видел

только хмуро насупившихся, озлобленных мужчин и запуганных, изможденных женщин.

Кукурузу мололи до поздней ночи. Мельниц не хватало, и те, кто был послабее, получали их в последнюю очередь.

— Эй, ты!— крикнул Сэмбо, подходя к мулатке и бросая к ее ногам мешок с кукурузой.— Как тебя зовут?

— Люси,— ответила та.

— Так вот, Люси, раз ты моя жена, изволь смолоть это зерно да напеки мне лепешек к ужину. Слышишь?

— Я тебе не жена и никогда твоей женой не буду!— сказала Люси с тем мужеством, которое рождается в человеке только в минуту отчаяния.— Оставь меня!

— Смотри, изобью!— крикнул Сэмбо, занося ногу для удара.

— Бей меня, бей! Чем скорее убьешь, тем лучше. Мне жизнь не дорога!

— Ты что, рабов вздумал калечить? Ну подожди, я все расскажу хозяину,— вмешался Квимбо, который только что отогнал двух негритянок от мельницы и сам стал на их место.

— А я ему пожалуюсь, что ты не даешь женщинам молоть зерно,— сказал Сэмбо.— И не суйся не в свое дело, дьявол!

Том проголодался за дорогу и еле стоял на ногах от усталости.

— Вот, получай, негр!— крикнул Квимбо, швыряя ему маленький мешочек с кукурузой.— Да смотри, поаккуратней ее расходуй. Это тебе на неделю.

Тому долго пришлось дожидаться мельницы, а когда наконец его очередь подошла, он пожалел двух измученных женщин, смолол сначала их зерно, подбросил хворосту в костер и только тогда подумал о себе. Уж, казалось бы, невелика услуга, но здешнему народу всякое доброе дело было в диковинку. Женщины сразу прониклись благодарностью к Тому и просветлели лицом. Они замесили ему тесто и принялись печь лепешки.

Оставшись один, Том долго сидел у костра, бросавшего красноватые отблески на землю, и смотрел в небо, где светила спокойная, ясная луна. Потом он встал и побрел в свою лачугу. Негры уже спали там вповалку на полу; воздух был спертый. Том хотел было устроиться где-нибудь под открытым небом, но побоялся росы. Он остался в лачуге и, закутавшись в рваное одеяло, которое должно было заменить ему постель, вытянулся на соломе и уснул.

Глава XXXIII

КАССИ

Том вскоре же понял, чего следует опасаться и на что можно надеяться, живя у такого хозяина, как Легри. Любая работа горела у него в руках, а по складу своего характера он был человек старательный и добросовестный. И со свойственным ему миролюбием Том решил, что усердный труд хотя бы в какой-то мере оградит его от преследований и мучений, а там — кто знает, может быть, ему удастся спастись отсюда.

Легри не мог не оценить своего нового невольника, но он испытывал к нему то смутное чувство неприязни, которое обычно возникает у всякого дурного человека к человеку хорошему. От Легри не укрылось, что Том осуждает его жестокое обращение с беззащитными рабами, а осуждение, хоть и молчаливое, неприятно чувствовать, даже когда оно исходит от подвластного существа. К своим товарищам Том относился с непривычными для них лаской и участием, и Легри злобствовал, видя это. Он купил Тома с тем расчетом, чтобы сделать из него впоследствии нечто вроде надсмотрщика и поручать ему все хозяйство на время своих отлучек. Но от невольника, занимающего такую должность, прежде всего требуется жестокость. Легри решил выработать в нем это ценное качество и через несколько недель приступил к выполнению своего замысла.

Как-то утром перед выходом в поле Том с удивлением заметил в поселке новую женщину, которая сразу обратила на себя его внимание. Высокая, стройная фигура, изящные руки и ноги, хорошее платье резко выделяли ее в толпе невольников. Ей могло быть лет тридцать пять — сорок, а лицо ее, которое, раз увидев, трудно было забыть, говорило о бурной, полной горя жизни. Чистый лоб, резко очерченные брови, правильный нос, прекрасная линия рта, горделивая посадка головы — все свидетельствовало о том, что когда-то эта женщина была очень красива. Теперь же лицо ее бороздили глубокие морщины, проведенные на нем страданиями и муками уязвленной гордости. Черты его заострились, кожа, обтягивавшая резко обозначенные скулы, отливала нездоровым, желтоватым оттенком. Но заметнее всего были на этом лице глаза — большие, сумрачно-темные, опушенные длинными черными ресницами и полные безысходного отчаяния. Дикая гордость и надменность сквозили в уголках губ, в каждом движении незнакомки, только подчеркивая страшный контраст, который являл собой ее взгляд, выражавший бесконечную душевную муку.

Кто она была, откуда взялась, Том не знал. Она возникла

рядом с ним в серых предрассветных сумерках и, гордо подняв голову, зашагала в поле. Но остальные невольники, видимо, знали ее. Они оборачивались, поглядывали на эту женщину, явно взбудораженные ее появлением среди них.

— Нашлась и на нее управа! И поделом!— сказал кто-то.

— Хи-хи-хи!— послышался другой голос.— Теперь небось хлебнешь горя, белоручка!

— Посмотрим, как она будет работать!

— Глядишь, вечером всыплют ей горячих заодно с нами!

— Вот бы посмотреть, как ее будут пороть!

Незнакомка не обращала внимания на эти издевки, словно не слыша их, но надменная, злобная усмешка не сходила с ее губ. Том сразу почувствовал, что эта женщина знавала лучшие времена. Но каким образом она очутилась теперь в таком унизительном положении, он не мог понять. Незнакомка ни разу не взглянула на него, не сказала ему ни слова, хотя всю дорогу шла рядом с ним.

Вскоре они пришли в поле, но Том и здесь то и дело оглядывался на свою соседку. Ему сразу стало ясно, что благодаря врожденной ловкости и сообразительности ей легче справляться с работой, чем другим. Она собирала хлопок быстро, аккуратно и продолжала все так же надменно усмехаться, точно презирая и эту работу, и унизительность своего положения.

В середине дня Том перешел ближе к мулатке, которую Легри купил вместе с ним. Люси, видно, совсем выбилась из сил, еле волочила ноги и все время стонала и охала. Он улучил минуту и, не говоря ни слова, переложил несколько горстей хлопка из своей корзины в ее.

— Зачем? Не надо!— сказала она, растерянно взглянув на него.— Тебе за это попадет.

И тут, откуда ни возьмись, около них вырос Сэмбо, у которого был зуб против этой несчастной женщины. Он крикнул свирепым гортанным голосом:

— Ты что это, Люси? Мошенничать вздумала?— и ударил ее ногой в тяжелом башмаке, а Тома хлестнул бичом по лицу.

Том не промолвил ни слова, снова принялся за работу, а Люси, и без того еле державшаяся на ногах, замертво упала на землю.

— Ничего, сейчас очухается!— со злобной усмешкой сказал Сэмбо.— Мое лекарство лучше всякой камфары.— С этими словами он вытащил из обшлага булавку и по самую головку вонзил ее в ногу женщины. Та охнула и приподнялась с земли.— Вставай, подлая! Слышишь? Не то хуже будет!

Мулатка сделала над собой нечеловеческое усилие, встала и начала с лихорадочной быстротой собирать хлопок.

— Больше не отлынивай!— крикнул Сэмбо.— Жизни будешь не рада, если что замечу!

— А зачем мне жизнь?— сказала женщина, и вскоре до Тома снова донесся ее голос:— Сколько еще можно терпеть? Господи, помоги нам, что же ты оставил нас?

Не думая о том, чем это грозит ему, Том подошел к Люси и переложил в ее корзину весь свой хлопок.

— Не надо! Не надо! Ведь с тобой бог знает что сделают.

— Что бы ни сделали, мне будет легче это перенести, чем тебе,— ответил Том и вернулся на свое место. Все это заняло у него не больше минуты.

И вдруг незнакомка, которая работала неподалеку и слышала их разговор, устремила на Тома тяжелый взгляд своих темных глаз, взяла хлопка из стоявшей перед ней корзины и переложила к нему.

— Не стал бы ты так делать, если б знал здешние порядки,— сказала она.— Поживешь у нас с месяц, тогда забудешь, как другим помогать. Лишь бы своя шкура была цела.

— Да хранит меня от этого бог, миссис! — воскликнул Том.

— Бог в наши места не заглядывает,— с горечью ответила ему женщина, принимаясь за работу, и губы ее снова искривились в презрительной усмешке.

Но Сэмбо с другого конца поля видел, что она сделала, и зашагал прямо к ней, размахивая бичом.

— Это что такое!— закричал он торжествующим голосом.— И ты туда же! Мошенничать! Ну, берегись! Теперь я над тобой хозяин!

Словно молния сверкнула в черных глазах женщины. Выпрямившись, она круто повернулась к Сэмбо; губы у нее задрожали, ноздри расширились, во взгляде, устремленном на него в упор, вспыхнули ярость и презрение.

— Посмей только тронуть меня, мерзавец! Да мне стоит слово сказать — и тебя затравят собаками, сожгут заживо, разорвут на клочки! Это еще в моей власти!

— Зачем же ты в поле вышла?— пробормотал Сэмбо, явно струхнув, и нехотя отступил от нее.— Да разве я что плохое хотел сделать, миссис Касси?

— Тогда отойди подальше, чтоб духу твоего здесь не было!— прикрикнула она на него.

И Сэмбо покорно отправился в дальний конец поля, где у него сразу нашлись какие-то дела.

Женщина снова принялась собирать хлопок, и работа шла у нее так быстро, что это казалось настоящим колдовством. К вечеру ее корзина была набита доверху, а за день она ухитрилась еще несколько раз подбросить хлопка и Тому.

Уже совсем затемно измученные невольники, неся корзины на голове, потянулись к сараю, где взвешивался и хранился собранный хлопок. Там их ждал Легри, деловито переговаривавшийся о чем-то со своими подручными.

— С этим Томом никакого сладу нет: все время подкладывал Люси хлопок. Если хозяин не даст ему хорошей острастки, он у нас всех негров перемутит,— сказал Сэмбо.

— Вот черт!— возмутился Легри.— Ну что ж, ребята, придется нам образумить этого прохвоста.

Оба негра свирепо осклабились.

— Уж будьте спокойны! Мистер Легри кого хочешь образумит. В этих делах ему сам дьявол в подметки не годится,— сказал Квимбо.

— Так вот, я решил — поручу Тому порку негров. Это лучшее средство выбить у него дурь из головы. Небось образумится!

— Нелегкое дело вы задумали, хозяин.

— Ничего, я своего добьюсь,— сказал Легри, заправляя языком табак за щеку.

— А уж эта Люси! Вот дрянь-то! Второй такой твари на всей плантации не найдется,— ввернул Сэмбо.

— Что ты на нее взъелся, Сэм? Подозрительно!

— Да ведь она вашего же приказания ослушалась — не пошла ко мне в жены.

— Выпороть ее, так послушалась бы,— сказал Легри, сплевывая.— Да сейчас не до этого, очень уж время горячее. Сейчас каждый работник на счету. На вид-то она хлипкая, а такие — самый упрямый народ. До полусмерти придется запороть, пока не образумится.

— Она лодырничает да вдобавок дерзкая такая — только и знает, что брюзжать. Том за нее всю работу делает.

— Вот как? Ну что ж, пусть он сам собственноручно Люси и высечет. Во-первых, ему надо привыкать, а во-вторых, он все-таки не переусердствует. Не то что вы, дьяволы!

— Ха-ха-ха!— загоготали оба негодяя, подтверждая своим злобным хохотом отзыв, который дал о них Легри.

— Вот увидите, хозяин, как Том и миссис Касси постарались. Корзина-то у Люси будет полная.

— Я сам ее взвешу,— многозначительно сказал Легри.

Оба надсмотрщика снова расхохотались.

— Так... Значит, миссис Касси работала полный день?

— Да еще как работала! Будто в нее дьявол вселился со всеми своими чертями!

— Они всегда при ней, и дьявол и черти,— сказал Легри и злобно выругался.

* * *

Измученные, примолкшие люди медленно, один за другим входили в сарай и со страхом ставили свои корзины на весы.

Легри отмечал принятый хлопок на грифельной доске, к которой была приклеена сбоку полоска бумаги с именами невольников.

Корзина Тома потянула хорошо, и он отошел в сторону, с тревогой глядя на Люси.

Шатаясь от усталости, она подошла к весам и поставила на них свою корзину. Легри сразу увидел, что придраться не к чему, и все-таки закричал, притворившись разгневанным:

— Ах ты тварь ленивая! Опять недовес! Ну подожди! Это тебе даром не пройдет!

Люси застонала и в отчаянии опустилась на скамью.

Настала очередь женщины, которую называли миссис Касси. Она выступила вперед и с надменной усмешкой небрежно поставила свою корзину на весы.

Легри насмешливо, но пытливо заглянул ей в глаза. Она ответила ему твердым взглядом и проговорила что-то по-французски, еле заметно шевельнув губами. Никто не понял ее слов, один только Легри, услышав их, изменился в лице. Он занес руку, точно собираясь ударить ее, но она смерила его презрительным взглядом, повернулась и вышла из сарая.

— А теперь, Том, пойди сюда,— сказал Легри.— Помнишь, я говорил, что не затем я тебя покупал, чтобы ты работал наравне с остальными. Ну, так вот, получишь повышение: будешь у меня надсмотрщиком. Сегодня с вечера и приступай к своим новым обязанностям. Возьми вон ту женщину и высеки ее. Ты ведь видал, как это делается. Справишься?

— Прошу прощения, хозяин,— сказал Том,— увольте меня от этого. Я к такому делу не привык, никогда этим не занимался... и не смогу, рука не подымется.

— Ты у меня к такому привыкнешь, что тебе раньше и во сне не снилось!— крикнул Легри, схватил плетку и ударил Тома наотмашь по щеке — раз, другой, третий.— Ну!— сказал он, остановившись, чтобы перевести дух.— Все еще отказываешься?

— Отказываюсь, хозяин,— ответил Том и утер рукой кровь, струйкой сбегавшую по лицу.— Я готов работать день и ночь, работать до последнего вздоха, но против совести своей не пойду, хозяин, никогда не пойду.

Голос у Тома был мягкий, ровный, держался он всегда почтительно, и поэтому Легри считал его покладистым, трусо-

ватым. Последние слова Тома так поразили невольников, что они охнули, как один человек. Несчастная мулатка сжала руки и прошептала:

— О господи!

Остальные переглянулись между собой и затаили дыхание, готовясь к неминуемой грозе.

Легри оторопел от неожиданности, но быстро пришел в себя и рявкнул:

— Ах ты скотина черномазая! Ему, видите ли, совесть не позволяет выполнить хозяйскую волю! Да вам, тварям, и думать об этом не полагается! Ты что о себе возмечтал? В господа́ метишь? Мистер Том указывает хозяину, что справедливо и что несправедливо! Так тебе совесть не позволяет высечь эту ведьму?

— Не позволяет, хозяин,— сказал Том.— Она совсем больная, слабая. Разве можно быть таким жестоким? Я никогда на это не соглашусь. Хозяин, если вы хотите меня убить, убейте, а руки я на нее не подниму. Мне смерть и то легче.

Том говорил тихо, но в этом тихом, мягком голосе слышалась несокрушимая воля. Легри трясло как в лихорадке, его зеленоватые глаза так и сверкали, он весь ощетинился от ярости.

— Ах ты святоша! Учить нас, грешников, вздумал? А что в Библии написано, забыл? «Рабы, повинуйтесь господам вашим». А кто твой господин? Я! Кто заплатил за тебя, собаку, тысячу двести долларов? Ты теперь мой, и душой и телом!— И Легри изо всех сил ударил Тома ногой.

Но эти слова пробудили ликующую радость в измученном сердце Тома. Он выпрямился и, подняв к небу залитое слезами и кровью лицо, воскликнул:

— Нет, нет, хозяин! Мою душу не купишь ни за какие деньги! Вы над ней не вольны!

— Не волен?— со злобной усмешкой повторил Легри.— Сейчас посмотрим... Эй, Сэмбо, Квимбо! Всыпать этому псу, да так, чтобы он месяц очухаться не смог!

Оба великана, точно исчадия ада, со злобным ликованием схватили свою жертву. Мулатка в ужасе вскрикнула, остальные невольно поднялись с мест, глядя вслед Тому, который покорно дал вывести себя из сарая.

Глава XXXIV

ИСТОРИЯ КВАРТЕРОНКИ

Поздно ночью Том, весь окровавленный, лежал один в чулане при хлопкоочистительной мастерской, заваленном поломанными инструментами, отходами хлопка и прочим мусором, скопившимся здесь за много лет.

Ночь была сырая и душная: укусы комаров, тучами круживших в чулане, бередили его раны, а жгучая жажда — самая страшная изо всех пыток — еще больше усиливала и без того нестерпимую боль, не дававшую ему ни минуты покоя.

— Господи! Обрати взор свой на меня! Дай мне сил одолеть это испытание, укрепи дух мой!— молился несчастный Том.

В чулане послышались чьи-то шаги, и свет фонаря ударил ему в глаза.

— Кто это? Ради создателя... пить!

Касси — это была она — поставила фонарь на пол, налила в кружку воды из принесенного с собой кувшина и приподняла Тому голову. Он с лихорадочной жадностью делал глоток за глотком.

— Пей, пей,— говорила она.— Я знала, что тебе нужно. Мне не в первый раз носить сюда воду по ночам.

— Благодарю вас, миссис,— сказал Том, утолив наконец жажду.

— Не зови меня так. Я несчастная рабыня, ничем не лучше тебя... может быть, даже хуже,— с горечью проговорила Касси.— А теперь попробуй лечь вот сюда.— Она вытащила из-за двери узкий матрац и накрыла его простыней, смоченной в холодной воде.

Избитому Тому стоило величайших трудов перебраться на матрац, но, когда он все-таки сделал это, ему сразу стало легче от прикосновения к телу прохладной простыни.

Касси, давно привыкшая ухаживать за жертвами своего хозяина, приложила примочки к ранам Тома, и страдания его немного утихли.

— Вот,— сказала она, подсунув ему под голову хлопок вместо подушки,— это все, чем я могу тебе помочь.

Том снова поблагодарил ее, а она села рядом с ним на пол, обняла колени руками и застыла так, сумрачно глядя прямо перед собой. Чепец у нее сбился на затылок, длинные волнистые волосы рассыпались из-под него, обрамляя черной рамкой это необычное, трагическое лицо.

— Все твои страдания напрасны,— заговорила наконец

Касси.— Ты ничего не добьешься. У тебя есть мужество, и правда на твоей стороне, и все-таки бороться ты не сможешь. Ты попал в лапы к дьяволу, он сильнее тебя. Покорись, ничего другого не остается!

Покорись! А разве в минуты слабости, изнемогая от мук, он не слышал голоса, шептавшего ему то же самое? Том вздрогнул, глядя на эту женщину с безумными глазами, казавшуюся ему сейчас воплощением соблазна, с которым он боролся всю ночь.

— Боже мой! Боже! — простонал несчастный.— Как я могу покориться?

— Нечего взывать к богу, он не услышит,— твердо сказала Касси.— Да его, наверно, и нет, а если есть, он против нас. Все против нас — и земля и небо. Нам уготована одна дорога — в ад. Стоит ли с нее сворачивать?

Том вздрогнул и закрыл глаза — в такой ужас привели его эти слова.

— Ты ведь здешней жизни еще не знаешь,— продолжала она.— А я знаю. Я пять лет живу под пятой этого человека и ненавижу его лютой ненавистью. Ты только подумай: наша плантация в глуши, кругом болота, до соседних поместий миль десять, не меньше. И ни одного белого поблизости, который мог бы показать под присягой, что тебя сожгли заживо, сварили в кипятке, запороли, изрезали на куски, бросили на растерзание собакам или вздернули на сук. Здесь для нас нет закона, ни божеского, ни человеческого, а хозяин наш... он на все способен, на любую жестокость. Если рассказать, чего я здесь насмотрелась, у тебя волосы станут дыбом от ужаса. Нет, борьба бесполезна. Я прожила у этого человека пять лет, и за все эти пять лет не было такой минуты, когда бы я не проклинала свою жизнь. А теперь он привез молоденькую, совсем девочку, ей всего пятнадцать лет.— И Касси рассмеялась надрывным, горестным смехом, жутко прозвучавшим в этом ветхом чулане.

Том сжал руки на груди. Как страшно, какой непроницаемый мрак окружает его!

А Касси продолжала тем же суровым голосом:

— Разве эти жалкие псы заслуживают, чтобы ты страдал из-за них? Да они предадут тебя при первой же возможности. Что у них на уме? Одна подлость, одна жестокость. Ты их оберегаешь, идешь из-за них на муки! Не стоят они того!

— Несчастные! — сказал Том.— Что их так ожесточило? А если я сдамся, я тоже притерплюсь к этой жизни и стану таким же, как они? Нет, нет, миссис Касси! Я потерял все — жену, детей, родной дом, доброго хозяина... а ведь он дал бы мне вольную, если б прожил хоть на неделю дольше! Я потерял все в этом мире, так неужели же мне еще и озлобиться?

— А что поделаешь? Завтра за тебя снова примутся. Я заранее все знаю. Страшно подумать, что будет! Волей-неволей покоришься.

— Господи! — воскликнул Том.— Укрепи душу мою, дай мне сил!

— Сколько раз я слышала эти мольбы, и никому они не помогали, все сдавались. Вот и Эммелина пытается бороться, и ты. А какой смысл в вашей борьбе? Все равно сдадитесь или умрете медленной смертью.

— Ну что ж, пусть лучше смерть! — сказал Том.— Как ни растягивай пытку, смерть все равно придет. А тогда я уж буду не в их власти. Я спокоен, я знаю, что господь поможет мне одолеть все муки!

Касси ничего не ответила; она сидела, не поднимая глаз.

— Может быть, так и надо,— прошептала она, словно размышляя вслух.— Ведь тем, кто покорился, надеяться не на что. Мы погрязаем в мерзости и становимся противны самим себе. Смерть кажется нам желанным гостем, а покончить с этой жизнью у нас не хватает сил. Да, надежды нет, нет!.. А эта девочка... ведь я тогда была в ее возрасте!.. Погляди на меня! — вдруг быстро заговорила она, обращаясь к Тому.— Вот какая я стала. А ведь меня растили в роскоши. Первое, что я помню,— богатый дом, я бегаю, резвлюсь, нарядная, как куколка. У нас много гостей, и все мною любуются. Окна зала выходили в сад, где я играла с братьями и сестрами в прятки под апельсиновыми деревьями. Потом меня отдали в монастырь. Чему нас только не учили там — музыке, французскому языку, рукоделью... А в четырнадцать лет я приехала домой на похороны отца. Он умер скоропостижно, и, когда его дела стали приводить в порядок, выяснилось, что все пойдет на покрытие долгов. Кредиторы описали его имущество, в эту опись внесли и меня: моя мать была рабыней. Отец давно собирался дать мне вольную, но не успел, поэтому так и вышло. Я и раньше знала свое положение, но как-то не задумывалась над этим. Кому могло прийти в голову, что такой здоровый, крепкий человек, как мой отец, скоро умрет? Он был на ногах за четыре часа до смерти... и вдруг холера — тогда в Новом Орлеане вспыхнула эпидемия, и он стал одной из первых ее жертв. На другой день после похорон жена моего отца уехала вместе со своими детьми к родителям, на их плантацию. Мне показалось странным, как со мной обошлись, но я не придала этому особого значения. Все дела были поручены молодому адвокату, который приходил к нам в дом каждый день и обращался со мной очень почтительно. Как-то раз он привел с собой молодого человека... Такого красавца мне еще не приходилось видеть. Я никогда не забуду тот вечер. На сердце у меня

лежала тоска, а он был так ласков, так нежен со мной. Он говорил, что видел меня еще до моего отъезда в монастырь, признался мне в любви, просил разрешения стать моим другом, защитником... Короче говоря, этот молодой человек заплатил за меня две тысячи долларов, и я стала его собственностью, но тогда я этого не знала. Мне было хорошо с ним, потому что я любила его. Любила! — повторила Касси и на минуту умолкла.— Как я любила этого человека! Я и сейчас его люблю и всегда буду любить, пока во мне теплится жизнь. Он был такой красивый, такой умный, такой благородный! Я жила в прекрасном доме, богато обставленном, полном слуг. У меня был свой выезд, у меня было много нарядов. Мой Генри дал мне все, что только можно купить за деньги. Но я ничем этим не дорожила. Мне нужен был только он. Я любила его больше всего на свете, я бы душу свою за него отдала! Я покорялась ему во всем!

Мне хотелось только одного: чтобы он стал моим мужем. Я думала, если этот человек действительно любит и ценит меня так, как говорит, он должен обвенчаться со мной и сделать свою жену свободной женщиной. Но он уверял, что это невозможно.

За те семь лет, которые мы прожили вместе, разве я не угождала ему во всем, не старалась отгадать малейшее его желание? Он заболел желтой лихорадкой, и я — я одна! — двадцать дней и двадцать ночей не отходила от него, давала ему лекарства, ухаживала за ним. Он называл меня своим ангелом-хранителем, говорил, что я спасла ему жизнь. У нас было двое детей. Старшего, мальчика, мы в честь отца назвали Генри. Он был весь в него — такие же прекрасные глаза, высокий лоб, волнистые волосы, такой же веселый, с такими же богатыми способностями. Малютка Эльси была похожа на меня. Генри так гордился и мной и детьми, говорил, что по красоте мне нет равной во всей Луизиане. Бывало, я наряжу малышей, и он повезет нас кататься по городу в открытом экипаже. Все восхищаются нами, а Генри рад и потом повторяет мне, кто что сказал. Какие это были счастливые дни! Казалось, что большего счастья и быть не может. И вдруг все изменилось. В Новый Орлеан приехал двоюродный брат Генри, Батлер, которого он считал лучшим своим другом. Но я, сама не знаю почему, с первого же взгляда почувствовала, что этот человек разрушит наше счастье. Генри часто уходил с ним куда-то и возвращался домой не раньше двух-трех часов ночи. Я боялась сказать ему слово — ведь он был такой вспыльчивый. Они ходили в игорные дома, и мой Генри пристрастился к картам и уже не мог бросить их. А потом этот злодей Батлер познакомил его с другой женщиной, и вскоре я поняла, что для меня все кончено. Сердце мое разрывалось на части, но я молчала. И все тот же Батлер уговорил Генри продать

ему и меня и детей, чтобы распутаться с карточными долгами и жениться... Генри продал нас. Однажды он сказал мне, что ему надо уехать по делам недели на две, на три. Такой ласки в голосе я у него уже давно не слышала, но это не обмануло меня. Я поняла, что час мой пробил, и словно окаменела — не пролила ни слезинки, не сказала ему ни слова. Он поцеловал меня, долго обнимал детей и ушел. Я видела, как он вскочил в седло, как скрылся за углом, а потом упала, потеряв сознание.

На другой день пришел тот — негодяй. Пришел заявить права на свою собственность. Он показал мне купчую крепость на меня и на детей. Я крикнула: «Будьте вы прокляты! Да мне лучше умереть, чем идти к вам!»

А он сказал: «Это как твоей душе угодно. Но, если ты не образумишься, детей своих тебе больше не видать, я их продам». И потом негодяй признался мне, что он с первого дня нашего знакомства решил завладеть мной и нарочно втянул Генри в карточную игру, чтобы тот запутался в долгах и продал меня. «А твои капризы и слезы мне не страшны, я своего добьюсь»,— добавил он.

И я покорилась судьбе, потому что у меня были связаны руки. Мои дети оказались во власти этого Батлера, он, чуть что, грозил продать их, и я уступала ему во всем. Что это была за жизнь! Сердце мое разрывалось от боли и все-таки продолжало любить, любить, несмотря ни на что, а мне приходилось мириться с присутствием ненавистного человека. В былое время с какой радостью я читала Генри вслух, играла, пела ему, танцевала с ним. А теперь все это стало тяжким бременем. Но отказать Батлеру я не смела ни в чем. Он обращался с детьми грубо, свысока. Эльси была робкая, застенчивая девочка, а Генри — весь в отца, горячий, непокорный. Этот человек придирался к моему мальчику, не прощал ему ни малейшей провинности, и я жила в вечном страхе за него. Ведь дети были мне дороже самой жизни. Я старалась внушить Генри уважение к Батлеру, старалась, чтобы они реже попадались друг другу на глаза. Но это ничему не помогло. Батлер продал их. Как-то днем этот негодяй повез меня кататься, а когда я вернулась домой, детей моих уже не было. Он сказал, что продал их обоих, он похвалялся деньгами, которые получил за них,— похвалялся ценой их крови! И тут разум оставил меня. Я пришла в бешенство, я осыпала проклятиями и бога и людей и, кажется, напугала Батлера. Но он продолжал стоять на своем. Он повторял, что дети мои проданы, а увижу ли я их когда-нибудь — это зависит от меня: если я не перестану безумствовать, им же будет хуже.

Ну что ж, ради детей женщина пойдет на все. Батлер заставил меня покориться своей воле. Я лелеяла надежду, что, может

быть, он действительно выкупит Эльси и Генри. Миновала неделя, другая. Как-то днем я проходила мимо тюрьмы. Вижу, у ворот ее собралась толпа. И вдруг до меня донесся детский крик. Это был голос Генри. Он вырвался из рук мужчин, которые держали его, и вцепился в мое платье. За ним кинулись с бранью, и один человек — я в жизни не забуду его лица! — крикнул: «Нет, шалишь, от нас не уйдешь! В тюрьме так тебя проучат, что ты век будешь помнить!» Я просила, я умоляла их не трогать моего мальчика, но они только смеялись в ответ на все мои мольбы. Генри плакал, заглядывал мне в лицо, цеплялся за меня, и, когда его все-таки оторвали, у него в руках остался клок от моей юбки. Он кричал: «Мама! Мама!», пока дверь тюрьмы не захлопнулась за ним.

Только один человек из всей толпы смотрел на меня с сочувствием. Я кинулась к нему, умоляла его вступиться за моего сына, предлагала все деньги, которые были при мне. Но он покачал головой и сказал, что хозяин Генри жаловался на его строптивость и говорил, что такого дрянного мальчишку может исправить только тюрьма. Я повернулась и побежала, и мне всю дорогу слышались сзади крики моего сына. Подбегаю к дому и, не переводя дыхания,— прямо в гостиную, где сидел Батлер. Взмолилась: «Спасите Генри!» А он рассмеялся и сказал, что мальчишка получил по заслугам: «Его надо обломать как следует, и чем скорее это будет сделано, тем лучше. Не понимаю, чего ты хочешь!»

И тогда в голове у меня помутилось от ярости, перед глазами пошли круги. Помню только, я увидела большой охотничий нож на столе, схватила его и бросилась с ним на Батлера. А потом все вдруг заволокло туманом, и дальше я уже ничего не сознавала.

Так прошло немало дней. Но наконец я очнулась и увидела, что лежу в какой-то чужой хорошей комнате. За мной ухаживала старушка негритянка, меня навещал доктор. Пожаловаться я ни на что не могла. А потом выяснилось, что Батлер уехал из Нового Орлеана и велел меня продать. Вот почему обо мне так заботились в этом доме.

Я не хотела выздоравливать и призывала к себе смерть. Но болезнь моя прошла, силы вернулись, пришлось встать. И тогда мне было велено наряжаться каждое утро и выходить к разным господам, которые разглядывали меня, покуривая сигары, заставляли отвечать на их вопросы и приценялись ко мне. Но кому была нужна угрюмая, молчаливая женщина? Наконец мне сказали: «Если не будешь веселее и любезнее, высечем». И вот в один прекрасный день в этот дом пришел джентльмен, по фамилии Стюарт. Он, видимо, сжалился надо мной, почувствовал,

что у меня какое-то страшное горе, и стал часто ходить к нам. Мы виделись с ним наедине, и, уступив наконец его просьбам, я рассказала ему все. Вскоре Стюарт купил меня и пообещал вернуть мне моих детей. Он пошел в гостиницу, где работал Генри, но там ему сказали, что мальчика продали какому-то плантатору с Жемчужной реки. Больше я ничего не слышала о своем сыне. Потом Стюарт узнал и о судьбе Эльси. Она жила у одной пожилой женщины. Стюарт предложил за нее громадные деньги, но ему ответили отказом. Батлер проведал, кто хочет ее купить, и написал мне, что я никогда не увижу свою дочь. У капитана Стюарта я жила очень хорошо. Он увез меня на свою плантацию. Через год у нас родился сын. Как он был дорог мне! Как он был похож на моего несчастного Генри! Но я решила твердо: ему незачем жить — и, обливаясь слезами, покрывая поцелуями его личико, дала ему, двухнедельному крошке, опия, и он уснул навсегда у меня на руках. Как я горевала, как оплакивала своего сына! Все, разумеется, решили, что тут произошла ошибка. И это один из немногих моих поступков, которым я не перестаю гордиться. Хоть одного ребенка мне удалось уберечь от страданий! Смерть — лучший удел для него... А потом Стюарт заболел холерой и умер. Все, кому хотелось жить, все умирали, а я сама звала к себе смерть и не могла дозваться ее. Меня опять продали, и я стала переходить от одного хозяина к другому. Молодость моя прошла, появились морщины, а тут еще лихорадка... И в конце концов я попала вот сюда, к этому негодяю...

Касси умолкла. Она рассказала историю своей жизни быстро, горячо, то обращаясь к Тому, то забывая о нем и говоря сама с собой. И в словах этой женщины было столько страсти и покоряющей силы, что Том уже не чувствовал собственных страданий и, приподнявшись на локте, следил, как она беспокойно шагает из угла в угол и как длинные темные волосы тяжелой волной переливаются у нее за плечами.

Вдруг она остановилась и снова заговорила:

— Ты мне сказал, что на небе есть бог, который смотрит на землю и видит все, что здесь творится. Так почему же он допускает такое? Нет, я не буду дожидаться его помощи, я сама отомщу за себя и за своих детей, и скоро отомщу! — Она сжала кулаки, и ее черные глаза вспыхнули, как у безумной.— Я его отправлю куда следует, а там пусть меня хоть сожгут заживо, мне все равно!

Прошла минута-другая. Несчастная женщина успокоилась и, подойдя к Тому, спросила:

— Чем я могу тебе помочь, бедняга? Хочешь еще воды?

Жалость, звучавшая в ее голосе, мягкость ее движений так не вязались с недавней одержимостью!

Том выпил воды, хотел сказать что-то, но Касси остановила его:

— Молчи, не надо говорить. Постарайся заснуть.

Она поставила кувшин поближе к нему, оправила его жалкую постель и вышла из чулана.

Глава XXXV

ТАЛИСМАН

Гостиной в доме Легри служила длинная, просторная комната с большим камином. Когда-то она была оклеена дорогими пестрыми обоями, но теперь от них остались только бесцветные клочья, свисавшие с покрытых плесенью стен. В воздухе стоял тот нездоровый запах сырости, пыли и запустения, которым обычно бывают пропитаны заброшенные старые дома. На обоях виднелись пивные и винные пятна, какие-то записи мелом и длинные столбики цифр, точно кто-то занимался тут арифметикой. В камине была поставлена жаровня с тлеющими углями, так как в этой огромной комнате даже в теплую погоду по вечерам чувствовались сырость и холод. Кроме того, Легри всегда надо было иметь под рукой угли, чтобы закуривать сигару и греть воду для пунша. Жаровня бросала багровые блики по стенам, обнаруживая всю неприглядность этой гостиной, заваленной седлами, уздечками, сбруей, кнутами и разной одеждой, на которой с удобством располагались уже известные нам собаки.

Легри готовил себе пунш и, наливая в стакан горячую воду из треснувшего, с отбитым носиком кувшина, ворчал:

— Пропади он пропадом, этот Сэмбо! Натравил меня на новых невольников в такое горячее время! Теперь Том с неделю будет в лежку лежать.

— Пеняй на себя! — послышался голос позади его кресла. Это сказала Касси, незаметно прокравшаяся в комнату.

— А, чертовка, вернулась?

— Да, вернулась,— холодно ответила она.— И опять примусь за свое.

— Врешь! Как я сказал, так и будет. Возьмись за ум! А не возьмешься, проваливай в поселок и работай вместе со всеми и харч получай там же.

— Да мне в тысячу раз лучше валяться в грязной лачуге, чем жить под твоим копытом! — воскликнула Касси.

— От моего копыта никуда не денешься,— сказал Легри и схватил ее за руку.

— Берегись, Саймон Легри! — крикнула Касси, бешено сверкнув глазами.— А все-таки ты меня боишься,— насмешливо добавила она,— и неспроста боишься: ведь во мне сидит сатана. Так будь же осторожней!

Последние слова Касси проговорила свистящим шепотом в самое ухо Легри.

— Перестань! Ты и вправду с сатаной спуталась! — крикнул он, отталкивая ее от себя. Взгляд у него был испуганный.— Слушай, Касси! Давай будем друзьями, как прежде!

— Друзьями! — повторила она и не могла больше выговорить ни слова от нахлынувшей на нее ярости.

Легри всегда ощущал над собой власть Касси — власть сильного, безудержного в своих чувствах существа, которая способна покорять даже самые грубые натуры. Но за последнее время, изнемогая под страшным гнетом рабства, Касси стала беспокойной и вспыльчивой, как никогда. Вспыльчивость ее иной раз граничила с безумием, что приводило в трепет Легри, который, подобно всем невежественным людям, питал суеверный страх перед сумасшедшими. Когда в доме появилась Эммелина, чувство, глубоко таившееся в окаменевшем сердце Касси, вспыхнуло ярким пламенем, она вступилась за девушку и с яростью набросилась на Легри. Тот, выведенный из себя, пригрозил послать Касси на полевые работы, если она не образумится. Касси гордо ответила, что это ее не страшит. И, как мы уже видели, проработала в поле до позднего вечера, выказав этим свое пренебрежение к угрозам хозяина.

Весь тот день Легри было не по себе, ибо Касси все время занимала его мысли.

Когда она поставила свою корзину на весы, у него мелькнула надежда на примирение, и он шутливо заговорил с ней, стараясь задобрить строптивую женщину, но из этой попытки ничего не вышло.

Зверская расправа с несчастным Томом окончательно взбесила Касси, и она вернулась домой только для того, чтобы отчитать Легри за его бесчеловечность.

— Перестань буйствовать, Касси,— сказал он,— будь благоразумной.

— И ты смеешь говорить о благоразумии! А сам что натворил? Кто искалечил лучшего работника на всей плантации? И нашел время, когда это делать,— в самую горячую пору! Вот до чего тебя доводит злоба!

— Что верно, то верно. Не следовало мне, дураку, с ним связываться,— сказал Легри.— Однако, если раб заартачится, ему нельзя потворствовать, его надо образумить.

— Ну, Тома тебе не удастся образумить.

— Не удастся? — крикнул Легри, вскакивая с кресла.— А вот посмотрим! Нет таких негров на свете, которые устоят передо мной! Я ему все кости переломаю, а своего добьюсь!

В эту минуту дверь приоткрылась, и на пороге показался Сэмбо.

Он шагнул вперед и с поклоном протянул Легри какой-то маленький сверток.

— Что это у тебя? — спросил тот.

— Талисман, хозяин.

— Что за талисман?

— Это такая штука, которую негры достают у колдуний. Она отводит боль. С ней им любая порка не страшна. А Том носил ее на шее, на черном шнурке.

Подобно многим невежественным и жестоким людям, Легри был суеверен. Он взял бумажный сверток у Сэмбо и с опаской развернул его.

Оттуда выпали серебряный доллар и длинная золотистая прядь волос, которая, словно живая, обвилась вокруг пальца Легри.

— Проклятье! — крикнул он, в бешенстве топая ногами и швыряя локон в камин.— Где ты взял его? Сжечь, сжечь немедленно!

Сэмбо смотрел на хозяина с разинутым ртом, а Касси остановилась на пороге, не понимая причины такой ярости.

— Не смей больше приносить мне всякую чертовщину! — Легри замахнулся кулаком на Сэмбо, потом схватил серебряный доллар и вышвырнул его за окно.

Сэмбо был рад унести ноги. Когда дверь за ним захлопнулась, Легри, видимо устыдившись своей вспышки, сел в кресло и стал молча потягивать пунш. А Касси тем временем незаметно выскользнула из комнаты и пошла навестить несчастного Тома, о чем мы уже рассказывали.

Что же произошло с Легри? Почему такая невинная вещь, как прядь светлых волос, привела в ужас человека, которого, казалось бы, ничем нельзя было смутить? Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны познакомить читателя с его прошлым.

Было время, когда погрязший в пороках Саймон знавал материнскую ласку и засыпал, младенцем, в объятиях матери. Эта кроткая женщина с терпением и любовью растила своего единственного сына, но он, не внимая ее советам, ее уговорам, пошел по стопам деспотичного, жестокосердного отца, рано покинул материнский кров и отправился искать счастья в море.

С тех пор Саймон побывал дома только раз. И мать, не пере-

стававшая любить свое беспутное детище, сделала все, чтобы отвратить его от греховной жизни и наставить добру.

Саймон колебался, готовый склониться на ее мольбы, но порочность взяла в нем верх. Он стал пьянствовать и однажды ночью, когда несчастная женщина в порыве отчаяния упала перед ним на колени, ударил ее ногой, с проклятиями выбежал из дому и вернулся на свой корабль.

Прошло немало времени, прежде чем он снова вспомнил свою мать. Как-то раз в самый разгар кутежа ему подали письмо. Он распечатал конверт; оттуда выпал длинный локон — выпал и обвился вокруг его пальцев. А в письме было сказано, что мать Саймона Легри умерла и что, умирая, она простила сына и послала ему свое благословение.

Легри сжег и письмо и локон, но, глядя, как огонь пожирает их, он внутренне содрогался, думая об адском пламени. С тех пор чем он только ни пытался заглушить в себе воспоминания об этом — попойками, разгулом, богохульством,— ему ничего не помогало. И по ночам, когда среди глубокой тишины он оставался наедине со своей неспокойной совестью, перед ним вдруг вставал бледный призрак матери, он чувствовал, как ее локон мягко обвивается вокруг его пальцев, и, весь в холодном поту, вскакивал с постели...

— Проклятый негр! — бормотал Легри между глотками пунша.— Где он достал эту штуку? Ни дать ни взять тот самый... Уф! Я думал, все забыто, да где тут забыть! Ох, тоска какая! Эмми, что ли, позвать? Она ненавидит меня, да я на это не посмотрю, заставлю ее спуститься вниз!

Он вышел в темные сени, в дальнем конце которых виднелась лестница на второй этаж. И лестница и сени, когда-то пышно убранные, были теперь завалены всяким хламом, заставлены ящиками. Голые ступеньки уходили во тьму. В разбитое полукруглое окно над дверью лился слабый лунный свет. Воздух здесь был затхлый, в нем чувствовалась пронизывающая сырость, как в склепе.

Легри остановился у лестницы и прислушался. Наверху кто-то пел. Как странно и жутко было слышать пение в этом запущенном, старом доме! А может, у него просто нервы разгулялись? Тсс!..

Сильный и нежный голос пел песню, излюбленную рабами:

Слезы, слезы,
Плач и слезы у престола господня...

— Вот проклятая! Придушить ее мало! — пробормотал Легри. Потом крикнул: — Эмми! Эмми!

Но ответом ему послужило эхо, насмешливо повторившее его зов. А звонкий девичий голос продолжал:

Расстаются навеки,
Расстаются навеки
Мать и сын у престола господня.

Легри поднялся на одну ступеньку и снова замер. Он постыдился бы признаться в этом самому себе, но крупные капли пота выступили у него на лбу, сердце ёкнуло от страха. Ему показалось даже, будто во тьме перед ним мелькнуло что-то белое. Уж не призрак ли это покойной матери?

— Теперь мне ясно одно,— прошептал он, нетвердыми шагами возвращаясь в гостиную,— этого негра надо оставить в покое. Тут без колдовства не обошлось. Иначе с чего бы меня так знобило и прошибало по́том! Откуда он взял этот локон? Неужто тот самый? Да нет, не может быть! Ведь тот я сжег, сжег собственными руками. Не из пепла же он возродился!.. Довольно вам спать, проснитесь! — Легри засвистал и топнул ногой на собак.

Но те сонно повели на него глазами и не двинулись с места.

— Сэмбо и Квимбо, что ли, позвать? — продолжал Легри говорить сам с собой.— Пусть спляшут, повеселят меня, разгонят эти черные мысли.

Он надел шляпу, вышел на веранду и затрубил в рог, вызывая своих верных приспешников.

Когда Легри бывал в хорошем расположении духа, он часто призывал к себе Квимбо и Сэмбо и, предварительно напоив этих головорезов, развлекался их пением, плясками или дракой — в зависимости от настроения.

Возвращаясь от Тома около двух часов ночи, Касси услышала несущиеся из дома дикие крики, посвист и улюлюканье вперемежку с оглушительным лаем собак.

Она поднялась на веранду и заглянула в окно гостиной. Легри и оба надсмотрщика, вдребезги пьяные, горланили песни, орали, метались по комнате, опрокидывая стулья, и строили друг другу нелепые и страшные рожи.

Касси отвела рукой створку ставни и долго смотрела на то, что творилось в гостиной. Ее темные глаза горели презрением и яростной злобой.

— Неужели грешно избавить мир от такого мерзавца? — прошептала она.

Потом круто повернулась, вошла в дом с черного хода и, поднявшись по лестнице, постучала к Эммелине.

Глава XXXVI

ЭММЕЛИНА И КАССИ

Касси открыла дверь и увидела, что Эммелина, бледная от страха, сидит, забившись в дальний угол комнаты. Девушка вздрогнула, но, узнав Касси, бросилась к ней, схватила ее за руку и сказала:

— Касси! Как я рада! Я думала, это... Боже мой, если б ты знала, что там делается весь вечер!

— Мне ли не знать! — сухо сказала та.— Я не в первый раз это слышу.

— Касси! Если бы убежать! Все равно куда: на болота, где змеи,— куда угодно! Неужели нам отрезаны все пути?

— Отсюда только один путь — в могилу,— сказала Касси.

— И ты никогда не пробовала убежать?

— Другие пробовали, а я видела, чем это кончалось.

— Я готова скитаться по болотам, глодать древесную кору! Пусть там змеи! Лучше жить среди змей, чем около этого человека! — волнуясь, говорила Эммелина.

— Многие так думали,— ответила ей Касси.— Но на болотах долго не пробудешь: выследят с собаками, приведут обратно, а потом... потом...

— А что он сделает, если поймает? — Девушка жадно всматривалась ей в лицо, дожидаясь ответа.

— Спроси лучше, чего он не сделает,— сказала Касси.— Этот человек изучил свое подлое ремесло среди пиратов в Вест-Индии. Ты потеряешь сон, если послушаешь, что мне приходилось видеть здесь, и узнаешь, как он похваляется своими подвигами. У меня, бывало, по неделям стояли в ушах вопли его жертв. Ты еще не видела пустырь за поселком, не видела сухое дерево с обуглившимся стволом, а под ним горы золы. Спроси кого хочешь, что там делалось, и тебе никто не посмеет сказать правду.

— Какую правду?

— И я тебе не скажу. Мне даже вспомнить об этом страшно. А что будет завтра, если Том не покорится ему?

— Боже мой! — прошептала Эммелина и побелела от ужаса.— Что же делать, Касси?

— То, что делаю я: пить! Сначала мне тоже было трудно привыкнуть к этому, а теперь не могу без вина. Надо же иметь какую-то радость в жизни. Выпьешь — и кажется, что не так уж все страшно вокруг.

— Моя мать предостерегала меня: никогда не пей,— сказала Эммелина.

— Мать тебя предостерегала! — с горечью воскликнула Касси.— Кому нужны материнские предостережения! Нас покупают, за нас платят деньги, и мы не принадлежим самим себе. Вот так-то! Пей, Эммелина, пей, сколько сможешь, и тебе станет легче.

— Касси, Касси, пожалей меня!

— Пожалеть? А разве я не жалею? Ведь у меня тоже была дочь! Где она? Кто над ней сейчас властвует, одному богу известно. Наверно, пошла по стопам своей матери. И ее детей ждет та же участь. И не будет этому конца, ибо над нами тяготеет вечное проклятие!

— Лучше бы мне не родиться на свет божий! — воскликнула Эммелина.

— Я тоже не раз говорила это и давно наложила бы на себя руки, да вот только решимости не хватает,— сказала Касси, устремив в темноту тяжелый, полный отчаяния взгляд.

— Это большой грех,— прошептала Эммелина.

— А разве не грех жить так, как мы живем?

Эммелина отвернулась от нее и закрыла лицо руками.

Пока обе женщины разговаривали наверху, попойка в гостиной кончилась, и мертвецки пьяный Легри успел заснуть.

Сон у него был неспокойный, полный странных видений. Вот перед ним вдруг выросла женская фигура, закутанная в саван. Холодная рука легко коснулась его лба. Он узнал, кто это, узнал, не видя лица, и задрожал всем телом. Потом все тот же локон обвился вокруг его пальцев, скользнул выше и словно петлей сдавил ему шею, не давая дышать. Послышался леденящий кровь шепот. И вдруг перед ним разверзлась бездна, чьи-то руки толкали его туда, он отбивался от них, не помня себя от ужаса, и, оглянувшись, увидел Касси. Она смеялась и тоже протягивала к нему руки, а за ее спиной стоял тот призрак... но уже без савана, и это была его мать. Она медленно отвернулась от своего сына, и он, не удержавшись на краю бездны, полетел вниз под дьявольские визги, крик и хохот.

Ночь миновала. Розовый свет спокойной утренней зари уже проникал в окна. Легри открыл глаза и прежде всего выругался. Разве для него свершалось ежедневное чудо утра, разве для него играли золотом и пурпуром лучи восходящего солнца? Не замечая всего этого, он встал, пошатываясь, со своего ложа, налил себе стакан коньяку и опорожнил его до половины.

— Ну и ночка выдалась! — пожаловался он Касси, которая в эту минуту вошла в гостиную.

— Это не последняя. Таких ночек у тебя еще много будет,— сухо сказала она.

— Почему это?

— Скоро узнаешь почему,— тем же тоном ответила Касси.— А теперь, Саймон Легри, послушайся моего совета.

— Очень они мне нужны, твои советы!

— Послушайся меня и оставь Тома в покое,— продолжала Касси, прибирая комнату.

— А почему ты о нем заботишься?

— Почему? Да я сама не знаю почему. Если тебе ничего не стоит искалечить в самое горячее время работника, за которого уплачено тысяча двести долларов, то меня это и подавно не касается. Я все, что могла, для него сделала.

— Вот как? А кто тебя просит вмешиваться?

— Никто не просит. Я не первый раз выхаживаю твоих невольников, спасаю тебе немалые деньги, и вот какая меня ждет благодарность! Проиграешь ты свое пари, еще как проиграешь!

У Легри, подобно многим из его собратьев, была только одна цель в жизни: снять как можно больше хлопка со своих полей, и он держал пари с другими плантаторами, что у него будет самый богатый урожай в этом году. Таким образом, Касси с чисто женской хитростью затронула в нем самую чувствительную струнку.

— Ну ладно, на сей раз с него хватит,— сказал Легри,— только пусть попросит у меня прощения и даст слово больше не дурить.

— Этого он не сделает,— сказала Касси.

— Не сделает?

— Нет.

— А позвольте узнать почему? — с величайшим презрением спросил Легри.

— Потому что он поступил правильно и прекрасно знает это. Выходит, каяться ему не в чем.

— А какое мне дело, знает он или не знает? Негру как велено, так он и должен говорить, не то...

— ...не то этот негр не сможет работать, и ты проиграешь пари.

— Да он живо пойдет на попятный! Что я, негров не знаю? Сегодня же утром будет скулить как собака.

— Не будет, Саймон. Таких людей ты еще не встречал. Том умрет медленной смертью, а не покается.

— Посмотрим. Где он? — спросил Легри, выходя из гостиной.

— В чулане при мастерской,— ответила Касси.

Легри хоть и хорохорился в присутствии Касси, но ее благоразумные советы, а также воспоминание о кошмаре, не дававшем ему покоя ночью, возымели на него свое действие. Он решил повидаться с Томом без свидетелей и отложить расправу с ним на

более подходящее время — в том случае, если этот непокорный негр будет стоять на своем.

Торжественная провозвестница дня — утренняя звезда заглянула в маленькое оконце чулана, и, подняв на нее глаза, Том спокойно, без дрожи услышал приближающиеся шаги своего мучителя.

— Ну, друг мой любезный, как поживаешь? — начал Легри и ударил Тома ногой.— Хороший урок получил? Небось не понравилось! Ты будто присмирел со вчерашнего дня! Проповеди бедным грешникам больше читать не будешь?

Том молчал.

— Встать, скотина! — крикнул Легри, снова пиная его ногой.

Трудно было избитому, ослабевшему Тому выполнить это приказание, и, глядя на его тщетные попытки подняться, Легри громко захохотал:

— Что это ты какой вялый? Уж не простудился ли вчера?

Том наконец встал и замер в неподвижности, глядя на хозяина.

— Вот дьявол! Да ты еще держишься на ногах? — Легри смерил его взглядом.— Значит, мало тебе всыпали! Ну, Том, становись на колени и проси у меня прощения за вчерашнее.

Том не шелохнулся.

— На колени, собака! — крикнул Легри, стегнув его плетью.

— Хозяин,— сказал Том,— мне не в чем каяться. Я поступил по совести. И в следующий раз поступлю точно так же, что хотите со мной делайте.

— Ты еще не знаешь, что я могу с тобой сделать, любезнейший. Вчерашнее — пустячки. Это даже в счет не идет. Ну, а что ты, например, скажешь, если тебя привяжут к дереву и будут поджаривать на медленном огне? Приятно, правда?

— Хозяин,— ответил Том,— вы купили меня, и я буду вам верным, работящим слугой. Мои силы, мое время — это все ваше. Но над моей душой вы не властны. Вы можете запороть меня, уморить голодной смертью, сжечь заживо. Ну что ж, мне умирать не страшно!

— Собака! — крикнул Легри, одним ударом сбив его с ног.

Чья-то холодная мягкая ладонь легла на руку Легри. Он оглянулся. Это была Касси. Но ее прикосновение напомнило ему кошмар, мучивший его ночью, и прежние страхи снова овладели им.

— Не строй из себя дурака,— сказала она по-французски.— Что я тебе говорила? Оставь его. Поручи мне уход за ним, и он снова сможет работать.

Легри подумал и решил оставить Тома в покое — на время.

— Ладно, делай как знаешь,— буркнул он. Потом взглянул

на Тома.— А ты запомни: сейчас мне некогда с тобой возиться — рабочие руки нужны, но я ничего не забываю. Когда-нибудь мы с тобой расквитаемся. Я на твоей черной шкуре все вымещу! Так и знай!

Он повернулся и вышел из чулана.

— Подожди,— зловеще бросила ему вслед Касси,— придет и твой час!.. Ну, как ты, бедняга?

— Ангел господень усмирил льва до поры до времени,— ответил Том.

— Да, только до поры до времени,— сказала она.— Но теперь берегись: он злопамятный. Он, как собака, будет преследовать тебя изо дня в день, будет капля по капле пить твою кровь. Я его знаю!

Глава XXXVII

СВОБОДА

А теперь оставим нашего Тома в руках его мучителей и займемся судьбой Джорджа и Элизы, которых мы видели в последний раз на чистенькой придорожной ферме в штате Огайо.

Том Локкер, если вы помните, стонал, лежа в белоснежной постели под заботливым присмотром тетушки Доркас, не замедлившей убедиться, что ухаживать за таким пациентом так же легко, как за больным бизоном.

Представьте себе дородную, полную достоинства женщину в белом чепце на серебристых волосах, разделенных пробором и обрамляющих высокий чистый лоб,— это и есть тетушка Доркас. Взгляд ее серых глаз — умный, сосредоточенный; на груди крест-накрест повязана белая косынка; коричневое платье уютно шуршит при каждом ее движении.

— Фу ты черт! — рычит мистер Локкер, сбрасывая с себя простыню.

— Слушай, Томас, очень тебя прошу — не бранись! — говорит ему тетушка Доркас и спокойно оправляет его постель.

— Ладно, бабушка, постараюсь. Только как тут не ругаться — жарко мне, дышать нечем!.. А этот мулат с женой тоже здесь? — сердито спрашивает он после паузы.

— Здесь, здесь,— отвечает тетушка Доркас.

— Им надо скорее добираться до озера,— продолжает Том.— Нечего время терять.

— Они, наверно, так и сделают,— говорит тетушка Доркас и с безмятежным видом принимается за вязанье.

— И слушай, что я тебе скажу,— продолжает Том.— Теперь

уж мне нечего скрывать. Наши подручные в Сандаски следят за посадкой на пароходы. Надеюсь, что они прозевают этого Гарриса со всей его компанией. И пусть прозевают назло Мэрксу, будь он проклят!

— Томас Локкер! — останавливает его Доркас.

— Э-э, бабушка! Если ты будешь затыкать мне рот, меня разорвет на части, как засмоленную бутылку... А насчет его жены вот что скажу: пусть оденется как-нибудь по-другому, так, чтобы и узнать было нельзя. Ее приметы известны в Сандаски.

— Мы об этом подумаем,— с полной невозмутимостью говорит Доркас.

Прощаясь с Томом Локкером, скажем напоследок, что раны и горячка продержали его в квакерском домике около трех недель, после чего он встал значительно поумневшим и остепенившимся и, бросив охоту на беглых негров, обосновался в одном из отдаленных поселков, где его таланты нашли себе такое прекрасное применение в ловле медведей, волков и других обитателей лесных чащ, что это принесло ему немалую славу.

Предупрежденные Томом об опасности, грозящей им в Сандаски, беглецы решили разделиться. Первыми выехали из поселка Джим со своей старухой матерью, а на третью ночь отправились в Сандаски и Джордж с Элизой и ребенком. Там их приютила одна гостеприимная семья, и они стали готовиться к последнему этапу своего пути — переезду через озеро.

Ночь близилась к концу, утренняя звезда — звезда их свободы — сияла высоко в небе. Свобода! Заветное слово! Что такое свобода для молодого человека, который сидит сейчас, скрестив руки на груди, устремив куда-то вдаль сосредоточенный взгляд горящих глаз? Что такое свобода для Джорджа Гарриса? Свобода для него — это право быть человеком, а не рабочим скотом; право называть любимую женщину своей женой и ограждать ее от насилия и беззакония; право защищать и воспитывать своего ребенка; право жить с ними под одной кровлей, жить по своей воле, независимо от воли другого.

Джордж склонил голову на руку и задумчиво посмотрел на жену, переодевавшуюся в мужское платье, которое должно было изменить ее хрупкую фигурку до неузнаваемости.

— И теперь последнее,— сказала Элиза, глядя на себя в зеркало и распуская свои волнистые иссиня-черные волосы.— Жалко, Джордж, правда? — И она подняла на ладони густую шелковистую прядь.— Да, жалко с ними расставаться.

Джордж грустно улыбнулся и ничего не ответил.

Элиза снова повернулась к зеркалу. Ножницы блеснули в ее руке, и тяжелые пряди одна за другой упали на пол.

— Вот и все! — сказала она, берясь за головную щетку.—

Теперь я буду прихорашиваться... Ну, как тебе нравится этот молодой человек? — Элиза повернулась к мужу, смеясь и заливаясь румянцем.

— Твоей красоте ничто не страшно,— сказал Джордж.

— Почему ты такой грустный? — Опустившись перед Джорджем на колени, она коснулась его руки.— Еще сутки — и мы будем в Канаде. Один день и одна ночь на пароходе, а потом... потом...

— В том-то и дело, Элиза! — сказал Джордж, обнимая ее.— Теперь все висит на волоске. Подумай только: быть так близко, почти видеть перед собой берега Канады, и вдруг потерять все! Я не перенесу этого!

— Не бойся! — с надеждой в голосе прошептала его жена.

— Да благословит тебя бог, дорогая! — воскликнул Джордж, крепко прижимая ее к груди.— Но неужели эта горькая жизнь скоро кончится? Неужели мы будем свободны?

— Я уверена в этом, Джордж.— Элиза подняла на него глаза, и слезы радости блеснули на ее длинных темных ресницах.

— Ты меня убедила, Элиза! — Джордж быстро встал с кресла.— Я верю тебе. Идем! Пора собираться!.. А ведь и правда,— сказал он вдруг, отстраняя от себя жену и с восхищением разглядывая ее,— какой очаровательный юноша! И как к тебе идут эти кудри! Надень шляпу... нет, вот так: немного набекрень. Да ты никогда не была такой красавицей!.. Однако пора посылать за коляской. И надо узнать, как там миссис Смит — успела она переодеть Гарри?

В эту минуту дверь открылась, и в комнату вошла почтенного вида пожилая женщина, ведя за руку маленького Гарри, одетого в платьице.

— Какая из него получилась прелестная девочка! — воскликнула Элиза, осматривая сына со всех сторон.— Мы будем звать его Гарриет — самое подходящее имя!

Ребенок, удивленный странным нарядом матери, поглядывал на нее исподлобья и глубоко вздыхал.

— Гарри не узнал свою маму? — сказала Элиза и протянула к сыну руки.

Он застенчиво прижался к миссис Смит.

— Не надо, Элиза, не приваживай его. Ты же знаешь, что ему нельзя будет даже подойти к тебе на пароходе.

— Да, правда! Но зачем он отворачивается от меня? Каково матери терпеть это!.. Ну хорошо! Где мой плащ? Вот он! Джордж, покажи мне, как их носят.

— Вот так,— сказал Джордж, набросив плащ себе на плечи.

— Так? — спросила Элиза, подражая ему.— И что еще я

должна делать? Ходить большими шагами, топать и дерзко поглядывать на всех?

— Смотри не перестарайся,— усмехнулся Джордж.— Бывают на свете и скромные юноши. Такая роль тебе больше подходит.

— Боже мой, ну и перчатки! Да я в них утону!

— Тем не менее советую тебе не снимать их с рук,— сказал Джордж.— Твои нежные пальчики могут выдать нас всех... Итак, миссис Смит, не забудьте: вы тетушка Гарри и едете под нашей охраной.

— Говорят, на пристань приходили какие-то люди и предупредили всех капитанов, что надо выследить мужчину, который путешествует с женой и ребенком,— сказала миссис Смит.

— Вот как! — воскликнул Джордж.— Ну что ж, если они попадутся нам на глаза, мы немедленно сообщим об этом.

К дверям подъехала коляска, и радушные хозяева вышли проститься со своими гостями.

Беглецы послушались советов Тома Локкера и пошли на хитрость, рассчитывая обмануть сыщиков. Миссис Смит, почтенная женщина, возвращавшаяся в тот поселок в Канаде, куда они держали путь, согласилась взять на себя роль тетушки Гарри, и мальчика отдали на ее попечение, чтобы он успел привыкнуть к ней за эти два дня. Ласки, подкрепленные немалым количеством мятных пряников, сделали свое дело, и юный джентльмен всей душой привязался к своей новоявленной родственнице.

Коляска остановилась у пристани. Двое молодых людей поднялись по сходням на пароход. Один из них — это была Элиза — галантно вел под руку миссис Смит, а другой — Джордж — нес вещи.

Подойдя к капитанской каюте за билетами, Джордж услышал разговор двух мужчин, остановившихся сзади него.

— Я присматривался ко всем пассажирам. Ручаюсь, что на нашем пароходе их нет.

Это говорил один из корабельных служащих, а его собеседником был наш давнишний знакомый Мэркс, который со свойственным ему упорством добрался до Сандаски, надеясь изловить здесь свою ускользнувшую добычу.

— Женщину почти не отличишь от белой,— сказал Мэркс,— а мужчина — мулат, тоже совсем светлый, и на руке у него должно быть клеймо.

Рука Джорджа, державшая билеты и сдачу, едва заметно дрогнула, но он спокойно повернулся, равнодушно глянул на говорившего и как ни в чем не бывало пошел в дальний конец палубы, к поджидавшей его там Элизе.

Миссис Смит сразу же удалилась с маленьким Гарри в дамскую каюту, где красота девочки-смуглянки исторгла восхищенные возгласы у всех пассажирок.

Колокол зазвонил в последний раз, Мэркс спустился по сходням на берег, и Джордж вздохнул полной грудью, видя, что расстояние между ним и этим человеком с каждой минутой становится все больше и больше.

День был чудесный. Голубые волны озера Эри плясали и весело искрились в солнечных лучах. С берега веял прохладный ветерок, и величавое судно смело неслось вперед, к берегам Канады. О, сколько неведомого таится в каждом человеческом сердце! Кто, глядя на Джорджа, спокойно разгуливающего по палубе бок о бок со своим застенчивым спутником, мог угадать, какие чувства жгли ему грудь? Счастье, которое ждало его в недалеком будущем, казалось несбыточным! Оно было слишком прекрасно, оно было сказочно. И Джордж не знал ни минуты покоя, боясь, что какая-нибудь злая сила выхватит это счастье у него из рук.

Но часы бежали, и вот вдали показался маленький канадский городок Амхерстберг. Джордж задыхался от волнения. Глядя прямо перед собой ничего не видящими глазами, он молча сжал маленькую ручку, дрожавшую в его руке. Зазвонил колокол; пароход остановился. Едва сознавая, что он делает, Джордж разыскал свой багаж, созвал своих спутников, и, сойдя на берег, они, предводительствуемые миссис Смит, сразу же отправились к одному священнику, который принял их как добрых знакомых.

Кто сможет выразить словами всю сладость первого дня на воле! Какое блаженство двигаться, говорить, дышать, ходить куда вздумается, не боясь никого и ничего! А кто передаст радость матери, которая не сводит глаз со своего спящего ребенка, ставшего ей во сто крат дороже после всех невзгод и опасностей! Разве могли они с Джорджем заснуть в эту ночь, потрясенные своим счастьем? А ведь у них, у этих счастливцев, не было ни клочка земли, ни денег, у них не было крыши над головой... Радость, наполнявшая их сердца, не давала им сомкнуть глаз до утра.

Глава XXXVIII

ПОБЕДА

Когда Том, стоя лицом к лицу со своим мучителем, слушал его угрозы и ждал смерти, отважное сердце не изменило ему, и он готовился принять любые страдания, любые пытки. Но лишь

только Легри ушел, лишь только волнение Тома улеглось, в его избитом теле снова проснулась боль, и он снова почувствовал всю свою беспомощность и одиночество.

Легри не стал дожидаться, когда раны Тома заживут, и вскоре приказал ему выходить на работу. Потянулись дни, полные непосильного труда, мучений, издевательств.

В горячее время уборки Легри заставлял своих невольников выходить в поле и по воскресеньям. Что с ними церемониться! Скорее уберешь хлопок — выиграешь пари! А если несколько человек замучаются насмерть, вместо них можно купить других, посильнее.

Еще несколько недель назад, вернувшись с работы, Том, бывало, прочитывал при свете костра одну-другую страницу из Библии, но теперь он приходил в поселок такой измученный, что в ушах у него стоял звон, перед глазами все плыло, и ему хотелось лишь одного — поскорее лечь и заснуть рядом с товарищами.

Он вспоминал о письме мисс Офелии его бывшим хозяевам в Кентукки и молил у бога избавления. Но дни текли один за другим, а за ним никто не приезжал, и в его душе поднималась горечь, заглушить которую было нелегко.

Изредка ему удавалось повстречать Касси, изредка, когда его звали за чем-нибудь в дом, он видел мельком запуганную, печальную Эммелину, но их мимолетные встречи проходили большей частью молча — разговаривать было некогда.

Как-то вечером, измученный, упавший духом, Том сидел у костра, на котором варился его скудный ужин. Огонь догорал. Он подбросил хвороста на угли, чтобы стало светлее, и вынул из кармана свою потрепанную Библию. Вот отмеченные любимые места, раньше так восхищавшие его. Что же, неужели слово утратило свою силу или оно уже не властно над его притупившимися чувствами?

С тяжелым вздохом он спрятал Библию в карман. И вдруг чей-то грубый хохот заставил его поднять голову. Перед ним стоял Легри.

— Ну что, старик? — сказал Саймон.— Благочестие-то больше не помогает? Значит, я добился своего, убедил тебя в этом?

Том молчал.

— Дурак ты, дурак! — продолжал Легри.— Я же тебя облагодетельствовать хотел! Ты бы зажил припеваючи, лучше Сэмбо и Квимбо, и вместо того, чтобы получать порцию плетей чуть ли не каждый день, мог бы сам над другими неграми начальствовать и выпивать с хозяином. Возьмись за ум, старик, послушайся доброго совета! Брось свою Библию в огонь.

— Нет, нет, упаси меня боже! — воскликнул Том.

— Ну, не дурак ли! — Легри плюнул Тому в лицо, ударил его ногой, но, прежде чем уйти, сказал: — Ладно! Я еще тебя поставлю на колени, вот увидишь!

Том долго сидел у костра, борясь с самим собой. Сколько времени это продолжалось, он не знал. Когда он очнулся, костер уже потух, одежда на нем насквозь промокла от росы, но все сомнения исчезли, и душу его осенила такая радость, что теперь ему ничто не было страшно — ни голод, ни холод, ни унижения, ни одиночество.

Когда предрассветные сумерки разбудили остальных невольников и они потянулись в поле, в этой жалкой, дрожащей от холода толпе был один человек, который шел твердым шагом, высоко подняв голову.

Перемену, происшедшую в Томе, заметили все. К нему вернулись его былая бодрость духа, былое спокойствие, и ничто — ни издевательства, ни побои — не могло поколебать их.

— Что такое сделалось с Томом? — спросил Легри у Сэмбо.— Последнее время ходил как в воду опущенный, а теперь будто его подменили!

— Не знаю, хозяин. Может, бежать задумал?

— Пусть только попробует! — злобно усмехнулся Легри.— Любопытно, как это у него получится, а, Сэмбо?

— Ха-ха-ха! — заржал тот.— Пусть попробует, а мы посмотрим, как он будет вязнуть в болоте, продираться сквозь заросли, улепетывать от собак. Когда ловили Молли, я чуть было со смеху не помер — так и думал, собаки ее в клочья издерут! У нее ведь до сих пор остались отметины от их зубов.

— Она с ними в могилу ляжет,— сказал Легри.— Но теперь, Сэмбо, гляди в оба, не зевай! Если Том действительно задумал побег, шкуру с него содрать мало!

— Уж будьте спокойны, хозяин, ему не поздоровится! Этот разговор происходил в то время, когда Лари садился в седло, собираясь съездить в соседний город.

Вернувшись обратно уже затемно, он свернул к невольничьему поселку — проверить, все ли там в порядке.

Была светлая, лунная ночь. Тени ясеней тонким узором лежали на траве; кругом стояла глубокая, нерушимая тишина. Подъезжая к лачугам, Легри еще издали услышал пение. Это было настолько необычно здесь, что он остановил лошадь и прислушался. Мягкий мужской голос пел:

Пусть враг не пощадит меня,
Я все стерпеть готов.
Я полон веры, сердцем чист
И не страшусь оков.

«Ага! Вот он как расхрабрился!» — мысленно проговорил Легри и, подъехав к Тому, замахнулся на него плеткой.

— Эй ты, негр! Спать пора, а ты тут гимны распеваешь! Заткни глотку и марш на место!

— Слушаю, хозяин,— спокойно ответил Том, поднимаясь с земли.

Это спокойствие привело Легри в такую ярость, что он направил свою лошадь прямо на Тома и стал хлестать его плеткой по голове и плечам.

— Вот тебе, собака! Будешь теперь благодушествовать!

Удары причиняли боль Тому, но сердце его билось ровно, и Легри не мог понять, что ему не удастся властвовать над этим негром.

Том болел душой за несчастных людей, окружавших его, и пытался хоть как-нибудь облегчить их страдания. Правда, возможностей для этого у него было мало, но все же по дороге в поле и обратно в поселок и во время работы ему кое-когда удавалось протянуть руку помощи усталым, измученным, павшим духом. Сначала эти жалкие, почти потерявшие человеческий облик существа не понимали Тома, но неделя шла за неделей, месяц за месяцем, и наконец в их сердцах заговорили давно умолкшие струны. Молчаливый, полный терпения, непонятный человек, который всегда был готов помочь другому, не требуя помощи для себя, всегда довольствовался самым малым и делил это малое с теми, кто нуждался больше него; человек, который в холодные ночи уступал свое рваное одеяло какой-нибудь больной женщине, а в поле подкладывал слабым хлопок в корзины, не боясь, что у него самого будет недовес,— человек этот мало-помалу возымел над ними странную власть. И даже одержимая, полупомешанная Касси обретала душевный покой в его присутствии.

Эта несчастная женщина лелеяла мысль отомстить своему мучителю Легри — отомстить за все зло, которое он причинил другим и ей самой.

Однажды ночью, когда в лачугах все уже спали, Тома разбудил легкий шорох, и он увидел в окне лицо Касси. Она молча поманила его, вызывая на улицу.

Том встал и вышел из лачуги. Было около двух часов; ночь стояла тихая, лунная. Глаза Касси горели огнем — куда девался ее тяжелый неподвижный взгляд!

— Поди сюда, дядя Том,— прошептала она, кладя руку ему на плечо и с силой, необычной для такой маленькой руки, увлекая его за собой.— Поди сюда, мне надо кое-что сказать тебе.

— Что случилось, миссис Касси? — тревожно спросил он.

— Том, ты хочешь получить свободу?

— Я получу ее, когда придет время, миссис Касси,— ответил Том.

— Нет, сегодня, сейчас! — с силой воскликнула она.— Пойдем со мной!

Том колебался.

— Пойдем! — снова повторила Касси, не сводя с него пристального взгляда своих темных глаз.— Пойдем! Он спит крепко. Я подсыпала ему снотворного в стакан, да жалею, что мало, надо было побольше — тогда ты бы мне не понадобился. Ну идем! Дверь в его комнату не заперта... Там у меня припрятан топор... Я бы и сама это сделала, да боюсь, сил не хватит. Идем!

— Нет, миссис Касси, нет! — твердо сказал Том, удерживая ее.

— Подумай, сколько несчастных получит свободу! — воскликнула она.— Мы уйдем отсюда, отыщем какой-нибудь островок среди болот и будем жить там. Я знаю, так делали другие, до нас. А ты скажи: разве может быть что-нибудь хуже той жизни, которую мы ведем здесь?

— Нет! — так же твердо повторил Том.— Нет! Зло никогда не породит добра! Да я лучше отрублю себе правую руку, чем пойду на такой грех!

— Тогда я сделаю это сама! — сказала Касси.

— Миссис Касси! — воскликнул Том, падая перед ней на колени.— Молю вас, не продавайте душу дьяволу! Надо терпеть и ждать!

— Ждать! — повторила она.— Я уж столько времени ждала, что у меня помутился разум и сердце готово разорваться на части. Ты говоришь — терпеть! Мало ли все мы от него терпели? А ты сам — ведь он высасывает из тебя кровь каплю за каплей! Нет, я исполню свой долг — его час пробил!

— Не надо! — Том взял ее судорожно стиснутые руки в свои.— Не надо! Не берите греха на душу! Господи, научи нас любить врагов наших!

— Любить! — Касси сверкнула на него глазами.— Любить таких врагов? Да ведь это противно природе человеческой!

— Верно, миссис Касси, верно! Но господь милостив, он дарует нам победу над самими собой!

Проникновенные слова Тома, его мягкий голос, слезы, сверкавшие в глазах, словно благодатная роса пали на измученную душу несчастной женщины. Взгляд ее смягчился. Она опустила голову, и Том почувствовал, как слабеют ее руки.

— Том, друг мой, у меня нет сил молиться. С того самого дня, как продали моих детей, я забыла молитвы и знаю вместо них одни проклятья... проклятья и ненависть!

— Миссис Касси,— нерешительно заговорил Том после долгого молчания,— если это возможно... если вам удастся убежать отсюда, бегите — бегите вместе с Эммелиной, но да упасет вас господь от смертоубийства!

— А ты... ты согласен бежать с нами?

— Нет,— ответил он.— Теперь уже нет. Я останусь с моими несчастными братьями и буду нести крест свой до конца. Вы — другое дело. Вам здесь погибель... Спасайтесь, если сможете.

— А что нас спасет? Одна могила,— сказала Касси.— У зверя есть берлога, у птицы — гнездо. Змеи и те находят себе пристанище, а нам нет места на земле. Собаки отыщут наши следы в глубине болот. Все против нас — и звери и люди. Куда же нам бежать?

Том долго молчал, а потом сказал ей:

— Попытайтесь, миссис Касси. Я буду молиться за вас.

Почему это бывает так, что иная мысль, отброшенная, как случайно попавшийся под ноги камень, вдруг предстанет пред нами в новом свете и засверкает подобно бриллианту?

Касси много раз обдумывала все возможности побега и отказывалась от них как от безнадежных и неосуществимых. Но сейчас в уме у нее возник план, такой простой и ясный во всех подробностях, что она сразу загорелась надеждой и шепнула Тому:

— Хорошо, друг мой, я попытаюсь.

— Да хранит вас бог! — сказал Том.

Глава XXXIX

ХИТРЫЙ ЗАМЫСЕЛ

Чердак в доме Легри, как почти все чердаки в старых домах, утопал в пыли, паутине и всяческом хламе. У богатой семьи, жившей на плантации в дни ее расцвета, была прекрасная обстановка, часть которой хозяева увезли с собой, а часть так и осталась в заброшенных, отсыревших комнатах и на чердаке. Вдоль стен его стояли два огромных упаковочных ящика, в которых когда-то сюда была прислана мебель. Слабый свет, пробиваясь сквозь мутные стекла крошечного слухового оконца, падал на стулья с высокими спинками и покрытые пылью столы, знававшие когда-то лучшие времена. Короче говоря, на чердаке было неуютно и даже страшно, а среди суеверных негров о нем ходила дурная слава, что еще больше увеличивало ужас, который внушало всем обитателям плантации это таинственное место. Несколько лет назад Легри посадил

туда одну негритянку, чем-то провинившуюся перед ним. Что там с ней случилось, никто не знал — негры только перешептывались между собой, строя разные догадки на этот счет. Но через месяц несчастную женщину снесли оттуда мертвой и поспешили похоронить. С тех пор, как все утверждали, на заброшенном чердаке постоянно раздавались проклятия, грубая брань и звуки ударов, прерываемые отчаянными воплями и стонами.

Услышав как-то ненароком эти толки, Легри пришел в ярость и пригрозил, что первый же негр, который будет рассказывать всякие небылицы о чердаке, получит полную возможность разгадать его тайны, просидев там неделю на цепи. Одного такого посула было достаточно, чтобы разговоры прекратились, но дурной славы чердака это не поколебало.

Боясь, как бы невольно не нарушить хозяйский запрет, обитатели дома стали обходить не только лестницу, ведущую наверх, но и коридор, куда она выходила, и легенда о чердаке мало-помалу забылась. И вдруг Касси осенила мысль: воспользоваться суеверностью Легри, с тем чтобы освободиться самой и освободить свою подругу по несчастью — Эммелину.

Спальня Касси приходилась как раз под чердаком. В один прекрасный день, не посоветовавшись с хозяином, она вдруг решила перебраться в другую комнату, в дальнем конце дома. Слуги носились взад и вперед, таская ее вещи и мебель, и суматоха была в самом разгаре, когда Легри вернулся домой.

— Эй, Касси! — крикнул он.— Что ты затеяла?

— Ничего особенного. Хочу сменить комнату, только и всего,— отрезала она.

— А позвольте вас спросить: почему?

— Просто так.

— Врешь! Говори, что у тебя на уме!

— Хочу спокойно спать по ночам.

— Спать? А кто тебе мешает?

— Что ж, если хочешь послушать, расскажу.

— Говори, дрянь! — крикнул Легри.

— Да, ты, вероятно, спал бы как ни в чем не бывало, а мне это покоя не дает. Каждую ночь только и слышишь на чердаке какую-то возню... кто-то там катается по полу, стонет, и так до самого утра.

— Кто же это, по-твоему, люди, что ли? — с деланным смешком сказал Легри.— Откуда же им там взяться, Касси?

Она так и пронзила его пристальным взглядом своих темных глаз.

— В самом деле, Саймон, откуда бы им взяться? Впрочем, тебе это лучше знать.

Легри с бранью замахнулся на нее хлыстом, но Касси увернулась от удара и, метнувшись к двери, бросила ему через плечо:

— Переночуй в моей комнате, тогда сам услышишь, что делается на чердаке. Очень тебе это советую.— И, захлопнув дверь, она заперла ее на ключ.

Легри бушевал, бранился, грозил сломать замок, но потом утих и нерешительными шагами направился в гостиную. Касси поняла, что ее стрела попала в цель, и с того самого часа решительно принялась за дело, пустив в ход всю свою изобретательность. Она отыскала в стене чердака отверстие и вставила туда отбитое горлышко бутылки, которое при малейшем ветерке издавало заунывно-тоскливые стенанья, переходившие подчас в такой пронзительный вой, что люди суеверные вполне могли принять его за человеческий голос, полный ужаса и отчаяния.

Эти звуки доходили иной раз и до слуха негров, и старая легенда о привидении, поселившемся на чердаке, вспомнилась всем. В доме воцарился страх, и, хотя никто не смел даже заикнуться об этом в присутствии Легри, он чувствовал, что общая тревога обволакивает и его словно туманом.

Дня через два после разговора с Касси Легри сидел в гостиной у камина, огонь которого бросал дрожащие, робкие блики на стены. Ночь была неспокойная, на дворе бушевала буря. Каких только звуков не рождает ветер в запущенных, старых домах! Оконные стекла дребезжали, ставни хлопали, в трубе что-то завывало, ухало, и время от времени из камина врывались в комнату клубы дыма и золы, точно предваряя появление целого сонма злых духов. Легри уже не один час проверял какие-то счета, потом читал газету, а Касси молча сидела в углу и не сводила хмурого взгляда с огня. Наконец Легри отложил газету в сторону, взял со стола книгу, которую он видел в руках у Касси в начале вечера, и стал листать ее. Это был дешевенький, с аляповатыми картинками сборник страшных рассказов о кровавых убийствах, привидениях и духах.

Легри фыркал, хмыкал, но читал страницу за страницей, не в силах оторваться от этой книжонки. В конце концов он выругался и швырнул ее на пол.

— Ты ведь не веришь в привидения, Касси? — спросил он, помешивая щипцами угли в камине.— Такой умнице стыдно бояться шума на чердаке.

— Какое тебе дело, во что я верю! — угрюмо сказала Касси.

— Меня, бывало, на море старались запугать разными ужасами,— продолжал Легри,— да я не поддавался на такую чепуху.

Касси пристально посмотрела на него из темноты. Ее глаза поблескивали тем странным огоньком, от которого Легри всегда становилось не по себе.

— Что там может быть, на чердаке? Крысы бегают, да ветер завывает. Крысы иной раз такую возню подымут — ушам своим не веришь. Я помню, что́ они вытворяли в трюме. А ветер! Господи боже, да к нему только прислушайся — невесть что померещится!

Касси знала, как неприятен хозяину ее загадочный взгляд, и продолжала безмолвствовать, не сводя с него глаз.

— Ну скажи хоть слово, что же ты! — не выдержал Легри.

— Разве крысы могут спускаться вниз с чердака и открывать двери, запертые на ключ и припертые изнутри стулом? — заговорила наконец Касси.— А потом подкрадываться к твоей постели... все ближе, ближе и вдруг касаться тебя рукой — вот так?

Взгляд Касси пронизывал, и Легри, словно в кошмаре, не мог оторваться от ее сверкающих глаз. Когда же она дотронулась своей холодной как лед ладонью до его руки, он с проклятием отпрянул в сторону.

— Что ты несешь чепуху! Быть этого не могло!

— Ну, разумеется, нет! А разве я говорю, что это было? — презрительно усмехнулась она.

— А ты... ты видела что-нибудь? Признавайся, Касси!

— Переночуй в той комнате, если хочешь проверить мои слова.

— И оно спускается с чердака?

— «Оно»? О чем это ты?

— Да ты сама только что говорила...

— Я ничего не говорила! — сурово отрезала Касси.

Легри взволнованно зашагал по комнате.

— Я это все проверю. Сегодня же ночью проверю. Возьму пистолеты и...

— Ну что ж, проверяй! — сказала Касси.— Ложись спать в моей комнате, пали из пистолетов, а я посмотрю, чем это кончится.

Легри топнул ногой и злобно выругался.

— Не бранись,— сказала Касси.— Почем знать, кто может услышать твое богохульство... Стой! Что это?

— Что? — пролепетал Легри, дрожа всем телом.

Старинные голландские часы, стоявшие в углу, медленно пробили двенадцать.

Сам не зная почему, Легри замер, объятый ужасом. А Касси не сводила с него насмешливо сверкающих глаз и вслух считала удары.

— Полночь. Сейчас начнется.— Она открыла дверь в коридор и стала на пороге, прислушиваясь.— Вот... вот! Что это?

— Это ветер,— пробормотал Легри.— Слышишь, как завывает?

— Поди сюда, Саймон,— прошептала Касси, беря его за руку и увлекая за собой к лестнице на чердак.— А это что, по-твоему? Слушай!

Где-то наверху раздался пронзительный вопль. У Легри задрожали колени, он весь побелел.

— Где же твои пистолеты? — с леденящей кровь усмешкой спросила Касси.— Надо же в конце концов выяснить, что там делается! Поднимись наверх, сейчас самое время!

— Не пойду,— пробормотал Легри.

— Почему? Ведь привидений не бывает! Идем! — Касси легко взбежала по ступенькам винтовой лестницы и засмеялась, глядя сверху на Легри.— Ну, иди за мной!

— Ты сама дьявольское отродье! — крикнул он.— Вернись, ведьма! Вернись! Не смей туда ходить!

Но Касси хохотала как одержимая и поднималась все выше и выше. Вот она открыла дверь на чердак. Порыв ветра потушил свечу, которую Легри держал в руке, нечеловеческие крики и вопли оглушили его...

Обезумев от ужаса, Легри бросился в гостиную, куда вскоре явилась и Касси — бледная, но спокойная и холодная, как дух мщения, с горящими страшным огнем глазами.

— Ну, надеюсь, других доказательств тебе не надо? — сказала она.

— Будь ты проклята, Касси! — еле выговорил Легри.

— За что? Я только поднялась наверх и закрыла дверь... А все-таки, Саймон, что у нас творится на чердаке?

— Не твое дело! — огрызнулся Легри.

— Не мое так не мое. И все-таки я не буду больше спать в той комнате.

Касси еще с утра предвидела, что ветер к ночи усилится, и, поднявшись заблаговременно на чердак, открыла слуховое окно. Когда она распахнула дверь, сквозняк, как и следовало ожидать, потушил свечу. Вот и вся разгадка этого таинственного происшествия. Подобными хитростями Касси довела своего хозяина до того, что он скорее согласился бы сунуть голову в львиную пасть, чем обследовать чердак. А тем временем, действуя по ночам, когда все спали, она постепенно перетаскивала туда запас провизии и одежду. Все было готово к побегу, и они с Эммелиной только ждали подходящего случая, чтобы привести свой замысел в исполнение.

Воспользовавшись минутой, когда Легри был в хорошем расположении духа, и подольстившись к нему, Касси уговорила его взять ее с собой в соседний город, стоявший на самом берегу Ред-ривер. Наблюдательность, обострившаяся теперь до предела, помогла ей запомнить каждый поворот дороги, и она точно высчитала в уме, сколько понадобится времени, чтобы пройти этот путь пешком.

А теперь, когда беглянкам приспело время действовать, заглянем, читатель, за кулисы и проследим оттуда за ходом событий.

Приближался вечер. Легри уехал верхом на соседнюю плантацию. Последнее время Касси была так предупредительна к нему и так покорна, что лучшего он и желать не мог.

Пройдем же теперь за ней в комнату Эммелины и послушаем, о чем они говорят, связывая свои вещи в два маленьких узелка.

— Больше ничего не возьмем,— сказала Касси.— Одевайся, пора идти.

— Еще светло... как бы нас не увидели.

— Пускай видят,— преспокойно ответила Касси.— Я на это и рассчитываю. Вот как все будет, слушай. Мы выйдем из дому черным ходом и побежим мимо лачуг к болотам. Сэмбо или Квимбо обязательно нас увидят, бросятся в погоню. Но на болота одним идти страшно, значит, надо поднимать тревогу, спускать собак. Начнется суматоха, бестолковая беготня — я же их знаю! — а мы тем временем спустимся к ручью, войдем в воду и вернемся обратно к черному крыльцу. Собаки потеряют наш след, в доме никого не останется — все побегут за нами. Один миг — и мы будем на чердаке, а там у меня уже приготовлена постель в ящике. Сколько нам придется прятаться, не знаю, должно быть долго, потому что Легри перевернет все вверх дном, лишь бы найти нас. Он позовет на подмогу всех надсмотрщиков с соседних плантаций и устроит настоящую облаву, обшарит с ними каждую кочку на болотах. Ведь наш хозяин похваляется тем, что от него еще ни одному негру не удалось убежать. Ну и пусть охотится на здоровье!

— Касси! Как ты хорошо все придумала! — воскликнула Эммелина.— Какая ты умница!

Эти восторженные слова не обрадовали Касси. Она бросила на девушку взгляд, полный отчаянной решимости, взяла ее за руку и сказала:

— Пойдем!

Беглянки бесшумно вышли из дому и в сгущающихся сумерках свернули к поселку. Полумесяц, словно серебряная пряжка сиявший в небе, задерживал наступление полной тем-

ноты. Касси была уверена, что как только они подойдут к болоту, начинавшемуся за плантацией, их сразу окликнут. Так оно и вышло. Но это был не Сэмбо, а сам Легри. Он с бранью кинулся за ними вдогонку. Услышав его голос, пугливая Эммелина растерялась и, отпустив руку своей спутницы, прошептала:

— Касси! Мне дурно!

— Бежим, или я тебя убью! — крикнула та и, выхватив из-за пазухи маленький кинжал, взмахнула им перед глазами девушки.

Угроза подействовала. Эммелина овладела собой и вместе с Касси устремилась в мрачные дебри болот, куда Легри не решился последовать за ними без подмоги.

— Ладно! Все равно попались, голубушки! Из этой западни не уйдете, а у меня с вами разговор будет короткий,— пробормотал он со злобной усмешкой и побежал к поселку.

Как раз в это время невольники возвращались с поля.

— Эй, Сэмбо, Квимбо! — закричал Легри.— Всех сюда! Две женщины убежали на болота. Пять долларов тому, кто их изловит! Спустить собак! Тигра, Фурию — всех спустить!

Негры бегали взад и вперед. Кто зажигал факелы из смолистых веток, кто отвязывал собак, чей свирепый хриплый лай еще больше усиливал всеобщую суматоху.

— Хозяин, а если не поймаем, стрелять вдогонку? — осведомился Сэмбо, принимая из рук Легри ружье.

— Стреляй в Касси, туда ей и дорога, а молоденькую не тронь. Ну, ребята, не зевай! Кто поймает, тому пять долларов, а остальным — по стакану спирта.

Размахивая пылающими факелами, крича, улюлюкая, подуськивая яростно воющих псов, погоня устремилась к болотам, а за ней туда же ринулись и остальные негры. Дом опустел, и обе женщины, никем не замеченные, проскользнули в комнаты с черного хода. Крики и улюлюканье их преследователей явственно доносились сюда, и, глядя из окна гостиной, Касси и Эммелина видели, как факелы цепочкой растянулись вдоль кромки болот.

— Смотри, смотри! — говорила Эммелина.— Облава началась. Вон сколько огней! А это собаки... Слышишь? Боже мой, что бы с нами было, если б мы остались там! Умоляю тебя, спрячемся! Скорей, скорей!

— Торопиться некуда,— хладнокровно ответила ей Касси.— В доме ни души — все там. Это же для них развлечение на целый вечер. Всему свое время, пойдем и на чердак, а пока что...— она не спеша вынула ключ из кармана куртки, которую Легри второпях бросил на пол,— пока что надо запастись на дорогу.

Вслед за этим Касси отперла ящик письменного стола, вынула оттуда пачку денег и быстро пересчитала их.

— Что ты! Не надо! — остановила ее Эммелина.

— Почему не надо? — сказала Касси.— Что, по-твоему, лучше: умереть голодной смертью на болотах или добраться на эти деньги до свободных штатов? С деньгами, милая, нам все пути открыты.— И она сунула всю пачку за пазуху.

— Но ведь это воровство! — тоскливо прошептала Эммелина.

— Воровство? — Касси презрительно рассмеялась.— Здесь каждый доллар украден — украден у несчастных, голодных людей, из которых наш хозяин вытягивал последние силы, лишь бы нажить побольше. Пусть он только посмеет попрекнуть меня воровством! Ну, пора, пойдем наверх. Я запаслась свечами и кое-какими книжками, чтобы не скучать. Уж туда-то они за нами не явятся, будь спокойна! А если кто и отважится сунуть нос, я сама превращусь в привидение.

Поднявшись на чердак, Эммелина увидела там огромных размеров упаковочный ящик, повернутый открытой стороной к стене, или, вернее, к наклонному скату крыши. В ящике были положены два небольших тюфяка и подушки. Тут же рядом стояла корзина со свечами, провизией и одеждой, которую Касси, готовясь в путь, ухитрилась связать в два крохотных узелка.

— Вот наше теперешнее жилье,— сказала она, вешая светильник на крюк, предусмотрительно вбитый в стенку ящика.— Как оно тебе нравится?

— А чердак не станут обыскивать? Ты в этом уверена?

— Я бы много дала, чтобы увидеть, как Саймон Легри полезет сюда! — сказала Касси.— Да нет, он к этому чердаку близко не подойдет, а негров и под страхом смерти сюда не загонишь!

Немного успокоившись, Эммелина откинулась головой на подушку.

— Касси, зачем ты сказала, что убьешь меня? — простодушно спросила она.

— Чтобы тебе не стало дурно,— ответила Касси.— И моя угроза помогла. А впредь так и знай: что бы ни случилось, падать в обморок нельзя. Если б не я, этот негодяй давно бы тебя настиг.

Эммелина содрогнулась.

Наступило молчание. Касси взялась за французскую книжку, а Эммелина, обессиленная волнениями этого страшного дня, задремала. Ее разбудили громкие голоса, цоканье подков, собачий лай. Она слабо вскрикнула и приподняла голову.

— Вернулись,— спокойно сказала Касси.— Не бойся. Посмотри в щелку. Видишь, все здесь. Саймон решил прекратить поиски до утра. Погляди, какая у него лошадь — вся в тине. А собаки еле плетутся. Да, Саймон, хлопот у тебя будет много. Не там ты охотишься за своей дичью, где следует!

— Молчи! — шепнула Эммелина.— Вдруг услышат!

— Услышат — еще больше струхнут,— сказала Касси.— Не тревожься. Мы можем шуметь сколько угодно, нам же на руку держать их в страхе.

Мало-помалу в доме и на дворе все стихло. Проклиная свою неудачу, Легри завалился спать с твердым намерением завтра же довести поиски до конца.

Глава XL

МУЧЕНИК

Побег Касси и Эммелины привел в бешенство и без того озлобленного Легри, и гнев его, как и следовало ожидать, пал на беззащитную голову Тома.

Когда он прибежал в поселок с вестью о случившемся, глаза у Тома радостно засияли, руки невольно дрогнули, и это не ускользнуло от внимания Легри. Заметил он также, что Том не присоединился к погоне. Но принуждать его к этому силой сейчас было некогда, и, помня непреклонный характер своего невольника, Легри решил повременить с расправой.

Неудача, которую ему пришлось потерпеть на болоте, с новой силой разожгла его давнюю ненависть к непокорному рабу. Ведь этот негр с первого дня бросил вызов своему хозяину! Ведь его молчаливое упорство нет сил терпеть!

— Я ненавижу тебя, мерзавец! — крикнул Легри, вскакивая среди ночи с кровати.— Ненавижу! Ты принадлежишь мне, ты моя вещь! Да я не знаю, что с тобой сделаю! И кто с меня за это спросит? Никто! — Он сжал кулаки, точно стараясь раздавить что-то живое.

Но Том был ценный работник, и, хотя Легри еще больше ненавидел его за это, все же соображения выгоды брали в нем верх над ненавистью.

На следующее утро он решил созвать соседей с ружьями и собаками, оцепить болота со всех сторон и начать облаву по всем правилам. Если поиски увенчаются успехом — прекрасно! Если же нет, он призовет Тома, и тогда... у него кровь закипала при одной только мысли об этом! — тогда он либо сломит упорство проклятого негра, либо...

* * *

— Ну вот,— сказала Касси, посмотрев в глазок,— все начинается сначала.

На лужайке перед домом гарцевало несколько всадников; негры еле сдерживали и своих и чужих собак, которые оглушительно лаяли и рвались в драку.

Верховые были двое надсмотрщиков с соседних плантаций и городские приятели Легри, завсегдатаи одного с ним кабачка, не пожелавшие пропустить такое развлечение, как облава на беглых негров. Компания собралась как на подбор — один хуже другого. Хозяин похаживал среди гостей и обносил их водкой.

Ветер дул по направлению к дому, донося на чердак обрывки разговора во дворе. Хмурая усмешка пробежала по лицу Касси, когда она услышала, как там обсуждают план действий, делятся на партии, похваляются достоинствами собак, дают неграм распоряжения, в каком случае пускать в ход оружие и что делать с беглянками, если они будут пойманы.

И под конец Касси не выдержала. Она отпрянула от щели в стене, сжала руки на груди и в глубоком волнении воскликнула:

— Боже милостивый! Все мы грешники, но как смеют эти люди так обходиться с нами! Чем они лучше нас! — Потом добавила, глядя на Эммелину: — Если б не ты, дитя, я бы выбежала к ним и благословила того, кто пристрелил бы меня! Стоит ли такой, как я, добиваться свободы? Разве она вернет мне детей, разве я смогу стать тем, чем была раньше?

Простодушная, как ребенок, Эммелина побаивалась Касси, когда на ту находили припадки отчаяния. Услышав сейчас эти слова, она растерялась, не нашлась что ответить и только ласково коснулась ее руки.

— Не надо,— сказала Касси, отшатнувшись от нее.— Я дала зарок никого больше не любить, а ты искушаешь мое сердце.

— Касси, бедная! — прошептала Эммелина.— Гони от себя эти мысли. Если господь дарует нам свободу, может быть, он вернет тебе и дочь. А если нет, я стану твоей дочерью. Мне, верно, уж не суждено встретить мою несчастную мать. Касси, хочешь ты этого или не хочешь, а я люблю тебя!

Крохотная, бесхитростная душа победила. Касси села рядом с Эммелиной, обняла ее и стала тихонько гладить мягкие каштановые волосы девушки.

— Эмми! Эмми! — говорила она.— Если б ты знала, как изголодалось мое сердце! Как оно вянет, не зная, на кого

излить материнскую любовь! — Она ударила себя рукой в грудь: — Здесь пусто, здесь все умерло!

— Не надо отчаиваться, Касси! — сказала Эммелина.— Надежда на спасение — вот наша путеводная звезда!

* * *

Облава затянулась, участники ее не жалели сил, но вернулись домой ни с чем. Касси с ядовитой, ликующей усмешкой смотрела на хозяина, когда он, усталый и совершенно обескураженный, слез с лошади у крыльца.

— Эй, Квимбо! — крикнул Легри, развалившись на диване в гостиной.— Приведи-ка сюда Тома. Это он во всем виноват, старый плут. Я с него шкуру спущу, а дознаюсь, в чем тут дело!

Сэмбо и Квимбо, ненавидевшие друг друга, сходились только в одном: в острой ненависти к Тому. Легри говорил им, что собирается сделать нового негра старшим надсмотрщиком на время своих отлучек из дому, и этого было достаточно, чтобы они почувствовали в нем соперника. Когда же Том впал в немилость у Легри, ненависть, горевшая в их рабских душонках, вспыхнула с еще большей силой. Вот почему Квимбо с такой охотой бросился выполнять распоряжение хозяина.

Том сразу догадался, зачем его зовут. Он был посвящен в план побега и знал, где прячутся Эммелина и Касси. Знал он и деспотическую натуру человека, к которому его вели. И все-таки ему легче было бы пойти на смерть, чем выдать беззащитных женщин.

Он поставил корзину меж рядов хлопка и пошел за Квимбо.

— Ну, теперь берегись! — говорил великан негр, подгоняя свою жертву пинками.— Хозяин просто рвет и мечет. Теперь не отвертишься. Так тебе всыплют, что не скоро очухаешься! Будешь знать, как побеги устраивать!

Легри вышел им навстречу.

— Ага, дождался, голубчик! — сквозь стиснутые зубы прошипел он, хватая Тома за шиворот.— До того ты меня довел, что я решил тебя убить!

— Что ж, хозяин, убивайте,— покорно ответил Том.

— Да... я решил... убить... тебя,— продолжал Легри с ужасающим спокойствием,— и убью, если ты не признаешься мне во всем. Где они?

Том молчал.

— Слышишь? — как разъяренный лев, взревел Легри и топнул ногой.— Признавайся!

— Мне нечего вам сказать, хозяин,— медленно и твердо проговорил Том.

— И ты смеешь отпираться?

Том стоял молча.

— Говори сию же минуту! — рявкнул Легри, ударив его кулаком по лицу.— Ты знаешь, где они?

— Знаю, хозяин, но сказать ничего не могу. Убейте меня, я готов к смерти.

Легри перевел дух, стараясь сдержать обуревавшую его ярость, схватил Тома за локоть и прохрипел ему в самое лицо:

— Слушай, Том, ты думаешь, на этот раз тебе тоже все сойдет с рук? Нет, ошибаешься! Теперь я решил твердо и даже с убытками не посчитаюсь. Ты всегда шел мне наперекор. Больше я этого не потерплю! Одно из двух: либо я подчиню тебя своей воле, либо убью. Всю кровь из тебя выпущу каплю за каплей, а на своем настою! — И в полном неистовстве он одним ударом сбил Тома с ног.

Описание жестокостей оскорбляет нас, наполняет гневом наше сердце. Нам неприятно знать о мерзких поступках людей, но увы, Америка, такие злодеяния совершаются под защитой твоих законов! Знает о них и церковь — знает и, по сути дела, безмолвствует!

* * *

— Будто и не дышит, хозяин,— сказал Сэмбо, против воли тронутый долготерпением Тома.

— Бей его, бей, пока не признается! — крикнул Легри.

Том открыл глаза и посмотрел на него.

— Несчастный! — прошептал он.— Ты все равно ничего со мной не сделаешь,— и потерял сознание.

— Ну, кажется, подох! — Легри наклонился к нему.— Так и есть... Что ж, по крайней мере, замолчит теперь навсегда.

Но Том был жив. Его непоколебимое мужество пронзило очерствевшие сердца Сэмбо и Квимбо, и, как только Легри ушел, они сняли несчастного мученика со скамьи и сделали все, чтобы вернуть его к жизни, думая в невежестве своем, что оказывают ему величайшее благодеяние.

— Что же мы наделали! Вот грех-то! — сказал Сэмбо.— А кто будет отвечать за это на том свете? Пусть хозяин и отвечает, с нас нечего спрашивать.

Они обмыли ему раны, положили его на подстилку из хлопка. Один из них сбегал в дом, выпросил у Легри коньяку, будто в награду за труды, и, вернувшись, заставил очнувшегося Тома выпить стакан до дна.

Глава XLI

МОЛОДОЙ ХОЗЯИН

Два дня спустя в ясеневой аллее, ведущей к дому Легри, появилась тележка, в которой сидел какой-то молодой человек. Он остановился у крыльца, бросил вожжи на спину лошади, спрыгнул с сиденья и спросил, можно ли видеть хозяина плантации. Это был Джордж Шелби. Но, для того чтобы читатель узнал, как он попал сюда, нам придется нарушить ход повествования и вернуться немного назад.

Письмо мисс Офелии к миссис Шелби волею случая провалялось месяца два в какой-то захолустной почтовой конторе, а когда оно дошло наконец по адресу, след Тома уже затерялся в глуши болот, тянущихся вдоль берегов Ред-ривер.

Письмо взволновало мисс Шелби до глубины души, но в то время ей ничего не удалось предпринять: она проводила дни и ночи у постели мужа, лежавшего в горячке. Единственной ее опорой и единственным помощником, который вел все дела по имению, был сын Джордж, успевший превратиться за это время из мальчика в высокого, стройного юношу. Мисс Офелия со свойственной ей предусмотрительностью не забыла сообщить в своем послании фамилию поверенного Сен-Клера, и миссис Шелби сразу обратилась к нему с просьбой известить ее о судьбе Тома. Но несколько дней спустя новые заботы всецело поглотили мать и сына, ибо мистер Шелби умер.

В завещании он назначил жену своей душеприказчицей, оказав таким образом полное доверие ее уму, и она с присущей ей энергией принялась распутывать клубок оставшихся после мужа долгов. Проверка бумаг, векселей, продажа имущества отнимали все время у нее и у Джорджа, так как им хотелось расплатиться со всеми кредиторами, чего бы это ни стоило, и привести дела покойного в надлежащий порядок.

Поверенный Сен-Клеров не замедлил ответить на письмо миссис Шелби. Однако он мог сообщить ей только то, что негр Том был продан с торгов, деньги за него получены, а дальнейшая его судьба неизвестна.

Такой ответ не удовлетворил миссис Шелби и ее сына, и полгода спустя Джордж, отправившись по поручению матери на Юг, решил заехать в Новый Орлеан, навести там справки о Томе, разыскать его и привезти домой.

Бесплодные поиски длились несколько месяцев, и вдруг Джордж совершенно случайно встретился в Новом Орлеане с одним человеком, который дал ему все нужные сведения. Наш герой запасся деньгами и отправился на пароходе вверх

по Ред-ривер с твердым намерением разыскать и выкупить своего старого друга.

Слуга-негр ввел его в гостиную, где сидел Легри.

Саймон принял гостя насколько умел вежливо.

— Мне известно,— начал юноша,— что вы приобрели в Новом Орлеане негра, по имени Том. Он принадлежал когда-то моему отцу, и я хотел бы выкупить его и...

Легри сразу нахмурился и не дал Джорджу договорить.

— Да, верно, есть у меня такой негр. Я за него только зря деньги заплатил, за негодяя. Он наглец, бунтовщик, побеги устраивал другим неграм. Двух женщин у меня как не бывало, а им цена каждой по восемьсот, по тысяче долларов. Сам признался, что это его рук дело, а где они прячутся, не говорит. Под плетью и то молчал, а уж, кажется, здорово ему всыпали. Я так еще никого не порол, как этого Тома. Теперь он прикинулся, что умирает, да я ему не верю.

— Где он? — вырвалось у Джорджа.— Я хочу его видеть! — Щеки юноши залились краской, глаза вспыхнули, но он еще сдерживал себя.

— Том в чулане,— раздался за окном голос негритенка, который держал лошадь Джорджа.

Легри рявкнул на мальчика, а Джордж, не говоря ни слова, повернулся и вышел из комнаты.

Том лежал в чулане уже вторые сутки, большей частью в забытьи, не испытывая боли, ибо истязания той страшной ночи притупили в нем всякую чувствительность. Несчастные рабы пробирались к нему тайком под покровом темноты и, урывая время от считанных часов отдыха, старались хоть чем-нибудь отплатить своему товарищу за ту ласку, с которой он относился к ним. Чем они могли помочь ему? Подать кружку холодной воды — и только! Но с какой любовью это делалось!

Касси тоже узнала о жертве, принесенной ради нее и Эммелины. Не посчитавшись с опасностью, она вышла накануне вечером из своего убежища и прокралась в чулан. И те прощальные слова, которые Том еще мог прошептать этой ожесточенной, во всем отчаявшейся женщине, растопили лед, сковывающий ее душу, и она расплакалась, впервые за долгие годы.

Когда Джордж вошел в чулан, сердце у него мучительно сжалось, перед глазами поплыли круги.

— Не может быть... не может быть! — проговорил он, опускаясь на колени перед Томом.— Дядя Том, друг мой!

Знакомый голос достиг слуха умирающего. Он чуть повел головой и улыбнулся.

Слезы, делающие честь мужественному сердцу юноши,

хлынули у него из глаз, когда он склонился над смертным одром своего несчастного друга.

— Дядя Том! Очнись... скажи хоть слово! Посмотри на меня! Я Джордж! Ты узнаешь своего маленького Джорджа?

— Мистер Джордж...— чуть слышно прошептал Том, открывая глаза и растерянно озираясь по сторонам.— Мистер Джордж!

Мало-помалу сознание вернулось к нему, его блуждающий взгляд прояснился, лицо осветила счастливая улыбка, пальцы мозолистых рук переплелись на груди, по щекам побежали слезы.

— Слава создателю! Больше мне ничего... ничего не нужно! Меня помнят... не забыли! Как хорошо стало на сердце... Теперь я могу спокойно умереть...

— Ты не умрешь, дядя Том, и не думай об этом! Тебе нельзя умирать. Я выкуплю тебя, увезу домой! — горячо воскликнул Джордж.

— Поздно, мистер Джордж, теперь уже поздно!

— Дядя Том, не умирай! Я не перенесу этого. Сколько ты страдал! И где я нашел тебя! В грязном чулане, всеми брошенного!

Том коснулся его руки.

— Только не рассказывайте об этом Хлое. Зачем ее огорчать, бедную! А ребятишки мои!.. Как подумаю о них, так сердце разрывается на части... Поклон от меня передайте, мистер Джордж, хозяину и хозяйке... добрая у нее душа... и всем... всем...

В эту минуту Легри подошел к дверям чулана, с притворным безразличием заглянул внутрь и отвернулся.

— Дьявол! — крикнул Джордж, не в силах сдержать гнев.— Одно утешение: поплатится он когда-нибудь за свои грехи!

Радость свидания с молодым хозяином, казалось, вдохнула новые силы в сердце умирающего Тома... но ненадолго. Он вытянулся, тяжко вздохнул всей грудью — раз, другой... А потом на губах его появилась улыбка, и словно сон смежил ему веки.

Юноша, не шелохнувшись, долго смотрел на бездыханное тело. Чувство благоговения охватило его. Он закрыл мертвые глаза своего друга, выпрямился и, обернувшись, увидел позади себя Легри.

Смерть, свидетелем которой Джордж был всего лишь минуту назад, обуздала в нем юношескую горячность. Присутствие этого человека внушало ему только чувство омерзения, и он решил покончить с ним, не тратя лишних слов.

— Вы получили с него все, что могли. Больше он вам не

понадобится,— сказал юноша, твердо глядя Легри в глаза.— Сколько вам заплатить за мертвого? Я хочу похоронить его.

— Я мертвецами не торгую,— угрюмо буркнул Легри.— Хороните, дело ваше.

— Ребята! — властным голосом сказал Джордж, обращаясь к трем неграм, которые молча смотрели на бездыханного Тома.— Помогите мне донести его до тележки и достаньте где-нибудь заступ.

Те сразу бросились выполнять приказание: один стал искать заступ, двое других подняли тело.

Джордж словно не замечал Легри, а тот, не решаясь прекословить ему, засвистел с напускным равнодушием и отправился следом за всеми к дому.

Джордж вынул из тележки сиденье, постлал на освободившееся место свой плащ и помог осторожно опустить на него мертвого. Потом он повернулся к Легри и заговорил, изо всех сил стараясь сдержать себя:

— Я еще ничего не сказал вам о вашем злодеянии. Сейчас не время и не место обсуждать это. Но, сэр, правосудие покарает вас за невинно пролитую кровь! Вы совершили убийство, и я этого так не оставлю! Дайте мне только доехать до ближайшего города! Властям все будет известно!

— Ну и пусть! — крикнул Легри, презрительно щелкая пальцами.— Посмотрим, что у вас получится из этой затеи. Свидетели есть? Кто подтвердит ваши показания? Что, взяли?

Легри хорохорился неспроста. Джордж понял это сразу. Кроме них двоих, на плантации не было ни одного белого человека, а с показаниями негров в суде не считаются. Джорджу хотелось крикнуть так, чтобы небо содрогнулось от его крика: «Где же справедливость?» Но он знал, что это ничему не поможет.

— Негр издох — подумаешь, важность! — сказал Легри.

Эти слова были искрой, упавшей в пороховой погреб. Благоразумие не было в числе добродетелей кентуккийского юноши. Он бросился на Легри с кулаками, и тот как подкошенный упал ничком на землю.

Некоторым людям побои явно идут на пользу. Эти люди немедленно проникаются уважением к тому, по чьей милости им пришлось уткнуться носом в грязь. Так было и с Легри. Он встал, отряхнул пыль с куртки и проводил почтительным взглядом медленно удаляющуюся тележку. Проводил — заметьте! — не вымолвив ни слова ей вслед.

Выехав за границу усадьбы, Джордж увидел небольшой песчаный пригорок, на котором росло два-три дерева. Там он и велел вырыть могилу.

— Плащ с собой возьмете, сударь? — спросили негры, когда могила была готова.

— Нет, нет, похороните его в нем! Что я могу тебе дать, бедный мой друг! Возьми хоть мой плащ!

Тело опустили в могилу, и негры, храня глубокое молчание, стали забрасывать ее землей, потом насыпали холмик и обложили его свежим дерном.

— Теперь можете идти,— сказал Джордж, сунув каждому по монете.

Но они медлили, переминаясь с ноги на ногу.

— Если бы сударь купил нас...— начал один из них.

— Тяжко нам здесь, сударь! — подхватил другой.— Будьте милостивы, купите нас!

— Не могу, не могу! — с трудом выговорил Джордж и махнул рукой.— Не просите, это невозможно.

Бедняги понурились и молча побрели прочь.

— Боже милостивый! — воскликнул юноша, опускаясь на колени у могилы.— Призываю тебя в свидетели! Клянусь тебе, что с этой самой минуты я отдам все свои силы на то, чтобы стереть позорное клеймо рабства с моей страны!

Глава XLII

ДОПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ, ГЕРОЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИВИДЕНИЕ

Все это время слуги Легри по каким-то непонятным причинам то и дело вспоминали старую легенду о привидении.

Шепотом из уст в уста передавалось, что глубокой ночью в доме слышатся чьи-то шаги — сначала на чердачной лестнице, потом в комнатах. Верхнюю дверь заперли на ключ, но это не помогло; у привидения либо была отмычка в кармане, либо оно пользовалось привилегией, спокон веков дарованной этим таинственным существам, и проникало сквозь замочные скважины, наводя на всех ужас своими ночными прогулками.

Свидетели этих прогулок несколько расходились в своих показаниях относительно внешности привидения, главным образом потому, что у негров — а насколько нам известно, и у белых — при встречах с существами сверхъестественными принято крепко-накрепко зажмуривать глаза, лезть с головой под одеяло или накрываться юбкой, а также другими предметами туалета, годными для этой цели. Ни для кого не секрет, что, когда телесные очи бездействуют, очи духовные приобретают необычайную зоркость и проницательность. Так было и на сей

раз, вследствие чего возникла целая галерея достовернейших портретов привидения, но, как это часто наблюдается и в живописи, они сильно разнились между собой, совпадая лишь в одной детали, а именно: в наличии белого савана, без которого привидения, по-видимому, обойтись не могут.

Как бы там ни было, а мы имеем все основания утверждать, что в положенные для привидений часы чья-то высокая, закутанная в белое фигура действительно появлялась в доме Легри — открывала двери, бродила по комнатам, исчезала, возникала вновь и наконец скользила вверх по лестнице на заклятый чердак. А утром все двери оказывались запертыми на ключ, как будто ничего такого и не было.

Легри не мог не слышать всех этих пересудов, и чем тщательнее негры старались скрыть их от хозяина, тем больше они на него действовали. Он стал все чаще и чаще выпивать; на людях храбрился, осыпал всех бранью, а по ночам его мучили кошмары.

На другой день после того, как Джордж Шелби увез тело Тома, Легри уехал в город и закутил там вовсю. Домой он вернулся поздно, заперся в спальне, приставил изнутри стул к двери, зажег ночник на столике и положил рядом с ним два пистолета. Потом проверил, закрыты ли окна и со словами: «Теперь мне сам дьявол не страшен!» — лег в постель.

Умаявшись за день, Легри спал крепко. Но вот какая-то тень, мелькнув в его снах, сжала ему сердце предчувствием беды. Это Касси, и она держит в руках саван — саван его матери. Вдали послышались крики, стоны... Он знал, что все это снится ему, с трудом открыл глаза и, полусонный, не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой от ужаса, почувствовал, как дверь распахнулась и кто-то вошел в комнату. Стряхнув с себя оцепенение, он круто повернулся на другой бок. Да, дверь открыта настежь... еще секунда, и погас ночник — его потушила чья-то рука.

В окно, пробиваясь сквозь туман, льется мутный свет луны... Что это? Кто-то в белом скользит по комнате! Слышен легкий шелест призрачных одежд... Привидение остановилось у кровати, коснулось ледяными пальцами его руки. Зловещий, приглушенный голос проговорил трижды одно и то же слово: «Идем! Идем! Идем!»

Легри лежал, обливаясь холодным потом, и вдруг все исчезло. Он вскочил с кровати, рванул на себя дверь и, убедившись, что она заперта, без чувств грохнулся на пол.

После этой ночи Легри запил, не зная удержу, забыв всякую меру. Вскоре на соседних плантациях и в городе разнесся слух, что Саймон при смерти. И это была правда. Пьянство довело его до белой горячки. Он метался, кричал, и бред его был так страшен, что в комнату к нему никто не решался заходить.

И все время ему чудилось, будто возле кровати стоит грозное привидение в белом саване, повторяющее одно и то же слово: «Идем! Идем! Идем!»

По странной случайности, наутро после той ночи, когда призрак впервые появился в комнате Легри, дверь на веранду оказалась открытой, а кое-кто из негров видел, как по ясеневой аллее, ведущей к дороге, пробежали две белые фигуры.

Эммелина и Касси только на рассвете остановились передохнуть в небольшой рощице недалеко от города.

Касси оделась, как одеваются креолки*,— во все черное. Густая вуаль на маленькой черной шляпе совершенно скрывала ее лицо. Беглянки условились, что Касси будет выдавать себя за знатную даму, а Эммелина — за ее служанку.

Касси ничего не стоило сыграть эту роль. Воспитанная в богатом доме, она умела хорошо держаться, говорила по-французски, а от прежних времен у нее остались еще кое-какие наряды и драгоценности.

На окраине города они купили дорогой чемодан, наняли носильщика, и наша важная дама появилась в маленькой городской гостинице в сопровождении мальчика, катившего на тачке ее тяжелую поклажу, и нагруженной свертками Эммелины.

Первый, кого она там встретила, был Джордж Шелби, остановившийся в той же гостинице в ожидании парохода.

Касси разглядела этого молодого человека еще в глазок на чердаке, видела, как он увез тело Тома, и с тайным злорадством наблюдала за его стычкой с Легри. Разгуливая по дому в образе привидения, она подслушала разговоры негров, узнала, кто он, какое отношение имеет к Тому, и сразу прониклась к нему чувством доверия. А теперь, к ее радости, выяснилось, что они поедут на одном пароходе.

Внешность Касси, ее осанка и манеры, а больше всего деньги, которые она тратила не скупясь, были способны усыпить любое подозрение на ее счет. Люди вообще склонны смотреть сквозь пальцы на тех, кто хорошо платит, и, зная это, Касси предусмотрительно запаслась солидной суммой на расходы.

В сумерках на реке послышались гудки. Джордж Шелби с галантностью, свойственной всем кентуккийцам, посадил Касси на пароход и устроил ее в хорошей каюте.

Пока шли по Ред-ривер, Касси не появлялась на палубе, сказавшись больной, а ее преданная служанка ни на шаг не отходила от постели своей госпожи.

Но вот добрались до Миссисипи. Джордж узнал, что незнакомка тоже собирается ехать вверх по реке, и, посочувствовав ее слабому здоровью, предложил достать для нее отдельную каюту на одном пароходе с ним.

И в тот же день все трое пересели на большое судно «Цинциннати», которое понеслось на всех парах вверх по Миссисипи.

Касси быстро оправилась от своего нездоровья. Она сидела на палубе, выходила к общему столу и привлекала к себе взгляды всех пассажиров, говоривших между собой, что в молодости эта женщина, вероятно, была красавицей.

Джордж с первой же встречи с Касси уловил в ней смутное сходство с кем-то, но никак не мог вспомнить, с кем именно. Сидя за столом в салоне или у дверей своей каюты, Касси то и дело чувствовала на себе его взгляд, а он, встречаясь с ней глазами, скромно отводил их в сторону.

В сердце ее закралось сомнение — уж не заподозрил ли чего-нибудь этот юноша? И наконец она решила положиться на его великодушие и поведала ему все.

Джордж был готов прийти на выручку любому беглецу с плантации Легри, о котором он не мог ни говорить, ни думать спокойно, и со свойственным его возрасту пренебрежением к возможным последствиям своих поступков обещал обеим женщинам сделать все, лишь бы помочь им.

Каюту рядом с Касси занимала француженка, мадам де Ту, путешествовавшая с очаровательной девочкой лет двенадцати.

Услыхав, что Джордж уроженец Кентукки, эта дама проявила явное желание познакомиться с ним, и знакомство вскоре состоялось, чему немало способствовала ее хорошенькая дочка, которая могла у кого угодно прогнать скуку, навеянную двухнедельным пребыванием на пароходе.

Джордж часто сидел у дверей каюты мадам де Ту, и Касси слышала с палубы их беседы. Француженка подробно расспрашивала своего собеседника о Кентукки, где она, по ее словам, жила когда-то. Джордж с удивлением узнал, что они были почти соседями, а в дальнейших разговорах юношу все больше и больше поражала осведомленность, которую выказывала мадам де Ту, вспоминая многие события и многих обитателей его родных мест.

— А среди ваших соседей нет плантатора по фамилии Гаррис? — спросила как-то француженка.

— Да, есть такой старикашка и живет недалеко от нас,— ответил Джордж.— Впрочем, мы с ним редко встречаемся.

— Он, кажется, крупный рабовладелец? — продолжала мадам де Ту, небрежностью тона явно стараясь скрыть, насколько ее интересует этот вопрос.

— Совершенно верно,— подтвердил Джордж, удивляясь, почему она так волнуется.

— Вам, может быть, приходилось слышать... У него был невольник... мулат Джордж... Вы не знаете такого?

— Джорджа Гарриса? Прекрасно знаю. Он женился на служанке моей матери, но потом убежал в Канаду.

— Убежал? — живо переспросила мадам де Ту.— Слава богу!

Джордж в недоумении воззрился на нее, но промолчал.

И вдруг мадам де Ту закрыла лицо руками и расплакалась.

— Это мой брат,— сказала она.

— Что вы говорите! — воскликнул Джордж вне себя от изумления.

— Да! — Мадам де Ту горделиво вскинула голову и утерла слезы.— Да, мистер Шелби, Джордж Гаррис мой брат!

— Боже мой! — Юноша отодвинул стул и в изумлении уставился на свою собеседницу.

— Меня продали на Юг, когда он был еще мальчиком,— продолжала мадам де Ту.— Но я попала к доброму, великодушному человеку. Он увез меня в Вест-Индию, дал мне свободу и женился на мне. Я овдовела совсем недавно и решила съездить в Кентукки на поиски брата. Я хочу выкупить его.

— Да, да, припоминаю! Джордж говорил, что у него была сестра Эмили, которую продали на Юг.

— Вот она, перед вами,— прошептала мадам де Ту.— Расскажите мне, какой он...

— Ваш брат — очень достойный молодой человек, хотя он и вырос рабом,— сказал Джордж.— Его уму и твердости характера все отдавали должное. Я хорошо его знаю, потому что он взял жену из нашего дома.

— А что вы скажете о ней? — живо спросила мадам де Ту.

— Ну, это настоящее сокровище! Красавица, умница и такая приветливая, ласковая! Она воспитывалась у моей матери, как родная дочь. Чему только ее не учили! И читать, и писать, и рукодельничать!.. А как она прекрасно пела!

— Она у вас в доме и родилась? — спросила мадам де Ту.

— Нет. Мой отец купил ее в одну из своих поездок в Новый Орлеан и привез в подарок матери. Ей было тогда лет восемь-девять. Отец так и не признался, сколько он за нее заплатил, но недавно, роясь в его бумагах, мы нашли купчую. Сумма, скажу вам, была огромная. Вероятно, потому, что девочка отличалась необычайной красотой.

Джордж сидел спиной к Касси и не мог видеть, с каким напряженным вниманием она прислушивается к их разговору.

Когда он дошел до этого места в своем рассказе, Касси вдруг тронула его за плечо и, бледная от волнения, спросила:

— А вы не помните, у кого ее купили?

— Если не ошибаюсь, сделку совершал некий Симмонс. Во всяком случае, купчая крепость подписана его именем.

— Боже мой! — воскликнула Касси и упала без чувств.

Джордж и мадам де Ту в смятении вскочили с мест. Наш герой в пылу человеколюбия опрокинул графин с водой и разбил один за другим два стакана. Дамы, услышав, что кому-то стало дурно, столпились в дверях каюты, так что свежий воздух уже не мог туда проникнуть. Одним словом, все, что полагается делать в таких случаях, было сделано.

А бедная Касси, придя в себя, отвернулась лицом к стене и заплакала, как ребенок. Матери! Может быть, вам понятны ее чувства? А если нет, знайте: Касси уверовала, что судьба смилостивилась над ней и что она увидит свою дочь.

Несколько месяцев спустя они свиделись... Впрочем, мы слишком торопимся, не будем забегать вперед!

Глава XLIII

НАШЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ ПОДХОДИТ К КОНЦУ

Нам осталось досказать совсем немного. Джордж Шелби, как и подобает человеку молодому, горячо заинтересовался этой романтической историей и, следуя побуждению своего доброго сердца, не замедлил переслать Касси документ о продаже Элизы, дата которого и подпись «Симмонс» подтверждали то, что она знала о своей дочери. Теперь Касси оставалось только отыскать ее следы, ведшие в Канаду.

Общая судьба, столь неожиданно столкнувшая мадам де Ту и Касси на их жизненном пути, сблизила обеих женщин. Они отправились в Канаду и стали наводить справки на станциях подпольной дороги, где обычно находили пристанище беглые невольники. В Амхерстберге их направили к тому доброму священнику, в дом которого Джордж и Элиза попали прямо с парохода, и, следуя его совету, они поехали в Монреаль.

Наши беглецы жили на свободе уже пять лет. Джордж работал в мастерской у одного механика, и его жалованья вполне хватало на содержание семьи, успевшей увеличиться за это время, так как у Элизы родилась дочь.

Маленький Гарри, красивый, умный мальчик, ходил в школу; ученье давалось ему легко.

Почтенный священник, приютивший в свое время Джорджа и Элизу, проникся таким сочувствием к Касси и мадам де Ту, что, вняв просьбам последней, обещавшей к тому же взять на себя все дорожные расходы, отправился вместе с ними в Монреаль.

А теперь, читатель, представьте себе небольшой чистенький домик на окраине этого города. Приближается вечер. В очаге весело потрескивает огонь. На столе с белоснежной скатертью все готово к ужину. В дальнем углу комнаты стоит еще один стол, покрытый зеленым сукном; на нем — письменные принадлежности, бумаги; тут же на стене прибита полочка с книгами.

Этот уголок служит Джорджу кабинетом. Тяга к знанию, побудившая молодого мулата еще в прежние, тяжелые годы тайком от хозяина выучиться грамоте, и теперь заставляет его отдавать весь досуг ученью.

Он сидит за письменным столом и делает выписки из какой-то толстой книги.

— Джордж! — говорит ему Элиза.— Тебя весь день не было дома. Кончай свои занятия, и давай поговорим.

Маленькая Элиза спешит ей на помощь. Она подбегает к отцу, отнимает у него книгу и карабкается к нему на колени, не спрашивая, доволен ли он такой заменой.

— Ах ты проказница! — говорит Джордж, покоряясь этой властной маленькой особе, как и подобает мужчине при подобных обстоятельствах..

— Вот и хорошо! — говорит его жена, нарезая хлеб.

Наша Элиза немножко постарела, стала полнее, солиднее, но каким спокойствием, каким счастьем дышит ее лицо!

— Ну что, дружок, решил задачу? — спрашивает Джордж, гладя сына по голове.

Гарри давно расстался со своими длинными кудрями, но глаза и ресницы у него прежние, и лоб все такой же чистый и высокий. Мальчик заливается румянцем и отвечает торжествующим голосом:

— Решил, папа! Сам решил, мне никто не помогал!

— Молодец! — говорит Джордж.— Полагайся только на самого себя, сынок, и пользуйся тем, что можешь учиться. У твоего отца такого счастья не было.

В эту минуту раздается стук в дверь. Элиза идет открыть ее. Слышен радостный возглас: «Как! Это вы?» Джордж бежит в переднюю и радостно приветствует доброго священника из Амхерстберга. Следом за ним входят две женщины, и Элиза приглашает их сесть.

Сказать по чести, добрейший священник заранее обдумал программу этого свидания и всю дорогу убеждал обеих женщин не нарушать ее стройного порядка. Сначала все шло как по писаному. Священник усадил своих спутниц, вынул из кармана платок, вытер лицо и только хотел начать давно заготовленную речь, как вдруг — о ужас! — мадам де Ту, расстроив все его планы, кинулась Джорджу на шею со словами:

— Джордж! Ты не узнаешь меня? Я твоя сестра Эмили!

Касси все еще держала себя в руках, и она справилась бы со своей ролью до конца, если б перед ней вдруг не появилась маленькая Элиза — точная копия той Элизы, которая осталась у нее в памяти. Малютка во все глаза уставилась на незнакомую женщину, и Касси не выдержала, схватила внучку на руки, прижала к груди и воскликнула, не сомневаясь в правоте своих слов:

— Радость моя! Я твоя мама!

Что и говорить, трудно в таких случаях придерживаться заранее установленного порядка! Однако в конце концов священник кое-как успокоил всех и произнес свою запоздалую речь, которая так ему удалась, что его слушатели обливались слезами, а это, согласитесь, могло польстить самолюбию любого оратора и древних времен и наших дней.

И вот хозяева и гости садятся за стол и заводят беседу. Все настроены радостно, если не считать маленькой Элизы, которая полна недоумения: незнакомая тетя держит ее на коленях, то и дело прижимает к груди и вдобавок отказывается от пирога, уверяя, будто у нее есть что-то такое, что лучше всяких лакомств.

Проходит день, другой, и Касси сделалась неузнаваемой — такая перемена произошла в ней за этот короткий срок. Ее взгляд, прежде полный безграничного отчаяния, смягчился, затеплился лаской. Она обрела семью, и дорогу к ее сердцу, истомившемуся без любви, прежде всего нашли дети. Маленькая Элиза была ей ближе родной дочери, ибо Касси видела в этом ребенке двойника той девочки, которую она потеряла много лет назад. И малютка послужила связующим звеном между матерью и дочерью, которые с ее помощью узнали и полюбили друг друга.

На следующий день после встречи с братом мадам де Ту более подробно посвятила его в свои дела. Покойный муж оставил ей немалое состояние, и теперь она великодушно предложила поделиться им с семьей Джорджа. На ее вопрос, как лучше всего употребить эти деньги, Джордж ответил:

— Дай мне возможность получить образование, Эмили. Это всегда было моей заветной мечтой. А остального я добьюсь сам.

По зрелом размышлении было решено на несколько лет переехать всей семьей во Францию, что они и сделали, взяв с собой Эммелину.

В пути прелестная девушка покорила сердце первого помощника капитана и по прибытии на место вскоре обвенчалась с ним.

Джордж четыре года прилежно учился в одном французском университете и достиг своей цели — стал образованным человеком.

Свои убеждения и чувства он лучше всего выразил сам в письме к одному другу.

«Будущее мое все еще неясно,— писал Джордж.— Правда, ты говоришь, что белые согласятся терпеть в своем обществе человека с таким цветом кожи, как у твоего покорного слуги,— тем более что жена и дети у меня совсем светлые. Ну что ж, может быть... Но, представьте себе, я вовсе этого не жажду! Все мои симпатии на стороне того народа, к которому принадлежала моя мать. Когда я вспоминаю то, что она выстрадала, вспоминаю муки, выпавшие на мою долю, на долю моей героини жены и моей сестры, проданной на невольничьем рынке в Новом Орлеане, у меня нет ни малейшего желания выдавать себя за американца или иметь что-то общее с ними...

«Но,— возразишь ты,— наш народ имеет такое же право на существование в Американской республике, как, скажем, ирландцы, немцы, шведы!» Допустим, что это так. Нам должны дать равные права со всеми, независимо от цвета нашей кожи, независимо от кастовых признаков. И те, кто лишает нас этих прав, изменяет принципу всеобщего равенства — принципу, который они якобы исповедуют. Мы особенно многого должны требовать именно от Америки, ибо она повинна во всех наших несчастьях. Но я повторяю: мне не нужно от нее воздаяний за прошлые несправедливости. Я хочу жить в своей стране, среди своего народа...

Ты назовешь меня фантазером. Ты скажешь, что Либерия*, куда я стремлюсь, овеяна для меня дымкой романтических мечтаний. Но это неверно. Я все учел, все обдумал. Я буду работать там, не боясь никаких препятствий и неудач, буду работать всю жизнь, до последнего вздоха. И я уверен, что мне не придется раскаяться в своем решении.

Джордж Гаррис».

Через несколько недель Джордж с женой, матерью жены, сестрой и детьми уехал в Африку.

Нам осталось сказать несколько слов о мисс Офелии и Топси, а заключительную главу мы посвятим Джорджу Шелби.

Мисс Офелия привезла Топси в Вермонт, к великому неудовольствию своего сурового и чопорного семейства. На первых порах Топси считали явной помехой, нарушающей размеренный ход жизни в доме. Однако мисс Офелия так неукоснительно выполняла свой долг по отношению к Топси и добилась таких успехов в ее воспитании, что девочка вскоре снискала расположе-

ние не только родных и домочадцев своей наставницы, но и всех их соседей.

Быть может, некоторым из наших читателей будет приятно узнать, что розыски сына Касси, предпринятые мадам де Ту, увенчались успехом. Этот смелый и предприимчивый юноша бежал на Север несколькими годами раньше, чем его мать, и с помощью тех, кто всегда готов поддержать угнетенных, получил там образование. Пройдет еще немного времени, и он тоже уедет в Африку, где его ждут близкие.

Глава XLIV

ОСВОБОДИТЕЛЬ

Джордж Шелби сообщил матери о дне своего приезда в двух-трех словах. У него не хватило духу написать домой о смерти Тома. Юноша несколько раз брался за перо, но все эти попытки кончались тем, что он, задыхаясь от подступающих к горлу слез, разрывал письмо на клочки, вытирал платком глаза и убегал куда-нибудь успокоиться.

В тот день в доме Шелби царило радостное оживление: все ждали приезда молодого мистера Джорджа.

Миссис Шелби сидела в уютной гостиной у камина, жаркий огонь которого разгонял холодок осеннего вечера. Стол, накрытый к ужину под наблюдением нашей старой приятельницы, тетушки Хлои, сверкал серебром и хрустальными бокалами.

Разодетая в пух и прах — новое ситцевое платье, белоснежный передник и высокий, туго накрахмаленный тюрбан,— Хлоя без всякой нужды похаживала вокруг стола, выискивая предлог, чтобы поболтать с хозяйкой, а ее глянцевито-черная физиономия так и сияла от радости.

— Хочу, чтобы все было как надо,— сказала она.— Его прибор поставлю поближе к камину — он любит тепленькое местечко... Ох, да что же это! Почему Салли не подала новый чайник, тот, что мистер Джордж подарил вам к рождеству? Пойду принесу его...— И, помедлив, вдруг спросила: — А письмецо мистер Джордж все-таки прислал?

— Прислал, Хлоя. Всего несколько слов. Пишет: если удастся, приедет сегодня вечером. Вот и всё.

— А про моего старика там ничего не сказано? — допытывалась Хлоя, передвигая чашки с места на место.

— Нет, Хлоя. Больше он ни о чем не пишет. Обещает рассказать все по приезде.

— Да ведь мистер Джордж всегда так. Страсть как любит

сам все выложить! Я его повадки знаю. А по правде говоря, на вас, белых, только диву даешься! И охота вам письма писать! Возня-то какая!

Миссис Шелби улыбнулась.

— Я все думаю, не узнает мой старик своих ребятишек: Полли-то совсем большая стала, и какая бойкая! Она у меня дома сейчас сидит, присматривает за пирогом. Я своему старику его любимый пирог замесила, точно такой же, какой он ел в тот день, когда прощался с нами. Господи милостивый, как я тогда убивалась!

Миссис Шелби вздохнула, почувствовав тяжесть на душе при этом воспоминании. Беспокойство не оставляло ее с тех самых пор, как от Джорджа было получено письмо. Она подозревала, что сын неспроста пишет так коротко, видимо умалчивая о чем-то.

— Миссис Шелби, а деньги мои вы приготовили? — спохватилась вдруг Хлоя.

— Приготовила, приготовила.

— Пусть мой старик посмотрит, сколько я заработала. А знаете, что он мне сказал, этот бандитер? «Хлоя, говорит, оставайся, не уходи». А я ему отвечаю: «Спасибо, говорю, я бы с удовольствием осталась, да вот только мой старик скоро вернется и хозяйке без меня трудно». Так и сказала, честное слово! А он хороший человек, этот мистер Джонс.

Хлоя с первого дня службы у кондитера мечтала, что когда-нибудь Том убедится собственными глазами в заслугах своей жены, увидев те самые деньги, которыми ей выплачивали жалованье. Миссис Шелби охотно согласилась выполнить ее желание и сохранила их до последнего цента.

— Не узнает он Полли, ни за что не узнает! Господи, ведь ни много ни мало пять лет прошло с тех пор, как его увезли! Она тогда совсем крошка была, едва на ногах стояла! А помните, как мой Том радовался, когда дочка начала ходить? О господи, господи!

Вдали послышался стук колес.

— Мистер Джордж! — крикнула тетушка Хлоя, кидаясь к окну.

Миссис Шелби выбежала на веранду и попала прямо в объятия сына. Тетушка Хлоя стояла рядом с ними, напряженно вглядываясь в темноту.

— Бедная моя! — проникновенным голосом сказал Джордж и сжал ее мозолистую черную руку в своих.— Я все бы отдал, чтобы привезти его домой, но он ушел от нас.

Миссис Шелби горестно вскрикнула. Хлоя же не произнесла ни слова.

Все втроем они вошли в гостиную. Деньги, которыми так гордилась тетушка Хлоя, по-прежнему лежали на столе.

— Возьмите, миссис,— сказала она, собирая их со стола и дрожащей рукой протягивая хозяйке.— Глаза бы мои не глядели на эти деньги! Чуяло мое сердце, что так и будет... Продали его, а там ему и смерть пришла... уморили...

Хлоя повернулась и, гордо вскинув голову, зашагала к двери. Миссис Шелби догнала ее, взяла за руку, усадила в кресло и сама села рядом.

— Бедная ты моя, хорошая! — сказала она.

Хлоя уронила голову ей на плечо и проговорила сквозь горькие рыдания:

— Простите меня, миссис... Я сама не своя, сердце разрывается на части...

Наступило долгое молчание. Они плакали все трое. Наконец Джордж сел, взял тетушку Хлою за руку и бесхитростными, трогательными в своей простоте словами рассказал ей о смерти Тома, повторив его полный любви прощальный привет близким.

...Прошло около месяца, и вот однажды утром всех негров, живших в поместье Шелби, созвали в большой зал господского дома послушать, что им скажет молодой хозяин.

К их немалому удивлению, мистер Джордж появился с кипой бумаг в руках, и эти бумаги оказались ничем иным, как вольными, которые он читал вслух под радостные возгласы и рыдания и вручал каждому негру в отдельности.

— Друзья мои! — начал Джордж, когда ему наконец удалось восстановить тишину в зале.— Я не гоню вас отсюда. Нам по-прежнему нужны работники и в доме и на полях. Но теперь вы свободные люди. Вы будете получать жалованье за свой труд — о размерах его мы еще договоримся. Если же я запутаюсь в долгах или умру — все может случиться,— вас никто не обидит, никто не продаст. Я по-прежнему буду управлять поместьем и научу вас пользоваться своими новыми правами, ибо это дается человеку не сразу. Позвольте же мне надеяться, что мои старания не пропадут даром!.. А напоследок я хочу сказать вам еще несколько слов. Помните ли вы нашего доброго дядю Тома? Так вот знайте, друзья мои: на его могиле я поклялся, что у меня не будет больше ни одного раба! Я поклялся, что никто из вас не разлучится по моей вине со своим родным домом, со своими близкими, никто не умрет на чужой стороне, как умер дядя Том. Радуясь свободе, не забывайте, какому прекрасному человеку вы обязаны ею, и отплатите за это добром его жене и детям! И пусть *хижина дяди Тома* всякий раз напоминает вам, что среди вас нет рабов. Цените же свою свободу и постарайтесь быть такими же честными и верными, каким был наш дядя Том!..

ПОКА СТЕНЫ НЕ РУХНУТ...

О романе Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»

Он родился рабом на плантации в Мэриленде, и первое впечатление детства, навсегда оставшееся в его памяти, было таким: в их хижине стонет от боли и ярости человек с залитой кровью головой и разорванной бичами кожей на спине, человек, который казался ему самым сильным на земле,— его отец.

Когда он подрос, мать рассказала ему: надсмотрщик грубо набросился на нее, и муж поспешил ей на помощь. Негр поднял руку на белого человека! Этого было достаточно, чтобы вызвать ярость плантаторов всей округи. Сто ударов бичом и отрубленное правое ухо — таково было наказание. Потом отца продали «вниз по реке» — в низовья Миссисипи, где царил ад, который никто из рабов не выдерживал долго. Сын его больше никогда не видел.

Мальчика звали Джошия. Джошия Хенсон.

Существовали ли на самом деле дядя Том, Элиза, Джордж Гаррис и другие герои этой книги? Правда ли все то, что в ней рассказано о положении негров в Америке? Наверно, у вас возникли эти вопросы. В свое время их задавали и самой Гарриет Бичер-Стоу. Она отвечала, что персонажи ее романа «взяты прямо из жизни», что роман — «мозаика реальных фактов». В образах Джорджа, Элизы и других отразились черты и события из жизни многих людей. А вот в образе дяди Тома, по словам писательницы, она изобразила одного вполне определенного человека. Она назвала его имя. По воле Бичер-Стоу Джошия Хенсон вошел в историю как «подлинный дядя Том».

Передо мной книга, изданная в США в 1859 году. Она называется «Правда удивительнее вымысла». Это рассказ Джошия Хенсона о его жизни, начало которой вам уже известно.

Джошия был еще ребенком, когда хозяин решил продать его семью. Он навсегда запомнил этот день. Запомнил, как мать прижимала его к себе, пока его братьев и сестер распродавали поодиночке. Запомнил, как мать стояла на помосте и в толпе обсуждали ее достоинства и недостатки, словно она была «домашней скотиной». Мать купил некий мистер Рили. И вот уже самого Джошию поставили на помост. «Пока шел торг, моя мать пробралась через толпу и упала к ногам Рили. Она умоляла его купить меня, чтобы не разлучать ее с последним ребенком. И поверьте, этот человек не только остался глухим к ее мольбам, но еще и отбросил ее ударом ноги с такой силой, что моя мать долго не могла подняться».

Джошию купил сосед Рили и оставил в сарае голодного и больного. Встретив вскоре Рили, он предложил ему по дешевке уступить мальчишку. Рили нехотя взял мальчика, обещав взамен пару подков для лошадей, и то лишь при условии, «если этот чертенок не подохнет». На плантации Рили мать вы́ходила сына.

Из Джошии вырос человек недюжинных способностей. Не перечислить всех услуг, оказанных им хозяину. Рили доверил ему управление плантацией. Хенсон сумел удвоить доход с нее. Из-за каких-то нечестных сделок Рили разорился и, чтобы не потерять рабов, решил переправить их в штат Кентукки, на плантацию своего брата. Хенсон повел партию негров. Их путь лежал через штат Огайо, где рабство было отменено. Хенсону советовали распустить рабов, остаться самому на свободе. Он отвечал: «Я христианин, я дал слово хозяину».

Братья Рили по-своему отблагодарили преданного слугу. Они отправили его с одним из молодых Рили «вниз по реке», в Новый Орлеан, поручив молодому человеку сбыть с помощью Хенсона скот и зерно, а потом продать и самого Хенсона. Уже приходил покупатель, договорились о цене, но тут, как пишет Хенсон, «вмешалось провидение»: молодой хозяин свалился в лихорадке. Хенсон вы́ходил его и на руках доставил к родителям. Благодарность? «Меня потрепали по плечу, как хорошо выполнившую свою службу собаку».

И тогда Хенсон наконец понял, «что обязан сделать все, чтобы спасти себя и свою семью из рабства и добиться своих прав». С женой и четырьмя детьми, посадив двух младших в мешок за спиной, падая от голода, Хенсон проделал по лесным дорогам далекий путь из Кентукки в Канаду.

Отныне его жизнь была отдана борьбе за свободу. Он основал поселение беглых рабов в Канаде. Он несколько раз пробирался тайком в Южные штаты и помог бежать двумстам неграм. С помощью сына он научился читать и писать и издал книгу о своей жизни.

Бичер-Стоу изобразила в романе не подлинные события жизни Хенсона, а лишь смысл того периода его жизни, когда он, верный христианскому учению, покорно нес цепи рабства; в угоду своему замыслу она изменила ее конец. Жизнь Джошии действительно была удивительнее вымысла писательницы: раб не погиб на плантации, искалеченный и затравленный, а стал видным общественным деятелем, борцом за свободу своих черных братьев.

Однако история «подлинного дяди Тома», если ее сравнить с романом, поучительна. Она еще раз убеждает, что Бичер-Стоу достоверно изобразила ужасы американского рабства. Но она же свидетельствует, что негры — рабы, наделенные волей и силой характера, не примирялись со своей участью, как дядя Том, а боролись за свободу и счастье, как Джошия Хенсон или как Джордж и Элиза в романе.

Какой она была, Гарриет Бичер-Стоу, самая знаменитая женщина своего времени?

Просто и кратко она описала себя: «Я очень маленького роста, худая, как спичка, и даже в молодости не отличалась красотой». Со старых фотографий на нас смотрит скромно одетая пожилая женщина с доброжелательно-строгим взглядом. Так и хочется сказать — учительница. Она и была учительницей.

Гарриет Бичер родилась в 1811 году в Новой Англии (северо-восточная часть США). Отец ее был священником. Она выросла в семье, где посещать церковь по воскресеньям считалось столь же необходимым, как позавтракать или пообедать, где вечера заканчивались чтением Библии и каждый день между разговорами о новостях и расходах можно было услышать споры о загробной жизни, грехе и благодати. Религия пронизывала жизнь семьи и навсегда овладела сознанием Гарриет Бичер.

У отца Гарриет было тринадцать детей, и, подрастая, они должны были сами заботиться о себе. Ее старшая сестра открыла школу для девочек. Гарриет поступила в нее и, учась, помогала учить других. В восемнадцать лет она стала учительницей.

В ее семье все были противниками рабства. Но в Новой Англии рабства давно не было, да и негров жило немного. Гарриет с детства понимала несправедливость рабства, но оно оставалось для нее чем-то далеким, малознакомым.

В 1832 году Гарриет с отцом переехала в город Цинциннати.

Город стоял на берегу Огайо, а река служила границей. Границей между Северными штатами, где рабство было уничтожено и бурно развивался капитализм, и Южными, где миллионы рабов трудились на хлопковых, табачных, сахарных плантациях, гибли под бичами, продавались и покупались наравне с прочим движимым имуществом.

Рабство приблизилось вплотную. Атмосфера Юга, накален-

ная жаром страданий и пламенем неугасимой борьбы против гнета, достигала Цинциннати, проникала в жизнь семьи Бичер. Она обжигала совесть.

Гарриет Бичер скрывала в своем доме беглых невольников, спасала их от преследователей, открыла домашнюю школу для негритянских детей, а когда натравленная рабовладельцами толпа устроила в городе негритянский погром, с гневом говорила: «Будь я мужчиной, я вооружилась бы и отстреливалась бы из окна».

Гарриет Бичер вышла замуж за Кельвина Стоу, священника, преподавателя семинарии. Все имущество ее мужа составлял шкаф с книгами. «Мой муж,— шутила она,— богат одной ученостью». Один за другим стали появляться дети. И вместе с ними болезни, нужда.

Бичер-Стоу попробовала писать. Она стала посылать очерки и заметки в журналы Нью-Йорка. К ее удивлению, их охотно печатали, и это помогало сводить концы с концами.

В романе нарисована сценка — миссис Бэрд среди своих детей: «Том, оставь дверную ручку! Мэри, Мэри! Не тяни кошку за хвост — ей больно! Джим, нельзя лазить на стол!» Бичер-Стоу изобразила то, что повседневно окружало ее дома. Разрываясь между кухней и детской, в вечных заботах о детях, о хозяйстве, о деньгах, она умудрялась писать. Иногда примостившись у кухонной плиты и положив на колени атлас с листом бумаги...

В те годы, когда никому не известная жена священника боролась с нуждой и растила семерых детей, в стране поднялось народное движение против рабства. Противников рабства сплотил молодой журналист Уильям Ллойд Гаррисон. Человек с невозмутимо-серьезным лицом и тихим, мелодичным голосом, он обладал сильной волей и сердцем, готовым, кажется, вместить боль и страдания всех людей с черной кожей. Его слова звучали, как клятва: «Пусть трепещут южные угнетатели, пусть трепещут их северные защитники, пусть трепещут все враги гонимых черных... Я не стану увиливать, не буду прощать, не отступлю ни на шаг — и меня услышат».

Гаррисона услышали. Сначала передовые люди — интеллигенты: проповедники, журналисты, писатели — и белые и негры. А затем и всё более широкие круги американского народа.

«Abolition» — так пишется по-английски слово, означающее «отмена», «уничтожение». Речь шла об отмене рабства. Сторонников немедленного уничтожения рабства стали называть аболиционистами.

Аболиционисты выступали в обстановке вражды и преследований. Против них были не только плантаторы и их приверженцы. Против них были люди, не извлекавшие никакой выгоды

из рабства, но с детства зараженные неприязнью к неграм, воспитанные в убеждении, что цветом кожи определяется достоинство человека. И таких, надо признать, сначала было большинство.

Аболиционистов травили, избивали, сажали в тюрьмы, линчевали.

Они не сдавались. Они страстно обличали рабство на митингах, в газетах, помогали рабам бежать из Южных штатов.

«Тысяча рабов в год исчезает бесследно! — бушевал лидер рабовладельцев Кальхун.— Можно подумать, что их уносит какой-то подземный поезд!»

«Подземная железная дорога» — так аболиционисты и назвали свою систему помощи неграм, которые бежали из Южных штатов. «Подземная дорога» имела свои «станции» — дома, где укрывали беглых, свои «поезда» — группы беглых рабов, своих «кондукторов» — руководителей и проводников.

Но с помощью «подземной дороги» всех рабов вывезти с Юга было невозможно. Как же добиться свободы для всех?

Гаррисон был глубоко верующим человеком. Он ссылался на Библию. Он взывал к христианскому милосердию. Он обращался к совести людей. Он хотел пробудить совесть народа, даже совесть рабовладельцев, надеясь, что это позволит покончить с рабством. Гаррисон и его друзья были против применения силы, против восстания. Они не понимали, что заставить рабовладельцев отказаться от их «живой собственности» можно только вооруженной борьбой.

Религию использовали и рабовладельцы. Их проповедники твердили, что негры-де прокляты богом и осуждены им на безропотное служение белым. Они внушали рабам, что если те не будут послушно выполнять все повеления хозяев, то их ждут вечные мучения в аду.

Господь бог всегда играл роль флюгера, который послушно поворачивался в ту сторону, в какую угодно было людям.

Не все аболиционисты были согласны с Гаррисоном.

На митингах гремел голос человека, которого называли «самым великим оратором Америки». Отбросив львиную гриву волос, гордо подняв бронзовое лицо, он восклицал: «О, я рад был бы услышать, что рабы Юга восстали и что те черные руки, которые были заняты его украшением, сеют там смерть и разрушение!» Оратора звали Фредериком Дугласом. На спине Дугласа навсегда сохранились глубокие шрамы — следы плети, доходившей до самых костей. Беглый раб, он стал выдающимся публицистом, самым замечательным руководителем негров Америки (по признанию Бичер-Стоу, черты его духовного облика и некоторые факты из его жизни нашли отражение в образе Джорджа Гарриса).

Еще решительнее был настроен фермер Джон Браун. Он не ограничивался призывами. Он был непреклонен в своем стремлении к справедливости. Не останавливался ни перед чем. Старый Браун стал готовить восстание рабов. В 1859 году (это было уже после появления «Хижины») он поднял восстание, но был разбит и схвачен рабовладельцами. Джон Браун взошел на виселицу, бросив слова: «Только кровь смоет великое преступление этой грешной страны». Он имел в виду рабство негров.

Гарриет Бичер-Стоу по своим взглядам была близка Гаррисону. Она уповала на силу убеждения. Ей были чужды мысли о восстании, о насильственном сокрушении рабства. Но всей душой, всеми помыслами она была на стороне угнетенных негров.

Сцены унижений и страданий невольников отпечатывались в ее сердце, как клеймо отпечатывается на теле раба. В душе ее созревал пламень, готовый прорваться наружу. Не хватало повода, толчка.

В 1850 году правительство США, послушное воле рабовладельцев, издало закон о беглых рабах. Закон предписывал вернуть в рабство всех негров, бежавших в Северные штаты. Отныне для негров в США не было спасения из рабства. Закон о беглых рабах вызвал в стране бурю: сказались многолетние усилия аболиционистов изменить мнения и взгляды людей. Охваченная общим возмущением, Бичер-Стоу взялась за перо.

Она писала быстро. В одном нью-йоркском еженедельнике из номера в номер появлялись главы «Хижины дяди Тома». В 1852 году роман вышел отдельным изданием.

Две линии развиваются в романе: история дяди Тома и история Джорджа и Элизы. Их злоключения почти не связаны между собой. Они только вызваны одним событием: «добрый» рабовладелец мистер Шелби, оказавшись в долгах, продает своего верного слугу Тома и сына преданной служанки Элизы. Начинается тернистый путь дяди Тома и борьба Джорджа и Элизы за свободу и счастье.

Попутно мы знакомимся с другими действующими лицами — черными и белыми, рабами и плантаторами.

Как живо они изображены! Балагур и хвастун Сэм, весело дурачащий осмотрительного и хитрого работорговца Гейли; напыщенный камердинер Адольф, гордый своим лакейским фраком; тетушка Хлоя, хлопотунья и мастерица; маленькая дикарка Топси с ее поруганным, растоптанным жестокостью детством, сумевшая сохранить обаятельное лукавство и сердечную нежность; старая, высохшая от горя Пру с ее трагической судьбой — у нее отняли всех детей, а младшего на глазах у матери заморили голодом. Даже тех, кто ненадолго появляется перед читателями, трудно забыть.

Плантаторы в романе также не похожи один на другого. Шелби не заставляет своих рабов истекать кровью, как изверг Легри, а Сен-Клер — человек с широкими и гуманными взглядами. И тем не менее Шелби продает Тома; Сен-Клер, не успев освободить его, обрекает на новые страдания, а Легри без долгих раздумий забивает его до смерти. Бичер-Стоу сумела возвыситься до мысли, что рабовладельцы, какими бы душевными качествами они ни обладали, вольно или невольно творят зло, ибо зло заключено не столько в людях, сколько в самой системе, превращающей одного человека в собственность другого.

Страницы романа, в котором происходит так много трагического, щедро освещены юмором — теплым, добродушным, когда речь идет о невольниках, и приобретающим едкость сатиры, когда он направляется против поработителей. Вот одна только реплика — ответ плантатора Гарриса, уводящего Джорджа с фабрики: «Джордж принадлежит мне, и я волен делать с ним что угодно! Мы живем в свободной стране, сэр!»

Эти слова по сей день разят Соединенные Штаты — страну, где свобода прикрывает насилие.

Вернемся к главным героям. Джордж Гаррис с его прирожденными способностями сумел самостоятельно овладеть грамотой, даже стать изобретателем. Мужественный, гневный, он готов с оружием в руках постоять за свою честь и свободу: «Потерпи»? Разве я мало терпел? Нет, довольно терпеть! Довольно!.. «Положись на бога»? Я не могу положиться на бога, если он допускает такую несправедливость!»

Дядя Том, добрый и великодушный, остается покорным и кротким. Он твердит: «Надо терпеть и ждать! Нести свой крест до конца! Господи, научи нас любить врагов своих!»

Том и Джордж — антиподы, противоположности. Можно было ожидать, что между ними завяжется спор и писательница вынуждена будет решительно стать на сторону Джорджа или на сторону Тома. Однако этого не происходит.

Сначала кажется, что Гарриет Бичер-Стоу стоит на стороне дяди Тома и проповедует пассивность, покорность. Ведь дядя Том повторяет христианские заветы, дорогие и самой Бичер-Стоу. С умилением описывает она дружбу дяди Тома и маленькой Евы. Ей, безусловно, хотелось, чтобы между рабами и рабовладельцами установились отношения братства и любви (словно можно полюбить плеть, если даже ее до поры не пускают против тебя в ход); ей хотелось, чтобы плантаторы сами освободили своих рабов, как это делает в романе молодой Джордж Шелби (словно можно было ожидать такого же бескорыстия от Саймона Легри и ему подобных, для которых: «Негр издох — подумаешь, важность!»).

Но призыв к любви и совести не застилал в глазах Бичер-Стоу главного — необходимости добиться свободы. Любовь и братство могли послужить только ступенью к освобождению. Если же они не найдут отклика, то остается протест и борьба. Если рабовладельцы не дадут рабам свободы, то рабы вынуждены будут сами добиваться ее, и их нельзя за это осудить.

В самом деле, разве Бичер-Стоу не обрисовала с таким сочувствием мятежного Джорджа, разве не показала, что его борьба неизбежна и оправданна, разве не завершила роман тем, что именно Джордж и Элиза, а не дядя Том выходят победителями?

Да и образ дяди Тома задуман писательницей не для проповеди покорности и примирения с рабством.

Кстати сказать, дядя Том, если задуматься, не такой уж беспредельно покорный человек. Он отказывается бежать сам, но одобряет побег Касси и Эммелины. Он покорен хозяину лишь до той грани, пока не задета его совесть. Он мог бы выдать Касси, купить этим жизнь и проявить себя до конца послушным воле Легри, как какие-нибудь Сэмбо и Квимбо. Он предпочитает умереть, не запятнав совесть предательством.

Умирая, дядя Том предстает перед читателями в терновом венце мученика. Выходит, что даже самые кроткие, свято следующие христианскому учению рабы обречены на гибель, если только хотят остаться людьми. Невозможно быть христианином и оставаться рабом или рабовладельцем. Рабство не совместимо с христианством — вот что хотела сказать Бичер-Стоу образом дяди Тома, всем своим романом. В ее представлении и в представлении многих ее религиозных читателей того времени это был самый сильный аргумент против рабства.

Однако незаметно для себя Бичер-Стоу, верная жизненной правде, сказала больше, чем хотела. Она вынесла приговор не только рабству, но и религии. Сравнивая судьбы Джорджа и Тома, мы убеждаемся, что религия в жизни Тома сыграла самую пагубную роль, что христианское смирение бесплодно и может принести только вред.

Роман Бичер-Стоу появился в предгрозовой обстановке. Рабство сковывало развитие страны, все сильнее мешало капиталистам, фермерам, рабочим. В Соединенных Штатах назревала гражданская война.

В своей «второй жизни» дядя Том — литературный герой оставался покорным рабом, проповедующим смирение. Но в обстановке тех лет образ доброго и кроткого человека, погибающего под плетьми рабовладельца, оказался наполненным мятежной взрывчатой силой. Гибель Тома переносила спор между защитниками и противниками рабства за рамки книги, в самую жизнь. Она взывала к отмщению.

«Хижина дяди Тома» вышла в свет, и произошло то, что и не грезилось ее скромному автору. Словно взметнулся вихрь, подхвативший всех: миллионы людей бросились жадно читать ее книгу.

Роман потряс читателей. Одно издание следовало за другим. Типографии работали на полную мощность. Ежедневно сотни экземпляров поступали в книжные лавки. Их не хватало. Сто двадцать изданий появилось в Америке в первый же год. Роман напечатали в Англии. Полтора миллиона экземпляров сразу же разошлись в Англии и ее владениях. Роман перевели на тридцать семь языков. «Хижина» покорила мир. Такого успеха не знало, кажется, ни одно художественное произведение в истории. «Хижину» читали, не стесняясь слез. Ее читали, сжимая кулаки. Сколько новых борцов против рабства родилось в эти дни! Сколько людей отказались от своих предрассудков! Соединенные Штаты сделали шаг к гражданской войне.

К Бичер-Стоу пришла слава. Она совершила путешествие по Европе. Оно превратилось в триумф. Ее окружали толпы. Стекались пожертвования на дело освобождения рабов. Повсюду слышались слова признательности. Бедняки Англии обратились к Бичер-Стоу с письмом, прося ее написать такую же правдивую и сильную книгу об их бедственной жизни. Роман пробуждал возмущение любым видом гнета, любой общественной несправедливостью. Его горячо приняли в России, где в это время развернулась борьба за уничтожение крепостного права.

В 1860 году президентом США был избран Авраам Линкольн, мудрый и справедливый человек, сын бедного фермера, противник рабства. Рабовладельцы ответили мятежом. Южные штаты отделились от Северных и начали против них войну. «Дом расколот надвое»,— сказал президент Линкольн.

Война превратилась в борьбу за освобождение рабов, справедливую, народную. Солдаты Севера, идя в бой, распевали песню о Джоне Брауне. «Дух Джона Брауна шествует перед нами»,— пели они.

Сражения были ожесточенными. На полях оставались горы трупов. Четыре года — с 1861 по 1865 год — лилась кровь. Соединенные Штаты потеряли тогда больше людей, чем за все годы второй мировой войны. Только так удалось добиться уничтожения рабства.

В 1862 году президент Линкольн принял в Белом доме Гарриет Бичер-Стоу. «Так вот та маленькая женщина, которая вызвала эту большую войну!» — приветствовал он писательницу.

Президент, конечно, пошутил. Для войны было много более существенных причин, чем появление «Хижины дяди Тома». Главная заключалась в том, что капиталисты Севера, разбогатев

и окрепнув, не желали больше терпеть засилье рабовладельцев, хотели править страной сами. Но в войне и в победе роман Бичер-Стоу сыграл выдающуюся роль. В «доме, расколотом надвое», кроткий и тихий Том и великий бунтарь Джон Браун оказались под одним и тем же боевым знаменем. Недаром поэт-аболиционист Оливер Уенделл Холмс писал:

Чрез весь конфликт в строю одном
Прошли Джон Браун и дядя Том.

...Гарриет Бичер-Стоу прожила долгую жизнь. Она умерла в 1896 году, успев написать еще много книг. Но ни одна из них не имела такого успеха и такого значения, как «Хижина дяди Тома». Лев Толстой считал этот роман образцом высокой литературы, рожденной любовью к человечеству.

Прочитав «Хижину дяди Тома», мы невольно думаем о тех, кого называют в Америке «потомками дяди Тома»,— о судьбах граждан Соединенных Штатов с черной кожей, об их сегодняшнем дне.

Обращаясь к юным читателям своего романа, Бичер-Стоу писала: «Когда вы станете взрослыми, бесчеловечное предубеждение белых против племен другого цвета кожи уже не будет существовать».

С тех пор стали взрослыми дети, читавшие роман при жизни Бичер-Стоу, дети этих детей, их внуки и даже их правнуки. И что же?

Прислушайтесь к двум голосам:

«Потерпи»? Нет, довольно терпеть! Довольно!» — это голос Джорджа Гарриса, раздавшийся со страниц «Хижины дяди Тома».

«Подождите»? Для тех кто не испытывал унижений на своей собственной шкуре, говорить «подождите» легко. Но когда тебе приходилось видеть злобную толпу, линчующую твоих отца и мать, когда ты видел, как злобные полицейские осыпают проклятиями, бьют и даже убивают твоих братьев и сестер и не несут за это наказания, когда твой язык прилипает к горлу при попытке объяснить маленькой дочери, почему она не может пойти в парк, который только что показывали по телевизору, так как парк закрыт для цветных детей... тогда можно понять, почему нам больше ждать невмоготу»,— это голос Мартина Лютера Кинга, негритянского священника, выдающегося вождя движения за равенство белых и цветных, убитого расистами в 1968 году.

Два голоса разделяет более чем столетие, но нельзя не заметить, как они схожи.

Капиталисты, которые пришли к власти в США после гражданской войны 1861—1865 годов, ограничились тем, что объявили темнокожих свободными и на бумаге предоставили им те же права, что и белым. Однако до осуществления этих прав было еще далеко. В Соединенных Штатах процветал расизм, когда людей лишали их законных прав, преследовали и унижали на каждом шагу только из-за цвета их кожи, только из-за того, что они принадлежали к черной расе. Освобожденные из рабства негры оказались словно в тюрьме. Вся страна, а особенно Южные штаты, стала тюрьмой для них: повсюду нищета, приниженность, полицейские расправы, бесправие. Капиталистам это было выгодно: бесправным людям можно меньше платить. А самым зловещим проявлением расизма были суды Линча — расправа толпы с помощью виселицы или костра с теми, кто осмеливался поднять голос в защиту своих прав, а порой просто выделялся чувством собственного достоинства. «Соединенные Линчующие Штаты» — так переиначил название своей страны великий американский писатель Марк Твен.

Наша страна давно уже являла миру пример дружбы людей всех наций и рас. Народы Африки освобождались от колониальной зависимости и создавали свои государства. И негры США поднялись на борьбу. В 1950—1960-х годах США потрясло массовое движение за равноправие черных и белых. Сидячие забастовки протеста, «марши свободы», взрывы мятежей в негритянских кварталах больших городов, митинги, собиравшие сотни тысяч людей. Вслед за Мартином Лютером Кингом они повторяли три простых слова: «все», «здесь» и «немедленно» — все права в этой стране и без издевательских «подождите». Пафос проповедника сливался в речах Кинга с призывами политического борца. Черные граждане Америки, говорил он, «покинули долину отчаяния и нашли силы в борьбе», «они не отступят и вместе со своими белыми союзниками будут потрясать тюремные стены, пока стены не рухнут».

Негры добились известных успехов. Теперь мы не увидим в США на воротах парков и пляжей, на дверях кафе, гостиниц, библиотек дощечки с оскорбительными словами «только для белых». Негры и в Южных штатах голосуют на выборах. Они получили должности в правительстве. Не слышно больше о судах Линча.

Но остались нищета, трущобы, безработица. Треть негров живет в трущобах больших городов. Безработных среди темнокожих в два раза больше, чем среди белых. Как и прежде: для людей с черной кожей — худшая работа, худшие жилища, худшие школы.

Бедность негритянских масс — корень зла.

Представь себя бедняком в Америке — все равно с какой кожей. Ты мог бы получить хорошее образование, но оно стоит немалых денег. Ты мог бы, допустим, найти хорошо оплачиваемую работу, но для этого надо получить образование. Ты мог бы покинуть районы трущоб, поселиться в удобном для жизни месте, но для этого (квартиры дороги!) надо иметь высокооплачиваемую работу. Получается заколдованный круг. И он может быть разорван только путем глубокого переустройства всей жизни, всего общественного строя. Коммунисты Америки призывают к единству белых и цветных в борьбе за такое переустройство...

Но вернемся к дяде Тому. Дядя Том как бы покинул страницы романа, в котором образ его пробуждал глубокое сочувствие и звал к борьбе против рабства, и превратился в символ — в символ покорности. Имя его стало нарицательным. Так в Америке стали называть негров, готовых безропотно сносить все унижения и надругательства. Разумеется, борющимся неграм США не по пути с таким «дядей Томом». Поэтому от них можно услышать: «Я никогда не стану дядей Томом». «О нет, дяди Тома из меня не выйдет».

Хотя для нескольких поколений американцев имя дяди Тома было символом покорности, такое стереотипное представление о герое «Хижины» не вполне справедливо. Оно не учитывает такие качества дяди Тома, как отзывчивость, благородство, верность голосу совести. Человек, готовый умереть, но не переступить запрета своей совести,— очень сильный человек.

И не следует, конечно, ставить знак равенства между этим символическим дядей Томом и романом Бичер-Стоу в целом. Роман продолжает выполнять свою добрую миссию на земле.

«Хижина дяди Тома» вышла за границы своей страны, за границы своего времени. Ее живую силу питает не только наше сочувствие положению и борьбе негров Соединенных Штатов и угнетенных людей других стран. В романе бьется незамирающий пульс простого и великого завета гуманности: «Не унижай человека! Никогда не унижай человека!»

А. Завадье

Э. Л. ВОЙНИЧ

Овод

Роман

E. L. Voynich

THE GADFLY

1897

Перевод Н. Волжиной

Послесловие Евгении Таратута

От автора

Приношу глубочайшую благодарность всем тем в Италии, кто оказал мне помощь по сбору материалов для этого романа. С особой признательностью вспоминаю любезность и благожелательность служащих библиотеки Маручеллиана во Флоренции, а также Государственного архива и Гражданского музея в Болонье.

«Оставь; что тебе до нас,
Иисус Назарянин?»*

Часть первая

Глава 1

Артур сидел в библиотеке Пизанской* духовной семинарии и просматривал стопку рукописных проповедей. Стоял жаркий июньский вечер. Окна были распахнуты настежь, ставни наполовину притворены. Отец ректор, каноник* Монтанелли, перестал писать и с любовью взглянул на черную голову, склонившуюся над листами бумаги.

— Не можешь найти, carino?[1] Оставь. Придется написать заново. Я, вероятно, сам случайно разорвал эту страничку, и ты напрасно задержался здесь.

---

[1] Дорогой (ит ал.).

Голос у Монтанелли был тихий, но очень глубокий и звучный. Серебристая чистота тона придавала его речи особенное обаяние. Это был голос прирожденного оратора, гибкий, богатый оттенками, и в нем слышалась ласка всякий раз, когда отец ректор обращался к Артуру.

— Нет, padre[1], я найду. Я уверен, что она здесь. Если вы будете писать заново, вам никогда не удастся восстановить все, как было.

Монтанелли продолжал прерванную работу. Где-то за окном однотонно жужжал майский жук, а с улицы доносился протяжный, заунывный крик торговца фруктами: «Fragola! Fragola!»[2]

— «Об исцелении прокаженного» — вот она!

Артур подошел к Монтанелли мягкими, неслышными шагами, которые всегда так раздражали его домашних. Небольшого роста, хрупкий, он скорее походил на итальянца с портрета XVI века*, чем на юношу 30-х годов из английской буржуазной семьи. Слишком уж все в нем было изящно, словно выточено: длинные стрелки бровей, нежная линия рта, маленькие руки, ноги. Когда он сидел спокойно, его можно было принять за хорошенькую девушку, переодетую в мужское платье; но гибкими движениями он напоминал прирученную пантеру,— правда, без когтей.

— Неужели нашел? Что бы я без тебя делал, Артур? Вечно все терял бы... Нет, довольно писать. Идем в сад, посмотрим, чего ты не понял в книге.

Они вышли в тихий тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского* монастыря, и двести лет назад его квадратный двор содержался в безупречном порядке. Ровные бордюры из букса окаймляли аккуратно подстриженные розмарин и лаванду. Монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями, были давно похоронены и забыты, но душистые травы все еще благоухали здесь в мягкие летние вечера, хотя уже никто не собирал их для лекарственных целей. Теперь между каменными плитами дорожек пробивались усики дикой петрушки и водосбора. Колодец среди двора зарос папоротником. Запущенные розы одичали; их длинные спутанные ветки тянулись по всем дорожкам. Среди букса алели большие красные маки. Высокие побеги наперстянки склонялись над густой травой, а бесплодные виноградные лозы, покачиваясь, свисали с ветвей запущенного боярышника, уныло кивавшего своей покрытой листьями верхушкой.

В одном углу сада поднималась ветвистая пышная магнолия с темной листвой, окропленной там и сям брызгами молочно-

---

[1] Отец (итал.). У итальянцев — обычное обращение к священнику.
[2] Земляника! Земляника! (итал.)

белых цветов. У ствола магнолии стояла грубая деревянная скамья. Монтанелли опустился на нее.

Артур изучал философию в университете. В тот день ему встретилось трудное место в книге, и он обратился за разъяснением к padre. Он не учился в семинарии, но Монтанелли был для него подлинной энциклопедией.

— Ну, пожалуй, я пойду,— сказал Артур, когда непонятные строки были разъяснены.— Впрочем, может быть, я вам нужен?

— Нет, на сегодня я работу закончил, но мне бы хотелось, чтобы ты немного побыл со мной, если у тебя есть время.

— Конечно, есть!

Артур прислонился к стволу дерева и посмотрел сквозь темную листву на первые звезды, слабо мерцавшие в глубине спокойного неба. Свои мечтательные, полные тайны голубые глаза, окаймленные черными ресницами, он унаследовал от матери, уроженки Корнуэлла*. Монтанелли отвернулся, чтобы не видеть их.

— Какой у тебя утомленный вид, carino! — проговорил он.

— Что поделаешь...

В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же заметил это.

— Напрасно ты спешил приступить к занятиям. Болезнь матери, бессонные ночи — все это изнурило тебя. Мне следовало настоять, чтобы ты хорошенько отдохнул перед отъездом из Ливорно*.

— Что вы, padre, зачем? Я все равно не мог бы остаться в этом злосчастном доме после смерти матери. Джули довела бы меня до сумасшествия.

Джули была жена старшего сводного брата Артура, давний его недруг.

— Я и не хотел, чтобы ты оставался у родственников,— мягко сказал Монтанелли.— Это было бы самое худшее, что можно придумать. Но ты мог принять приглашение своего друга, английского врача. Провел бы у него месяц, а потом снова вернулся бы к занятиям.

— Нет, padre! Уоррены хорошие, сердечные люди, но они многого не понимают и жалеют меня — я вижу это по их лицам. Стали бы утешать, говорить о матери... Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, даже когда мы были еще детьми. Другие не так чутки. Да и не только это...

— Что же еще, сын мой?

Артур сорвал цветок с поникшего стебля наперстянки и нервно сжал его в руке.

— Я не могу жить в этом городе,— начал он после минутной

паузы.— Не могу видеть магазины, где она когда-то покупала мне игрушки; набережную, где я гулял с нею, пока она не слегла. Куда бы я ни пошел — все то же. Каждая цветочница на рынке по-прежнему подходит ко мне и предлагает цветы. Как будто они нужны мне теперь! И потом... кладбище... Нет, я не мог не уехать! Мне тяжело видеть все это.

Артур замолчал, разрывая колокольчики наперстянки. Молчание было таким долгим и глубоким, что он взглянул на padre, недоумевая, почему тот не отвечает ему. Под ветвями магнолии уже сгущались сумерки. Все расплывалось в них, принимая неясные очертания, однако света было достаточно, чтобы разглядеть мертвенную бледность, разлившуюся по лицу Монтанелли. Он сидел, низко опустив голову и ухватившись правой рукой за край скамьи. Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни.

«О боже,— подумал он,— как я мелок и себялюбив по сравнению с ним! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже».

Монтанелли поднял голову и огляделся по сторонам.

— Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда, во всяком случае пока,— ласково проговорил он.— Но обещай мне, что ты отдохнешь по-настоящему за летние каникулы. Пожалуй, тебе лучше провести их где-нибудь подальше от Ливорно. Я не могу допустить, чтобы ты совсем расхворался.

— Padre, а вы куда поедете, когда семинария закроется?

— Как всегда, повезу воспитанников в горы, устрою их там. В середине августа из отпуска вернется мой помощник. Тогда отправлюсь бродить в Альпах. Может быть, ты поедешь со мной? Будем совершать в горах длинные прогулки, и ты ознакомишься на месте с альпийскими мхами и лишайниками. Только боюсь, тебе будет скучно со мной.

— Padre! — Артур сжал руки. Этот привычный ему жест Джули приписывала «манерности, свойственной только иностранцам».— Я готов отдать все на свете, чтобы поехать с вами! Только... я не уверен...— Он запнулся.

— Ты думаешь, мистер Бертон не разрешит тебе?

— Он, конечно, будет недоволен, но помешать нам не сможет. Мне уже восемнадцать лет, и я могу поступать, как хочу. К тому же Джеймс ведь мне только сводный брат, и я вовсе не обязан подчиняться ему. Он всегда недолюбливал мою мать.

— Все же, если мистер Бертон будет против, я думаю, тебе лучше уступить. Твое положение в доме может ухудшиться, если...

— Ухудшиться? Вряд ли! — горячо прервал его Артур.— Они всегда меня ненавидели и будут ненавидеть, что бы я ни

делал. Да и как Джеймс может противиться, если я еду с вами, моим духовником?

— Помни: он протестант!* Во всяком случае, лучше написать ему. Посмотрим, что он ответит. Побольше терпения, сын мой. В наших поступках мы не должны руководствоваться тем, любят нас или ненавидят.

Это внушение было сделано так мягко, что Артур только чуть покраснел, выслушав его.

— Да, я знаю,— ответил он со вздохом.— Но ведь это так трудно!

— Я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник,— сказал Монтанелли, резко меняя тему разговора.— Был епископ из Ареццо, и мне хотелось, чтобы ты его повидал.

— В тот день я обещал быть у одного студента. У него на квартире было собрание, и меня ждали.

— Какое собрание?

Артур несколько смутился.

— Вернее... вернее, не собрание...— сказал он, запинаясь.— Из Генуи приехал один студент и произнес речь. Скорее это была лекция...

— О чем?

Артур замялся.

— Padre, вы не будете спрашивать его фамилию? Я обещал...

— Я ни о чем не буду спрашивать. Если ты обещал хранить тайну, говорить об этом не следует. Но я думаю, ты мог бы довериться мне.

— Конечно, padre. Он говорил... о нас и о нашем долге перед народом, о нашем... долге перед самими собой. И о том, чем мы можем помочь...

— Помочь? Кому?

— Contadini[1] и...

— И...

— Италии.

Наступило долгое молчание.

— Скажи мне, Артур,— серьезным тоном спросил Монтанелли, повернувшись к нему,— давно ты стал думать об этом?

— С прошлой зимы.

— Еще до смерти матери? И она ничего не знала?

— Нет. Тогда это еще не захватило меня.

— А теперь?

Артур сорвал еще несколько колокольчиков наперстянки.

— Вот как это случилось, padre,— начал он, опустив глаза.— Прошлой осенью я готовился к вступительным экзаменам

---

[1] Крестьянам (итал.).

и, помните, познакомился со многими студентами. Так вот, кое-кто из них стал говорить со мной обо всем этом... Давали читать книги. Но тогда мне было не до того. Меня тянуло домой, к матери. Она была так одинока там, в Ливорно! Ведь это не дом, а тюрьма. Чего стоит язычок Джули! Он один был способен убить ее. Потом зимой, когда мать тяжело заболела, я забыл и студентов и книги и, как вы знаете, совсем перестал бывать в Пизе. Если б меня волновали эти вопросы, я бы все рассказал матери. Но они как-то вылетели у меня из головы. Потом я понял, что она доживает последние дни... Вы знаете, я был безотлучно при ней до самой ее смерти. Часто просиживал у ее постели целые ночи. Днем приходила Джемма Уоррен, и я шел спать. Вот в эти-то длинные ночи я и стал задумываться над прочитанным и над тем, что говорили мне студенты. Пытался уяснить, правы ли они... Думал: а что сказал бы обо всем этом Христос?

— Ты обращался к нему? — Голос Монтанелли прозвучал не совсем твердо.

— Да, padre, часто. Я молил его наставить меня или дать мне умереть вместе с матерью... Но ответа не получил.

— И ты не поговорил об этом со мной, Артур! А я-то думал, что ты доверяешь мне!

— Padre, вы ведь знаете, что доверяю! Но есть вещи, о которых никому не следует говорить. Мне казалось, что тут никто не может помочь — ни вы, ни мать. Я хотел получить ответ от самого бога. Ведь решался вопрос о моей жизни, о моей душе.

Монтанелли отвернулся и стал всматриваться в сумерки, окутавшие магнолию. Они были так густы, что его фигура казалась темным призраком среди еще более темных ветвей.

— Ну, а потом? — медленно проговорил он.

— Потом... она умерла. Последние три ночи я не отходил от нее...

Артур замолчал, но Монтанелли сидел не двигаясь.

— Два дня перед погребением я только о ней и думал,— продолжал Артур совсем тихо.— Потом, после похорон, я заболел и не мог прийти на исповедь. Помните?

— Помню.

— В ту ночь я поднялся с постели и пошел в комнату матери. Там было пусто. Только в алькове стояло большое распятие. Мне казалось, что господь поможет мне. Я упал на колени и ждал — всю ночь. А утром, когда я пришел в себя... Нет, padre! Я не могу объяснить, не могу рассказать вам, что я видел. Я сам едва помню. Но я знаю, что господь ответил мне. И я не смею противиться его воле.

Несколько минут они сидели молча, затем Монтанелли повернулся к Артуру и положил ему руку на плечо.

— Сын мой! — проговорил он.— Я не посмею сказать, что господь не обращался к твоей душе. Но вспомни, в каком ты был состоянии тогда, и не принимай болезненную мечту за высокий призыв господа. Если действительно такова была его воля — ответить тебе, когда смерть посетила твой дом,— смотри, как бы не истолковать ошибочно его слово. Куда зовет тебя твое сердце?

Артур поднялся и ответил торжественно, точно повторяя слова катехизиса:

— Отдать жизнь за Италию, освободить ее от рабства и нищеты, изгнать австрийцев и создать свободную республику, не знающую иного властелина, кроме Христа!

— Артур, подумай, что ты говоришь! Ты ведь даже не итальянец!

— Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой. Мне было видение, и я исполню волю господа.

Снова наступило молчание.

— Ты говоришь, что Христос...— начал Монтанелли.

Но Артур не дал ему докончить:

— Христос сказал: «Потерявший душу свою ради меня, сбережет ее».

Монтанелли оперся локтем о ветвь магнолии и прикрыл рукой глаза.

— Сядь на минуту, сын мой,— сказал он наконец.

Артур опустился на скамью, и Монтанелли, взяв его руки в свои, крепко сжал их.

— Сейчас я не могу спорить с тобой,— сказал он.— Все это произошло так внезапно... Мне нужно время, чтобы разобраться. Как-нибудь после мы поговорим об этом подробно. Но сейчас я прошу тебя помнить об одном: если с тобой случится беда, если ты погибнешь, я не перенесу этого...

— Padre!

— Не перебивай, дай мне кончить. Я тебе уже говорил, что у меня нет никого во всем мире, кроме тебя. Ты вряд ли понимаешь, что это значит. Трудно тебе понять — ты так молод. В твои годы я тоже не понял бы. Артур, ты для меня как... как сын. Понимаешь? Ты свет очей моих, ты радость моего сердца! Я готов умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага, который может погубить твою жизнь! Но я бессилен. Я не требую от тебя обещаний. Прошу только: помни, что́ я сказал, и будь осторожен. Подумай хорошенько, прежде чем решаться на что-нибудь. Сделай это хотя бы ради меня, если уж не ради твоей покойной матери.

— Хорошо, padre, а вы... вы... помолитесь за меня и за Италию.

Артур молча опустился на колени, и так же молча Монтанелли коснулся его склоненной головы. Прошло несколько минут. Артур поднялся, поцеловал руку каноника и, неслышно ступая, пошел по росистой траве. Оставшись один, Монтанелли долго сидел под магнолией, глядя прямо перед собой в темноту.

«Отмщение господа настигло меня, как царя Давида,— думал он.— Я осквернил его святилище и коснулся тела господня нечистыми руками. Терпение его было велико, но вот ему пришел конец. «Ибо ты содеял это втайне, а я содею перед всем народом израилевым и перед солнцем; сын, рожденный от тебя, умрет»*.

Глава II

Мистеру Джеймсу Бертону совсем не улыбалась затея его сводного брата «шататься по Швейцарии» вместе с Монтанелли. Но запретить эту невинную прогулку в обществе профессора богословия, да еще с такой целью, как занятия ботаникой, он не мог. Артуру, не знавшему истинных причин отказа, это показалось бы крайним деспотизмом, он приписал бы его религиозным и расовым предрассудкам, а Бертоны гордились своей веротерпимостью. Все члены их семьи были стойкими протестантами и консерваторами еще с тех давних пор, когда судовладельческая компания «Бертон и сыновья, Лондон — Ливорно» только возникла, а она вела дела больше ста лет.

Бертоны держались того мнения, что английскому джентльмену подобает быть беспристрастным даже по отношению к католикам; и поэтому, когда глава семьи, наскучив вдовством, женился на католичке, хорошенькой гувернантке своих младших детей, старшие сыновья, Джеймс и Томас, мрачно покорились воле провидения, хотя им и трудно было мириться с присутствием в доме мачехи, почти их ровесницы.

Со смертью отца трудное положение в семье осложнилось еще больше женитьбой старшего сына. Впрочем, пока Глэдис была жива, оба брата добросовестно старались защищать ее от злого языка Джули и как могли исполняли свой братский долг. Они не любили мальчика и даже не думали этого скрывать. Их отношение к Артуру выражалось главным образом в щедрых денежных подарках и в предоставлении ему полной свободы.

Поэтому в ответ на свое письмо Артур получил чек на покрытие путевых издержек и холодное разрешение провести каникулы, как ему будет угодно. Он истратил часть денег на

покупку книг по ботанике и папок для гербария и вскоре двинулся с padre в свое первое альпийское путешествие.

Артур давно уже не видел padre таким бодрым, как в эти дни. После первого потрясения, вызванного разговором в саду, к Монтанелли мало-помалу вернулось душевное равновесие, и теперь он смотрел на все более спокойно. «Артур юн и неопытен,— думал Монтанелли.— Его решение не может быть окончательным. Еще не поздно — мягкие увещания, вразумительные доводы сделают свое дело и вернут его с того опасного пути, на который он едва успел ступить».

Они собирались провести несколько дней в Женеве, но стоило только Артуру увидеть ее залитые палящим солнцем улицы и пыльные набережные с толпами туристов, как он сразу нахмурился. Монтанелли со спокойной улыбкой наблюдал за ним.

— Что, carino? Тебе здесь не нравится?

— Сам не знаю. Я ждал совсем другого. Озеро, правда, прекрасное, и очертания холмов тоже хороши.— Они стояли на острове Руссо, и Артур указывал на длинные, строгие контуры Савойских Альп.— Но город! Он такой чопорный, аккуратный, в нем есть что-то... протестантское. У него такой же самодовольный вид. Нет, не нравится он мне, напоминает чем-то Джули.

Монтанелли засмеялся:

— Бедный, вот не повезло тебе! Ну что ж, мы ведь путешествуем ради удовольствия, и нам нет нужды задерживаться здесь. Давай покатаемся сегодня по озеру на парусной лодке, а завтра утром поднимемся в горы.

— Но, padre, ведь вы хотели побыть здесь?

— Дорогой мой, я видел все это десятки раз, и, если ты получишь удовольствие от нашей поездки, ничего другого мне не надо. Куда бы тебе хотелось отправиться?

— Если вам все равно, давайте двинемся вверх по реке, к истокам.

— Вверх по Роне?

— Нет, по Арве. Она так быстро мчится.

— Тогда едем в Шамони.

Весь день они катались на маленькой парусной лодке. Живописное озеро понравилось юноше гораздо меньше, чем серая и мутная Арва. Он вырос близ Средиземного моря и привык к голубой зыби волн. Но быстрые реки всегда влекли Артура, и этот стремительный поток, несшийся с ледников, привел его в восхищение.

— Вот это река! — говорил он.— Такая серьезная!

На другой день рано утром они отправились в Шамони.

Пока дорога бежала плодородной долиной, Артур был в очень веселом настроении. Но вот близ Клюза им пришлось свернуть на извилистую тропинку. Большие зубчатые горы охватили их тесным кольцом. Артур стал серьезен и молчалив. От Сен-Мартена двинулись пешком по долине, останавливались на ночлег в придорожных шале* или в маленьких горных деревушках и снова шли дальше, куда хотелось. Природа производила на Артура огромное впечатление, а первый водопад, встретившийся им на пути, привел его в такой восторг, что Монтанелли залюбовался им. Но по мере того как они подходили к снежным вершинам, восхищение Артура сменялось какой-то восторженной мечтательностью, новой для Монтанелли. Казалось, между юношей и горами существовало тайное родство. Он готов был часами лежать неподвижно среди темных, гулко шумевших сосен, лежать и смотреть меж прямых высоких стволов на залитый солнцем мир сверкающих горных пиков и нагих утесов. Монтанелли наблюдал за ним с грустью и завистью.

— Хотел бы я знать, carino, что ты там видишь,— сказал он однажды, переведя взгляд от книги на Артура, который вот уже больше часа лежал на мшистой земле и не сводил широко открытых глаз с блистающих в вышине гор и голубого простора над ними.

Решив переночевать в тихой деревушке неподалеку от водопада Диоза, они свернули к вечеру с дороги и поднялись на поросшую соснами гору полюбоваться оттуда закатом над пиками и вершиной Монблана. Артур поднял голову и как зачарованный посмотрел на Монтанелли.

— Что я вижу, padre? Словно сквозь темный кристалл, я вижу в этой голубой пустыне без начала и конца величественное существо в белых одеждах. Век за веком оно ждет озарения духом божиим.

Монтанелли вздохнул:

— И меня когда-то посещали такие видения.

— А теперь?

— Теперь нет. Больше этого уже не будет. Они не исчезли, я знаю, но глаза мои закрыты для них. Я вижу совсем другое.

— Что же вы видите?

— Что я вижу, carino? В вышине я вижу голубое небо и снежную вершину, но вон там глазам моим открывается нечто иное.— Он показал вниз, на долину.

Артур стал на колени и нагнулся над краем пропасти. Огромные сосны, окутанные вечерними сумерками, стояли, словно часовые, вдоль узких речных берегов. Прошла минута — солнце, красное, как раскаленный уголь, спряталось за зубчатый утес, и все вокруг потухло. Что-то темное, грозное над-

винулось на долину. Отвесные скалы на западе торчали в небе, точно клыки какого-то чудовища, которое вот-вот бросится на свою жертву и унесет ее вниз, в разверстую пасть пропасти, где лес глухо стонал на ветру. Высокие сосны острыми ножами поднимались ввысь, шепча чуть слышно: «Упади на нас!» Горный поток бурлил и клокотал во тьме, в неизбывном отчаянии кидаясь на каменные стены своей тюрьмы.

— Padre! — Артур встал и, вздрогнув, отшатнулся от края бездны.— Это похоже на преисподнюю!

— Нет, сын мой,— тихо проговорил Монтанелли,— это похоже на человеческую душу.

— На души тех, кто бродит во тьме и кого смерть осеняет своим крылом?

— На души тех, с кем ты ежедневно встречаешься на улицах.

Артур, поеживаясь, смотрел вниз, в темноту. Белесый туман плыл среди сосен, медля над бушующим потоком, точно печальный призрак, не властный вымолвить ни слова утешения.

— Смотрите!— вдруг сказал Артур.— Люди, что бродили во тьме, увидели свет!

Вечерняя заря зажгла снежные вершины на востоке. Но вот, лишь только ее красноватые отблески потухли, Монтанелли повернулся к Артуру и тронул его за плечо:

— Пойдем, carino. Уже стемнело, как бы нам не заблудиться.

— Этот утес — словно мертвец,— сказал юноша, отводя глаза от поблескивающего вдали снежного пика.

Осторожно спустившись между темными деревьями, они пошли на ночевку в шале.

Войдя в комнату, где Артур поджидал его к ужину, Монтанелли увидел, что юноша забыл о своих недавних мрачных видениях и словно преобразился.

— Padre, идите сюда! Посмотрите на эту потешную собачонку! Она танцует на задних лапках.

Он был так же увлечен собакой и ее прыжками, как час назад зрелищем альпийского заката. Хозяйка шале, краснощекая женщина в белом переднике, стояла, уперев в бока полные руки, и улыбалась, глядя на возню Артура с собакой.

— Видно, у него не очень-то много забот, если так заигрался,— сказала она своей дочери на местном наречии.— А какой красавчик!

Артур покраснел, как школьница, а женщина, заметив, что ее поняли, ушла, смеясь над его смущением.

За ужином он только и толковал, что о планах дальнейших прогулок в горы, о восхождениях на вершины, о сборе трав. Причудливые образы, встававшие перед ним так недавно, не повлияли, видимо, ни на его настроение, ни на аппетит.

Утром, когда Монтанелли проснулся, Артура уже не было. Он отправился еще до рассвета высоко в горы «помочь Гаспару выгнать коз на пастбище».

Однако не успели подать завтрак, как юноша вбежал в комнату без шляпы, с большим букетом диких цветов. На плече у него сидела девочка лет трех.

Монтанелли поднял на него глаза и улыбнулся. Какой разительный контраст с тем серьезным, молчаливым Артуром, которого он знал в Пизе и Ливорно!

— Где ты был, сумасброд? Бегал по горам, не позавтракав?

— Ах, padre, как там хорошо! Восход солнца в горах! Сколько в этом величия! А какая сильная роса! Взгляните.— Он поднял ногу в мокром, грязном башмаке.— У нас было немного хлеба и сыра, а на пастбище мы выпили козьего молока... Ужасная гадость! Но я опять проголодался, и вот этой маленькой персоне тоже надо поесть... Аннет, хочешь меду?

Он сидел, посадив девочку к себе на колени, и помогал ей разбирать цветы.

— Нет, нет! — запротестовал Монтанелли.— Так ты можешь простудиться. Сбегай переоденься... Иди сюда, Аннет... Где ты подобрал ее, Артур?

— В верхнем конце деревни. Это дочка того человека, которого мы встретили вчера. Он здешний сапожник. Посмотрите, какие у Аннет чудесные глаза! А в кармане живая черепаха по имени Каролина.

Когда Артур, сменив мокрые чулки, сошел вниз завтракать, девочка сидела на коленях у padre и без умолку тараторила о черепахе, которую она держала вверх животом в своей пухлой ручке, чтобы «monsieur»[1] мог посмотреть, как шевелятся у нее лапки.

— Поглядите, monsieur! — серьезным тоном проговорила она на не совсем понятном местном наречии.— Поглядите, какие у Каролины башмачки!

Монтанелли, забавляя малютку, гладил ее по голове, любовался ее любимицей черепахой и рассказывал чудесные сказки. Хозяйка вошла убрать со стола и с изумлением посмотрела на Аннет, которая выворачивала карманы у важного господина в духовном одеянии.

---

[1] Господин (франц.).

— Бог помогает младенцам распознавать хороших людей,— сказала она.— Аннет боится чужих, а сейчас смотрите, она совсем не дичится его преподобия. Вот чудо! Аннет, стань скорее на колени и попроси благословения у доброго господина. Это принесет тебе счастье...

— Я и не подозревал, padre, что вы умеете играть с детьми,— сказал Артур час спустя, когда они проходили по залитому солнцем пастбищу.— Ребенок просто не отрывал от вас глаз. Знаете, я...

— Что?

— Я только хотел сказать... как жаль, что церковь запрещает священникам жениться. Я не совсем понимаю, почему. Ведь воспитание детей — такое серьезное дело! Как важно, чтобы с самого рождения они были в хороших руках. Мне кажется, чем выше призвание человека, чем чище его жизнь, тем больше он пригоден к роли отца. Padre, я уверен, что если бы не ваш обет... если б вы женились, ваши дети были бы...

— Замолчи!

Это слово, произнесенное торопливым шепотом, казалось, углубило наступившее потом молчание.

— Padre,— снова начал Артур, огорченный мрачным видом Монтанелли,— разве в этом есть что-нибудь дурное? Может быть, я ошибаюсь, но я говорю то, что думаю.

— Ты не совсем ясно отдаешь себе отчет в значении своих слов,— мягко ответил Монтанелли.— Пройдет несколько лет, и ты поймешь многое. А сейчас давай поговорим о чем-нибудь другом.

Это было первым нарушением того полного согласия, которое установилось между ними за время каникул.

Из Шамони Монтанелли и Артур поднялись на Тэт-Нуар и в Мартиньи остановились на отдых, так как дни стояли удушливо-жаркие. После обеда они перешли на защищенную от солнца террасу отеля, с которой открывался чудесный вид на горы. Артур принес ботанизирку и начал с Монтанелли серьезную беседу о ботанике. Они говорили по-итальянски.

На террасе сидели двое художников-англичан. Один делал набросок с натуры, другой лениво болтал. Ему не приходило в голову, что иностранцы могут понимать по-английски.

— Брось свою пачкотню, Вилли,— сказал он.— Нарисуй лучше вот этого восхитительного итальянского юношу, восторгающегося папоротником. Ты посмотри, какие у него брови! Замени лупу в его руках распятием, надень на него римскую тогу вместо коротких штанов и куртки — и перед тобой законченный тип христианина первых веков.

— Какой там христианин! Я сидел возле него за обедом.

Он восторгался жареной курицей не меньше, чем этой травой. Что и говорить, юноша очень мил, у него такой чудесный оливковый цвет лица. Но его отец гораздо живописнее.

— Его кто?..

— Его отец, что сидит прямо перед тобой. Неужели ты не заинтересовался им? Какое у него прекрасное лицо!

— Эх ты, безмозглый методист!* Не признал католического священника!

— Священника? А ведь верно! Черт возьми! Я и забыл, обет целомудрия и все такое прочее... Что ж, раз так, будем снисходительны и предположим, что этот юноша — его племянник.

— Вот ослы! — прошептал Артур, подняв на Монтанелли смеющиеся глаза.— Тем не менее с их стороны очень любезно находить во мне сходство с вами. Мне бы хотелось и в самом деле быть вашим племянником... Padre, что с вами? Как вы побледнели!

Монтанелли встал и приложил руку ко лбу.

— У меня закружилась голова,— произнес он глухим, слабым голосом.— Должно быть, я сегодня слишком долго был на солнце. Пойду прилягу, carino. Это от жары.

Проведя две недели у Люцернского озера, Артур и Монтанелли возвращались в Италию через Сен-Готардский перевал. Погода благоприятствовала им, и они совершили не одну интересную экскурсию, но та радость, которая сопутствовала каждому их шагу в первые дни, исчезла. Монтанелли преследовала тревожная мысль о необходимости серьезно поговорить с Артуром, что, казалось, легче всего было сделать во время каникул. В долине Арвы он намеренно избегал касаться той темы, которую они обсуждали в саду, под магнолией. Было бы жестоко, думал Монтанелли, омрачать таким тяжелым разговором первые радости, которые дает артистической натуре юноши альпийская природа. Но с того дня в Мартиньи он повторял себе каждое утро: «Сегодня я поговорю с ним», и каждый вечер: «Нет, лучше завтра». Каникулы уже подходили к концу, а он все повторял: «Завтра, завтра». Его удерживало смутное, пронизывающее холодком чувство, что отношения их уже не те,— словно какая-то завеса отделила его от Артура. Лишь в последний вечер каникул он внезапно понял, что если говорить, то только сегодня. Они остались ночевать в Лугано, а на следующее утро должны были выехать в Пизу. Монтанелли хотелось выяснить хотя бы, как далеко его любимец завлечен в роковые зыбучие пески итальянской политики.

— Дождь перестал, carino,— сказал он после захода солнца.— Сейчас единственное время, когда можно посмотреть озеро. Пойдем, мне нужно поговорить с тобой.

Они прошли вдоль берега к тихому, уединенному месту и уселись на низкой каменной стене. Около нее рос куст шиповника, покрытый алыми ягодами. Несколько запоздалых розочек, отягченных дождевыми каплями, грустно покачивались на верхней ветке. По зеленой глади озера скользила маленькая лодка с легким белым парусом, слабо колыхавшимся на влажном ветерке. Лодка казалась легкой и хрупкой, словно серебристый, брошенный в воду одуванчик. Высоко на Монте Сальваторе, как золотой глаз, сверкнуло окно одинокой пастушьей хижины. Розы опустили головки, задремав под облачным сентябрьским небом; вода с тихим плеском набегала на прибрежные камни.

— Только сейчас я могу спокойно поговорить с тобой,— начал Монтанелли.— Ты вернешься к своим занятиям, к своим друзьям, да и я в эту зиму буду очень занят. Мне хочется выяснить наши отношения, и если ты...

Он помолчал минуту, а потом снова медленно заговорил:

— ...и если ты чувствуешь, что можешь доверять мне по-прежнему, то скажи откровенно — не так, как тогда в саду семинарии,— далеко ли ты зашел...

Артур смотрел на водную рябь, спокойно слушал и молчал.

— Я хочу знать, если только ты можешь ответить мне,— продолжал Монтанелли,— связал ли ты себя клятвой или как-либо иначе.

— Мне нечего сказать вам, дорогой padre. Я не связал себя ничем, и все-таки я связан.

— Не понимаю...

— Что толку в клятвах? Не они связывают людей. Если вы чувствуете, что вами овладела идея,— это все. А иначе вас ничто не свяжет.

— Значит, это... это не может измениться? Артур, понимаешь ли ты, что говоришь?

Артур повернулся и посмотрел Монтанелли прямо в глаза:

— Padre, вы спрашивали, доверяю ли я вам. А есть ли у вас доверие ко мне? Ведь если бы мне было что сказать, я бы вам сказал. Но о таких вещах нет смысла говорить. Я не забыл ваших слов и никогда не забуду. Но я должен идти своей дорогой, идти к тому свету, который я вижу впереди.

Монтанелли сорвал розочку с куста, оборвал лепестки и бросил их в воду.

— Ты прав, carino. Довольно, не будем больше говорить об этом. Все равно словами не поможешь. Что ж... пойдем.

Глава III

Осень и зима миновали без всяких событий. Артур прилежно занимался, и у него оставалось мало свободного времени. Все же раз, а то и два раза в неделю он улучал минутку, чтобы заглянуть к Монтанелли. Иногда он заходил к нему с книгой за разъяснением какого-нибудь трудного места, и в таких случаях разговор шел только об этом. Чувствуя вставшую между ними почти неосязаемую преграду, Монтанелли избегал всего, что могло показаться попыткой с его стороны восстановить прежнюю близость. Посещения Артура доставляли ему теперь больше горечи, чем радости. Трудно было выдерживать постоянное напряжение, казаться спокойным и вести себя так, словно ничто не изменилось. Артур тоже замечал некоторую перемену в обращении padre и, понимая, что она связана с тяжким вопросом о его «новых идеях», избегал всякого упоминания об этой теме, владевшей непрестанно его мыслями. И все-таки Артур никогда не любил Монтанелли так горячо, как теперь. От смутного, но неотвязного чувства неудовлетворенности и душевной пустоты, которое он с таким трудом пытался заглушить изучением богословия и соблюдением обрядов католической церкви, при первом же знакомстве его с «Молодой Италией»* не осталось и следа. Исчезла нездоровая мечтательность, порожденная одиночеством и бодрствованием у постели умирающей, не стало сомнений, спасаясь от которых он прибегал к молитве. Вместе с новым увлечением, с новым, более ясным восприятием религии (ибо в студенческом движении Артур видел не столько политическую, сколько религиозную основу) к нему пришло чувство покоя, душевной полноты, умиротворенности и расположения к людям. И в этом состоянии возвышенного, проникновенного восторга весь мир озарился для него новым светом. Он находил новые, достойные любви стороны в людях, неприятных ему раньше, а Монтанелли, который в течение пяти лет был для него идеалом, представлялся ему теперь грядущим пророком новой веры, с новым сиянием на челе. Он страстно вслушивался в проповеди padre, стараясь уловить в них следы внутреннего родства с республиканскими идеями; подолгу размышлял над Евангелием и радовался демократическому духу христианства на заре его возникновения.

В один из январских дней Артур зашел в семинарию вернуть взятую им книгу. Узнав, что отец ректор вышел, он поднялся в кабинет Монтанелли, поставил том на полку и хотел уже идти, как вдруг внимание его привлекла книга, лежавшая на столе. Это было сочинение Данте «De Monarchia»*. Артур начал читать книгу и скоро так увлекся, что не услышал, как

отворилась и снова затворилась дверь. Он оторвался от чтения только тогда, когда за его спиной раздался голос Монтанелли.

— Вот не ждал тебя сегодня! — сказал padre, взглянув на заголовок книги.— Я только что собирался послать к тебе справиться, не придешь ли ты вечером.

— Что-нибудь важное? Я занят сегодня, но если...

— Нет, можно и завтра. Мне хотелось видеть тебя — я уезжаю во вторник. Меня вызывают в Рим.

— В Рим? Надолго?

— В письме говорится, что до конца пасхи. Оно из Ватикана*. Я хотел сразу дать тебе знать, но все время был занят то делами семинарии, то приготовлениями к приезду нового ректора.

— Padre, я надеюсь, вы не покидаете семинарию?

— Придется. Но я, вероятно, еще приеду в Пизу. По крайней мере на время.

— Но почему вы уходите из семинарии?

— Видишь ли... Это еще не объявлено официально, но мне предлагают епископство.

— Padre! Где?

— Для этого мне и надо ехать в Рим. Еще не решено, получу ли я епархию в Апеннинах или останусь викарием здесь.

— А новый ректор уже назначен?

— Да, отец Карди. Он приедет завтра.

— Как все это неожиданно!

— Да... решения Ватикана часто объявляются в самую последнюю минуту.

— Вы знакомы с новым ректором?

— Лично незнаком, но его очень хвалят. Монсеньор Беллони пишет, что это человек очень образованный.

— Ваш уход — большая потеря для семинарии.

— Не знаю, как семинария, но ты, carino, будешь чувствовать мое отсутствие. Может быть, почти так же, как я твое.

— Да, да! И все-таки я радуюсь за вас.

— Радуешься? А я не знаю, радоваться ли мне.

Монтанелли сел к столу, и вид у него был усталый, такой усталый, какого не бывает у человека, ожидающего высокого назначения.

— Ты занят сегодня днем, Артур? — начал он после минутной паузы.— Если нет, останься со мной, раз ты не можешь зайти вечером. Мне что-то не по себе. Я хочу как можно дольше побыть с тобой до отъезда.

— Хорошо, только в шесть часов я должен быть...

— На каком-нибудь собрании?

Артур кивнул, и Монтанелли быстро переменил тему разговора.

— Я хотел поговорить о твоих делах,— начал он.— В мое отсутствие тебе будет нужен другой духовник.

— Но когда вы вернетесь, мне ведь можно будет исповедоваться у вас?

— Дорогой мой, что за вопрос! Я говорю только о трех или четырех месяцах, когда меня здесь не будет. Согласен ты взять в духовники кого-нибудь из отцов Санта-Катарины?

— Согласен.

Они поговорили немного о других делах. Артур поднялся:

— Мне пора. Студенты будут ждать меня.

Мрачная тень снова пробежала по лицу Монтанелли.

— Уже? А я только начал отвлекаться от своих черных мыслей. Ну что ж, прощай!

— Прощайте. Завтра я опять приду.

— Приходи пораньше, чтобы я успел повидаться с тобой. Завтра приезжает отец Карди... Артур, дорогой мой, прошу тебя, будь осторожен, не совершай необдуманных поступков, по крайней мере до моего возвращения. Ты не можешь себе представить, как я боюсь оставлять тебя одного!

— Напрасно, padre. Сейчас все совершенно спокойно, и так будет еще долгое время.

— Ну, прощай! — отрывисто сказал Монтанелли и склонился над своими бумагами.

Войдя в комнату, где происходило студенческое собрание, Артур прежде всего увидел подругу своих детских игр, дочь доктора Уоррена. Она сидела у окна в углу и внимательно слушала, что говорил ей высокий молодой ломбардец в поношенном костюме — один из инициаторов движения. За последние несколько месяцев она сильно изменилась, развилась и теперь стала совсем взрослой девушкой. Только две толстые черные косы за спиной еще напоминали недавнюю школьницу. На ней было черное платье*; голову она закутала черным шарфом, так как в комнате сквозило. На груди у нее была приколота кипарисовая веточка — эмблема «Молодой Италии». Ломбардец с горячностью рассказывал ей о нищете калабрийских крестьян, а она сидела молча и слушала, опершись подбородком на руку и опустив глаза. Артуру показалось, что перед ним предстало грустное видение: Свобода, оплакивающая утраченную Республику. (Джули увидела бы в ней только не в меру вытянувшуюся девчонку с бледным лицом, некрасивым носом и в старом, слишком коротком платье.)

— Вы здесь, Джим! — сказал Артур, подойдя к ней, когда ломбардца отозвали в другой конец комнаты.

«Джим» было ее детское прозвище, уменьшительное от редкого имени Дженнифер, данного ей при крещении. Школьные подруги-итальянки звали ее Джеммой.

Она удивленно подняла голову:

— Артур! А я и не знала, что вы входите в организацию.

— И я никак не ожидал встретить вас здесь, Джим! С каких пор вы...

— Да нет,— поспешно заговорила она,— я еще не состою в организации. Мне только удалось исполнить два-три маленьких поручения. Я познакомилась с Бини. Вы знаете Карло Бини?

— Да, конечно.

Бини был руководителем ливорнской группы, и его знала вся «Молодая Италия».

— Так вот, Бини завел со мной разговор об этих делах. Я попросила его взять меня с собой на одно из студенческих собраний. На днях он написал мне во Флоренцию... Вы знаете, что я была на рождестве во Флоренции?

— Нет, мне теперь редко пишут из дому.

— Да, понимаю... Так вот, я уехала погостить к Райтам. (Райты были ее школьные подруги, переехавшие во Флоренцию.) Бини написал мне, чтобы я по пути домой заехала в Пизу и пришла сюда... Ну, сейчас начнут...

В докладе говорилось об идеальной республике и о том, что молодежь обязана готовить себя к ней. Мысли докладчика были несколько туманны, но Артур слушал его с благоговейным восторгом. В этот период своей жизни он принимал все на веру и впитывал новые нравственные идеалы, не задумываясь, насколько они приемлемы для него.

Когда доклад и последовавшие за ним продолжительные прения кончились и студенты стали расходиться, Артур подошел к Джемме, которая все еще сидела в углу.

— Я провожу вас, Джим. Где вы остановились?

— У Марьетты.

— У старой экономки вашего отца?

— Да, она живет довольно далеко отсюда.

Некоторое время они шли молча. Потом Артур вдруг спросил:

— Сколько вам лет — семнадцать?

— Минуло семнадцать в октябре.

— Я всегда знал, что вы, когда вырастете, не станете, как другие девушки, увлекаться балами и тому подобной чепухой. Джим, дорогая, я так часто думал, будете ли вы в наших рядах!

— То же самое я думала о вас.

— Вы говорили, что Бини давал вам какие-то поручения. А я даже не знал, что вы с ним знакомы.

— Я делала это не для Бини, а для другого.

— Для кого?

— Для того, кто разговаривал со мной сегодня,— для Боллы.

— Вы его хорошо знаете?

В голосе Артура прозвучали ревнивые нотки. Ему был неприятен этот человек. Они соперничали в одном деле, которое комитет «Молодой Италии» в конце концов доверил Болле, считая Артура слишком молодым и неопытным.

— Я знаю его довольно хорошо. Он мне очень нравится. Он жил в Ливорно.

— Знаю... Он уехал туда в ноябре.

— Да, в это время там ждали прибытия пароходов*. Как вы думаете, Артур, не надежнее ли ваш дом для такого рода дел? Никому и в голову не придет подозревать семейство богатых судовладельцев. Кроме того, вы всех знаете в доках.

— Тише! Не так громко, дорогая! Значит, литература, присланная из Марселя, хранилась у вас?

— Только один день... Но, может быть, мне не следовало говорить вам об этом?

— Почему? Вы ведь знаете, что я член организации. Джемма, дорогая, как я был бы счастлив, если б к нам присоединились вы и... padre!

— Ваш padre? Разве он...

— Нет, убеждения у него иные. Но мне думалось иногда... Я надеялся...

— Артур, но ведь он священник!

— Так что же? В нашей организации есть и священники. Двое из них пишут в газете*. Да и что тут такого? Ведь назначение духовенства — вести мир к высшим идеалам и целям, а разве не к этому мы стремимся? В конце концов, это скорее вопрос религии и морали, чем политики. Ведь если люди хотят стать свободными и сознательными гражданами, никто не сможет удержать их в рабстве.

Джемма нахмурилась:

— Мне кажется, Артур, что у вас тут немножко хромает логика. Священник проповедует религиозную догму. Я не вижу, что в этом общего со стремлением освободиться от австрийцев.

— Священник — проповедник христианства, а Христос был величайшим революционером.

— Знаете, я говорила о священниках с моим отцом, и он...

— Джемма, ваш отец протестант.

После минутного молчания она смело взглянула ему в глаза:

— Давайте лучше прекратим этот разговор. Вы всегда становитесь нетерпимы, как только речь заходит о протестантах.

— Нетерпимость проявляют обычно протестанты, когда говорят о католиках.

— Ну конечно! Однако мы уже слишком много спорили об этом, не стоит начинать снова... Как вам понравился сегодняшний доклад?

— Очень понравился, особенно последняя часть. Как хорошо, что он так решительно говорил о необходимости жить согласно идеалам республики, а не только мечтать о ней! Это соответствует учению Христа: «Царство божие внутри нас».

— А мне как раз не понравилась эта часть. Он так много говорил о том, что мы должны думать, чувствовать, какими мы должны быть, но не указал никаких практических путей, не говорил о том, что мы должны делать.

— Наступит время, и у нас будет достаточно дела. Нужно терпение. Великие перевороты не совершаются в один день.

— Тем больше оснований браться за дело сейчас же. Вы говорите, что нужно подготовить себя к свободе. Но кто был лучше подготовлен к ней, как не ваша матушка? Разве не ангельская была у нее душа? А к чему привела вся ее доброта? Она была рабой до последнего дня своей жизни. Сколько придирок, сколько оскорблений она вынесла от вашего брата Джеймса и его жены! Не будь у нее такого мягкого сердца и такого терпения, ей бы легче жилось, с ней не посмели бы плохо обращаться. Так и с Италией: не терпение ей нужно, а открытая борьба за нее!

— Джим, дорогая, Италия была бы уже свободна, если бы гнев и страсть могли ее спасти. Не ненависть нужна ей, а любовь.

Кровь прилила к его лицу и вновь отхлынула, когда он произнес последнее слово. Джемма не заметила этого — она смотрела прямо перед собой. Ее брови были сдвинуты, губы крепко сжаты.

— Вам кажется, что я не права, Артур,— сказала она после небольшой паузы.— Нет, правда на моей стороне. И когда-нибудь вы поймете это... Вот и дом Марьетты. Зайдете, может быть?

— Нет, уже поздно. Покойной ночи, дорогая!

Он стоял возле двери, крепко сжимая ее руку в своих.

— «Во имя бога и народа...»

И Джемма медленно, торжественно досказала девиз:

— «...ныне и во веки веков»*.

Потом отняла свою руку и вбежала в дом. Когда дверь за ней захлопнулась, он нагнулся и поднял кипарисовую веточку, упавшую с ее груди.

Глава IV

Артур вернулся домой словно на крыльях. Он был счастлив, безоблачно счастлив. На собрании намекали на подготовку к вооруженному восстанию. Джемма была теперь его товарищем, и он любил ее. Они вместе будут работать, а может быть, даже вместе умрут в борьбе за грядущую республику. Вот она, весенняя пора их надежд! Padre увидит это и поверит в их дело.

Впрочем, на другой день Артур проснулся в более спокойном настроении. Он вспомнил, что Джемма собирается ехать в Ливорно, а padre — в Рим. Январь, февраль, март — три долгих месяца до пасхи! Чего доброго, Джемма, вернувшись к своим, подпадет под протестантское влияние (на языке Артура слова «протестант» и «филистер»* были тождественны по смыслу). Нет, Джемма никогда не будет флиртовать, кокетничать и охотиться за туристами и лысыми судовладельцами, как другие английские девушки в Ливорно: Джемма совсем другая. Но она, вероятно, очень несчастна. Такая молодая, без друзей, и как ей, должно быть, одиноко среди всей этой чопорной публики!.. О, если бы его мать была жива!

Вечером он зашел в семинарию и застал Монтанелли за беседой с новым ректором. Вид у него был усталый, недовольный. Увидев Артура, padre не только не обрадовался, как обычно, но еще более помрачнел.

— Вот тот студент, о котором я вам говорил,— сухо сказал Монтанелли, представляя Артура новому ректору.— Буду вам очень признателен, если вы разрешите ему пользоваться библиотекой и впредь.

Отец Карди, пожилой, благодушного вида священник, сразу же заговорил с Артуром об университете. Свободный, непринужденный тон его показывал, что он хорошо знаком с жизнью студенчества. Разговор быстро перешел на слишком строгие порядки в университете — весьма злободневный вопрос. К великой радости Артура, новый ректор резко критиковал университетское начальство за те бессмысленные ограничения, которыми оно раздражало студентов.

— У меня большой опыт по воспитанию юношества,— сказал он.— Ни в чем не мешать молодежи без достаточных к тому оснований — вот мое правило. Если с молодежью хорошо обращаться, уважать ее, то редкий юноша доставит старшим большие огорчения. Но ведь и смирная лошадь станет брыкаться, если постоянно дергать поводья.

Артур широко открыл глаза. Он не ожидал найти в новом ректоре защитника студенческих интересов. Монтанелли не

принимал участия в разговоре, видимо не интересуясь этим вопросом. Вид у него был такой усталый, такой подавленный, что отец Карди вдруг сказал:

— Боюсь, я вас утомил, отец каноник. Простите меня за болтливость. Я слишком горячо принимаю к сердцу этот вопрос и забываю, что другим он, может быть, прискучил.

— Напротив, меня это очень интересует.

Монтанелли никогда не удавалась показная вежливость, и Артура покоробил его тон.

Когда отец Карди ушел, Монтанелли повернулся к Артуру и посмотрел на него с тем задумчивым, озабоченным выражением, которое весь вечер не сходило с его лица.

— Артур, дорогой мой,— начал он тихо,— мне надо поговорить с тобой.

«Должно быть, он получил какое-нибудь неприятное известие»,— подумал Артур, встревоженно взглянув на осунувшееся лицо Монтанелли. Наступила долгая пауза.— Как тебе нравится новый ректор?— спросил вдруг Монтанелли.

Вопрос был настолько неожиданный, что Артур не сразу нашелся, что ответить.

— Мне? Очень нравится... Впрочем, я и сам еще хорошенько не знаю. Трудно распознать человека с первого раза.

Монтанелли сидел, слегка постукивая пальцами по ручке кресла, как он всегда делал, когда его что-нибудь смущало или беспокоило.

— Что касается моей поездки,— снова заговорил он,— то, если ты имеешь что-нибудь против... если ты хочешь, Артур, я напишу в Рим, что не поеду.

— Padre! Но Ватикан...

— Ватикан найдет кого-нибудь другого. Я пошлю им свои извинения.

— Но почему? Я не могу понять!

Монтанелли провел рукой по лбу.

— Я беспокоюсь за тебя. Не могу отделаться от мысли, что... Да и потом в этом нет необходимости...

— А как же с епископством?

— Ах, Артур! Какая мне радость, если я получу епископство и потеряю...— Он запнулся.

Артур не знал, что подумать. Ему никогда не приходилось видеть padre в таком состоянии.

— Я ничего не понимаю...— растерянно проговорил он.— Padre, скажите... скажите прямо, что вас волнует?

— Ничего. Меня просто мучит беспредельный страх. Признайся: тебе грозит опасность?

«Он что-нибудь слышал»,— подумал Артур, вспоминая толки

о подготовке к восстанию. Но, зная, что разглашать эту тайну нельзя, он ответил вопросом:

— Какая же опасность может мне грозить?

— Не спрашивай меня, а отвечай! — Голос Монтанелли от волнения стал почти резким.— Грозит тебе что-нибудь? Я не хочу знать твои тайны. Скажи мне только это.

— Все мы в руках божиих, padre. Все может случиться. Но у меня нет никаких причин опасаться, что к тому времени, когда вы вернетесь, со мной может что-нибудь произойти.

— Когда я вернусь... Слушай, carino, я предоставляю решать тебе. Не надо мне твоих объяснений. Скажи только: останьтесь — и я откажусь от поездки. Никто от этого ничего не потеряет, а за тебя я буду спокойнее.

Такая мнительность была настолько чужда Монтанелли, что Артур с тревогой взглянул на него:

— Padre, вы нездоровы. Вам обязательно нужно ехать в Рим, отдохнуть там как следует, избавиться от бессонницы и головных болей...

— Хорошо,— резко прервал его Монтанелли, словно ему надоел этот разговор.— Завтра я еду с первой почтовой каретой.

Артур в недоумении взглянул на него.

— Вы, кажется, хотели мне что-то сказать? — спросил он.

— Нет, нет, больше ничего... Ничего особенного.

В глазах Монтанелли застыло выражение тревоги, почти страха.

Спустя несколько дней после отъезда Монтанелли Артур зашел в библиотеку семинарии за книгой и встретился на лестнице с отцом Карди.

— А, мистер Бертон! — воскликнул ректор.— Вас-то мне и нужно. Пожалуйста, зайдите ко мне, я рассчитываю на вашу помощь в одном трудном деле.

Он открыл дверь своего кабинета, и Артур вошел туда с затаенным чувством неприязни. Ему тяжело было видеть, что этот милый его сердцу рабочий кабинет, святилище padre, теперь занят другим человеком.

— Я заядлый книжный червь,— сказал ректор.— Первое, за что я принялся на новом месте,— это за просмотр библиотеки. Библиотека здесь прекрасная, но мне не совсем понятно, по какой системе составлялся каталог.

— Он не полон. Значительная часть ценных книг поступила недавно.

— Не уделите ли вы мне полчаса, чтобы объяснить систему расстановки книг?

Они вошли в библиотеку, и Артур дал все нужные объяснения. Когда он собрался уходить и уже взялся за шляпу, ректор с улыбкой остановил его:

— Нет, нет! Я не отпущу вас так скоро. Сегодня суббота — до понедельника занятия можно отложить. Оставайтесь, поужинаем вместе — все равно я вас задержал. Я совсем один и буду рад собеседнику.

Обращение ректора было так непринужденно и приветливо, что Артур сразу почувствовал себя с ним совершенно свободно. После нескольких ничего не значащих фраз ректор спросил, давно ли он знает Монтанелли.

— Около семи лет,— ответил Артур.— Он возвратился из Китая, когда мне было двенадцать.

— Ах да! Там он и приобрел репутацию выдающегося проповедника-миссионера. И с тех пор отец каноник руководил вашим образованием?

— Padre начал заниматься со мной год спустя, приблизительно в то время, когда я в первый раз исповедовался у него. А когда я поступил в университет, он продолжал помогать мне по тем предметам, которые не входили в университетский курс. Он очень хорошо ко мне относится! Вы и представить себе не можете, как хорошо!

— Охотно верю. Этим человеком нельзя не восхищаться: прекрасная, благороднейшая душа. Мне приходилось встречать миссионеров, бывших с ним в Китае. Они не находили слов, чтобы в должной мере оценить его энергию, его мужество в трудные минуты, его несокрушимую веру. Вы должны благодарить судьбу, что в ваши юные годы вами руководит такой человек. Я понял из его слов, что вы рано лишились родителей.

— Да, мой отец умер, когда я был еще ребенком, мать — год назад.

— Есть у вас братья, сестры?

— Нет, только сводные братья... Но они были уже взрослыми, когда меня еще нянчили.

— Вероятно, у вас было одинокое детство, потому-то вы так и цените доброту Монтанелли. Кстати, есть у вас духовник на время его отсутствия?

— Я думал обратиться к отцам Санта-Катарины, если у них не слишком много исповедующихся.

— Хотите исповедоваться у меня?

Артур удивленно раскрыл глаза.

— Ваше преподобие, я... я буду очень рад, но только...

— ...только ректор духовной семинарии обычно не исповедует мирян? Это верно. Но я знаю, что каноник Монтанелли очень заботится о вас и, если не ошибаюсь, тревожится о вашем благополучии. Я бы тоже тревожился, случись мне расстаться с любимым воспитанником. Ему будет приятно знать, что его коллега печется о вашей душе. Кроме того, сын мой, скажу вам откровенно: вы мне очень нравитесь, и я буду рад помочь вам всем, чем могу.

— Если так, то я, разумеется, буду вам очень признателен.

— В таком случае, вы придете ко мне на исповедь в будущем месяце?.. Прекрасно! А кроме того, заходите ко мне, мой мальчик, как только у вас выдастся свободный вечер.

Незадолго до пасхи стало официально известно, что Монтанелли получил епископство в Бризигелле, небольшом округе, расположенном в Этрусских Апеннинах. Монтанелли спокойно и непринужденно писал об этом Артуру из Рима; очевидно, его настроение улучшилось. «Ты должен навещать меня каждые каникулы,— писал он,— а я обещаю приезжать в Пизу. Надеюсь видеться с тобой, хоть и не так часто, как мне бы хотелось».

Доктор Уоррен пригласил Артура провести пасхальные праздники в его семье, а не в мрачном, кишащем крысами старом особняке, где теперь безраздельно царила Джули. В письмо была вложена нацарапанная неровным детским почерком записочка, в которой Джемма тоже просила его приехать к ним, если это возможно. «Мне нужно переговорить с вами кое о чем»,— писала она. Еще больше волновали и радовали Артура ходившие между студентами слухи. Все ожидали после пасхи больших событий.

Все это привело Артура в такое восторженное состояние, что все самые невероятные вещи, о которых шептались студенты, казались ему вполне реальными и осуществимыми в течение ближайших двух месяцев.

Он решил поехать домой в четверг на страстной неделе и провести первые дни каникул там, чтобы приезд к Уорренам и радость свидания с Джеммой не нарушили в нем того торжественного религиозного настроения, какого церковь требует от своих чад в эти дни. В среду вечером он написал Джемме, что приедет в пасхальный понедельник, и с миром в душе пошел спать.

Он опустился на колени перед распятием. Завтра утром отец Карди обещал исповедать его, и теперь долгой и усердной молитвой ему надлежало подготовить себя к этой последней перед пасхальным причастием исповеди. Стоя на коленях, со

сложенными на груди руками и склоненной головой, он вспоминал день за днем весь прошедший месяц и пересчитывал свои маленькие грехи — нетерпение, раздражительность, беспечность, чуть-чуть пятнавшие его душевную чистоту. Кроме этого, Артур ничего не мог вспомнить: в счастливые дни много не нагрешишь. Он перекрестился, встал с колен и начал раздеваться.

Когда он расстегнул рубашку, из-под нее выпал клочок бумаги. Это была записка Джеммы, которую он носил целый день на груди. Он поднял ее, развернул и поцеловал милые каракули; потом снова сложил листок, вдруг устыдившись своей смешной выходки, и в эту минуту заметил на обороте приписку: «Непременно будьте у нас, и как можно скорее; я хочу познакомить вас с Боллой. Он здесь, и мы каждый день занимаемся вместе».

Горячая краска залила лицо Артура, когда он прочел эти строки:

«Вечно этот Болла! Что ему снова понадобилось в Ливорно? И с чего это Джемме вздумалось заниматься вместе с ним? Околдовал он ее своими контрабандными делами? Уже в январе на собрании легко было догадаться, что Болла влюблен в нее. Потому-то он и говорил тогда с таким жаром! А теперь он подле нее, ежедневно занимается с ней...»

Артур отбросил записку в сторону и снова опустился на колени перед распятием. И это — душа, готовая принять отпущение грехов, пасхальное причастие, душа, жаждущая мира и с всевышним, и с людьми, и с самим собой! Значит, она способна на низкую ревность и подозрения, способна питать зависть и мелкую злобу, да еще к товарищу! В порыве горького самоуничижения Артур закрыл лицо руками. Всего пять минут назад он мечтал о мученичестве, а теперь сразу пал до таких недостойных, низких мыслей!..

В четверг Артур вошел в церковь семинарии и застал отца Карди одного. Прочтя перед исповедью молитву, он сразу заговорил о своем проступке:

— Отец мой, я грешен — грешен в ревности, в злобе, в недостойных мыслях о человеке, который не причинил мне никакого зла.

Отец Карди отлично понимал, с кем имеет дело. Он мягко сказал:

— Вы не все мне открыли, сын мой.

— Отец! Того, к кому я питаю нехристианские чувства, я должен особенно любить и уважать.

— Вы связаны с ним кровными узами?

— Еще теснее.

— Что же вас связывает, сын мой?
— Узы товарищества.
— Товарищества? В чем?
— В великой и священной работе.
Последовала небольшая пауза.
— И ваша неприязнь к этому... товарищу, ваша ревность вызвана тем, что он больше вас успел в этой работе?
— Да... отчасти. Я позавидовал его опыту, его авторитету... И затем... я думал... я боялся, что он отнимет у меня сердце девушки... которую я люблю.
— А эта девушка, которую вы любите, дочь святой церкви?
— Нет, она протестантка.
— Еретичка?
Артур горестно сжал руки.
— Да, еретичка,— повторил он.— Мы вместе воспитывались. Наши матери были подругами. И я... позавидовал ему, так как понял, что он тоже любит ее... и...
— Сын мой,— медленно, серьезно заговорил отец Карди после минутного молчания,— вы не все мне открыли. У вас на душе есть еще какая-то тяжесть.
— Отец, я...— Артур запнулся.
Исповедник молча ждал.
— Я позавидовал ему потому, что организация... «Молодая Италия», к которой я принадлежу...
— Да?
— Доверила ему одно дело, которое, как я надеялся, будет поручено мне... Я считал себя особенно пригодным для него.
— Какое же это дело?
— Приемка книг с пароходов... политических книг. Их нужно было взять... и спрятать где-нибудь в городе.
— И эту работу организация поручила вашему сопернику?
— Да, Болле... и я позавидовал ему.
— А он, со своей стороны, ни в чем не подавал вам повода к неприязни? Вы не обвиняете его в небрежном отношении к той миссии, которая была возложена на него?
— Нет, отец. Болла действовал смело и самоотверженно. Он истинный патриот, и мне бы следовало питать к нему любовь и уважение.
Отец Карди задумался.
— Сын мой, если душу вашу озарил новый свет, если в ней родилась мечта о великой работе на благо ваших собратьев, если вы надеетесь облегчить бремя усталых и угнетенных, то подумайте, как вы относитесь к этому самому драгоценному дару господню. Все блага — дело его рук. И рождение ваше в новую жизнь — от него же. Если вы обрели путь к жертве,

нашли дорогу, которая ведет к миру, если вы соединились с любящими вас товарищами, чтобы принести освобождение тем, кто втайне льет слезы и скорбит, то постарайтесь, чтобы ваша душа была свободна от зависти и страстей, а ваше сердце было алтарем, где неугасимо горит священный огонь. Помните, что это — святое и великое дело, и сердце, которое проникнется им, должно быть очищено от себялюбия. Это призвание, так же как и призвание служителя церкви, не должно зависеть от любви к женщине, от скоропреходящих страстей. Оно *во имя бога и народа, ныне и во веки веков.*

— О-о! — Артур вздрогнул и сжал руки.

Он чуть не разрыдался, услыхав знакомый девиз.

— Отец мой, вы даете нам благословение церкви! Христос с нами!

— Сын мой,— торжественно ответил священник,— Христос изгнал менял из храма, ибо дом его — домом молитвы наречется, а они его сделали вертепом разбойников!

После долгого молчания Артур с дрожью в голосе прошептал:

— И Италия будет храмом его, когда их изгонят...

Он замолчал. В ответ раздался мягкий голос:

— «Земля и все ее богатства — мои»,— сказал господь.

Глава V

В тот день Артуру захотелось совершить длинную прогулку. Он поручил свои вещи товарищу-студенту, а сам отправился в Ливорно пешком.

День был сырой и облачный, но не холодный, и равнина, по которой он шел, казалась ему прекрасной как никогда. Он испытывал наслаждение, ощущая мягкую, влажную траву под ногами, всматриваясь в робкие, изумленные глазки придорожных весенних цветов. На лесной опушке птица свила гнездо в кусте желтой акации и при его появлении с испуганным криком взвилась в воздух, затрепетав темными крылышками.

Артур пытался сосредоточиться на благочестивых размышлениях, каких требовал канун великой пятницы. Но два образа — Монтанелли и Джеммы — все время мешали его намерениям, так что в конце концов он отказался от попытки настроить себя на благочестивый лад и предоставил своей фантазии свободно нестись к величию и славе грядущего восстания и к той роли, которую он предназначал в нем двум своим кумирам. Padre был в его воображении вождем, апостолом, пророком. Перед его священным гневом исчезнут все темные силы, у его ног

юные защитники свободы должны будут сызнова учиться старой вере и старым истинам в их новом, неизведанном доселе значении.

А Джемма? Джемма будет сражаться на баррикадах. Джемма рождена, чтобы стать героиней. Это верный товарищ. Это та чистая и бесстрашная девушка, о которой мечтало столько поэтов. Джемма станет рядом с ним, плечом к плечу, и они с радостью встретят крылатый вихрь смерти. Они умрут вместе, может, в час победы, ибо победа должна прийти. Он ничего не скажет ей о своей любви, ни словом не обмолвится о том, что могло бы нарушить ее душевный мир и омрачить ее товарищеские чувства. Она святыня, беспорочная жертва, которой суждено быть сожженной на алтаре за свободу народа. И разве он посмеет войти в святая святых души, не знающей иной любви, кроме любви к богу и Италии?

Бог и Италия... Капли дождя упали ему на голову, когда он входил в большой мрачный особняк на Виа-Борра. На лестнице его встретил дворецкий Джули, безукоризненно одетый, спокойный и, как всегда, вежливо-недоброжелательный.

— Добрый вечер, Гиббонс. Братья дома?

— Мистер Томас и миссис Бертон дома. Они в гостиной.

Артур с тяжелым чувством вошел в комнаты. Какой тоскливый дом! Поток жизни несся мимо, не задевая его. В нем ничто не менялось: все те же люди, все те же фамильные портреты, все та же дорогая безвкусная обстановка и безобразные блюда на стенах, все то же мещанское чванство богатством, все тот же безжизненный отпечаток, лежащий на всем... Даже цветы в бронзовых жардиньерках казались искусственными, вырезанными из металла, словно в теплые весенние дни в них никогда не бродил молодой сок.

Джули сидела в гостиной, бывшей центром ее существования, и ожидала гостей к обеду. Вечерний туалет, застывшая улыбка, белокурые локоны и комнатная собачка на коленях — ни дать ни взять картинка из модного журнала!

— Здравствуй, Артур! — сказала она сухо, протянув ему на секунду кончики пальцев и перенеся их тотчас же на более приятную на ощупь шелковистую шерсть собачки.— Ты, надеюсь, здоров и хорошо занимаешься?

Артур произнес первую банальную фразу, которая пришла ему в голову, и погрузился в тягостное молчание. Не внес оживления и приход чванливого Джеймса в обществе пожилого чопорного агента пароходной компании. И когда Гиббонс доложил, что обед подан, Артур встал с легким вздохом облегчения.

— Я не буду сегодня обедать, Джули. Прошу извинить меня, но я пойду к себе.

— Ты слишком строго соблюдаешь пост, друг мой,— сказал Томас.— Я уверен, что это кончится плохо.

— О нет! Спокойной ночи.

В коридоре Артур встретил горничную и попросил разбудить его в шесть часов утра.

— Синьорино пойдет в церковь?

— Да. Спокойной ночи, Тереза.

Он вошел в свою комнату. Она принадлежала раньше его матери, и альков против окна был превращен в молельню во время ее долгой болезни. Большое распятие на черном пьедестале занимало середину алькова. Перед ним висела лампада. В этой комнате мать умерла. Над постелью висел ее портрет, на столе стояла китайская ваза с букетом фиалок — ее любимых цветов. Минул ровно год со дня смерти синьоры Глэдис, но слуги-итальянцы не забыли ее.

Артур вынул из чемодана тщательно завернутый портрет в рамке. Это был сделанный карандашом портрет Монтанелли, за несколько дней до того присланный из Рима. Он стал развертывать свое сокровище, но в эту минуту в комнату с подносом в руках вошел мальчик-слуга Джули. Старая кухарка-итальянка, служившая Глэдис до появления в доме новой, строгой хозяйки, уставила этот поднос всякими вкусными вещами, которые, как она полагала, дорогой синьорино мог бы съесть, не нарушая церковных обетов. Артур от всего отказался, за исключением кусочка хлеба; и слуга, племянник Гиббонса, недавно приехавший из Англии, многозначительно ухмыльнулся, уходя с подносом из комнаты. Он уже успел примкнуть к протестантскому лагерю на кухне.

Артур вошел в альков и опустился на колени перед распятием, напрягая все силы, чтобы настроить себя на молитву и набожные размышления. Но ему долго не удавалось это. Он и в самом деле, как сказал Томас, слишком усердствовал в соблюдении поста. Лишения, которым он себя подвергал, действовали, как крепкое вино. По его спине пробежала легкая дрожь, распятие поплыло перед глазами, словно в тумане. Он машинально прочел длинную молитву и только после этого вернулся мысленно к тайне искупления. Наконец крайняя физическая усталость одержала верх над нервным возбуждением, и он заснул со спокойной душой, свободной от тревожных и тяжелых дум.

Артур крепко спал, когда в дверь его комнаты кто-то постучал нетерпеливо и громко.

«А, Тереза»,— подумал он, лениво поворачиваясь на другой бок.

Постучали второй раз. Он вздрогнул и проснулся.

— Синьорино! Синьорино! — крикнул мужской голос.— Вставайте, ради бога!

Артур вскочил с кровати:

— Что случилось? Кто там?

— Это я, Джиан Баттиста. Заклинаю вас именем пресвятой девы! Вставайте скорее!

Артур торопливо оделся и отпер дверь. В недоумении смотрел он на бледное, искаженное ужасом лицо кучера, но, услышав звук шагов и лязг металла в коридоре, понял все.

— За мной? — спросил он спокойно.

— За вами! Торопитесь, синьорино! Что нужно спрятать? Я могу...

— Мне нечего прятать. Братья знают?

В коридоре, из-за угла, показался первый мундир.

— Синьора разбудили. Весь дом проснулся. Какое горе, какое ужасное горе! И еще в страстную пятницу! Угодники божии, сжальтесь над нами!

Джиан Баттиста разрыдался. Артур сделал несколько шагов навстречу жандармам, которые, громыхая саблями, входили в комнату в сопровождении дрожащих слуг, одетых во что попало. Артура окружили. Странную процессию замыкали хозяин и хозяйка дома. Он — в халате и в туфлях, она — в длинном пеньюаре и в папильотках.

«Как будто наступает второй потоп и звери, спасаясь, бегут в ковчег! Вот, например, какая забавная пара!» — мелькнуло у Артура при виде этих нелепых фигур, и он едва удержался от смеха, чувствуя всю неуместность его в такую минуту.

— Ave, Maria, Regina Coeli![1] — прошептал он и отвернулся, чтобы не видеть папильоток Джули, вводивших его в искушение.

— Будьте добры объяснить мне,— сказал мистер Бертон, подходя к жандармскому офицеру,— что значит это насильственное вторжение в частный дом? Я должен предупредить вас, что мне придется обратиться к английскому послу, если вы не дадите удовлетворительных объяснений.

— Думаю, что объяснение удовлетворит вас, а английского посла и подавно,— сухо сказал офицер.

Он развернул приказ об аресте студента философского факультета Артура Бертона и вручил его Джеймсу, холодно прибавив:

— Если вам понадобятся дальнейшие объяснения, советую лично обратиться к начальнику полиции.

---

[1] «Радуйся, Мария, царица небесная...» (лат.) — начало католической молитвы.

Джули вырвала бумагу из рук мужа, быстро пробежала ее глазами и накинулась на Артура с той грубостью, на какую способна только пришедшая в бешенство благовоспитанная леди.

— Ты опозорил нашу семью! — кричала она.— Теперь вся городская чернь будет глазеть на нас. Вот куда тебя привело твое благочестие — в тюрьму! Впрочем, чего же было и ждать от сына католички...

— Сударыня, с арестованными на иностранном языке говорить не полагается,— прервал ее офицер.

Но его слова потонули в потоке обвинений, которыми сыпала по-английски Джули:

— Этого надо было ожидать! Пост, молитвы, душеспасительные размышления — и вот что за этим скрывалось! Такой конец был неминуем.

Доктор Уоррен сравнил как-то Джули с салатом, в который повар нечаянно опрокинул флакон уксуса. От ее тонкого, пронзительного голоса у Артура стало кисло во рту, и он сразу вспомнил это сравнение.

— Зачем так говорить! — сказал он.— Вам нечего опасаться неприятностей. Все знают, что вы тут совершенно ни при чем... Я полагаю,— прибавил он, обращаясь к жандармам,— вы хотите осмотреть мои вещи? Мне нечего скрывать.

Пока жандармы обыскивали комнату, выдвигали ящики, читали его письма, просматривали университетские записи, Артур сидел на кровати. Он был несколько взволнован, но тревоги не чувствовал. Обыск его не беспокоил: он всегда сжигал письма, которые могли кого-нибудь скомпрометировать, и теперь, кроме нескольких рукописных стихотворений, полуреволюционных-полумистических, да двух-трех номеров «Молодой Италии», жандармы не нашли ничего, что могло бы вознаградить их за труды. После долгого сопротивления Джули уступила уговорам своего шурина и пошла спать, проплыв мимо Артура с презрительно-надменным видом. Джеймс покорно последовал за ней.

Когда они вышли, Томас, который все это время шагал взад и вперед по комнате, стараясь казаться равнодушным, подошел к офицеру и попросил у него разрешения переговорить с арестованным. Тот кивнул вместо ответа, и Томас, подойдя к Артуру, пробормотал хриплым голосом:

— Ужасно неприятная история! Я очень огорчен.

Артур взглянул на него глазами, ясными, как солнечное утро.

— Вы всегда были добры ко мне,— сказал он.— Вам нечего беспокоиться. Мне ничто не угрожает.

— Послушай, Артур! — Томас дернул себя за ус и решил

говорить напрямик.— Эта история имеет какое-нибудь отношение к денежным делам?.. Если так, то я...

— К денежным делам? Нет, конечно. При чем тут...

— Значит, политические бредни? Я так и думал. Ну, что же делать... Не падай духом и не обращай внимания на Джули, ты знаешь, какой у нее язык. Так вот, если нужна моя помощь — деньги или еще что-нибудь,— дай мне знать. Хорошо?

Артур молча протянул ему руку, и Томас вышел, напустив на себя равнодушный вид, что придало его лицу еще более вялое выражение.

Тем временем жандармы закончили обыск, и офицер предложил Артуру надеть пальто. Артур так и сделал и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг остановился на пороге: ему было тяжело прощаться с молельней матери в присутствии жандармов.

— Вы не могли бы выйти на минуту? — спросил он.— Убежать я все равно не могу, а прятать мне нечего.

— К сожалению, арестованных запрещено оставлять одних.

— Хорошо, пусть так.

Он вошел в альков, преклонил колена и, поцеловав распятие, прошептал:

— Господи, дай мне силы быть верным до конца!

Офицер стоял у стола и рассматривал портрет Монтанелли.

— Это ваш родственник? — спросил он.

— Нет, это мой духовный отец, новый епископ Бризигеллы.

На лестнице его ожидали слуги-итальянцы, встревоженные и опечаленные. Артура любили в доме, и теперь слуги теснились вокруг него, горестно целуя ему руки и платье. Джиан Баттиста стоял тут же, роняя слезы на седые усы. Никто из Бертонов не пришел проститься. Их равнодушие еще более подчеркивало преданность и любовь слуг, и Артур едва не заплакал, пожимая протянутые ему руки:

— Прощай, Джиан Баттиста, поцелуй своих малышей! Прощайте, Тереза! Молитесь за меня все, и да хранит вас бог! Прощайте, прощайте...

Он быстро сбежал с лестницы. Прошла минута, и карета отъехала, провожаемая безмолвными взглядами мужчин и рыданиями женщин.

Глава VI

Артур был заключен в огромную средневековую крепость, стоявшую у самой гавани. Тюремная жизнь оказалась довольно сносной. Камера у Артура была сырая, темная, но он вырос

в старом особняке на Виа-Борра, и, следовательно, духота, смрад и крысы были ему не в диковинку. Кормили в тюрьме скудно и плохо, но Джеймс вскоре добился разрешения посылать брату все необходимое из дома. Артура держали в одиночной камере, и хотя надзор был не так строг, как он ожидал, все-таки объяснения причины своего ареста ему не удалось получить. Тем не менее его не покидало то душевное спокойствие, с каким он вошел в крепость.

Ему не разрешали читать, и все время он проводил в молитве и благочестивых размышлениях, терпеливо ожидая дальнейших событий.

Однажды утром часовой отпер дверь камеры и сказал:

— Пожалуйте!

После двух-трех вопросов, на которые был только один ответ: «Разговаривать воспрещается», Артур покорился и пошел за солдатом по лабиринту пропитанных сыростью дворов, коридоров и лестниц. Наконец его ввели в большую светлую комнату, где у длинного стола, крытого зеленым сукном и заваленного бумагами, лениво переговариваясь, сидели трое военных. Когда он вошел, они сейчас же приняли важный, деловой вид, и старший из них, уже пожилой щеголеватый полковник с седыми бакенбардами, указал ему на стул по другую сторону стола и приступил к предварительному допросу.

Артур ожидал угроз, оскорблений, брани и приготовился отвечать с выдержкой и достоинством. Но ему пришлось приятно разочароваться. Полковник держался чопорно, по-казенному сухо, но с безукоризненной вежливостью. Последовали обычные вопросы: имя, возраст, национальность, общественное положение; ответы записывались один за другим. Артур уже начал чувствовать скуку и нетерпение, как вдруг полковник сказал:

— Ну, а теперь, мистер Бертон, что вам известно о «Молодой Италии»?

— Мне известно, что это политическое общество, которое издает газету в Марселе и распространяет ее в Италии с целью подготовить народ к восстанию и изгнать австрийскую армию из пределов страны.

— Вы читали эту газету?

— Да. Я интересовался этим вопросом.

— А когда вы читали ее, приходило ли вам в голову, что вы совершаете противозаконный акт?

— Конечно.

— Где вы достали экземпляры, найденные в вашей комнате?

— Этого я не могу вам сказать.

— Мистер Бертон, здесь нельзя говорить «не могу». Вы обязаны отвечать на все мои вопросы.

— В таком случае — не хочу, поскольку «не могу» вам не нравится.

— Если вы будете говорить со мной таким тоном, вам придется пожалеть об этом,— заметил полковник.

Не дождавшись ответа, он продолжал:

— Могу еще прибавить, что, по имеющимся у нас сведениям, ваша связь с этим обществом была гораздо ближе — она заключалась не только в чтении запрещенной литературы. Вам же будет лучше, если вы откровенно сознаетесь во всем. Так или иначе, мы узнаем правду, и вы убедитесь, что выгораживать себя и запираться бесполезно.

— У меня нет никакого желания выгораживать себя. Что вы хотите знать?

— Прежде всего скажите, каким образом вы, иностранец, могли впутаться в подобного рода дела?

— Я много думал об этих вопросах, много об этом читал и пришел к определенным выводам.

— Кто убедил вас присоединиться к этому обществу?

— Никто. Это было моим личным желанием.

— Вы меня дурачите! — резко сказал полковник. Терпение, очевидно, начинало изменять ему.— К политическим обществам не присоединяются без влияния со стороны. Кому вы говорили о том, что хотите стать членом этой организации?

Молчание.

— Будьте любезны ответить.

— На такие вопросы я не стану отвечать.

В голосе Артура послышались угрюмые нотки. Какое-то странное раздражение овладело им. Он уже знал об арестах, произведенных в Ливорно и Пизе, хотя и не представлял себе истинных масштабов разгрома. Но и того, что дошло до него, было достаточно, чтобы вызвать в нем лихорадочную тревогу за участь Джеммы и остальных друзей. Притворная вежливость офицера, этот словесный турнир, эта скучная игра в коварные вопросы и уклончивые ответы беспокоили и злили его, а тяжелые шаги часового за дверью действовали ему на нервы.

— Между прочим, когда вы виделись в последний раз с Джованни Боллой? — спросил полковник после очередного обмена репликами.— Перед вашим отъездом из Пизы?

— Это имя мне не знакомо.

— Как! Джованни Болла? Вы его прекрасно знаете. Молодой человек высокого роста, бритый. Ведь он ваш товарищ по университету.

— Я знаком далеко не со всеми студентами.

— Боллу вы должны знать. Посмотрите: вот его почерк. Вы видите, он вас прекрасно знает.

И полковник небрежно передал ему бумагу, в заголовке которой стояло: «Протокол», а внизу была подпись: «Джованни Болла». Наскоро пробегая ее, Артур наткнулся на свое имя. Он с изумлением поднял глаза.

— Вы хотите, чтобы я прочел это? — спросил он.

— Что ж, читайте. Это касается вас.

Артур начал читать, а офицер молча наблюдал за выражением его лица. Документ состоял из показаний, данных в ответ на целый ряд вопросов. Очевидно, Болла тоже арестован! Первые показания были самые обычные. Затем следовал краткий отчет о связях Боллы с обществом, о распространении в Ливорно запрещенной литературы и о студенческих собраниях. А дальше Артур прочел: «В числе примкнувших к нам был один молодой англичанин, по имени Артур Бертон, из семьи богатых ливорнских судовладельцев».

Кровь хлынула в лицо Артуру. Болла выдал его! Болла, который принял на себя высокую обязанность руководителя. Болла, который завербовал Джемму... и был влюблен в нее! Он положил бумагу на стол и опустил глаза.

— Надеюсь, этот маленький документ освежил вашу память? — вежливо осведомился полковник.

Артур покачал головой.

— Это имя мне не знакомо,— хмуро, сурово повторил он.— Тут, вероятно, какая-то ошибка.

— Ошибка? Вздор! Знаете, мистер Бертон, рыцарство и донкихотство — прекрасные вещи, но не надо доводить их до крайности. Это ошибка, в которую постоянно впадает молодежь. Подумайте: стоит ли компрометировать себя и портить свою будущность из-за человека, который вас же выдал. Как видите, он не отличался особенной щепетильностью, когда давал показания о вас.

Что-то вроде насмешки послышалось в голосе полковника. Артур вздрогнул; внезапная догадка блеснула у него в голове.

— Это ложь! Вы совершили подлог. Я вижу это по вашему лицу! — крикнул он.— Вы хотите уличить кого-нибудь из арестованных или строите ловушку мне! Обманщик, лгун, подлец...

— Молчать! — закричал полковник, в бешенстве вскакивая со стула.

Его коллеги были уже на ногах.

— Капитан Томмаси,— сказал полковник, обращаясь к одному из них,— вызовите стражу и прикажите посадить этого молодого человека в карцер на несколько дней. Я вижу, он нуждается в хорошем уроке, его нужно образумить.

Карцер был темной, мокрой, грязной дырой в подземелье. Вместо того чтобы «образумить» Артура, он довел его до

последней степени раздражения. Богатый дом, где он вырос, воспитал в нем крайнюю требовательность ко всему, что касалось чистоплотности, и оскорбленный полковник вполне мог бы удовлетвориться первым впечатлением, которое произвели на Артура липкие, покрытые плесенью стены, заваленный кучами мусора и всяких нечистот пол и ужасное зловоние, распространявшееся от сточных труб и прогнившего дерева.

Артура втолкнули в эту конуру и заперли за ним дверь; он осторожно шагнул вперед и, вытянув руки, содрогаясь от отвращения, когда пальцы его касались скользких стен, на ощупь отыскал в потемках место на полу, где было меньше грязи.

Он провел целый день в непроглядном мраке и в полной тишине; ночь не принесла никаких перемен. Лишенный внешних впечатлений, он постепенно терял представление о времени. И когда на следующее утро в замке щелкнул ключ и перепуганные крысы с писком прошмыгнули мимо его ног, он вскочил в ужасе. Сердце его отчаянно билось, в ушах стоял шум, словно он был лишен света и звуков долгие месяцы, а не одни лишь сутки.

Дверь отворилась, пропуская в камеру слабый свет фонаря, показавшийся Артуру ослепительным. Старший надзиратель принес кусок хлеба и кружку воды. Артур шагнул вперед. Он был уверен, что это пришли за ним, что его сейчас выпустят. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, надзиратель сунул ему хлеб и воду, повернулся и молча вышел, снова заперев за собой дверь.

Артур топнул ногой. Впервые в жизни он почувствовал ярость. С каждым часом он все больше и больше утрачивал представление о месте и времени. Темнота казалась ему безграничной, без начала и конца. Жизнь как будто остановилась. На третий день вечером, когда в карцере снова появился надзиратель, теперь уже в сопровождении конвоира, Артур растерянно посмотрел на них, защитив глаза от непривычного света и тщетно стараясь подсчитать, сколько часов, дней или недель он пробыл в этой могиле.

— Пожалуйте,— холодным, деловым тоном произнес надзиратель.

Артур машинально побрел за ним неуверенными шагами, спотыкаясь и пошатываясь, как пьяный.

Он отстранил руку надзирателя, хотевшего помочь ему подняться по крутой, узкой лестнице, которая вела во двор, но, ступив на верхнюю ступеньку, вдруг почувствовал дурноту, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы надзиратель не поддержал его за плечи.

— Ничего, оправится,— произнес чей-то веселый голос.— Это с каждым бывает, кто выходит оттуда на воздух.

Артур с мучительным трудом перевел дыхание, когда ему второй раз брызнули водой в лицо. Темнота, казалось, отваливалась от него, с шумом распадаясь на куски. Он сразу очнулся и, оттолкнув руку надзирателя, почти твердым шагом прошел коридор и лестницу. Они остановились перед дверью; вот дверь отворилась, и, прежде чем Артур понял, куда его привели, он очутился в ярко освещенной комнате, где происходил первый допрос. Не сразу узнав ее, он недоумевающим взглядом окинул стол, заваленный бумагами, и офицеров, сидевших на прежних местах.

— А, мистер Бертон!— сказал полковник, улыбаясь.— Надеюсь, теперь разговор наш пойдет спокойнее. Ну, как вам понравился карцер? Не правда ли, он не так роскошен, как гостиная вашего брата?

Артур поднял глаза. Им овладело безумное желание броситься на этого щеголя с седыми бакенбардами и вгрызться ему в горло. Очевидно, это отразилось на его лице, потому что полковник сейчас же прибавил уже совершенно другим тоном:

— Сядьте, мистер Бертон, и выпейте воды — я вижу, вы взволнованы.

Артур оттолкнул предложенный ему стакан и, облокотившись о стол, подпер голову рукой, силясь собраться с мыслями. Полковник внимательно наблюдал за ним, подмечая опытным глазом и дрожь в руках, и трясущиеся губы, и взмокшие волосы, и тусклый взгляд — все, что говорило о физической слабости и нервном переутомлении.

— Мистер Бертон,— снова начал полковник после нескольких минут молчания,— мы вернемся к тому, на чем остановились в прошлый раз. Тогда у нас с вами произошла маленькая неприятность, но теперь — я сразу же должен сказать вам это — у меня единственное желание: быть снисходительным. Если вы будете вести себя должным образом, с вами обойдутся без излишней строгости.

— Чего вы хотите от меня?

Артур произнес это совсем не свойственным ему резким, мрачным тоном.

— Мне нужно только, чтобы вы сказали откровенно и честно, что вам известно об этом обществе и его членах. Прежде всего, как давно вы знакомы с Боллой?

— Я его никогда не встречал. Мне о нем ровно ничего не известно.

— Неужели? Хорошо, мы скоро вернемся к этому. Может быть, вы знаете молодого человека по имени Карло Бини?

— Никогда не слыхал о таком.

— Это уж совсем странно. Ну, а что вы можете сказать о Франческо Нери?

— Впервые слышу это имя.

— Но ведь вот письмо, адресованное ему и написанное вашей рукой! Взгляните.

Артур бросил небрежный взгляд на письмо и отложил его в сторону.

— Оно вам знакомо?

— Нет.

— Вы отрицаете, что это ваш почерк?

— Я ничего не отрицаю. Я не помню такого письма.

— Может быть, вы вспомните вот это?

Ему передали второе письмо. Он узнал в нем то, которое писал осенью одному товарищу, студенту.

— Нет.

— И не знаете лица, которому оно адресовано?

— Не знаю.

— У вас удивительно короткая память.

— Это мой давнишний недостаток.

— Вот как! А я слышал от одного из университетских профессоров, что вас отнюдь не считают неспособным. Скорее наоборот.

— Вы судите о способностях, вероятно, с полицейско-шпионской точки зрения. Профессора университета употребляют это слово в несколько ином смысле.

Нотка нарастающего раздражения явственно слышалась в ответах Артура. Голод, спертый воздух и бессонные ночи подорвали его силы. У него ныла каждая косточка, а голос полковника действовал ему на истерзанные нервы, точно царапанье грифеля по доске.

— Мистер Бертон,— строго сказал полковник, откинувшись на спинку стула,— вы опять забываетесь. Я предостерегаю вас еще раз, что подобный тон не доведет до добра. Вы уже побывали в темном карцере, и вряд ли вам захочется опять попасть в него. Скажу вам прямо: если мягкость на вас не подействует, я применю к вам строгие меры. Помните, у меня есть доказательства — веские доказательства,— что некоторые из названных мною молодых людей занимались тайной доставкой запрещенной литературы через здешний порт и что вы были в сношениях с ними. Так вот, намерены ли вы сказать добровольно, что вы знаете обо всем этом?

Артур еще ниже опустил голову. Слепая, безрассудная, звериная ярость шевелилась в нем, точно живое существо. И мысль, что он может потерять самообладание, испугала его

больше, чем угрозы. Он в первый раз ясно осознал, что джентльменская сдержанность и христианское смирение могут изменить ему, и испугался самого себя.

— Я жду ответа,— сказал полковник.

— Мне нечего вам отвечать.

— Так вы решительно отказываетесь говорить?

— Я ничего не скажу.

— В таком случае, мне придется распорядиться, чтобы вас вернули в карцер и держали там до тех пор, пока ваше решение не переменится. Если вы не образумитесь и в дальнейшем, я прикажу надеть на вас кандалы.

Артур поднял голову. По телу его пробежала дрожь.

— Вы можете делать все, что вам угодно,— медленно проговорил он.— Но допустит ли английский посол, чтобы так обращались с британским подданным без всяких доказательств его виновности?

Наконец Артура увели в прежнюю камеру, где он повалился на койку и проспал до следующего утра. Кандалов на него не надели и в страшный карцер не перевели, но вражда между ним и полковником росла с каждым допросом. Напрасно Артур молил бога о том, чтобы он даровал ему силы побороть в себе злобу, напрасно размышлял он целые ночи о терпении и кротости Христа. Как только его приводили в длинную, почти пустую комнату, где стоял все тот же стол, покрытый зеленым сукном, как только он видел перед собой нафабренные усы полковника, ненависть снова овладевала им, толкала его на злые, презрительные ответы. Еще не прошло и месяца, как он сидел в тюрьме, а их обоюдное раздражение достигло такой степени, что они не могли взглянуть друг на друга без гнева.

Постоянное напряжение этой борьбы начинало заметно сказываться на нервах Артура. Зная, как зорко за ним наблюдают, и вспоминая страшные рассказы о том, что арестованных опаивают незаметно для них белладонной, чтобы подслушать их бред, он почти перестал есть и спать. Когда ночью мимо него пробегала крыса, он вскакивал в холодном поту, дрожа от ужаса при мысли, что кто-то прячется в камере и подслушивает, не говорит ли он во сне. Жандармы явно старались поймать его на слове и уличить Боллу. И страх попасть нечаянно в ловушку был настолько велик, что Артур действительно мог совершить серьезный промах. Денно и нощно имя Боллы звучало у него в ушах, не сходило с языка и во время молитвы; он шептал его вместо имени «Мария», перебирая четки. Но хуже всего было то, что религиозность с каждым днем как бы уходила от него вместе со всем внешним миром. С лихорадочным упорством Артур цеплялся за эту последнюю поддержку, проводя долгие часы

в молитвах и покаянных размышлениях. Но мысли его все чаще и чаще возвращались к Болле, и слова молитв он повторял машинально.

Огромным утешением для Артура был старший тюремный надзиратель. Этот толстенький лысый старичок сначала изо всех сил старался напустить на себя строгость. Но добродушие, сквозившее в каждой морщинке его пухлого лица, одержало верх над чувством долга, и скоро он стал передавать записки из одной камеры в другую.

Как-то днем в середине мая надзиратель вошел к нему с такой мрачной, унылой физиономией, что Артур с удивлением посмотрел на него.

— В чем дело, Энрико? — воскликнул он.— Что с вами сегодня случилось?

— Ничего! — грубо ответил Энрико и, подойдя к койке, рванул с нее плед Артура.

— Зачем вы берете мой плед? Разве меня переводят в другую камеру?

— Нет, вас выпускают.

— Выпускают? Сегодня? Совсем выпускают? Энрико!

Артур в волнении схватил старика за руку, но тот сердито вырвал ее.

— Энрико, что с вами? Почему вы не отвечаете? Скажите, нас всех выпускают?

В ответ послышалось только презрительное фырканье.

— Полно! — Артур с улыбкой снова взял надзирателя за руку.— Не злитесь на меня, я все равно не обижусь. Скажите лучше, как с остальными?

— С какими это остальными?— буркнул Энрико, вдруг бросая рубашку Артура, которую он складывал.— Уж не с Боллой ли?

— С Боллой, разумеется, и со всеми другими. Энрико, да что с вами?

— Вряд ли беднягу скоро выпустят, если его предал свой же товарищ! — И негодующий Энрико снова взялся за рубашку.

— Предал товарищ? Какой ужас! — Артур широко открыл глаза.

Энрико быстро повернулся к нему:

— А разве не вы это сделали?

— Я! Вы в своем уме, Энрико? Я?

— По крайней мере, так ему сказали на допросе. Мне очень приятно знать, что предатель не вы. Вас я всегда считал порядочным молодым человеком. Идемте!

Энрико вышел в коридор, Артур последовал за ним. И вдруг его словно озарило:

— Болле сказали, что его выдал я! Ну конечно! А мне, Энрико, говорили, что меня выдал Болла. Но Болла ведь не так глуп, чтобы поверить этому вздору.

— Так это действительно неправда? — Энрико остановился около лестницы и окинул Артура испытующим взглядом.

Артур только пожал плечами:

— Конечно, ложь!

— Вот как! Рад это слышать, сынок, обязательно передам Болле ваши слова. Но, знаете, ему сказали, что вы донесли на него... ну, словом, из ревности. Будто вы оба полюбили одну и ту же девушку.

— Это ложь! — произнес Артур быстрым, прерывистым шепотом. Им овладел внезапный, парализующий все силы страх. «Полюбили одну и ту же девушку!.. Ревность!» Как они узнали это? Как они узнали?

— Подождите минутку, сынок! — Энрико остановился в коридоре перед комнатой следователя и прошептал: — Я верю вам. Но скажите мне вот еще что. Я знаю, вы католик. Не говорили ли вы чего-нибудь на исповеди?

— Это ложь! — чуть не задохнувшись, крикнул Артур в третий раз.

Энрико пожал плечами и пошел вперед.

— Конечно, вам лучше знать. Но не вы первый попадаетесь на эту удочку. Сейчас в Пизе подняли большой шум из-за какого-то священника, которого изобличили ваши друзья. Они опубликовали листовку с предупреждением, что это провокатор.

Он отворил дверь в комнату следователя и, видя, что Артур замер на месте, устремив прямо перед собой неподвижный взгляд, легонько подтолкнул его вперед.

— Добрый день, мистер Бертон,— сказал полковник, показывая в любезной улыбке все зубы.— Мне приятно поздравить вас. Из Флоренции прибыл приказ о вашем освобождении. Будьте добры подписать эту бумагу.

Артур подошел к нему.

— Я хочу знать,— сказал он глухим голосом,— кто меня выдал.

Полковник с улыбкой поднял брови:

— Не догадываетесь? Подумайте немного.

Артур покачал головой. Полковник развел руками, учтиво выражая этим свое изумление:

— Неужели не догадываетесь? Да вы же, вы сами, мистер Бертон! Кто же еще мог знать о ваших любовных делах?

Артур молча отвернулся. На стене висело большое деревянное распятие, и глаза юноши медленно поднялись к лицу Христа, но в них была не мольба, а только удивление перед этим покла-

дистым и нерадивым богом, который не поразил громом священника, нарушившего тайну исповеди.

— Будьте добры расписаться в получении ваших документов,— любезно сказал полковник,— и я не буду задерживать вас. Вам, разумеется, хочется скорее добраться до дому, а я тоже очень занят — все вожусь с делом этого сумасброда Боллы, который подверг вашу христианскую кротость такому жестокому испытанию. Его, вероятно, ждет суровый приговор... Всего хорошего!

Артур расписался, взял свои бумаги и вышел, не проронив ни слова. До высоких тюремных ворот он шел следом за Энрико, а потом, даже не попрощавшись с ним, один спустился к каналу, где его ждал перевозчик. В ту минуту, когда он поднимался по каменным ступенькам на улицу, навстречу ему с распростертыми руками бросилась девушка в легком платье и соломенной шляпе:

— Артур! Я так счастлива, так счастлива!

Артур, весь дрожа, отвел руки назад.

— Джим! — проговорил он наконец не своим голосом.— Джим!

— Я ждала здесь целых полчаса. Сказали, что вас выпустят в четыре. Артур, отчего вы так смотрите на меня? Что-нибудь случилось? Что с вами? Подождите!

Он отвернулся и медленно пошел по улице, как бы забыв о Джемме. Испуганная этим, она догнала его и схватила за локоть:

— Артур!

Он остановился и растерянно взглянул на нее. Джемма взяла его под руку, и они пошли рядом, не говоря ни слова.

— Слушайте, дорогой,— начала она мягко,— стоит ли так расстраиваться из-за этого глупого недоразумения? Я знаю, вам пришлось нелегко, но все понимают...

— Из-за какого недоразумения? — спросил он тем же глухим голосом.

— Я говорю о письме Боллы.

При этом имени лицо Артура болезненно исказилось.

— Вы о нем ничего не знали? — продолжала она.— Но ведь вам, наверно, сказали об этом. Болла, должно быть, совсем сумасшедший, если он мог вообразить такую нелепость.

— Какую нелепость?

— Так вы ничего не знаете? Он написал, что вы рассказали о пароходах и подвели его под арест. Какая нелепость! Это ясно каждому. Поверили только те, кто совершенно вас не знает. Потому-то я и пришла сюда: мне хотелось сказать вам, что в нашей группе не верят ни одному слову в этом письме.

— Джемма! Но это... это правда!

Она медленно отступила от него, широко раскрыв потемнев-

шие от ужаса глаза. Лицо ее стало таким же белым, как шарф на шее. Ледяная волна молчания отгородила их от шума и движения улицы.

— Да,— прошептал он наконец.— Пароходы... я говорил о них и назвал имя Боллы. Боже мой! Боже мой! Что мне делать?

И вдруг он пришел в себя и осознал, кто стоит перед ним, в смертельном ужасе глядя на него. Она, наверно, думает...

— Джемма, вы меня не поняли! — крикнул Артур, шагнув к ней.

Она отшатнулась от него, пронзительно крикнув:

— Не прикасайтесь ко мне!

Артур с неожиданной силой схватил ее за руку:

— Выслушайте, ради бога!.. Я не виноват... я...

— Оставьте меня! Оставьте!

Она вырвала свои пальцы из его рук и ударила его по щеке.

Глаза Артура застлал туман. Одно мгновение он ничего не видел перед собой, кроме бледного, полного отчаяния лица Джеммы и ее руки, которую она вытирала о платье. Затем туман рассеялся... Он осмотрелся и увидел, что стоит один.

Глава VII

Давно уже стемнело, когда Артур позвонил у двери особняка на Виа-Борра. Он помнил, что скитался по городу, но где, почему, сколько времени это продолжалось? Лакей Джули, зевая, открыл ему дверь и многозначительно ухмыльнулся при виде его осунувшегося, словно окаменевшего лица. Лакею показалось очень забавным, что молодой хозяин возвращается из тюрьмы, точно пьяный, беспутный бродяга. Артур поднялся по лестнице. В первом этаже он столкнулся с Гиббонсом, который шел ему навстречу с видом надменным и неодобрительным. Артур пробормотал: «Добрый вечер»,— и хотел проскользнуть мимо. Но трудно было миновать Гиббонса, когда Гиббонс этого не хотел.

— Господ нет дома, сэр,— сказал он, окидывая критическим оком грязное платье и растрепанные волосы Артура.— Они ушли в гости и раньше двенадцати не возвратятся.

Артур посмотрел на часы. Было только девять. Да! Времени у него достаточно, больше чем достаточно...

— Миссис Бертон приказала спросить, не хотите ли вы ужинать, сэр. Она надеется увидеть вас, прежде чем вы ляжете спать, так как ей нужно сегодня же переговорить с вами.

— Благодарю вас, ужинать я не хочу. Передайте миссис Бертон, что я не буду ложиться.

Он вошел в свою комнату. В ней ничего не изменилось со дня

его ареста. Портрет Монтанелли по-прежнему лежал на столе, распятие стояло в алькове. Артур на мгновение остановился на пороге, прислушиваясь. В доме тихо, никто не придет, не помешает ему. Он осторожно вошел в комнату и запер за собой дверь.

Итак, всему конец. Не о чем больше раздумывать, не из-за чего волноваться. Заглушить в себе ненужные назойливые мысли, и все. Но как это глупо, нелепо!

Ему не надо было решать, лишить себя жизни или нет, он даже не особенно думал об этом: такой конец казался бесспорным и неизбежным. Он еще не знал, какую смерть избрать себе. Все сводилось к тому, чтобы сделать это быстро — и забыться. Под руками у него не было никакого оружия, даже перочинного ножа не оказалось. Но это не имело значения: достаточно полотенца или простыни, разорванной на куски.

Он увидел над окном большой гвоздь. Вот и хорошо. Но выдержит ли гвоздь тяжесть его тела! Он подставил к окну стул. Нет! Ненадежно. Он слез со стула, достал из ящика молоток, забил им гвоздь и хотел уже сдернуть с постели простыню, как вдруг вспомнил, что не прочел молитвы. Ведь нужно помолиться перед смертью, так поступает каждый христианин...

Он вошел в альков и опустился на колени перед распятием.

— Отче всемогущий и милостивый...— громко произнес он и остановился, не прибавив больше ни слова. Мир стал таким тусклым, что он не знал, за что молиться, от чего оберегать себя молитвами. Да разве Христу ведомы такие страдания? Ведь его только предали, как Боллу, а ловушек ему никто не расставлял, и он не был предателем!

Артур поднялся, перекрестившись по старой привычке. Потом подошел к столу и увидел письмо Монтанелли, написанное карандашом:

Дорогой мой мальчик! Я в отчаянии, что не могу повидаться с тобой в день твоего освобождения. Меня позвали к умирающему. Вернусь поздно ночью. Приходи ко мне завтра пораньше. Очень спешу. Л. М.

Артур со вздохом положил письмо. Padre будет тяжело перенести это.

А как смеялись и болтали люди на улицах!.. Ничто не изменилось с того дня, когда он был еще полон жизни. Ни одна из повседневных мелочей не стала иной оттого, что человеческая душа, живая человеческая душа, искалечена насмерть. Все это было и раньше. Струилась вода фонтанов, чирикали воробьи под навесами крыш; так они чирикали вчера, так будут чирикать завтра. А он... он мертв.

Артур опустился на край кровати, скрестив руки на ее спинке, и положил на них голову. Времени еще много — а у него так болит голова, болит самый мозг... и все это так глупо, так бессмысленно...

У наружной двери резко прозвенел звонок. Артур вскочил, задыхаясь от ужаса, и поднес руки к горлу. Они вернулись, а он сидит тут и предается раздумьям! Драгоценное время упущено, и теперь ему придется увидеть их лица, услышать жестокие, издевательские слова. Если бы под руками был нож!

Он в отчаянии оглядел комнату. В шифоньерке стояла рабочая корзинка его матери. Там должны быть ножницы. Он вскроет вену. Нет, простыня и гвоздь вернее... только бы хватило времени.

Он сдернул с постели простыню и с лихорадочной быстротой начал отрывать от нее полосу. На лестнице раздались шаги. Нет, полоса слишком широка: не затянется — ведь нужно сделать петлю. Он спешил — шаги приближались. Кровь стучала у него в висках, гулко била в уши. Скорей, скорей! О боже, только бы пять минут!

В дверь постучали. Обрывок простыни выпал у него из рук, и он замер, затаив дыхание, прислушиваясь. Кто-то тронул снаружи ручку двери; послышался голос Джули:

— Артур!

Он встал, тяжело дыша.

— Артур, открой дверь, мы ждем.

Он схватил разорванную простыню, сунул ее в ящик комода и торопливо оправил постель.

— Артур! — Это был голос Джеймса. Он с нетерпением дергал ручку.— Ты спишь?

Артур бросил взгляд по сторонам, убедился, что все в порядке, и отпер дверь.

— Мне кажется, Артур, ты мог бы исполнить мою просьбу и дождаться нашего прихода! — сказала взбешенная Джули, влетая в комнату.— По-твоему, так и следует, чтобы мы полчаса стояли за дверью?

— Четыре минуты, моя дорогая,— кротко поправил жену Джеймс, входя следом за розовым атласным шлейфом.— Я полагаю, Артур, что было бы куда приличнее...

— Что вам нужно? — прервал его юноша.

Он стоял, держась за дверную ручку, и, словно затравленный зверь, переводил взгляд с брата на Джули. Но Джеймс был слишком туп, а Джули слишком разгневана, чтобы заметить этот взгляд.

Мистер Бертон подставил жене стул и сел сам, аккуратно подтянув на коленях новые брюки.

— Мы с Джули,— начал он,— считаем своим долгом серьезно поговорить с тобой...

— Сейчас я не могу выслушать вас. Мне... мне нехорошо. У меня болит голова... Вам придется подождать.

Артур выговорил это странным, глухим голосом, то и дело запинаясь.

Джеймс с удивлением взглянул на него.

— Что с тобой? — спросил он тревожно, вспомнив, что Артур пришел из очага заразы.— Надеюсь, ты не болен? По-моему, у тебя лихорадка.

— Пустяки! — резко оборвала его Джули.— Обычное комедиантство. Просто ему стыдно смотреть нам в глаза... Поди сюда, Артур, и сядь.

Артур медленно прошел по комнате и опустился на край кровати.

— Да? — произнес он устало.

Мистер Бертон откашлялся, пригладил и без того гладкую бороду и снова начал заранее подготовленную речь:

— Я считаю своим долгом... своим тяжким долгом поговорить с тобой о твоем весьма странном поведении и о твоих связях с... нарушителями закона, с бунтовщиками, с людьми сомнительной репутации. Я полагаю, что тобой руководило скорее легкомыслие, чем испорченность...— Он остановился.

— Да? — снова сказал Артур.

— Так вот, я не хочу быть чрезмерно строгим,— продолжал Джеймс, невольно смягчаясь при виде той усталой безнадежности, которая чувствовалась в Артуре.— Я готов допустить, что тебя совратили дурные товарищи, и охотно принимаю во внимание твою молодость, неопытность, легкомыслие и... и впечатлительность, которую, боюсь, ты унаследовал от матери.

Артур медленно перевел глаза на портрет матери, но продолжал молчать.

— Но ты, конечно, поймешь,— опять начал Джеймс,— что я не могу держать в своем доме человека, который обесчестил наше имя, пользовавшееся таким уважением.

— Да? — повторил еще раз Артур.

— Как! — крикнула Джули, с треском складывая свой веер и бросая его себе на колени.— Тебе нечего больше сказать, кроме этого «да»?!

— Вы поступите так, как сочтете нужным,— медленно ответил Артур, не двигаясь с места.— Мне все равно.

— Тебе все равно? — повторил Джеймс, пораженный этим ответом, а его жена со смехом поднялась со стула.

— Так тебе все равно!.. Ну, Джеймс, я надеюсь, теперь ты понимаешь, что благодарности нам ждать не приходится. Я предчувствовала, к чему приведет снисходительность к католическим авантюристкам и к их...

— Тише, тише! Не надо об этом, милая.

— Глупости, Джеймс! Мы слишком долго сентиментальничали! И с кем — с каким-то незаконнорожденным ребенком, втершимся в нашу семью! Пусть знает, кто была его мать! Почему мы должны заботиться о сыне любовницы католического священника? Вот — читай!

Она вынула из кармана помятый листок бумаги и швырнула его через стол Артуру. Он развернул листок и узнал почерк матери. Как показывала дата, письмо было написано за четыре месяца до его рождения. Это было признание, обращенное к мужу. Внизу стояли две подписи.

Артур медленно переводил глаза со строки на строку, пока не дошел до конца страницы, где после нетвердых букв, написанных рукой матери, стояла знакомая уверенная подпись: «Лоренцо Монтанелли». Несколько минут он смотрел на нее. Потом, не сказав ни слова, сложил листок и опустил его на стол.

Джеймс поднялся и взял жену за руку:

— Ну, Джули, довольно, иди вниз. Уже поздно, а мне нужно переговорить с Артуром о делах, для тебя неинтересных.

Джули взглянула на мужа, потом на Артура, который молчал, опустив глаза.

— Он точно потерял рассудок,— пробормотала она.

Когда Джули, подобрав шлейф, вышла из комнаты, Джеймс старательно затворил за ней дверь и вернулся к столу.

Артур сидел, как и раньше, не двигаясь и не говоря ни слова.

— Артур,— начал Джеймс более мягко, так как Джули уже не могла слышать его,— очень жаль, что тайна вышла наружу. Ты мог бы и не знать этого. Но ничего не поделаешь. Мне приятно видеть, что ты держишься с таким самообладанием. Джули немного разволновалась... Женщины часто... Ну, оставим это. Я не хочу быть чрезмерно строгим...

Он замолчал, проверяя, какое впечатление произвела на Артура его мягкость, но Артур оставался по-прежнему неподвижным.

— Конечно, дорогой мой, это весьма печальная история,— продолжал Джеймс после паузы,— и самое лучшее не говорить о ней. Мой отец был настолько великодушен, что не развелся с твоей матерью, когда она призналась ему в своем падении. Он только потребовал, чтобы человек, совративший ее, сейчас же оставил Италию. Как ты знаешь, он отправился миссионером

в Китай. Я был против того, чтобы ты встречался с ним, когда он вернулся. Но мой отец все-таки разрешил ему заниматься с тобой, поставив единственным условием, чтобы он не пытался видеться с твоей матерью. Надо отдать им должное — по-моему, они до конца оставались верны этому условию. Все это очень прискорбно, но...

Артур поднял голову. Его лицо было безжизненно, это была восковая маска.

— Не кажется ли в-вам,— проговорил он тихо и почему-то заикаясь,— что все это у-ди-ви-тельно забавно?

— З а б а в н о? — Джеймс вместе со стулом отодвинулся от стола и, даже забыв рассердиться, в изумлении посмотрел на Артура.— Забавно? Артур! Ты сошел с ума!

Артур вдруг запрокинул голову и разразился неистовым хохотом.

— Артур! — воскликнул судовладелец, с достоинством поднимаясь со стула.— Твое легкомыслие меня изумляет.

Вместо ответа послышался новый взрыв хохота, настолько безудержного, что Джеймс начал сомневаться, не было ли тут чего-нибудь более серьезного, чем простое легкомыслие.

— Точно истеричная девица,— пробормотал он и, презрительно передернув плечами, нетерпеливо зашагал взад и вперед по комнате.— Право, Артур, ты хуже Джули. Перестань смеяться! Не могу же я сидеть здесь целую ночь!

С таким же успехом он мог бы обратиться к распятию и попросить его сойти с пьедестала. Артур был глух к увещаниям. Он смеялся, смеялся, смеялся без конца.

— Это дико,— проговорил Джеймс, остановившись.— Ты, очевидно, слишком взволнован и не можешь рассуждать здраво. В таком случае, я не стану говорить с тобой о делах. Зайди ко мне утром после завтрака. А сейчас ложись лучше спать. Спокойной ночи!

Джеймс вышел, хлопнув дверью.

— Теперь предстоит сцена внизу,— бормотал он, тяжелыми шагами спускаясь вниз по лестнице.— И, полагаю, с истерикой.

Безумный смех замер на губах Артура. Он схватил со стола молоток и кинулся к распятию.

После первого же удара он пришел в себя. Перед ним стоял пустой пьедестал, молоток был еще у него в руках. Обломки разбитого распятия валялись на полу у его ног. Артур швырнул молоток в сторону.

— Только и всего! — сказал он и отвернулся.— Какой я идиот!

Задыхаясь, он опустился на стул и сжал виски руками. Потом встал, подошел к умывальнику и вылил себе на голову кувшин холодной воды. Немного успокоившись, он вернулся на прежнее место и задумался.

Из-за этих-то лживых, рабских душонок, из-за этих немых и бездушных богов он вытерпел все муки стыда, гнева и отчаяния! Приготовил петлю, думал повеситься, потому что один служитель церкви оказался лжецом. Как будто не все они лгут! Довольно, с этим покончено! Теперь он станет умнее. Нужно только стряхнуть с себя эту грязь и начать новую жизнь.

В доках немало торговых судов; разве трудно спрятаться на одном из них и уехать куда глаза глядят — в Канаду, в Австралию, в Южную Африку! Неважно, куда ехать, лишь бы подальше отсюда. Не понравится в одном месте — можно будет перебраться в другое.

Он вынул кошелек. Только тридцать три паоло*. Но у него есть еще дорогие часы. Их можно будет продать. И вообще это неважно: лишь бы продержаться первое время. Но эти люди начнут искать его, станут расспрашивать о нем в доках. Нет, надо навести их на ложный след. Пусть думают, что он умер. И тогда он свободен, совершенно свободен. Артур тихо засмеялся, представив себе, как Бертоны будут разыскивать его тело. Какая комедия!

Он взял листок бумаги и написал первое, что пришло в голову:

Я верил в вас, как в бога. Но бог — это глиняный идол, который можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь.

Он сложил листок, адресовал его Монтанелли и, взяв другой, написал:

Ищите мое тело в Дарсене.

Потом надел шляпу и вышел из комнаты. Проходя мимо портрета матери, он посмотрел на него, усмехнулся и пожал плечами. Она ведь тоже лгала ему!

Он неслышно прошел по коридору, отодвинул засов у двери и очутился на широкой мраморной лестнице, отзывавшейся эхом на каждый шорох. Она зияла у него под ногами, словно черная яма.

Он перешел двор, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить Джиана Баттисту, который спал в нижнем этаже. В дровяном сарае, стоявшем в конце двора, было решетчатое окошко. Оно смотрело на канал и приходилось над землей на уровне примерно четырех футов. Артур вспомнил, что ржавая

решетка с одной стороны поломана. Легким толчком можно будет расширить отверстие настолько, чтобы пролезть в него.

Однако решетка оказалась прочной. Он исцарапал себе руки и порвал рукав. Но это пустяки. Он оглядел улицу — на ней никого не было. Черный безмолвный канал уродливой щелью тянулся между отвесными скользкими стенами. Беспросветной ямой мог оказаться неведомый мир, но вряд ли в нем будет столько пошлости и грязи, сколько остается позади. Не о чем пожалеть, не на что оглянуться. Жалкий мирок, полный низкой лжи и грубого обмана, стоячее болото, такое мелкое, что в нем нельзя даже утонуть.

Артур пошел вдоль канала, потом свернул на маленькую площадь у дворца Медичи*. Здесь Джемма подбежала к нему, с такой живостью протянув ему руки. Вот мокрые каменные ступеньки, что ведут к воде. А вот и крепость хмурится по ту сторону грязного канала. Он и не подозревал до сих пор, что она такая приземистая, грозная.

По узким улицам он добрался до Дарсены, снял шляпу и бросил ее в воду. Шляпу, конечно, найдут, когда будут искать труп. Он шел по берегу, с трудом соображая, что же делать дальше. Нужно пробраться на какое-нибудь судно. Сделать это нелегко. Единственное, что можно придумать,— это выйти к громадному старому молу Медичи. В дальнем конце его есть захудалая таверна. Может быть, посчастливится встретить там какого-нибудь матроса и подкупить его.

Ворота дока были заперты. Как же пройти туда, как миновать таможенных чиновников? С такими деньгами нечего и думать дать взятку за пропуск ночью, да еще без паспорта. К тому же его могут узнать.

Когда он проходил мимо бронзового памятника Четырех Мавров*, из старого дома на противоположной стороне вышел какой-то человек. Он приближался к мосту. Артур скользнул в густую тень памятника и, прижавшись к нему в темноте, осторожно выглянул из-за пьедестала.

Была весенняя ночь, теплая и звездная. Вода плескалась о каменный мол и с тихим, похожим на смех журчанием подбегала к ступенькам. Где-то вблизи, медленно качаясь, скрипела цепь. Громадный подъемный кран уныло торчал в темноте. Под блещущим звездами небом, подернутым жемчужными облаками, чернели силуэты четырех закованных рабов, тщетно пытающихся одолеть свою жестокую судьбу.

Человек брел по берегу нетвердыми шагами, распевая во все горло уличную английскую песню. Это был, очевидно, матрос, возвращавшийся из таверны после попойки. Кругом никого не было. Когда он подошел поближе, Артур вышел на середину

дороги. Матрос, выругавшись, оборвал свою песню и остановился.

— Мне нужно с вами поговорить,— сказал Артур по-итальянски.— Вы понимаете меня?

Матрос покачал головой:

— Ни слова не разбираю из твоей тарабарщины.— И затем, перейдя вдруг на ломаный французский, сердито спросил: — Что тебе от меня нужно? Что ты стал поперек дороги?

— Отойдемте на минутку в сторону. Мне нужно с вами поговорить.

— Еще чего! Отойти в сторону! При тебе нож?

— Нет, нет, что вы! Разве вы не видите, что мне нужна ваша помощь? Я вам заплачу.

— Ишь ты! А разоделся-то каким франтом! — проворчал матрос по-английски и, отойдя в тень, прислонился к ограде памятника.— Ну? — заговорил он опять на своем ужасном французском языке.— Что же тебе нужно?

— Мне нужно уехать отсюда.

— Вот оно что! Зайцем! Хочешь, чтобы я тебя спрятал? Натворил каких-нибудь дел? Зарезал кого-нибудь? Иностранцы все такие. Куда же ты собираешься бежать? Уж, верно, не в полицейский участок? — Он засмеялся пьяным смехом и подмигнул Артуру.

— С какого вы судна?

— С «Карлотты». Ходит из Ливорно в Буэнос-Айрес. В одну сторону перевозит масло, в другую — кожи. Вон она! — И матрос ткнул пальцем в сторону мола.— Отвратительная старая посудина.

— Буэнос-Айрес! Спрячьте меня где-нибудь на вашем судне.

— А сколько дашь?

— Не очень много. У меня всего несколько паоло.

— Нет. Меньше пятидесяти не возьму. И то дешево для такого франта, как ты.

— Какой там франт! Если вам приглянулось мое платье, можете поменяться со мной. Не могу же я вам дать больше того, что у меня есть.

— А ты, наверно, при часах? Давай-ка их сюда.

Артур вынул дамские золотые часы с эмалью, с тонкой гравировкой и с инициалами «Г. Б.» на задней крышке. Это были часы его матери. Но какое это имело значение теперь?

— А! — воскликнул матрос, быстро оглядывая их.— Краденые, конечно? Дай посмотреть!

Артур отдернул руку.

— Нет,— сказал он.— Я отдам вам эти часы, когда мы будем на судне, не раньше.

— Оказывается, ты не дурак! Но, наверно, первый раз попал в беду? Так, что ли?

— Это мое дело. Смотрите: сторож!

Они спрятались за памятником и переждали, пока сторож пройдет. Потом матрос поднялся, велел Артуру следовать за собой и пошел вперед, глупо посмеиваясь. Артур молча шагал сзади.

Матрос вывел его снова на маленькую, неправильной формы площадь у дворца Медичи, остановился в темном углу и пробубнил, полагая, очевидно, что это и есть осторожный шепот:

— Подожди тут, а то тебя солдаты увидят.

— Что вы хотите делать?

— Раздобуду кое-какое платье. Не брать же тебя на борт с окровавленным рукавом.

Артур взглянул на свой рукав, разорванный о решетку окна. В него впиталась кровь с поцарапанной руки. Очевидно, этот человек считает его убийцей. Ну что ж! Не так уж теперь важно, что о нем думают!

Матрос вскоре вернулся. Вид у него был торжествующий, он нес под мышкой узел.

— Переоденься,— прошептал он,— только поскорее. Мне надо возвращаться на корабль, а старьевщик торговался, задержал меня на полчаса.

Артур стал переодеваться, с дрожью отвращения касаясь поношенного платья. По счастью, оно, хотя и грубое, оказалось более или менее чистым. Когда он вышел на свет, матрос посмотрел на него и с пьяной важностью кивнул головой в знак одобрения.

— Сойдет,— сказал он.— Пошли! Только тише!

Захватив скинутое платье, Артур пошел следом за матросом через лабиринт извилистых каналов и темных, узких переулков тех средневековых трущоб, которые жители Ливорно называют «Новой Венецией». Среди убогих лачуг и грязных дворов кое-где одиноко высились мрачные старые дворцы, тщетно пытавшиеся сохранить свою древнюю величавость. В некоторых переулках были притоны воров, убийц и контрабандистов; в других ютилась беднота.

Матрос остановился у маленького мостика и, осмотревшись по сторонам, не следят ли за ними, спустился по каменным ступенькам к узкой пристани. Под мостом покачивалась старая, грязная лодка. Он грубо приказал Артуру прыгнуть в нее и лечь на дно, а сам сел на весла и начал грести к гавани. Артур лежал не шевелясь на мокрых, скользких досках, под одеждой, которую набросил на него матрос, и украдкой смотрел на знакомые дома и улицы.

Лодка прошла под мостом и очутилась в той части канала, над которой стояла крепость. Массивные стены, широкие в основании и переходящие вверху в узкие мрачные башни, вздымались над водой. Какими могучими, какими грозными казались они ему несколько часов назад! А теперь... Он тихо засмеялся, лежа на дне лодки.

— Молчи! — буркнул матрос.— Укройся. Мы у таможни.

Артур укрылся с головой. Но вот лодка остановилась перед скованными цепью мачтами, которые лежали поперек канала, загораживая узкий проход между таможней и крепостью. Из таможни вышел сонный чиновник с фонарем и, зевая, нагнулся над водой:

— Предъявите пропуск.

Матрос сунул ему свои документы. Артур, стараясь не дышать в духоте под одеждой, прислушивался к их разговору.

— Нечего сказать, самое время возвращаться на судно,— ворчал чиновник.— С кутежа, наверно? Что у тебя в лодке?

— Старое платье. Купил по дешевке.

С этими словами он подал для осмотра жилет Артура. Чиновник опустил фонарь и нагнулся, напрягая зрение:

— Ладно. Проходи.

Он поднял перекладину, и лодка тихо поплыла дальше, покачиваясь на темной воде. Выждав немного, Артур сел и сбросил укрывавшее его платье.

— Вот он, мой корабль,— шепотом проговорил наконец матрос.— Иди следом за мной и, главное, молчи.

Он вскарабкался на палубу громоздкого темного чудовища, поругивая тихонько «неуклюжую сухопутную публику», хотя Артур, всегда отличавшийся ловкостью, меньше чем кто-либо заслуживал такой упрек. Поднявшись на корабль, они осторожно пробрались меж темных снастей и блоков и наконец подошли к люку. Матрос тихонько приподнял крышку.

— Полезай вниз! — прошептал он.— Я сейчас вернусь.

В трюме было не только сыро и темно, но и невыносимо душно. Артур невольно попятился, задыхаясь от запаха сырых кож и прогорклого масла. Но тут ему припомнился карцер, и, пожав плечами, он опустился по ступенькам. Видимо, жизнь повсюду одинакова: грязь, мерзость, постыдные тайны, темные закоулки. Но жизнь есть жизнь, и надо брать от нее все, что можно. Скоро матрос вернулся, неся что-то в руках,— что именно, Артур не разглядел.

— Теперь давай деньги и часы. Живо!

Артур воспользовался темнотой и оставил себе несколько монет.

— Принесите мне чего-нибудь поесть,— сказал он.— Я очень голоден.

— Принес. Вот, держи.

Матрос передал ему кувшин, несколько твердых, как камень, сухарей и кусок солонины.

— Теперь вот что. Завтра поутру придут для осмотра таможенные чиновники. Спрячься в пустой бочке. Лежи тихо, как мышь, пока мы не выйдем в открытое море. Я скажу, когда можно будет вылезть. А попадешься на глаза капитану — пеняй на себя. Ну, все! Питье не прольешь? Спокойной ночи.

Люк закрылся. Артур осторожно поставил кувшин с драгоценной водой и, присев у пустой бочки, принялся за солонину и сухари. Потом лег на грязный пол и в первый раз с младенческих лет заснул, не помолившись. В темноте вокруг него бегали крысы. Но ни их неугомонный писк, ни покачивание корабля, ни тошнотворный запах масла, ни ожидание неминуемой морской болезни — ничто не могло потревожить сон Артура. Все это не беспокоило его больше, как не беспокоили его теперь и разбитые, развенчанные идолы, которым он еще вчера поклонялся.

Часть вторая

ТРИНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Глава I

В один из июльских вечеров 1846 года во Флоренции, в доме профессора Фабрицци, собралось несколько человек, чтобы обсудить план предстоящей политической работы.

Некоторые из них принадлежали к партии Мадзини и не мирились на меньшем, чем демократическая республика и объединенная Италия. Другие были сторонники конституционной монархии и либералы разных оттенков. Но все сходились в одном— в недовольстве тосканской цензурой. Известный профессор Фабрицци созвал собрание в надежде, что, может быть, хоть этот вопрос представители различных партий смогут обсудить без особых препирательств.

Прошло только две недели, с тех пор как папа Пий IX, взойдя на престол, даровал столь нашумевшую амнистию политическим преступникам в Папской области, но волна либерального восторга, вызванная этим событием, уже катилась по всей Италии. В Тоскане папская амнистия оказала воздействие даже на правительство.

Профессор Фабрицци и еще кое-кто из лидеров политических партий во Флоренции сочли момент наиболее благоприятным, для того чтобы добиться проведения реформы законов о печати.

— Конечно,— заметил драматург Лега, когда ему сказали об этом,— невозможно приступать к изданию газеты до изменения нынешних законов о печати. Надо задержать первый номер. Но, может быть, нам удастся провести через цензуру несколько памфлетов. Чем раньше мы это сделаем, тем скорее добьемся изменения закона.

Сидя в библиотеке Фабрицци, он излагал свою точку зрения относительно той позиции, какую должны были, по его мнению, занять теперь писатели-либералы.

— Само собой разумеется, что мы обязаны использовать момент,— заговорил тягучим голосом один из присутствующих, седовласый адвокат.— В другой раз уже не будет таких благоприятных условий для проведения серьезных реформ. Но едва ли памфлеты окажут благотворное действие. Они только ожесточат и напугают правительство и уж ни в коем случае не расположат его в нашу пользу. А ведь именно этого мы добиваемся. Если власти составят о нас представление как об опасных агитаторах, нам нечего будет рассчитывать на содействие с их стороны.

— В таком случае, что же вы предлагаете?

— Петицию.

— Великому герцогу?*

— Да, петицию о расширении свободы печати.

Сидевший у окна брюнет с живым, умным лицом засмеялся, оглянувшись на него.

— Многого вы добьетесь петициями! — сказал он.— Мне казалось, что дело Ренци* излечило вас от подобных иллюзий.

— Синьор! Я не меньше вас огорчен тем, что нам не удалось помешать выдаче Ренци. Мне не хочется обижать присутствующих, но все-таки я не могу не отметить, что мы потерпели неудачу в этом деле главным образом вследствие нетерпеливости и горячности кое-кого из нас. Я, конечно, не решился бы...

— Нерешительность — отличительная черта всех пьемонтцев,— резко прервал его брюнет.— Не знаю, где вы обнаружили нетерпеливость и горячность. Уж не в тех ли осторожных петициях, которые мы посылали одну за другой? Может быть, это

называется горячностью в Тоскане и Пьемонте, но никак не у нас в Неаполе.

— К счастью,— заметил пьемонтец,— неаполитанская горячность присуща только Неаполю.

— Перестаньте, господа! — вмешался профессор.— Хороши по-своему и неаполитанские нравы и пьемонтские. Но сейчас мы в Тоскане, а тосканский обычай велит не отвлекаться от сути дела. Грассини голосует за петицию, Галли — против. А что скажете вы, доктор Риккардо?

— Я не вижу ничего плохого в петиции, и если Грассини составит ее, я подпишусь с большим удовольствием. Но мне все-таки думается, что одними петициями многого не достигнешь. Почему бы нам не прибегнуть и к петициям и к памфлетам?

— Да просто потому, что памфлеты восстановят правительство против нас и оно не посчитается с нашими петициями,— сказал Грассини.

— Оно и так не посчитается.— Неаполитанец встал и подошел к столу.— Вы на ложном пути, господа! Умиротворять правительство бесполезно. Нужно поднять народ.

— Это легче сказать, чем сделать. С чего вы начнете?

— Смешно задавать Галли такие вопросы. Конечно, он начнет с того, что хватит цензора по голове.

— Вовсе нет,— спокойно сказал Галли.— Вы думаете, если уж перед вами южанин, значит, у него не найдется других аргументов, кроме ножа?

— Что же вы предлагаете?.. Тише, господа, тише! Галли хочет внести предложение.

Все те, кто до сих пор спорил в разных углах группами по два, по три человека, собрались вокруг стола послушать Галли. Но он протестующе поднял руки:

— Нет, господа, это не предложение, а просто мне пришла в голову одна мысль. Я считаю, что во всех этих ликованиях по поводу нового папы кроется серьезная опасность. Он взял новый политический курс, даровал амнистию, и многие выводят отсюда, что нам всем — всем без исключения, всей Италии — следует броситься в объятия святого отца и предоставить ему вести нас в землю обетованную. Лично я восхищаюсь папой не меньше других. Амнистия — блестящий ход!

— Его святейшество, конечно, сочтет себя польщенным...— презрительно начал Грассини.

— Перестаньте, Грассини! Дайте ему высказаться! — прервал его, в свою очередь, Риккардо.— Удивительная вещь! Вы с Галли никак не можете удержаться от пререканий. Как кошка с собакой... Продолжайте, Галли!

— Я вот что хотел сказать,— снова начал неаполитанец.—

Святой отец действует, несомненно, с наилучшими намерениями. Другой вопрос — насколько широко удастся ему провести реформы. Теперь все идет гладко. Реакционеры по всей Италии месяц-другой будут сидеть спокойно, пока не спадет волна ликования, поднятая амнистией. Но маловероятно, чтобы они без борьбы выпустили власть из своих рук. Мое личное мнение таково, что в середине зимы иезуиты*, григорианцы*, санфедисты* и вся остальная клика начнут строить новые козни и интриги и отправят на тот свет всех, кого нельзя подкупить.

— Это очень похоже на правду.

— Так вот, будем ли мы смиренно посылать одну петицию за другой и дожидаться, пока Ламбрускини* и его свора не убедят великого герцога отдать нас во власть иезуитов да еще призвать австрийских гусар наблюдать за порядком на улицах, или мы предупредим их и воспользуемся временным замешательством, чтобы первыми нанести удар?

— Скажите нам прежде всего, о каком ударе вы говорите.

— Я предложил бы начать организованную пропаганду и агитацию против иезуитов.

— Но ведь фактически это будет объявлением войны.

— Да. Мы будем разоблачать их интриги, раскрывать их тайны и обратимся к народу с призывом подняться на борьбу с иезуитами.

— Но ведь здесь некого изобличать!

— Некого? Подождите месяца три, и вы увидите, сколько здесь будет этих иезуитов. Тогда от них не отделаешься.

— Да. Но ведь вы знаете, для того чтобы восстановить городское население против иезуитов, придется говорить открыто. А если так, каким образом вы минуете цензуру?

— Я ее не миную. Я просто перестану с ней считаться.

— Значит, вы будете выпускать памфлеты анонимно? Все это очень хорошо, но мы уже имели дело с подпольными типографиями и знаем, как...

— Нет! Я предлагаю печатать памфлеты открыто, за нашей подписью и с указанием наших адресов. Пусть преследуют, если у них хватит смелости.

— Совершенно безумный проект! — воскликнул Грассини.— Это значит — из молодечества класть голову в львиную пасть.

— Ну, вам бояться нечего! — отрезал Галли.— Мы не просим вас сидеть в тюрьме за наши грехи.

— Воздержитесь от резкостей, Галли! — сказал Риккардо.— Тут речь идет не о боязни. Мы так же, как и вы, готовы сесть в тюрьму, если это поможет нашему делу. Но подвергать себя опасности по пустякам — чистое ребячество. Я лично хотел бы внести поправку к высказанному предложению.

— Какую?

— Мне кажется, можно выработать такой способ борьбы с иезуитами, который избавит нас от столкновений с цензурой.

— Не понимаю, как вы это устроите.

— Надо облечь наши высказывания в такую форму, так их завуалировать, чтобы...

— ...не понял цензор? Но неужели вы рассчитываете, что какой-нибудь невежественный ремесленник или рабочий докопается до истинного смысла ваших писаний? Это ни с чем не сообразно.

— Мартини, что вы скажете? — спросил профессор, обращаясь к сидевшему возле него широкоплечему человеку с большой темной бородой.

— Я подожду высказывать свое мнение. У меня еще мало фактов. Надо проделать ряд опытов, тогда будет видно.

— А вы, Саккони?

— Мне бы хотелось услышать, что скажет синьора Болла. Ее соображения всегда так ценны.

Все обернулись в сторону единственной в комнате женщины, которая сидела на диване, опершись подбородком на руку, и молча слушала прения. У нее были серьезные черные глаза, но сейчас в них мелькнул насмешливый огонек.

— Боюсь, что я разойдусь с вами во мнениях,— сказала она.

— Обычная история,— вставил Риккардо,— но хуже всего то, что вы всегда оказываетесь правы.

— Я совершенно согласна, что нам необходимо так или иначе бороться с иезуитами. Не удастся одним оружием, надо прибегнуть к другому. Но бросить им вызов — недостаточно, уклончивая тактика затруднительна. Ну, а петиции — просто детские игрушки.

— Надеюсь, синьора,— с чрезвычайно серьезным видом сказал Грассини, вы не предложите нам таких методов, как убийство?

Мартини дернул себя за ус, а Галли, не стесняясь, рассмеялся. Даже серьезная молодая женщина не могла удержаться от улыбки.

— Поверьте,— сказала она,— что если б я и была столь кровожадна, то у меня, во всяком случае, хватило бы здравого смысла молчать об этом — я не ребенок. Самое смертоносное оружие, какое я знаю,— это смех. Если нам удастся жестоко высмеять иезуитов, заставить народ хохотать над ними и их притязаниями, мы одержим победу без кровопролития.

— Думаю, что вы правы,— сказал Фабрицци.— Но не понимаю, как вы это осуществите.

— Почему вам кажется, что нам не удастся это осущест-

вить? — спросил Мартини.— Сатира скорее пройдет через цензуру, чем серьезная статья. Если придется писать иносказательно, то неискушенному читателю легче будет раскусить двойной смысл безобидной на первый взгляд шутки, чем содержание научного или экономического очерка.

— Итак, синьора, вы того мнения, что нам следует издавать сатирические памфлеты или сатирическую газету? Могу смело сказать: последнее цензура никогда не пропустит.

— Я имею в виду нечто иное. По-моему, было бы очень полезно выпускать и продавать по дешевой цене или даже распространять бесплатно небольшие сатирические листки в стихах или в прозе. Если бы нам удалось найти хорошего художника, который понял бы нашу идею, мы могли бы выпускать эти листки с иллюстрациями.

— Великолепная идея, если только она осуществима. Раз уж браться за такое дело, надо делать его хорошо. Нам нужен первоклассный сатирик. А где его взять?

— Вы отлично знаете,— прибавил Лега,— что большинство из нас — серьезные писатели. Как ни уважаю я всех присутствующих, но боюсь, что в качестве юмористов мы будем напоминать слона, танцующего тарантеллу.

— Я отнюдь не говорю, что мы должны взяться за работу, которая нам не по плечу. Надо найти талантливого сатирика, а такой, вероятно, есть в Италии, и изыскать необходимые средства. Разумеется, мы должны знать этого человека и быть уверены, что он будет работать в нужном нам направлении.

— Но где его достать? Я могу пересчитать по пальцам всех более или менее талантливых сатириков, но их не привлечешь. Джусти* не согласится — он и так слишком занят. Есть один или два подходящих писателя в Ломбардии, но они пишут на миланском диалекте*.

— И кроме того,— сказал Грассини,— на тосканский народ можно воздействовать более почтенными средствами. Мы обнаружим по меньшей мере отсутствие политического такта, если будем трактовать серьезный вопрос о гражданской и религиозной свободе в шуточной форме. Флоренция не город фабрик и наживы, как Лондон, и не притон для сибаритов, как Париж. Это город с великим прошлым...

— Таковы были и Афины,— с улыбкой перебила его синьора Болла.— Но граждане Афин были слишком вялы, и понадобился овод, чтобы пробудить их*.

Риккардо ударил рукой по столу:

— Овод! Как это мы не вспомнили о нем? Вот человек, который нам нужен!

— Кто это?

— Овод — Феличе Риварес. Не помните? Он из группы Муратори*, которая пришла сюда с гор года три назад.

— Вы знаете эту группу? Впрочем, вспоминаю! Вы провожали их в Париж.

— Да, я доехал с Риваресом до Ливорно и оттуда отправил его в Марсель. Ему не хотелось оставаться в Тоскане. Он заявил, что после неудачного восстания остается только смеяться и что поэтому лучше уехать в Париж. Он, очевидно, согласен с синьором Грассини, что Тоскана неподходящее место для смеха. Но если мы его пригласим, он вернется, узнав, что теперь есть возможность действовать в Италии. Я в этом почти уверен.

— Как вы его назвали?

— Риварес. Он, кажется, бразилец. Во всяком случае, жил в Бразилии. Я, пожалуй, не встречал более остроумного человека. В то время в Ливорно нам было, конечно, не до веселья — один Ламбертини чего стоил! Сердце разрывалось, на него глядя... Но мы не могли удержаться от смеха, когда Риварес заходил в комнату,— сплошной фейерверк остроумия! На лице у него большой шрам от сабельного удара. Шов накладывал я. Странный он человек... Но я уверен, что его шутки удержали тогда многих из этих несчастных от полного отчаяния.

— Не он ли пишет политические фельетоны во французских газетах под псевдонимом Le Taon?[1]

— Да. По большей части коротенькие статейки и юмористические фельетоны. Апеннинские контрабандисты прозвали Ривареса Оводом за его злой язык, и с тех пор он взял себе этот псевдоним.

— Мне кое-что известно об этом субъекте,— как всегда, солидно и неторопливо вступил в разговор Грассини,— и не могу сказать, чтобы то, что я о нем слышал, располагало в его пользу. Овод, несомненно, наделен блестящим умом, но человек он поверхностный, и мне кажется — таланты его переоценили. Весьма вероятно, что у него нет недостатка в мужестве. Но его репутация в Париже и в Вене далеко не безупречна. Это человек, жизнь которого изобиловала сомнительными похождениями, человек, неизвестно откуда взявшийся. Говорят, что экспедиция Дюпре подобрала его из милости где-то в дебрях Южной Америки в ужасном состоянии, почти одичалого. Насколько мне известно, он никогда не мог объяснить, чем было вызвано такое падение. А что касается событий в Апеннинах, то в этом неудачном восстании принимал участие всякий сброд — это ни для кого не секрет. Все знают, что казненные в Болонье были самыми настоящими преступниками. Да и нравственный облик многих из

---

[1] Овод (франц.).

скрывшихся не поддается описанию. Правда, некоторые из участников — люди весьма достойные.

— И находятся в тесной дружбе со многими из здесь присутствующих! — оборвал Грассини Риккардо, и в его голосе прозвучали негодующие нотки.— Щепетильность и строгость весьма похвальные качества, но не следует забывать, Грассини, что эти «настоящие преступники» пожертвовали жизнью ради своих убеждений, а это побольше, чем сделали мы с вами.

— В следующий раз,— добавил Галли,— когда кто-нибудь будет передавать вам старые парижские сплетни, скажите ему от моего имени, что относительно экспедиции Дюпре они ошибаются. Я лично знаком с помощником Дюпре, Мартелем, и слышал от него всю эту историю. Верно, что они нашли Ривареса в тех местах. Он сражался за Аргентинскую республику*, был взят в плен и бежал. Потом, переодетый, скитался по стране, пробираясь обратно в Буэнос-Айрес. Версия, будто экспедиция подобрала его из милости,— чистейший вымысел. Их переводчик заболел и должен был вернуться обратно, а сами французы не знали местных наречий. Ривареса взяли в переводчики, и он провел с экспедицией целых три года, исследуя притоки Амазонки. По словам Мартеля, им никогда не удалось бы довести до конца свою работу, если бы не Риварес.

— Кто бы он ни был,— вмешался Фабрицци,— но должно же быть что-то выдающееся в человеке, который сумел обворожить таких опытных людей, как Мартель и Дюпре. Как вы думаете, синьора?

— Я о нем ровно ничего не знаю. Я была в Англии, когда эти беглецы проезжали Тоскану. Но если о Ривареса отзываются с самой лучшей стороны те, кому пришлось в течение трех лет странствовать с ним по диким странам, а также товарищи, участвовавшие в том восстании, то этого, я думаю, вполне достаточно, чтобы не обращать внимания на бульварные сплетни.

— О его товарищах и говорить нечего,— сказал Риккардо.— Ривареса обожали поголовно все, от Муратори и Замбеккари до самых диких горцев. Кроме того, он личный друг Орсини*. Правда, в Париже о нем рассказывают всякие небылицы, но ведь если человек не хочет иметь врагов, он не должен быть политическим сатириком.

— Я не совсем уверен, но, кажется, я видел его как-то, когда эти политические эмигранты были здесь,— сказал Лега.— Он ведь не то горбатый, не то хромает?

Профессор выдвинул ящик письменного стола, достал кипу бумаг и стал листать их.

— У меня, кажется, есть полицейское описание его примет,— сказал он.— Вы помните, когда им удалось бежать и скрыться в

горах, повсюду были разосланы их приметы, а кардинал... как же зовут этого негодяя?.. да, кардинал Спинола!* Так вот, он даже предлагал награду за их головы. В связи с этим рассказывают одну очень интересную историю. Риварес надел старый солдатский мундир и бродил по стране под видом раненого карабинера, отыскивающего свою часть. Во время этих странствований он наткнулся на отряд, посланный Спинолой на его же розыски, и целый день ехал с солдатами в одной повозке и рассказывал душераздирающие истории о том, как бунтовщики взяли его в плен, затащили в свой притон в горах и подвергли ужасным пыткам. Солдаты показали ему бумагу с описанием его примет, и он наговорил им всякого вздору о «дьяволе», которого прозвали Оводом. Потом ночью, когда все улеглись спать, Риварес вылил им в порох ведро воды и дал тягу, набив карманы провизией и патронами... А, вот, нашел! — сказал Фабрицци, оборвав свой рассказ.— «Феличе Риварес, по прозвищу Овод. Возраст — около тридцати лет. Место рождения и родители неизвестны, но по некоторым данным он из Южной Америки. Профессия — журналист. Небольшого роста. Волосы черные. Борода черная. Глаза голубые. Лоб высокий. Нос, рот, подбородок...» Да, вот еще: «Особые приметы: прихрамывает на правую ногу, левая рука скрючена, недостает двух пальцев. Шрам на лице. Заикается». Затем добавлено: «Очень искусный стрелок — при аресте следует соблюдать осторожность».

— Удивительная вещь! Как он их обманул с таким внушительным списком примет?

— Выручила его, несомненно, только смелость. Малейшее подозрение, и он бы погиб. Ему удается выходить из любых положений благодаря умению принимать невинный, внушающий доверие вид... Ну, так, господа, что же вы обо всем этом думаете? Оказывается, Риварса многие из вас хорошо знают. Что ж, давайте напишем ему, что мы будем рады его помощи.

— Сначала надо все-таки познакомить его с нашим планом,— заговорил Фабрицци,— и узнать, согласен ли он с ним.

— Ну, поскольку речь идет о борьбе с иезуитами, Риварес согласится. Я не знаю более непримиримого антиклерикала. В этом отношении он просто бешеный.

— Итак, вы напишете ему, Риккардо?

— Конечно. Сейчас припомню, где он теперь. Кажется в Швейцарии. Удивительно непоседливое существо, вечно кочует. Ну, а что касается памфлетов...

Вновь началась оживленная дискуссия. Когда наконец все стали расходиться, Мартини подошел к спокойной молодой женщине:

— Я провожу вас, Джемма.

— Спасибо. Мне нужно переговорить с вами о делах.

— Опять что-нибудь с адресами? — спросил он вполголоса.

— Ничего серьезного. Но все-таки, мне кажется, пора что-то предпринять. На этой неделе на почте задержали два письма. И то и другое совершенно безобидные, да и задержка эта, может быть, простая случайность. Однако рисковать нельзя. Если полиция взяла под сомнение хоть один из наших адресов, их надо немедленно изменить.

— Я приду к вам завтра. Не стоит сейчас говорить о делах — у вас усталый вид.

— Я не устала.

— Так, стало быть, опять расстроены чем-нибудь?

— Нет, так, ничего особенного.

Глава II

— Кэтти, миссис Болла дома?

— Да, сударь, она одевается. Пожалуйте в гостиную, она сейчас сойдет вниз.

Кэтти встретила гостя с истинно девонширским радушием. Мартини был ее любимцем. Он говорил по-английски — конечно, как иностранец, но все-таки вполне прилично,— не имел привычки засиживаться до часу ночи и, не обращая внимания на усталость хозяйки, разглагольствовать громогласно о политике, как это часто делали другие. А главное — Мартини приезжал в Девоншир поддержать миссис Боллу в самое тяжелое для нее время, когда у нее умер ребенок и умирал муж. С той поры этот рослый неловкий, молчаливый человек стал для Кэтти таким же членом семьи, как и ленивый черный кот Пашт, который сейчас примостился у него на коленях. А кот, в свою очередь, смотрел на Мартини как на весьма полезную вещь в доме. Этот гость не наступал ему на хвост, не пускал табачного дыма в глаза, подобно прочим весьма навязчивым двуногим существам, позволял удобно свернуться у него на коленях и мурлыкать, а за столом всегда помнил, что коту вовсе не интересно только смотреть, как люди едят рыбу. Дружба между ними завязалась уже давно. Когда Пашт был еще котенком, Мартини взял его под свое покровительство и привез из Англии в Италию в корзинке, так как больной хозяйке было не до него. И с тех пор кот имел много случаев убедиться, что этот неуклюжий, похожий на медведя человек — верный друг ему.

— Как вы оба уютно устроились! — сказала, входя в комнату, Джемма.— Можно подумать, что вы рассчитываете провести так весь вечер!

Мартини бережно снял кота с колен.

— Я пришел пораньше,— сказал он,— в надежде, что вы дадите мне чашку чаю, прежде чем мы тронемся в путь. У Грассини будет, вероятно, очень много народу и скудный ужин. В этих фешенебельных домах всегда плохо кормят.

— Ну вот! — сказала Джемма, смеясь.— У вас такой же злой язык, как у Галли. Бедный Грассини и так обременен грехами. Зачем ставить ему в вину еще и то, что его жена — плохая хозяйка? Ну, а чай сию минуту будет готов. Кэтти испекла специально для вас девонширский кекс.

— Кэтти — добрая душа, не правда ли, Пашт? Кстати, то же можно сказать и о вас — я боялся, что вы забудете мою просьбу и наденете другое платье.

— Я ведь вам обещала, хотя в такой теплый вечер в нем, пожалуй, будет жарко.

— Нет, в Фьезоле много прохладнее. А вам белый кашемир очень идет. Я принес цветы специально к этому вашему наряду.

— Какие чудесные розы! Просто прелесть! Но лучше поставить их в воду, я не люблю прикалывать цветы к платью.

— Ну вот, что за предрассудок!

— Право же, нет. Просто я думаю, им будет грустно провести вечер с такой скучной особой, как я.

— Увы! Нам всем придется поскучать на этом вечере. Воображаю, какие там будут невыносимо нудные разговоры!

— Почему?

— Отчасти потому, что все, к чему ни прикоснется Грассини, становится таким же нудным, как и он сам.

— Не злословьте. Стыдно так говорить о человеке, в гости к которому идешь.

— Вы правы, как всегда, мадонна. Тогда скажем так: будет скучно, потому что большинство интересных людей не придет.

— Почему?

— Не знаю. Уехали из города, больны или еще что-нибудь. Будут, конечно, два-три посланника, несколько ученых немцев и русских князей, обычная разношерстная толпа туристов, кое-кто из литературного мира и несколько французских офицеров. И больше никого, насколько мне известно, за исключением нового сатирика. Он выступает в качестве главной приманки.

— Новый сатирик? Как! Риварес? Но мне казалось, что Грассини относится к нему весьма неодобрительно.

— Да, это так. Но поскольку человек здесь и о нем будут говорить, Грассини, конечно, пожелает, чтобы лев был выставлен напоказ прежде всего в его доме. Да, будьте уверены, Риварес не подозревает, как к нему относится Грассини. А мог бы догадаться — он человек сообразительный.

— Я не знала, что он уже здесь!

— Только вчера приехал... А вот и чай. Не вставайте, я подам чайник.

Нигде Мартини не чувствовал себя так хорошо, как в этой маленькой комнатке. Дружеское обращение Джеммы, то, что она совершенно не подозревала своей власти над ним, ее простота и сердечность — все это озаряло светом его далеко не радостную жизнь. И всякий раз, когда Мартини становилось особенно грустно, он приходил сюда по окончании работы, сидел большей частью молча и смотрел, как она склоняется над шитьем или разливает чай. Джемма ни о чем его не расспрашивала, не выражала ему своего сочувствия. И все-таки он уходил от нее подбодренный и успокоенный, чувствуя, что «теперь можно протянуть еще недельку-другую». Она, сама того не зная, обладала редким даром приносить утешение, и, когда два года назад лучшие друзья Мартини были изменнически преданы в Калабрии* и расстреляны, быть может, только непоколебимая твердость ее духа и спасла его от полного отчаяния.

В воскресные дни он иногда приходил по утрам «поговорить о делах», то есть о работе партии Мадзини, деятельными и преданными членами которой были они оба. Тогда Джемма преображалась: она была проницательна, хладнокровна, логична, неизменно пунктуальна и беспристрастна. Те, кто знал Джемму только по партийной работе, считали ее опытным и дисциплинированным товарищем, вполне достойным доверия, смелым и во всех отношениях ценным членом партии, но не признавали за ней яркой индивидуальности. «Она прирожденный конспиратор, сто́ящий десятка таких, как мы, но больше о ней ничего не скажешь»,— говорил Галли. «Мадонна Джемма», которую так хорошо знал Мартини, открывала себя далеко не всем.

— Ну, так что же представляет собой ваш новый сатирик? — спросила она, открывая буфет и глядя через плечо на Мартини.— Вот вам, Чезаре, ячменный сахар и глазированные фрукты. И почему это, кстати сказать, революционеры так любят сладкое?

— Другие тоже любят, только считают ниже своего достоинства сознаваться в этом... Новый сатирик — типичный дамский кумир, но вам он, конечно, не понравится. Своего рода профессиональный остряк, который с томным видом бродит по свету в сопровождении хорошенькой танцовщицы.

— Танцовщица существует на самом деле или вы просто не в духе и тоже решили стать профессиональным остряком?

— Боже сохрани! Танцовщица — существо вполне реальное, она весьма недурна собой и должна нравиться любителям беззастенчивых красоток. У меня лично вкусы другие. Риккардо говорит, что она венгерская цыганка. Риварес вывез ее из какого-то

провинциального театрика в Галиции. И, по-видимому, наш Овод порядочный наглец — он как ни в чем не бывало вводит ее в общество, точно это его незамужняя тетушка.

— Ну что ж, это делает ему честь, если он вырвал ее из такой обстановки.

— В свете к подобным вещам относятся несколько иначе, не так, как вы, мадонна. Вряд ли там кто-нибудь сочтет для себя большой честью знакомство с чьей-то любовницей.

— А откуда известно, любовница она или нет? Не с его же слов!

— Тут не может быть никаких сомнений — достаточно одного взгляда на нее. Но я думаю, что даже у Ривареса не хватит смелости ввести эту особу в дом Грассини.

— Да ее там и не приняли бы. Синьора Грассини не потерпит такого нарушения приличий. Но меня интересует сатирик Риварес, а не что-нибудь другое. Фабрицци говорил, что ему уже написали и он согласился приехать и начать здесь кампанию против иезуитов. Больше я ничего о нем не слышала. Последнюю неделю была такая уйма работы.

— Я очень мало могу прибавить к тому, что вы знаете. С оплатой, по-видимому, не оказалось никаких затруднений, как мы одно время опасались. Он, кажется, не нуждается и готов работать безвозмездно.

— Значит, у него есть средства?

— Должно быть. Хотя это очень странно. Вы помните, у Фабрицци рассказывали, в каком состоянии его подобрала экспедиция Дюпре. Но, говорят, у него есть паи в бразильских рудниках, а кроме того, он имел огромный успех как фельетонист в Париже, в Вене и в Лондоне. Он, кажется, владеет в совершенстве по крайней мере пятью-шестью языками, и ему ничто не помешает, живя здесь, продолжать сотрудничать в иностранных газетах. Ведь ругань по адресу иезуитов не отнимет у него так уж много времени.

— Это верно... Однако нам пора идти, Чезаре. Розы я все-таки приколю. Подождите минутку.

Она поднялась наверх и скоро вернулась с приколотыми к лифу розами и в черной испанской мантилье. Мартини окинул ее взглядом художника и сказал:

— Вы настоящая царица, мадонна моя, великая и мудрая царица Савская!*

— Такое сравнение меня вовсе не радует,— возразила Джемма со смехом.— Если бы вы знали, сколько я положила трудов, чтобы иметь вид светской дамы! Как же можно конспиратору походить на царицу Савскую? Разве так отделываются от шпиков?

— Все равно, сколько ни старайтесь, вам не удастся стать похожей на светскую пустышку. Но это неважно. Вы слишком красивы, чтобы шпики, глядя на вас, угадали ваши политические убеждения. Так что вам не нужно глупо хихикать в веер подобно синьоре Грассини.

— Довольно, Чезаре, оставьте в покое эту бедную женщину. Подсластите свой язык ячменным сахаром... Готово? Ну, теперь пойдемте.

Мартини был прав, когда предсказывал, что вечер будет многолюдный и скучный. Литераторы вежливо болтали о пустяках и, видимо, безнадежно скучали, а «разношерстная толпа туристов и русских князей» переходила из комнаты в комнату, вопрошая всех, кто тут чем знаменит, и силясь поддерживать умные разговоры. Грассини принимал гостей с вежливостью, так же тщательно отполированной, как и его ботинки. Но когда он увидел Джемму, его холодное лицо оживилось. В сущности, Грассини не любил Джемму и в глубине души даже побаивался ее, но он понимал, что без этой женщины его салон проиграл бы в значительной степени. Дела Грассини шли хорошо, ему удалось выдвинуться на своем поприще, и теперь, став человеком богатым и известным, он задался целью сделать свой дом центром либеральной интеллигенции. Грассини с горечью сознавал, что увядшая разряженная куколка, на которой он так опрометчиво женился в молодости, не годится в хозяйки большого литературного салона.

Когда ему удавалось заполучить к себе Джемму, он мог быть уверен, что вечер пройдет удачно. Спокойные и изящные манеры этой женщины вносили в общество непринужденность, и одно ее присутствие стирало тот налет вульгарности, который, как ему казалось, отличал его дом.

Синьора Грассини встретила Джемму очень приветливо.

— Как вы сегодня очаровательны! — громким шепотом сказала она, окидывая белое кашемировое платье враждебно-критическим взглядом.

Синьора Грассини всем сердцем ненавидела свою гостью именно за то, за что Мартини любил ее: за спокойную силу характера,. за прямоту, за здравый ум, даже за выражение лица. А если синьора Грассини ненавидела женщину, она была с ней подчеркнуто нежна. Джемма хорошо знала цену всем этим комплиментам и нежностям и пропускала их мимо ушей. Такие «выезды в свет» были для нее утомительной и неприятной обязанностью, которую должен выполнять каждый конспиратор, если он не хочет привлечь внимание шпиков. Она считала эту работу не менее утомительной, чем работу шифровальщика, и, зная, насколько важно для отвлечения подозрений иметь репу-

тацию со вкусом одетой женщины, изучала модные журналы так же тщательно, как ключи к шифрам.

Скучающие литературные львы несколько оживились, лишь только доложили о Джемме. Она пользовалась популярностью в их среде, и журналисты — особенно радикального направления — сейчас же потянулись к ней. Но Джемма была слишком опытным конспиратором, чтобы отдать им все свое внимание. С радикалами можно встречаться каждый день, поэтому теперь она мягко указала им их сегодняшнюю задачу, заметив с улыбкой, что не стоит тратить время на нее, когда здесь так много туристов,— говорить нужно с ними. Сама же усердно занялась членом английского парламента, расположение которого было очень важно для республиканской партии. Он был известный финансист, и Джемма сначала спросила его мнение о каком-то техническом вопросе, связанном с австрийской валютой, а потом ловко навела разговор на состояние ломбардо-венецианского государственного дохода. Англичанин, ожидавший обычной светской болтовни, покосился на Джемму, испугавшись, очевидно, что попал в когти к синему чулку. Но, убедившись, что разговаривать с этой женщиной не менее приятно, чем смотреть на нее, он покорился и стал так глубокомысленно обсуждать итальянские финансовые дела, словно перед ним был сам Меттерних*. Когда Грассини подвел к Джемме француза, который пожелал узнать у синьоры Боллы историю возникновения «Молодой Италии», изумленный член парламента убедился, что Италия действительно имеет больше оснований для недовольства, чем он предполагал.

В конце вечера Джемма незаметно выскользнула на террасу под окнами гостиной; ей хотелось посидеть одной среди высоких камелий и олеандров. От духоты и мелькания гостей у нее начиналась головная боль. В конце террасы в больших кадках, скрытых бордюром из лилий и других цветущих растений, стояли пальмы и высокие папоротники. Все это вместе образовывало сплошную ширму, за которой оставался свободный уголок с прекрасным видом на долину. Ветви гранатового дерева, усыпанные поздними цветами, свисали над узким проходом между растениями.

В этот-то уголок и пробралась Джемма, надеясь, что никто не догадается, где она. Ей хотелось отдохнуть в тишине и уединении и избавиться от головной боли. Ночь была теплая, безмятежно тихая, но после душной гостиной воздух показался Джемме прохладным, и она накинула на голову мантилью.

Звуки приближающихся шагов и чьи-то голоса заставили ее очнуться от дремоты, которая начала ею овладевать. Она подалась дальше в тень, надеясь остаться незамеченной и выиграть

еще несколько драгоценных минут тишины, прежде чем напрягать свой усталый мозг, поддерживая разговоры в гостиной. Но, к ее величайшей досаде, шаги затихли как раз у плотной ширмы растений. Тонкий, пискливый голосок синьоры Грассини умолк. Послышался мужской голос, мягкий и музыкальный; однако странная манера его обладателя растягивать слова немного резала слух. Что это было — просто рисовка или прием, рассчитанный на то, чтобы скрыть какой-то недостаток речи? Так или иначе, впечатление получалось неприятное.

— Англичанка? — проговорил этот голос.— Но фамилия у нее итальянская. Как вы сказали — Болла?

— Да. Она вдова несчастного Джованни Боллы — помните, он умер в Англии года четыре назад. Ах да, я все забываю: вы ведете кочующий образ жизни, и от вас нельзя требовать, чтобы вы знали всех страдальцев нашей несчастной родины. Их так много!

Синьора Грассини вздохнула. Она всегда беседовала с иностранцами в таком тоне. Роль патриотки, скорбящей о бедствиях Италии, представляла эффектное сочетание с ее институтскими манерами и наивным выражением лица.

— Умер в Англии...— повторил мужской голос.— Значит, он был эмигрантом? Я когда-то слышал это имя. Не входил ли Болла в организацию «Молодая Италия» в первые годы ее существования?

— Да, Боллу в числе других несчастных юношей арестовали в тридцать третьем году. Припоминаете это печальное дело? Его освободили через несколько месяцев, а потом, спустя два-три года, был подписан новый приказ о его аресте, и он бежал в Англию. Затем до нас дошли слухи, что он женился там. В высшей степени романтическая история, но бедный Болла всегда был романтиком.

— Умер в Англии, вы говорите?

— Да, от чахотки. Не вынес ужасного английского климата. А перед самой его смертью жена лишилась и единственного сына: он умер от скарлатины. Не правда ли, какая грустная история? Мы все так любим милую Джемму! Она, бедняжка, немного чопорна, как и все англичанки. Но перенести столько несчастий! Поневоле станешь печальной и...

Джемма встала и раздвинула ветви гранатового дерева. Слушать, как посторонние люди болтают о пережитых ею горестях, было невыносимо, и она вышла на свет, не скрывая своего неудовольствия.

— А вот и она сама! — как ни в чем не бывало воскликнула хозяйка.— Джемма, дорогая, а я-то недоумевала, куда вы пропали! Синьор Феличе Риварес хочет познакомиться с вами.

«Так вот он, Овод!» — подумала Джемма, с любопытством вглядываясь в него.

Ривapec учтиво поклонился и окинул ее взглядом, который показался ей пронизывающим и даже дерзким.

— Вы выбрали себе в-восхитительный уголок,— сказал он, глядя на плотную ширму зелени.— Отсюда п-прекрасный вид!

— Да, уголок чудесный. Я пришла сюда подышать свежим воздухом.

— В такую чудную ночь сидеть в комнатах просто грешно,— проговорила хозяйка, поднимая глаза к звездам. (У нее были красивые ресницы, и она любила показывать их.) — Взгляните, синьор: ну разве не рай наша милая Италия? Если б она была только свободна! Страна-рабыня! Страна с такими цветами, с таким небом!

— И с такими патриотками! — томно протянул Овод.

Джемма взглянула на него почти с испугом: такая дерзость не могла пройти незамеченной. Но она не учла, насколько падка синьора Грассини на комплименты, а та, бедняжка, со вздохом потупила глазки.

— Ах, синьор, женщина так мало может сделать! Но как знать, может быть, мне и удастся доказать когда-нибудь, что я имею право называть себя итальянкой... А сейчас мне нужно вернуться к своим обязанностям. Французский посол просил меня познакомить его воспитанницу со всеми знаменитостями. Вы тоже должны представиться ей. Она прелестная девушка... Джемма, дорогая, я привела синьора Ривареса, чтобы показать ему, какой отсюда открывается чудесный вид. Оставляю его на ваше попечение. Я уверена, что вы позаботитесь о нем и познакомите его со всеми... А вот и обворожительный русский князь! Вы с ним не встречались? Говорят, это фаворит императора Николая. Он командует гарнизоном какого-то польского города с таким названием, что и не выговоришь. Quelle nuit magnifique! N'est-ce pas, mon prince?[1]

Она порхнула, щебеча, к господину с бычьей шеей, тяжелой челюстью и множеством орденов на мундире, и вскоре ее жалобные причитания о «нашем несчастном отечестве», пересыпанные возгласами «charmant»[2] и «mon prince», замерли вдали.

Джемма молча стояла под гранатовым деревом. Ее возмутило оскорбительное замечание Овода, и она пожалела бедную глупенькую женщину. Он проводил удаляющуюся пару таким взглядом, что Джемму просто зло взяло: насмехаться над этими жалкими существами было невеликодушно.

---

[1] Какая великолепная ночь! Не правда ли, князь? (франц.)

[2] Очаровательно (франц.).

— Вот вам итальянский и русский патриотизм,— сказал Овод, с улыбкой поворачиваясь к ней.— Идут под ручку, такие довольные друг другом! Какой вам больше нравится?

Джемма нахмурилась и промолчала.

— Конечно, это д-дело вкуса,— продолжал Риварес,— но, по-моему, русская разновидность патриотизма лучше — в ней чувствуется такая добротность! Если б Россия полагалась на цветы и небеса вместо пороха и пушек, вряд ли «mon prince» удержался бы в своей п-польской крепости.

— Высказывать свои взгляды можно,— холодно проговорила Джемма,— но зачем попутно высмеивать хозяйку дома!

— Да, правда, я и забыл, как в-высоко ставят в Италии долг гостеприимства. Удивительно гостеприимный народ эти итальянцы! Я уверен, что австрийцы тоже это находят. Не хотите ли сесть?

Прихрамывая, он прошел по террасе и принес Джемме стул, а сам стал против нее, облокотившись о балюстраду. Свет из окна падал ему прямо в лицо, и теперь его можно было рассмотреть как следует.

Джемма была разочарована. Она ожидала увидеть лицо если и не очень приятное, то, во всяком случае, запоминающееся, с властным взглядом. Но в этом человеке прежде всего бросалась в глаза склонность к франтовству и почти нескрываемая надменность. Он был смугл, как мулат, и, несмотря на хромоту, проворен, как кошка. Всем своим обликом он напоминал черного ягуара. Лоб и левая щека у него были обезображены длинным кривым шрамом,— по-видимому, от удара саблей, и Джемма заметила, что, когда он начинал заикаться, левую сторону лица подергивала нервная судорога. Не будь этих недостатков, он был бы, пожалуй, беспокояще, тревожно красив, но, в общем, лицо его не отличалось привлекательностью.

Овод снова заговорил своим мягким, певучим голосом, точно мурлыкая.

«Вот так говорил бы ягуар, будь он в хорошем настроении и имей он дар речи»,— подумала Джемма, раздражаясь все больше и больше.

— Я слышал,— сказал он,— что вы интересуетесь радикальной прессой и даже сами сотрудничаете в газетах.

— Пишу иногда. У меня мало свободного времени.

— Ах да, это понятно: синьора Грассини говорила мне, что вы заняты и другими важными делами.

Джемма чуть подняла брови. Очевидно, синьора Грассини по своей глупости наболтала лишнего этому неприятному человеку, который теперь уже окончательно не нравился Джемме.

— Да, это правда, я очень занята, но синьора Грассини

преувеличивает значение моей работы,— сухо ответила она.— Все это по большей части совсем несложные дела.

— Ну что ж, было бы очень плохо, если бы все мы только и делали, что оплакивали Италию. Мне кажется, общество нашего хозяина и его супруги может привести каждого в легкомысленное настроение, хотя бы в целях самозащиты. Да, да! Я знаю, что́ вы хотите сказать. Правильно, правильно! Но их ходульный патриотизм меня просто чарует... Вы хотите вернуться в комнаты?... Зачем? Здесь так хорошо!

— Нет, нужно идти. Ах, моя мантилья... Благодарю вас.

Риварес поднял мантилью и, выпрямившись, посмотрел на Джемму глазами невинными и голубыми, как незабудки у ручья.

— Я знаю, вы сердитесь на меня за то, что я смеюсь над этой раскрашенной куколкой,— проговорил он тоном кающегося грешника.— Но разве можно не смеяться над ней?

— Если вы меня спрашиваете, я вам скажу: по-моему, невеликодушно и... нечестно высмеивать умственное убожество человека. Это все равно, что смеяться над калекой или...

Он вдруг болезненно перевел дыхание и, отшатнувшись от Джеммы, взглянул на свою хромую ногу и искалеченную руку, но через секунду овладел собой и разразился хохотом:

— Сравнение не слишком удачное, синьора: мы, калеки, не кичимся своим уродством, как эта женщина кичится своей глупостью, и признаем, что физические изъяны ничуть не лучше изъянов моральных... Здесь ступенька — обопритесь о мою руку.

Джемма молча шла рядом с ним. Его неожиданная чувствительность смутила и сбила ее с толку.

Как только Риварес распахнул перед ней двери зала, она поняла, что в их отсутствие здесь что-то случилось. На лицах мужчин было написано и негодование и растерянность; дамы толпились у дверей, напустив на себя непринужденный вид, будто ничего не произошло, но их щеки пылали румянцем. Хозяин то и дело поправлял очки, тщетно пытаясь скрыть свою ярость, а туристы, собравшись кучкой, бросали любопытные взгляды в дальний конец залы. Очевидно, там и происходило то, что казалось им таким забавным, а всем прочим — оскорбительным. Одна синьора Грассини ничего не замечала. Кокетливо играя веером, она болтала с секретарем голландского посольства, который слушал ее, ухмыляясь.

Джемма остановилась в дверях и посмотрела на своего спутника — уловил ли он это всеобщее замешательство? Овод перевел взгляд с пребывающей в блаженном неведении хозяйки на диван в глубине зала, и по его лицу скользнуло выражение злого торжества. Джемма догадалась сразу: он явился сюда со

своей любовницей, выдав ее за нечто другое, и провел лишь одну синьору Грассини.

Цыганка сидела, откинувшись на спинку дивана, окруженная любезничающими с ней молодыми людьми и учтиво-насмешливыми кавалерийскими офицерами. Восточная яркость ее роскошного желто-красного платья и обилие драгоценностей резко выделялись в этом флорентийском литературном салоне — словно какая-то тропическая птица залетела в стаю воробьев и скворцов. Эта женщина сама явно чувствовала себя здесь не в своей тарелке и поглядывала на оскорбленных ее присутствием дам с презрительно-злой гримасой. Увидев Овода, она вскочила с дивана, подошла к нему и быстро заговорила на безобразно ломаном французском языке:

— Мосье Риварес, я вас всюду искала! Граф Салтыков спрашивает, приедете ли вы к нему завтра вечером на виллу? Будут танцы.

— Очень сожалею, но вынужден отказаться. К тому же танцевать я не могу... Синьора Болла, разрешите мне представить вам мадам Зиту Рени.

Цыганка бросила на Джемму почти вызывающий взгляд и сухо поклонилась. Мартини сказал правду: она была, несомненно, красива, но в этой красоте чувствовалось что-то грубое, неодухотворенное. Ее свободные, грациозные движения радовали глаз, а лоб был низкий, очертания тонких ноздрей неприятные, чуть ли не хищные. Присутствие цыганки только усилило неловкость, которую Джемма ощущала наедине с Оводом, и она почувствовала какое-то странное облегчение, когда спустя минуту к ней подошел хозяин и попросил ее занять туристов в соседней комнате.

— Ну, что вы скажете об Оводе, мадонна? — спросил Мартини Джемму, когда они поздней ночью возвращались во Флоренцию.— Вот наглец! Как он посмел так одурачить бедную синьору Грассини!

— Вы о танцовщице?

— Ну разумеется! Ведь он сказал, что эта танцовщица будет звездой сезона. А синьора Грассини готова на все ради знаменитостей!

— Да, такой поступок жесток и не делает ему чести. Он поставил хозяев в неловкое положение и, кроме того, не пощадил и эту женщину. Я уверена, что она чувствовала себя ужасно.

— Вы, кажется, говорили с ним? Какое впечатление он на вас произвел?

— Знаете, Чезаре, я только и думала, как бы избавиться

от него! Первый раз в жизни встречаю такого утомительного собеседника. Через десять минут у меня начало стучать в висках. Это воплощение дьявольской силы, не знающей покоя!

— Я так и думал, что он вам не понравится, и, откровенно говоря, мне тоже. Этот человек скользок, как угорь. Я ему не доверяю.

Глава III

Овод снял дом за Римскими воротами, недалеко от Зиты. Он был, очевидно, большой сибарит. Обстановка его квартиры, правда, не поражала изысканностью, но во всех мелочах сказывались любовь к роскоши и прихотливый, тонкий вкус, что очень удивляло Галли и Риккардо. От человека, прожившего не один год на берегах Амазонки, они ждали большей простоты привычек и недоумевали, глядя на его безукоризненные галстуки, множество ботинок и букеты цветов, постоянно стоявшие у него на письменном столе. Но, в общем, они с ним поладили. Овод был дружелюбен, радушен, особенно это относилось к членам местной организации партии Мадзини. Но Джемма, по-видимому, представляла исключение из этого правила: он невзлюбил ее с первой же встречи и всячески избегал ее общества, а в двух-трех случаях даже был резок с ней, чем сильно восстановил против себя Мартини. Овод и Мартини с самого начала не понравились друг другу; у них были настолько разные характеры, что ничего, кроме неприязни, они друг к другу чувствовать не могли. Но у Мартини эта неприязнь скоро перешла в открытую вражду.

— Меня мало интересуёт, как он ко мне относится,— раздраженно сказал однажды Мартини.— Я сам его не люблю, так что никто из нас не в обиде. Но его отношение к вам непростительно. Я бы потребовал у него объяснений по этому поводу, но боюсь скандала: не ссориться же с ним после того, как мы сами его сюда пригласили.

— Не сердитесь, Чезаре. Это все неважно. Да к тому же я сама виновата не меньше Овода.

— В чем же вы виноваты?

— В том, что он меня так невзлюбил. Когда мы встретились с ним в первый раз на вечере у Грассини, я была жестока с ним.

— Вы — жестоки? Не верю, мадонна!

— Конечно, это вышло нечаянно, и я сама была очень огорчена. Я сказала что-то насчет насмешек над калеками, а он принял это на свой счет. Мне и в голову не приходило считать его калекой: он вовсе не так уж изуродован.

— Разумеется. Только одно плечо выше другого да левая

рука порядком искалечена, но он не горбун и не косолапый. Немного прихрамывает, но об этом и говорить не стоит.

— Я помню, как он тогда вздрогнул и побледнел. С моей стороны это была, конечно, ужасная бестактность, но все-таки странно, что он так чувствителен. Вероятно, ему часто приходилось страдать от насмешек на свой счет.

— Гораздо легче себе представить, как он сам насмехается над другими. При всем изяществе своих манер он по натуре человек грубый, и это противно.

— Вы несправедливы, Чезаре. Мне Риварес тоже не нравится, но зачем же преувеличивать его недостатки? Правда, у него аффектированная и раздражающая манера держаться — виной этому, очевидно, избалованность. Правда и то, что вечное острословие страшно утомительно. Но я не думаю, чтобы он делал все это с какой-нибудь дурной целью.

— Какая у него может быть цель, я не знаю, но в человеке, который вечно все высмеивает, есть что-то нечистоплотное. Противно было слушать, как на одном собрании у Фабрицци он глумился над последними реформами в Риме. Ему, должно быть, во всем хочется найти какой-то гадкий мотив.

Джемма вздохнула.

— В этом пункте я, пожалуй, скорее соглашусь с ним, чем с вами,— сказала она.— Вы все легко предаетесь радужным надеждам, вы склонны думать, что, если на папский престол взойдет добродушный господин средних лет, все остальное приложится: он откроет двери тюрем, раздаст свои благословения направо и налево — и через каких-нибудь три месяца наступит золотой век. Вы не понимаете, что папа при всем своем желании не сможет водворить на земле справедливость. Дело здесь не в поступках того или другого человека, а в неверном принципе.

— Какой же это неверный принцип? Светская власть папы?

— Почему? Это частность. Дурно то, что одному человеку дается право казнить и миловать. На такой ложной основе нельзя строить отношения между людьми.

Мартини умоляюще воздел руки.

— Пощадите, мадонна! — сказал он,смеясь.— Эти парадоксы мне не по силам. Бьюсь об заклад, что в семнадцатом веке ваши предки были левеллеры!* Кроме того, я пришел не спорить, а показать вам вот эту рукопись.— Мартини вынул из кармана несколько листков бумаги.

— Новый памфлет?

— Еще одна нелепица, которую этот злополучный Риварес представил ко вчерашнему заседанию комитета. Знал я, что скоро у нас с ним дойдет до драки.

— Да в чем же дело? Право, Чезаре, вы предубеждены против него. Риварес, может быть, неприятный человек, но он не дурак.

— Я не отрицаю, что памфлет написан неглупо, но прочтите лучше сами.

В памфлете высмеивались бурные восторги, которые все еще вызывал в Италии новый папа. Написан он был язвительно и злобно, как все, что выходило из-под пера Овода; но как ни раздражал Джемму его стиль, в глубине души она не могла не признать справедливость такой критики.

— Я вполне согласна с вами, что это злопыхательство отвратительно,— сказала она, положив рукопись на стол.— Но ведь это все правда — вот что хуже всего!

— Джемма!

— Да, это так. Называйте этого человека жестоким, называйте скользким угрем, но правда на его стороне. Бесполезно убеждать себя, что памфлет не попадет в цель. Попадет!

— Вы, пожалуй, скажете, что его надо напечатать?

— А это другой вопрос. Я не думаю, что его следует печатать в таком виде. Он оскорбит и оттолкнет от нас решительно всех и не принесет никакой пользы. Но если Риварес переделает его немного, выбросив нападки личного характера, тогда это будет действительно ценная вещь. Политическая часть памфлета превосходна. Я никак не ожидала, что Риварес может писать так хорошо. Он говорит именно то, что следует, то, чего не решаемся сказать мы. Как великолепно написана, например, вся та часть, где он сравнивает Италию с пьяницей, проливающим слезы умиления на плече у вора, который обшаривает его карманы!

— Джемма! Да ведь это самое худшее место во всем памфлете! Я не выношу такого огульного облаивания всех и вся.

— Я тоже. Но не в этом дело. У Ривареса очень неприятный стиль, да и сам он человек непривлекательный, но, когда он говорит, что мы одурманиваем себя торжественными процессиями, братскими лобызаниями и призывами к любви и миру и что иезуиты и санфедисты сумеют обратить все это в свою пользу, он тысячу раз прав. Жаль, что я не попала на вчерашнее заседание комитета. На чем же вы в конце концов остановились?

— Да вот за этим я и пришел: вас просят сходить к Риваресу и убедить его, чтобы он смягчил свой памфлет.

— Меня? Но я его почти не знаю. И, кроме того, он ненавидит меня. Почему же непременно я должна идти, а не кто-нибудь другой?

— Да просто потому, что всем другим сегодня некогда. А кроме того, вы самая благоразумная из нас: вы не заведете бесполезных пререканий и не поссоритесь с ним.

— От этого я воздержусь, конечно. Ну хорошо, если хотите, я схожу к нему, но предупреждаю: надежды на успех мало.

— А я уверен, что вы сумеете уломать его. И скажите ему, что комитет восхищается памфлетом как литературным произведением. Он сразу подобреет от такой похвалы, и притом это совершенная правда.

Овод сидел у письменного стола, заставленного цветами, и рассеянно смотрел на пол, держа на коленях развернутое письмо. Лохматая шотландская овчарка, лежавшая на ковре у его ног, подняла голову и зарычала, когда Джемма постучалась в приоткрытую дверь. Овод поспешно встал и отвесил гостье сухой, церемонный поклон. Лицо его вдруг словно окаменело, утратив всякое выражение.

— Вы слишком любезны,— сказал он ледяным тоном.— Если бы вы мне дали знать, что хотите меня видеть, я бы сейчас же явился к вам.

Чувствуя, что он мысленно проклинает ее, Джемма сразу же приступила к делу. Овод опять поклонился и пододвинул ей кресло.

— Я пришла к вам по поручению комитета,— начала она.— Там возникло некоторое разногласие насчет вашего памфлета.

— Я так и думал.— Он улыбнулся и, сев против нее, передвинул на столе большую вазу с хризантемами так, чтобы заслонить от света лицо.

— Большинство членов, правда, в восторге от памфлета как от литературного произведения, но они находят, что в теперешнем виде печатать его неудобно. Резкость тона может оскорбить людей, чья помощь и поддержка так важны для партии.

Овод вынул из вазы хризантему и начал медленно обрывать один за другим ее белые лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на его правой руке, и тревожное чувство овладело ею — словно она уже видела когда-то раньше движение этих тонких пальцев.

— Как литературное произведение памфлет мой ничего не стоит,— проговорил он вполголоса ледяным тоном,— и с этой точки зрения им могут восторгаться только те, кто ничего не смыслит в литературе. А что он оскорбителен — так ведь я этого и хотел.

— Я понимаю. Но дело в том, что ваши удары могут попасть не в тех, в кого нужно.

Овод пожал плечами и прикусил оторванный лепесток.

— По-моему, вы ошибаетесь,— сказал он.— Вопрос стоит так: для чего пригласил меня ваш комитет? Кажется, для того,

чтобы вывести иезуитов на чистую воду и высмеять их. Эту обязанность я и выполняю по мере своих способностей.

— Могу вас уверить, что никто не сомневается ни в ваших способностях, ни в вашей доброй воле. Но комитет боится, как бы памфлет не оскорбил либеральную партию и не лишил нас моральной поддержки рабочих. Ваш памфлет направлен против санфедистов, но многие из читателей подумают, что вы имеете в виду церковь и нового папу, а это по тактическим соображениям комитет считает нежелательным.

— Теперь я начинаю понимать. Пока я нападаю на тех господ из духовенства, с которыми партия теперь в дурных отношениях, мне разрешается говорить всю правду. Но как только я коснусь священников — любимцев комитета, тогда оказывается — «правду всегда гонят из дому, как сторожевую собаку, а святой отец пусть нежится у камина и...»* Да, шут был прав, но из меня шута не получится. Конечно, я подчинюсь решению комитета, но все же мне думается, что он обращает внимание на мелочи и проглядел самое главное: м-монсеньора М-монтанелли.

— Монтанелли? — повторила Джемма.— Я вас не понимаю... Вы говорите о епископе Бризигеллы?

— Да. Новый папа только что назначил его кардиналом. Вот — я получил письмо. Не хотите ли послушать? Пишет один из моих друзей, живущих по ту сторону границы.

— Какой границы? Папской области?

— Да. Вот что он пишет.

Овод снова взял письмо, которое было у него в руках, когда вошла Джемма, и начал читать, сильно заикаясь:

— «В-вы скоро б-будете иметь удовольствие встрет-титься с одним из ваших злейших врагов, к-кардиналом Л-лоренцо М-монтанелли, епископом Бриз-зигеллы. Он...»

Овод оборвал чтение и минуту молчал. Затем продолжал медленно, невыносимо растягивая слова, но уже не заикаясь:

— «Он намеревается посетить Тоскану в будущем месяце. Приедет туда с миссией «примирения». Будет проповедовать сначала во Флоренции, где проживет недели три, потом поедет в Сиену и в Пизу и, наконец, через Пистойю возвратится в Романью. Он открыто примкнул к либеральному направлению в церковных кругах. Личный друг папы и кардинала Ферретти. При папе Григории был в немилости, и его держали вдали, в каком-то захолустье в Апеннинах. Теперь Монтанелли быстро выдвинулся. В сущности, он, конечно, пляшет под дудку иезуитов, как и всякий санфедист. Возложенная на него миссия тоже подсказана отцами иезуитами. Он один из самых блестящих проповедников католической церкви и приносит не меньше вреда,

чем Ламбрускини. Его задача — поддерживать как можно дольше всеобщие восторги по поводу избрания нового папы и занять таким образом внимание общества, пока великий герцог не подпишет подготовляемый агентами иезуитов декрет. В чем состоит этот декрет, мне не удалось узнать». Теперь дальше: «Понимает ли Монтанелли, с какой целью его посылают в Тоскану, или он просто игрушка в руках иезуитов, разобрать трудно. Он или необыкновенно умный негодяй, или величайший осел. Но самое странное то, что, насколько мне известно, Монтанелли не берет взяток и у него нет любовницы,— случай беспримерный!»

Овод отложил письмо в сторону и сидел, глядя на Джемму полузакрытыми глазами в ожидании, что она скажет.

— Вы уверены, что ваш корреспондент точно передает факты? — спросила она после паузы.

— Относительно безупречной личной жизни монсеньора М-монтанелли? Нет. Но ведь корреспондент и сам в этом не уверен. Помните его оговорку: «насколько мне известно»?..

— Я не об этом,— холодно перебила его Джемма.— Меня интересует то, что написано о возложенной на Монтанелли миссии.

— Да, в этом я вполне могу положиться на своего корреспондента. Это мой старый друг, один из товарищей по сорок третьему году. А теперь он занимает положение, которое дает ему исключительные возможности разузнавать о такого рода вещах.

«Какой-нибудь чиновник в Ватикане,— промелькнуло в голове у Джеммы.— Так вот какие у него связи! Я, впрочем, так и думала».

— Письмо это, конечно, частного характера,— продолжал Овод,— и вы понимаете, что содержание его никому, кроме членов вашего комитета, не должно быть известно.

— Само собой разумеется. Но вернемся к памфлету. Могу ли я сказать товарищам, что вы согласны сделать кое-какие поправки и немного смягчить тон, или...

— А вы не думаете, синьора, что поправки могут не только ослабить силу сатиры, но и уничтожить красоту «литературного шедевра»?

— Вы спрашиваете о моем личном мнении, а я пришла говорить с вами от имени комитета.

— Следует ли заключить из этого, что в-вы лично расходитесь с м-мнением комитета?

Он спрятал письмо в карман и, наклонившись вперед, смотрел на нее внимательным, пытливым взглядом, совершенно изменившим выражением его лица.

— Вы думаете, что...

— Если вас интересует, что думаю я сама, извольте: я не согласна с большинством в обоих пунктах. Я вовсе не восхищаюсь памфлетом с литературной точки зрения, но нахожу, что он правильно освещает факты и поможет нам разрешить наши тактические задачи.

— То есть?

— Я вполне согласна с вами, что Италия тянется к блуждающим огонькам и что все эти восторги и ликования заведут ее в бездонную трясину. Меня бы порадовало, если бы это было сказано открыто и смело, хотя бы с риском оскорбить и оттолкнуть некоторых из наших союзников. Но как член организации, большинство которой держится противоположного мнения, я тоже считаю, что если уж говорить, то говорить беспристрастно и спокойно, а не таким тоном, как в этом памфлете.

— Вы подождете минутку, пока я просмотрю рукопись?

Он взял памфлет, пробежал его от начала до конца и недовольно нахмурился:

— Да, вы правы. Это кафешантанная дешевка, а не политическая сатира! Но что поделаешь? Напиши я в благопристойном тоне, публика не поймет. Ведь без злословия будет скучно.

— А вы не думаете, что злословие тоже нагоняет скуку, если оно преподносится в слишком больших дозах?

Он посмотрел на нее быстрым, пронизывающим взглядом и расхохотался:

— Вы, синьора, по-видимому, из категории тех ужасных людей, которые всегда правы. Значит, если я не устою против искушения и предамся злословию, то стану в конце концов таким же нудным, как синьора Грассини? Небо, какая судьба! Нет, не хмурьтесь! Я знаю, что вы меня не любите, и возвращаюсь к делу. Положение, следовательно, таково. Если я выброшу все личные нападки и оставлю самую существенную часть как она есть, комитет выразит сожаление, что не сможет напечатать этот памфлет под свою ответственность; если же я пожертвую политической истиной и направлю все удары против врагов вообще, комитет будет превозносить мое произведение, а мы с вами будем знать, что его не стоит печатать. Вопрос чисто метафизический. Что лучше: попасть в печать, не стоя того, или, вполне заслуживая опубликования, остаться под спудом? Что скажет на это синьора?

— Я не думаю, чтобы вопрос стоял именно так. Если вы отбросите личности, комитет согласится напечатать памфлет, хотя, конечно, большинство будет против него. И, мне кажется, он принесет пользу. Но вы должны смягчить тон. Уж если преподносить читателю такую пилюлю, так не надо отпугивать его с самого начала резкостью формы.

Овод пожал плечами и покорно вздохнул:

— Я подчиняюсь, синьора, но с одним условием. Сейчас вы лишаете меня права смеяться, но в недалеком будущем я им воспользуюсь. Когда его преосвященство, безгрешный кардинал, появится во Флоренции, тогда ни вы, ни ваш комитет не должны мешать мне злословить, сколько я захочу. Это уж мое право!

Он говорил самым небрежным и холодным тоном и, то и дело вынимая хризантемы из вазы, рассматривал на свет прозрачные лепестки. «Как у него дрожит рука! — думала Джемма, глядя на колеблющиеся, вздрагивающие цветы.— Неужели он пьет?»

— Вам лучше поговорить об этом с другими членами комитета,— сказала она, вставая.— Я не могу предугадать, как они решат.

— А как бы решили вы? — Он тоже поднялся и стоял, прислонившись к столу и прижимая цветы к лицу.

Джемма колебалась. Вопрос этот смутил ее, всколыхнул горькие воспоминания.

— Я, право, не знаю,— сказала она наконец.— В прежние годы мне приходилось не раз слышать о монсеньоре Монтанелли. Он был тогда каноником и ректором духовной семинарии в тех местах, где я жила в детстве. Мне много рассказывал о нем один... человек, который знал его очень близко. Я никогда не слышала о Монтанелли ничего дурного и считала его, по крайней мере в те дни, замечательной личностью. Но это было давно, и с тех пор он мог измениться. Бесконтрольная власть развращает людей.

Овод поднял голову и, посмотрев ей прямо в глаза, сказал:

— Во всяком случае, если монсеньор Монтанелли сам и не подлец, то он орудие в руках подлецов. Но для меня и для моих друзей за границей это все равно. Камень, лежащий на дороге, может иметь самые лучшие намерения, но все-таки его надо убрать... Позвольте, синьора.— Он позвонил, подошел, прихрамывая, к двери и открыл ее.— Вы очень добры, синьора, что зашли ко мне. Послать за коляской?.. Нет? До свидания... Бианка, проводите, пожалуйста, синьору.

Джемма вышла на улицу в тревожном раздумье.

«Мои друзья за границей». Кто они? И какими средствами думает он убрать с дороги камень? Если только сатирой, то почему его глаза так угрожающе вспыхнули?

Глава IV

Монсеньор Монтанелли приехал во Флоренцию в первых числах октября. Его приезд вызвал в городе заметное волнение. Он был знаменитый проповедник и представитель нового течения в католических кругах. Все ждали, что Монтанелли скажет слова любви и мира, которые уврачуют все скорби Италии. Назначение кардинала Гицци государственным секретарем Папской области вместо ненавистного всем Ламбрускини довело всеобщий восторг до предела. И Монтанелли был как раз человеком, способным поддержать это восторженное настроение. Безупречность его жизни была настолько редким явлением среди высших католических сановников, что одно это привлекало к нему симпатии народа, привыкшего считать вымогательства, подкупы и бесчестные интриги почти необходимым условием карьеры служителей церкви. Кроме того, у него был действительно замечательный талант проповедника, а прекрасный голос и большое личное обаяние неизменно служили ему залогом успеха.

Грассини, как всегда, выбивался из сил, чтобы залучить к себе новую знаменитость. Но сделать это было не так-то легко: на все приглашения Монтанелли отвечал вежливым, но решительным отказом, ссылаясь на плохое здоровье и недосуг и на то, что у него нет ни сил, ни времени на визиты.

— Вот всеядные животные эти супруги Грассини! — с презрением сказал Мартини Джемме, проходя с нею через площадь Синьории ясным и прохладным воскресным утром.— Вы заметили, какой поклон он отвесил коляске кардинала? Им все равно, что за человек, лишь бы о нем говорили. В жизни своей не видел таких охотников за знаменитостями. Еще недавно, в августе,— Овод, а теперь — Монтанелли. Надеюсь, что его преосвященство чувствует себя польщенным таким вниманием. Он делит его с целой оравой авантюристов.

Они слушали проповедь Монтанелли в кафедральном соборе. Громадный храм был так переполнен народом, жаждавшим послушать знаменитого проповедника, что, боясь, как бы у Джеммы не разболелась голова, Мартини убедил ее уйти до конца службы. Воспользовавшись первым солнечным утром после проливных дождей, он предложил Джемме погулять по зеленым склонам холмов у Сан-Никколо.

— Нет,— сказала она,— я охотно пройдусь, если у вас есть время, но только не в ту сторону. Пойдемте лучше к мосту: там будет проезжать Монтанелли на обратном пути из собора, а мне, как и Грассини, хочется посмотреть на знаменитость.

— Но вы ведь только что его видели.

— Издали. В соборе была такая давка... а когда он подъез-

жал, мы стояли сзади. Надо подойти поближе к мосту, тогда разглядим его как следует. Он остановился на Лунг-Арно.

— Но почему вам вдруг так захотелось увидеть Монтанелли? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками.

— Меня и теперь интересует не проповедник, а человек. Хочу посмотреть, очень ли он изменился с тех пор, как я видела его в последний раз.

— А когда это было?

— Через два дня после смерти Артура.

Мартини с тревогой взглянул на нее. Они вышли к мосту, и Джемма смотрела на другой берег тем ничего не видящим взглядом, который всегда так пугал его.

— Джемма, дорогая,— сказал он минуту спустя,— неужели эта печальная история будет преследовать вас всю жизнь? Все мы делаем ошибки в семнадцать лет.

— Но не каждый из нас в семнадцать лет убивает своего лучшего друга,— ответила она усталым голосом и облокотилась о каменный парапет, глядя на воду.

Мартини замолчал: он боялся говорить с ней, когда на нее находило такое настроение.

— Как увижу воду, так сразу вспоминаю об этом,— продолжала Джемма, медленно поднимая глаза, и затем добавила с нервной дрожью: — Пойдемте, Чезаре, стоять здесь холодно.

Они молча перешли мост и свернули на набережную. Через несколько минут Джемма снова заговорила:

— Какой красивый голос у этого человека! В нем есть то, чего нет ни в каком другом человеческом голосе. В этом, я думаю, секрет его обаяния.

— Да, голос чудесный,— подхватил Мартини, пользуясь возможностью отвлечь ее от страшных воспоминаний, навеянных видом реки.— Да и, помимо голоса, это лучший из всех проповедников, каких мне приходилось слышать. Но я думаю, что секрет обаяния Монтанелли кроется глубже: в безупречной жизни, так отличающей его от остальных сановников церкви. Едва ли кто укажет другое высокое духовное лицо во всей Италии, кроме разве самого папы, с такой незапятнанной репутацией. Помню, в прошлом году, когда я ездил в Романью, мне пришлось побывать в епархии Монтанелли, и я видел, как суровые горцы ожидали его под дождем, чтобы только взглянуть на него или коснуться его одежды. Они чтят Монтанелли почти как святого, а это очень много значит: ведь в Романье ненавидят всех, кто носит сутану. Я сказал одному старику крестьянину, типичнейшему контрабандисту, что народ, как видно, очень предан своему епископу, и он мне ответил: «Попов мы не любим, все они лгуны.

Мы любим монсеньора Монтанелли. Он не лжет нам, и он справедлив».

— Любопытно,— сказала Джемма, скорее размышляя вслух, чем обращаясь к Мартини,— известно ли ему, что́ о нем думают в народе?

— Наверно, известно. А вы полагаете, что это неправда?

— Да, неправда.

— Откуда вы знаете?

— Он сам мне сказал.

— Он? Монтанелли? Джемма, что вы говорите?

Она откинула волосы со лба и повернулась к нему. Они снова остановились. Мартини облокотился о парапет, а Джемма медленно чертила зонтиком по камням.

— Чезаре, мы с вами старые друзья, но я никогда не рассказывала вам, что в действительности произошло с Артуром.

— И не надо рассказывать, дорогая,— поспешно остановил ее Мартини.— Я все знаю.

— От Джованни?

— Да. Он рассказал мне об Артуре незадолго до своей смерти, как-то ночью, когда я сидел у его постели... Джемма, дорогая, раз мы начали этот разговор, то лучше уж сказать вам всю правду... Он говорил, что вас постоянно мучит воспоминание об этой трагедии, и просил меня быть вам другом и стараться отвлекать вас от тяжелых мыслей. И я делал что мог, хотя, кажется, безуспешно.

— Я знаю,— ответила она тихо, подняв на него глаза.— Плохо бы мне пришлось без вашей дружбы... О монсеньоре Монтанелли Джованни вам тогда ничего не говорил?

— Нет. Я и не знал, что Монтанелли имеет какое-то отношение к этой истории. Он рассказал мне только о том доносчике и...

— ...и о том, что я ударила Артура и он утопился? Хорошо, так теперь я расскажу вам о Монтанелли.

Они повернули назад к мосту, через который должна была проехать коляска кардинала. Джемма начала рассказывать, не отводя глаз от того берега:

— Монтанелли был тогда каноником и ректором духовной семинарии в Пизе. Он давал Артуру уроки философии и, когда Артур поступил в университет, продолжал заниматься с ним. Они очень любили друг друга и были похожи скорее на влюбленных, чем на учителя и ученика. Артур боготворил землю, по которой ступал Монтанелли, и я помню, как он сказал мне однажды, что утопится, если лишится своего padre. Так он всегда называл Монтанелли. Ну, про донос вы знаете... На следующий день мой отец и Бертоны — сводные братья Артура, отвратительнейшие люди,— целый день пробыли на реке, отыскивая

труп, а я сидела у себя в комнате и думала о том, что я сделала..

Несколько секунд Джемма молчала.

— Поздно вечером ко мне зашел отец и сказал: «Джемма, дитя мое, сойди вниз; там пришел какой-то человек. Я хочу, чтобы ты поговорила с ним». Мы спустились в приемную. Там сидел студент, один из членов нашей группы. Бледный, весь дрожа, он рассказал мне о втором письме Джованни, в котором было написано все, что заключенные узнали от одного надзирателя о Карди, который выманил у Артура признание на исповеди. Помню, студент мне сказал: «Одно только утешение — теперь мы верим, что Артур ни в чем не виноват». Отец держал меня за руки, старался успокоить. Тогда он еще не знал о пощечине. Я вернулась к себе в комнату и провела всю ночь без сна. Утром отец и Бертоны снова отправились в гавань. У них еще оставалась надежда найти тело.

— Но ведь его не нашли?

— Не нашли. Должно быть, унесло в море, но они не оставляли поисков. Я была у себя в комнате, и вдруг приходит служанка и говорит: «Сейчас заходил какой-то священник и, узнав, что ваш отец в гавани, ушел». Я догадалась, что это Монтанелли, выбежала черным ходом и догнала его у садовой калитки. Когда я сказала ему: «Отец Монтанелли, мне нужно с вами поговорить»,— он остановился и молча посмотрел на меня. Ах, Чезаре, если бы вы видели тогда его лицо! Оно стояло у меня перед глазами долгие месяцы! Я сказала ему: «Я дочь доктора Уоррена. Это я убила Артура». И призналась ему во всем, а он стоял неподвижно, словно окаменев, и слушал меня. Когда я кончила, он сказал: «Успокойтесь, дитя мое: не вы убили Артура, а я. Я обманывал его, и он узнал об этом». Сказал — и быстро вышел из сада, не прибавив больше ни слова.

— А потом?

— Я не знаю, что было с ним потом. Слышала только в тот же вечер, что он упал на лестнице в припадке,— это было недалеко от гавани, и его внесли в один из ближайших домов. Больше я ничего не знаю. Мой отец сделал для меня все, что мог. Когда я рассказала ему обо всем, он сейчас же бросил практику и увез меня в Англию, где ничто не могло напоминать мне о прошлом... Он боялся, как бы я тоже не бросилась в воду, и, кажется, я действительно была близка к этому. А потом, когда обнаружилось, что отец болен раком, мне пришлось взять себя в руки — ведь, кроме меня, ухаживать за ним было некому. После его смерти малыши остались у меня на руках, пока мой старший брат не взял их к себе. А потом... Джованни. Знаете, первое время мы просто боялись встречаться: между нами стояло это страшное воспоминание. Он горько упрекал себя в том, что

и на нем лежит тяжкая вина — письмо, которое он написал из тюрьмы. Но я думаю, что именно общее горе и сблизило нас.

Мартини улыбнулся и покачал головой.

— Может быть, с вашей стороны так и было,— сказал он,— но для Джованни все решилось с первой же встречи. Я помню, как он вернулся в Милан после своей первой поездки в Ливорно. Он просто бредил вами и так много говорил об англичанке Джемме, что чуть не уморил меня. Я думал, что возненавижу вас... А вот и кардинал!

Карета проехала по мосту и остановилась у большого дома на набережной. Монтанелли сидел, откинувшись на подушки. Он, видимо, был очень утомлен и не замечал восторженной толпы, собравшейся у дверей, чтобы взглянуть на него. Вдохновение, озарявшее это лицо в соборе, угасло, и теперь, при ярком солнечном свете, на нем были видны следы забот и усталости. Когда он вышел из кареты и тяжелой, старческой походкой поднялся по ступенькам, Джемма повернулась и медленно зашагала к мосту. На ее лице словно отразился потухший, безнадежный взгляд Монтанелли. Мартини молча шел рядом с ней.

— Меня часто занимала мысль,— заговорила она снова,— в чем он мог обманывать Артура. И мне иногда приходило в голову...

— Да?

— Может быть, это нелепость... но между ними было такое поразительное сходство...

— Между кем?

— Между Артуром и Монтанелли. И не я одна это замечала. Кроме того, в отношениях между членами этой семьи было что-то загадочное. Миссис Бертон, мать Артура, была одной из самых милых женщин, каких я знала. Такое же одухотворенное лицо, как у Артура; да и характером, мне кажется, они были похожи. Но она всегда казалась испуганной, точно уличенная преступница. Жена ее пасынка обращалась с ней так, как порядочные люди не обращаются даже с собакой. А сам Артур был совсем не похож на всех этих вульгарных Бертонов... В детстве, конечно, многое принимаешь как должное, но потом мне часто приходило в голову, что Артур — не Бертон.

— Возможно, он узнал что-нибудь о матери, и это было причиной его самоубийства, а совсем не предательство Карди,— сказал Мартини, пытаясь хоть как-нибудь утешить Джемму.

Но она покачала головой:

— Если бы вы видели, Чезаре, какое у него было лицо, когда я его ударила, вы бы не стали так говорить. Догадки о Монтанелли, может быть, и верны — в них нет ничего неправдоподобного... Но что я сделала, то сделала.

Несколько минут они шли молча.

— Дорогая,— заговорил наконец Мартини,— если бы у нас была хоть малейшая возможность изменить то, что сделано, тогда стоило бы задумываться над старыми ошибками. Но раз их нельзя исправить — пусть мертвые оплакивают мертвых. История эта ужасна, но бедный юноша, пожалуй, счастливее многих из оставшихся в живых, которые сидят теперь по тюрьмам или томятся в изгнании. Вот о ком надо думать. Мы не вправе отдавать все наши помыслы мертвецам. Вспомните, что говорит ваш Шелли*: «Что было — смерти, будущее — мне». Берите его, пока оно ваше, и думайте не о том дурном, что вами когда-то сделано, а о том хорошем, что вы еще можете сделать.

Забывшись, Мартини взял Джемму за руку, но сейчас же отпустил ее и отступил назад, услышав позади холодный мурлыкающий голос.

— Монсеньор Монта-нелли,— томно протянул этот голос,— обладает всеми теми добродетелями, почтеннейший доктор, о которых вы говорите. Он даже слишком хорош для нашего грешного мира, и его следовало бы вежливо препроводить в другой. Я уверен, что он произвел бы там такую же сенсацию, как и здесь. На небесах, вероятно, н-немало почтенных духов, н-никогда еще не видавших такой диковинки, как честный кардинал. А духи — большие охотники до новинок...

— Откуда вы это знаете? — послышался голос Риккардо, в котором звучала нота плохо сдержанного раздражения.

— Из священного писания, мой дорогой. Если верить Евангелию, то даже самый почтенный дух имел склонность к весьма причудливым сочетаниям. А честность и к-кардинал, по-моему, весьма причудливое сочетание, такое же неприятное на вкус, как раки с медом... А! Синьор Мартини и синьора Болла! Как хорошо после дождя, не правда ли? Вы тоже слушали н-нового Савонаролу?*

Мартини быстро обернулся. Овод, с сигарой во рту и с оранжерейным цветком в петлице, протягивал ему свою узкую руку, обтянутую лайковой перчаткой. Теперь, когда солнце весело играло на его элегантных ботинках и освещало его улыбающееся лицо, Мартини показалось, что он не так уж хромает, но держится еще более самодовольно. Они пожали друг другу руки: один приветливо, другой угрюмо. В эту минуту Риккардо вдруг воскликнул:

— Вам дурно, синьора Болла!

По лицу Джеммы, прикрытому полями шляпы, разлилась мертвенная бледность; ленты, завязанные у горла, вздрагивали в такт биению сердца.

— Я поеду домой,— сказала она слабым голосом.

Подозвали коляску, и Мартини сел с Джеммой, чтобы проводить ее до дому. Поправляя плащ Джеммы, свесившийся на колесо, Овод вдруг поднял на нее глаза, и Мартини заметил, что она отшатнулась от него с выражением ужаса на лице.

— Что с вами, Джемма? — спросил он по-английски, как только они отъехали.— Что вам сказал этот негодяй?

— Ничего, Чезаре. Он тут ни при чем... Я... испугалась.

— Испугались?

— Да!.. Мне почудилось...

Джемма прикрыла глаза рукой, и Мартини молча ждал, когда она овладеет собой. И наконец лицо ее порозовело.

— Вы были совершенно правы,— повернувшись к нему, сказала Джемма своим обычным голосом,— оглядываться на страшное прошлое бесполезно. Это так расшатывает нервы, что начинаешь воображать бог знает что. Никогда не будем больше говорить об этом, Чезаре, а то я во всяком встречном начну видеть сходство с Артуром. Это точно галлюцинация, какой-то кошмар среди бела дня. Представьте: сейчас, когда этот противный фат подошел к нам, мне показалось, что я вижу Артура.

Глава V

Овод, несомненно, умел наживать личных врагов. В августе он приехал во Флоренцию, а к концу октября уже три четверти комитета, пригласившего его, были о нем такого же мнения, как и Мартини. Даже его поклонники были недовольны свирепыми нападками на Монтанелли, и сам Галли, который сначала готов был защищать каждое слово остроумного сатирика, начинал смущенно признавать, что кардинала Монтанелли лучше было бы оставить в покое: «Честных кардиналов не так уж много, с ними надо обращаться повежливее».

Единственный, кто оставался, по-видимому, равнодушным к этому граду карикатур и пасквилей, был сам Монтанелли. Не стоило даже тратить труда, говорил Мартини, на то, чтобы высмеивать человека, который относится к этому так благодушно. Рассказывали, будто, принимая у себя архиепископа флорентийского, Монтанелли нашел в комнате один из злых пасквилей Овода, прочитал его от начала до конца и передал архиепископу со словами: «А ведь не глупо написано, не правда ли?»

В начале октября в городе появился памфлет, озаглавленный «Тайна благовещения». Если бы даже под ним не стояло уже знакомой читателям «подписи» — овода с распростертыми крылышками,— большинство сразу догадалось бы, кому принадле-

жит этот памфлет, по его язвительному, желчному тону. Он был написан в форме диалога между девой Марией — Тосканой, и Монтанелли — ангелом, который возвещал пришествие иезуитов, держа в руках оливковую ветвь мира и белоснежные лилии — символ непорочности. Оскорбительные намеки и дерзкие догадки встречались там на каждом шагу. Вся Флоренция возмущалась несправедливостью и жестокостью этого пасквиля, и тем не менее, читая его, вся Флоренция хохотала до упаду. В серьезном тоне, с которым преподносились все эти нелепости, было столько комизма, что самые свирепые противники Овода восхищались памфлетом заодно с его горячими поклонниками. Несмотря на свою отталкивающую грубость, эта сатира оказала известное действие на умонастроения в городе. Репутация Монтанелли была слишком высока, чтобы ее мог поколебать какой-то пасквиль, пусть даже самый остроумный, и все же общественное мнение чуть не обернулось против него. Овод знал, куда ужалить, и, хотя карету Монтанелли по-прежнему встречали и провожали толпы народа, сквозь приветственные возгласы и благословения часто прорывались зловещие крики: «Иезуит!», «Санфедистский шпион!»

Но у Монтанелли не было недостатка в приверженцах. Через два дня после выхода памфлета влиятельный клерикальный орган «Церковнослужитель» поместил блестящую статью «Ответ на «Тайну благовещения», подписанную «Сын церкви». Это была горячая защита Монтанелли от резких выпадов Овода. Анонимный автор начинал с красноречивого изложения доктрины «на земле мир и в человеках благоволение», провозвестником которой был новый папа, требовал от Овода, чтобы тот подкрепил доказательствами хотя бы один из своих поклепов, и под конец заклинал читателей не верить презренному клеветнику. По убедительности приводимых доводов и по своим литературным достоинствам «Ответ» был намного выше обычного уровня газетных статей, и им заинтересовался весь город, тем более что даже редактор «Церковнослужителя» не знал, кто скрывается под псевдонимом «Сын церкви». Статья вскоре вышла отдельной брошюрой, и об анонимном защитнике Монтанелли заговорили во всех кофейнях Флоренции.

Овод разразился яростными нападками на нового папу и его приспешников, а в особенности на Монтанелли, осторожно намекнув, что газетный панегирик был, по всей вероятности, с его же согласия и написан. Анонимный защитник ответил на это негодующим протестом. Полемика между двумя авторами не прекращалась все время, пока Монтанелли жил во Флоренции, и публика уделяла ей больше внимания, чем самому проповеднику.

Некоторые из членов либеральной партии пытались доказать Оводу всю неуместность его злобного тона по адресу Монтанелли, но ничего этим не добились. Слушая их, он только любезно улыбался и отвечал, чуть заикаясь:

— П-поистине, господа, вы не совсем добросовестны. Делая уступку синьоре Болле, я специально выговорил себе п-право посмеяться в свое удовольствие, когда приедет М-монтанелли. Таков был уговор*.

В конце октября Монтанелли выехал к себе в епархию. Перед отъездом в прощальной проповеди он коснулся нашумевшей полемики, выразил сожаление по поводу излишней горячности обоих авторов и просил своего неизвестного защитника стать примером, заслуживающим подражания, то есть первым прекратить эту бессмысленную и недостойную словесную войну. На следующий день в «Церковнослужителе» появилась заметка, извещающая о том, что, исполняя желание монсеньора Монтанелли, высказанное публично, «Сын церкви» прекращает спор.

Последнее слово осталось за Оводом. «Обезоруженный христианской кротостью Монтанелли,— писал он в своем очередном памфлете,— я готов со слезами кинуться на шею первому встречному санфедисту и даже не прочь обнять своего анонимного противника! А если бы мои читатели знали — как знаем мы с кардиналом,— что под этим подразумевается и почему мой противник держит свое имя в тайне, они уверовали бы в искренность моего раскаяния».

В конце ноября Овод сказал в комитете, что хочет съездить недели на две к морю, и уехал,— по-видимому, в Ливорно. Но когда вскоре туда же явился доктор Риккардо и захотел повидаться с ним, его нигде не оказалось. Пятого декабря в Папской области, вдоль всей цепи Апеннинских гор, начались бурные политические выступления, и многие стали тогда догадываться, почему Оводу вдруг пришла фантазия устроить себе каникулы среди зимы. Он вернулся во Флоренцию, когда восстание было подавлено, и, встретив на улице Риккардо, сказал ему любезным тоном:

— Я слышал, что вы справлялись обо мне в Ливорно, но я застрял в Пизе. Какой чудесный старинный город! В нем чувствуешь себя, точно в счастливой Аркадии!*

На святках он присутствовал на собрании литературного комитета, происходившем в квартире доктора Риккардо. Собрание было весьма многолюдное, и, когда Овод вошел в комнату, с улыбкой прося извинить его за опоздание, для него не нашлось свободного места. Риккардо хотел было принести стул из соседней комнаты, но Овод остановил его:

— Не беспокойтесь, я отлично устроюсь.

Он подошел к окну, возле которого сидела Джемма, и, сев на подоконник, медленно откинул голову к шторе.

Джемма чувствовала на себе загадочный, как у сфинкса, взгляд Овода, придававший ему сходство с портретами кисти Леонардо да Винчи*, и ее инстинктивное недоверие к этому человеку усилилось, перешло в безотчетный страх.

На собрании был поставлен вопрос о выпуске прокламации по поводу угрожающего Тоскане голода. Комитет должен был наметить те меры, какие следовало принять против этого бедствия. Прийти к определенному решению было довольно трудно, потому что мнения, как всегда, резко разделились. Наиболее передовая часть комитета, к которой принадлежали Джемма, Мартини и Риккардо, высказывалась за обращение к правительству и к обществу с призывом немедленно оказать помощь крестьянам. Более умеренные, в том числе, конечно, и Грассини, опасались, что слишком энергичный тон обращения может только озлобить правительство, ни в чем не убедив его.

— Разумеется, господа, весьма желательно, чтобы помощь была оказана как можно скорее,— говорил Грассини, снисходительно поглядывая на волнующихся радикалов.— Но многие из нас тешат себя несбыточными мечтами. Если мы заговорим в таком тоне, как вы предлагаете, то очень возможно, что правительство не примет никаких мер, пока не наступит настоящий голод. Заставить правительство провести обследование урожая и то было бы шагом вперед.

Галли, сидевший в углу около камина, вскочил с места и накинулся на своего противника:

— Шагом вперед? Но когда голод наступит на самом деле, его этим не остановишь. Если мы пойдем такими шагами, народ перемрет, не дождавшись нашей помощи.

— Интересно бы знать...— начал было Саккони.

Но тут с разных мест раздались голоса:

— Говорите громче, не слышно!

— И не удивительно, когда на улице такой адский шум!— сердито сказал Галли.— Окно закрыто, Риккардо? Я самого себя не слышу!

Джемма оглянулась.

— Да,— сказала она,— окно закрыто. Там, кажется, проезжает бродячий цирк.

Снаружи раздавались крики, смех, топот, звон колокольчиков, и ко всему этому примешивались еще звуки скверного духового оркестра и беспощадная трескотня барабана.

— Теперь уж такие дни, приходится мириться с этим,— сказал Риккардо.— На святках всегда бывает шумно... Так что вы говорите, Саккони?

— Я говорю: интересно бы знать, что думают о борьбе с голодом в Пизе и в Ливорно. Может быть, синьор Риварес расскажет нам? Он как раз оттуда.

Овод не отвечал. Он пристально смотрел в окно и, казалось, не слышал, о чем говорили в комнате.

— Синьор Риварес! — окликнула его Джемма, сидевшая к нему ближе всех.

Овод не отозвался, и тогда она наклонилась и тронула его за руку. Он медленно повернулся к ней, и Джемма вздрогнула, пораженная страшной неподвижностью его взгляда. На одно мгновение ей показалось, что перед ней лицо мертвеца; потом губы Овода как-то странно дрогнули.

— Да, это бродячий цирк,— прошептал он.

Ее первым, инстинктивным движением было оградить Овода от любопытных взоров. Не понимая еще, в чем дело, Джемма догадалась, что он весь — и душой и телом — во власти какой-то галлюцинации. Она быстро встала и, заслонив его собой, распахнула окно, как будто затем, чтобы выглянуть на улицу. Никто, кроме нее, не видел его лица.

По улице двигалась труппа бродячего цирка — клоуны верхом на ослах, арлекины в пестрых костюмах. Праздничная толпа масок, смеясь и толкаясь, обменивалась шутками, перебрасывалась серпантином с клоунами, швыряла мешочки с леденцами коломбине, которая восседала в повозке, вся в блестках и перьях, с фальшивыми локонами на лбу и с фальшивой улыбкой на подкрашенных губах. За повозкой кто только не толпился — нищие, мальчишки, выделывавшие на ходу всякие трюки, и продавцы безделушек и сластей. Все они толкались, хохотали и аплодировали кому-то, но кому именно, Джемма сначала не могла разглядеть в этой толпе. А потом она увидела, что это был горбатый, безобразный карлик в шутовском костюме и в бумажном колпаке с бубенчиками. Он, видимо, состоял в этой труппе и забавлял зрителей страшными гримасами и кривляньем.

— Что там происходит? — спросил Риккардо, подходя к окну.— Чем вы так заинтересовались?

Его немного удивило, что они заставляют ждать весь комитет из-за каких-то комедиантов.

Джемма повернулась к нему.

— Ничего особенного,— сказала она.— Просто бродячий цирк. Но они так шумят, что я заинтересовалась, что там такое.

Она стояла, опершись о подоконник, и вдруг почувствовала, как холодные пальцы Овода сжали ей руку.

— Благодарю вас! — прошептал он, закрыл окно и, сев рядом с Джеммой, сказал шутливым тоном: — Простите, господа. Я загляделся на комедиантов. В-весьма любопытное зрелище.

— Саккони задал вам вопрос! — резко сказал Мартини.

Поведение Овода казалось ему нелепым ломанием, и он досадовал, что Джемма так бестактно последовала его примеру. Это было совсем не похоже на нее.

Овод заявил, что ему ничего не известно о настроениях в Пизе, так как он ездил туда только «отдохнуть». И тотчас же пустился рассуждать сначала о сельском хозяйстве, затем о прокламации и под конец замучил всех потоком слов и заиканием. Казалось, он находил какое-то болезненное удовольствие в звуках собственного голоса.

Когда собрание кончилось и члены комитета стали расходиться, Риккардо подошел к Мартини:

— Оставайтесь обедать. Фабрицци и Саккони тоже останутся.

— Благодарю, но я хочу проводить синьору Боллу.

— Вы, кажется, опасаетесь, что я не доберусь до дому одна? — сказала Джемма, поднимаясь и накидывая плащ.— Конечно, он останется у вас, доктор Риккардо! Ему полезно развлечься. Он слишком засиделся дома.

— Если позволите, я вас провожу,— вмешался в их разговор Овод.— Я иду в ту же сторону.

— Если вам в самом деле по дороге...

— А у вас, Риварес, не будет времени зайти к нам вечерком? — спросил Риккардо, отворяя им дверь.

Овод, смеясь, оглянулся через плечо:

— У меня, друг мой? Нет, я хочу пойти в цирк.

— Что за чудак! — сказал Риккардо, вернувшись в комнату.— Откуда у него такое пристрастие к балаганным шутам?

— Очевидно, сродство душ,— сказал Мартини.— Он сам настоящий балаганный шут.

— Хорошо, если только шут,— серьезным тоном проговорил Фабрицци.— Но шут очень опасный.

— Опасный? В каком отношении?

— Не нравятся мне его таинственные увеселительные поездки, о которых он с таким удовольствием распространялся. Это уже третья по счету, и я не верю, что он был в Пизе.

— По-моему, ни для кого не секрет, что Риварес ездит в горы,— сказал Саккони.— Он даже не очень старается скрыть свои связи с контрабандистами — давние связи, еще со времени восстания в Савиньо. И вполне естественно, что он пользуется их дружескими услугами, чтобы переправлять свои памфлеты через границу Папской области.

— Вот об этом-то я и хочу с вами поговорить,— сказал Риккардо.— Мне пришло в голову, что самое лучшее — попросить Ривареса взять на себя руководство нашей контрабандой.

Типография в Пистойе, по-моему, работает очень плохо, а доставка туда литературы одним и тем же способом — в сигарах — чересчур примитивна.

— Однако до сих пор она оправдывала себя,— упрямо возразил Мартини.

Галли и Риккардо вечно выставляли Овода в качестве образца для подражания, и Мартини начинало надоедать это. Он положительно находил, что все шло как нельзя лучше, пока среди них не появился этот «томный пират», вздумавший учить всех уму-разуму.

— Да, до сих пор она удовлетворяла нас за неимением лучшего. Но за последнее время, как вы знаете, было произведено много арестов и конфискаций. Я думаю, что, если это дело возьмет на себя Риварес, больше таких провалов не будет.

— Почему вы так думаете?

— Во-первых, на нас контрабандисты смотрят как на чужаков или, может быть, даже просто как на дойную корову, а Риварес — по меньшей мере их друг, если не предводитель. Они слушаются его и верят ему. Для участника восстания в Савиньо апеннинские контрабандисты будут рады сделать много такого, чего от них не добьется никто другой. А во-вторых, едва ли между нами найдется хоть один, кто так хорошо знал бы горы, как Риварес. Не забудьте, что он скрывался там и ему отлично известна каждая тропинка, которой они пользуются. Ни один контрабандист не посмеет обмануть Ривареса, а если даже и посмеет, то потерпит неудачу.

— Итак, вы предлагаете поручить ему доставку нашей литературы в Папскую область — распространение, адреса, тайные склады и вообще все — или только провоз через границу?

— Наши адреса и тайные склады ему, вероятно, все известны. И не только наши, а и многие другие. Так что его учить нечему. Ну, а что касается распространения — решайте. По-моему, самое важное — провоз через границу; а когда литература попадет в Болонью, распространить ее будет не так уж трудно.

— Если вы спросите меня,— сказал Мартини,— то я против такого плана. Ведь это только наше предположение, что Риварес настолько ловок. В сущности, никто из нас не видел его на этой работе, и мы не можем быть уверены, что в критическую минуту он не потеряет головы...

— О, в этом можете не сомневаться! — перебил его Риккардо.— Он головы не теряет — восстание в Савиньо лучшее тому доказательство!

— А кроме того,— продолжал Мартини,— хоть я и мало что знаю о Риваресе, но мне кажется, что ему нельзя доверять все наши партийные тайны. По-моему, он человек легкомысленный

и любит рисоваться. Передать же контрабандную доставку литературы в руки одного человека — вещь очень серьезная. Что вы об этом думаете, Фабрицци?

— Если бы речь шла только о ваших возражениях, Мартини, я бы их отбросил, поскольку Овод безусловно обладает всеми качествами, о которых говорит Риккардо. Что касается меня, то я уверен в его смелости, честности и самообладании. Горы и горцев он знает прекрасно, в этом мы уже убедились. Но есть сомнения другого рода. Я не уверен, что он ездит туда только ради контрабандной доставки своих памфлетов. По-моему, у него есть и другая цель. Это, конечно, должно остаться между нами — я высказываю только свое предположение. Мне кажется, что он связан с одной из тамошних групп, и, может быть, даже с самой опасной.

— С какой? С «Красными поясами»?

— Нет, с «Кинжальщиками».

— С «Кинжальщиками»? Но ведь это маленькая кучка бродяг, по большей части из крестьян, неграмотных, без всякого политического опыта.

— То же самое можно сказать и о повстанцах из Савиньо. Однако среди них были и образованные люди, которые ими и руководили. По-видимому, так же обстоит дело и у «Кинжальщиков». Кроме того, известно, что большинство членов самых крайних группировок в Романье — бывшие участники восстания в Савиньо, которые поняли, что в открытой борьбе клерикалов не одолеешь, и стали на путь террористических убийств. Потерпев неудачу с винтовками, они взялись за кинжалы.

— А почему вы думаете, что Риварес связан с ними?

— Это только мое предположение. Во всяком случае, прежде чем доверять ему доставку нашей литературы, надо все выяснить. Если Риварес вздумает вести оба дела сразу, он может сильно повредить нашей партии: просто погубит ее репутацию и ровно ничего не добьется. Но об этом мы еще поговорим, а сейчас я хочу поделиться с вами вестями из Рима. Ходят слухи, что предполагается назначить комиссию для выработки проекта городского самоуправления...

Глава VI

Джемма и Овод молча шли по набережной. Его потребность говорить, говорить без умолку, по-видимому, иссякла. Он не сказал почти ни слова, с тех пор как они вышли от Риккардо, и Джемму радовало его молчание. Ей всегда было как-то неловко в обществе Овода, а в этот день она чувствовала себя особенно

стесненной, потому что его странное поведение у Риккардо сильно озадачило ее.

У дворца Уффици он вдруг остановился и спросил:

— Вы не устали?

— Нет. А что?

— И не очень заняты сегодня вечером?

— Нет.

— Я прошу вас оказать мне особую милость — пойдемте гулять.

— Куда?

— Да просто так, куда вы захотите.

— Что это вам вздумалось?

Овод ответил не сразу.

— Это не так просто объяснить... Но я вас очень прошу!

Он поднял на нее глаза. Их выражение поразило Джемму.

— С вами происходит что-то странное,— мягко сказала она.

Овод выдернул цветок из своей бутоньерки и стал отрывать от него лепестки. Кого он ей напоминал? Такие же нервно-торопливые движения пальцев...

— Мне тяжело,— сказал он едва слышно, не отводя глаз от своих рук.— Сегодня вечером я не хочу оставаться наедине с самим собой. Так пойдемте?

— Да, конечно. Но не лучше ли пойти ко мне?

— Нет, пообедаем в ресторане. Это недалеко, на площади Синьории. Не отказывайтесь, прошу вас, вы уже обещали!

Они вошли в ресторан. Овод заказал обед, но сам почти не притронулся к нему, все время упорно молчал, крошил хлеб и теребил бахрому салфетки. Джемма чувствовала себя очень неловко и начинала жалеть, что согласилась пойти с ним. Молчание становилось тягостным, но ей не хотелось говорить о пустяках с человеком, который, судя по всему, забыл о ее присутствии. Наконец он поднял на нее глаза и вдруг сказал:

— Хотите посмотреть представление в цирке?

Джемма удивленно взглянула на него. Дался ему этот цирк!

— Видали вы когда-нибудь такие представления? — спросил он, раньше чем она успела ответить.

— Нет, не видала. Меня они не интересовали.

— Напрасно. Это очень интересно. Мне кажется, невозможно изучить жизнь народа, не видя таких представлений. Давайте вернемся назад, на Порта-алла-Кроче.

Бродячий цирк раскинул свой балаган за городскими воротами. Когда Овод и Джемма подошли к нему, невыносимый визг скрипок и барабанный бой возвестили о том, что представление началось.

Оно было весьма примитивно. Вся труппа состояла из несколь-

ких клоунов, арлекинов и акробатов, одного наездника, прыгавшего сквозь обручи, накрашенной коломбины и горбуна, забавлявшего публику своими глупыми ужимками. Остроты не оскорбляли уха грубостью, но были избиты и плоски. Отпечаток пошлости лежал здесь на всем. Публика со свойственной тосканцам вежливостью смеялась и аплодировала; но больше всего ее веселили выходки горбуна, в которых Джемма не находила ничего остроумного, не видела никакого искусства. Это было просто грубое и безобразное кривлянье. Зрители передразнивали его и, поднимая детей на плечи, показывали им «уродца».

— Синьор Риварес, неужели вам на самом деле это нравится? — спросила Джемма, оборачиваясь к Оводу, который стоял, прислонившись к деревянной подпорке.— По-моему...

Джемма не договорила, продолжая молча смотреть на него. Ни разу в жизни, разве только когда она стояла с Монтанелли у калитки сада в Ливорно, не приходилось ей видеть такого безграничного, безысходного страдания на человеческом лице. «Дантов ад»*,— мелькнуло у нее в мыслях.

Но вот горбун, получив пинок от одного из клоунов, сделал сальто и кубарем выкатился с арены. Начался диалог между двумя клоунами, и Овод выпрямился, точно проснувшись.

— Пойдемте,— сказал он.— Или вы хотите остаться?

— Нет, давайте уйдем.

Они вышли из балагана и по зеленой лужайке пошли к реке. Несколько минут оба молчали.

— Ну, как вам понравилось представление? — спросил Овод.

— Довольно грустное зрелище, а подчас просто неприятное.

— Что же именно вам показалось неприятным?

— Да все эти гримасы и кривлянья. Они просто безобразны. В них нет ничего остроумного.

— Вы говорите о горбуне?

Помня, с какой болезненной чувствительностью Овод относится к своим физическим недостаткам, Джемма меньше всего хотела касаться этой части представления. Но он сам заговорил о горбуне, и она подтвердила:

— Да, горбун мне совсем не понравился.

— А ведь он забавлял публику больше всех.

— Вот это самое страшное.

— Почему? Не потому ли, что его выходки антихудожественны?

— Там все антихудожественно, а это жестокость...

Он улыбнулся:

— Жестокость? По отношению к горбуну?

— Да... Сам он, конечно, относится к этому совершенно спокойно. Для него кривлянья — такой же способ зарабатывать

кусок хлеба, как прыжки для наездника и роль коломбины для актрисы. Но когда смотришь на этого горбуна, становится тяжело на душе. Его роль унизительна — это издевательство над человеческим достоинством.

— Вряд ли именно арена так принижает чувство собственного достоинства. Большинство из нас чем-то унижены.

— Да, но здесь... Вам это покажется, может быть, нелепым предрассудком, но для меня человеческое тело священно. Я не выношу, когда над ним издеваются и уродуют его.

— Человеческое тело?.. А душа?

Овод остановился и, опершись о каменный парапет набережной, посмотрел Джемме прямо в глаза.

— Душа? — повторила она, тоже останавливаясь и с удивлением глядя на него.

Он вскинул руки с неожиданной горячностью.

— Неужели вам никогда не приходило в голову, что у этого жалкого клоуна есть душа, живая, борющаяся человеческая душа, запрятанная в это скрюченное тело, душа, которую заставили служить ему, как рабыню? Вы, такая отзывчивая, жалеете тело в дурацкой одежде с колокольчиками, а подумали ли вы когда-нибудь о несчастной душе, у которой нет даже этих пестрых тряпок, чтобы прикрыть свою страшную наготу? Подумайте, как она дрожит от холода, как на глазах у всех ее душит стыд, как терзает ее, точно бич, этот смех, как жжет он ее, точно раскаленное железо! Подумайте, как она беспомощно озирается вокруг на горы, которые не хотят обрушиться на нее, на камни, которые не хотят ее придавить; она завидует даже крысам, потому что те могут заползти в нору и спрятаться там. И вспомните еще, что ведь душа немая, у нее нет голоса, она не может кричать. Она должна терпеть, терпеть и терпеть... Впрочем, я говорю глупости... Почему же вы не смеетесь? У вас нет чувства юмора!

Джемма медленно повернулась и молча пошла по набережной. За весь этот вечер ей ни разу не пришло в голову, что волнение Овода может иметь связь с бродячим цирком, и теперь, когда эта внезапная вспышка озарила его внутреннюю жизнь, она не могла найти ни слова утешения, хотя сердце ее было переполнено жалостью к нему. Он шел рядом с ней, глядя на воду.

— Поймите, прошу вас,— заговорил он вдруг, вызывающе посмотрев на нее,— все то, что я сейчас говорил,— это просто фантазия. Я иной раз даю себе волю, но не люблю, когда мои фантазии принимают всерьез.

Джемма ничего не ответила. Они молча продолжали путь. У дворца Уффици Овод вдруг быстро перешел дорогу и нагнулся над темным комком, лежавшим у решетки.

— Что с тобой, малыш? — спросил он с такой нежностью в голосе, какой Джемма у него еще не слышала.— Почему ты не идешь домой?

Комок зашевелился, послышалось неясное, жалобное бормотанье. Джемма подошла и увидела ребенка лет шести, оборванного и грязного, который скорчился на тротуаре, как испуганный зверек. Овод стоял, наклонившись над ним, и гладил его по растрепанным волосам.

— Что случилось? — повторил он, нагибаясь еще ниже, чтобы расслышать невнятный ответ.— Нужно идти домой, в постель. Маленьким детям не место ночью на улице. Ты замерзнешь. Дай руку, вставай! Ну, будь мужчиной! Где ты живешь?

Он взял ребенка за руку, но тот пронзительно вскрикнул и отшатнулся от него.

— Ну что, что с тобой? — Овод опустился рядом с ним на колени.— Ах, синьора, взгляните!

Плечо у мальчика было все в крови.

— Скажи мне, что с тобой? — ласково продолжал Овод.— Ты упал?.. Нет? Кто-нибудь побил тебя?.. Я так и думал. Кто же это?

— Дядя.

— Когда?

— Сегодня утром. Он был пьяный, а я... я...

— А ты попался ему под руку. Да? Не нужно попадаться под руку пьяным, дружок! Они этого не любят... Что же мы будем делать с этим малышом, синьора? Ну, иди на свет, сынок, дай я посмотрю твое плечо. Обними меня за шею, я ничего тебе не сделаю... Ну, вот так.

Он взял мальчика на руки и, перенеся его через улицу, посадил на широкий каменный парапет. Потом вынул из кармана нож и ловко отрезал разорванный рукав, прислонив голову ребенка к своей груди; Джемма поддерживала поврежденную руку. Плечо было все в синяках и ссадинах, повыше локтя — глубокая рана.

— Досталось тебе, малыш! — сказал Овод, перевязывая ему рану носовым платком, чтобы она не касалась куртки.— Чем это он ударил?

— Лопатой. Я попросил у него сольдо*, хотел купить в лавке, на углу, немножко поленты*, а он ударил меня лопатой.

Овод вздрогнул.

— Да,— сказал он мягко,— это очень больно.

— Он ударил меня лопатой, и я... я убежал... потому что он ударил меня.

— И все это время бродил по улицам голодный?

Вместо ответа ребенок зарыдал. Овод снял его с парапета.

— Ну, не плачь, не плачь! Сейчас мы всё уладим. Как бы только достать коляску? Они, наверное, все у театра — там сегодня большой съезд. Мне совестно таскать вас за собой, синьора, но...

— Я непременно пойду с вами. Моя помощь может понадобиться. Вы донесете его? Не тяжело?

— Ничего, донесу, не беспокойтесь.

У театра стояло несколько извозчичьих колясок, но все они были заняты. Спектакль кончился, и большинство публики уже разошлось. На афишах у подъезда крупными буквами было напечатано имя Зиты. Она танцевала в тот вечер. Попросив Джемму подождать минутку, Овод подошел к актерскому входу и обратился к служителю:

— Мадам Рени уехала?

— Нет, сударь,— ответил тот, глядя во все глаза на хорошо одетого господина с оборванным уличным мальчишкой на руках.— Мадам Рени сейчас выйдет. Ее ждет коляска... Да вот и она сама.

Зита спускалась по ступенькам под руку с молодым кавалерийским офицером. Она была ослепительно хороша в красном бархатном манто, накинутом поверх вечернего платья́, у пояса которого висел огромный веер из страусовых перьев. Цыганка остановилась в дверях и, бросив своего кавалера, быстро подошла к Оводу.

— Феличе! — вполголоса, удивленно проговорила она.— Что это у вас такое?

— Я подобрал этого ребенка на улице. Он весь избит и голоден. Надо как можно скорее отвезти его ко мне домой. Свободных колясок нет, уступите мне вашу.

— Феличе! Неужели вы собираетесь взять этого оборвыша к себе? Позовите полицейского, и пусть он отнесет его в приют или еще куда-нибудь. Нельзя же собирать у себя нищих со всего города!

— Ребенка избили,— повторил Овод.— В приют его можно отправить и завтра, если это понадобится, а сейчас ему нужно сделать перевязку, его надо накормить.

Зита брезгливо поморщилась:

— Смотрите! Он прислонился к вам головой. Как вы это терпите? Такая грязь!

Овод сверкнул на нее глазами.

— Ребенок голоден! — с яростью проговорил он.— Вы, верно, не понимаете, что это значит!

— Синьор Риварес,— сказала Джемма, подходя к ним,— моя квартира тут близко. Отнесем ребенка ко мне, и, если вы не найдете коляски, я оставлю его у себя на ночь.

Овод быстро повернулся к ней:

— Вы не побрезгаете им?

— Разумеется, нет... Прощайте, мадам Рени.

Цыганка сухо кивнула, передернула плечами, взяла офицера под руку и, подобрав шлейф, величественно проплыла мимо них к коляске, которую у нее собирались отнять.

— Синьор Риварес, если хотите, я пришлю экипаж за вами и за ребенком,— бросила она Оводу, остановившись у коляски.

— Хорошо. Я скажу куда.— Он подошел к краю тротуара, дал извозчику адрес и вернулся со своей ношей к Джемме.

Кэтти ждала хозяйку и, узнав о случившемся, побежала за горячей водой и всем, что нужно для перевязки. Овод усадил ребенка на стул, опустился рядом с ним на колени и, быстро сняв с него лохмотья, очень осторожно и ловко промыл и перевязал ему рану. Когда Джемма вошла в комнату с подносом в руках, он уже кончил возиться с ребенком и завертывал его в теплое одеяло.

— Можно теперь покормить вашего пациента? — спросила она, с улыбкой глядя на эту странную фигурку.— Я приготовила для него ужин.

Овод поднялся и собрал с полу грязные лохмотья.

— Какой мы тут наделали беспорядок! — сказал он.— Это надо сжечь, а завтра я куплю ему новое платье. Нет ли у вас коньяку, синьора? Хорошо бы дать бедняжке несколько глотков. Я же, если позволите, пойду вымыть руки.

Поев, ребенок тут же заснул на коленях у Овода, прислонившись головой к его белоснежной сорочке. Джемма помогла Кэтти прибрать комнату и снова села к столу.

— Синьор Риварес, вам надо поесть перед уходом. Вы не притронулись к обеду, а сейчас уже поздно.

— Я с удовольствием выпил бы чашку чаю. Но мне совестно беспокоить вас в такой поздний час.

— Какие пустяки! Положите ребенка на диван, ведь его тяжело держать. Подождите только, я покрою подушки простыней... Что же вы думаете делать с ним?

— Завтра? Поищу, нет ли у него других родственников, кроме этого пьяного скота. Если нет, то придется последовать совету мадам Рени и отдать его в приют. А правильнее всего было бы привязать ему камень на шею и бросить в реку. Но это грозит неприятными последствиями для меня... Спит крепким сном! Эх, бедняга! Ведь он беззащитней котенка!

Когда Кэтти принесла поднос с чаем, мальчик открыл глаза и стал с удивлением оглядываться по сторонам. Увидев своего покровителя, он сполз с дивана и, путаясь в складках одеяла, прижался к нему. Малыш настолько оправился, что в нем

проснулось любопытство: указывая на обезображенную левую руку, в которой Овод держал кусок пирожного, он спросил:

— Что это?

— Это? Пирожное. Тебе тоже захотелось?.. Нет, на сегодня довольно. Подожди до завтра!

— Нет, это! — Мальчик протянул руку и дотронулся до обрубков пальцев и большого шрама на кисти Овода.

Овод положил пирожное на стол.

— Ах, вот о чем ты спрашиваешь! То же, что и у тебя на плече. Это сделал один человек, который был сильнее меня.

— Тебе было очень больно?

— Не помню. Не больнее, чем многое другое. Ну, а теперь отправляйся спать и не задавай вопросов в такой поздний час.

Когда коляска приехала, мальчик спал, и Овод осторожно, не разбудив его, взял на руки и снес вниз.

— Вы были сегодня моим добрым ангелом,— сказал он Джемме, останавливаясь в дверях,— но, конечно, это не помешает нам ссориться в будущем, сколько душе угодно.

— Я совершенно не желаю ссориться с кем бы то ни было.

— А я желаю! Жизнь была бы невыносима без ссор. Добрая ссора — соль земли. Это даже лучше представлений в цирке.

Он тихо рассмеялся и сошел с лестницы, неся на руках спящего ребенка.

Глава VII

В первых числах января Мартини разослал приглашения на ежемесячное собрание литературного комитета и в ответ получил от Овода лаконичную записку, нацарапанную карандашом: «Весьма сожалею. Прийти не могу». Мартини это не понравилось, так как в повестке было указано: «Очень важно». Такое легкомысленное отношение к делу казалось ему чуть ли не оскорбительным. Кроме того, в тот же день пришло еще три письма с дурными вестями, и вдобавок дул восточный ветер. Все это привело Мартини в очень плохое настроение, и, когда доктор Риккардо спросил, пришел ли Риварес, он ответил сердито:

— Нет. Риварес, видимо, нашел что-нибудь поинтереснее и не может явиться, а вернее — не хочет.

— Мартини, другого такого придиры, как вы, нет во всей Флоренции,— сказал с раздражением Галли.— Если человек вам не нравится, то все, что он делает, непременно дурно. Как может Риварес прийти, если он болен?

— Кто вам сказал, что он болен?

— А вы разве не знаете? Он уже четвертый день не встает с постели.

— Что с ним?

— Не знаю. Из-за болезни он даже отложил свидание со мной, которое было назначено на четверг. А вчера, когда я зашел к нему, мне сказали, что он плохо себя чувствует и никого не может принять. Я думал, что при нем Риккардо.

— Нет, я тоже ничего не знал. Сегодня же вечером зайду к нему и посмотрю, не надо ли ему чего-нибудь.

На другое утро Риккардо, бледный и усталый, появился в маленьком кабинете Джеммы. Она сидела у стола и монотонным голосом диктовала Мартини цифры, а он с лупой в одной руке и тонко очиненным карандашом в другой делал на странице книги едва видные пометки. Джемма предостерегающе подняла руку. Зная, что нельзя прерывать человека, когда он пишет шифром, Риккардо опустился на кушетку позади нее и зевнул, с трудом пересиливая дремоту.

— «Два, четыре; три, семь; шесть, один; три, пять; четыре, один,— с монотонностью автомата продолжала Джемма.— Восемь, четыре; семь, два; пять, один». Здесь кончается фраза, Чезаре.

Она воткнула булавку на том месте, где остановилась, и повернулась к Риккардо:

— Здравствуйте, доктор. Какой у вас измученный вид! Вы нездоровы?

— Нет, здоров, только очень устал. Я провел ужасную ночь у Ривареса.

— У Ривареса?

— Да. Просидел около него до утра, а теперь надо идти в больницу. Я зашел к вам спросить, не знаете ли вы кого-нибудь, кто бы мог побыть с ним эти несколько дней. Он в тяжелом состоянии. Я, конечно, сделаю все, что могу. Но сейчас у меня нет времени, а о сиделке он и слышать не хочет.

— А что с ним такое?

— Да сложное заболевание. Прежде всего...

— Прежде всего — вы завтракали?

— Да, благодарю вас. Так вот, о Риваресе... Заболевание у него, несомненно, сложное, тут и нервы... но главная причина болезни — старая, запущенная рана. Словом, состояние тяжелое. Рана, вероятно, получена во время войны в Южной Америке. Ее, конечно, не залечили как следует: все было сделано, наверно, на скорую руку. Удивительно, как он еще жив... В результате хроническое воспаление, которое периодически обостряется, и всякий пустяк может вызвать новый приступ.

— Это опасно?

— Н-нет... В таких случаях главная опасность в том, что больной, не выдержав страданий, может принять яд.

— Значит, у него сильные боли?

— Ужасные! Удивляюсь, как он их выносит. Мне пришлось дать ему ночью опиум. Вообще я не люблю давать опиум нервнобольным, но как-нибудь надо было облегчить боль.

— Значит, у него нервное заболевание?

— Да, конечно. Но сила воли у этого человека просто небывалая. Пока он не потерял сознания, его выдержка была поразительна. Но зато и задал же он мне работу к концу ночи! И как вы думаете, когда он заболел? Это тянется уже пять суток, а при нем ни души, если не считать дуры хозяйки, которая так крепко спит, что тут хоть дом рухни — она все равно не проснется, а если и проснется, толку от нее будет мало.

— А где же эта танцовщица?

— Представьте, какая странная вещь! Он не пускает ее к себе. Его приводит в ужас мысль, что она может прийти. Не поймешь этого человека — сплошной клубок противоречий! — Риккардо вынул часы и озабоченно посмотрел на них.— Я опаздаю в больницу, но ничего не поделаешь. Придется младшему врачу начать обход без меня. Жалко, что мне не дали знать раньше: не следует запускать эту болезнь ночь за ночью.

— Но почему же он не прислал сказать, что болен? — спросил Мартини.— Мы не бросили бы его одного, ему бы следовало это знать!

— И напрасно, доктор, вы не послали вчера за кем-нибудь из нас, вместо того чтобы изматываться там самому,— сказала Джемма.

— Дорогая моя, я хотел было послать за Галли, но Риварес так вскипел при первом моем намеке, что я сейчас же отказался от этой мысли. А когда я спросил его, кого же ему привести, он испуганно посмотрел на меня, закрыл руками лицо и сказал: «Не говорите им, они будут смеяться». Это, у него навязчивая идея: ему кажется, будто люди над чем-то смеются. Я так и не понял — над чем. Он все время говорит по-испански. Но ведь больные часто несут бог знает что.

— Кто при нем теперь? — спросила Джемма.

— Никого, кроме хозяйки и ее служанки.

— Я сейчас же пойду к нему,— сказал Мартини.

— Спасибо. А я загляну вечером. Вы найдете мой листок с наставлениями в ящике стола, что у большого окна, а опиум в другой комнате, на полке. Если опять начнутся боли, дайте ему еще одну дозу — не больше одной. И ни в коем случае не оставляйте склянку на виду, а то как бы у него не явилось искушения принять больше чем следует...

Когда Мартини вошел в полутемную комнату, Овод быстро повернул голову, протянул ему горячую руку и заговорил, тщетно пытаясь сохранить обычную небрежность тона:

— А, Мартини! Вы, наверно, сердитесь за корректуру? Не ругайте меня, что я пропустил собрание комитета: я не совсем здоров, и...

— Бог с ним, с комитетом! Я видел сейчас Риккардо и пришел узнать, не могу ли я вам чем-нибудь помочь.

У Овода лицо словно окаменело.

— Это очень любезно с вашей стороны. Но вы напрасно беспокоились: я просто немножко расклеился.

— Я так и понял. Ведь Риккардо пробыл у вас всю ночь?

Овод закусил губу.

— Благодарю вас. Теперь у меня все есть, и мне ничего больше не надо.

— Прекрасно! В таком случае, я посижу в соседней комнате: может быть, вам приятнее быть одному. Я оставлю дверь полуоткрытой, чтобы вы могли позвать меня.

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Уверяю вас, мне ничего не надо. Вы только напрасно потеряете время...

— Бросьте эти глупости! — резко перебил его Мартини.— Зачем вы меня обманываете? Думаете, я слепой? Лежите спокойно и постарайтесь заснуть.

Мартини вышел в соседнюю комнату и, оставив дверь открытой, стал читать. Вскоре он услышал, как больной беспокойно зашевелился. Он отложил книгу и стал прислушиваться. Некоторое время в спальне было тихо, потом опять началось беспокойное метание, послышался вздох, словно Риварес стиснул зубы, чтобы подавить тяжелый стон. Мартини вернулся к нему:

— Может быть, нужно что-нибудь сделать, Риварес?

Ответа не последовало, и Мартини подошел к кровати.

Овод, бледный как смерть, взглянул на него и молча покачал головой.

— Не дать ли вам еще опиума? Риккардо говорил, что можно принять, если боли усилятся.

— Нет, благодарю. Я еще могу терпеть. Потом может быть хуже...

Мартини пожал плечами и сел у кровати. В течение часа, показавшегося ему бесконечным, он молча наблюдал за больным, потом встал и принес опиум.

— Довольно, Риварес! Если вы еще можете терпеть, то я не могу. Надо принять опиум.

Не говоря ни слова, Овод принял лекарство. Потом отвернулся и закрыл глаза. Мартини снова сел. Дыхание больного постепенно становилось глубже и ровнее.

Овод был так измучен, что уснул как мертвый. Час проходил за часом, а он не шевелился. Днем и вечером Мартини не раз подходил к кровати и вглядывался в это неподвижное тело — кроме дыхания, в нем не замечалось никаких признаков жизни. Лицо было настолько изможденное и бледное, что на Мартини вдруг напал страх. Что, если он дал ему слишком большую дозу опиума? Изуродованная левая рука Овода лежала поверх одеяла, и Мартини осторожно тряхнул ее, думая его разбудить. Расстегнутый рукав сполз к локтю, обнаружив страшные шрамы, покрывавшие всю руку.

— Представляете, какой вид имела эта рука, когда раны были еще свежие? — послышался сзади голос Риккардо.

— А, это вы наконец? Слушайте, Риккардо, да что, он все так и будет спать? Я дал ему опиума часов десять назад, и с тех пор он не шевельнулся ни единым мускулом.

Риккардо наклонился и прислушался к дыханию Овода.

— Ничего, дышит ровно. Это просто от сильного переутомления после такой ночи. К утру приступ может повториться. Я надеюсь, кто-нибудь посидит около него?

— Галли будет дежурить. Он прислал сказать, что придет часов в десять.

— Теперь как раз около десяти.... Ага, он просыпается! Позаботьтесь, чтобы бульон подали горячий.... Спокойно, Риварес, спокойно! Не деритесь, я не епископ.

Овод вдруг приподнялся, глядя прямо перед собой испуганными глазами.

— Мой выход? — забормотал он по-испански.— Займите публику еще минутку... А! Я не заметил вас, Риккардо.— Он оглядел комнату и провел рукой по лбу, как будто не понимая, что с ним происходит.— Мартини! Я думал, вы давно ушли! Я, должно быть, спал...

— Да еще как! Точно спящая красавица! Десять часов кряду! А теперь вам надо выпить бульону и заснуть опять.

— Десять часов! Мартини, неужели вы были здесь все время?

— Да. Я уже начинал бояться, не угостил ли я вас чересчур большой дозой опиума.

Овод лукаво взглянул на него:

— Не повезло вам на этот раз! А как спокойны и мирны были бы без меня ваши комитетские заседания!.. Чего вы, черт возьми, пристаете ко мне, Риккардо? Ради бога, оставьте меня в покое! Терпеть не могу врачей.

— Ладно, выпейте вот это, и вас оставят в покое. Через день-два я все-таки зайду и хорошенько осмотрю вас. Надеюсь, что самое худшее миновало: вы уже не так похожи на мертвеца.

— Скоро я буду совсем здоров, благодарю... Кто это?.. Галли? Сегодня у меня, кажется, собрание всех граций...

— Я останусь около вас на ночь.

— Глупости! Мне никого не надо. Идите все по домам. Если даже приступ повторится, вы все равно не поможете: я не буду больше принимать опиум. Это хорошо один-два раза.

— Да, вы правы,— сказал Риккардо.— Но придерживаться этого решения не так-то легко.

Овод посмотрел на него и улыбнулся:

— Не бойтесь. Если б у меня была склонность к этому, я давно бы стал наркоманом.

— Во всяком случае, мы не оставим вас без присмотра,— сухо ответил Риккардо.— Пройдемте на минуту в соседнюю комнату, Галли. Спокойной ночи, Риварес! Я загляну завтра.

Мартини хотел выйти следом за ними, но в эту минуту Овод негромко окликнул его и протянул ему руку:

— Благодарю вас.

— Ну что за глупости! Спите.

Риккардо ушел, а Мартини остался поговорить с Галли в соседней комнате. Отворив через несколько минут входную дверь, он увидел, как к садовой калитке подъехал экипаж, из него вышла женщина и пошла по дорожке к дому. Это была Зита, вернувшаяся, должно быть, с какого-нибудь вечера. Он приподнял шляпу, посторонился, уступая ей дорогу, и прошел садом в темный переулок, который вел к Поджио Империале. Но вот калитка сзади хлопнула, и в переулке послышались торопливые шаги.

— Подождите! — крикнула Зита.

Лишь только Мартини повернул назад, она остановилась, потом медленно пошла ему навстречу, ведя рукой по живой изгороди. При свете единственного фонаря в конце переулка Мартини увидел, что танцовщица идет, опустив голову, точно робея или стыдясь чего-то.

— Как он себя чувствует? — спросила она, не глядя на Мартини.

— Гораздо лучше, чем утром. Он спал почти весь день, и вид у него не такой измученный. Кажется, приступ проходит.

Она стояла, по-прежнему опустив голову.

— Ему было очень плохо?

— Так плохо, что хуже, по-моему, и быть не может.

— Я так и думала. Если он не пускает меня к себе, значит, ему очень плохо.

— А часто у него бывают такие приступы?

— Как когда... Летом, в Швейцарии, он совсем не болел, а прошлой зимой, когда мы жили в Вене, было просто ужасно.

Я не смела к нему входить по нескольку дней. Он не выносит моего присутствия во время болезни...

Она подняла на Мартини глаза и тут же потупилась.

— Когда ему становится плохо, он под любым предлогом отсылает меня одну на бал, на концерт или еще куда-нибудь, а сам запирается у себя в комнате. А я вернусь украдкой, сяду у его двери и сижу. Если бы он узнал об этом, мне бы так досталось! Когда собака скулит за дверью, он ее пускает, а меня — нет. Должно быть, собака ему дороже...

Она говорила все это каким-то странным, вызывающим тоном.

— Будем надеяться, что теперь дело пойдет на поправку,— ласково сказал Мартини.— Доктор Риккардо взялся за него всерьез. Может быть, и полное выздоровление не за горами. Во всяком случае, сейчас он уже не так страдает. Но в следующий раз немедленно пошлите за нами. Если бы мы узнали о его болезни вовремя, все обошлось бы гораздо легче. До свидания!

Он протянул ей руку, но она отступила назад, резко мотнув головой:

— Не понимаю, какая вам охота пожимать руку его любовнице!

— Воля ваша, но...— смущенно проговорил Мартини.

Зита топнула ногой.

— Ненавижу вас! — крикнула она, и глаза у нее засверкали, как раскаленные угли.— Ненавижу вас всех! Вы приходите, говорите с ним о политике! Он позволяет вам сидеть около него всю ночь и давать ему лекарства, а я не смею даже посмотреть на него в дверную щелку! Что он для вас? Кто дал вам право отнимать его у меня? Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

Она разразилась бурными рыданиями и, кинувшись к дому, захлопнула калитку перед носом у Мартини.

«Бог ты мой! — мысленно проговорил он, идя темным переулком.— Эта женщина не на шутку любит его! Вот чудеса!»

Глава VIII

Овод быстро поправлялся. В одно из своих посещений на следующей неделе Риккардо застал его уже на кушетке облаченным в турецкий халат. С ним были Мартини и Галли. Овод захотел даже выйти на воздух, но Риккардо только рассмеялся на это и спросил, не лучше ли уж сразу предпринять прогулку до Фьезоле.

— Можете также нанести визит Грассини,— добавил он

язвительно.— Я уверен, что синьора будет в восторге, особенно сейчас, когда на лице у вас такая интересная бледность.

Овод трагически всплеснул руками:

— Боже мой! А я об этом и не подумал! Она примет меня за итальянского мученика и будет разглагольствовать о патриотизме. Мне придется войти в роль и рассказать ей, что меня изрубили на куски в подземелье и довольно плохо потом склеили. Ей захочется узнать в точности мои ощущения. Вы думаете, ее трудно провести, Риккардо? Бьюсь об заклад, что она примет на веру самую дикую ложь, какую только можно измыслить. Ставлю свой индийский кинжал против заспиртованного солитера из вашего кабинета. Соглашайтесь, условия выгодные.

— Спасибо, я не любитель смертоносного оружия.

— Солитер тоже смертоносен, только он далеко не так красив.

— Во всяком случае, друг мой, без кинжала я как-нибудь обойдусь, а солитер мне нужен... Мартини, я должен бежать. Значит, этот беспокойный пациент остается на вашем попечении?

— Да. Но только до трех часов. Мы с Галли уезжаем в Сан-Миниато, но меня заменит синьора Болла.

— Синьора Болла?— испуганно переспросил Овод.— Нет, Мартини, это невозможно! Я не допущу, чтобы дама возилась со мной и с моими болезнями. Да и где мне ее принимать? Не здесь же!

— Давно ли вы стали так строго соблюдать приличия? — спросил, смеясь, Риккардо.— Синьора Болла — наша главная сиделка. Она начала ухаживать за больными еще тогда, когда бегала в коротеньких платьицах. Лучшей сестры милосердия я не знаю. «Не здесь же»! Да вы, может быть, говорите о госпоже Грассини?.. Мартини, если придет синьора Болла, для нее не надо оставлять никаких указаний... Боже мой, уже половина третьего! Мне пора.

— Ну, Риварес, примите-ка лекарство до ее прихода,— сказал Галли, подходя к Оводу со стаканом.

— К черту лекарства!

Как и все выздоравливающие, Овод был очень раздражителен и доставлял много хлопот своим преданным сиделкам.

— З-зачем вы пичкаете м-меня всякой дрянью, когда боли прошли?

— Именно затем, чтобы они не возобновились. Или вы хотите так обессилеть, чтобы синьоре Болле пришлось давать вам опиум?

— М-милостивый государь! Если приступы должны возобновиться, они возобновятся. Это не зубная боль, которую м-можно облегчить вашими дрянными л-лекарствами. От них столько же

пользы, сколько от игрушечного шланга на пожаре. Впрочем, как хотите, дело ваше...

Он взял стакан левой рукой. Страшные шрамы на ней напомнили Галли о бывшем у них перед тем разговоре.

— Да, кстати,— спросил он,— где вы получили эти раны? На войне, вероятно?

— Я же только что рассказывал, что меня бросили в мрачное подземелье и...

— Знаю. Но это вариант для синьоры Грассини... Нет, в самом деле, в бразильскую войну?

— Да, частью на войне, частью на охоте в диких местах... Всякое бывало.

— А! Во время научной экспедиции?.. Можете опустить рукав. С меня хватит этого зрелища... Бурное это было время в вашей жизни, должно быть?

— Разумеется, в диких странах не проживешь без приключений,— небрежно сказал Овод.— И приключения, надо сознаться, бывают часто не из приятных.

— Я все-таки не представляю себе, как вы ухитрились получить столько ранений... разве только если на вас нападали дикие звери. Например, эти шрамы на левой руке.

— А, это было во время охоты на пуму. Я, знаете, выстрелил...

Послышался стук в дверь.

— Все ли прибрано в комнате, Мартини? Да? Так отворите, пожалуйста... Вы очень добры, синьора... Извините, что я не встаю.

— И незачем вам вставать. Я не с визитом... Я пришла пораньше, Чезаре: вы, наверно, торопитесь.

— Нет, у меня еще есть четверть часа. Позвольте, я положу ваш плащ в той комнате. Корзинку можно туда же?

— Осторожно, там яйца. Самые свежие. Кэтти привезла их из Монте Оливето сегодня утром... А это рождественские розы, синьор Риварес. Я знаю, вы любите цветы.

Она присела к столу и стала подрезать стебли, потом поставила цветы в вазу.

— Риварес, вы начали рассказывать про пуму,— заговорил опять Галли.— Как же это было?

— Ах да! Галли расспрашивал меня, синьора, о жизни в Южной Америке, и я начал рассказывать ему, отчего у меня так изуродована левая рука. Это было в Перу. На охоте за пумой нам пришлось переходить реку вброд, и, когда я выстрелил, ружье дало осечку: оказывается, порох отсырел. Понятно, пума не стала дожидаться, пока я исправлю свою оплошность, и вот результат.

— Нечего сказать, приятное приключение!

— Ну, не так страшно, как кажется. Всякое бывало, конечно, но, в общем, жизнь была преинтересная. Ловля змей, например...

Он болтал, рассказывал случай за случаем — об аргентинской войне, о бразильской экспедиции, о стычках с туземцами, о встречах с дикими зверями. Галли слушал с увлечением, словно ребенок — сказку, и то и дело прерывал его вопросами. Впечатлительный, как все неаполитанцы, он любил все необычное. Джемма достала из корзинки вязанье и тоже внимательно слушала, проворно шевеля спицами и не отрывая глаз от работы. Мартини хмурился и беспокойно ерзал на стуле. Во всех этих рассказах ему слышались хвастливость и самодовольство. Несмотря на свое невольное преклонение перед человеком, способным переносить сильную физическую боль с таким поразительным мужеством,— как сам он, Мартини, мог убедиться неделю назад,— ему решительно не нравился Овод, не нравились его манеры, его поступки.

— Вот это жизнь! — вздохнул Галли с простодушной завистью.— Удивляюсь, как вы решились покинуть Бразилию. Какими скучными должны казаться после нее все другие страны!

— Лучше всего мне жилось, пожалуй, в Перу и в Эквадоре,— продолжал Овод.— Вот где действительно великолепно! Правда, слишком уж жарко, особенно в прибрежной полосе Эквадора, и условия жизни подчас очень суровы. Но красота природы превосходит всякое воображение.

— Меня, пожалуй, больше привлекает полная свобода жизни в дикой стране, чем красота природы,— сказал Галли.— Там человек может действительно сохранить свое человеческое достоинство, не то что в наших скученных городах...

— Да,— согласился Овод,— но только...

Джемма отвела глаза от работы и посмотрела на него. Он вспыхнул и не кончил фразы.

— Неужели опять начинается приступ? — спросил тревожно Галли.

— Нет, ничего, не обращайте внимания. Ваши с-снадобья помогли, хоть я и п-проклинал их... Вы уже уходите, Мартини?

— Да... Идемте, Галли, а то опоздаем.

Джемма вышла за ними и скоро вернулась со стаканом гоголь-моголя.

— Выпейте,— сказала она мягко, но настойчиво и снова села за свое вязанье.

Овод кротко повиновался.

С полчаса оба молчали. Наконец он тихо проговорил:

— Синьора Болла!

Джемма взглянула на него. Он обрывал бахрому пледа, которым была покрыта кушетка, и не поднимал глаз.

— Скажите, вы не поверили моим рассказам?

— Я ни одной минуты не сомневалась, что вы все это выдумали,— спокойно ответила Джемма.

— Вы совершенно правы. Я все время лгал.

— И о том, что касалось войны?

— Обо всем вообще. Я не участвовал в той войне. А экспедиция... Приключения там бывали, и бóльшая часть того, о чем я рассказывал,— действительные факты. Но раны мои совершенно другого происхождения. Вы поймали меня на одной лжи, и теперь я могу сознаться во всем остальном.

— Стоит ли тратить силы на сочинение таких небылиц? — спросила Джемма.— По-моему, нет.

— А что же мне было делать? Вы помните вашу английскую пословицу: «Не задавай вопросов — не услышишь лжи». Мне не доставляет ни малейшего удовольствия дурачить людей, но должен же я что-то отвечать, когда меня спрашивают, каким образом я стал калекой. А уж если врать, так врать забавно. Вы видели, как Галли был доволен.

— Неужели вам важнее позабавить Галли, чем сказать правду?

— Правду...— Он пристально взглянул на нее, держа в руке оторванную бахромку пледа.— Вы хотите, чтобы я сказал правду этим людям? Да лучше я себе язык отрежу! — И затем с какой-то неуклюжей и робкой порывистостью добавил: — Я еще никому не рассказывал правды, но вам, если хотите, расскажу.

Она молча опустила вязанье на колени. Было что-то мучительно трогательное в том, что этот черствый, скрытный, неприятный человек решил довериться женщине, которую он так мало знал и, видимо, недолюбливал.

После долгого молчания Джемма взглянула на него. Овод полулежал, облокотившись на столик, стоявший возле кушетки, и прикрыв изувеченной рукой глаза. Пальцы этой руки нервно вздрагивали, на кисти, в том месте, где был шрам, четко бился пульс. Джемма подошла к кушетке и тихо окликнула его. Он вздрогнул и поднял голову.

— Я совсем з-забыл,— проговорил он извиняющимся тоном.— Я х-хотел рассказать вам о...

— О несчастном случае... или что там было... после чего вы стали хромать. Но если вам тяжело вспоминать об этом...

— О несчастном случае? Ах, о побоях. Нет! Это не был несчастный случай! Меня просто избили кочергой.

Джемма смотрела на него в полном недоумении. Он откинул дрожащей рукой волосы со лба и улыбнулся.

— Может быть, вы присядете? Пожалуйста, придвиньте кресло поближе. К сожалению, я не могу сделать это сам. З-знаете, я, пожалуй, был бы д-драгоценной находкой для Риккардо, если бы ему пришлось лечить меня тогда. Ведь он, как истый хирург, ужасно любит поломанные кости, а у меня в тот раз было сломано, кажется, все, что только можно сломать, за исключением шеи.

— И вашего мужества,— мягко вставила Джемма.— Но, может быть, его и нельзя сломить?

Овод покачал головой.

— Нет,— сказал он,— мужество мое кое-как удалось починить потом, вместе со всем прочим, что от меня осталось. Но тогда оно было разбито, как чайная чашка. В том-то и весь ужас... Да, так я начал рассказывать о кочерге.

Это было... дайте припомнить... лет тринадцать назад, в Лиме. Я говорил, что Перу прекрасная страна, но она не так уж прекрасна для тех, кто очутился там без гроша в кармане, как было со мной. Я побывал в Аргентине, потом в Чили. Бродил по всей стране, чуть не умирая с голоду, и приехал в Лиму из Вальпараисо на судне, перевозившем скот. В самом городе мне не удалось найти работу, и я спустился к докам, в Кальяо,— решил попытать счастья там. Ну, как известно, во всех портовых городах есть трущобы, в которых собираются матросы, и в конце концов я устроился в одном из игорных притонов. Я исполнял должность повара, маркера, подавал напитки матросам и их женщинам и тому подобное. Занятие не особенно приятное, но я был рад и этому. Там меня кормили, я видел человеческие лица, слышал хоть какую-то человеческую речь. Вы, может быть, скажете, что радоваться было нечему, но недолго перед тем я болел желтой лихорадкой, долго пролежал в полуразвалившейся лачуге совершенно один, и это вселило в меня ужас... И вот однажды ночью мне велели вытолкать за дверь пьяного матроса, который стал буянить. Он в тот день сошел на берег, проиграл все свои деньги и был сильно не в духе. Мне пришлось послушаться, иначе я потерял бы место и околел с голоду; но этот человек был вдвое сильнее меня: мне пошел тогда только двадцать первый год, и после лихорадки я был слаб, как котенок. К тому же у него в руках была кочерга.— Овод замолчал и взглянул украдкой на Джемму.— Он, вероятно, хотел разделаться со мной, отправить на тот свет, но, будучи индийским матросом, выполнял свою работу небрежно и оставил меня недобитым как раз настолько, что я мог вернуться к жизни.

— А что же делали остальные? Неужели все испугались одного пьяного матроса?

Овод посмотрел на нее и расхохотался.

— Остальные! Игроки и другие завсегдатаи притона? Как же вы не понимаете! Я был слугой, собственностью этих негров, китайцев и прочего сброда. Они окружили нас и, конечно, были в восторге от такого зрелища. Там смотрят на подобные вещи как на забаву. Конечно, в том случае, если действующим лицом является кто-то другой.

Джемма содрогнулась.

— Чем же все это кончилось?

— Этого я вам не могу сказать. После такого избиения человек обычно ничего не помнит в первые дни. Но поблизости был корабельный врач, и, по-видимому, когда зрители убедились, что я не умер, за ним послали. Он починил меня кое-как. Риккардо находит, что плохо, но, может быть, в нем говорит профессиональная зависть. Как бы то ни было, когда я очнулся, одна старуха туземка взяла меня к себе из христианского милосердия — не правда ли, странно звучит? Помню, как она, бывало, сидит скорчившись, в углу хижины, сосет свою прокуренную трубку, сплевывает на пол и напевает что-то себе под нос. Старуха оказалась добрая, она все говорила, что у нее я могу умереть спокойно: никто мне не помешает. Но дух противоречия не оставил меня, и я решил выжить. Трудная это была работа — возвращаться к жизни, и теперь мне иной раз приходит в голову, что игра не стоила свеч. Терпение у этой старухи было поразительное. Я пробыл у нее... дай бог памяти... месяца четыре и все это время то бредил, то буйствовал, как медведь с болячкой в ухе. Боль была, надо сказать, довольно сильная, а я человек, изнеженный еще с детства.

— Что же было дальше?

— Дальше... кое-как поправился и уполз от старухи. Не думайте, что во мне говорила щепетильность, нежелание злоупотреблять состраданием бедной женщины. Нет, мне было не до этого. Я просто не мог больше выносить ее лачужку... Вы говорили о моем мужестве. Посмотрели бы вы на меня тогда! Приступы боли возобновлялись каждый вечер, как только начинало смеркаться. После полудня я обычно лежал один и следил, как солнце опускается все ниже и ниже... О, вам никогда этого не понять! Я и теперь не могу без ужаса видеть солнечный закат...

Наступила долгая пауза.

— Потом я пошел бродить по стране в надежде найти какую-нибудь работу. Оставаться в Лиме не было никакой возможности. Я сошел бы с ума... Добрался до Куско... Однако зачем мучить вас этой старой историей — в ней даже нет ничего занимательного.

Джемма подняла голову и посмотрела на него серьезным, глубоким взглядом.

— Не говорите так, *прошу вас*,— сказала она.

Овод закусил губу и оторвал еще одну бахромку от пледа.

— Значит, рассказывать дальше? — спросил он немного погодя.

— Если... если хотите... Но воспоминания мучительны для вас.

— А вы думаете, я забываю об этом, когда молчу? Тогда еще хуже. Но меня мучают не сами воспоминания. Нет, страшно то, что я потерял тогда всякую власть над собой.

— Я не совсем понимаю...

— Мое мужество пришло к концу, и я оказался трусом.

— Но ведь есть предел всякому терпению!

— Да, и человек, который достиг этого предела, не знает, что с ним будет в следующий раз.

— Скажите, если можете,— нерешительно спросила Джемма,— каким образом вы в двадцать лет оказались заброшенным в такую даль?

— Очень просто. Дома, на родине, жизнь улыбалась мне, но я убежал оттуда.

— Почему?

Он засмеялся коротким, сухим смехом.

— Почему? Должно быть, потому, что я был самонадеянным мальчишкой. Я рос в богатой семье, меня до невозможности баловали, и я вообразил, что весь мир сделан из розовой ваты и засахаренного миндаля. Но в один прекрасный день выяснилось, что некто, кому я верил, обманывал меня... Что с вами? Почему вы так вздрогнули?

— Ничего. Продолжайте, пожалуйста.

— Я открыл, что меня подло обманули. Случай весьма обыкновенный, конечно, но, повторяю, я был молод, самонадеян и верил, что лжецов ожидает ад. Поэтому я решил: будь что будет — и убежал в Южную Америку, без единого сольдо, не зная ни слова по-испански, будучи белоручкой, привыкшим жить на всем готовом. В результате я сам попал в настоящий ад, и это излечило меня от веры в ад воображаемый. Я уже был на самом дне... Так прошло пять лет, а потом экспедиция Дюпре вытащила меня на поверхность.

— Пять лет! Это ужасно! Но неужели у вас не было друзей?

— Друзей? — Он проговорил с яростью: — У меня *никогда* не было ни одного друга...

Но через секунду словно устыдился своей вспышки и поспешил прибавить:

— Не придавайте всему этому такого значения. Я, пожалуй, изобразил свое прошлое в слишком мрачном свете. В действительности первые полтора года были вовсе не так плохи: я был

молод, силен и довольно успешно выходил из затруднений, пока тот матрос не изувечил меня... После этого я уже не мог найти работу. Удивительно, каким совершенным оружием может быть кочерга в умелых руках! А калеку, понятно, никто не наймет.

— Что же вы делали?

— Работал где мог. Одно время услужал неграм, работавшим на сахарных плантациях. Между прочим, удивительное дело! Рабы всегда ухитряются завести себе собственного раба, и для негра нет большего удовольствия в жизни, чем измываться над своим белым слугой. Впрочем, надсмотрщики гнали меня прочь. Из-за хромоты я не мог двигаться быстро, да и большие тяжести были мне не под силу. А кроме того, у меня то и дело повторялось воспаление или как там называется эта проклятая болезнь... Через некоторое время я перекочевал с плантаций на серебряные рудники и пытался устроиться там. Но управляющие смеялись, как только я заговаривал о работе, а рудокопы буквально травили меня.

— За что?

— Такова уж, должно быть, человеческая натура. Они видели, что я могу отбиваться только одной рукой. Большинство их были жалкие подонки... А китайские кули — вот ужас! Наконец я ушел с этих рудников и отправился бродяжничать в надежде, что подвернется какая-нибудь работа.

— Бродяжничать? С больной ногой?

Овод вдруг поднял на нее глаза, судорожно переведя дыхание.

— Я... я голодал,— сказал он.

Джемма отвернулась от него и оперлась на руку подбородком.

Он помолчал, потом заговорил снова, все больше и больше понижая голос:

— Я бродил и бродил без конца, до умопомрачения и все-таки ничего не нашел. Пробрался в Эквадор, но там оказалось еще хуже. Иногда перепадала паяльная работа — я довольно хороший паяльщик — или какое-нибудь мелкое поручение. Случалось, что меня нанимали вычистить свиной хлев или... да не стоит перечислять... И вот однажды...

Тонкая смуглая рука Овода вдруг сжалась в кулак, и Джемма, подняв голову, с тревогой взглянула ему в лицо. Оно было обращено к ней в профиль, и она увидела жилку на виске, бившуюся частыми, неровными ударами. Джемма наклонилась и нежно взяла его за руку.

— Не надо больше. Это все так страшно, что даже говорить тяжело.

Он нерешительно посмотрел на ее руку, покачал головой и продолжал твердым голосом:

— И вот однажды я наткнулся на бродячий цирк. Помните, тот цирк, где мы были с вами? Так вот такой же, только еще хуже, еще непристойнее. Тамошняя публика хуже наших флорентийцев — им чем грубее, грязнее, тем лучше. Входил в программу, конечно, и бой быков. Труппа расположилась на ночлег возле большой дороги. Я подошел к ним и попросил милостыни. Погода стояла нестерпимо жаркая. Я изнемогал от голода и упал в обморок. В то время со мной часто случалось, что я терял сознание, точно институтка, затянутая в корсет. Меня внесли в палатку, накормили, дали мне коньяку, а на другое утро предложили мне...

Снова пауза.

— Им требовался горбун, вообще какой-нибудь уродец, чтобы мальчишкам было в кого бросать апельсиновыми и банановыми корками, а публике — над кем потешаться... Помните клоуна в цирке? Вот и я был таким же целых два года.

Итак, я научился выделывать кое-какие трюки. Но хозяину показалось, что я недостаточно изуродован. Это исправили: мне приделали фальшивый горб и постарались извлечь все, что можно, из больной ноги и руки. Зрители там непритязательные — можно полюбоваться, как мучают живое существо, и с них этого достаточно. А шутовской наряд довершал впечатление.

Все бы шло прекрасно, но я часто болел и не мог выходить на арену. Если содержатель труппы бывал не в духе, он требовал, чтобы я все-таки участвовал в представлении, и в такие вечера публика получала особое удовольствие. Помню, как-то раз у меня были сильные боли. Я вышел на арену и посреди представления упал в обморок. Потом очнулся и вижу: вокруг толпятся люди, все кричат, улюлюкают, забрасывают меня...

— Не надо! Я не могу больше! Ради бога, перестаньте! — Джемма вскочила, зажав уши.

Овод замолчал и, подняв голову, увидел слезы у нее на глазах.

— Боже мой! Какой я идиот! — прошептал он.

Джемма отошла к окну, и, когда она обернулась, Овод снова сидел, облокотившись на столик и прикрыв глаза рукой. Казалось, он забыл о ее присутствии. Она села возле него и после долгого молчания медленно проговорила:

— Я хочу вас спросить...

— Да? — Он не шевельнулся.

— Почему вы тогда не перерезали себе горло?

Пораженный, он взглянул на нее:

— Вот не ожидал от вас такого вопроса! А как же мое дело? Кто бы выполнил его за меня?

— Ваше дело? А-а, понимаю... И вам не стыдно говорить о

своей трусости! Претерпеть все это и не забыть о стоящей перед вами цели! Вы самый мужественный человек, какого я встречала!

Он снова прикрыл глаза рукой и горячо сжал пальцы Джеммы. Наступило молчание, которому, казалось, не будет конца. И вдруг в саду, под окнами, чистый женский голос запел французскую бесхитростную песенку:

Eh, Pierrôt! Danse, Pierrôt!
Danse un peu, mon pauvre Jeannôt!
Vive la danse et l'allégresse!
Jouissons de nôtre bell' jeunesse!
Si moi je pleure ou moi je soupire,
Si moi je fais la triste figure —
Monsieur, ce n'est que pour rire!
Ha! Ha, ha, ha!
Monsieur, ce n'est que pour rire![1]

При первых же словах этой песни Овод с глухим стоном отшатнулся от Джеммы. Но она удержала его за руку и крепко сжала ее в своих, будто стараясь облегчить ему боль во время тяжелой операции. Когда же песня оборвалась и в саду раздались аплодисменты и смех, он медленно проговорил, устремив на нее страдальческий, как у затравленного зверя, взгляд:

— Да, это Зита со своими друзьями. Она хотела прийти ко мне в тот вечер, когда здесь был Риккардо. Я сошел бы с ума от одного ее прикосновения!

— Но ведь она не понимает этого,— мягко сказала Джемма.— Она даже не подозревает, что вам тяжело с ней.

— Она креолка,— ответил он, весь передернувшись.— Помните ее лицо в тот вечер, когда мы подобрали на улице бездомного ребенка? Вот так они смеются, все эти креолы, метисы.

В саду снова раздался взрыв смеха. Джемма поднялась и распахнула окно. Кокетливо повязанная шарфом с золотой вышивкой, Зита стояла посреди дорожки, подняв над головой руку с

---

[1] Эй, Пьеро! Танцуй, Пьеро!
Потанцуй и ты, Жанно!
Веселись, мы поглядим.
Хорошо быть молодым!
Коль плачу я или вздыхаю,
Коль у меня печальный вид —
Я вас развеселить желаю!
Ха! Ха, ха, ха!
Я вас развеселить желаю! (франц.)

букетом фиалок, за которым тянулись три молодых кавалерийских офицера.

— Мадам Рени! — окликнула ее Джемма.

Словно туча нашла на лицо Зиты.

— Что вам угодно, сударыня? — спросила она, бросив на окно вызывающий взгляд.

— Попросите, пожалуйста, ваших друзей говорить немножко потише. Синьор Риварес плохо себя чувствует.

Танцовщица швырнула фиалки на землю.

— Allez-vous-en! — крикнула она, круто повернувшись к удивленным офицерам.— Vous m'embêtez, messieurs![1] — и медленно вышла из сада.

Джемма закрыла окно.

— Они ушли,— сказала она.

— Благодарю... И простите, что вам пришлось побеспокоиться из-за меня.

— Беспокойство не большое...

Он сразу уловил нерешительные нотки в ее голосе.

— Беспокойство не большое, но...? Вы не докончили фразы, синьора, там было «но».

— Если вы умеете читать чужие мысли, то не извольте обижаться на них. Правда, это не мое дело, но я не понимаю...

— Моего отвращения к мадам Рени? Это только когда я...

— Нет, я не понимаю, как вы можете жить вместе с ней, если она вызывает у вас такие чувства. По-моему, это оскорбительно для нее как для женщины, и...

— Как для женщины? — Он резко рассмеялся.— И вы называете *ее* женщиной?

— Это нечестно! — воскликнула Джемма.— Кто дал вам право говорить о ней в таком тоне с другими... и особенно с женщинами!

Овод отвернулся к окну и широко открытыми глазами посмотрел на заходящее солнце. Джемма опустила шторы и жалюзи, чтоб ему не было видно заката, потом села к столику у другого окна и снова взялась за вязанье.

—. Не зажечь ли лампу? — спросила она немного погодя.

Овод покачал головой.

Когда стемнело, Джемма свернула работу и положила ее в корзинку. Опустив руки на колени, она молча смотрела на неподвижную фигуру Овода. Тусклый вечерний свет смягчал насмешливое, самоуверенное выражение его лица и подчеркивал трагические складки у рта. В какой-то странной связи Джемма вспом-

---

[1] Уходите! Вы мне надоели, господа! (франц.)

нила вдруг каменный крест, поставленный ее отцом в память Артура, и надпись на нем:

*Все твои волны и бури прошли надо мной**.

Целый час прошел в молчании. Наконец Джемма встала и тихо вышла из комнаты. Возвращаясь назад с зажженной лампой, она остановилась в дверях, думая, что Овод заснул. Но как только свет упал на него, он повернул к ней голову.

— Я сварила вам кофе,— сказала Джемма, опуская лампу на стол.

— Поставьте его и, пожалуйста, подойдите ко мне.

Он взял ее руки в свои.

— Знаете, о чем я думал? Вы совершенно правы, моя жизнь исковеркана. Но ведь женщину, достойную твоей... любви, встречаешь не каждый день. А мне пришлось перенести столько всяких бед! Я боюсь...

— Чего?

— Темноты. Иногда я просто *не могу* оставаться один ночью. Мне нужно, чтобы рядом со мной было живое существо... Что-то осязаемое... Темнота, кромешная темнота вокруг... Нет, нет! Я боюсь не ада! Ад — это детская игрушка. Меня страшит темнота *внутренняя*... там нет ни плача, ни скрежета зубовного, а только тишина... мертвая тишина.

Зрачки у него расширились, он замолчал. Джемма ждала, затаив дыхание.

— Вы, наверно, думаете: что за фантазия! Да! Вам этого не понять — к счастью для вас самой. А у меня все шансы сойти с ума, если я буду жить один. Не судите меня слишком строго. Я не так мерзок, как, может быть, кажется на первый взгляд.

— Могу ли я судить вас? — ответила она.— Мне не приходилось испытывать такие страдания. Но беды... у кого их не было! И мне думается, если смалодушествовать и совершить несправедливость, жестокость,— раскаяния все равно не минуешь. Но вы не устояли только в этом, а я на вашем месте потеряла бы последние силы, прокляла бы бога и покончила с собой.

Овод все еще держал ее руки в своих.

— Скажите мне,— совсем тихо проговорил он,— а вам никогда не приходилось поступать жестоко?

Джемма ничего не ответила ему, но голова ее поникла, и две крупные слезы упали на его руку.

— Говорите,— горячо зашептал он, сжимая ее пальцы,— говорите! Ведь я рассказал вам о всех своих страданиях.

— Да... Много лет назад... Я была жестока с человеком, которого любила больше всех на свете.

Руки, сжимавшие ее пальцы, судорожно вздрогнули, но не разжались.

— Он был нашим товарищем,— продолжала Джемма,— его оболгали, на него возвели явный поклеп в полиции, а я всему поверила. Я ударила его по лицу как предателя... Он ушел и утопился. Через два дня я узнала, что он был ни в чем не виновен... Такое воспоминание, пожалуй, похуже ваших... Я охотно дала бы отсечь себе правую руку, если бы этим можно было исправить то, что сделано.

Новый для нее, опасный огонек сверкнул в глазах Овода.

Он быстро склонил голову и поцеловал руку Джеммы. Она испуганно отшатнулась от него.

— Не надо! — сказала она умоляющим тоном.— Никогда больше не делайте этого. Мне тяжело.

— А разве тому, кого вы убили, не было тяжело?

— Тому, кого я убила... Ах, вот идет Чезаре! Наконец-то! Мне... мне надо идти.

Войдя в комнату, Мартини застал Овода одного. Около него стояла нетронутая чашка кофе, и он тихо и монотонно, видимо не получая от этого никакого удовольствия, сыпал ругательствами.

Глава IX

Несколько дней спустя Овод вошел в читальный зал общественной библиотеки и спросил собрание проповедей кардинала Монтанелли. Он был еще очень бледен и хромал сильнее, чем всегда. Риккардо, сидевший за соседним столом, поднял голову. Он любил Овода, но не выносил в нем одной черты — озлобленности на всех и вся.

— Подготовляете очередное нападение на несчастного кардинала? — язвительно спросил Риккардо.

— Почему это вы, милейший, в-всегда приписываете людям з-злые умыслы? Это отнюдь не по-христиански. Я просто готовлю статью о современном богословии для н-новой газеты.

— Для какой новой газеты? — Риккардо нахмурился.

Ни для кого не было тайной, что оппозиция только дожидалась нового закона о печати, чтобы поразить читателей газетой радикального направления, но открыто об этом не говорили.

— Для «Шарлатана», или, как она называется,— «Церковная хроника»?

— Тише, Риварес! Мы мешаем другим.

— Ну, так вернитесь к своей хирургии, если это ваше дело, и предоставьте м-мне заниматься моим делом — богословием.

Я не м-мешаю вам возиться со сломанными костями, хотя знаю о них гораздо больше, чем вы.

И Овод погрузился в изучение тома проповедей. Вскоре к нему подошел один из библиотекарей:

— Синьор Риварес, если не ошибаюсь, вы были членом экспедиции Дюпре, исследовавшей притоки Амазонки. Помогите нам выйти из затруднения. Одна дама спрашивала отчеты этой экспедиции, а они как раз у переплетчика.

— Какие сведения ей нужны?

— Она хочет знать только, когда экспедиция выехала и когда она проходила через Эквадор.

— Экспедиция выехала из Парижа осенью тысяча восемьсот тридцать седьмого года и прошла через Кито в апреле тридцать восьмого. Мы провели три года в Бразилии, потом спустились к Рио и вернулись в Париж летом сорок первого года. Не нужны ли вашей читательнице даты отдельных открытий?

— Нет, спасибо. Это как раз то, что ей требуется. Я все записал. Беппо, отнесите, пожалуйста, этот листок синьоре Болле... Еще раз благодарю вас, синьор Риварес. Простите за беспокойство.

Нахмурившись, Овод откинулся на спинку стула. Зачем ей понадобились эти даты? Зачем ей знать, когда экспедиция проходила через Эквадор?

Джемма ушла домой с полученной справкой. Апрель 1838 года, а Артур умер в мае 1833. Пять лет...

Она взволнованно ходила по комнате. Последние ночи ей плохо спалось, и под глазами у нее были темные круги.

Пять лет... И он говорил о «богатом доме», о ком-то, «кому он верил и кто его обманул»... Обманул его, а обман открылся...

Она остановилась и подняла обе руки к голове. Нет, это чистое безумие! Этого не может быть... А между тем как тщательно обыскали они тогда всю гавань!

— Пять лет... И ему не было двадцати одного, когда тот матрос... Значит, он убежал из дому девятнадцати лет. Ведь он сказал: «полтора года»... А эти синие глаза и эти нервные пальцы? И отчего он так озлоблен против Монтанелли? Пять лет... Пять лет...

Если бы только знать наверное, что Артур утонул, если бы она видела его труп... Когда-нибудь эта старая рана зажила бы наконец и тяжелое воспоминание перестало бы так мучить ее. И лет через двадцать она, может быть, привыкла бы оглядываться на прошлое без ужаса.

Вся ее юность была отравлена мыслью об этом поступке. День

за днем, год за годом стойко боролась она с угрызениями совести. Она не переставала твердить себе, что служит будущему, и старалась отгородиться от неотступного призрака прошлого. Но изо дня в день, из года в год ее преследовал образ утопленника, уносимого в море, в сердце звучал горький вопль, который она не могла заглушить: «Артур погиб! Я убила его!» Порой ей казалось, что такое бремя слишком тяжело для ее плеч.

И, однако, Джемма отдала бы теперь половину жизни, чтобы снова почувствовать это бремя. Горькая мысль, что она убила Артура, стала привычной; ее душа слишком долго изнемогала под этой тяжестью, чтобы упасть под ней теперь. Но если она толкнула его не в воду, а... Джемма опустилась на стул и закрыла лицо руками. И подумать, что вся ее жизнь была омрачена призраком его смерти! О, если бы она толкнула его только на смерть, а не на что-либо худшее!

Подробно, безжалостно вспоминала Джемма весь ад его прошлой жизни. И так ярко предстал этот ад в ее воображении, словно она видела и испытала все это сама: дрожь беззащитной души, надругательства горше смерти, ужас одиночества и неотступные жестокие муки. Так ясно видела она эту грязную лачугу, как будто сама была там, как будто страдала вместе с ним на серебряных рудниках, на кофейных плантациях, в этом страшном бродячем цирке...

Бродячий цирк... Отогнать от себя хотя бы эту мысль... Ведь так можно потерять рассудок!

Джемма выдвинула ящик письменного стола. Там у нее лежало несколько реликвий, с которыми она не могла заставить себя расстаться. Она не отличалась сентиментальностью и все-таки хранила кое-что на память: это была уступка той слабой стороне ее «я», которую Джемма всегда так упорно подавляла в себе. Она очень редко позволяла себе заглядывать в этот ящик.

Вот они — первое письмо Джованни, цветы, что лежали в его мертвой руке, локон ее ребенка, увядший лист с могилы отца. На дне ящика лежал портрет Артура, когда ему было десять лет,— единственный его портрет.

Джемма опустилась на стул и глядела на прекрасную детскую головку до тех пор, пока образ Артура-юноши не встал перед ней. Как ясно она видела теперь его лицо! Нежная линия рта, большие серьезные глаза, ангельская чистота выражения — все это так запечатлелось в ее памяти, как будто он умер вчера. И медленные слепящие слезы скрыли от нее портрет.

Как могла ей прийти в голову такая мысль! Разве не святотатство навязывать этому светлому далекому духу грязь и скорбь жизни? Видно, боги любили его и дали ему умереть молодым. В тысячу раз лучше перейти в небытие, чем остаться жить и

превратиться в Овода, в этого Овода с его роскошными галстуками, сомнительными остротами, язвительностью и с этой танцовщицей... Нет, нет! Это страшный плод ее воображения. Она ранит себе сердце пустыми выдумками — Артур мертв!

— Можно войти? — негромко спросили у двери.

Джемма вздрогнула так сильно, что портрет выпал у нее из рук. Овод прошел, хромая, через всю комнату, поднял его и подал ей.

— Как вы меня испугали! — сказала она.

— П-простите, пожалуйста. Быть может, я вам помешал?

— Нет, я перебирала разные старые вещи.

С минуту Джемма колебалась, потом протянула ему портрет:

— Что вы скажете об этой головке?

И пока Овод рассматривал портрет, она следила за ним так напряженно, точно вся ее жизнь зависела от выражения его лица. Но он только критически поднял брови и сказал:

— Трудную вы мне задали задачу. Миниатюра выцвела, а детские лица вообще читать нелегко. Но мне думается, что этот ребенок должен был стать несчастным человеком. И самое разумное, что он мог сделать, это остаться таким вот малышом.

— Почему?

— Посмотрите на линию нижней губы. В нашем мире нет места таким натурам. Для них с-страдание есть с-страдание, а неправда — неправда. Здесь нужны люди, которые умеют думать только о своем деле.

— Портрет никого вам не напоминает?

Он еще пристальнее посмотрел на миниатюру.

— Да. Как странно!.. Да, конечно, очень похож...

— На кого?

— На к-кардинала М-монтанелли. Быть может, у этого безупречного пастыря имеется племянник? Позвольте полюбопытствовать, кто это?

— Это детский портрет друга, о котором я вам недавно говорила.

— Того, кого вы убили?

Джемма невольно вздрогнула. Как легко и с какой жестокостью произнес он это страшное слово!

— Да, того, кого я убила... если он действительно умер.

— Если?

Она не спускала глаз с его лица.

— Иногда я в этом сомневаюсь. Тела ведь так и не нашли. Может быть, он, как и вы, убежал из дому и уехал в Южную Америку.

— Будем надеяться, что нет. Вам было бы тяжело жить с такой мыслью. В свое время я участвовал в жестоких схватках и

мне пришлось препроводить, может быть, не одного человека в царство теней, но, если б я знал, что какое-то живое существо по моей вине отправилось в Южную Америку, я потерял бы сон.

— Значит, вы думаете,— сказала Джемма, сжав руки и подходя к нему,— что, если бы этот человек не утонул... а пережил то, что пережили вы, он никогда не вернулся бы домой и не предал бы прошлое забвению? Вы думаете, он не мог бы простить? Ведь и мне это многого стоило! Смотрите!

Она откинула со лба тяжелые пряди волос. Меж черных локонов проступала широкая серебряная полоса.

Наступило долгое молчание.

— Я думаю,— медленно сказал Овод,— что мертвым лучше оставаться мертвыми. Прошлое трудно забыть. И на месте вашего друга я продолжал бы ос-таваться мертвым. Встреча с привидением — вещь неприятная.

Джемма положила портрет в ящик и заперла его на ключ.

— Жестокая мысль,— сказала она.— Поговорим о чем-нибудь другом.

— Я пришел посоветоваться с вами об одном небольшом деле, если возможно — по секрету. Мне пришел в голову некий план.

Джемма придвинула стул к столу и села.

— Что вы думаете о проектируемом законе относительно печати? — начал он ровным голосом, без обычного заикания.

— Что я думаю? Я думаю, что проку от него будет мало, но лучше это, чем совсем ничего.

— Несомненно. Вы, следовательно, собираетесь работать в одной из новых газет, которые хотят издавать здешние добрые люди?

— Да, я бы хотела этим заняться. При выпуске новой газеты всегда бывает много технической работы: поиски типографии, распространение и...

— И долго вы намерены губить таким образом свои способности?

— Почему «губить»?

— Конечно, губить. Ведь для вас не секрет, что вы гораздо умнее большинства мужчин, с которыми вам приходится работать, а вы позволяете им превращать вас в какую-то подсобную силу. В умственном отношении Грассини и Галли просто школьники в сравнении с вами, а вы сидите и правите их статьи, точно мальчишка-ученик.

— Во-первых, я не все время трачу на чтение корректур, а во-вторых, вы сильно преувеличиваете мои способности: они не так блестящи, как вам кажется.

— Я вовсе не считаю их блестящими,— спокойно ответил

Овод.— У вас твердый и здравый ум, что гораздо важнее. На этих унылых заседаниях комитета вы первая замечаете ошибки ваших товарищей.

— Вы несправедливы к ним. У Мартини очень хорошая голова, а в способностях Фабрицци и Лега я не сомневаюсь. Что касается Грассини, то он знает экономическую статистику Италии, может быть, лучше всякого чиновника.

— Это еще не так много. Но бог с ними! Факт остается фактом: с вашими способностями вы могли бы выполнять более серьезную работу и играть более ответственную роль.

— Я вполне довольна своим положением. Моя работа, может статься, не так уж важна, но ведь всякий делает, что может.

— Синьора Болла, мы с вами говорим начистоту, не стоит нам одаривать друг друга комплиментами и скромничать. Ответьте мне прямо: признаете ли вы, что ваша теперешняя работа может выполняться людьми, стоящими гораздо ниже вас по уму?

— Ну, если уж вы так настаиваете, то, пожалуй, это до известной степени верно.

— Так почему же вы это допускаете?

Молчание.

— Почему вы это допускаете?

— Потому что я тут бессильна.

— Бессильны? Не понимаю!

Она укоризненно взглянула на него:

— Это не великодушно... Нехорошо так настойчиво требовать ответа.

— А все-таки вы мне ответите.

— Ну хорошо. Потому что моя жизнь разбита. У меня нет сил взяться теперь за что-нибудь настоящее. Я гожусь только в труженицы, на партийную техническую работу. Ее я, по крайней мере, исполняю добросовестно, а ведь кто-нибудь должен ею заниматься.

— Да. Разумеется, кто-нибудь должен, но, конечно, не один и тот же человек.

— Я, кажется, только на это и способна.

Он прищурился, бросив на нее загадочный взгляд. Джемма подняла голову.

— Мы возвращаемся к прежней теме, а ведь у нас должен быть деловой разговор. Зачем говорить со мной о работе, которую я могла бы делать? Я ее не сделаю теперь. Но я могу помочь вам обдумать ваш план. В чем он состоит?

— Вы начинаете с заявления, что предлагать вам работу бесполезно, а потом спрашиваете, что я предлагаю. Мне нужно, чтобы вы не только обдумали мой план, но и помогли его выполнить.

— Расскажите сначала, в чем дело, а потом поговорим.

— Прежде всего я хочу знать вот что: слыхали вы что-нибудь о подготовке восстания в Венеции?

— Со времени амнистии ни о чем другом не говорят, как о предстоящих восстаниях и о санфедистских заговорах, но я скептически отношусь и к тому и к другому.

— Я тоже в большинстве случаев. Но сейчас речь идет о серьезной подготовке к восстанию против австрийцев целой провинции. В Папской области — особенно в четырех легатствах — молодежь намеревается тайно перейти границу и примкнуть к восставшим. Друзья из Романьи сообщают мне...

— Скажите,— прервала его Джемма,— вы вполне уверены, что на ваших друзей можно положиться?

— Вполне. Я знаю их лично и работал с ними.

— Иначе говоря, они члены той же организации, что и вы? Простите мне мое недоверие, но я всегда немного сомневаюсь в точности сведений, получаемых от тайных организаций. Мне кажется...

— Кто вам сказал, что я член какой-то тайной организации? — резко спросил он.

— Никто, я сама догадалась.

— А! — Овод откинулся на спинку стула и посмотрел на Джемму, нахмурившись.— Вы всегда угадываете чужие тайны?

— Очень часто. Я довольно наблюдательна и имею привычку устанавливать связь между фактами. Так что будьте осторожны со мной.

— Я ничего не имею против того, чтобы вы знали о моих делах, лишь бы дальше не шло. Надеюсь, что эта ваша догадка не стала достоянием...

Джемма посмотрела на него не то удивленно, не то обиженно.

— По-моему, это излишний вопрос,— сказала она.

— Я, конечно, знаю, что вы ничего не станете говорить посторонним, но членам вашей партии, быть может...

— Партия имеет дело с фактами, а не с моими догадками и домыслами. Само собой разумеется, что я никогда ни с кем об этом не говорила.

— Благодарю вас. Вы, быть может, угадали даже, к какой организации я принадлежу?

— Я надеюсь... не обижайтесь только... вы ведь сами начали этот разговор,— я надеюсь, что это не «Кинжальщики».

— Почему вы на это надеетесь?

— Потому что вы достойны лучшего.

— Все мы достойны лучшего, чем есть на самом деле. Вот вам ваш же ответ. Я, впрочем, состою членом организации «Красные пояса». Там более крепкий народ, серьезнее относятся к своему делу.

— Под «делом» вы имеете в виду убийства?

— Да, между прочим, и убийства. Кинжал — очень полезная вещь, но лишь тогда, когда за ним стоит хорошо организованная пропаганда. В этом-то я и расхожусь с той организацией. Они думают, что кинжал может устранить любую трудность, и сильно ошибаются: устранить можно многое, но не все.

— Неужели вы в самом деле верите в это?

Овод с удивлением посмотрел на нее.

— Конечно,— продолжала Джемма,— с помощью кинжала можно устранить конкретного носителя зла — какого-нибудь шпика или особо зловредного представителя власти,— но не возникнет ли на месте прежнего препятствия новое, более серьезное? Вот в чем вопрос! Не получится ли, как в притче о выметенном и прибранном доме и о семи злых духах?* Ведь каждый новый террористический акт еще больше озлобляет полицию, а народ приучает смотреть на жестокости и насилие как на самое обыкновенное дело.

— А что же, по-вашему, будет, когда грянет революция? Народу придется привыкать к насилию. Война есть война.

— Это совсем другое дело. Революция — преходящий момент в жизни народа. Такова цена, которую мы платим за движение вперед. Да! Во время революций насилия неизбежны, но это будет только в отдельных случаях, это будут исключения, вызванные исключительностью исторического момента. А в террористических убийствах самое страшное то, что они становятся чем-то заурядным, на них начинают смотреть как на нечто обыденное, у людей притупляется чувство святости человеческой жизни. Я редко бывала в Романье, но по тому, что мне пришлось наблюдать в этой области, у меня сложилось впечатление, что там вошли или входят в обыкновение насильственные методы борьбы.

— Лучше это, чем послушание и покорность.

— Не думаю... Во всякой привычке есть что-то дурное, рабское, а эта, кроме всего прочего, воспитывает в людях жестокость. Если революционная деятельность должна заключаться только в том, чтобы вырывать у правительства те или иные уступки, тогда тайные организации и кинжал покажутся вам лучшим оружием в борьбе, ибо правительства боятся их больше всего на свете. Но если вы думаете — так же как и я,— что борьба с правительством — это лишь средство, то главная наша цель — изменить отношение человека к человеку. Приучая невежественных людей к виду крови, вы уменьшаете в их глазах ценность человеческой жизни.

— А ценность религии?

— Не понимаю.

Он улыбнулся:

— Мы с вами расходимся во мнениях относительно того, где корень всех наших бед. По-вашему, он в недооценке человеческой жизни...

— Вернее, в недооценке человеческой личности, которая священна.

— Извольте, можно и так. Но, по-моему, главная причина всех наших несчастий и ошибок — душевная болезнь, именуемая религией.

— Вы говорите о какой-нибудь одной религии?

— О нет! Они отличаются одна от другой лишь внешними симптомами. А сама болезнь — это религиозная направленность ума, это потребность человека создать себе фетиш и обоготворить его, пасть ниц перед кем-нибудь и поклоняться кому-нибудь. Кто это будет — Христос, Будда или дикарский тотем,— не имеет значения. Вы, конечно, не согласитесь со мной. Можете считать себя атеисткой, агностиком*, кем заблагорассудится,— все равно я за пять шагов чувствую вашу религиозность. Впрочем, наш спор бесцелен, хотя вы грубо ошибаетесь, думая, что я рассматриваю террористические акты только как способ расправы со зловредными представителями власти. Нет, это способ — и, по-моему, наилучший способ — подрывать авторитет церкви и приучать народ к тому, чтобы он смотрел на ее служителей как на паразитов.

— А когда вы достигнете своей цели, когда вы разбудите зверя, дремлющего в человеке, и натравите его на церковь, тогда...

— Тогда я скажу, что сделал свое дело, ради которого стоило жить.

— Так вот о каком деле шла речь в тот раз!

— Да, вы угадали.

Она вздрогнула и отвернулась от него.

— Вы разочаровались во мне? — с улыбкой спросил Овод.

— Нет, не разочаровалась... Я... я, кажется, начинаю бояться вас.

Прошла минута, и, взглянув на него, Джемма проговорила своим обычным деловым тоном:

— Да, спорить нам бесполезно. У нас слишком разные мерила. Я, например, верю в пропаганду, пропаганду и еще раз пропаганду и в открытое восстание, если оно возможно.

— Тогда вернемся к моему плану. Он имеет отношение к пропаганде, но только некоторое, а к восстанию — непосредственное.

— Я вас слушаю.

— Итак, я уже сказал, что из Романьи в Венецию направляется много добровольцев. Мы еще не знаем, когда вспыхнет вос-

стание. Быть может, не раньше осени или зимы. Но добровольцев в Апеннинах нужно вооружить, чтобы они по первому зову могли двинуться к равнинам. Я взялся переправить им в Папскую область оружие и боевые припасы...

— Погодите минутку... Как вы работаете с этими людьми? Революционеры в Венеции и Ломбардии стоят за нового папу. Они сторонники либеральных реформ и положительно относятся к прогрессивному церковному движению. Как можете вы, такой непримиримый антиклерикал, уживаться с ними?

Овод пожал плечами:

— Что мне до того, что они забавляются тряпичной куклой? Лишь бы делали свое дело! Да, конечно, они будут носиться с папой. Почему это должно меня тревожить, если мы все же идем на восстание? Побить собаку можно любой палкой, и любой боевой клич хорош, если с ним поднимешь народ на австрийцев.

— Чего же вы ждете от меня?

— Главным образом, чтобы вы помогли мне переправить оружие через границу.

— Но как я это сделаю?

— Вы сделаете это лучше всех. Я собираюсь закупить оружие в Англии, и с доставкой предстоит немало затруднений. Ввозить через порты Папской области невозможно; значит, придется доставлять в Тоскану, а оттуда переправлять через Апеннины.

— Но тогда у вас будут две границы вместо одной!

— Да, но все другие пути безнадежны. Ведь привести большое судно в неторговую гавань нельзя, а вы знаете, что в Чивита-Веккиа заходит самое большее три парусные лодки да какая-нибудь рыбачья шхуна. Если только мы доставим наш груз в Тоскану, я берусь провезти его через границу Папской области. Мои товарищи знают там каждую горную тропинку, и у нас много мест, где можно прятать оружие. Судно должно прийти морским путем в Ливорно, и в этом-то главное затруднение. У меня нет там связей с контрабандистами, а у вас, вероятно, есть.

— Дайте мне подумать пять минут.

Джемма облокотилась о колено, подперев подбородок ладонью, и вскоре сказала:

— Я, вероятно, смогу вам помочь, но до того, как мы начнем обсуждать все подробно, ответьте на один вопрос. Вы можете дать мне слово, что это дело не будет связано с убийствами и вообще с насилием?

— Разумеется! Я никогда не предложил бы вам участвовать в том, чего вы не одобряете.

— Когда нужен окончательный ответ?

— Время не терпит, но я могу подождать два-три дня.

— Вы свободны в субботу вечером?

— Сейчас скажу... сегодня четверг... да, свободен.

— Ну, так приходите ко мне. За это время я все обдумаю и дам вам ответ.

В следующее воскресенье Джемма послала комитету флорентийской организации мадзинистов письмо, в котором сообщала, что намерена заняться одним делом политического характера и поэтому не сможет исполнять в течение нескольких месяцев ту работу, за которую до сих пор была ответственна перед партией.

В комитете ее письмо вызвало некоторое удивление, но возражать никто не стал. Джемму давно знали в партии как человека, на которого можно положиться, и члены комитета решили, что если синьора Болла предпринимает неожиданный шаг, то имеет на это основательные причины.

Мартини Джемма сказала прямо, что берется помочь Оводу в кое-какой «работе на границе». Она заранее выговорила себе право быть до известной степени откровенной со своим старым другом — ей не хотелось, чтобы между ними возникали мучительные сомнения и тайны. Она считала себя обязанной доказать, что доверяет ему. Мартини ничего не сказал ей, но Джемма поняла, что эта новость глубоко его огорчила.

Они сидели у нее на террасе, глядя на видневшийся вдали, за красными крышами, Фьезоле. После долгого молчания Мартини встал и принялся ходить взад и вперед, заложив руки в карманы и посвистывая, что служило у него верным признаком волнения. Несколько минут Джемма молча смотрела на него.

— Чезаре, вас это очень обеспокоило,— сказала она наконец.— Мне ужасно неприятно, что вы так волнуетесь, но я не могла поступить иначе.

— Меня смущает не дело, за которое вы беретесь,— ответил он мрачно.— Я ничего о нем не знаю и думаю, что, если вы соглашаетесь принять в нем участие, значит, оно того заслуживает. Но я не доверяю человеку, с которым вы собираетесь работать.

— Вы, вероятно, не понимаете его. Я тоже не понимала, пока не узнала ближе. Овод далек от совершенства, но он гораздо лучше, чем вы думаете.

— Весьма вероятно.— С минуту Мартини молча шагал по террасе, потом вдруг остановился.— Джемма, откажитесь! Откажитесь, пока не поздно. Не давайте этому человеку втянуть вас в его дела, чтобы не раскаиваться впоследствии.

— Ну что вы говорите, Чезаре! — мягко сказала Джемма.— Никто меня ни во что не втягивает. Я пришла к своему решению

самостоятельно, хорошо все обдумав. Я знаю, вы не любите Ривареса, но речь идет о политической работе, а не о личностях.

— Мадонна, откажитесь! Это опасный человек. Он скрытен, жесток, не останавливается ни перед чем... и он любит вас.

Она отшатнулась от него:

— Чезаре, как вы могли вообразить такую нелепость!

— Он любит вас,— повторил Мартини.— Оставьте его, мадонна!

— Чезаре, милый, я не могу его оставить и не могу объяснить вам, почему. Мы связаны друг с другом... не по собственной воле.

— Если это так, то мне больше нечего сказать,— ответил Мартини усталым голосом.

Он ушел, сославшись на неотложные дела, и долго бродил по улицам. Все рисовалось ему в черном свете в тот вечер. Было у него единственное сокровище, и вот явился этот хитрец и украл его.

Глава X

В середине февраля Овод уехал в Ливорно. Джемма свела его там с одним экспедитором, либерально настроенным англичанином, которого она и ее муж знали еще в Англии. Он уже не раз оказывал небольшие услуги флорентийским радикалам: ссужал их в трудную минуту деньгами, разрешал пользоваться адресом своей фирмы для партийной переписки и тому подобное. Но все это делалось через Джемму, из дружбы к ней. Согласно партийной дисциплине, она могла пользоваться этим знакомством по своему усмотрению. Но теперь успех был сомнителен. Одно дело — попросить дружески настроенного иностранца дать свой адрес для писем из Сицилии или спрятать в сейфе его конторы какие-нибудь документы, и совсем другое — предложить ему перевезти контрабандой огнестрельное оружие для повстанцев. Джемма не надеялась, что он согласится.

— Можно, конечно, попробовать,— сказала она Оводу,— но я не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Если б вы пришли к Бэйли с моей рекомендацией и попросили пятьсот скудо*, отказа не было бы: он человек в высшей степени щедрый. Может одолжить в трудную минуту свой паспорт или спрятать у себя в подвале какого-нибудь беглеца. Но если вы заговорите с ним о ружьях, он удивится и примет нас обоих за сумасшедших.

— Но, может, он посоветует мне что-нибудь или сведет меня с кем-нибудь из расположенных к нам матросов,— ответил Овод.— Во всяком случае, надо попытаться.

Однажды, в конце месяца, он пришел к ней одетый менее элегантно, чем всегда, и она сразу увидела по его лицу, что у него есть хорошие новости.

— Наконец-то! А я уже начала бояться, не случилось ли с вами чего-нибудь.

— Я решил, что писать опасно, а раньше вернуться не мог.

— Вы только что приехали?

— Да, прямо с дилижанса. Я пришел сказать, что все улажено.

— Неужели Бэйли согласился помочь?

— Больше чем помочь. Он взял на себя все дело: упаковку, фрахт — все решительно. Ружья будут спрятаны в тюках товаров и придут прямо из Англии. Его компаньон и близкий друг Вильямс соглашается лично наблюдать за отправкой груза из Саутгемптона, а Бэйли протащит его через таможню в Ливорно. Потому-то я и задержался так долго: Вильямс как раз уезжал в Саутгемптон, и я проводил его до Генуи.

— Чтобы обсудить по дороге все дела?

— Да. И мы говорили до тех пор, пока меня не укачало.

— Вы страдаете морской болезнью? — быстро спросила Джемма, вспомнив, как мучился Артур, когда ее отец повез однажды их обоих кататься по морю.

— Совершенно не переношу моря, несмотря на то что мне много приходилось плавать... Но мы успели поговорить, пока пароход грузили в Генуе. Вы, конечно, знаете Вильямса? Славный малый, неглупый и заслуживает полного доверия. Бэйли ему в этом отношении не уступает, и оба они умеют держать язык за зубами.

— Все-таки Бэйли идет на большой риск, соглашаясь на такое дело.

— Так я ему и сказал, но он лишь мрачно посмотрел на меня и ответил: «А вам-то что?» Другого ответа от него трудно было ожидать. Попадись он мне где-нибудь в Тимбукту, я бы подошел к нему и сказал: «Здравствуйте, англичанин!»

— Все-таки не понимаю, как вы добились их согласия! И особенно согласия Вильямса — на него я просто не рассчитывала.

— Да, сначала он отказался наотрез, но не из страха, а потому, что считал все предприятие «неделовым». Но мне удалось переубедить его... А теперь займемся деталями.

Когда Овод вернулся домой, солнце уже зашло, и в наступивших сумерках цветы японской айвы темными пятнами выступали на садовой стене. Он сорвал несколько веточек и понес их в дом.

У него в кабинете сидела Зита. Она вскочила с места и кинулась ему навстречу со словами:

— Феличе! Я думала, ты никогда не вернешься!

Первым побуждением Овода было строго спросить ее, зачем она сюда пожаловала, однако, вспомнив, что они не виделись три недели, он протянул ей руку и холодно сказал:

— Здравствуй, Зита! Ну, как ты поживаешь?

Она подставила ему лицо для поцелуя, но он, словно не заметив этого, прошел мимо нее и взял со стола вазу. В ту же минуту дверь позади распахнулась настежь — Шайтан ворвался в кабинет и запрыгал вокруг хозяина, лаем, визгом и бурными ласками выражая ему свою радость. Овод положил цветы на стол и нагнулся к собаке:

— Здравствуй, Шайтан, здравствуй, старик! Да, да, это я. Ну, дай лапу!

Зита сразу помрачнела.

— Будем обедать?— сухо спросила она.— Я велела накрыть у себя — ведь ты писал, что вернешься сегодня вечером.

Овод быстро повернулся к ней:

— П-прости, бога ради! Но ты напрасно ждала меня. Сейчас я переоденусь и приду. Поставь, п-пожалуйста, цветы в воду.

Когда Овод вошел в столовую Зиты, Зита стояла перед зеркалом и прикалывала ветку айвы к корсажу. Решив, видимо, сменить гнев на милость, она протянула ему маленький букетик красных цветов:

— Вот тебе бутоньерка. Дай, я приколю.

За обедом Овод старался изо всех сил быть любезным и весело болтал о разных пустяках. Зита отвечала ему сияющими улыбками. Ее откровенная радость смущала Овода. У Зиты была своя жизнь, свой круг друзей и знакомых — он привык к этому, и до сих пор ему не приходило в голову, что она может скучать по нему. А ей, видимо, было тоскливо одной, если ее так взволновала их встреча.

— Давай пить кофе на террасе,— предложила Зита.— Вечер такой теплый!

— Хорошо! Гитару взять? Может, ты споешь мне?

Зита так и просияла. Овод был строгий ценитель и не часто просил ее петь.

На террасе вдоль всей стены шла широкая деревянная скамья. Овод устроился в углу, откуда открывался прекрасный вид на горы, а Зита села на перила, поставила ноги на скамью и прислонилась к колонне, поддерживающей крышу. Живописный пейзаж не трогал ее — она предпочитала смотреть на Овода.

— Дай мне папиросу. Я ни разу не курила с тех пор, как ты уехал.

— Хорошая мысль! Для полного б-блаженства не хватает только папиросы.

Зита наклонилась и внимательно посмотрела на него:

— Тебе правда хорошо сейчас?

Овод высоко поднял свои подвижные брови.

— Да, конечно. Я сытно пообедал, любуюсь видом, прекраснее которого, пожалуй, нет во всей Европе, а сейчас меня угостят кофе и венгерской народной песней. Кроме того, совесть моя спокойна, пищеварение в порядке. Что еще нужно человеку?

— А я знаю — что!

— Что?

— Вот! — Она бросила ему в руки маленькую картонную коробку.

— Ж-жареный миндаль! Почему же ты не сказала раньше, пока я еще не закурил?

— Глупый! Покуришь, а потом примешься за лакомство... А вот и кофе!

Овод с сосредоточенным видом грыз миндаль, прихлебывал маленькими глотками кофе и наслаждался, точно кошка, лакающая сливки.

— Как п-приятно, вернувшись из Ливорно, пить настоящий кофе после той б-бурды, которую подают там! — протянул он своим мурлыкающим голосом.

— Вот и посидел бы подольше дома.

— Долго не усидишь. Завтра я опять уезжаю.

Улыбку смело с губ Зиты.

— Завтра?.. Зачем? Куда?

— Да так... в два-три места. По делам.

Посоветовавшись с Джеммой, он решил сам съездить в Апеннины и условиться с контрабандистами о перевозке оружия. Переход границы Папской области грозил ему серьезной опасностью, но от его поездки зависел успех всей операции.

— Вечно дела! — чуть слышно вздохнула Зита. А вслух спросила: — И это надолго?

— Нет, недели на две, на три.

— Те же самые дела? — вдруг спросила она.

— Какие «те же самые»?

— Да те, из-за которых ты когда-нибудь добьешься своего и сломаешь себе шею. Опять политика?

— Да, это имеет некоторое отношение к п-политике.

Зита отшвырнула от себя папиросу.

— Ты меня не проведешь,— сказала она.— Я знаю, эта поездка опасная.

— Да, я отправляюсь п-прямо в ад кромешный,— лениво протянул Овод.— У тебя, вероятно, есть там друзья, которым ты

хочешь послать в подарок веточку плюща? Только не обрывай его весь.

Зита рванула с колонны целую плеть и в сердцах бросила ее на пол.

— Поездка опасная,— повторила она,— а ты не считаешь нужным честно признаться мне во всем. По-твоему, со мной можно только шутить и дурачиться! Тебе, может быть, грозит виселица, а ты даже не желаешь сказать мне «прости»! Политика, вечная политика! Как мне это надоело!

— И мне т-тоже,— проговорил Овод сквозь зевоту.— Поэтому давай побеседуем о чем-нибудь другом. Или, может быть, ты споешь?

— Хорошо. Дай гитару. Что тебе спеть?

— Балладу о погибшем коне. Это у тебя лучше всего выходит.

Зита запела старинную венгерскую песню о человеке, который лишился сначала своего коня, потом крыши над головой, потом возлюбленной и утешал себя тем, что «больше потерял я на Мохачском поле»*. Это была любимая песнь Овода. Ее суровая, трагическая мелодия и горькое мужество припева трогали его так, как не трогала более сентиментальная музыка.

Зита была в голосе. Звуки лились из ее уст — чистые, полные силы и горячей жажды жизни. Итальянские и славянские песни не удавались ей, немецкие и подавно, а венгерские она пела мастерски.

Овод слушал затаив дыхание, широко раскрыв глаза. Так хорошо Зита еще никогда не пела. И вдруг на последних словах голос ее дрогнул:

— «Ну так что же! Больше потерял я...»

Она всхлипнула и спрятала лицо в густой завесе плюща.

— Зита! — Овод встал и взял у нее гитару.— Что с тобой?

Но она судорожно всхлипывала, закрыв лицо ладонями. Он тронул ее за плечо.

— Ну, что случилось? — ласково сказал он.

— Оставь меня! — проговорила она сквозь слезы, отстраняясь от него.— Оставь!

Овод спокойно вернулся на место и стал терпеливо ждать, когда рыдания стихнут. И вдруг Зита обняла его за шею и опустилась перед ним на колени:

— Феличе! Не уезжай! Не уезжай!

— Об этом после.— Он осторожно высвободился из ее объятий.— Скажи мне, что случилось? Ты чем-то напугана?

Зита молча покачала головой.

— Я тебя обидел?

— Нет.— Она коснулась ладонью его шеи.

— Так что же?

— Тебя убьют,— прошептала она наконец.— Ты попадешься... так сказал один человек, из тех, что ходят сюда... я слышала. А на мои расспросы ты отвечаешь смехом.

— Зита, милая! — сказал Овод, с удивлением глядя на нее.— Ты вообразила бог знает что! Может, меня и убьют когда-нибудь — революционеры часто так кончают,— но п-почему это должно случиться именно теперь? Я рискую не больше других.

— Другие! Какое мне дело до других! Если б ты любил меня, то не уезжал бы! Я лежу по ночам не смыкая глаз и все думаю, арестован ты или нет. А если засыпаю, то вижу во сне, будто тебя убили. О собаке, вот об этой собаке, ты думаешь больше, чем обо мне!

Овод встал и медленно отошел на другой конец террасы. Он не был готов к такому объяснению и не знал, что сказать ей. Да, Джемма была права — жизнь он свою запутал и распутать ее теперь будет трудно.

— Сядем и поговорим обо всем спокойно,— сказал он, подойдя к Зите.— Мы, видно, не поняли друг друга. Я не стал бы шутить, если б знал, что ты серьезно чем-то встревожена. Расскажи мне толком, что тебя так взволновало, и, может, тогда все станет ясно.

— Выяснять нечего. Я и так вижу, что ты ни в грош меня не ставишь.

— Дорогая моя, будем откровенны друг с другом. Я всегда старался быть честным в наших отношениях и, насколько мне кажется, не обманывал тебя насчет своих...

— О да! Твоя честность бесспорна. Ты никогда не скрывал, что считаешь меня непорядочной женщиной — чем-то вроде дешевой побрякушки, побывавшей до тебя в других руках!

— Замолчи, Зита! Я не позволяю себе так думать о людях!

— Ты меня никогда не любил,— с горечью повторила она.

— Да, я тебя никогда не любил. Но выслушай и не суди строго, если можешь.

— Я не осуждаю, я...

— Подожди минутку. Вот что я хочу сказать: условности общепринятой морали для меня не существуют. Я считаю, что в основе отношений между мужчиной и женщиной должно быть чувство приязни или неприязни.

— Или деньги,— вставила Зита с резким смешком.

Овод болезненно поморщился и замолчал.

— Да, это самая неприглядная сторона дела. Но, уверяю тебя, я не позволил бы себе воспользоваться твоим положением и между нами ничего бы не было, если бы я почувствовал твою неприязнь, твое отвращение ко мне. Я никогда не поступал так

с женщинами, никогда не обманывал их в своих чувствах. Поверь мне, что это правда.

Он ждал, что́ Зита скажет, но она молчала.

— Я рассуждал так,— снова заговорил Овод.— Человек живет один как перст в целом мире и чувствует, что присутствие женщины скрасит его одиночество. Он встречает женщину, которая нравится ему и которой он тоже не противен... Так почему же не принять по-дружески, с благодарностью то, что она может ему дать, зачем требовать от нее и от себя большего? Я не вижу тут ничего дурного — лишь бы в таких отношениях все было по-честному, без обмана, без ненужных обид. Что же касается твоих связей с другими мужчинами до нашей встречи, то я об этом как-то не думал. Мне казалось, что наша дружба будет приятна, необременительна для нас обоих, а лишь только она станет в тягость, каждый из нас волен уйти. Если я ошибся... если ты смотришь теперь на это по-иному, значит...

Он замолчал.

— Значит?..— чуть слышно повторила Зита, не глядя на него.

— Значит, я поступил с тобой дурно, о чем весьма сожалею. Но это получилось помимо моей воли.

— Ты «весьма сожалеешь», «это получилось помимо твоей воли»! Феличе! Да что у тебя, каменное сердце? Неужели ты сам никогда не любил, что не видишь, как я люблю тебя!

Что-то дрогнуло в нем при этих словах. Он так давно не слышал, чтобы кто-нибудь говорил ему «люблю». А Зита уже обнимала его, повторяя:

— Феличе! Уедем отсюда! Уедем из этой ужасной страны, от этих людей с их политикой! Что нам до них? Уедем в Южную Америку, где ты жил. Там мы будем счастливы!

Страшные воспоминания, рожденные этими словами, отрезвили его. Он развел ее руки и крепко сжал их:

— Зита! Пойми, я не люблю тебя! А если б и любил, то все равно не уехал бы отсюда. С Италией я связан работой, в Италии все мои товарищи...

— И человек, которого ты любишь больше меня! — крикнула она.— Я готова убить тебя!.. При чем тут товарищи! Я знаю, кто тебя держит здесь!

— Перестань,— спокойно сказал он.— Ты сама себя не помнишь, и тебе мерещится бог знает что.

— Ты думаешь, я о синьоре Болла? Нет, меня не так легко одурачить! С ней ты говоришь только о политике. Она значит для тебя не больше, чем я... Это кардинал!

Овод пошатнулся, будто его ударили.

— Кардинал? — машинально повторил он.

— Да! Кардинал Монтанелли, который выступал здесь с проповедями осенью. Думаешь, я не заметила, каким взглядом ты провожал его коляску? И лицо у тебя было белое, как вот этот платок. Да ты и сейчас дрожишь, услышав только его имя!

Овод встал.

— Ты просто не отдаешь себе отчета в своих словах,— медленно и тихо проговорил он.— Я... я ненавижу кардинала. Это мой заклятый враг.

— Враг он или не враг, не знаю, но ты любишь его больше всех на свете. Погляди мне в глаза и, если можешь, скажи, что это неправда!

Овод отвернулся от нее и подошел к окну в сад. Зита украдкой наблюдала за ним, испугавшись того, что наделала,— так страшно было наступившее на террасе молчание. Наконец она не выдержала и, подкравшись к нему, робко, точно испуганный ребенок, потянула его за рукав. Овод повернулся к ней.

— Да, это правда,— сказал он.

Глава XI

— А не м-могу ли я встретиться с ним где-нибудь в горах? В Бризигелле опасно.

— Каждая пядь земли в Романье опасна для вас, но сейчас Бризигелла — самое надежное место.

— Почему?

— А вот почему... Не поворачивайтесь лицом к этому человеку в синей куртке: он опасный субъект... Да, буря была страшная. Я такой и не помню. Виноградники-то как побило!

Овод положил руки на стол и уткнулся в них головой, как человек, изнемогающий от усталости или выпивший лишнее. Окинув быстрым взглядом комнату, «опасный субъект» в синей куртке увидел лишь двоих крестьян, толкующих об урожае за бутылкой вина, да сонного горца, опустившего голову на стол. Такую картину можно было часто наблюдать в кабачках маленьких деревушек, подобных Марради, и обладатель синей куртки, решив, по-видимому, что здесь ничего интересного не услышишь, выпил залпом свое вино и перекочевал в другую комнату, первую с улицы. Опершись о прилавок и лениво болтая с хозяином, он поглядывал время от времени через открытую дверь туда, где те трое сидели за столом. Крестьяне продолжали потягивать вино и толковали о погоде на местном наречии, а Овод храпел, как человек, совесть которого чиста.

Наконец сыщик убедился, что в кабачке нет ничего такого, из-за чего стоило бы терять время. Он уплатил, сколько с него

приходилось, вышел ленивой походкой из кабачка и медленно побрел по узкой улице.

Овод поднял голову, зевнул, потянулся и спросонья протер глаза рукавом полотняной блузы.

— Недурно у них налажена слежка,— сказал он и, вытащив из кармана складной нож, отрезал от лежащего на столе каравая ломоть хлеба.— Очень они вас донимают, Микеле?

— Хуже, чем комары в августе. Просто ни минуты покоя не дают. Куда ни придешь, всюду сыщики. Даже в горах. Раньше они боялись туда соваться, а теперь то и дело встречаешь группы по три-четыре человека... Верно, Джино?.. Потому-то мы и устроили так, чтобы вы встретились с Доминикино в городе.

— Да, но почему именно в Бризигелле? Пограничные города всегда полны сыщиков.

— Лучше Бризигеллы ничего не придумаешь. Она кишит богомольцами со всех концов страны.

— Но Бризигелла им совсем не по пути.

— Она недалеко от дороги в Рим, и многие паломники заходят туда, чтобы послушать обедню.

— Я не знал, что в Бризигелле есть к-какие-то достопримечательности.

— А кардинал? Помните, он приезжал во Флоренцию с проповедями в октябре прошлого года? Так это кардинал Монтанелли. Говорят, он произвел на всех вас большое впечатление.

— Весьма вероятно. Но я не хожу слушать проповеди.

— Его считают святым.

— Как же он ухитрился попасть в святые?

— Не знаю. Может, потому, что он раздает все, что получает, и живет, как приходский священник, на четыреста — пятьсот скудо в год.

— Мало того,— вступил в разговор тот, которого звали Джино,— кардинал не только оделяет всех деньгами — он все свое время отдает бедным, следит, чтобы за больными был хороший уход, выслушивает с утра до ночи жалобы и просьбы. Я не больше твоего люблю попов, Микеле, но монсеньор Монтанелли не похож на других кардиналов.

— Да, он скорее блаженный, чем плут! — сказал Микеле.— Но как бы там ни было, а народ от него без ума, и в последнее время у паломников вошло в обычай заходить в Бризигеллу, чтобы получить его благословение. Доминикино думает идти туда разносчиком с корзиной дешевых крестов и четок. Люди охотно покупают эти вещи и просят кардинала прикоснуться к ним. А потом вешают их на шею своим детям от дурного глаза.

— Подождите минутку... Как же мне идти? Под видом па-

ломника? Моя теперешняя одежда мне очень нравится, но я знаю, что п-показываться в Бризигелле в том же самом обличье, как и здесь, нельзя. Если меня схватят, это б-будет уликой против вас.

— Никто вас не схватит. Мы припасли вам одежду, паспорт и все, что требуется.

— Какая же это одежда?

— Старика богомольца из Испании — покаявшегося убийцы из Сьерры. В прошлом году в Анконе он заболел, и один из наших товарищей взял его из сострадания к себе на торговое судно, а потом высадил в Венеции, где у старика были друзья. В знак благодарности он оставил нам свои бумаги. Теперь они вам пригодятся.

— П-покаявшийся убийца? Как же быть с п-полицией?

— С этой стороны все обстоит благополучно. Старик отбыл свой срок каторги несколько лет назад и с тех пор ходит по святым местам, спасает душу. Он убил своего сына по ошибке, вместо кого-то другого, и сам отдался в руки полиции.

— Он совсем старый?

— Да, но седой парик и седая борода состарят и вас, а все остальные его приметы точка в точку совпадают с вашими. Он отставной солдат, хромает, на лице шрам, как у вас, к тому же испанец; если вам попадутся испанцы, вы сумеете объясниться с ними.

— Где же мы встретимся с Доминикино?

— Вы примкнете к паломникам на перекрестке, который мы укажем вам на карте, и скажете им, что заблудились в горах. А в городе идите вместе с толпой на рыночную площадь, что против дворца кардинала.

— Так он, значит, живет в-во дворце, н-несмотря на всю свою святость?

— Кардинал занимает одно крыло, остальная часть отведена под больницу... Дождитесь, когда он выйдет и даст благословение паломникам; в эту минуту появится Доминикино со своей корзинкой и скажет вам: «Вы паломник, отец мой?» А вы ответите ему: «Я несчастный грешник». Тогда он поставит корзинку наземь и утрет лицо рукавом, а вы предложите ему шесть сольдо за четки.

— Там и условимся, где можно поговорить?

— Да, пока народ будет глазеть на кардинала, он успеет назначить вам место встречи. Таков был наш план, но, если он вам не нравится, мы можем предупредить Доминикино и устроить дело иначе.

— Нет, нет, план хорош. Смотрите только, чтобы борода и парик выглядели естественно.

...— Вы паломник, отец мой?

Овод, сидевший на ступеньках епископского дворца, поднял седую всклокоченную голову и хриплым, дрожащим голосом, с сильным иностранным акцентом произнес условный ответ. Доминикино спустил с плеча кожаный ремень и поставил на ступеньку свою корзину с четками и крестами. Никто в толпе крестьян и богомольцев, сидевших на лестнице, бродивших по рыночной площади, не обращал на них внимания, но осторожности ради они продолжали отрывочный разговор. Доминикино говорил на местном диалекте, а Овод — на ломаном итальянском с примесью испанских слов.

— Его преосвященство! Его преосвященство выходит! — закричали стоявшие у подъезда дворца.— Посторонитесь! Его преосвященство выходит!

Овод и Доминикино встали.

— Вот, отец, возьмите,— сказал Доминикино, положив в руку Овода небольшой, завернутый в бумагу образок,— и помолитесь за меня, когда будете в Риме.

Овод сунул образок за пазуху и, обернувшись, посмотрел на кардинала, который в лиловой сутане и пунцовой шапочке стоял на верхней ступени и, протянув перед собой руки, благословлял народ.

Монтанелли медленно спустился с лестницы, и богомольцы обступили его тесной толпой, стараясь поцеловать ему руку. Многие становились на колени и прижимали к губам край его сутаны.

— Мир вам, дети мои!

Услышав этот ясный серебристый голос, Овод так низко наклонил голову, что седые космы упали ему на лицо. Доминикино увидел, как посох паломника задрожал в его руке, и с восторгом подумал: «Вот комедиант!»

Женщина, стоявшая поблизости, нагнулась и подняла со ступенек своего ребенка.

— Пойдем, Чекко,— сказала она,— его преосвященство благословит тебя, как Христос благословлял детей.

Овод сделал шаг вперед и остановился. Как тяжело! Все эти чужие люди — паломники, горцы — могут подходить к нему и говорить с ним... он погладит детей по головке... Может быть, назовет этого крестьянского мальчика carino, как называл когда-то...

Овод снова опустился на ступеньки и отвернулся, чтобы не видеть всего этого. Если бы можно было забиться куда-нибудь в угол, заткнуть уши и ничего не слышать! Это свыше человеческих сил... быть так близко, так близко от него, что только протяни руку — и дотронешься ею до любимой руки...

— Не зайдете ли вы погреться, друг мой? — проговорил мягкий голос.— Вы, должно быть, продрогли.

Сердце Овода перестало биться. С минуту он ничего не чувствовал, кроме тяжкого гула крови, которая, казалось, разорвет ему сейчас грудь; потом она отхлынула и щекочущей горячей волной разлилась по всему телу. Он поднял голову, и при виде его лица глубокий взгляд человека, стоявшего над ним, стал еще глубже, еще добрее.

— Отойдите немного, друзья,— сказал Монтанелли, обращаясь к толпе,— я хочу поговорить с ним.

Паломники медленно отступили, перешептываясь друг с другом, и Овод, сидевший неподвижно, сжав губы и опустив глаза, почувствовал легкое прикосновение руки Монтанелли.

— У вас большое горе? Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

Овод молча покачал головой.

— Вы паломник?

— Я несчастный грешник.

Случайное совпадение вопроса Монтанелли с паролем оказалось спасительной соломинкой, за которую Овод ухватился в отчаянии. Он ответил машинально. Мягкое прикосновение руки кардинала жгло ему плечо, и дрожь охватило его тело.

Кардинал еще ниже наклонился над ним:

— Быть может, вы хотите поговорить со мной с глазу на глаз? Если я могу чем-нибудь помочь вам...

Овод впервые взглянул прямо в глаза Монтанелли. Самообладание возвращалось к нему.

— Нет,— сказал он,— мне теперь нельзя помочь.

Из толпы выступил полицейский:

— Простите, что я вмешиваюсь, ваше преосвященство. По-моему, старик не в своем уме. Он безобидный, и бумаги у него в порядке, поэтому мы не трогаем его. Он был на каторге за тяжкое преступление, а теперь искупает свою вину покаянием.

— За тяжкое преступление,— повторил Овод, медленно качая головой.

— Спасибо, капитан. Будьте добры, отойдите немного подальше... Друг мой, тому, кто искренне раскаялся, всегда можно помочь. Не зайдете ли вы ко мне сегодня вечером?

— Захочет ли ваше преосвященство принять человека, который повинен в смерти собственного сына?

Вопрос прозвучал почти вызывающе, и Монтанелли вздрогнул и съежился, словно от холодного ветра.

— Да сохранит меня бог осудить вас, что бы вы ни сделали! — торжественно сказал он.— В глазах господа все мы грешники, а наша праведность подобна грязным лохмотьям. Если вы

придете ко мне, я приму вас так, как молю всевышнего принять меня, когда наступит мой час.

Овод порывисто протянул вперед руки.

— Слушайте,— сказал он.— И вы тоже слушайте, верующие! Если человек убил своего единственного сына — сына, который любил его и верил ему, был плотью от плоти и костью от кости его, если ложью и обманом он завлек его в ловушку, то может ли этот человек уповать на что-нибудь на земле или в небесах? Я покаялся в грехе своем богу и людям. Я перенес наказание, наложенное на меня людьми, и они отпустили меня с миром. Но когда же скажет мне господь мой: «Довольно»? Чье благословение снимет с души моей его проклятие? Какое отпущение грехов загладит то, что я сделал?

Наступила мертвая тишина; все глядели на Монтанелли и видели, как вздымается крест на его груди.

Наконец он поднял глаза и нетвердой рукой благословил народ:

— Господь всемилостив! Сложите к престолу его бремя души вашей, ибо сказано: «Сердца разбитого и сокрушенного не отвергай».

Кардинал повернулся и пошел по площади, останавливаясь на каждом шагу поговорить с народом или взять на руки ребенка.

Вечером того же дня, следуя указаниям, написанным на бумажке, в которую был завернут образок, Овод отправился к условленному месту встречи. Это был дом местного врача — активного члена организации. Большинство заговорщиков было уже в сборе, и восторг, с которым они приветствовали появление Овода, дал ему новое доказательство его популярности, если оно требовалось.

— Мы очень рады снова увидеть вас,— сказал врач,— но еще больше обрадуемся, когда вы отсюда уедете. Ваш приезд — дело чрезвычайно рискованное, и я лично был против этого плана. Вы уверены, что ни одна из полицейских крыс не заметила вас сегодня утром на площади?

— З-заметить-то, конечно, заметили, да не узнали. Доминикино все в-великолепно устроил. Где он, кстати?

— Сейчас придет. Итак, все сошло гладко? Кардинал дал вам благословение?

— Дал благословение? Это бы еще ничего! — раздался у дверей голос Доминикино.— Риварес, у вас сюрпризов, как в рождественском пироге. Какими еще талантами вы нас удивите?

— А что такое? — лениво спросил Овод.

Он полулежал на кушетке, куря сигару; на нем еще была одежда паломника, но парик и борода валялись рядом.

— Я и не подозревал, что вы истинный актер. Никогда в жизни не видел такой великолепной игры! Вы тронули его преосвященство почти до слез.

— Как это было? Расскажите, Риварес.

Овод пожал плечами. Он был неразговорчив в этот вечер, и, видя, что от него ничего не добьешься, присутствующие обратились к Доминикино. Когда тот рассказал о сцене, разыгравшейся утром на рынке, один молодой рабочий, который не принял участия в общем смехе, угрюмо проговорил:

— Вы, конечно, ловко все это проделали, да только я не вижу, какой кому прок от такого представления.

— А вот какой,— ответил Овод.— Я теперь могу расхаживать свободно и делать что мне вздумается в этих местах, и ни одной живой душе никогда и в голову не придет заподозрить меня в чем-нибудь. Завтра весь город узнает о сегодняшнем происшествии, и при встрече со мной сыщики будут думать: «Это сумасшедший Диего, покаявшийся в грехах на площади». В этом есть большая выгода.

— Да, конечно! Но все-таки лучше было бы сделать все как-нибудь по-другому, не обманывая кардинала. Он хороший человек, зачем его дурачить!

— Мне самому он показался человеком порядочным,— лениво согласился Овод.

— Глупости, Сандро! Нам здесь кардиналы не нужны,— сказал Доминикино.— И если бы монсеньор Монтанелли принял пост в Риме, который ему предлагали, Риваресу не пришлось бы обманывать его.

— Он не принял этого поста только потому, что не хотел оставить свою деятельность здесь.

— А может быть, потому, что не хотел быть отравленным кем-нибудь из агентов Ламбрускини. Они имеют что-то против него, это несомненно. Если кардинал, в особенности такой популярный, как Монтанелли, предпочитает оставаться в нашей забытой богом дыре, мы знаем, чем тут пахнет. Не правда ли, Риварес?

Овод пускал дым колечками.

— Может быть, виной этому р-разбитое и сокрушенное сердце,— сказал он, откинув голову и следя за колечками дыма.— А теперь приступим к делу, господа!

Собравшиеся принялись подробно обсуждать вопрос о контрабандной провозке и хранении оружия. Овод слушал внимательно и, если предложения были необдуманны и сведения неточны, прерывал спорящих отрывистыми замечаниями. Когда все высказались, он подал несколько дельных советов, и большинство их было принято без споров. На этом собрание кончилось. Было

решено, что до тех пор, пока Овод не вернется благополучно в Тоскану, лучше не засиживаться по вечерам, чтобы не привлечь внимания полиции. Все разошлись вскоре после десяти часов, кроме врача, Овода и Доминикино — членов подкомиссии, оставшейся обсудить кое-какие специальные вопросы. Завязался долгий и жаркий спор. Наконец Доминикино взглянул на часы:

— Половина двенадцатого. Надо кончать, не то мы наткнемся на ночной дозор.

— В котором часу они обходят город? — спросил Овод.

— Около двенадцати. И я хотел бы вернуться домой к этому часу... Доброй ночи, Джордано... Пойдем вместе, Риварес?

— Нет, в одиночку безопаснее. Так мы увидимся?

— Да. В Кастель-Болоньезе. Я еще не знаю, в каком обличье я туда явлюсь, но пароль вам известен. Вы завтра уходите отсюда?

Овод старательно прилаживал перед зеркалом парик и бороду.

— Завтра утром вместе с богомольцами. А послезавтра я заболею и останусь лежать в пастушьей хижине. Оттуда я пойду прямиком через горы и приду в Кастель-Болоньезе раньше вас. Доброй ночи!

Часы на соборной колокольне пробили двенадцать, когда Овод подошел к двери большого сарая, превращенного в место ночлега для богомольцев. На полу лежали неуклюжие человеческие фигуры; раздавался громкий храп; воздух в сарае был нестерпимо тяжелый. Овод брезгливо вздрогнул и попятился. Здесь все равно не заснуть! Лучше походить час-другой, а потом разыскать какой-нибудь навес или стог сена: там будет, по крайней мере, чище и спокойнее.

Была чудесная ночь, и полная луна ярко сверкала в темном небе. Овод бесцельно бродил по улицам, с горечью вспоминая утреннюю сцену. Как жалел он теперь, что согласился встретиться с Доминикино в Бризигелле! Если бы сказать сразу, что это опасно, выбрали бы другое место, и тогда он и Монтанелли были бы избавлены от этого ужасного, нелепого фарса.

Как padre изменился! А голос у него такой же, как в прежние дни, когда он называл его carino...

На другом конце улицы показался фонарь ночного сторожа, и Овод свернул в узкий, извилистый переулок. Он сделал несколько шагов и очутился на соборной площади, у левого крыла епископского дворца. Площадь была залита лунным светом и совершенно пуста. Овод заметил, что боковая дверь собора приотворена. Должно быть, причетник забыл затворить ее. Ведь службы в такой поздний час быть не может. А что, если войти туда и выспаться на скамье, вместо того чтобы возвращаться в

душный сарай? Утром он осторожно выйдет из собора до прихода причетника. Да если даже его там и найдут, то, наверно, подумают, что сумасшедший Диего молился где-нибудь в углу и оказался запертым.

Он постоял у двери, прислушиваясь, потом вошел неслышной походкой, сохранившейся у него, несмотря на хромоту. Лунный свет вливался в окна и широкими полосами ложился на мраморный пол. Особенно ярко был освещен алтарь — совсем как днем. У подножия престола стоял на коленях кардинал Монтанелли, один, с обнаженной головой и молитвенно сложенными руками.

Овод отступил в тень. Не уйти ли, пока Монтанелли не увидел его? Это будет, несомненно, всего благоразумнее, а может быть, и милосерднее. А если подойти — что в этом плохого? Подойти поближе и взглянуть в лицо padre еще один раз; теперь вокруг них нет людей и незачем разыгрывать безобразную комедию, как утром. Быть может, ему больше не удастся увидеть padre!.. А padre ничего не заметит... Он подойдет незаметно и взглянет на него только один раз. А потом снова вернется к своему делу. Держась в тени колонн, Овод осторожно подошел к решетке алтаря и остановился на мгновение у бокового входа, неподалеку от престола. Тень, падавшая от епископского кресла, была так велика, что скрыла его совершенно. Он пригнулся там в темноте и затаил дахание.

— Мой бедный мальчик! О господи! Мой бедный мальчик!..

В этом прерывистом шепоте было столько безбрежного отчаяния, что Овод невольно вздрогнул. Потом послышались глубокие, тяжелые рыдания без слез, и Монтанелли заломил руки, словно изнемогая от физической боли.

Овод не думал, что padre так страдает. Не раз говорил он себе с горькой уверенностью: «Стоит ли об этом беспокоиться! Его рана давно зажила». И вот после стольких лет он видит эту рану, и из нее все еще сочится кровь. Как легко было бы наконец исцелить ее теперь! Стоит только поднять руку, шагнуть к нему и сказать: «Padre, это я!» И у Джеммы седая прядь в волосах. О, если бы он мог простить! Если бы только он мог изгладить из памяти глубоко проникшее в сердце прошлое — пьяного матроса, сахарную плантацию, бродячий цирк! Какое страдание сравнишь с этим: хочешь простить, стремишься простить — и знаешь, что это безнадежно, что простить нельзя, простить не смеешь.

Наконец Монтанелли встал, перекрестился и отошел от престола. Овод отступил еще дальше в тень, дрожа от страха, что кардинал увидит его, услышит биение его сердца. Потом он облегченно вздохнул: Монтанелли прошел мимо — так близко, что лиловая сутана коснулась его щеки, и все-таки не увидел его.

Не увидел... О, что он сделал! Что он сделал! Последняя возможность — драгоценное мгновение, и он не воспользовался им. Овод вскочил и шагнул вперед, в освещенное пространство.

— Padre!

Звук собственного голоса, нарушивший тишину и медленно затихающий под высокими сводами, наполнил его ужасом. Он снова подался в тень. Монтанелли остановился у колонны и слушал, стоя неподвижно, с широко открытыми, полными смертельного страха глазами. Сколько длилось это молчание, Овод не мог бы сказать: может быть, один миг, может быть, целую вечность. Но вот он пришел в себя. Монтанелли покачнулся, как бы падая, и губы его беззвучно дрогнули.

— Артур...— послышался тихий шепот.— Да, вода глубока...

Овод шагнул вперед:

— Простите, ваше преосвященство, я думал, это кто-нибудь из здешних священников.

— А, это вы, паломник?

Самообладание вернулось к Монтанелли, но по мерцающему блеску сапфира на руке Овод видел, что он все еще дрожит.

— Вам что-нибудь нужно, друг мой? Уже поздно, а собор на ночь запирается.

— Простите, ваше преосвященство, если я сделал что-нибудь не так. Дверь была открыта, и я зашел помолиться. Увидел священника, как будто погруженного в молитву, и решил попросить его освятить вот это.

Он показал маленький оловянный крестик, купленный утром у Доминикино. Монтанелли взял его и, снова войдя в алтарь, коснулся на мгновение престола.

— Примите, сын мой,— сказал он,— и да успокоится душа ваша, ибо господь наш кроток и милосерд. Ступайте в Рим и испросите благословения слуги господня, святого отца. Мир вам.

Овод склонил голову, принимая благословение, потом медленно побрел к выходу.

— Подождите,— вдруг сказал Монтанелли. Он стоял, держась рукой за решетку алтаря.— Когда вы получите в Риме святое причастие, помолитесь за того, чье сердце полно глубокой скорби и на чью душу тяжко легла десница господня.

В голосе кардинала чувствовались слезы, и решимость Овода поколебалась. Еще мгновение — и он выдал бы себя. Но картина бродячего цирка снова всплыла в его памяти, и он вспомнил, как Иона*, что был прав, когда возроптал.

— Услышит ли господь молитву недостойного? Если бы я мог, как ваше преосвященство, принести к престолу его дар святой жизни, душу незапятнанную и не страждущую от тайного позора...

Монтанелли резко отвернулся от него.

— Я могу принести к престолу господню лишь одно,— сказал он, — свое разбитое сердце.

Через несколько дней Овод сел в Пистойе в дилижанс и вернулся во Флоренцию. Он заглянул прежде всего к Джемме, но не застал ее дома и, оставив записку с обещанием зайти на другой день утром, пошел домой в надежде, что на сей раз Зита не совершит нашествия на его кабинет. Ее ревнивые упреки были бы сегодня как прикосновение бура к больному зубу.

— Добрый вечер, Бианка,— сказал он горничной, отворившей дверь.— Мадам Рени заходила?

Девушка уставилась на него:

— Мадам Рени? Разве она вернулась, сударь?

— Откуда? — нахмурившись, спросил Овод и остановился на пороге.

— Она уехала неожиданно, сейчас же вслед за вами, без вещей. И даже не предупредила меня, что уезжает.

— Вслед за мной? То есть две недели назад?

— Да, сударь, в тот же день. Все свои вещи бросила. Соседи только об этом и толкуют.

Овод повернулся, не добавив больше ни слова, и быстро пошел к дому, где жила Зита. В ее комнатах все было как прежде. Его подарки лежали по местам. Она не оставила ни письма, ни даже коротенькой записки.

— Сударь,— сказала Бианка, просунув голову в дверь,— там пришла старуха...

Он повернулся к ней в ярости:

— Что вам надо? Что вы ходите за мной по пятам?

— Эта старуха давно вас добивается.

— А что ей понадобилось? Скажите, что я не м-могу к ней выйти. Я занят.

— Да она, сударь, приходит чуть не каждый вечер с тех самых пор, как вы уехали. Все спрашивает, когда вы вернетесь.

— Пусть передаст через вас, что ей нужно... Ну хорошо, я сам к ней выйду.

Когда Овод вышел в переднюю, ему навстречу поднялась старуха — смуглая, вся сморщенная, очень бедно одетая, но в пестрой шали на голове. Она окинула его внимательным взглядом.

— Так вы и есть тот самый хромой господин? — спросила она, критически оглядывая его с головы до ног.— Зита Рени просила сказать вам кое-что.

Овод пропустил ее в кабинет, вошел следом за ней и затворил дверь, чтобы Бианка не слышала их.

— Садитесь, пожалуйста. Кто вы т-такая?

— А это не ваше дело. Я пришла сказать вам, что Зита Рени ушла с моим сыном.

— С вашим... сыном?

— Да, сударь! Не сумели удержать женщину, пока она была с вами,— пеняйте на себя, если она теперь с другим. У моего сына в жилах кровь, а не снятое молоко. Он цыганского племени!

— Так вы цыганка! Значит, Зита вернулась к своим?

Старуха смерила его удивленно-презрительным взглядом: эти христиане не способны даже разгневаться, когда их оскорбляют!

— А зачем ей оставаться у вас? Разве вы ей пара? Наши девушки иной раз уходят к таким, как вы,— кто из прихоти, кто из-за денег,— но цыганская кровь берет свое, цыганская кровь тянет назад, к цыганскому племени.

Ни один мускул не дрогнул в лице Овода.

— Она ушла со всем табором или ее увел ваш сын?

Старуха рассмеялась:

— Уж не собираетесь ли вы догонять Зиту и возвращать назад? Опоздали, сударь! Надо было раньше за ум браться!

— Нет, я просто хочу знать всю правду, если вы не утаите ее от меня.

Старуха пожала плечами — стоит ли оскорблять человека, который даже ответить тебе как следует не может!

— Ну что ж, вот вам вся правда: Зита Рени повстречалась с моим сыном на улице в тот самый день, когда вы ее бросили, и заговорила с ним по-цыгански. И хоть она была богато одета, он признал в ней свою и полюбил ее, красавицу, так, как только *наши* мужчины могут любить, и привел в табор. Бедняжка все нам рассказала — про все свои беды — и так плакала, так рыдала, что мы вконец разжалобились. Утешили ее как могли, и тогда она сняла свое богатое платье, оделась по-нашему и согласилась пойти в жены к моему сыну. Он не станет ей говорить «я тебя не люблю» да «я занят, у меня дела». Молодой женщине нужен мужчина. А вы разве подходите ей? Не можете даже расцеловать красавицу, когда она сама вас обнимает...

— Вы говорили,— прервал ее Овод,— что Зита просила что-то сказать мне.

— Да. Я нарочно отстала от табора, чтобы передать вам ее слова. А она велела сказать, что ей надоели люди, которые болтают о всяких пустяках и у которых в жилах течет не кровь, а вода, и что она возвращается к своему народу, к свободной жизни. «Я женщина, говорит, и я любила его и поэтому не хочу оставаться у него в любовницах». И она правильно сделала, что ушла от вас. Если цыганская девушка заработает немного

денег своей красотой, в этом ничего дурного нет — на то и красота дана,— а *любить* человека вашего племени ей не годится.

Овод встал.

— И это все? — спросил он.— Тогда передайте ей, пожалуйста, что, по-моему, она поступила правильно и что я желаю ей счастья. Больше мне нечего сказать. Прощайте!

Он стоял не двигаясь до тех пор, пока садовая калитка за старухой не захлопнулась; потом сел в кресло и закрыл лицо руками.

Еще одна пощечина! Неужели же ему не оставят хоть клочка былой гордости, былого самоуважения! Ведь он претерпел все муки, какие только может претерпеть человек. Его сердце бросили в грязь под ноги прохожим. А его душа! Сколько ей пришлось вытерпеть презрения, издевательств! Ведь в ней не осталось живого места! А теперь и эта женщина, которую он подобрал на улице, даже и у нее в руках был хлыст!

За дверью послышался жалобный визг Шайтана, и Овод поднялся и впустил собаку. Шайтан, как всегда, бросился к нему с бурными изъявлениями радости, но вскоре понял, что дело неладное, и, ткнувшись холодным носом в неподвижную руку хозяина, улегся на ковре у его ног.

Час спустя к дому Овода подошла Джемма. Она постучала в дверь, но на ее стук никто не ответил. Бианка, видя, что синьор Риварес не собирается обедать, ушла к соседнему повару. Дверь она не заперла и оставила в прихожей свет. Джемма подождала минуту-другую, потом решилась войти; ей нужно было поговорить с Оводом о важных новостях, только что полученных от Бэйли. Она постучалась в кабинет и услышала голос Овода:

— Вы можете уйти, Бианка. Мне ничего не нужно.

Джемма осторожно приотворила дверь. В комнате было совершенно темно, но от лампы, стоявшей в прихожей, протянулась длинная полоса света, и она увидела Овода. Он сидел один, свесив голову на грудь; у его ног, свернувшись, спала собака.

— Это я,— сказала Джемма.

Он вскочил ей навстречу:

— Джемма! Джемма! Как вы нужны мне!

И прежде чем она успела вымолвить слово, он упал к ее ногам и спрятал лицо в складках ее платья. По его телу пробегала дрожь, и это было страшнее слез...

Джемма стояла молча. Она ничем не могла помочь ему, ничем! Вот что больнее всего! Она должна стоять рядом с ним, безучастно глядя на его горе... Она, которая с радостью умерла бы, чтобы избавить его от страданий! О, если бы склониться к нему, сжать его в объятиях, защитить собственным телом от

всех новых грозящих ему бед! Тогда он станет для нее снова Артуром, тогда для нее снова займется день, который разгонит все тени.

Нет, нет! Разве он сможет когда-нибудь забыть? И разве не она сама толкнула его в ад, сама, своей рукой?

И Джемма упустила мгновение. Овод быстро поднялся, сел к столу и закрыл глаза рукой, кусая губы с такой силой, словно хотел прокусить их насквозь.

Потом он поднял голову и сказал уже спокойным голосом:

— Простите. Я, кажется, испугал вас.

Джемма протянула ему руки:

— Друг мой! Разве теперь вы не можете довериться мне? Скажите, что вас так мучит?

— Это мои личные невзгоды. Зачем тревожить ими других.

— Выслушайте меня,— сказала Джемма, взяв его дрожащую руку в свои.— Я не хотела касаться того, чего не вправе была касаться. Но вы сами, по своей доброй воле, стольким уже поделились со мной. Так доверьте мне и то немногое, что осталось недосказанным, как доверили бы вашей сестре! Сохраните маску на лице, если так вам будет легче, но сбросьте ее со своей души, пожалейте самого себя!

Овод еще ниже опустил голову.

— Вам придется запастись терпением,— сказал он.— Боюсь, из меня выйдет плохой брат. Но если бы вы только знали... Я чуть не лишился рассудка в последние дни. Будто снова пережил Южную Америку. Дьявол овладевает мной и...— Голос его дрогнул.

— Переложите же часть ваших страданий на мои плечи,— прошептала Джемма.

Он прижался лбом к ее руке.

— Тяжка десница господня!

Часть третья

Глава I

Следующие пять недель Овод и Джемма прожили точно в каком-то вихре — столько было волнений и напряженной работы. Не хватало ни времени, ни сил, чтобы подумать о своих личных делах. Оружие было благополучно переправлено контрабандным путем на территорию Папской области. Но оставалась не выполненной еще более трудная и опасная задача: из тайных складов в горных пещерах и ущельях нужно было незаметно доставить его в местные центры, а оттуда развезти по деревням. Вся область кишела сыщиками. Доминикино, которому Овод поручил доставку оружия, прислал во Флоренцию гонца, требуя либо помощи, либо отсрочки.

Овод настаивал, чтобы все было кончено к середине июня, и Доминикино приходил в отчаяние. Перевозка тяжелого груза по плохим дорогам была задачей нелегкой, тем более что все время приходилось остерегаться слежки, и это́ вызывало бесконечные проволочки.

*Я между Сциллой и Харибдой**,— писал он.— *Не смею торопиться из боязни, что меня выследят, и не могу затягивать доставку, так как надо поспеть к сроку. Либо немедленно пришлите мне дельного помощника, либо дайте знать венецианцам, что мы не будем готовы раньше первой недели июля.*

Овод понес это письмо Джемме. Она углубилась в чтение, а он уселся на полу и, нахмурив брови, стал поглаживать Пашта против шерсти.

— Дело плохо,— сказала Джемма.— Вряд ли мы заставим венецианцев ждать три недели.

— Конечно, они не станут ждать. Что за нелепая мысль! Доминикино не мешало бы понять это. Не венецианцы должны приспосабливаться к нам, а мы — к ним.

— Нельзя, однако, осуждать Доминикино: он, очевидно, старается изо всех сил, но не может сделать невозможное.

— Да, вина тут, конечно, не его. Вся беда в том, что он там один, а не вдвоем. Один человек должен охранять склад, а другой — отправлять оружие. Доминикино совершенно прав: ему необходим дельный помощник.

— Но кого же мы ему дадим? Из Флоренции нам некого послать.

— В таком случае, я д-должен ехать сам.

Джемма откинулась на спинку стула и взглянула на Овода, чуть нахмурив брови:

— Нет, это не годится. Это слишком рискованно.

— Придется все-таки рискнуть, если н-нет иного выхода.

— Так надо найти этот иной выход, вот и все. Вам самому опять ехать туда нельзя, об этом нечего и думать.

У нижней губы Овода залегли упрямые складки:

— Н-не понимаю, почему?

— Вы поймете, если спокойно подумаете минутку. Со времени вашего возвращения прошло только пять недель. Полиция уже кое-чего дозналась о старике паломнике и теперь рыщет в поисках его следов. Я знаю, как хорошо вы умеете менять свою внешность, но вспомните, скольким вы попадались на глаза и под видом Диего и под видом крестьянина. А вашей хромоты и шрама не скроешь.

— М-мало ли на свете хромых!

— Да, но в Романье не так уж много хромых со следом сабельного удара на щеке, с изуродованной левой рукой и с голубыми глазами при смуглой коже.

— Глаза в счет не идут: я могу изменить их цвет белладонной.

— А остальное?.. Нет, это невозможно! Отправиться туда сейчас при ваших приметах — это значит заведомо идти в ловушку. Вас немедленно схватят.

— Н-но кто-нибудь должен помочь Доминикино!

— Хороша будет помощь, если вы попадетесь в такую критическую минуту! Ваш арест равносилен провалу всего дела.

Но Овода нелегко было убедить, и спор их затянулся надолго, не приведя ни к какому результату. Джемма только теперь начала понимать, каким неисчерпаемым запасом спокойного упорства обладает этот человек. Если бы речь шла о чем-нибудь менее важном для нее, она, пожалуй, и сдалась бы, чтобы не спорить с ним. Но в этом вопросе нельзя было уступать: ради практической выгоды, какую могла принести поездка Овода, рисковать, по ее мнению, не стоило. Она не могла не догадываться, что его желание съездить к Доминикино вызвано не столько явно политической необходимостью, сколько болезненной страстью к риску. Ставить под угрозу свою жизнь, лезть без нужды в самые горячие места вошло у него в привычку. Он тянулся к опасности, как запойный к вину, и с этим надо было настойчиво, упорно бороться. Видя, что ее доводы не могут сломить его упрямую решимость, Джемма пустила в ход свой последний аргумент.

— Будем, во всяком случае, честны,— сказала она,— и назовем вещи своими именами. Не затруднения Доминикино заставляют вас настаивать на этой поездке, а ваша любовь к...

— Это неправда! — горячо заговорил Овод.— Он для меня ничто. Я вовсе не стремлюсь снова увидеть его...— И замолчал, прочтя на ее лице, что выдал себя.

Их взгляды встретились, и они оба опустили глаза. Имя человека, который промелькнул у них в мыслях, осталось не произнесенным.

— Я не... не Доминикино хочу спасти,— пробормотал наконец Овод, зарываясь лицом в пушистую шерсть кота,— я... я понимаю, какая опасность угрожает всему делу, если никто не явится туда на подмогу.

Джемма не обратила внимания на эту жалкую увертку и продолжала, как будто ее и не прерывали:

— Нет, тут говорит ваша страсть ко всякому риску. Когда у вас неспокойно на душе, вы тянетесь к опасности, точно к опиуму во время болезни.

— Я не просил тогда опиума! — вскипел Овод.— Они сами заставили меня принять его.

— Ну разумеется! Вы немного рисуетесь своей выдержкой, и вдруг попросить лекарство — как же это можно! Но поставить жизнь на карту, чтобы хоть немного ослабить нервное напряжение,— это совсем другое дело! От этого ваша гордость не пострадает! А в конечном счете разница между тем и другим только условная.

Овод отвел голову кота назад и посмотрел в его круглые зеленые глаза.

— Как ты считаешь, Пашт, это верно? Права твоя злая хозяйка или нет? Значит, mea culpa, mea m-maxima culpa?[1] Ты, мудрец, наверно, никогда не просишь опиума. Твоих предков в Египте обожествляли. Там никто не осмеливался наступать им на хвост. А любопытно, удалось бы тебе сохранить свое величественное презрение ко всем земным невзгодам, если бы я взял горящую свечу и поднес ее к твоей л-лапке... Небось запросил бы опиума? А, Пашт? Опиума... или смерти? Нет, котик, мы не имеем права умирать только потому, что это кажется нам наилучшим выходом. Пофыркай, помяучь немножко, а л-лапку отнимать не смей!

— Довольно! — Джемма взяла у Овода кота и посадила его на табуретку.— Все эти вопросы мы с вами обсудим в другой раз, а сейчас надо подумать, как помочь Доминикино... В чем дело, Кэтти? Кто-нибудь пришел? Я занята.

— Сударыня, мисс Райт прислала пакет с посыльным.

В тщательно запечатанном пакете было письмо со штемпелем Папской области, адресованное на имя мисс Райт, но не вскрытое. Старые школьные подруги Джеммы все еще жили во Флоренции, и особенно важные письма нередко слали из осторожности по их адресу.

— Это условный знак Микеле,— сказала она, наскоро пробежав письмо, в котором сообщались летние условия одного пансиона в Апеннинах, и указывая на два пятнышка в углу страницы.— Он пишет симпатическими чернилами. Реактив в третьем ящике письменного стола... Да, это он.

Овод положил письмо на стол и провел по страницам тоненькой кисточкой. Когда на бумаге выступил ярко-синей строчкой настоящий текст письма, он откинулся на спинку стула и засмеялся.

— Что такое? — быстро спросила Джемма.

Он протянул ей письмо:

Доминикино арестован. Приезжайте немедленно.

---

[1] Моя вина, моя большая вина (лат.).

Она опустилась на стул, не выпуская письма из рук, и в отчаянии посмотрела на Овода.

— Ну что ж...— иронически протянул он,— теперь вам ясно, что я должен ехать?

— Да, ехать должны вы,— ответила она со вздохом.— И я тоже поеду.

Он поднял на нее глаза и вздрогнул:

— Вы тоже? Но...

— Разумеется. Нехорошо, конечно, что во Флоренции никого не останется, но теперь все это неважно; главное — иметь лишнего человека там, на месте.

— Да там их сколько угодно найдется!

— Только не таких, которым можно безусловно доверять. Вы сами сказали, что там нужны по крайней мере два надежных человека. Если Доминикино не мог справиться один, то вы тоже не справитесь. Для вас, как для человека безнадежно скомпрометированного, конспиративная работа сопряжена с большими трудностями. Вам будет особенно нужен помощник. Вы рассчитывали работать с Доминикино, а теперь вместо него буду я.

Овод насупил брови и задумался.

— Да, вы правы,— сказал он наконец,— и чем скорей мы туда отправимся, тем лучше. Но нам нельзя выезжать вместе. Если я уеду сегодня вечером, то вы могли бы, пожалуй, выехать завтра после обеда, с почтовой каретой.

— Куда же мне направиться?

— Это надо обсудить. Мне лучше всего проехать прямо в Фаэнцу. Я выеду сегодня вечером в Борго Сан-Лоренцо, там переоденусь и немедленно двинусь дальше.

— Ничего другого, пожалуй, не придумаешь,— сказала Джемма, озабоченно хмурясь.— Но все это очень рискованно — стремительный отъезд, переодевание в Борго в надежде на контрабандистов. Вам следовало бы иметь три полных дня, чтобы доехать до границы, успев запутать свои следы.

— Этого как раз нечего бояться,— с улыбкой ответил Овод.— Меня могут арестовать дальше, но не на самой границе. В горах я в такой же безопасности, как и здесь. Ни один контрабандист в Апеннинах меня не выдаст. А вот как вы переберетесь через границу, я не совсем себе представляю.

— Ну, это дело не трудное! Я возьму у Луизы Райт ее паспорт и поеду отдыхать в горы. Меня в Романье никто не знает, а вас — каждый сыщик.

— И каждый к-контрабандист. К счастью.

Джемма посмотрела на часы:

— Половина третьего. В нашем распоряжении целый день и вечер, если вы хотите выехать сегодня.

— Тогда я сейчас же пойду домой, приготовлюсь и добуду хорошую лошадь. Поеду в Сан-Лоренцо верхом. Так будет безопаснее.

— Нанимать лошадь совсем не безопасно. Ее владелец...

— Я и не стану нанимать. Мне ее даст один человек, которому можно довериться. Он и раньше оказывал мне услуги. А через две недели кто-нибудь из пастухов приведет ее обратно... Так я вернусь сюда часов в пять или в половине шестого. А вы за это время разыщите М-мартини и объясните ему все.

— Мартини?— Джемма изумленно взглянула на него.

— Да. Нам придется посвятить его в наши дела. Если только вы не предложите кого-нибудь другого.

— Я не совсем понимаю — зачем.

— Нам нужно иметь здесь человека на случай каких-нибудь непредвиденных затруднений. А из всей здешней компании я больше всего доверяю Мартини. Риккардо тоже, конечно, сделал бы для нас все, что от него зависит, но Мартини надежнее. Вы, впрочем, знаете его лучше, чем я... Решайте.

— Я ничуть не сомневаюсь в том, что Мартини человек подходящий и надежный. И я думаю, он согласится помочь.

Он понял сразу:

— Джемма, представьте себе, что ваш товарищ не обращается к вам за помощью в крайней нужде только потому, что боится обидеть или огорчить вас. Хорошо ли это по отношению к нему?

— Ну что ж,— сказала она после короткой паузы,— я сейчас же пошлю за ним Кэтти. А сама схожу к Луизе за паспортом. Она обещала дать мне его по первой моей просьбе... А как с деньгами? Не взять ли мне в банке?

— Нет, не теряйте на это времени. Я сниму со своего счета, и нам хватит на первое время. А потом, когда мои ресурсы истощатся, прибегнем к вашим. Значит, увидимся в половине шестого. Вы к тому времени вернетесь?

— Да, конечно. Я вернусь гораздо раньше.

Задержавшись на полчаса, Овод пришел в шесть и застал Джемму и Мартини на террасе. Он сразу догадался, что разговор у них был тяжелый. Следы волнения виднелись на лицах у обоих. Мартини был необычно молчалив и мрачен.

— Ну как, все готово? — спросила Джемма.

— Да. Вот принес вам денег на дорогу. Лошадь будет ждать меня у заставы Понте-Россо в час ночи.

— Не слишком ли это поздно? Ведь вам надо попасть в Сан-Лоренцо прежде, чем город проснется.

— Я успею. Лошадь хорошая, а мне не хочется, чтобы кто-нибудь заметил мой отъезд. К себе я больше не вернусь. Там дежурит шпик: думает, что я дома.

— Как же вам удалось уйти незамеченным?

— Я вылез из кухонного окна в огород, а потом перелез через стену в фруктовый сад к соседям. Потому-то я так и запоздал. Нужно было как-нибудь ускользнуть от него. Хозяин лошади весь вечер будет сидеть в моем кабинете с зажженной лампой. Шпик увидит свет в окне и тень на шторе и будет уверен, что я дома и пишу.

— Вы, стало быть, останетесь здесь, пока не наступит время идти к заставе?

— Да. Я не хочу, чтобы меня видели на улице... Возьмите сигару, Мартини. Я знаю, что синьора Болла позволяет курить.

— Мне все равно нужно оставить вас. Я пойду на кухню помочь Кэтти приготовить обед.

Когда Джемма ушла, Мартини встал и принялся шагать по террасе, заложив руки за спину. Овод молча курил и смотрел, как за окном моросит дождь.

— Ривapec! — сказал Мартини, остановившись прямо перед Оводом, но опустив глаза.— Во что вы хотите втянуть ее?

Овод вынул изо рта сигару и пустил облако дыма.

— Она сама за себя решила,— ответил он.— Ее никто ни к чему не принуждал.

— Да, да, я знаю. Но скажите мне...— Он замолчал.

— Я скажу все, что могу.

— Я мало что знаю насчет ваших дел в горах. Скажите мне только, будет ли ей угрожать серьезная опасность?

— Вы хотите знать правду?

— Разумеется.

— Да, будет.

Мартини отвернулся и зашагал из угла в угол. Потом опять остановился:

— Еще один вопрос. Можете, конечно, не отвечать на него, но если захотите ответить, то отвечайте честно: вы любите ее?

Овод не спеша стряхнул пепел и продолжал молча курить.

— Значит, вы не хотите ответить на мой вопрос?

— Нет, хочу, но я имею право знать, почему вы об этом спрашиваете.

— Господи! Да неужели вы сами не понимаете, почему?

— А, вот что! — Овод отложил сигару в сторону и пристально посмотрел в глаза Мартини.— Да,— сказал он наконец тихо и мягко,— я люблю ее. Но не думайте, что я собираюсь объясняться ей в любви. Меня ждет...

Последние слова он произнес чуть слышным шепотом. Мартини подошел ближе:

— Что ждет?..

— Смерть.

Овод смотрел прямо перед собой холодным, остановившимся взглядом, как будто был уже мертв. И когда он снова заговорил, голос его звучал безжизненно и ровно.

— Не тревожьте ее раньше времени,— сказал он.— Нет ни тени надежды, что я останусь цел. Опасность грозит всем. Она знает это так же хорошо, как и я. Но контрабандисты сделают все, чтобы уберечь ее от ареста. Они — славный народ, хотя малость и грубоваты. А моя шея давно уже в петле, и, перейдя границу, я только затяну веревку.

— Риварес! Что вы говорите? Я, конечно, понимаю, дело предстоит опасное, особенно для вас. Но вы так часто пересекали границу, и до сих пор все сходило благополучно.

— Да, а на сей раз я попадусь.

— Но почему? Откуда вы это взяли?

Овод грустно усмехнулся:

— Помните немецкую легенду о человеке, который умер, встретившись со своим двойником?.. Нет? Двойник явился ему ночью, в пустынном месте... Он ломал руки в отчаянии. Так вот, я тоже встретил своего двойника в прошлую поездку в Апеннины, и теперь, если я перейду границу, мне назад не вернуться.

Мартини подошел к нему и положил руку на спинку его кресла:

— Слушайте, Риварес, я отказываюсь понимать эту метафизическую галиматью, но мне ясно одно: с такими предчувствиями ехать нельзя. Самый верный способ попасться — это убедить себя в провале заранее. Вы, наверно, больны или чем-то расстроены, если у вас голова забита такими бреднями. Давайте я поеду, а вы останетесь. Все будет сделано как надо, только дайте мне письмо к вашим друзьям с объяснением...

— Чтобы вас убили вместо меня? То-то было бы умно!

— Не убьют! Меня там не знают, не то что вас! Да если даже убьют...

Он замолчал, и Овод посмотрел на него долгим, вопрошающим взглядом. Мартини уронил руку вдоль тела.

— Ей будет гораздо тяжелее потерять вас, чем меня,— сказал он своим самым обычным тоном.— А кроме того, Риварес, это дело общественного значения, и подход к нему должен быть только один: как его выполнить, чтобы принести наибольшую пользу наибольшему количеству людей. Ваш «коэффициент полезности», как выражаются экономисты, выше моего. У меня хватает соображения понять это, хотя я не особенно благоволю к вам. Вы бóльшая величина, чем я. Лучше ли вы, чем я, не знаю, но вы значительнее как личность, и ваша смерть будет более ощутимой потерей.

Все это Мартини проговорил так, будто речь у них шла о котировке биржевых акций. Овод посмотрел на него и зябко повел плечами.

— Вы хотите, чтобы я ждал, когда могила сама поглотит меня?

Уж если суждено мне умереть,
Смерть, как невесту, встречу я!*

Слушайте, Мартини! Какую мы с вами несем чепуху!

— Вы-то несомненно несете чепуху,— угрюмо пробормотал Мартини.

— И вы тоже. Так не будем увлекаться романтическим самопожертвованием на манер дона Карлоса и маркиза Позы*. Мы живем в девятнадцатом веке, и, если мне положено умереть, я умру.

— А если мне положено уцелеть, я, наверно, уцелею! Вам везет, Риварес!

— Да,— коротко подтвердил Овод,— мне всегда везло.

Они молча докурили свои сигары, потом принялись обсуждать детали предстоящей поездки. Когда Джемма пришла, они и виду не подали, насколько необычна была их беседа. Пообедав, все трое приступили к деловому разговору. Когда пробило одиннадцать, Мартини встал и взялся за шляпу.

— Я схожу домой и принесу вам свой дорожный плащ, Риварес. В нем вас гораздо труднее будет узнать, чем в этом костюме. Хочу, кстати, сделать небольшую разведку до отъезда: надо посмотреть, нет ли около дома шпиков.

— Вы проводите меня до заставы?

— Да. Две пары глаз вернее одной на тот случай, если за вами будут следить. К двенадцати я вернусь. Смотрите же, не уходите без меня... Я возьму ключ, Джемма, чтобы никого не беспокоить звонком.

Она внимательно посмотрела на него и поняла, что он нарочно подыскал предлог, чтобы оставить ее наедине с Оводом.

— Мы с вами поговорим завтра,— сказала она.— Утром, когда я покончу со сборами.

— Да, времени будет вдоволь... Хотел еще задать вам два-три вопроса, Риварес, да, впрочем, потолкуем по дороге к заставе... Джемма, отошлите Кэтти спать и говорите оба по возможности тише. Итак, до двенадцати.

Он слегка кивнул им и, с улыбкой выйдя из комнаты, громко хлопнул наружной дверью: пусть соседи знают, что гость синьоры Болла ушел.

Джемма пошла на кухню пожелать Кэтти спокойной ночи и вернулась, держа в руках поднос с чашкой черного кофе.

— Не хотите ли прилечь немного? — спросила она.— Ведь вам не придется спать эту ночь.

— Нет, что вы! Я посплю в Сан-Лоренцо, пока мне будут доставать костюм и грим.

— Ну, так выпейте кофе... Подождите, я подам печенье.

Она стала на колени перед буфетом, а Овод подошел и вдруг наклонился к ней:

— Что у вас там такое? Шоколадные конфеты и английский ирис! Да ведь это п-пища богов!

Джемма подняла глаза и улыбнулась его восторгу.

— Вы тоже сластена? Я всегда держу эти конфеты для Чезаре. Он радуется, как ребенок, всяким лакомствам.

— В с-самом деле? Ну, так вы ему з-завтра купите другие, а эти дайте мне с собой. С вашего разрешения я п-положу ириски в карман, и они утешат меня за все потерянные радости жизни. Н-надеюсь, мне будет дозволено пососать ириску, когда меня поведут на виселицу.

— Подождите, я найду какую-нибудь коробочку — они такие липкие. А шоколадных тоже положить?

— Нет, эти я буду есть теперь, с вами.

— Я не люблю шоколада. Ну, садитесь и перестаньте дурачиться. Весьма вероятно, что нам не представится случая толком поговорить, перед тем как один из нас будет убит и...

— Она н-не любит шоколада,— тихо пробормотал Овод.— Придется объедаться в одиночку. Последняя трапеза накануне казни, не так ли? Сегодня вы должны исполнять все мои прихоти. Прежде всего я хочу, чтобы вы сели вот в это кресло, а так как мне разрешено прилечь, то я устроюсь вот здесь. Так будет удобнее.

Он растянулся на ковре у ног Джеммы и, облокотившись о кресло, посмотрел ей в лицо.

— Какая вы бледная! Это потому, что вы видите в жизни только ее грустную сторону и, как выяснилось, не любите шоколада.

— Да побудьте же серьезны хоть пять минут! Ведь дело идет о жизни и смерти.

— Даже и две минуты не хочу быть серьезным, друг мой. Ни жизнь, ни смерть не стоят того.

Он завладел обеими ее руками и поглаживал их кончиками пальцев.

— Не смотрите же так сурово, Минерва*. Еще минута, и я заплачу, а вам станет жаль меня. Мне хочется, чтобы вы улыбнулись, у вас такая восхитительно добрая улыбка... Ну-ну, не бранитесь, дорогая! Давайте есть печенье, как двое примерных деток, и не будем ссориться — ведь завтра придет смерть.

Он взял с тарелки печенье и разделил его на две равные части, стараясь, чтобы глазурь разломилась как раз посередине.

— Пусть это будет для нас причастием, которое получают в церкви благонамеренные люди. «Примите, ядите; сие есть тело мое». И мы должны в-выпить вина из одного стакана... Да, да, вот так. «Сие творите в мое воспоминание...»

Джемма поставила стакан на стол.

— Перестаньте! — сказала она срывающимся голосом.

Овод взглянул на нее и снова взял ее руки в свои.

— Ну полно. Давайте помолчим. Когда один из нас умрет, другой вспомнит эти минуты. Забудем шумный мир, который так назойливо жужжит нам в уши, пойдем рука об руку в таинственные чертоги смерти и опустимся там на ложе, усыпанное дремотными маками. Молчите! Не надо говорить.

Он положил голову к ней на колени и закрыл рукой лицо. Джемма молча провела ладонью по его темным волосам. Время шло, а они сидели не двигаясь, не говоря ни слова.

— Друг мой, скоро двенадцать,— сказала наконец Джемма. Овод поднял голову.— Нам осталось лишь несколько минут. Мартини сейчас вернется. Быть может, мы никогда больше не увидимся. Неужели вам нечего сказать мне?

Овод медленно встал и отошел в другой конец комнаты. С минуту оба молчали.

— Я скажу вам только одно,— еле слышно проговорил он,— признаюсь вам...— Он замолчал и, сев у окна, закрыл лицо руками.

— Наконец-то вы решили сжалиться надо мной,— прошептала Джемма.

— Меня жизнь тоже никогда не жалела. Я... я думал сначала, что вам... все равно.

— Теперь вы этого не думаете?

Не дождавшись его ответа, Джемма подошла и стала рядом с ним.

— Скажите мне наконец правду! — прошептала она.— Ведь если вас убьют, а меня нет, я до конца дней своих так и не узнаю... так и не уверюсь, что...

Он взял ее руки и крепко сжал их:

— Если меня убьют... Видите ли, когда я уехал в Южную Америку... Ах, вот и Мартини!

Овод рванулся с места и распахнул дверь. Мартини вытирал ноги о коврик.

— Пунктуальны, как всегда,— м-минута в минуту! Вы ж-живой хронометр, Мартини. Это и есть ваш д-дорожный плащ?

— Да, тут еще кое-какие вещи. Я старался донести их сухими, но дождь льет как из ведра. Скверно вам будет ехать.

— Вздор! Ну, как на улице — все спокойно?

— Да. Шпики, должно быть, ушли спать. Оно и не удивительно в такую скверную погоду... Это кофе, Джемма? Риваресу следовало бы выпить чего-нибудь горячего, прежде чем выходить на дождь, не то простуда обеспечена.

— Это черный кофе. Очень крепкий. Я пойду вскипячу молоко.

Джемма пошла на кухню, крепко стиснув зубы, сжав руки, чтобы не разрыдаться. Когда она вернулась с молоком, Овод был уже в плаще и застегивал кожаные гетры, принесенные Мартини. Он стоя выпил чашку кофе и взял в руки широкополую дорожную шляпу.

— Пожалуй, пора отправляться, Мартини. На всякий случай пойдем к заставе кружным путем... Пока, синьора, до свидания. Я встречу вас в пятницу в Форли, если, конечно, ничего не случится. Подождите минутку, в-вот вам адрес.

Овод вырвал листок из записной книжки и написал на нем несколько слов карандашом.

— У меня он уже есть,— ответила Джемма безжизненно-ровным голосом.

— Разве? Ну, в-все равно, возьмите на всякий случай... Идем, Мартини. Тише! Чтобы дверь даже не скрипнула.

Они осторожно сошли вниз. Когда наружная дверь затворилась за ними, Джемма вернулась в комнату и машинально развернула бумажку, которую дал ей Овод. Под адресом было написано:

Я скажу все там.

Глава II

В Бризигелле был базарный день. Из соседних деревушек и сел съехались крестьяне — кто с домашней птицей и свиньями, кто с молоком, с маслом, кто с гуртами полудикого горного скота. Люди двигались взад и вперед по площади, смеясь, отпуская шутки, торгуясь с продавцами дешевых пряников, винных ягод и семечек. Загорелые босоногие мальчишки валялись на мостовой под горячими лучами солнца, а матери их сидели под деревьями с корзинами яиц и масла.

Монсеньор Монтанелли вышел на площадь поздороваться с народом. Его сразу окружила шумная толпа детей, протягивающих ему пучки ирисов, красных маков и нежных белых нарциссов, собранных по горным склонам. На любовь кардинала к цветам смотрели снисходительно, как на одну из слабостей, которые к лицу мудрым людям. Если бы кто-нибудь другой на его месте

наполнял своей дом травами и растениями, над ним бы, наверно, смеялись, но «благословенный кардинал» мог позволить себе такие невинные причуды.

— А, Мариучча! — сказал он, останавливаясь около маленькой девочки и гладя ее по голове.— Как ты выросла! А бабушка все мучается ревматизмом?

— Бабушке лучше, ваше преосвященство, а вот мама у нас заболела.

— Бедная! Пусть зайдет к доктору Джордано, он ее посмотрит, а я поищу ей какое-нибудь место здесь,— может быть, она и поправится... Ты выглядишь лучше, Луиджи! Как твои глаза?

Монтанелли проходил по площади, разговаривая с горцами. Он помнил имена и возраст их детей, все их невзгоды и беды, справлялся о корове, заболевшей на рождестве, о тряпичной кукле, попавшей под колесо в прошлый базарный день.

Когда он вернулся в свой дворец, торговля на базаре шла полным ходом. Хромой человек в синей блузе, со шрамом на левой щеке и шапкой черных волос, свисавших ему на глаза, подошел к одному из ларьков и, коверкая слова, спросил лимонаду.

— Вы, видно, нездешний? — поинтересовалась женщина, наливая ему лимонад.

— Нездешний. С Корсики.

— Работу ищете?

— Да. Скоро сенокос. Один господин — у него под Равенной своя ферма — приезжал на днях в Бастию и говорил мне, что около Равенны работы много.

— Надо думать, пристроитесь; только времена теперь тяжелые.

— А на Корсике, матушка, и того хуже. Что с нами, бедняками, будет, прямо не знаю...

— Вы один оттуда приехали?

— Нет, с товарищем. Вон с тем, что в красной рубашке... Эй, Паоло!

Услыхав, что его зовут, Микеле заложил руки в карманы и ленивой походкой направился к ларьку. Он вполне мог сойти за корсиканца, несмотря на рыжий парик, который делал его неузнаваемым. Что же касается Овода, то он был само совершенство.

Они медленно шли по базарной площади. Микеле негромко насвистывал, Овод, сгибаясь под тяжестью мешка, лежавшего у него на плече, волочил ноги, чтобы сделать менее заметной свою хромоту. Они ждали товарища, которому должны были передать важные сведения.

— Вон Марконе верхом, у того угла,— вдруг прошептал Микеле.

Овод с мешком на плече потащился по направлению к всаднику.

— Не надо ли вам косаря, синьор? — спросил он, приложив руку к изорванному картузу, и тронул одним пальцем поводья. Это был условный знак.

Всадник, которого можно было по виду принять за управляющего имением, сошел с лошади и бросил поводья ей на шею.

— А что ты умеешь делать?

Овод мял в руках картуз.

— Косить траву, синьор, подрезать живую изгородь...— И он продолжил, не меняя голоса:— В час ночи у входа в круглую пещеру. Понадобятся две хорошие лошади и повозка. Я буду ждать в самой пещере... И копать умею... и...

— Ну что ж, хорошо. Косарь мне и нужен. Тебе эта работа знакома?

— Знакома, синьор... Имейте в виду, надо вооружиться. Мы можем встретить конный отряд. Не ходите лесной тропинкой, другой стороной будет безопасней. Если встретите сыщика, не тратьте времени на пустые разговоры — стреляйте сразу... Уж так я рад стать на работу, синьор...

— Ну еще бы! Только мне нужен хороший косарь... Нет у меня сегодня мелочи, старина.

Оборванный нищий подошел к ним и затянул жалобным, монотонным голосом:

— Во имя пресвятой девы, сжальтесь над несчастным слепцом... Уходите немедленно, едет конный отряд... Пресвятая царица небесная, непорочная дева... Ищут вас, Риварес... через две минуты будут здесь... Да наградят вас святые угодники... Придется действовать напролом, сыщики шныряют всюду. Незамеченными все равно не уйдете.

Марконе сунул Оводу поводья:

— Скорей! Выезжайте на мост, лошадь бросьте, а сами спрячьтесь в овраге. Мы все вооружены, задержим их минут на десять.

— Нет. Я не хочу подводить вас. Не разбегайтесь и стреляйте вслед за мной. Двигайтесь по направлению к лошадям — они привязаны у дворцового подъезда — и держите наготове ножи. Будем отступать с боем, а когда я брошу картуз наземь, режьте недоуздки — и по седлам. Может быть, доберемся до леса...

Разговор велся вполголоса и так спокойно, что даже стоявшие рядом не могли бы заподозрить, что речь идет о чем-то более опасном, чем сенокос. Марконе взял свою кобылу под

уздцы и повел ее к коновязи. Овод плелся рядом, а нищий шел за ним с протянутой рукой и не переставал жалобно причитать. Микеле, посвистывая, поравнялся с ними. Нищий успел сказать ему все, а он, в свою очередь, предупредил троих крестьян, евших под деревом сырой лук. Те сейчас же поднялись и пошли за ним. Таким образом, все семеро, не привлекая к себе внимания, стали теперь у ступенек дворца. Каждый придерживал одной рукой спрятанный за пазухой пистолет. Лошади, привязанные у подъезда, были в двух шагах от них.

— Не выдавайте себя, прежде чем я не подам сигнала,— сказал Овод тихим, внятным голосом.— Может быть, нас и не узнают. Когда я выстрелю, открывайте огонь и вы. Но не в людей — лошадям в ноги: тогда нас не смогут преследовать. Трое пусть стреляют, трое перезаряжают пистолеты. Если кто-нибудь станет между нами и лошадьми — убивайте. Я беру себе чалую. Как только брошу картуз на землю, действуйте каждый на свой страх и риск и не останавливайтесь ни в коем случае.

— Едут,— сказал Микеле.

Продавцы и покупатели вдруг прекратили торговлю, и Овод обернулся; на лице его было написано простодушное удивление.

Пятнадцать вооруженных всадников медленно выехали на базарную площадь. Они с трудом прокладывали себе дорогу в толпе, и, если бы не сыщики, расставленные на всех углах, все семеро заговорщиков могли бы спокойно скрыться, пока толпа глазела на солдат. Микеле придвинулся к Оводу:

— Не пора ли нам уходить?

— Невозможно. Мы окружены сыщиками, один из них уже узнал меня. Вон он послал сказать об этом капитану. Единственный выход — стрелять по лошадям.

— Где этот сыщик?

— Я буду стрелять в него первого. Все готовы? Они уже двинулись к нам. Сейчас кинутся.

— Прочь с дороги! — крикнул капитан.— Именем его святейшества!

Толпа метнулась назад, испуганная и удивленная, и солдаты ринулись на небольшую группу людей, стоявшую у дворцового подъезда. Овод вытащил из-под блузы пистолет и выстрелил, но не в приближающийся отряд, а в сыщика, который подбирался к лошадям. Тот упал с раздробленной ключицей. Почти в ту же секунду раздались один за другим еще шесть выстрелов, и заговорщики начали двигаться к условленному месту.

Одна из кавалерийских лошадей споткнулась и шарахнулась в сторону. Другая упала, громко заржав. В толпе, охваченной паникой, послышались крики, но они не могли заглушить власт-

ный голос офицера, командующего отрядом. Он поднялся на стременах и взмахнул саблей:

— Сюда! За мной!

И вдруг закачался в седле и упал навзничь. Овод снова выстрелил и не промахнулся. По мундиру капитана ручейком полилась кровь, но яростным усилием воли он выпрямился, цепляясь за гриву коня, и злобно крикнул:

— Убейте этого хромого дьявола, если не можете взять его живым! Это Риварес!

— Дайте пистолет, скорей! — крикнул Овод товарищам.— И бегите!

Он швырнул наземь картуз. И вовремя: сабли разъяренных солдат сверкнули над самой его головой.

— Бросьте оружие! Все бросьте!

Между сражающимися вдруг выросла фигура кардинала Монтанелли. Один из солдат в ужасе крикнул:

— Ваше преосвященство! Боже мой, вас убьют!

Но Монтанелли лишь сделал еще шаг вперед и стал перед дулом пистолета Овода.

Пятеро заговорщиков уже были на конях и мчались вверх по крутой улице. Марконе только успел вскочить в седло. Но прежде чем ускакать, он обернулся: не нужно ли помочь их предводителю? Чалая стояла близко. Еще миг — и все семеро были бы спасены. Но как только фигура в пунцовой кардинальской сутане выступила вперед, Овод покачнулся, и его рука, державшая пистолет, опустилась. Это мгновение решило все. Овода окружили и сшибли с ног; один из солдат ударом сабли выбил пистолет у него из руки. Марконе дал шпоры. Кавалерийские лошади цокали подковами в двух шагах от него. Задерживаться было бессмысленно — могут тоже схватить. Повернувшись в седле на всем скаку и послав последний выстрел в ближайшего преследователя, Марконе увидел Овода. Лицо его было залито кровью. Лошади, солдаты и сыщики топтали его ногами. Марконе услышал яростную брань и торжествующие возгласы поимщиков.

Монтанелли не видел, что произошло. Он отошел от ступенек и пытался успокоить объятых страхом людей, потом наклонился над раненым сыщиком, но тут толпа испуганно всколыхнулась, и это заставило его поднять голову. Солдаты пересекали площадь, волоча своего пленника за веревку, которой он был связан по рукам. Лицо его посерело от изнеможения и боли; дыхание со страшным хрипом вырывалось из груди, и все же он обернулся в сторону кардинала и, улыбнувшись побелевшими губами, прошептал:

— П-поздравляю, ваше преосвященство!..

...Пять дней спустя Мартини приехал в Форли. Джемма прислала ему по почте пачку печатных объявлений — условный знак, означавший, что события требуют его присутствия. Мартини вспомнил разговор на террасе и сразу угадал истину. Всю дорогу он не переставал твердить себе: нет оснований бояться, что с Оводом что-то случилось. Разве можно придавать значение ребяческим фантазиям такого неуравновешенного человека? Но чем больше он убеждал себя в этом, тем тверже становилась его уверенность, что несчастье случилось именно с Оводом.

— Я догадываюсь, что произошло. Ривареса задержали? — сказал он, входя к Джемме.

— Он арестован в прошлый четверг в Бризигелле. При аресте отчаянно защищался и ранил начальника отряда и сыщика.

— Вооруженное сопротивление. Дело плохо!

— Это несущественно. Он был так серьезно скомпрометирован, что лишний выстрел вряд ли что-нибудь изменит.

— Что же с ним сделают?

Бледное лицо Джеммы стало еще бледнее.

— Вряд ли нам надо ждать, пока мы это узнаем.

— Вы думаете, что нам удастся освободить его?

— Мы *должны* это сделать.

Мартини отвернулся и стал насвистывать, заложив руки за спину. Джемма не мешала ему думать. Она сидела, запрокинув голову на спинку стула и глядя в пустоту с отрешенным, трагическим выражением лица. В ее лице было что-то напоминающее «Меланхолию» Дюрера*.

— Вы успели повидаться с ним? — спросил Мартини, останавливаясь перед ней.

— Нет, мы должны были встретиться здесь на следующее утро.

— Да, помню. Где он сейчас?

— В крепости, под усиленной охраной и, говорят, в кандалах.

Мартини пожал плечами:

— На всякие кандалы можно найти хороший напильник, если только Овод не ранен...

— Кажется, ранен, но насколько серьезно, мы не знаем... Да вот послушайте лучше Микеле: он был при аресте.

— Каким же образом уцелел Микеле? Неужели он убежал и оставил Ривареса на произвол судьбы?

— Это не его вина. Он отстреливался вместе с остальными и исполнил в точности все распоряжения. Никто ни в чем не отступал от них. Единственный, кто как будто вдруг забыл, что надо делать, или допустил в последнюю минуту какую-то ошибку, был Риварес. Это просто необъяснимо... Подождите, я сейчас позову Микеле.

Джемма вышла из комнаты и вскоре вернулась с Микеле и с широкоплечим горцем.

— Это Марконе, один из наших контрабандистов,— сказала она.— Вы слышали о нем. Он только что приехал и сможет, вероятно, дополнить рассказ Микеле... Микеле, это Чезаре Мартини, о котором я вам говорила. Расскажите ему сами обо всем, что произошло на ваших глазах.

Микеле рассказал вкратце о схватке между заговорщиками и отрядом.

— Я до сих пор не могу понять, как все это случилось,— добавил он под конец.— Никто бы из нас не уехал, если б мы могли подумать, что его схватят. Но распоряжения были даны совершенно точные, и нам в голову не пришло, что, бросив картуз наземь, Риварес останется на месте и позволит солдатам окружить себя. Он был уже рядом со своим конем, перерезал недоуздок у меня на глазах, и я собственноручно подал ему заряженный пистолет, прежде чем вскочить в седло. Должно быть, хромота ему помешала — вот единственное, что я могу предположить. Но ведь в таком случае можно было бы выстрелить...

— Нет, дело не в этом,— перебил его Марконе.— Он и не пытался вскочить в седло. Я отъехал последним, потому что моя кобыла испугалась выстрелов и шарахнулась в сторону, но все-таки успел оглянуться. Он отлично мог бы уйти, если бы не кардинал.

— А! — негромко вырвалось у Джеммы.

Мартини повторил в изумлении:

— Кардинал?

— Да, он, черт его побери, кинулся прямо под дуло пистолета! Риварес, вероятно, испугался, правую руку опустил, а левую поднял... вот так.— Марконе закрыл левой рукой глаза.— Тут-то они на него и набросились.

— Ничего не понимаю,— сказал Микеле.— Совсем не похоже на Ривареса — терять голову в минуту опасности.

— Может быть, он опустил пистолет из боязни убить безоружного? — сказал Мартини.

Микеле пожал плечами:

— Безоружным незачем совать нос туда, где дерутся. Война есть война. Если бы Риварес угостил пулей его преосвященство, вместо того чтобы дать себе поймать, как ручного кролика, на свете было бы одним честным человеком больше и одним попом меньше.

Он отвернулся, закусив усы. Еще минута — и гнев его прорвался бы слезами.

— Как бы там ни было,— сказал Мартини,— дело кончено,

и обсуждать, почему так все случилось,— значит терять даром время. Теперь перед нами стоит вопрос, как организовать побег. Полагаю, что все согласны взяться за это?

Микеле не счел нужным даже ответить на лишний вопрос, а контрабандист сказал с усмешкой:

— Я убил бы родного брата, если бы он не согласился.

— Ну что ж! Тогда приступим к делу. Прежде всего, есть у вас план крепости?

Джемма отперла ящик стола и достала оттуда несколько листов бумаги:

— Все планы я приготовила. Вот первый этаж крепости. А это нижний и верхние этажи башен. Вот план укреплений. Тут дороги, ведущие в долину; а это тропинки и тайные убежища в горах и подземные ходы.

— А вы знаете, в какой он башне?

— В восточной. В круглой камере с решетчатым окном. Я отметила ее на плане.

— Откуда вы получили эти сведения?

— От солдата крепостной стражи по прозвищу Сверчок. Он двоюродный брат Джино, одного из наших.

— Скоро вы со всем этим справились!

— Да, времени было в обрез. Джино сразу пошел в Бризигеллу, а кое-какие планы были у нас раньше. Список тайных убежищ в горах составлен самим Риваресом: видите — его почерк.

— Что за люди в охране?

— Это мы еще не выяснили. Сверчок здесь не так давно и не знает других солдат.

— Нужно еще расспросить Джино, что за человек этот Сверчок. А решено, где будут проводить суд: в Бризигелле или в Равенне?

— Пока не знаем. Равенна, конечно,— главный город легатства*, и по закону важные дела должны разбираться только там, в трибунале. Но в Папской области с законом не особенно считаются. Все зависит от прихоти того, кто в данную минуту стоит у власти.

— В Равенну Ривареса не повезут,— сказал Микеле.

— Почему вы так думаете?

— Я в этом уверен. Полковник Феррари, командир гарнизона в Бризигелле,— дядя офицера, которого ранил Риварес. Это лютый зверь, он не упустит случая отомстить врагу.

— Вы думаете, он постарается задержать Ривареса в Бризигелле?

— Я думаю, что он постарается повесить его.

Мартини быстро взглянул на Джемму. Она была очень

бледна, но ее лицо не изменилось при этих словах. Очевидно, эта мысль была не нова для нее.

— Нельзя, однако, обойтись без необходимых формальностей,— спокойно сказала она.— Полковник, вероятно, под каким-нибудь предлогом добьется военного суда на месте, а потом будет оправдываться, что это было сделано ради сохранения спокойствия в городе.

— Ну, а кардинал? Неужели он согласится на такое беззаконие?

— Военные дела ему не подведомственны.

— Но он пользуется огромным влиянием. Полковник, конечно, не отважится на такой шаг без его согласия.

— Ну, согласия-то он никогда не добьется,— вставил Марконе.— Монтанелли был всегда против военных судов. Пока Ривареса держат в Бризигелле, ничего плохого еще не случится — кардинал защитит любого арестованного. Больше всего я боюсь, как бы Ривареса не перевезли в Равенну. Там ему наверняка конец.

— Этого нельзя допустить,— сказал Микеле.— Побег можно устроить в дороге. Ну, а выкрасть его из здешней крепости будет потруднее.

— По-моему, бессмысленно ждать, когда Ривареса повезут в Равенну,— сказала Джемма.— Мы должны попытаться освободить его в Бризигелле, и времени терять нельзя. Чезаре, давайте займемся планом крепости, может, что-нибудь и придумаем. У меня есть одна идея, только я не могу разрешить ее до конца.

— Идем, Марконе,— сказал Микеле, вставая,— пусть думают. Мне нужно сходить сегодня в Фоньяно, и я хочу, чтобы ты пошел со мной. Винченце не прислал нам патронов, а они должны были быть здесь еще вчера.

Когда они оба ушли, Мартини подошел к Джемме и молча протянул ей руку. Она на миг задержала в ней свои пальцы.

— Вы всегда были моим добрым другом, Чезаре,— сказала Джемма,— и всегда помогали мне в тяжелые минуты. Теперь давайте поговорим о деле.

Глава III

— А я, ваше преосвященство, еще раз самым серьезным образом заверяю вас, что ваш отказ угрожает спокойствию города.

Полковник старался сохранить почтительный тон, полагающийся в разговоре с высшим сановником церкви, но в голосе

его явно слышалось раздражение. Печень у полковника была не в порядке, жена разоряла его непомерными счетами, и за последние три недели его выдержка подвергалась жестоким испытаниям. Настроение у жителей города было мрачное; недовольство зрело с каждым днем. По всей области возникали заговоры, всюду прятали оружие. Гарнизон Бризигеллы был слаб, а верность его более чем сомнительна. И ко всему этому кардинал, которого в разговоре с адъютантом полковник назвал как-то «воплощением ослиного упрямства», доводил его почти до отчаяния. А теперь ему приходится иметь дело с Оводом, этим поистине воплощением зла.

Ранив любимого племянника полковника Феррари и его самого лучшего сыщика, этот «хромой испанский дьявол» следом за своими проделками на рыночной площади точно подкупил всю стражу, запугал всех офицеров, ведущих допрос, и превратил тюрьму в сумасшедший дом. Вот уже три недели, как он сидит в крепости, и власти Бризигеллы не знают, что делать с этим сокровищем. С него снимали допрос за допросом, пускали в ход угрозы, увещания и всякого рода хитрости, какие только могли изобрести, и все-таки не подвинулись ни на шаг со дня ареста. Теперь уже начинают думать, что было бы лучше сразу отправить его в Равенну. Однако исправлять ошибку поздно. Посылая легату доклад об аресте, полковник просил у него как особой любезности разрешения лично вести следствие и, получив на свою просьбу милостивое согласие, уже не мог отказаться от этого без унизительного признания, что противник оказался сильнее его.

Как и предвидели Джемма и Микеле, полковник решил добиться военного суда и таким путем выйти из затруднения. Упорный отказ кардинала Монтанелли согласиться на этот план был последней каплей, переполнившей чашу терпения полковника.

— Ваше преосвященство,— сказал он,— если б вы знали, сколько пришлось мне и моим помощникам вынести из-за этого человека, вы иначе отнеслись бы к делу. Я полностью отдаю себе отчет в том, что можно возражать против нарушения юридической процедуры, и уважаю ваши соображения, но ведь это исключительный случай, требующий исключительных мер.

— Несправедливость,— возразил Монтанелли,— не может быть оправдана никаким исключительным случаем. Судить штатского человека тайным военным судом несправедливо и незаконно.

— Дело обстоит так, ваше преосвященство: заключенный явно виновен в нескольких тяжких преступлениях. Он принимал участие в мятеже Савиньо, и военно-полевой суд, назначенный

монсеньором Спинолой, несомненно приговорил бы его к смертной казни или к каторжным работам, если бы ему не удалось скрыться в Тоскану. С тех пор Риварес не переставал организовывать заговоры. Известно, что он очень влиятельный член одного из самых зловредных тайных обществ. Имеются веские основания подозревать, что с его согласия, если не по прямому его наущению, убиты по меньшей мере три агента тайной полиции. Он был почти пойман на контрабандной перевозке оружия в Папскую область. Кроме того, оказал вооруженное сопротивление властям и тяжело ранил двух должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей. А теперь он — постоянная угроза спокойствию и безопасности города. Всего этого безусловно достаточно, чтобы предать его военному суду.

— Что бы этот человек ни сделал,— ответил Монтанелли,— он имеет право быть судимым по закону.

— На обычную процедуру потребуется много времени, ваше преосвященство, а нам дорога каждая минута. Притом же я в постоянном страхе, что он убежит.

— Если действительно грозит такая опасность, тогда ваше дело усилить надзор.

— Я делаю все, что могу, ваше преосвященство, но мне приходится полагаться на тюремный персонал, а этот человек точно околдовал всю стражу. В течение трех недель мы четыре раза сменили всех приставленных к нему людей, налагали взыскания на солдат, но толку никакого. Я даже не могу добиться, чтобы они перестали передавать его письма на волю и приносить ему ответы на них. Идиоты влюблены в него, как в женщину.

— Это очень интересно. Должно быть, он необыкновенный человек.

— Он необыкновенно хитрый дьявол. Простите, ваше преосвященство, но, право же, Риварес способен вывести из терпения даже святого. Вы не поверите, но мне самому приходится вести все допросы, потому что офицер, на котором лежала эта обязанность, не мог выдержать...

— То есть как?..

— Это трудно объяснить, ваше преосвященство, но вы бы поняли меня, если бы увидели хоть раз, как Риварес держится на допросе. Можно подумать, что офицер, ведущий допрос, преступник, а он — судья.

— Но что особенно страшного он может сделать? Отказаться отвечать на ваши вопросы? Так ведь у него нет другого оружия, кроме молчания.

— Да еще языка, острого, как бритва. Все мы люди, ваше преосвященство, кто из нас не совершал ошибок! И никому, конечно, не хочется, чтобы о них везде кричали. Такова челове-

ческая натура. А тут вдруг выкапывают грешки, содеянные вами лет двадцать назад, и бросают их вам в лицо.

— Разве Риварес разоблачил какую-нибудь тайну офицера, который вел допрос?

— Да... видите ли... этот бедный малый наделал долгов, когда служил в кавалерии, и взял взаймы небольшую сумму из полковой кассы...

— Другими словами, украл доверенные ему казенные деньги?

— Разумеется, это было очень дурно с его стороны, ваше преосвященство, но друзья сейчас же внесли за него всю сумму, и дело, таким образом, замяли. Он из хорошей семьи и с тех пор ведет себя безупречно. Не могу понять, каким образом Ривáрес раскопал эту старую скандальную историю, но на первóм же допросе он начал с того, что раскрыл ее, да еще в присутствии младшего офицера! И говорил с таким невинным видом, как будто читал молитву. Само собой разумеется, что теперь об этом толкуют во всем легатстве. Если бы вы, ваше преосвященство, побывали хоть на одном допросе, вам стало бы ясно... Риварес, конечно, не будет об этом знать. Вы могли бы услышать все из...

Монтанелли повернулся к полковнику. Не часто устремлял он на людей такие взгляды!

— Я служитель церкви,— сказал он,— а не полицейский агент. Подслушивание не входит в круг моих обязанностей.

— Я... я не хотел оскорбить вас...

— Я думаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса ни к чему не приведет. Если вы пришлете заключенного ко мне, я поговорю с ним.

— Позволю себе со всей почтительностью посоветовать вашему преосвященству не делать этого. Риварес совершенно неисправим. Безопаснее и разумнее поступиться на этот раз буквой закона и избавиться от него, пока он не натворил новых бед. После того, чтó вы, ваше преосвященство, сказали, я боюсь настаивать на своем, но ведь в конце концов ответственность перед монсеньором легатом за спокойствие города придется нести мне...

— А я,— прервал его Монтанелли,— несу ответственность перед богом и его святейшеством за то, что в моей епархии не будет совершено ни одного противозаконного деяния. Если вы настаиваете, полковник, я позволю себе сослаться на свою привилегию кардинала. Я не допущу тайного военного суда в нашем городе в мирное время. Я приму заключенного без свидетелей завтра, в десять часов утра.

— Как вашему преосвященству будет угодно,— хоть и хму-

ро, но почтительно ответил полковник и вышел, ворча про себя: — Что касается упрямства, то в этом они могут поспорить друг с другом!

Он никому не сказал о предстоящей встрече Овода с кардиналом вплоть до той минуты, когда нужно было снять с заключенного кандалы и вести его во дворец.

— Достаточно уж того,— заметил он в разговоре с раненым племянником,— что этот сын валаамовой ослицы* берется толковать законы. Не хватает только, чтобы солдаты сговорились с Риваресом и его друзьями и устроили ему побег по дороге.

Когда Овод под усиленным конвоем вошел в комнату, где за покрытым бумагами столом Монтанелли сидел и писал что-то, ему вдруг вспомнился летний день, папка с проповедями, которые он перелистывал в кабинете, так похожем на этот. В жару ставни и здесь были притворены, а на улице продавец фруктов кричал:

— Fragola! Fragola!

Гневно тряхнув головой, он откинул назад волосы, падавшие ему на лоб, и изобразил на лице улыбку.

Монтанелли поднял на него глаза.

— Вы можете подождать в передней,— сказал он конвойным.

— Простите, ваше преосвященство,— начал сержант вполголоса, явно робея,— но полковник считает заключенного очень опасным и думает, что лучше...

Глаза Монтанелли вспыхнули.

— Вы можете подождать в передней,— повторил он спокойным голосом, и перепуганный сержант, отдав честь и бормоча извинения, вышел с солдатами из кабинета.

— Садитесь, пожалуйста,— сказал кардинал, когда дверь затворилась.

Овод сел, сохраняя молчание.

— Синьор Риварес,— начал Монтанелли после короткой паузы,— я хочу предложить вам несколько вопросов и буду благодарен, если вы ответите на них.

Овод улыбнулся:

— Мое г-главное занятие теперь — в-выслушивать предлагаемые мне вопросы.

— И не отвечать на них? Да, мне говорили об этом. Но те вопросы вам предлагали офицеры, ведущие следствие. Они обязаны использовать ваши ответы как улики против вас...

— А в-вопросы вашего преосвященства?..

Желание оскорбить чувствовалось скорее в тоне, чем в словах Овода. Кардинал сразу это понял. Но лицо его не потеряло своего серьезного и приветливого выражения.

— Мои вопросы,— сказал он,— останутся между нами, от-

ветите ли вы на них или нет. Если они коснутся ваших политических тайн, вы, конечно, промолчите. Но, хотя мы совершенно не знаем друг друга, я надеюсь, что вы сделаете мне личное одолжение и не откажетесь побеседовать со мной.

— Я в-весь к услугам вашего преосвященства.

Легкий поклон, сопровождавший эти слова, и выражение лица, с которым они были сказаны, у кого угодно отбили бы охоту просить одолжения.

— Так вот, вам ставится в вину ввоз огнестрельного оружия в эту область. Зачем оно вам понадобилось?

— Уб-бивать крыс.

— Страшный ответ. Неужели вы считаете крысами тех людей, которые не разделяют ваших убеждений?

— Н-некоторых из них.

Монтанелли откинулся на спинку кресла и несколько секунд молча глядел на своего собеседника.

— Что это у вас на руке? — спросил он вдруг.

Овод посмотрел на свою левую руку:

— Старые с-следы от крысиных зубов.

— Простите, но я говорю про другую. Там — свежая рана.

Узкая, гибкая рука была вся изранена. Овод поднял ее. На вспухшем запястье был большой синяк.

— С-сущая безделица, как видите. Когда меня арестовали, по милости вашего преосвященства,— он снова сделал легкий поклон,— один из солдат наступил мне на руку.

Монтанелли взял его руку в свои и стал пристально рассматривать ее.

— С тех пор прошло уже три недели, почему же она в таком состоянии? — спросил он.— Вся воспалена.

— Возможно, что н-наручники не пошли ей на пользу.

Кардинал нахмурился:

— Вам надели наручники на свежую рану?

— Р-разумеется, ваше преосвященство. Свежие раны для того и существуют. От старых мало проку: они будут только ныть, а не жечь вас, как огнем.

Монтанелли снова взглянул на Овода пристальным вопрошающим взглядом, потом встал и вынул из стола ящик с хирургическими инструментами.

— Дайте руку,— сказал он.

Овод повиновался. Лицо его застыло, словно высеченное из камня. Монтанелли обмыл пораненное место и осторожно перевязал его. Очевидно, такая работа была для него привычной.

— Я поговорю насчет кандалов,— сказал он.— А теперь позвольте задать вам еще один вопрос: что вы предполагаете делать дальше?

— От-твет очень прост, ваше преосвященство: убегу, если удастся. В противном случае — умру.

— Почему же?

— Потому что, если полковник не добьется расстрела, меня приговорят к каторжным работам, а это р-равносильно смерти. У меня не хватит здоровья вынести каторгу.

Опершись о стол рукой, Монтанелли задумался. Овод не мешал ему. Он откинулся на спинку стула, полузакрыл глаза и наслаждался всем своим существом, не чувствуя на себе кандалов.

— Предположим,— снова начал Монтанелли,— что вам удастся бежать. Что вы станете делать тогда?

— Я уже сказал вашему преосвященству: убивать крыс.

— Убивать крыс... Следовательно, если бы я дал вам возможность бежать отсюда,— предположим, что это в моей власти,— вы воспользовались бы свободой, чтобы способствовать насилию и кровопролитию, а не предотвращать их?

Овод посмотрел на распятие, висевшее на стене:

— «Не мир, но меч...»* Как в-видите, компания у меня хорошая. Впрочем, я предпочитаю мечу пистолеты.

— Синьор Риварес,— сказал кардинал с непоколебимым спокойствием,— я не оскорблял вас, не позволял себе говорить пренебрежительно о ваших убеждениях и ваших друзьях. Не вправе ли я надеяться на такую же деликатность и с вашей стороны? Или же вы желаете убедить меня в том, что атеист не может быть джентльменом?

— А! Я з-забыл, что ваше преосвященство считает джентльменство одной из высших христианских добродетелей. Стоит только вспомнить проповедь, которую вы произнесли во Флоренции по поводу моего спора с вашим анонимным защитником!

— Я как раз собирался спросить вас об этом. Не будете ли вы добры объяснить мне, почему я вызываю в вас такую злобу? Если вы просто сочли меня наиболее подходящей мишенью для своих острот, это другое дело, мы не будем сейчас обсуждать ваши методы политической борьбы. Но, судя по тем памфлетам, вы питаете ко мне личную неприязнь, и я хотел бы узнать, чем вызвано такое отношение. Не причинил ли я вам когда-нибудь зло?

Не причинил ли он ему зло!

Овод схватился перевязанной рукой за горло.

— Отсылаю ваше преосвященство к Шекспиру,— сказал он с коротким смешком.— Помните, Шейлок говорит*, что некоторые люди содрогаются при виде «безобидной кошки». Так вот, я отношусь к священникам с не меньшей брезгливостью. Вид сутаны вызывает у меня оскомину.

— Ну, если дело только в этом...— Монтанелли равнодушно махнул рукой.— Хорошо, нападайте, но зачем же искажать факты! Вы заявили в ответ на ту проповедь, будто я знаю, кто мой анонимный защитник. Но ведь это неправда! Я не обвиняю вас во лжи — вы, вероятно, просто ошиблись. Имя этого человека неизвестно мне до сих пор.

Склонив голову набок, точно ученый дрозд, Овод внимательно посмотрел на кардинала, потом откинулся на спинку стула и громко захохотал:

— О, s-sancta simplicitas![1] Такая невинность под стать только аркадскому пастушку! Неужели не догадались? Неужели не приметили раздвоенного копытца?

Монтанелли встал:

— Другими словами, вы, синьор Риварес, выступали в обеих ролях?

— Конечно, это было очень дурно с моей стороны,— ответил Овод, устремив на кардинала невинный взгляд своих широко открытых голубых глаз.— Зато как я веселился! Ведь вы проглотили мою мистификацию, не поперхнувшись, точно устрицу! Но я с вами согласен — это очень, очень дурной поступок!

Монтанелли закусил губу и снова сел в кресло. Он понял с самого начала, что Овод хочет вывести его из себя, и всеми силами старался сохранить самообладание. Но теперь ему стало ясно, почему полковник так гневался. Человеку, который в течение трех недель изо дня в день допрашивал Овода, можно было простить, если у него иной раз вырывалось лишнее словцо.

— Прекратим этот разговор,— спокойно сказал Монтанелли.— Я хотел вас видеть главным образом вот зачем: как кардинал я имею право голоса — если захочу им воспользоваться — при разрешении вопроса о вашей судьбе. Но я воспользуюсь своей привилегией ради того, чтобы уберечь вас от излишне крутых мер и чтобы вы не причинили вреда другим людям, за этим вас и привели ко мне. Насчет кандалов все будет улажено, но, может быть, вы хотите пожаловаться не только на это? Кроме того, я считал себя вправе посмотреть, что вы за человек, прежде чем принимать какое-нибудь решение.

—. Мне не на что жаловаться, ваше преосвященство. À la guerre comme à la guerre[2]. Я не школьник и отнюдь не ожидаю, что правительство — любое правительство — погладит меня по головке за контрабандный ввоз огнестрельного оружия на его территорию. Оно, естественно, не пощадит меня. Что же касается того, какой я человек, то вы уже выслушали мою весьма роман-

---

[1] Святая простота! (лат.)

[2] На войне как на войне (франц.).

тическую исповедь. Разве этого не достаточно? Или вы желаете в-выслушать ее еще раз?

— Я вас не понимаю,— холодно произнес Монтанелли и, взяв со стола карандаш, стал вертеть его пальцами.

— Ваше преосвященство не забыли, конечно, старого паломника Диэго? — Овод вдруг затянул старческим голосом: — «Я несчастный грешник...»

Карандаш сломался пополам в руках Монтанелли.

— Это уж слишком! — сказал он, вставая.

Овод тихо засмеялся, запрокинув голову, и стал следить глазами за кардиналом, молча расхаживавшим по комнате.

— Синьор Риварес,— сказал Монтанелли, останавливаясь перед ним,— вы поступили со мной так, как не поступают даже со злейшими врагами. Вы сумели выведать мое горе и сделали себе игрушку и посмешище из страданий вашего ближнего. Еще раз прошу вас сказать мне: разве я причинил вам какое-нибудь зло? А если нет, то зачем вы сыграли со мной такую бессердечную шутку?

Овод откинулся на спинку стула и улыбнулся своей холодной, непроницаемой улыбкой.

— Мне показалось з-забавным, ваше преосвященство; вы так близко приняли к сердцу мои слова, все это нап-помнило мне бродячий цирк...

Монтанелли побелел лицом, даже губы у него побелели. Он отвернулся и позвонил.

— Можете увести заключенного,— сказал он конвойным.

Когда Овода вывели, Монтанелли сел к столу, весь дрожа от непривычного для него чувства негодования, и взялся было за кипу отчетов, присланных священниками епархии. Но вскоре оттолкнул ее от себя и, наклонившись над столом, закрыл лицо руками. Овод словно оставил в комнате свою страшную тень, он как бы присутствовал здесь. Монтанелли сидел съежившись, дрожа всем телом, боясь, что эта тень снова вырастет перед ним. Он знал, что в комнате никого нет, что всему виной расстроенные нервы, и все же его сковывал страх перед этой тенью... израненная рука, жестокая улыбка на губах, взгляд глубокий и загадочный, как морская пучина...

Усилием воли Монтанелли отогнал от себя страшный призрак и взялся за работу. Весь день у него не было ни одной свободной минуты, и воспоминания не мучили его. Но, войдя поздно вечером в спальню, он замер на пороге. Что, если призрак явится ему во сне? Через секунду он овладел собой и преклонил колени перед распятием. Но уснуть в ту ночь ему не удалось.

Глава IV

Вспышка гнева не помешала Монтанелли вспомнить о своем обещании. Он так горячо протестовал против кандалов, что злополучный полковник, окончательно растерявшись, махнул на все рукой и велел расковать Овода.

— Откуда мне знать,— ворчал он, обращаясь к адъютанту,— чем еще его преосвященство будет недоволен? Если ему кажется, что надевать пару простых наручников жестоко, то, пожалуй, он скоро поведет войну против железных решеток или потребует, чтобы я кормил Ривареса устрицами и трюфелями! В дни моей молодости преступники были преступниками. И обращались с ними соответственно. Никто тогда не считал, что изменник лучше вора. Но нынче бунтовщики вошли в моду, и его преосвященству угодно, кажется, поощрять всех этих негодяев.

— Не понимаю, чего он вообще вмешивается,— заметил адъютант.— Он не легат и не имеет никакой власти в гражданских и военных делах. По закону...

— Что там говорить о законе! Разве можно ждать уважения к нему, после того как святой отец открыл тюрьмы и спустил с цепи всю банду либералов! Это чистое безумие! Понятно, почему монсеньор Монтанелли теперь важничает. При его святейшестве, покойном папе, он вел себя смирно, а теперь стал самой что ни на есть первой персоной. Сразу угодил в любимчики и делает что ему вздумается. Куда же мне тягаться с ним! Кто знает, может быть, у него есть тайные полномочия от Ватикана. Теперь все перевернулось вверх дном — нельзя даже предвидеть, что принесет с собой завтрашний день. В добрые старые времена люди знали, чего им держаться, а теперь...— И полковник уныло покачал головой.

Как тут жить, когда кардиналы интересуются тюремными порядками и говорят о «правах» политических преступников.

Овод, в свою очередь, вернулся в крепость в состоянии, близком к истерике. Встреча с Монтанелли почти исчерпала запас его сил. Сказанная напоследок жестокая дерзость о бродячем цирке вырвалась в минуту полного отчаяния: необходимо было как-то оборвать этот разговор, который мог окончиться слезами, продлись он еще пять минут.

Несколько часов спустя его вызвали к полковнику, но на все предлагаемые ему вопросы он отвечал лишь взрывами истерического хохота. Когда же полковник, потеряв терпение, стал сыпать ругательствами, Овод захохотал еще громче. Несчастный полковник грозил своему непокорному узнику самыми страшными карами и в конце концов пришел к выводу, как когда-то Джеймс Бертон, что не стоит напрасно тратить время и нервы

и убеждать в чем-нибудь человека, совершенно потерявшего разум.

Овода отвели назад в камеру; он упал на койку, охваченный невыразимой тоской, всегда приходившей на смену буйным вспышкам, и пролежал там до вечера, не двигаясь, без единой мысли. Бурное волнение, владевшее им утром, уступило место апатии. Горе давило на одеревеневшую душу, словно физически ощущаемый груз, и только. Да, в сущности, не все ли равно, чем все это кончится? Единственное, что было важно для него, как и для всякого способного чувствовать существа,— это избавиться от невыносимых мук. Но придет ли облегчение со стороны или в нем просто умрет способность чувствовать,— это вопрос второстепенный. Быть может, ему удастся бежать, быть может, его убьют, но, во всяком случае, он больше никогда не увидит padre, и все, что произошло между ними,— суета сует и пустое раздражение духа.

Сторож принес ему поесть. Овод взглянул на него тяжелым, равнодушным взглядом:

— Который час?

— Шесть часов. Вот ужин, сударь.

Овод с отвращением посмотрел на дурно пахнущую, простывшую бурду и отвернулся. Он был не только измучен, но и болен физически, и вид пищи вызывал у него тошноту.

— Вы заболеете, если не будете есть,— быстро проговорил сторож.— Съешьте хоть хлеба, это вас подкрепит.

С какой-то странной настойчивостью он приподнял с тарелки промокший кусок и снова опустил его.

В Оводе сразу проснулся заговорщик: он понял, что в хлебе что-то спрятано.

— Оставьте, я съем потом,— небрежно сказал он: дверь была открыта, и сержант, стоявший на лестнице, мог слышать каждое их слово.

Когда дверь снова заперли и Овод убедился, что никто не подсматривает в глазок, он взял хлеб и осторожно раскрошил его. Внутри было то, что он надеялся найти: связка тонких напильников. На бумаге, в которую они были завернуты, виднелось несколько слов. Он тщательно расправил ее и поднес к скупо освещавшей камеру лампочке. Письмо было написано так убористо и на такой тонкой бумаге, что прочесть его оказалось нелегко.

Калитка не заперта. Ночь безлунная. Перепилите решетку как можно скорее и пройдите подземным ходом между двумя и тремя часами. Мы готовы, и другой случай, может быть, уже не представится.

Овод судорожно смял бумагу. Итак, все готово, и ему надо только перепилить оконную решетку. Какое счастье, что кандалы сняты! Не придется тратить на них время. Сколько в решетке прутьев? Два... четыре... и каждый надо перепилить в двух местах: итого восемь. Можно справиться за ночь, если не терять ни минуты. Как это Джемме и Мартини удалось устроить все так быстро? Достать ему одежду, паспорт, подыскать места, где можно прятаться... Должно быть, работали, как ломовые лошади... А принят все-таки ее план. Он тихо рассмеялся над своим чудачеством: как будто это важно — ее план или нет, был бы только хороший! Но в то же время ему было приятно, что Джемма первая напала на мысль использовать подземный ход, вместо того чтобы спускаться по веревочной лестнице, как предлагали контрабандисты. Ее план был сложнее, зато с ним не придется подвергать риску жизнь часового, стоящего на посту по ту сторону восточной стены. Поэтому, когда его познакомили с обоими планами, он, не колеблясь, выбрал план Джеммы.

Согласно этому плану, расположенный к нему часовой, по прозвищу Сверчок, должен был при первой возможности отпереть без ведома своих товарищей железную калитку, которая вела с тюремного двора к подземному ходу под валом, и потом снова повесить ключ на гвоздь в караульной. От Овода требовалось перепилить оконную решетку, разорвать рубашку на полосы, связать их и спуститься по ним на широкую восточную стену двора. Потом проползти по стене, пользуясь для этого минутами, когда часовой будет глядеть в другую сторону, и ложась плашмя всякий раз, когда он повернется к нему. На юго-восточном углу стены была полуразвалившаяся башня. Ее стены в какой-то мере поддерживал густой плющ, но многие камни завалились внутрь и грудой лежали внизу. По этим камням и плющу Овод должен был спуститься с башни во двор, осторожно отворить незапертую калитку и пройти через проход под валом в примыкающий к нему подземный туннель. Несколько веков назад этот туннель тайно соединял крепость с башней на соседнем холме. Теперь им никто не пользовался, и в некоторых местах он был завален обломками осевших скал. Одни только контрабандисты знали о существовании тщательно замаскированного хода в склоне горы, прорытого ими до самого туннеля. Никто и не подозревал, что груды контрабандных товаров лежали часто по неделям под самым крепостным валом, в то время как таможенные чиновники тщательно обыскивали дома горцев, мрачно сверкавших на них глазами. Овод должен был выйти этим ходом к склону горы, а оттуда под прикрытием темноты пробраться к тому безлюдному месту, где его должны были ждать Мартини и один из контрабандистов. Труднее всего было отпереть ка-

литку после вечернего обхода. Такой случай мог представиться не каждый день. Спускаться из окна в светлую ночь тоже было невозможно — могли увидеть часовые. Сегодня у него есть все шансы на успех, и такой случай упускать нельзя.

Овод сел на койку и стал есть хлебные крошки. Хлеб не вызывал в нем отвращения, как остальная тюремная пища, а поесть надо было, чтобы поддержать силы.

Прилечь тоже не мешает — может быть, удастся заснуть. Начинать раньше десяти часов рискованно, а работа ночью предстоит трудная.

Итак, padre все-таки думал устроить ему побег. Как это похоже на него! Но он никогда не согласился бы принять его помощь. Никогда, ни за что! Если побег удастся, это будет делом его собственных рук и рук его товарищей. Он не желает полагаться на милости священников.

Как жарко! Наверно, будет гроза. Воздух такой тяжелый, душный. Он беспокойно повернулся на койке и подложил под голову перевязанную правую руку вместо подушки. Потом вытянул ее. Как она горит! Как в ней пульсирует кровь! И все старые раны начинают ныть с чуть ощутимой настойчивостью. Почему это? Да нет, не может быть! Это просто от погоды, перед грозой. Он заснет и отдохнет немного, а потом возьмется за напильник...

Восемь прутьев — и все такие толстые, крепкие! Сколько еще осталось? Вероятно, немного. Ведь он уже пилит долго, бесконечно долго... Наверно, поэтому у него и болит рука. И как болит! До самой кости! Неужели это от работы! И та же колющая, жгучая боль в искалеченной ноге... А это почему?..

Он вскочил с койки. Нет, это не сон. Он грезил с открытыми глазами, грезил, что пилит решетку, а она еще даже не тронута. Вот они, прутья, такие же крепкие, целые, как и раньше. На далеких башенных часах пробило десять. Пора приниматься за работу.

Овод заглянул в глазок и, убедившись, что никто за ним не следит, вынул один из напильников, спрятанных у него на груди.

Нет, с ним ничего не случилось — ничего! Все это одно воображение. Боль в боку, может быть, потому, что желудок не в порядке или простуда. Да оно и не удивительно после трех недель отвратительной тюремной пищи и тюремной сырости. А ломота во всем теле и учащенный пульс — отчасти от нервного возбуждения, а отчасти от сидячей жизни. Да, да, так оно и есть! Всему виной сидячая жизнь. Как он не подумал об этом раньше!

Надо отдохнуть немного. Боль утихнет, и тогда он примется за работу. Через минуту-другую все пройдет.

Но когда он сел, ему стало еще хуже. Боль овладевала всем телом, его лицо посерело от ужаса. Нет, надо вставать и приниматься за дело. Надо стряхнуть с себя боль. Чувствовать или не чувствовать боль — зависит от твоей воли; он не хочет ее чувствовать, он заставит ее утихнуть.

Он поднялся с койки и раздельно проговорил вслух:

— Я не болен. Мне некогда болеть. Я должен перепилить решетку. Болеть сейчас нельзя,— и взялся за напильник.

Четверть одиннадцатого, половина, три четверти... Он пилил и пилил, и каждый раз, когда напильник, визжа, впивался в железо, ему казалось, что это пилят его тело и мозг.

— Кто же сдастся первый,— сказал он, усмехнувшись,— я или решетка? — потом стиснул зубы и продолжал пилить.

Половина двенадцатого. Он все еще пилил, хотя рука у него распухла, одеревенела и с трудом держала инструмент. Нет, отдыхать нельзя. Стоит только выпустить из рук этот проклятый напильник — и уже не хватит мужества начать сызнова.

За дверью послышались шаги часового, и приклад его ружья ударился о косяк. Овод перестал пилить и, не выпуская напильника из рук, оглянулся. Неужели услышали?

Какой-то шарик, брошенный через глазок, упал на пол камеры. Он наклонился поднять его. Это была туго скатанная бумажка.

Так долго длился этот спуск, а черные волны захлестывали его со всех сторон. Как они клокотали!

Ах да! Он ведь просто наклонился поднять с пола бумажку. У него немного закружилась голова. Но это часто бывает, когда наклонишься. Ничего не случилось. Решительно ничего.

Он поднял бумажку, поднес ее к свету и аккуратно развернул.

Выходите сегодня ночью во что бы то ни стало. Завтра Сверчка переводят в другое место. Это наша единственная возможность.

Он разорвал эту записку, как и первую, поднял напильник и снова принялся за работу, в отчаянии стиснув зубы.

Час ночи. Он работал уже три часа, и шесть из восьми прутьев были перепилены. Еще два, а потом можно спускаться.

Он стал припоминать прежние случаи, когда им овладевали эти страшные приступы болезни. В последний раз так было под Новый год. Дрожь охватила его при воспоминании о тех пяти ночах. Но тогда это наступило не сразу, не внезапно; так внезапно, как сейчас, еще никогда не было.

Он уронил напильник, воздел руки, и с губ его сорвались —

в первый раз с тех пор, как он стал атеистом,— слова мольбы. Он молил в беспредельном отчаянии, молил, сам не зная, к кому, к чему обращена эта мольба:

— Не сегодня! Пусть я заболею завтра! Завтра я вынесу что угодно, но только не сегодня!

С минуту он стоял неподвижно, прижав руки к вискам. Потом снова взял напильник и снова стал пилить...

Половина второго. Остался последний прут. Рукава его рубашки были изорваны в клочья; на губах выступила кровь, перед глазами стоял красный туман, пот лил ручьями со лба, а он все пилил, пилил, пилил...

Монтанелли заснул только на рассвете. Тревожные воспоминания мучили его всю ночь, и первые минуты он спал спокойно, а потом ему стали сниться сны.

Сначала эти сны были неясны, сбивчивы. Образы, один другого причудливее, проносились перед ним, оставляя после себя смутное воспоминание о борьбе, чувство боли и безотчетного ужаса. Потом он увидел во сне свою бессонницу — привычный страшный сон, терзающий его уже долгие годы. И он знал, что все это снится ему не в первый раз.

Вот он бродит по какому-то огромному пустырю, стараясь найти спокойный уголок, где можно прилечь и погрузиться в сон. Но повсюду снуют люди — они болтают, смеются, кричат, молятся, звонят в колокола, ударяют металлом о металл. Иногда ему удается уйти подальше от шума, и он ложится то среди густых трав, то на деревянную скамью, то на каменную плиту. Он закроет руками глаза от света и скажет себе: «Теперь я усну». Но толпа снова приближается с громкими возгласами и воплями. Его называют по имени, кричат ему: «Проснись, проснись скорее, ты нам нужен!»

А вот он в огромном дворце, в богато убранных залах. Повсюду стоят пышные ложа, низкие мягкие диваны. Спускается ночь. Он думает: «Наконец-то я усну здесь в тишине!» — и ложится в темном зале, и вдруг туда входят с зажженной лампой. Беспощадно яркий свет режет ему глаза, и кто-то говорит: «Вставай, тебя зовут!»

Он встает и идет дальше, пошатываясь, спотыкаясь на каждом шагу, точно раненный насмерть. Бьет час, и он знает, что ночь проходит — драгоценная короткая ночь. Два, три, четыре, пять часов — к шести весь город проснется, и тишине наступит конец.

Он заходит в следующий зал и только хочет опуститься на ложе, как вдруг кто-то поднимается с него и кричит: «Это ложе мое!» И с отчаянием в сердце он бредет дальше.

Проходит час за часом, а он все бродит по каким-то длинным коридорам, из зала в зал, из дома в дом. Часы бьют пять. Ночь миновала, близок страшный серый рассвет, а он так и не обрел покоя. О горе! Наступает день... еще один день!

Перед ним бесконечно длинный подземный туннель, весь залитый ослепительным светом люстр, канделябров. И сквозь его низкие своды откуда-то сверху доносятся звуки пляски, смех, веселая музыка. Это *там*, в мире живых, справляют какое-то торжество. Если бы найти место, где можно спрятаться и уснуть! Крошечное место — хотя бы могилу!

И, не успев подумать об этом, он видит себя у края открытой могилы. Смертью и тленом веет от нее. Но что за беда! Лишь бы выспаться.

«Могила моя!» — слышится голос Глэдис. Она откидывает истлевший саван, поднимает голову и глядит на него широко открытыми глазами. Он падает на колени и с мольбой протягивает к ней руки:

«Глэдис! Глэдис! Сжалься надо мной! Позволь мне пробраться в эту узкую щель и уснуть здесь. Я не прошу твоей любви, я не коснусь тебя, не обмолвлюсь с тобой ни словом, только позволь мне лечь рядом и забыться сном! Любимая! Бессонница измучила меня. Я изнемогаю! Дневной свет сжигает мне душу, дневной шум испепеляет мозг. Глэдис! Позволь сойти к тебе в могилу и уснуть возле тебя!»

Он хочет закрыть себе глаза ее саваном, но она шепчет, отпрянув от него: «Это святотатство! Ведь ты священник!»

И он снова идет куда-то и выходит на залитый ярким светом скалистый морской берег, о который, не зная покоя, с жалобным стоном плещут волны.

«Море сжалится надо мной!— говорит он.— Ведь оно тоже смертельно устало, оно тоже не может забыться сном».

И тогда из пучины встает Артур и говорит: «Море мое!»

— Ваше преосвященство! Ваше преосвященство!

Монтанелли сразу проснулся. К нему стучались. Он встал и отворил слуге дверь, и тот увидел его измученное, искаженное страхом лицо.

— Ваше преосвященство, вы больны?

Монтанелли провел руками по лбу:

— Нет, я спал. Вы испугали меня.

— Простите. Рано утром мне послышалось, что вы ходите по комнате, и я подумал...

— Разве уже так поздно?

— Девять часов. Полковник приехал и желает вас видеть по

очень важному делу. Зная, что ваше преосвященство поднимается рано...

— Он внизу?.. Я сейчас спущусь к нему.

Монтанелли оделся и сошел вниз.

— Извините за бесцеремонность, ваше преосвященство...— начал полковник.

— Надеюсь, у вас ничего не случилось?

— Увы, ваше преосвященство! Риварес чуть-чуть не совершил побег.

— Ну что ж, если побег не удался, значит, ничего серьезного не произошло. Как это было?

— Его нашли во дворе у железной калитки. Когда патруль обходил двор в три часа утра, один из солдат споткнулся обо что-то. Принесли фонарь и увидели, что это Риварес. Он лежал без сознания поперек дороги. Подняли тревогу. Разбудили меня. Я отправился осмотреть его камеру и увидел, что решетка перепилена и с окна свешивается жгут, свитый из белья. Он спустился по нему и пробрался ползком по стене. Железная калитка, ведущая в подземный ход, оказалась отпертой. Это заставляет предполагать, что стража была подкуплена.

— Но почему же он лежал без сознания? Упал со стены и разбился?

— Я так и подумал сначала, но тюремный врач не находит никаких повреждений. Солдат, дежуривший вчера, говорит, что Риварес казался совсем больным, когда ему принесли ужин, и ничего не ел. Но это чистейший вздор! Больной человек не перепилил бы решетки и не мог бы спуститься по стене. Это немыслимо!

— Как он объяснил это?

— Он еще не пришел в себя, ваше преосвященство.

— До сих пор?

— Время от времени сознание возвращается к нему, он стонет и затем снова забывается.

— Это очень странно. А что говорит врач?

— Врач не знает, что и думать. Он не находит никаких признаков сердечного приступа, которым можно было бы объяснить состояние больного. Но как бы то ни было, ясно одно: припадок начался внезапно, когда Риварес был уже близок к цели. Лично я усматриваю в этом вмешательство милосердного провидения.

Монтанелли слегка нахмурился.

— Что вы собираетесь с ним делать? — спросил он.

— Этот вопрос будет решен в ближайшие дни. А пока что я получил хороший урок: наручники сняли — и вот... вот результаты при всем моем уважении к вам, ваше преосвященство.

— Надеюсь,— прервал его Монтанелли,— что больного-то

вы не закуете? В таком состоянии вряд ли он сможет совершить новую попытку к бегству.

— Уж я позабочусь, чтобы этого не случилось,— пробормотал полковник, выходя от кардинала.— Пусть его преосвященство сентиментальничает, сколько ему угодно. Риварес крепко закован, и здоров он или болен, а кандалы с него я не сниму.

— Но как это могло случиться? Потерять сознание в последнюю минуту, когда все было сделано, когда он подошел к калитке... Это какая-то чудовищная нелепость!

— Единственное, что можно предположить,— сказал Мартини,— это то, что у Ривареса начался приступ его болезни. Он боролся с ней, пока хватало сил, а потом, уже спустившись во двор, потерял сознание от усталости.

Марконе яростно постучал трубкой, вытряхивая из нее пепел.

— А, да что там говорить! Все кончено, мы ничего больше не сможем для него сделать. Бедняга!

— Бедняга! — повторил Мартини вполголоса; он вдруг понял, что без Овода и ему самому мир будет казаться пустым и мрачным.

— А она что думает? — спросил контрабандист, посмотрев в другой конец комнаты, где Джемма сидела одна, сложив руки на коленях, глядя прямо перед собой невидящими глазами.

— Я не спрашивал. Она ничего не говорит с тех пор, как все узнала. Лучше ее не тревожить.

Джемма словно не замечала их, но они говорили вполголоса, как будто в комнате был покойник. Прошло несколько минут томительного молчания. Марконе встал и спрятал трубку в карман.

— Я приду вечером,— сказал он.

Но Мартини остановил его:

— Не уходите, мне надо поговорить с вами.— Он понизил голос и продолжал почти шепотом: — Так вы думаете, что надежды нет?

— Не знаю, какая может быть надежда... О второй попытке нечего и помышлять. Если даже он выздоровеет и сделает то, что от него требуется, все равно мы бессильны. Часовых всех сменили, подозревают их в соучастии, и Сверчку уже не удастся нам помочь.

— А вы не думаете,— спросил вдруг Мартини,— что, когда он будет здоров, мы сможем как-нибудь отвлечь внимание стражи?

— Отвлечь внимание стражи? Как же это?

— Мне пришла в голову вот какая мысль: в день Corpus

Domini[1], когда процессия будет проходить мимо крепости, я загорожу полковнику дорогу и выстрелю ему в лицо, все часовые бросятся ловить меня, а вы с товарищами воспользуйтесь суматохой и выручайте Ривареса. Это даже еще и не план... просто у меня мелькнула такая мысль.

— Вряд ли это удастся,— проговорил Марконе, серьезно глядя на него.— Надо, конечно, основательно обдумать, получится ли тут что-нибудь... но...— он помолчал и взглянул на Мартини,— но если это окажется возможным, вы... согласитесь выстрелить в полковника?

Обычно Мартини был человек сдержанный. Но сейчас он забыл о сдержанности. Его глаза встретились с глазами контрабандиста.

— Соглашусь ли я? — повторил он.— Посмотрите на нее!

Других объяснений не понадобилось. Этими словами было сказано все. Марконе повернулся и посмотрел на Джемму.

Она не шелохнулась с тех пор, как начался этот разговор. На лице ее не было ни сомнений, ни страха, ни даже страдания — на нем лежала тень смерти. Глаза контрабандиста наполнились слезами, когда он взглянул на нее.

— Торопись, Микеле,— сказал Марконе, открывая дверь на веранду.— Вы оба, верно, совсем выбились из сил, а дел впереди еще много.

Микеле, а за ним Джино вошли в комнату.

— Я готов,— сказал Микеле.— Хочу только спросить синьору...

Он шагнул к Джемме, но Мартини удержал его за руку:

— Не надо. Ей лучше побыть одной.

— Оставьте ее в покое,— прибавил Марконе.— От наших утешений проку мало. Видит бог, всем нам тяжело, но ей, бедняжке, хуже всех.

Глава V

Целую неделю Овод лежал в тяжелейшем состоянии. Приступ болезни был мучительный, и страдания его усиливались тем, что перепуганный и обозленный полковник велел не только надеть ему ручные и ножные кандалы, но и привязать его к койке ремнями. Ремни были затянуты так туго, что при каждом движении врезались в тело. Вплоть до вечера шестого дня Овод переносил все это, упрямо стиснув зубы, стоически. Потом, забыв о

---

[1] Праздник «тела господня» (л а т.), один из самых пышных праздников католической церкви.

гордости, он чуть не со слезами стал умолять тюремного врача дать ему опиум. Врач охотно согласился, но полковник, услышав о просьбе, строго воспретил «такое баловство».

— Откуда вы знаете, зачем ему понадобился опиум? Очень возможно, что он все это время только притворяется и теперь хочет усыпить часового или выкинуть еще какую-нибудь штуку. У него хватит хитрости на что угодно.

— Я дам ему небольшую дозу, часового этим не усыпишь,— ответил врач, едва сдерживая улыбку.— О притворстве же и не думайте. Он может умереть в любую минуту.

— Как бы то ни было, а я не позволю дать ему опиум. Если человек хочет, чтобы с ним нежничали, пусть ведет себя соответственно. Он вполне заслужил самые суровые меры. Может быть, это послужит ему уроком и научит обращаться осторожнее с оконными решетками.

— Закон, однако, запрещает пытки,— позволил себе заметить врач,— а ваши «суровые меры» очень близки к ним.

— Насколько я знаю, закон ничего не говорит об опиуме! — отрезал полковник.

— Это ваше дело решать. Надеюсь, однако, что вы позволите снять по крайней мере ремни. Они совершенно излишни и только увеличивают его страдания. Теперь нечего бояться, что Риварес убежит. Он не мог бы и с койки подняться, если б даже вы освободили его.

— Врачи, дорогой мой, могут ошибаться, как и все мы, смертные. Риварес привязан к койке и пусть так и остается.

— Но прикажите хотя бы отпустить ремни. Это варварство— затягивать их так туго.

— Они останутся как есть. И я прошу вас прекратить эти разговоры. Если я так распорядился, значит, у меня были на то свои причины.

Таким образом, облегчения не наступило и на седьмые сутки. Солдат, стоявший у дверей камеры Овода, дрожал и крестился, слушая всю ночь его душераздирающие стоны. Терпение наконец-то изменило узнику.

В шесть часов утра, прежде чем уйти со своего поста, часовой осторожно открыл дверь и вошел в камеру. Он знал, что это серьезное нарушение дисциплины, и все же не мог уйти, не утешив страдальца дружеским словом.

Овод лежал не шевелясь, с закрытыми глазами, открыв рот, и тяжело дышал. С минуту солдат молча стоял над ним, потом наклонился и спросил:

— Не могу ли я сделать что-нибудь для вас, сударь? Торопитесь, у меня всего одна минута.

Овод открыл глаза.

— Оставьте меня,— простонал он,— оставьте меня...

И прежде чем часовой успел вернуться на свое место, Овод уже заснул.

Десять дней спустя полковник снова зашел во дворец, но ему сказали, что кардинал отправился к больному на Пьеве д'Оттаво и вернется только к вечеру.

Когда полковник садился за обед, вошел слуга и доложил:

— Его преосвященство желает говорить с вами.

Полковник бросил на себя быстрый взгляд в зеркало — в порядке ли мундир,— принял торжественный вид и вышел в приемную. Монтанелли сидел, задумчиво глядя в окно и постукивая рукой по ручке кресла. Между бровей у него лежала тревожная складка.

— Мне сказали, что вы были у меня сегодня.— Кардинал пресек учтивые извинения полковника и заговорил властным тоном, каким он никогда не говорил с простым народом.— И, вероятно, по тому же самому делу, о котором и я хочу поговорить с вами.

— Я приходил насчет Ривареса, ваше преосвященство.

— Я так и предполагал. Я много думал об этом последние дни. Но прежде чем приступить к делу, мне хотелось бы узнать, не скажете ли вы чего-нибудь нового.

Полковник смущенно дернул себя за усы.

— Я, собственно, приходил к вам за тем же самым, ваше преосвященство. Если вы все еще противитесь моему плану, я буду очень рад получить от вас совет, что делать, ибо, по чести, я не знаю, как мне быть.

— Разве есть новые осложнения?

— В следующий четверг, третьего июня, Corpus Domini, и вопрос так или иначе должен быть решен до этого дня.

— Да, в четверг Corpus Domini. Но почему вопрос должен быть решен до четверга?

— Мне очень неприятно, ваше преосвященство, что я как будто противлюсь вам, но я не могу взять на себя ответственность за спокойствие города, если мы до тех пор не избавимся от Ривареса. В этот день, как вашему преосвященству известно, здесь собираются самые опасные элементы из горцев. Более чем вероятно, что будет сделана попытка взломать ворота крепости и освободить Ривареса. Это не удастся. Уж я позабочусь, чтобы не удалось, в крайнем случае отгоню их от ворот пулями. Но какая-то попытка в этом роде безусловно будет сделана. Народ в Романье дикий и если уж пустит в ход ножи...

— Надо постараться не доводить дело до ножей. Я всегда считал, что со здешним народом очень легко ладить, надо только

разумно с ним обходиться. Угрозы и насилие ни к чему не приведут, и романцы только отобьются от рук. Но почему вы думаете, что затевается новая попытка освободить Ривареса?

— Вчера и сегодня утром доверенные агенты сообщили мне, что в области циркулирует множество тревожных слухов. Что-то готовится — это несомненно. Но более точных сведений у нас нет. Если бы мы знали, в чем дело, легче было бы принять меры предосторожности. Что касается меня, то после той передряги я предпочитаю действовать как можно осмотрительнее. С такой хитрой лисой надо быть начеку.

— В прошлый раз вы говорили, что Риварес тяжело болен и не может ни двигаться, ни говорить. Значит, он выздоравливает?

— Ему гораздо лучше, ваше преосвященство. Он был очень серьезно болен... если, конечно, не притворялся.

— У вас есть повод подозревать это?

— Видите ли, врач вполне убежден, что притворства тут не было, но болезнь его весьма таинственного характера. Словом, он выздоравливает, и с ним стало еще труднее ладить...

— Что же он такое сделал?

— К счастью, он почти ничего не может сделать,— ответил полковник и улыбнулся, вспомнив про ремни.— Но его поведение — это что-то неописуемое. Вчера утром я зашел в камеру предложить ему несколько вопросов. Он слишком слаб еще, чтобы приходить ко мне. Да это и лучше — я не хочу, чтобы его видели, пока он окончательно не поправится. Это рискованно: сейчас же сочинят какую-нибудь нелепую историю.

— Итак, вы хотели допросить его?

— Да, ваше преосвященство. Я надеялся, что он хоть немного поумнел.

Монтанелли посмотрел на своего собеседника таким взглядом, как будто изучал новую для себя и весьма неприятную зоологическую разновидность. Но, к счастью, полковник поправлял в это время портупею и, ничего не заметив, продолжал невозмутимым тоном:

— Не прибегая ни к каким чрезвычайным мерам, я все же был вынужден проявить некоторую строгость — ведь как-никак, а у нас военная тюрьма. Я полагал, что некоторые послабления могут оказаться теперь благотворными, и предложил ему значительно смягчить режим, если он согласится вести себя прилично. Но как вы думаете, ваше преосвященство, что он мне ответил? С минуту глядел на меня, точно волк в клетке, а потом проговорил вполголоса: «Полковник, я не могу встать и задушить вас, но зубы у меня довольно крепкие. Держите свое горло подальше». Он неукротим, как дикая кошка.

— Меня это нисколько не удивляет,— спокойно ответил Монтанелли.— Теперь ответьте вот на какой вопрос: вы убеждены, что присутствие Ривареса в здешней тюрьме серьезно угрожает спокойствию области?

— Совершенно убежден, ваше преосвященство.

— Следовательно, вы считаете, что для предотвращения кровопролития необходимо так или иначе избавиться от него перед праздником?

— Я могу лишь повторить, что, если он еще будет здесь в четверг, побоища не миновать, и, по всей вероятности, очень жестокого.

— Значит, вы считаете, что если его здесь не будет, то минует и опасность?

— Тогда все сойдет гладко... в худшем случае, немного покричат и пошвыряют камнями. Если ваше преосвященство найдет способ избавиться от Ривареса, я отвечаю за порядок. В противном случае будут серьезные неприятности. Я убежден в том, что подготовляется новая попытка освободить его, и этого можно ожидать именно в четверг. А когда заговорщики вдруг узнают, что Ривареса уже нет в крепости, все их планы отпадут сами собой, и повода к беспорядкам не будет. Если же нам придется давать им отпор и в толпе пойдут в ход ножи, то город, по всей вероятности, будет сожжен до наступления ночи.

— В таком случае, почему вы не переведете Ривареса в Равенну?

— Видит бог, ваше преосвященство, я бы с радостью это сделал. Но тогда его, вероятно, попытаются освободить по дороге. У меня не хватит солдат отбить вооруженное нападение, а у всех горцев имеются ножи и кремневые ружья.

— Следовательно, вы продолжаете настаивать на военно-полевом суде и хотите получить мое согласие?

— Простите, ваше преосвященство: единственное, о чем я вас прошу,— это помочь мне предотвратить беспорядки и кровопролитие. Охотно допускаю, что военно-полевые суды под председательством полковника Фредди бывают иногда без нужды строги и только озлобляют народ, вместо того чтобы смирять его. Но в данном случае военный суд был бы мерой разумной и в конечном счете милосердной. Он предупредит бунт, который сам по себе будет для нас ужасающим бедствием и, кроме того, может вызвать введение трибуналов, отмененных его святейшеством.

Полковник закончил свою короткую речь с большой торжественностью и ждал ответа кардинала. Ждать пришлось долго, и ответ поразил его своей неожиданностью.

— Полковник Феррари, вы верите в бога?

— Ваше преосвященство! — вырвалось у полковника с множеством восклицательных знаков.

— Верите ли вы в бога? — повторил Монтанелли, вставая и глядя на него пристальным, испытующим взглядом.

Полковник тоже встал.

— Ваше преосвященство, я христианин, и мне никогда еще не отказывали в отпущении грехов.

Монтанелли поднял с груди крест:

— Так поклянитесь же крестом искупителя, умершего за вас, что вы сказали мне правду.

Полковник стоял навытяжку, тупо уставившись на кардинала, и думал: «Кто из нас двоих лишился рассудка — я или он?»

— Вы просите,— продолжал Монтанелли,— чтобы я дал свое согласие на смерть человека. Поцелуйте же крест, если совесть позволяет вам это сделать, и скажите мне еще раз, что нет иного средства предотвратить большее кровопролитие. И помните: если вы скажете неправду, то погубите свою бессмертную душу.

Несколько мгновений оба молчали, потом полковник наклонился и приложил крест к губам.

— Я убежден, что другого средства нет,— сказал он.

Монтанелли медленно отвернулся от него.

— Завтра вы получите ответ. Но сначала я должен повидать Ривареса и поговорить с ним наедине.

— Ваше преосвященство... разрешите мне сказать... я уверен, вы пожалеете об этом. Вчера Риварес передал мне через сторожа, что сам просит о встрече с вами, но я оставил это без внимания, потому что...

— Оставили без внимания! — повторил Монтанелли.— Человек обращается к вам в такой крайности, а вы оставляете его просьбу без внимания!

— Вы недовольны мной, ваше преосвященство, простите, но мне не хотелось беспокоить вас из-за такой дерзкой просьбы. Я уже достаточно хорошо знаю Ривареса. Можно быть уверенным, что он желает просто-напросто нанести вам оскорбление. И позвольте уж мне сказать кстати, что подходить к нему близко без стражи нельзя. Он настолько опасен, что я счел необходимым применить к нему некоторые меры, довольно, впрочем, мягкие...

— Так вы действительно думаете, что небезопасно приближаться к больному невооруженному человеку, к которому вы вдобавок «применили некоторые довольно мягкие меры»?

Монтанелли говорил сдержанно, но полковник почувствовал в его тоне такое спокойное презрение, что кровь бросилась ему в лицо.

— Ваше преосвященство поступит, как сочтет нужным,—

сухо сказал он.— Я хотел только избавить вас от необходимости выслушивать его ужасные богохульства.

— Что вы считаете бóльшим несчастьем для христианина: слушать богохульства или покинуть ближнего в тяжелую для него минуту?

Полковник стоял, вытянувшись во весь рост; физиономия у него была совершенно деревянная. Он считал глубоко оскорбительным такое обращение с собой и проявлял свое недовольство подчеркнутой церемонностью.

— В котором часу ваше преосвященство желает посетить заключенного?

— Я пойду к нему сейчас.

— Как вашему преосвященству угодно. Не будете ли вы добры подождать здесь немного, пока я пошлю кого-нибудь в тюрьму сказать, чтобы его приготовили?

Полковник сразу спустился со своего пьедестала. Он не хотел, чтобы Монтанелли видел ремни.

— Благодарю вас, мне хочется застать его так, как он есть, без всяких приготовлений. Я иду прямо в крепость. До свидания, полковник. Завтра утром вы получите от меня ответ.

Глава VI

Овод услышал, как отпирают дверь, и равнодушно отвел взгляд в сторону. Он подумал, что это опять идет полковник — изводить его новым допросом. На узкой лестнице послышались шаги солдат, приклады их карабинов задевали о стену.

Потом кто-то произнес почтительным голосом:

— Ступеньки крутые, ваше преосвященство.

Овод судорожно рванулся, но ремни больно впились ему в тело, и он весь съежился, с трудом переводя дыхание.

В камеру вошел Монтанелли в сопровождении сержанта и трех часовых.

— Сейчас вам принесут стул, ваше преосвященство, если вы изволите подождать,— сказал сержант.— Я послал солдата. Извините, ваше преосвященство: если бы мы вас ожидали, все было бы приготовлено.

— Не надо никаких приготовлений, сержант. Будьте добры, оставьте нас одних. Подождите внизу.

— Слушаю, ваше преосвященство... Вот и стул. Прикажете поставить около него?

Овод лежал с закрытыми глазами, но чувствовал на себе взгляд Монтанелли.

— Он, кажется, спит, ваше преосвященство,— сказал сержант.

Но Овод открыл глаза:

— Нет, не сплю.

Солдаты уже выходили из камеры, но внезапно вырвавшееся у Монтанелли восклицание остановило их. Они оглянулись и увидели, что кардинал наклонился над узником и рассматривает ремни.

— Кто это сделал? — спросил он.

Сержант мял в руках фуражку.

— Таково было распоряжение полковника, ваше преосвященство.

— Я ничего об этом не знал, синьор Риварес,— сокрушенно сказал Монтанелли.

Овод улыбнулся своей холодной улыбкой:

— Как я уже говорил вашему преосвященству, я вовсе не ж-ждал, что меня будут гладить по головке.

— Сколько это продолжается, сержант?

— С тех пор, как была попытка побега, ваше преосвященство.

— Почти неделю? Принесите нож и сейчас же разрежьте!

— Простите, ваше преосвященство, доктор тоже хотел снять ремни, но полковник Феррари не позволил.

— Немедленно принесите нож.

Монтанелли не повысил голоса, но лицо его побелело от гнева. Сержант вынул из кармана складной нож и, наклонясь над Оводом, принялся разрезать ремень, стягивавший ему руки. Он делал это очень неискусно и неловким движением затянул ремень еще сильнее.

Овод вздрогнул и, не удержавшись, закусил губу.

Монтанелли быстро шагнул вперед:

— Вы не умеете, дайте нож мне.

— А-а-а!

Лишь только ремни упали, Овод расправил руки, и из груди его вырвался протяжный радостный вздох. Еще мгновение — и Монтанелли разрезал ремни на ногах.

— Снимите кандалы тоже, сержант, а потом подойдите ко мне: я хочу поговорить с вами.

Став у окна, Монтанелли молча глядел, как с Овода снимают оковы. Сержант подошел к нему.

— Расскажите мне все, что произошло за это время,— сказал Монтанелли.

Сержант с полной готовностью выполнил его просьбу и рассказал все, что ему было известно о болезни Овода, о примененных к нему «дисциплинарных мерах» и о неудачном заступничестве врача.

— Но, по-моему, ваше преосвященство,— прибавил он,— полковник нарочно не велел снимать ремни, чтобы заставить его дать показания.

— Показания?

— Да, ваше преосвященство. Я слышал третьего дня, как полковник предложил ему снять ремни, если только он...— сержант бросил быстрый взгляд на Овода,— согласится ответить на один его вопрос.

Рука Монтанелли, лежавшая на подоконнике, сжалась в кулак. Солдаты переглянулись. Они еще никогда не видели, чтобы добрый кардинал гневался. А Овод в эту минуту забыл об их существовании, забыл обо всем на свете и ничего не хотел знать, кроме физического ощущения свободы. Все тело у него сводили судороги, и теперь он с наслаждением потягивался и поворачивался с боку на бок.

— Можете идти, сержант,— сказал кардинал.— Не беспокойтесь, вы неповинны в нарушении дисциплины, вы были обязаны ответить на мой вопрос. Позаботьтесь, чтобы нам никто не мешал. Я поговорю с ним и уйду.

Когда дверь за солдатами затворилась, Монтанелли облокотился на подоконник и несколько минут смотрел на заходящее солнце, чтобы дать Оводу время прийти в себя.

— Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной наедине,— вскоре начал он, отходя от окна и садясь возле койки.— Если вы достаточно хорошо себя чувствуете, то я к вашим услугам.

Монтанелли говорил холодным, повелительным тоном, совершенно ему несвойственным. Пока ремни не были сняты, Овод был для него лишь страдающим, замученным существом, но теперь он вспомнил их последний разговор и смертельное оскорбление, которым он закончился. Овод небрежно заложил руку за голову и поднял глаза на кардинала. Он обладал прирожденной грацией движений, и когда его голова была в тени, никто не угадал бы, через какой ад прошел этот человек. Но сейчас, при ясном вечернем свете, можно было разглядеть его измученное, бледное лицо и страшный, неизгладимый след, который оставили на этом лице страдания последних дней. И гнев Монтанелли исчез.

— Вы были сильно больны,— сказал он.— Глубоко сожалею, что я ничего не знал. Я сразу прекратил бы это.

Овод пожал плечами.

— На войне все дозволено,— холодно проговорил он.— Ваше преосвященство не признает ремней теоретически, на основании христианской морали, но трудно требовать, чтобы полковник разделял ее. Он, без сомнения, не захотел бы знакомиться с

ремнями на своей собственной шкуре, к-как случилось со мной. Но это вопрос только л-личного удобства. Что поделаешь? Я оказался подневольным... Во всяком случае, ваше преосвященство, с вашей стороны очень любезно, что вы посетили меня. Но, может быть, и это сделано на основании христианской морали? Посещение заключенных... Да, конечно! Я забыл. «Кто напоит единого из м-малых сих...»* и так далее. Не особенно это лестно, но один из «малых сих» выражает вам должную благодарность...

— Синьор Риварес,— прервал его кардинал,— я пришел сюда не просто так, а по вашей просьбе. Если бы вы не «оказались подневольным», как вы сами выражаетесь, я никогда не заговорил бы с вами снова после того, что вы сказали мне в тот раз. Но у вас двойная привилегия: узника и больного, и я не мог отказать вам. Вы действительно хотите что-то сообщить мне или послали за мной лишь для того, чтобы позабавиться, издеваясь над стариком?

Ответа не было. Овод лежал отвернувшись и закрыв глаза рукой.

— Простите, что приходится вас беспокоить...— сказал он наконец сдавленным голосом.— Дайте мне, пожалуйста, пить.

На окне стояла кружка с водой. Монтанелли встал и подал ее Оводу. Наклонившись над узником и приподняв его за плечи, он вдруг почувствовал, как холодные, влажные пальцы Овода сжали его кисть, словно тисками.

— Дайте мне руку... скорее... на одну только минуту,— прошептал Овод.— Что вам стоит? Только на минуту!

Он припал лицом к его руке и задрожал всем телом.

— Выпейте воды,— не сразу сказал Монтанелли.

Овод молча повиновался, потом снова лег и закрыл глаза. Он сам не мог бы объяснить, что с ним произошло, когда рука кардинала коснулась его щеки. Он сознавал только, что это была самая страшная минута во всей его жизни.

Монтанелли придвинул стул ближе к койке и снова сел. Овод лежал без движения, как труп, с мертвенно-бледным, осунувшимся лицом. После долгого молчания он открыл глаза, и его блуждающий взгляд остановился на Монтанелли.

— Благодарю вас,— сказал он.— Простите... Вы, кажется, спрашивали меня о чем-то?

— Вам нельзя говорить. Если вы хотите что-то сказать мне, я приду к вам завтра.

— Нет, не уходите, прошу вас, ваше преосвященство. Право, я совсем здоров. Просто немного поволновался за последние дни. Да и то это больше притворство — спросите полковника, он вам все расскажет.

— Я предпочитаю делать выводы сам,— спокойно ответил Монтанелли.

— Полковник тоже. И его выводы бывают иной раз в-весьма остроумны. Это трудно предположить, судя по его виду, но иной раз ему приходят в голову оригинальные идеи. В прошлую пятницу, например... кажется, это было в пятницу... я стал немного путать дни, ну, да все равно... я попросил дать мне опиум. Это я помню очень хорошо. А он пришел сюда и заявил: опиум мне д-дадут, когда я скажу, кто отпер железную дверь перед моим побегом. «Если вы действительно больны, то согласитесь; если же откажетесь, я сочту это д-доказательством того, что вы притворяетесь». Я и не предполагал, что это будет так смешно. З-забавнейший случай...

Он разразился громким, режущим ухо смехом. Потом вдруг повернулся к кардиналу и заговорил с лихорадочной быстротой, заикаясь так сильно, что с трудом можно было разобрать слова:

— Разве в-вы не находите, что это забавно? Ну к-конечно, нет. Лица д-духовного звания лишены чувства юмора. Вы все принимаете т-трагически. Н-например, в ту ночь, в соборе, какой у вас был торжественный вид! А я-то в костюме паломника! Как трогательно! Да вы и сейчас не видите н-ничего смешного в том, что пришли ко мне.

Монтанелли поднялся:

— Я пришел выслушать вас, но вы, очевидно, слишком взволнованы. Пусть врач даст вам что-нибудь успокоительное, а завтра утром, когда вы выспитесь, мы поговорим.

— В-высплюсь? О, я успею в-выспаться, ваше преосвященство, когда вы д-дадите свое с-согласие полковнику! Унция свинца — п-превосходное средство от бессонницы.

— Я вас не понимаю,— сказал Монтанелли, удивленно глядя на него.

Овод снова разразился хохотом.

— Ваше преосвященство, ваше преосвященство, п-правдивость — г-главнейшая из христианских добродетелей! Н-неужели вы д-думаете, что я н-не знаю, как настойчиво добивается полковник вашего с-согласия на военно-полевой суд? Не противьтесь, ваше преосвященство, все ваши братья прелаты поступили бы точно так же. Cosi fan tutti[1]. Ваше согласие не п-принесет ни малейшего вреда, а только пользу. Этот пустяк не стоит тех бессонных ночей, которые вы из-за него провели...

— Прошу вас, перестаньте смеяться хотя бы на минуту,— прервал его Монтанелли,— и скажите: откуда вы все это знаете? Кто вам говорил об этом?

---

[1] Так делают все (и т а л.).

— Р-разве полковник не жаловался, что я д-дьявол, а не человек?.. Нет? А мне он повторял это не раз. И, как и подобает дьяволу, я умею проникать в чужие мысли. Вы, ваше преосвященство, считаете меня крайне н-неприятным человеком и очень хотели бы, чтобы кто-нибудь другой решил, как со мной поступить, и чтобы ваша чуткая совесть не была т-таким образом п-потревожена. П-правильно я угадал?

— Выслушайте меня,— сказал Монтанелли, снова садясь рядом с ним.— Это правда — каким бы путем вы ее ни узнали. Полковник Феррари опасается, что ваши друзья предпримут новую попытку освободить вас, и хочет предупредить ее... способом, о котором вы говорите. Как видите, я с вами вполне откровенен.

— Ваше п-преосвященство в-всегда славились своей п-правдивостью,— с горечью вставил Овод.

— Вы, конечно, знаете,— продолжал Монтанелли,— что светские дела мне не подведомственны. Я епископ, а не легат. Но я пользуюсь в этом округе довольно большим влиянием, и полковник вряд ли решится на крайние меры без моего хотя бы молчаливого согласия. Вплоть до сегодняшнего дня я был против его плана. Теперь он усиленно пытается побороть мое сопротивление, уверяя, что в четверг, когда народ соберется сюда на праздник, ваши друзья могут сделать вооруженную попытку освободить вас, и она окончится кровопролитием... Вы слушаете меня?

Овод рассеянно глядел в окно. Он обернулся и ответил усталым голосом:

— Да, слушаю.

— Может быть, сегодня вам все-таки трудно вести этот разговор? Не прийти ли мне завтра с утра? Дело столь серьезно, что вы должны отнестись к нему с полным вниманием.

— Мне бы хотелось покончить с ним сегодня,— все так же устало ответил Овод.— Я вникаю во все, что вы говорите.

— Итак,— продолжал Монтанелли,— если из-за вас действительно могут вспыхнуть беспорядки, которые приведут к кровопролитию, то я беру на себя громадную ответственность, противодействуя полковнику. Думаю также, что в словах его есть доля истины. С другой стороны, мне кажется, что личная неприязнь к вам до некоторой степени мешает ему быть беспристрастным и, вероятно, заставляет преувеличивать опасность. В этом я убедился, увидев доказательства его возмутительной жестокости.— Кардинал взглянул на ремни и кандалы, лежавшие на полу.— Дать свое согласие — значит убить вас. Отказать — значит подвергнуть риску жизнь ни в чем не повинных людей. Я очень серьезно думал над этим и всей душой старался найти

какой-нибудь выход. И теперь принял определенное решение.

— Убить меня и с-спасти ни в чем не повинных людей? Ну, разумеется, это единственное решение, к которому может прийти добрый христианин. «Если правая рука с-соблазняет тебя...»* и так далее. А я даже не имею чести быть п-правой рукой вашего преосвященства, и я оскорбил вас. В-вывод ясен. Неужели вы не могли сказать мне все это без такого длинного вступления?

Овод говорил вяло и безучастно, с оттенком пренебрежения в голосе, словно наскучив этим разговором.

— Ну что же? — спросил он после короткой паузы.— Таково и было решение вашего преосвященства?

— Нет.

Овод заложил руки за голову и посмотрел на Монтанелли полузакрытыми глазами. Кардинал сидел в глубоком раздумье, низко опустив голову на грудь, медленно постукивая ладонью по ручке кресла. О, этот старый, хорошо знакомый жест!

— Я сделал то,— сказал наконец Монтанелли, поднимая голову,— чего, вероятно, никто никогда не делал. Когда мне сказали, что вы хотите меня видеть, я решил прийти сюда и положиться во всем на вас.

— Положиться на меня?

— Синьор Риварес, я пришел не как кардинал, не как епископ и не как судья. Я пришел к вам, как человек к человеку. Я не стану спрашивать, известны ли вам планы вашего освобождения, о которых говорил полковник: я очень хорошо понимаю, что это ваша тайна, которую вы мне не откроете. Но представьте себя на моем месте. Я стар, мне осталось недолго жить. Я хотел бы сойти в могилу с руками, не запятнанными ничьей кровью.

— А разве ваши руки уже не запятнаны кровью, ваше преосвященство?

Монтанелли чуть побледнел, но продолжал спокойным голосом:

— Всю свою жизнь я боролся с насилием и жестокостью, где бы я с ними ни сталкивался. Я всегда протестовал против смертной казни во всех ее формах. При прежнем папе я неоднократно и настойчиво высказывался против военных трибуналов, за что и впал в немилость. Все свое влияние я всегда, вплоть до сегодняшнего дня, использовал для дела милосердия. Прошу вас, верьте, что это правда. Теперь передо мной трудная задача. Если я откажу полковнику, в городе может вспыхнуть бунт ради того только, чтобы спасти жизнь одного человека, который поносил мою религию, злословил, преследовал оскорблениями меня лично... Впрочем, это не так важно... Если этому человеку сохранят жизнь, он обратит ее во зло, в чем я не сомневаюсь. И все-таки речь идет о человеческой жизни...

Он замолчал, потом заговорил снова:

— Синьор Риварес, все, что я знаю о вашей деятельности, заставляло меня смотреть на вас как на человека дурного, жестокого, ни перед чем не останавливающегося. До некоторой степени я придерживаюсь этого мнения и сейчас. Но за последние две недели я увидел, что вы человек мужественный и умеете хранить верность своим друзьям. Вы внушили солдатам любовь и уважение к себе, а это удается не каждому. Может быть, я ошибся в своем суждении о вас, может быть, вы лучше, чем кажетесь. К этому другому, лучшему человеку я и обращаюсь и заклинаю его сказать мне чистосердечно: что бы вы сделали на моем месте?

Наступило долгое молчание; потом Овод взглянул на Монтанелли:

— Я, во всяком случае, решил бы сам, не боясь ответственности за свои действия, и не стал бы лицемерно и трусливо, как это делают христиане, перекладывать решение на чужие плечи!

Удар был нанесен так внезапно, и бешеная страстность этих слов так противоречила недавней безучастности Овода, что, казалось, он сбросил с себя маску.

— Мы, атеисты,— горячо продолжал он,— считаем, что человек должен нести свое бремя, как бы тяжело оно ни было! Если же он упадет, тем хуже для него. Но христианин скулит и взывает к своему богу, к своим святым, а если они не помогают, то даже к врагам, лишь бы найти спину, на которую можно взвалить свою ношу. Неужели в вашей Библии, в ваших молитвенниках, во всех ваших лицемерных богословских книгах недостаточно всяких правил, что вы приходите ко мне и спрашиваете, как вам поступить? Да что это! Неужели мое бремя так уж легко и мне надо взвалить на плечи и вашу ответственность? Обратитесь к своему Христу. Он требовал все, до последнего кодранта*, так следуйте же его примеру! И убьете-то вы всего-навсего атеиста, человека, который не выдержал вашей проверки! А разве это считается у вас серьезным преступлением?

Он остановился, вздохнул всей грудью и продолжал с той же страстностью:

— И вы толкуете о жестокости! Да этот в-вислоухий осел не мог бы за год измучить меня так, как измучили вы. У него не хватит на это смекалки. Все, что он может выдумать,— это затянуть потуже ремни, а когда больше затягивать уже некуда, то все его средства исчерпаны. Всякий дурак может это сделать. А вы! «Будьте добры подписать свой собственный смертный приговор. Мое нежное сердце не позволяет мне сделать это». До такого может додуматься только христианин, кроткий, сострадательный христианин, который бледнеет при виде слишком туго

затянутого ремня. Как я не догадался, когда вы вошли сюда, подобно милосердному ангелу, возмущенному «варварством полковника», что только теперь и начинается настоящая пытка! Что вы на меня так смотрите? Разумеется, дайте ваше согласие и идите домой обедать. Дело выеденного яйца не стоит. Скажите вашему полковнику, чтобы он приказал расстрелять меня, или повесить, или изжарить живьем, если это может доставить ему удовольствие, и кончайте скорей!

Овода трудно было узнать. Он забыл себя, он пришел в бешенство и дрожал, тяжело переводя дыхание, а глаза у него искрились зеленым огнем, словно у разъяренной кошки.

Монтанелли встал, молча глядя на него. Он ничего не понимал в этом потоке неистовых упреков, но чувствовал, что дойти до такого исступления может лишь человек, доведенный до крайности. И, поняв это, он простил ему все прежние обиды.

— Успокойтесь,— сказал он.— Никто не хочет вас мучить. И, право же, я не думал сваливать свою ответственность на вас, чья ноша и без того слишком тяжела. Ни одно живое существо не упрекнет меня в этом...

— Это ложь!— крикнул Овод, сверкнув глазами.— А епископство?

— Епископство?

— А! Об этом вы забыли? Забыть так легко! «Если хочешь, Артур, я откажусь...» Мне приходилось решать за вас, мне — в девятнадцать лет! Если б это не было так чудовищно, я бы посмеялся над вами!

— Замолчите! — в отчаянии крикнул Монтанелли, хватаясь за голову. Потом он беспомощно опустил руки, медленно отошел к окну, сел на подоконник и, взявшись за решетку, прижался лбом к руке.

Овод, дрожа всем телом, следил за ним.

Но вот Монтанелли встал и подошел к Оводу. Губы у него посерели.

— Простите, пожалуйста,— сказал он, стараясь сохранить свою обычную спокойную осанку.— Я должен уйти... Я не совсем здоров.

Он дрожал, как в лихорадке. Гнев Овода сразу погас.

— Padre, неужели вы не...

Монтанелли подался назад и замер в неподвижности.

— Только не это,— прошептал он.— Все, что хочешь, господи, только не это! Если я схожу с ума...

Овод приподнялся на локте и взял его дрожащие руки в свои:

— Padre, неужели вы так и не поймете, что я не утонул?

Руки, которые он держал в своих, вдруг похолодели. Наступило мертвое молчание. Потом Монтанелли опустился на колени и спрятал лицо на груди Овода.

Когда он поднял голову, солнце уже село, и последний красный отблеск его угасал на западе. Они забыли обо всем, забыли о жизни и смерти, забыли о том, что были врагами.

— Артур,— прошептал Монтанелли,— неужели ты вернулся ко мне?.. Воскрес из мертвых?

— Воскрес из мертвых,— повторил Овод и вздрогнул.

Овод лежал, положив голову ему на плечо, как больное дитя в объятиях матери.

— Ты вернулся... вернулся наконец!

Овод тяжело вздохнул.

— Да,— сказал он,— и вам нужно бороться со мной или убить меня.

— Замолчи, carino! К чему все это теперь! Мы с тобой, словно дети, заблудились в потемках и приняли друг друга за привидения. А теперь нашли друг друга, вышли на свет. Бедный мой мальчик, как ты изменился! Волны бед людских словно залили тебя с головой — тебя, в ком было раньше столько радости, столько жизни! Артур, неужели это действительно ты? Я так часто видел во сне, что ты со мной, ты рядом, а потом проснусь — вокруг темно и пусто. Неужели меня мучает все тот же сон? Дай убедиться, что это правда, расскажи мне все!

— Это было очень просто. Я спрятался зайцем на торговом судне и приплыл в Южную Америку.

— А там?

— Там я жил, если только это можно назвать жизнью... О, с тех пор как вы обучали меня философии, я постиг многое! Вы говорите, что видели меня во сне... Я вас тоже...

Он вздрогнул и надолго замолчал.

— Однажды,— вдруг вырвалось у него,— я работал на рудниках в Эквадоре...

— Неужели рудокопом?

— Нет, подручным рудокопа, наравне с китайскими кули. Мы спали в бараке у самого входа в шахту. Я страдал тогда той же болезнью, что и теперь, а приходилось таскать целые дни камни под раскаленным солнцем. Однажды ночью у меня, должно быть, начался бред, потому что я увидел, как вы отворили дверь. В руках у вас было распятие, вот такое же, как здесь на стене. Вы читали молитву и прошли совсем близко, не заметив меня. Я закричал, прося вас помочь мне, дать мне яду или нож — любое, что положило бы конец моим страданиям, прежде

чем я лишусь рассудка. А вы...— Он провел рукой по глазам, другую все еще сжимал Монтанелли.— Я видел по вашему лицу, что вы слышите меня, но вы даже не взглянули в мою сторону и продолжали молиться. Потом поцеловали распятие, оглянулись и прошептали: «Мне очень жаль тебя, Артур, но я не смею выдавать свои чувства... он разгневается...» И я посмотрел на Христа и увидел, что деревянное распятие смеется.. Потом, когда пришел в себя, снова увидел барак и кули, больных проказой, и понял все. Мне стало ясно, что вам гораздо важнее снискать расположение этого вашего божка, чем вырвать меня из ада. И я запомнил это. А сейчас, когда вы дотронулись до меня, вдруг все забыл... но ведь я болен. Я любил вас когда-то.. Но теперь между нами не может быть ничего, кроме вражды. Зачем вы держите мою руку? Разве вы не понимаете, что, пока вы веруете в вашего Иисуса, мы можем быть только врагами?

Монтанелли склонил голову и поцеловал изуродованную руку Овода:

— Артур, как же мне не веровать в него? Если я сохранил веру все эти страшные годы, то как отказаться от нее теперь, когда ты возвращен мне Иисусом? Вспомни: ведь я был уверен, что убил тебя.

— Это вам еще предстоит сделать.

— Артур!

В этом возгласе звучал ужас, но Овод продолжал, словно ничего не слыша:

— Будем честными до конца. Мы стоим над глубокой пропастью и не сможем протянуть друг другу руки через нее. Если вы не смеете или не хотите отречься от всего этого,— он бросил взгляд на распятие, висевшее на стене,— то вам придется дать свое согласие полковнику.

— Согласие! Боже мой... Согласие! Артур, но ведь я люблю тебя!

Страдальческая гримаса исказила лицо Овода:

— Кого вы любите больше? Меня или вот это?

Монтанелли медленно встал. Ужас объял его душу и страшной тяжестью лег на плечи. Он почувствовал себя слабым, старым и поникшим, как лист, тронутый первым морозом. Сон кончился, и перед ним снова пустота и тьма.

— Артур, сжалься надо мной хоть немного!

— А много ли у вас было жалости ко мне, когда из-за вашей лжи я стал рабом негров на сахарных плантациях? Вы вздрогнули... Вот они, мягкосердечные святоши! Вот что по душе господу богу — покаяться в грехах и сохранить себе жизнь, а сын пусть умирает! Вы говорите, что любите меня... Дорого обошлась

мне ваша любовь! Неужели вы думаете, что можете загладить все и, обласкав, превратить меня в прежнего Артура? Меня, который мыл посуду в грязных притонах и чистил конюшни у креольских фермеров — у тех, кто сами были ничуть не лучше скотины? Меня, который был клоуном в бродячем цирке, слугой матадоров? Меня, который прислуживал каждому негодяю, не ленившемуся распоряжаться мной, как ему вздумается? Меня, которого морили голодом, топтали ногами, оплевывали? Меня, который протягивал руку, прося дать ему покрытые плесенью объедки, и получал отказ, потому что они шли в первую очередь собакам? Зачем я говорю вам обо всем этом? Разве *расскажешь* о тех бедах, которые вы навлекли на меня! А теперь вы говорите о своей любви! Велика ли она, эта любовь? Откажетесь ли вы ради нее от своего бога? Что сделал для вас Иисус? Что он выстрадал ради вас? За что вы любите его больше меня? За пробитые гвоздями руки? Так посмотрите же на мои! И на это поглядите, и на это, и на это...

Он разорвал рубашку, показывая страшные рубцы на теле.

— Padre, ваш бог — обманщик! Не верьте его ранам, не верьте, что он страдал,— это все ложь. Ваше сердце должно по праву принадлежать мне! Padre, нет таких мук, каких я не испытал из-за вас. Если бы вы только знали, что я пережил! И все-таки мне не хотелось умирать. Я перенес все и закалил свою душу терпением, потому что стремился вернуться сюда и вступить в борьбу с вашим богом. Эта цель была моим щитом, им я защищал свое сердце, когда мне грозили безумие и смерть. И вот теперь, вернувшись, я снова вижу на моем месте лжемученика, того, кто был пригвожден к кресту всего-навсего на шесть часов, а потом воскрес из мертвых. Padre, меня распинали год за годом пять лет, и я тоже воскрес! Что же вы теперь со мной сделаете? Что вы со мной сделаете?..

Голос у него оборвался. Монтанелли сидел не двигаясь, словно каменное изваяние, словно мертвец, поднятый из гроба. Лишь только Овод обрушил на него свое отчаяние, он задрожал, как от удара бичом, но теперь дрожь прошла, от нее не осталось и следа. Они долго молчали. Наконец Монтанелли заговорил безжизненно-ровным голосом:

— Артур, объясни мне, чего ты хочешь. Ты пугаешь меня, мысли мои путаются. Чего ты от меня требуешь?

Овод повернул к нему мертвенно-бледное лицо:

— Я ничего не требую. Кто же станет насильно требовать любви? Вы свободны выбрать из нас двоих того, кто вам дороже. Если вы любите его больше, будьте с ним.

— Я не понимаю тебя,— устало сказал Монтанелли.— О каком выборе ты говоришь? Ведь прошлого изменить нельзя.

— Вам нужно выбрать одного из нас. Если вы любите меня, снимите с шеи этот крест и пойдемте со мной. Мои друзья готовят новый побег, и в ваших силах помочь им. Когда же мы будем по ту сторону границы, признайте меня публично своим сыном. Если же в вас недостаточно любви ко мне, если этот деревянный идол вам дороже, чем я, то ступайте к полковнику и скажите ему, что вы согласны. Но тогда уходите сейчас же, избавьте меня от пытки видеть вас! Мне и так тяжело.

Монтанелли поднял голову, слабая дрожь пробежала по его телу. Он начинал все понимать...

— Хорошо, я снесусь с твоими друзьями. Но... идти с тобой мне нельзя... я священник.

— А от священника я не приму милости. Не надо больше, padre, сделок с совестью. Довольно их с меня, довольно и последствий, к которым они ведут. Вы откажетесь либо от своего сана, либо от меня.

— Как я откажусь от тебя, Артур! Как я откажусь от тебя!

— Тогда оставьте своего бога! Выбирайте — он или я. Неужели вы поделите вашу любовь между нами: половину мне, а половину богу? Я не хочу крох с его стола. Если вы с ним, то не со мной.

— Артур, Артур! А ты... неужели ты хочешь разбить мое сердце надвое? Неужели ты доведешь меня до безумия?

Овод ударил рукой по стене.

— Выбирайте между нами,— повторил он.

Монтанелли достал спрятанный на груди маленький медальон со смятой истершейся бумажкой.

— Смотри,— сказал он.

Я верил в вас, как в бога. Но бог — это глиняный идол, которого можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь.

Овод засмеялся и вернул ему записку:

— Вот что значит д-девятнадцать лет! Взять молоток и сокрушить им идола кажется таким легким делом. А теперь я сам попал под молот. Ну, а вы еще найдете немало людей, которым можно лгать, не боясь, что они изобличат вас.

— Как хочешь,— сказал Монтанелли.— Кто знает, может быть, и я на твоем месте был бы так же беспощаден. Я не могу сделать то, чего ты требуешь, Артур, но то, что в моих силах, я сделаю. Я устрою тебе побег, а когда ты будешь в безопасности, со мной произойдет несчастный случай в горах или по ошибке я приму не сонный порошок, а другое лекарство. Выбирай... согласен ли ты на это? Ничего другого я не могу сделать.

Это большой грех, но, я надеюсь, господь простит меня. Он милосерднее...

Овод протянул к нему руки:

— О, это слишком! Это слишком! Что я вам сделал, что вы так думаете обо мне? Точно я собираюсь мстить! Неужели вы не понимаете, что я хочу спасти вас? Неужели вы не видите, что во мне говорит любовь?

Он схватил руки Монтанелли и стал покрывать их горячими поцелуями вперемешку со слезами.

— Padre, пойдемте с нами! Что у вас общего с этим мертвым миром идолов и священников? Ведь они — прах ушедших веков! Они прогнили насквозь, от них веет тленом! Уйдемте от чумной заразы церкви — я уведу вас в светлый мир. Padre, мы — жизнь и молодость, мы — вечная весна, мы — будущее человечества! Заря близко, padre,— неужели вы не хотите, чтобы солнце воссияло и над вами? Проснитесь, и забудем страшные сны! Проснитесь, и начнем нашу жизнь заново! Padre, я всегда любил вас, всегда! Даже в ту минуту, когда вы нанесли мне смертельный удар! Неужели вы убьете меня еще раз?

Монтанелли вырвал свои руки из рук Овода.

— Господи, смилуйся надо мной! — воскликнул он.— Артур, как ты похож на мать! Те же глаза!

Наступило глубокое, долгое молчание.

Они глядели друг на друга в сером полумраке, и сердца их стыли от ужаса.

— Скажи мне что-нибудь,— прошептал Монтанелли.— Подай хоть какую-нибудь надежду!

— Нет. Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, я нож! Давая мне жизнь, вы освящаете нож.

Монтанелли повернулся к распятию:

— Господи! Ты слышишь?..

Голос его замер в глубокой тишине. Ответа не было. Злой демон снова проснулся в Оводе:

— Г-громче зовите! Может быть, он спит*.

Монтанелли выпрямился, будто его ударили. Минуту он глядел прямо перед собой. Потом опустился на край койки, закрыл лицо руками и зарыдал. Овод вздрогнул всем телом и весь облился холодным потом. Он понял, что значат эти слезы.

Он натянул на голову одеяло, чтобы не слышать этих рыданий. Разве не довольно того, что ему придется умереть,— ему, полному сил и жизни! Но рыдания нельзя было заглушить. Они раздавались у него в ушах, проникали в мозг, в кровь. Монтанелли плакал, и слезы струились у него сквозь пальцы.

Наконец он умолк и, словно ребенок, вытер глаза платком. Платок упал с его колен на пол.

— Нам не о чем больше говорить,— сказал он.— Ты понял меня?

— Да, понял,— бесстрастно проговорил Овод.— Это не ваша вина. Ваш бог голоден, и его надо накормить.

Монтанелли повернулся к нему. И наступившее молчание было глубже молчания могилы, которую должны были вскоре вырыть для одного из них. Молча глядели они друг другу в глаза, словно влюбленные, которых разлучили насильно и которым не переступить поставленной между ними преграды.

Первый опустил глаза Овод. Он поник всем телом, пряча лицо, и Монтанелли понял, что это значит: «Уходи». Он повернулся и вышел из камеры.

Минута, и Овод вскочил с койки.

— Я не вынесу этого! Padre, вернитесь! Вернитесь!

Дверь захлопнулась. Медленно обвел он пустым взглядом стены камеры, понимая, что все кончено. Галилеянин победил*

Во дворе тюрьмы всю ночь шелестела трава — трава, которой вскоре суждено было увянуть под ударами заступа. И всю ночь напролет рыдал Овод, лежа один, в темноте...

Глава VII

Во вторник утром происходил военно-полевой суд. Он продолжался недолго. Это была лишь пустая формальность, занявшая не больше двадцати минут. Да много времени и не требовалось. Защита не была допущена. В качестве свидетелей выступали только раненые сыщик и офицер да несколько солдат. Приговор был предрешен: Монтанелли дал неофициальное согласие, которого от него добивались. Судьям — полковнику Феррари, драгунскому майору и двум офицерам папской гвардии,— собственно, нечего было делать. Прочли обвинительный акт, свидетели дали показания, приговор скрепили подписями и с соответствующей торжественностью прочли осужденному. Он выслушал его молча и на предложение воспользоваться, согласно судебной процедуре, правом подсудимого на последнее слово только нетерпеливо махнул рукой. У него на груди был спрятан платок, оброненный Монтанелли. Он осыпа́л этот платок поцелуями и плакал над ним всю ночь, как над живым существом. Лицо у него было бледное и безжизненное, глаза все еще хранили следы слез. Слова «к расстрелу» мало подействовали на него. Когда он услышал их, зрачки его расширились — и только.

— Отведите осужденного в камеру,— приказал полковник, когда все формальности были закончены.

Сержант, едва сдерживая слезы, тронул за плечо неподвижную фигуру. Овод чуть вздрогнул и обернулся.

— Ах да! — промолвил он.— Я и забыл.

На лице полковника промелькнуло нечто похожее на жалость. Полковник был не такой уж злой человек, и роль, которую ему приходилось играть последние недели, смущала его самого. И теперь, поставив на своем, он был готов пойти на маленькие уступки.

— Наручники можно не надевать,— сказал он, посмотрев на распухшие руки Овода.— Отведите его в прежнюю камеру.— И добавил, обращаясь к племяннику: — Та, в которой полагается сидеть приговоренным к смертной казни, чересчур уж сырая и мрачная! Стоит ли соблюдать пустые формальности!

Полковник смущенно кашлянул, переступил с ноги на ногу и вдруг окликнул сержанта, который уже выходил с Оводом из зала суда:

— Подождите, сержант! Мне нужно поговорить с ним.

Овод не двинулся. Казалось, голос полковника не коснулся его слуха.

— Если вы хотите передать что-нибудь вашим друзьям или родственникам... Я полагаю, у вас есть родственники?

Ответа не последовало.

— Так вот, подумайте и скажите мне или священнику. Я позабочусь, чтобы ваше поручение было исполнено... Впрочем, лучше передайте его священнику. Он проведет с вами всю ночь. Если у вас есть еще какое-нибудь желание...

Овод поднял глаза:

— Скажите священнику, что я хочу побыть один. Друзей у меня нет, поручений — тоже.

— Но вам нужна исповедь.

— Я атеист. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое.

Он сказал это ровным голосом, без вызова, без тени раздражения, и медленно пошел к выходу. Но в дверях снова остановился:

— Впрочем, вот что, полковник. Я хочу вас попросить об одном одолжении. Прикажите, чтобы завтра мне оставили руки свободными и не завязывали глаз. Я буду стоять совершенно спокойно.

В среду на восходе солнца Овода вывели во двор. Его хромота бросалась в глаза сильнее обычного; он с трудом передвигал ноги, тяжело опираясь на руку сержанта. Но выражение усталой

покорности уже слетело с его лица. Ужас, давивший в ночной тиши, сновидения, переносившие его в мир теней, исчезли вместе с ночью, которая породила их. Как только засияло солнце и Овод встретился лицом к лицу со своими врагами, боевой дух вернулся к нему, и он уже ничего не боялся.

Против увитой плющом стены выстроились шесть карабинеров, назначенных для исполнения приговора. Это была та самая осевшая, обвалившаяся стена, с которой Овод спускался в ночь своего неудавшегося побега. Солдаты, стоявшие с карабинами в руках, едва сдерживали слезы. Они не могли примириться с мыслью, что им предстоит убить Овода. Этот человек, с его острым языком, с его смехом и светлым, заразительным мужеством, как солнечный луч, озарил их серую, однообразную жизнь, и то, что он должен теперь умереть — умереть от их рук,— казалось им равносильным тому, как если бы померкли все ясные небесные звезды.

Под большим фиговым деревом во дворе его ожидала могила. Ее вырыли ночью подневольные руки, и слезы падали на лопаты. Проходя мимо, он с улыбкой заглянул в темную яму, посмотрел на лежавшую подле поблекшую траву и глубоко вздохнул, наслаждаясь запахом свежевскопанной земли.

Возле дерева сержант остановился. Овод посмотрел по сторонам, улыбнувшись самой веселой своей улыбкой.

— Стать здесь, сержант?

Тот молча кивнул. Точно комок застрял у него в горле; он не мог бы вымолвить ни слова, если б даже от этого зависела его жизнь. На дворе уже собрались все: полковник Феррари, его племянник, лейтенант, командующий отрядом, врач и священник. Они вышли вперед, стараясь не терять достоинства под вызывающе-веселым взглядом Овода.

— Здравствуйте, г-господа! А, и его преподобие уже на ногах в такой ранний час!.. Как поживаете, капитан? Сегодня наша встреча для вас приятнее, чем прошлая, не правда ли? Я вижу, рука у вас еще забинтована. Все потому, что я тогда дал промах. Вот эти молодцы лучше сделают свое дело... Не так ли, друзья? — Он окинул взглядом хмурые лица солдат.— На этот раз бинтов не понадобится. Ну-ну, почему же у вас такой унылый вид? Смирно! И покажите, как метко вы умеете стрелять. Скоро вам будет столько работы, что не знаю, справитесь ли вы с ней. Нужно поупражняться заранее...

— Сын мой! — прервал его священник, выходя вперед; другие отошли, оставив их одних.— Скоро вы предстанете перед вашим творцом. Не упускайте же последних минут, оставшихся вам для покаяния. Подумайте, умоляю вас, как страшно умереть без отпущения грехов вам, великому грешнику! Когда вы пред-

станете пред лицом вашего судии, тогда уже поздно будет раскаиваться. Неужели вы приблизитесь к престолу его с шуткой на устах?

— С шуткой, ваше преподобие? Мне кажется, вы сами нуждаетесь в небольшом поучении. Когда придет наш черед, мы пустим в ход пушки, а не какие-то жалкие карабины, и тогда вы увидите, шутка ли это.

— Пушки! Несчастный! Неужели вы не понимаете, какая бездна вас ждет?

Овод оглянулся через плечо на зияющую могилу:

— Итак, в-ваше преподобие думает, что, когда меня опустят туда, вы навсегда разделаетесь со мной? Может быть, даже на мою могилу положат сверху камень, чтобы помешать в-воскресению «через три дня»?* Не бойтесь, ваше преподобие! Я не намерен нарушать вашей монополии на дешевые чудеса. Буду лежать смирно, как мышь, там, где меня положат. А все же мы пустим в ход пушки!

— Боже милосердный! — воскликнул священник.— Прости несчастному!

— Аминь,— произнес лейтенант глубоким басом.

А полковник Феррари и его племянник набожно перекрестились.

Было ясно, что увещания ни к чему не приведут. Священник отказался от дальнейших попыток и отошел в сторону, покачивая головой и шепча молитвы. Короткие, простые приготовления прошли без задержек, и Овод стал у края могилы, обернувшись только на миг в сторону красно-желтого великолепия восходящего солнца. Он повторил свою просьбу не завязывать ему глаз, и, встретив его вызывающий взгляд, полковник нехотя согласился. Они оба не подумали о том, как это должно подействовать на солдат.

Овод с улыбкой посмотрел на них. Руки, державшие карабины, дрогнули.

— Я готов,— сказал он.

Лейтенант, волнуясь, выступил вперед. Ему никогда еще не приходилось командовать при исполнении приговора.

— Готовьсь!.. Цельсь!.. Пли!

Овод слегка пошатнулся, но не упал. Одна пуля, пущенная нетвердой рукой, чуть поцарапала ему щеку. Кровь струйкой потекла на белый воротник. Другая попала в ногу выше колена. Когда дым рассеялся, солдаты увидели, что он стоит, по-прежнему улыбаясь, и стирает изуродованной рукой кровь со щеки.

— Плохо стреляете, друзья! — сказал Овод, и его ясный, отчетливый голос резнул по сердцу оцепеневших солдат.— Попробуйте еще раз!

Ропот и движение пробежали по шеренге. Каждый карабинер целился в сторону, в тайной надежде, что смертельная пуля будет пущена рукой соседа, а не его собственной. А Овод по-прежнему стоял и улыбался им. Предстояло начать все снова; они лишь превратили казнь в ненужную пытку. Солдат охватил ужас. Опустив карабины, они слушали неистовую брань офицеров и в отчаянии смотрели на человека, застреленного ими и все еще живого.

Полковник потрясал кулаком перед их лицами, выкрикивал сам команду, торопил. Он тоже был растерян, не смел взглянуть на человека, который стоял как ни в чем не бывало и не собирался падать. Когда Овод заговорил, он вздрогнул, испугавшись звука этого насмешливого голоса.

— Вы прислали на расстрел новобранцев, полковник! Посмотрим, может быть, у меня что-нибудь получится... Ну, молодцы! На левом фланге, держать ружье выше! Это карабин, а не сковородка! Ну, теперь — готовьсь!.. Цельсь!

— Пли! — крикнул полковник, бросаясь вперед.

Нельзя было стерпеть, чтобы этот человек сам командовал своим расстрелом.

Еще несколько беспорядочных выстрелов, и солдаты сбились в кучу, дико озираясь по сторонам. Один совсем не выстрелил. Он бросил карабин и, припав к земле, бормотал:

— Я не могу, не могу!

Дым медленно растаял, всплыв вверх к ярким утренним лучам. Они увидели, что Овод упал; увидели и то, что он еще жив. Первую минуту солдаты и офицеры стояли как в столбняке, глядя на то страшное, что в предсмертных корчах билось на земле. Врач и полковник с криком кинулись к Оводу, потому что он приподнялся на одно колено и опять смотрел на солдат и опять смеялся.

— Второй промах! Попробуйте... еще раз, друзья! Может быть...

Он пошатнулся и упал боком на траву.

— Умер? — тихо спросил полковник.

Врач опустился на колени и, положив руку на залитую кровью сорочку Овода, ответил:

— Кажется, да... Слава богу!

— Слава богу! — повторил за ним полковник.— Наконец-то!

Племянник тронул его за рукав:

— Дядя... кардинал! Он стоит у ворот и хочет войти сюда.

— Что? Нет, нельзя... Я этого не допущу! Чего смотрит караул? Ваше преосвященство...

Ворота распахнулись и снова закрылись. Монтанелли уже

стоял во дворе, глядя прямо перед собой неподвижными, внушающими ужас глазами.

— Ваше преосвященство! Прошу вас... Вам нельзя смотреть... Приговор только что приведен в исполнение...

— Я пришел взглянуть на него,— сказал Монтанелли.

Даже в эту минуту полковника поразил голос и весь облик кардинала: он шел словно во сне.

— О господи! — крикнул вдруг один из солдат, и полковник быстро обернулся.— Не может быть...

Окровавленное тело опять корчилось на траве. Врач кинулся на землю рядом с умирающим и положил его голову к себе на колено.

— Скорее! — крикнул он.— Скорее, варвары! Прикончите его, ради бога! Это невыносимо!

Кровь ручьями стекала по его пальцам, и судороги тела, которое он держал в руках, отдавались в нем с головы до ног. Вне себя от гнева он оглянулся по сторонам, ища помощи. Священник нагнулся над умирающим и приложил распятие к его губам:

— Во имя отца и сына...

Овод приподнялся, опираясь о колено врача, и широко открытыми глазами посмотрел на распятие.

Потом медленно среди глубокой леденящей тишины поднял простреленную правую руку и оттолкнул его. На лице Христа остался кровавый след.

— Padre... ваш бог... удовлетворен?

Его голова упала на руки врача.

— Ваше преосвященство!

Кардинал стоял не двигаясь, и полковник Феррари повторил громче:

— Ваше преосвященство!

Монтанелли поднял глаза:

— Он мертвый...

— Да, ваше преосвященство. Не уйти ли вам отсюда?.. Такое тяжелое зрелище...

— Он мертвый,— повторил Монтанелли и снова посмотрел в лицо Оводу.— Я коснулся его — а он мертвый...

— Чего же еще ждать, когда в человеке сидит десяток пуль!— презрительно прошептал лейтенант.

И врач сказал тоже шепотом:

— Кардинала, должно быть, взволновал вид крови.

Полковник решительно взял Монтанелли под руку:

— Ваше преосвященство, не смотрите на него. Позвольте капеллану проводить вас домой.

— Да... Я пойду.

Монтанелли медленно отвернулся от кровавой лужи и пошел прочь в сопровождении священника и сержанта. В воротах он остановился и бросил назад все тот же непонимающий, застывший, как у призрака, взгляд.

— Он мертвый...

Несколько часов спустя Марконе пришел в домик на склоне холма сказать Мартини, что ему уже не нужно жертвовать жизнью.

Все приготовления ко второй попытке освободить Овода были закончены, ибо на этот раз план освобождения был много проще. Решили так: на следующее утро, когда процессия с телом господним будет проходить мимо крепостного вала, Мартини выступит вперед из толпы, выхватит револьвер и выстрелит полковнику в лицо. В общей суматохе двадцать вооруженных контрабандистов бросятся к тюремным воротам, ворвутся в башню и, схватив надзирателя, уведут Овода, стреляя в тех, кто попытается помешать этому. От ворот рассчитывали отступать с боем, прикрывая второй отряд конных контрабандистов, которые вывезут Овода в надежное место в горах.

В небольшой группе заговорщиков только Джемма ничего не знала об этом плане. Так хотел Мартини.

— Ее сердце не выдержит,— говорил он.

Когда контрабандист появился у калитки, Мартини отворил стеклянную дверь веранды и вышел ему навстречу:

— Есть новости, Марконе?

Марконе вместо ответа сдвинул на затылок свою широкополую соломенную шляпу.

Они сели на веранде. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Но Мартини достаточно было бросить взгляд на Марконе, чтобы понять все.

— Когда это случилось?— спросил он наконец.

Собственный голос показался ему таким же тусклым и унылым, как и весь мир.

— Сегодня на рассвете. Я узнал от сержанта. Он был там и все видел.

Мартини опустил глаза и снял ниточку, приставшую к рукаву. Суета сует. Вся жизнь полна суеты. Завтра он должен был умереть. А теперь желанная цель растаяла, как тают волшебные замки в закатном небе, когда на них надвигается ночная тьма. Он вернется в скучный мир — мир Галли и Грассини. Снова шифровка, памфлеты, споры из-за пустяков между товарищами, происки австрийских сыщиков. Будни, будни, нагоняю-

щие тоску... А где-то в глубине его души — пустота, и эту пустоту теперь уже ничто и никто не заполнит, потому что Овода нет.

Он услышал голос Марконе и поднял голову, удивляясь, о чем же можно сейчас говорить.

— Простите?

— Я спрашиваю: вы, конечно, сами скажете ей об этом?

Жизнь со всеми ее горестями снова бросила отблеск на лицо Мартини.

— Нет, я не могу!— воскликнул он.— Вы лучше уж прямо попросите меня пойти и убить ее. Как я скажу ей, как?

Мартини закрыл глаза руками. И, не открывая их, почувствовал, как вздрогнул контрабандист. Он поднял голову. Джемма стояла в дверях.

— Вы слышали, Чезаре?— сказала она.— Все кончено. Его расстреляли.

Глава VIII

— «Introibo ad altare Dei...»[1]

Монтанелли стоял перед престолом, окруженный священниками и причтом, и громким, ясным голосом читал «Introit». Собор был залит светом, весь переливался красками. Праздничные одежды молящихся, яркая драпировка на колоннах, гирлянды цветов — нигде ни одного темного пятна. Над открытым настежь входом спускались тяжелые красные занавеси, пылавшие в жарких лучах июньского солнца, словно лепестки маков в поле. Обычно полутемные боковые приделы были освещены свечами и факелами монашеских орденов. Там же высились кресты и хоругви отдельных приходов. У боковых дверей тоже стояли хоругви; их шелковые складки ниспадали до земли, позолоченные кисти и древки ярко горели под темными сводами. Лившийся сквозь цветные стекла дневной свет окрашивал во все цвета радуги белые стихари певчих и ложился на пол алтаря пунцовыми, оранжевыми и зелеными пятнами. Позади престола блестела и искрилась на солнце завеса из серебряной парчи. И на фоне этой завесы, украшений и огней выступала неподвижная фигура кардинала в белом облачении — словно мраморная статуя, в которую вдохнули жизнь.

Обычай требовал, чтобы в дни процессий кардинал только

---

[1] «Припадем к престолу господню...» (л а т.) — вступительные слова молитвы, которая называется «Introit».

присутствовал на обедне, но не служил. Кончив «Indulgentiam»[1], он отошел от престола и медленно двинулся к епископскому трону, провожаемый низкими поклонами священников и причта.

— Его преосвященство, вероятно, не совсем здоров,— шепотом сказал один каноник другому.— Он сегодня сам не свой.

Монтанелли склонил голову, и священник, возлагавший на него митру, усыпанную драгоценными каменьями, прошептал:

— Вы больны, ваше преосвященство?

Монтанелли повернулся и посмотрел на него, словно не узнавая.

— Простите, ваше преосвященство,— пробормотал священник, преклонив колена, и отошел, укоряя себя за то, что прервал кардинала во время молитвы.

Служба шла обычным порядком. Монтанелли сидел прямой, неподвижный. Солнце играло на его митре, сверкающей драгоценностями, и на шитом золотом облачении. Тяжелые складки белой праздничной мантии ниспадали на красный ковер. Свет сотен свечей искрился в сапфирах на его груди. Но глубоко запавшие глаза кардинала оставались тусклыми, солнечный луч не вызвал в них ответного блеска. И когда после слов: «Benedicite, pater eminentissime»[2] он наклонился благословить кадило и солнечные лучи зажгли его бриллианты,— казалось, это некий грозный дух снеговых вершин, увенчанный радугой и облаченный в белоснежные покровы, простирает руки, расточая вокруг благословения, а может быть, и проклятия.

При выносе святых даров кардинал встал с трона и опустился на колени перед престолом. В плавности его движений было что-то странное, и, когда он поднялся и пошел назад, драгунский майор в парадном мундире, сидевший за полковником, прошептал, поворачиваясь к раненому капитану:

— Сдает старик кардинал, сдает! Смотрите: словно не живой человек, а машина.

— Тем лучше,— тоже шепотом ответил капитан.— С тех пор как была дарована эта проклятая амнистия, он висит у нас камнем на шее.

— Однако на военный суд он согласился.

— Да, наконец-то, но долго раздумывал... Господи боже, как душно! Нас всех хватит солнечный удар во время процессии. Жаль, что мы не кардиналы, а то бы над нами всю дорогу несли балдахин... Ш-ш! Дядюшка на нас смотрит!

Полковник Феррари оглянулся и бросил строгий взгляд на молодых офицеров. Вчерашние важные события настроили его

---

[1] Молитва об отпущении грехов.

[2] Благословите, высокопреосвященнейший отче (л а т.).

на весьма серьезный и благочестивый лад, и он был не прочь отчитать молодежь за легкомысленное отношение к тому, что, по его понятиям, являлось «соблюдением нелегкого долга перед государством».

Распорядители стали устанавливать по местам тех, кто должен был участвовать в процессии. Полковник Феррари поднялся и пошел к алтарю, знаком приглашая офицеров следовать за собой.

Когда месса окончилась и святые дары поставили в хрустальный ковчег, духовенство удалилось в ризницу сменить облачение. Послышался сдержанный гул голосов. Монтанелли сидел, устремив вперед неподвижный взгляд, словно не замечая жизни, кипевшей вокруг и замиравшей у подножия его трона. Ему поднесли кадило, он поднял руку, как автомат, и, не глядя ни направо, ни налево, положил ладан в курильницу.

Духовенство вернулось из ризницы и ждало кардинала в алтаре, но он сидел не двигаясь. Священник, который должен был принять от него митру, наклонился к нему и снова нерешительно проговорил:

— Ваше преосвященство!

Кардинал оглянулся:

— Что вы сказали?

— Может быть, вам лучше не участвовать в процессии? Солнце жжет немилосердно.

— Что мне до солнца!

Монтанелли проговорил это медленно, холодным тоном, и священнику снова показалось, что он недоволен им.

— Простите, ваше преосвященство. Я думал, вы нездоровы.

Монтанелли поднялся, ничего не ответив ему, и проговорил все так же медленно:

— Что это?

Край его мантии протянулся по ступенькам до алтаря, и он показывал на огненное пятно на белом атласе.

— Это солнечный луч светит сквозь цветное стекло, ваше преосвященство.

— Солнечный луч? Такой красный?

Он сошел со ступенек и опустился на колени перед престолом, медленно размахивая кадилом. Потом протянул его дьякону. Солнце легло цветными пятнами на обнаженную голову Монтанелли, ударило в широко открытые, обращенные вверх глаза и осветило багряным блеском белую мантию, складки которой расправляли священники.

Дьякон подал ему золотой ковчег, и он поднялся с колен под торжественную мелодию хора и органа. Прислужники медленно подошли к нему, подняли над ним шелковый балдахин;

дьяконы стали справа и слева и откинули назад длинные складки его мантии. И когда служки подняли мантию, мирские общины, возглавляющие процессию, вышли на середину собора и с зажженными свечами, по двое в ряд, двинулись к порталу.

Монтанелли неподвижно стоял у престола под белым балдахином, твердой рукой держа святые дары и глядя на проходящую мимо процессию. По двое в ряд люди медленно спускались по ступенькам со свечками, факелами, крестами, хоругвями и, минуя убранные цветами колонны, выходили из-под раздвинутой красной занавеси над порталом на залитую солнцем улицу. Звуки пения постепенно замирали вдали, переходя в неясный гул, а позади раздавались всё новые и новые голоса. Бесконечной лентой разворачивалась процессия, и под сводами собора долго не затихали шаги.

Шли прихожане в белых саванах, с закрытыми лицами; братья ордена милосердия в черном с головы до ног, в масках, сквозь прорези которых поблескивали их глаза. Торжественно выступали монахи; нищенствующие братья, загорелые, босые, в темных капюшонах; суровые доминиканцы в белых сутанах. За ними — представители военных и гражданских властей: драгуны, карабинеры, чины местной полиции и полковник в парадной форме со своими офицерами. Шествие замыкали дьякон, несший большой крест, и двое прислужников с зажженными свечами. И когда занавеси у портала подняли выше, Монтанелли на мгновение увидел со своего места под балдахином залитую солнцем, устланную коврами улицу, флаги на домах и одетых в белое детей, которые разбрасывали розы по мостовой. Розы! Какие они красные!

Процессия подвигалась медленно, в строгом порядке. Одеяния и краски менялись поминутно. Длинные белые стихари уступали место пышным облачениям, расшитым золотом ризам. Вот высоко над пламенем свечей проплыл тонкий золотой крест. Потом показались соборные каноники, все в мертвенно-белом. Капеллан нес епископский посох, по бокам его прислужники держали два пылающих факела, мальчики шагали в ногу, помахивая кадилами в такт музыке. Прислужники подняли балдахин выше, отсчитывая вполголоса шаги: «Раз, два, раз, два»,— и Монтанелли открыл крестный ход.

Он спустился на середину собора, прошел под хорами, откуда неслись торжественные раскаты органа, потом под занавесью у входа — такой нестерпимо красной!— и ступил на сверкающую в лучах солнца улицу. Растоптанные кроваво-красные розы красным ковром лежали у него под ногами. Минутная остановка в дверях — представители светской власти сменили прислужников у балдахина,— и процессия снова двинулась, и он тоже

идет вперед, сжимая в руках ковчег со святыми дарами. Голоса певчих то широко разливаются, то замирают вокруг него, и в такт пению — покачивание кадил, в такт пению — мерная людская поступь.

Verbum caro, panem verum,
Verbo carnem efficit;
Sitque sanguis Christi merum...[1]

Кровь, всюду кровь! Ковер — точно красная река, розы на камнях — точно пятна разбрызганной крови!.. Боже милосердный! Неужто небо твое и твоя земля залиты кровью? Но что тебе до этого — тебе, чьи губы обагрены ею!

Tantum ergo Sacramentum,
Veneremur cernui[2].

Он взглянул на причастие за хрустальной стенкой ковчега. Что это стекает с облатки между золотыми лучами и медленно каплет на его белое облачение? Что же вот так же капало с взметнувшейся вверх руки?..

Трава на крепостном дворе была помята и вся красная... красная... так много было крови. Она стекала с лица, капала из простреленной правой руки, хлестала горячим красным потоком из раны в боку. Даже прядь волос была смочена кровью... волосы лежали на лбу мокрые и спутанные... Это предсмертный пот выступил от невыносимой боли.

Торжественное пение разливалось волной:

Genitori, genitoque,
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio![3]

Нет сил это вынести! Боже! Ты восседаешь на небесах и взираешь на земные мучения и улыбаешься окровавленными губами. Неужели тебе этого мало? Зачем еще издевательские славословия и хвалы! Тело Христово, истерзанное во спасение людей, кровь Христова, пролитая для искупления их грехов! И этого мало?

---

[1] Слово стало плотью, стало
Слово хлебом истины;
Кровь в вино да претворится... (л а т.)

[2] Будем чтить его, смиренно,
В прахе распростертые (л а т.).

[3] И творцу хвала и сыну —
Господа творению,—
Мир, и честь, и мощь, и слава,
И благословение! (л а т.)

«Громче зовите! Может быть, он спит!»

Ты спишь, возлюбленный сын мой, и больше не проснешься? Неужели могила так ревниво охраняет свою добычу? Неужели черная яма под деревом не отпустит тебя хоть ненадолго, радость сердца моего?

И тогда из-за хрустальной стенки ковчега послышался голос, и, пока он говорил, кровь капала, капала...

«Выбор сделан. Станешь ли ты раскаиваться в нем? Разве желание твое не исполнилось? Взгляни на этих людей, разодетых в шелка и парчу и шествующих в ярком свете дня,— ради них я лег в темную гробницу. Взгляни на детей, разбрасывающих розы, прислушайся к их сладостным голосам — ради них наполнились уста мои прахом, а розы эти красны, ибо они впитали кровь моего сердца. Видишь — люди преклоняют колена, чтобы испить крови, стекающей по складкам твоей одежды. Эта кровь была пролита за него, так пусть же он утолит свою жажду. Ибо сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих».

Артур! Артур! А если кто положит жизнь за возлюбленного сына своего? Не больше ли такая любовь?

И снова послышался голос из ковчега:

«Кто он, возлюбленный сын твой? Воистину, это не я!»

И он хотел ответить, но слова застыли у него на устах, потому что голоса певчих пронеслись над ним, как северный ветер над ровной гладью:

Dedit fragilibus corporis ferculum,
Dedit et tristibus sanguinis poculum...[1]

Пейте же! Пейте из чаши все! Разве эта кровь не ваше достояние? Для вас красный поток залил траву, для вас изувечено и разорвано на куски живое тело! Вкусите от него, людоеды, вкусите от него все! Это ваш пир, это день вашего торжества! Торопитесь же на праздник, примкните к общему шествию! Женщины и дети, юноши и старики, получите свою долю живой плоти. Приблизьтесь к текущему ручьем кровавому вину и пейте, пока оно красное! Примите и вкусите от тела...

Боже! Вот и крепость. Угрюмая, темная, с полуразрушенной стеной и башнями, она чернеет среди голых гор и сурово глядит на процессию, которая тянется внизу, по пыльной дороге. Ворота ее ощерились железными зубьями решетки. Словно зверь, припавший к земле, подкарауливает она свою добычу. Но как ни крепки эти железные зубья, их разожмут и сломают, и могила на крепостном дворе отдаст своего мертвеца. Ибо сонмы людские

---

[1] Подал он слабым опору надежную,
Подал скорбящим из крови он питие... (лат.)

текут на священный пир крови, как полчища голодных крыс, которые спешат накинуться на колосья, оставшиеся в поле после жатвы. И они кричат: «Дай, дай!» И никто из них не скажет: «Довольно!»

«Тебе все еще мало? Меня принесли в жертву ради этих людей. Ты погубил меня, чтобы они могли жить. Видишь, они идут, идут, и ряды их сомкнуты.

Это воинство твоего бога — несметное, сильное. Огонь бушует на его пути и идет за ним следом. Земля на его пути как райский сад,— пройдет воинство и оставит после себя пустыню. И ничто не уцелеет под его тяжкой поступью».

И все же я зову тебя, возлюбленный сын мой! Вернись ко мне, ибо я раскаиваюсь в своем выборе. Вернись! Мы уйдем с тобой и ляжем в темную, безмолвную могилу, где эти кровожадные полчища не найдут нас. Мы заключим друг друга в объятия и уснем — уснем надолго. Голодное воинство пройдет над нами при безжалостном свете дня, и, когда оно будет выть, требуя крови, чтобы утолить жажду, и плоти, чтобы насытиться, его вопли едва коснутся нашего слуха и не потревожат нашего покоя.

И голос снова ответил ему:

«Где же я укроюсь? Разве не сказано: «Будут бегать по городу, подниматься на стены, влезать на дома, входить в окна, как воры»? Если я сложу себе гробницу на склоне горы, разве ее не раскидают камень за камнем? Если я вырою могилу на дне речном, разве ее не раскопают? Истинно, истинно говорю тебе: они, как псы, гонятся за добычей, и мои раны сочатся кровью, чтобы им было чем утолить жажду. Разве ты не слышишь их песнопений?»

Процессия кончилась; все розы были разбросаны по мостовой, и, проходя под красными занавесями в двери собора, люди пели:

Ave, verum Corpus, natum
De Maria Virgine...[1]

И когда пение стихло, кардинал прошел в собор между двумя рядами монахов и священников, стоявших на коленях с воздетыми вверх зажженными свечами. И он увидел их глаза, жадно устремленные на ковчег, который был у него в руках, и понял, почему они склоняют голову, ибо по складкам его белой мантии бежали алые струйки и на каменных плитах собора его ноги оставляли кровавые следы.

---

[1] Радуйся, ликуй, о тело,
Девою рожденное... (лат.)

Он подошел к алтарю, и те, кто держал балдахин, остановились, и, выйдя из-под него, он поднялся вверх по ступенькам. Справа и слева от алтаря стояли коленопреклоненные мальчики с кадилами и капелланы с горящими факелами, и в их глазах, обращенных на тело искупителя, поблескивали жадные огоньки.

И когда он стал перед алтарем и воздел свои запятнанные кровью руки с поруганным, изувеченным телом возлюбленного сына своего, голоса гостей, созванных на пасхальный пир, снова слились в общем хоре...

А сейчас тело унесут... Иди, любимый, исполни, что предначертано тебе, и распахни райские врата перед этими ненасытными. Передо мной же распахнутся врата ада.

Дьякон поставил священный сосуд на алтарь, а он преклонил колена, и с алтаря на его обнаженную голову капля за каплей побежала кровь. Голоса певчих звучали все громче и громче, будя эхо под высокими сводами собора:

Uni trinoque Domino
Sit sempiterna gloria:
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria[1].

«Sine termino... sine termino!» О Иисус, счастлив был ты, когда мог пасть под тяжестью креста! Счастлив был ты, когда мог сказать: «Свершилось!» Мой же путь бесконечен, как путь звезд в небесах. И там, в геенне огненной, меня ждет червь, который никогда не умрет, и пламя, которое никогда не угаснет. «Sine termino... sine termino!»

Устало, терпеливо проделал кардинал оставшуюся часть церемонии, машинально выполняя привычный ритуал, потерявший теперь для него всякий смысл. Потом, после благословения, опять преклонил колена перед алтарем и закрыл руками лицо. Голос священника, читающего молитву об отпущении грехов, доносился до него, как дальний отзвук того мира, к которому он больше не принадлежал.

Но вот голос умолк. Кардинал встал и протянул руку, призывая к молчанию. Те, кто уже пробирался к дверям, вернулись обратно. По собору пронесся шепот: «Его преосвященство будет говорить». Священники переглянулись в изумлении и ближе придвинулись к нему; один из них спросил шепотом:

— Ваше преосвященство намерены говорить с народом?

Монтанелли молча отстранил его рукой. Священники отсту-

---

[1] Единому в трех — господу
Да будет слава вечная:
Он жизнь нам беспредельную
Дарует в отчем царствии (л а т.).

пили, перешептываясь. Проповеди в этот день не полагалось, это противоречило всем обычаям, но кардинал мог поступить по своему усмотрению. Он, вероятно, объявит народу что-нибудь важное: новую реформу, исходящую из Рима, или послание святого отца. Со ступенек алтаря Монтанелли взглянул вниз, на море человеческих лиц. С жадным любопытством глядели они на него, а он стоял над ними неподвижный, похожий на призрак в своем белом облачении.

— Тише! Тише! — негромко повторяли распорядители, и рокот голосов постепенно замер, как замирает порыв ветра в вершинах деревьев.

Все смотрели на неподвижную фигуру, стоявшую на ступеньках алтаря. И вот в мертвой тишине раздался отчетливый, мерный голос кардинала:

— В Евангелии от святого Иоанна сказано: «Ибо так возлюбил бог мир, что отдал сына своего единородного, дабы мир спасен был через него». Сегодня у нас праздник тела и крови искупителя, погибшего ради нас, агнца божия, взявшего на себя грехи мира, сына господня, умершего за ваши прегрешения. И вы собрались здесь, чтобы вкусить от жертвы, принесенной вам, и возблагодарить за это бога. Я знаю, что утром, когда вы шли вкусить от тела искупителя, сердца ваши были исполнены радости, и вы вспомнили о муках, перенесенных богом-сыном, умершим ради вашего спасения. Но кто из вас подумал о страданиях бога-отца, который дал распять на кресте своего сына? Кто из вас вспомнил о муках отца, глядевшего на Голгофу с высоты своего небесного трона? Я смотрел на вас сегодня, когда вы шли торжественной процессией, и видел, как ликовали вы в сердце своем, что отпустятся вам грехи ваши, и радовались своему спасению. И вот я прошу вас: подумайте, какой ценой оно было куплено. Велика его цена! Она превосходит цену рубинов, ибо она цена крови...

Легкий трепет пробежал по внимающим ему людям. Священники, стоявшие в алтаре, перешептывались между собой, подавшись вперед. Но кардинал заговорил снова, и они умолкли.

— Поэтому говорю вам сегодня. Я есмь сущий. Я глядел на вас, на вашу немощность и ваши печали и на малых детей, играющих у ног ваших. И душа моя исполнилась сострадания к ним, ибо они должны умереть. Потом я заглянул в глаза возлюбленного сына моего и увидел в них искупление кровью. И я пошел своей дорогой и оставил его нести свой крест.

Вот оно, отпущение грехов. Он умер за вас, и тьма поглотила его; он умер и не воскреснет; он умер, и нет у меня сына. О мой мальчик, мой мальчик!

Из груди кардинала вырвался долгий жалобный стон, и его,

словно эхо, подхватили голоса испуганных людей. Священники встали со своих мест, дьяконы подошли к кардиналу и взяли его за руки. Но он вырвался и сверкнул на них глазами, как разъяренный зверь:

— Что это? Разве не довольно еще крови? Подождите своей очереди, шакалы! Вы тоже насытитесь!

Они попятились от него и сбились в кучу, прерывисто дыша, бледные, дрожащие. Он снова повернулся к народу, и людское море заволновалось, как нива, над которой сейчас пролетит вихрь.

— Вы убили, убили его! И я допустил это, потому что не хотел вашей смерти. А теперь, когда вы приходите ко мне с лживыми славословиями и нечестивыми молитвами, я раскаиваюсь, раскаиваюсь в своем безумстве! Лучше бы вы погрязли в пороках и заслужили вечное проклятие, а он остался бы жить. Сто́ят ли ваши зачумленные души, чтобы за спасение их было заплачено такой ценой? Но поздно, слишком поздно! Я кричу, а он не слышит меня. Стучусь у его могилы, но он не проснется. Один стою я в пустыне и перевожу взор с залитой кровью земли, где зарыт свет очей моих, к страшным, пустым небесам. И отчаяние овладевает мной. Я отрекся от него, отрекся от него ради вас, порождения ехиднины!

Так вот оно, ваше спасение! Берите! Я бросаю его вам, как бросают кость своре рычащих собак! За пир уплачено. Так придите, ешьте досыта, людоеды, кровопийцы, стервятники, питающиеся мертвечиной! Смотрите: вон со ступенек алтаря течет горячая, дымящаяся кровь! Она течет из сердца моего сына, и она пролита за вас! Лакайте же ее, вымажьте себе лицо этой кровью! Деритесь за тело, рвите его на куски... и оставьте меня! Вот тело, отданное за вас. Смотрите, как оно изранено и сочится кровью, и все еще трепещет в нем жизнь, все еще бьется оно в предсмертных муках! Возьмите же его, христиане, и ешьте!

Он схватил ковчег со святыми дарами, поднял его высоко над головой и с размаху бросил на пол. Металл зазвенел о каменные плиты. Духовенство толпой ринулось вперед, и сразу двадцать рук схватили безумца.

И только тогда напряженное молчание народа разрешилось неистовыми, истерическими воплями. Опрокидывая стулья и скамьи, сталкиваясь в дверях, давя друг друга, обрывая занавеси и гирлянды, рыдающие люди хлынули на улицу.

ЭПИЛОГ

— Джемма, вас кто-то спрашивает внизу.

Мартини произнес эти слова тем сдержанным тоном, который они оба бессознательно усвоили в течение последних десяти дней. Этот тон да еще ровность и медлительность речи и движений были единственными проявлениями их горя.

Джемма в переднике и с засученными рукавами раскладывала на столе маленькие свертки с патронами. Она занималась этим с самого утра, и теперь, в лучах ослепительного полдня, было видно, как осунулось от усталости ее лицо.

— Кто там, Чезаре? Что ему нужно?

— Я не знаю, дорогая. Он мне ничего не захотел говорить. Просил только передать, что ему надо повидать вас наедине.

— Хорошо.— Она сняла передник и спустила рукава.— Нечего делать, надо выйти к нему. Наверно, это просто сыщик.

— Я буду в соседней комнате. В случае чего кликните меня. А когда отделаетесь от него, прилягте и отдохните немного. Вы целый день провели на ногах.

— Нет, нет! Я лучше буду работать.

Джемма медленно спустилась по лестнице. Мартини молча шел следом за ней.

За эти дни Джемма состарилась на десять лет. Едва заметная раньше седина теперь выступала у нее широкой прядью. Она почти не поднимала глаз, но если Мартини удавалось случайно поймать ее взгляд, он содрогался от ужаса.

В маленькой гостиной стоял навытяжку незнакомый человек. Взглянув на его неуклюжую фигуру и испуганные глаза, Джемма догадалась, что это солдат швейцарской гвардии. На нем была крестьянская блуза, очевидно с чужого плеча. Он озирался по сторонам, словно боясь, что его вот-вот накроют.

— Вы говорите по-немецки? — спросил он.

— Немного. Мне передали, что вы хотите видеть меня.

— Вы синьора Болла? Я принес вам письмо.

— Письмо? — Джемма вздрогнула и оперлась рукой о стол.

— Я из охраны, вон оттуда.— Солдат показал в окно на холм; где виднелась крепость.— Письмо это от казненного на прошлой неделе. Он написал его в последнюю ночь перед расстрелом. Я обещал ему передать письмо вам в руки.

Она склонила голову. Все-таки написал...

— Потому-то я так долго и не приносил,— продолжал солдат.— Он просил передать вам лично. А я не мог раньше выбраться — за мной следили. Пришлось переодеться.

Солдат пошарил за пазухой. Стояла жаркая погода, и сложенный листок бумаги, который он вытащил, был не только грязен

и смят, но и весь промок от пота. Солдат неловко переступил с ноги на ногу. Потом почесал в затылке.

— Вы никому не расскажете? — робко проговорил он, окидывая ее недоверчивым взглядом.— Я пришел сюда, рискуя жизнью.

— Конечно, нет! Подождите минутку...

Солдат уже повернулся к двери, но Джемма, остановив его, протянула руку за кошельком. Оскорбленный, он попятился назад и сказал грубовато:

— Не нужно мне ваших денег. Я сделал это ради него — он просил меня. Ради него я пошел бы и на большее. Он был очень добрый человек...

Джемма уловила легкую запинку в его голосе и подняла глаза. Солдат вытирал слезы грязным рукавом.

— Мы не могли не стрелять,— продолжал он полушепотом.— Мы люди подневольные. Дали промах... а он стал смеяться над нами. Назвал нас новобранцами... Пришлось стрелять второй раз. Он был очень добрый человек...

Наступило долгое молчание. Солдат выпрямился, неловко отдал честь и вышел.

Несколько минут Джемма стояла неподвижно, держа в руке листок. Потом села у открытого окна и стала читать.

Письмо, написанное очень убористо, карандашом, местами нелегко было прочитать. Но первые два слова, английские, сразу бросились ей в глаза:

Дорогая Джим!

Строки вдруг расплылись у нее перед глазами, подернулись туманом. Она опять потеряла его. Опять потеряла! Детское прозвище заставило Джемму заново почувствовать эту утрату, и она протянула перед собой руки в бессильном отчаянии, словно земля, лежавшая на нем, всей тяжестью навалилась ей на грудь. Потом снова взяла листок и стала читать:

Завтра на рассвете меня расстреляют. Я обещал сказать вам все, и если уж исполнять это обещание, то откладывать больше нельзя. Впрочем, стоит ли пускаться в длинные объяснения? Мы всегда понимали друг друга без лишних слов. Даже когда были детьми.

Итак, моя дорогая, вы видите, что незачем вам было терзать свое сердце из-за той старой истории с пощечиной. Мне было тяжело перенести это. Но потом я получил немало других таких же пощечин и все стерпел. Кое за что даже отплатил. И сейчас я, как рыбка в нашей детской книжке (забыл ее назва-

ние), «жив и бью хвостом»,— правда, в последний раз... А завтра утром — finita la comedia[1]. Для вас и для меня это значит: цирковое представление окончилось. Воздадим благодарность богам хотя бы за эту милость. Она невелика, но все же это милость. Мы должны быть признательны и за нее и за другие благодеяния.

А что касается завтрашнего утра, то мне хочется, чтобы и вы и Мартини знали, что я совершенно счастлив и спокоен и что мне нечего больше просить у судьбы. Передайте это Мартини как мое прощальное слово. Он славный малый, хороший товарищ... Он поймет. Я знаю, дорогая, что, возвращаясь к тайным пыткам и казням, косные люди только помогают нам, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что, если вы, живые, будете держаться вместе и разить врагов, вам предстоит увидеть великие события. А я выйду завтра во двор с радостным сердцем, как школьник, который спешит домой на каникулы. Свою долю работы я выполнил, а смертный приговор — лишь свидетельство того, что она была выполнена добросовестно. Меня убивают потому, что я внушаю страх. А чего же еще может желать человек?

Впрочем, я-то желаю еще кое-чего. Тот, кто идет умирать, имеет право на прихоть. Моя прихоть состоит в том, чтобы объяснить вам, почему я был так груб с вами и не мог забыть старые счеты.

Вы, впрочем, и сами все понимаете, и я напоминаю об этом только потому, что мне приятно написать эти слова. Я любил вас, Джемма, когда вы были еще нескладной девочкой и ходили в простеньком платьице с воротничком и заплетали косички. Я и теперь люблю вас. Помните, я поцеловал вашу руку, и вы так жалобно просили меня «никогда больше этого не делать»? Я знаю, это было нехорошо с моей стороны, но вы должны простить меня. А теперь я целую бумагу, на которой написано ваше имя. Выходит, что я поцеловал вас дважды и оба раза без вашего согласия.

Вот и все. Прощайте, моя дорогая!

Подписи не было. Вместо нее Джемма увидела стишок, который они учили вместе еще детьми:

Счастливой мошкою
Летаю,
Живу ли я
*Иль умираю**.

---

[1] Представление окончено (и т а л.).

Полчаса спустя в комнату вошел Мартини и, уронив листок, который был у него в руках, нарушил многолетнее молчание и порывисто обнял ее:

— Джемма! Что такое? Боже мой! Не надо плакать, ведь вы никогда не плачете! Джемма! Джемма! Дорогая, любимая моя!

— Ничего, Чезаре. Я расскажу потом... Сейчас не могу.

Она торопливо сунула в карман залитое слезами письмо, отошла к окну и выглянула на улицу, пряча от Мартини лицо. Он замолчал, закусив губы. Первый раз за все эти годы он, точно мальчишка, выдал себя, а она даже ничего не заметила.

— В соборе ударили в колокол,— сказала Джемма, овладев собой, и повернулась к нему: — Должно быть, кто-то умер.

— Вот это-то я и хочу показать вам,— спокойно ответил Мартини.

Он поднял с пола объявление и передал ей. Оно было напечатано на скорую руку крупным шрифтом и обведено траурной каймой:

> *Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал монсеньор Лоренцо Монтанелли, скоропостижно скончался в Равенне от разрыва сердца.*

Джемма быстро взглянула на Мартини, и он, пожав плечами, ответил на ее невысказанную мысль:

— Что же вы хотите, мадонна? Разрыв сердца — разве это плохое объяснение? Оно не хуже других.

ЭТЕЛЬ ЛИЛИАН ВОЙНИЧ И ЕЕ РОМАН «ОВОД»

Это было больше восьмидесяти лет назад — весной 1897 года. В небольшой домик № 92 по узенькой лондонской улице Эдит гров почтальон принес бандероль из Нью-Йорка.

На коленкоровом переплете толстой книги было отпечатано одно слово: «The Gadfly» («Овод» по-английски). Рисунок на переплете изображал опрокинутый угасающий факел со струйкой дыма. На корешке было оттиснуто то же название книги, нарисован черный овод и золотыми буквами оттиснуто еще одно слово: «Voynich» — Войнич.

Молодая женщина с золотистыми волосами и голубыми глазами взяла со стола маленький перочинный ножик с перламутровым черенком и разрезала листы книги.

Это — ее книга. Ее первая книга. Сколько сил и труда вложила Этель Лилиан Войнич в эту книгу... Сколько бессонных ночей и дней уединения! Ее мысли, чувства, негодование, восхищение, любовь, ненависть, наблюдения, впечатления...

Этель Лилиан медленно перелистывала книгу. Как читатель встретит ее героев?

Острая печаль обжигает ее — того читателя, чье суждение было для нее самым важным, уже нет. Тот человек, благодаря кому она стала писательницей, облик которого помог ей создать образ героя этой книги, погиб. Так нелепо, так ужасно... Он, задумавшись, переходил линию пригородной железной дороги и попал под поезд. Он ушел от царской виселицы, от пули турецкого захватчика, от итальянского карабина — и здесь, в мирном Лондоне, попал под поезд... Она и сейчас слышит его высокий ласковый голос. Он называл ее Лили и шутливо — Булочка, по ее девичьей фамилии — Буль.

Она называла его своим опекуном. Он был ей настоящим другом, самым любимым другом, этот русский революционер и

писатель, живший в Лондоне, так как вынужден был бежать из России, спасаясь от преследований жандармов. В Европе, Америке, Японии он был известен под именем Степняка. Лили знала, что его настоящее имя — Сергей Кравчинский. Они познакомились в конце 1886 года в Лондоне. Этель Лилиан, потрясенная книгой Степняка «Подпольная Россия», пришла к нему просить совета. Она сама хотела поехать в Россию и убедиться, действительно ли гнет царизма так ужасен, действительно ли в России есть такие герои-революционеры, как он писал.

Степняк узнал, что родилась Лили в Ирландии в 1864 году, что отец ее Джордж Буль был преподавателем математики и умер через полгода после ее рождения. (Сейчас он считается крупнейшим ученым, основоположником математической символической логики.) Детство и юность Лили прошли в бедности. Получив небольшое наследство, она окончила консерваторию в Берлине, но болезнь руки помешала ей стать музыкантшей.

Степняк стал учить Лили русскому языку. Скоро они уже читали Лермонтова. А когда весной 1887 года Лили собралась в Россию, Степняк снабдил ее всякими напутствиями и дал ей адрес сестер своей жены, живших в Петербурге.

Два года провела Лили в России. Она жила в столице и в деревнях. Она познакомилась с высшим петербургским светом и с бедными курсистками-медичками, она жила гувернанткой в имении одного из высших сановников царского двора и бывала в убогих лачугах умирающих от голода крестьян, беседовала с литераторами, проводила часы ожидания в приемной петербургской тюрьмы. Живя у сестер жены Степняка, Лили тесно сблизилась с революционной средой, так как муж одной из сестер был народовольцем.

Это была эпоха разгрома народовольческого движения, эпоха наступления реакции. За несколько недель до приезда Лили в Россию были арестованы старший брат В. И. Ленина — Александр Ульянов и его товарищи. Первым впечатлением молодень-

кой англичанки от России было известие о казни А. И. Ульянова и его соратников. Яростным преследованием революционеров, гонением на передовую печать, указом о «кухаркиных детях» царское правительство охраняло свои устои.

Но, несмотря на наступившую реакцию, революционная Россия продолжала героическую борьбу с самодержавием. Одно за другим вспыхивали крестьянские волнения, «беспорядки» на фабриках и заводах, передовая интеллигенция провозглашала идею самопожертвования, русские художники посвящали свои картины мученикам за идею. Современники еще ощущали дыхание недавних героических подвигов народовольцев. Благоговение перед памятью погибших революционеров, мысль о «заживо

погребенных» погибающих в тюрьмах и на каторге товарищах вдохновляли новые поколения.

Одновременно получили большое распространение идеи Льва Толстого о спасении человечества с помощью обновленного христианства. Разобраться в этих противоречиях было нелегко не только для молодой иностранки. Но сама российская действительность обучала Лили Буль. Англичанка почувствовала, что ее жизнь, вся ее судьба уже навсегда связаны с Россией.

Весной 1889 года Лили вернулась на родину. Из России она увозила незабываемые на всю жизнь впечатления о великой стране, глубокое сострадание к ее бедствиям и страстное восхищение перед мужеством русских революционеров.

Она узнала и полюбила русскую литературу. Она полюбила произведения Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Грибоедова. Особенно волновало ее творчество современников — Гаршина, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Глеба Успенского. Полюбила она и русские народные песни, с которыми познакомилась во время своей поездки по Волге.

Вернувшись в Англию, Лили Буль делилась своими впечатлениями со Степняком.

Именно в это время С. М. Степняк-Кравчинский писал ей: «Ах, Лили, если б Вы знали, как мне Ваши описания природы нравятся. Положительно Вы должны попробовать свои силы на писательстве. Кто может двумя-тремя строчками, иногда — словами охватить и передать характер природы, тот должен уметь, или по крайней мере может уметь, схватить также рельефно и вразумительно характер человека и явления жизни — *если только он достаточно долго и внимательно наблюдал их* (подчеркнуто Степняком.— *Е. Т.*), (что несравненно труднее, конечно, чем наблюдение природы). Об этом мы поговорим, когда приедете» (это письмо от 22 августа 1889 года Э. Л. Войнич берегла всю жизнь как самую дорогую реликвию).

Последовав совету своего друга, Э. Л. Буль решила «попробовать свои силы на писательстве».

Вскоре после возвращения из России она начала писать книгу. Это был роман о тех, кого она близко знала и долго и внимательно наблюдала, о тех, кого она любила и кем восхищалась,— о героях-революционерах. Э. Л. Буль работала над своей первой книгой шесть лет — с 1889 по 1895 год. Это были годы ее активного участия в русском революционном движении, годы ее близкого сотрудничества со Степняком, годы усиленной работы над переводами русской литературы.

Как раз в это время (в конце 1889 года) Степняк организовал в Лондоне «Общество друзей русской свободы», в которое вошли видные английские прогрессивные деятели. С сере-

дины 1890 года общество стало выпускать на английском языке ежемесячный журнал «Свободная Россия». В этом журнале печатали статьи и очерки о положении в России, публиковали переводы произведений русских писателей. Э. Л. Буль была членом исполнительного комитета общества и работала в редакции «Свободной России».

В доме Степняка Э. Л. Буль встречалась с политическими деятелями многих стран, с итальянскими, польскими эмигрантами. Познакомилась и с Фридрихом Энгельсом, у которого однажды была дома. Познакомилась со многими английскими писателями, друзьями Степняка,— Бернардом Шоу, Вильямом Моррисом, Оскаром Уайльдом и другими. Но ближе всех были для нее друзья Степняка — русские политические эмигранты: она дружила с Г. В. Плехановым, П. А. Кропоткиным, В. И. Засулич. В доме же Степняка встретилась Э. Л. Буль с человеком, имя которого стало ее именем,— с польским революционером Михаилом Вильфридом Войничем, бежавшим из Сибири.

М. В. Войнич (1865—1930) родился под Ковно (ныне Каунас) в семье бедного чиновника, поляка. После гимназии он сдал экзамены при Московском университете и получил звание аптекарского помощника. М. Войнич был активным деятелем польской социально-революционной партии «Пролетариат», он занимался пропагандой, распространял нелегальную литературу, приобретал типографский шрифт, фальшивые паспорта, собирал деньги для революционной работы. Когда в 1884 году были арестованы руководители партии «Пролетариат» Л. Варынский, Ст. Куницкий и другие, М. Войнич пытался организовать их побег, но вскоре был арестован сам,— ему тогда еще не исполнилось и двадцати лет. После полутора лет заключения в Десятом павильоне Александровской цитадели в Варшаве М. Войнич был сослан в Восточную Сибирь, а оттуда бежал в Англию. Все его имущество составлял маленький перочинный ножик с перламутровым черенком...

В Лондоне М. Войнич стал ближайшим сотрудником Степняка и вместе с ним был одним из организаторов Фонда Вольной Русской Прессы, созданного для печатания и распространения в России всевозможной революционной литературы. М. Войнич ведал организационными делами Фонда и его книжным складом. На этом складе были собраны и отсюда направлялись в Россию сочинения декабристов, произведения Герцена, Чернышевского, Плеханова, нелегальные издания Салтыкова-Щедрина, Шевченко, издания «Народной Воли», биографии народовольцев и переводы на русский язык произведений Маркса и Энгельса.

Э. Л. Войнич читала и изучала литературу, собранную на

складе, и сама принимала участие в ее транспортировке. Все эти годы Э. Л. Войнич под руководством Степняка усиленно занималась переводами русской литературы на английский язык.

Активное участие в русском революционном движении, тесные связи с революционными деятелями разных стран, главным образом русскими политическими эмигрантами, близость к идеям русской прогрессивной и революционной литературы — вот что обусловило особенности мировоззрения Э. Л. Войнич того времени, когда она писала свой первый роман «Овод».

...Закончив роман «Овод» в конце 1895 года (все лето 1895 года Э. Л. Войнич провела в Италии, где работала в архивах и библиотеках Флоренции и Болоньи, бродила с бывшими контрабандистами по горным тропам), писательница долго не могла найти издателя для своей книги. Только в июне 1897 года «Овод» вышел в Нью-Йорке и в сентябре того же года был издан наконец в Лондоне.

В этом романе писательница рисует нам яркие фигуры участников итальянской подпольной революционной организации «Молодая Италия» в 30-е и 40-е годы XIX века. Это было время, когда после разгрома наполеоновской армии вся Италия была разделена на несколько отдельных государств и фактически захвачена австрийскими войсками. Глава католической церкви папа римский поддерживал австрийских захватчиков. Под этим двойным гнетом итальянский народ задыхался и бедствовал.

Передовые люди Италии понимали необходимость объединения страны в единое государство и боролись за национальную независимость, против господства австрийцев.

В 1831 году знаменитый итальянский революционер Джузеппе Мадзини (1805—1872), изгнанный из родной страны, основал подпольную революционную организацию — партию «Молодая Италия». В нее входила передовая итальянская интеллигенция — писатели, адвокаты, студенты. Постоянно преследуемая полицией, «Молодая Италия» сыграла, однако, большую роль в борьбе итальянского народа, который только в 1870 году добился объединения страны.

Действие романа «Овод» начинается в 1833 году. В то время в разных областях Италии происходили вооруженные восстания. Австрийская полиция, поддержанная местными властями, с неслыханной жестокостью подавляла эти восстания. Особенно обострилась борьба позднее, перед 1848 годом, когда революционная волна охватила всю Западную Европу и Италию в том числе. В 1846 году, устрашенный общественным подъемом, папа римский сделал вид, что идет навстречу народным требованиям, и предпринял ряд либеральных реформ. Во второй и третьей частях романа действие происходит как раз в эти дни.

Э. Л. Войнич показывает противоречия, возникающие внутри самой «Молодой Италии». Герои романа Овод, Джемма, Мартини являются наиболее активными членами партии, они прекрасно поняли лицемерный характер папских реформ, разоблачают угнетателей и смело борются с ними, тогда как другие — умеренные — ограничиваются бесплодными разговорами и прошениями. Однако мы не найдем в романе «Овод» изображения народных выступлений, вооруженных восстаний, которые были столь характерны для этого этапа национально-освободительного движения Италии.

Очевидно, писательница не ставила себе целью создание исторических картин того времени. Ни один из персонажей романа «Овод» не является реальным историческим лицом. Имена исторических лиц — Мадзини, Орсини, Ренци — лишь упоминаются в романе.

Характерно, что ни современники, ни читатели сегодняшнего дня не воспринимают роман «Овод» как историческое произведение. И конечно, не история итальянского национально-освободительного движения середины XIX века, а образ революционера, зовущий к борьбе,— основное содержание романа «Овод».

Э. Л. Войнич сосредоточила внимание на изображении героического характера революционера.

Хотя Овод является главным действующим лицом романа, писательница не излагает историю всей жизни своего героя от первых до последних дней. Первая часть охватывает лишь около одного года в жизни героя, а вторая и третья вместе освещают период его жизни, занявший даже меньше года. Мы видим Овода в наиболее острые моменты его жизни, в часы глубочайших конфликтов, когда его характер проявляется самым ярким образом.

Мы знаем, что Овод принимает непосредственное участие в вооруженных схватках, хотя автор не показывает нам его в роли бойца, участника восстания. Наибольший героизм Овода проявляется на том труднейшем участке борьбы, где геройство как бы лишено своих внешних атрибутов, там, где борец лишен поддержки товарищей и где его единственным оружием является идейность. Автор рисует своего героя в поединках с жандармами. В самом деле, в активной борьбе, в открытом выступлении с оружием в руках, каждый чувствует поддержку соратников, и в то же время совершённый подвиг находит мгновенный отклик, увлекает последователей; падающий боец видит идущих на смену, видит тех, кто подбирает их знамя и несет его дальше, сохраняя в сердцах благородную память о погибших. В тюрьме же подвиг остается невидимым,— никто из друзей и не узнает о нем, но истинный революционер даже в этих условиях, не ожидая никакой награды, остается верен себе!

...Создавая героический образ революционера, утверждая принцип борьбы за свободу как высший гуманистический принцип, Э. Л. Войнич одновременно с огромной силой срывает ореол святости с религии и ее служителей. Она разоблачает всю их ложь, ханжество, лицемерие, она утверждает, что религия служит врагам народа.

Все поворотные моменты жизни ее героя связаны с религией.

Молодой и наивный Артур Бертон, студент философии, решает посвятить свою жизнь борьбе за освобождение Италии от чужеземных захватчиков (то, что он англичанин, нимало не останавливает его). Девизом тайной революционной партии «Молодая Италия», в которую он вступил, были слова: «Во имя бога и народа, ныне и во веки веков!» Артур следует этому девизу. Конечно, думает он, бог поможет народу, Христос ведь отдал жизнь за спасение народа. Однако при первом же столкновении с действительностью эти иллюзии разрушаются. Артур понял, что религия — ложь, что она помогает угнетателям. Отныне он, Артур,— враг церкви, враг всякой религии, враг религиозного мышления, требующего от человека слепого преклонения. И во имя народа он борется против бога, провозглашая активную волю человека-борца как единственное средство спасения.

Он борется с религией всеми способами — пером и мечом. Он уже не робкий Артур, а беспощадный, сильный, мужественный Феличе Риварес, принявший прозвище «Овод». Он высмеивает церковь в уничтожающих памфлетах, он участвует в народных восстаниях. Он отказывается от каких бы то ни было сделок с церковью, даже если это может спасти ему жизнь. Перед тягчайшими испытаниями он остается верен своим убеждениям. Грозный огонь борьбы закалил его волю.

С большим мастерством Э. Л. Войнич создает величественный образ героя-революционера и противопоставляет его образу Христа, которого в течение почти двух тысячелетий церковники провозглашали спасителем человечества, наивысшим символом кротости и покорности.

Писательница утверждает, что не смирением и покорностью обретет человечество свободу и счастье, а завоюет их в борьбе.

Э. Л. Войнич бросает вызов учению церковников о бессмертии Христа и воспевает бессмертие революционера, борца за свободу, который вечно живет в делах своих преемников, в своем великом подвиге.

С огромной силой и мастерством Э. Л. Войнич показывает, что Овод продолжает побеждать и после своей смерти. Его идейный противник кардинал Монтанелли отрекается от веры.

Друзья Овода получают его письмо, написанное перед казнью, уже после его смерти. Оно звучит как боевой гимн. Оно пронизано воинствующим оптимизмом, уверенностью в победе, призывом к борьбе. Так — после смерти — звучит голос Овода, Овод ведет вперед. Он жив!

Э. Л. Войнич глубоко верно уловила и сумела показать в своем романе растущие силы революции, обреченность, неизбежность гибели сил реакции.

Особенно ярки образы революционеров — Овода и его соратников. Э. Л. Войнич показывает различие их взглядов, характеров, противопоставляет подлинных революционеров красноречивым болтунам. Писательница сумела передать высокий дух товарищества, характерный для борцов за свободу, их личную скромность, нежную суровость в отношениях друг к другу, их высокую идейность, целеустремленность и принципиальность, их готовность отдать жизнь за народ.

Овод — человек сильных и цельных чувств. Именно потому, что он так сильно любит Монтанелли, своего отца, он не может простить его обман, не может примириться с ним. Именно потому, что он так сильно любит Джемму, он не может простить ее пощечину. Дело не в самом оскорблении, дело в том, что она усомнилась в его честности, в его мужестве, в его верности своим убеждениям, а этого он не может простить никому.

Э. Л. Войнич глубоко и многосторонне раскрывает образ Овода. Он остроумен, у него злой, насмешливый язык, он не расстается с шуткой. Но как по-разному в различных условиях применяет он это грозное оружие! Его насмешки поражают врагов, раздражают либералов и придают силы и бодрость друзьям. Враги его ненавидят, либералы на него сердятся, простой народ его любит.

Писательница особенно подчеркивает любовь Овода к жизни. Он любит природу — животных, деревья, цветы. Он горячо любит детей. Горе и тяжкие испытания сделали его суровым, закалили его волю, но не сделали его черствым. Если молодой Артур беззаботно-ласково играл с маленькой крестьянской девочкой, то и железный Риварес трогательно нежен с голодным оборвышем.

Овод страстно любит жизнь, дорожит ею, ценит ее, но, несмотря на это, он идет на смерть, ибо идеи для него дороже жизни, а уверенность в конечном торжестве его идей придает ему силы.

Полно глубокого смысла и само прозвище Артура, которое стало его именем и является названием романа,— «Овод». Э. Л. Войнич имеет в виду историю знаменитого греческого мудреца Сократа. Властители Афин приговорили его к смертной

казни за то, что он обличал их пороки. Защищаясь на суде против несправедливого приговора, Сократ сравнивает себя с оводом, который надоедает неторопливому коню, побуждая его действовать. Приговоренный к смерти, Сократ мог бы спастись, если бы пошел на сделку с совестью, отрекся бы от своих убеждений, но он предпочел смерть. Наделяя своего героя прозвищем «Овод», писательница напоминает нам о Сократе, подчеркивая тем самым его качество — верность своим убеждениям.

Писательница показала нам Овода живым человеком, со слабостями и странностями, с богатым внутренним миром, со множеством недостатков, но сумела оттенить главное в нем — его цельность, мужество, несгибаемую волю, непоколебимую верность своим убеждениям, его острый ум, преданность друзьям, страстную любовь к народу. Вся жизнь Овода и самая смерть его были посвящены борьбе за освобождение родины. Эта борьба была его единственной и великой страстью. Вся его личная жизнь, все его стремления были отданы этой великой цели. Несмотря на исключительность его личной судьбы, это типический образ революционера, борца за свободу.

Образ Овода — образ истинного героя, самого прекрасного молодого человека XIX столетия.

Очевидно, что Э. Л. Войнич воплотила в своем герое черты многих борцов за свободу разных стран и народов: Овод является интернациональным типом революционера.

Именно поэтому книга об Оводе стала любимейшей во многих странах: в Польше, Чехословакии, Румынии, Кубе, Болгарии, Венгрии, ГДР. Но, конечно, подлинную свою родину эта книга нашла у нас.

...В России перевод «Овода» появился через полгода после выхода романа в Нью-Йорке — в 1898 году. Это был год основания Российской социал-демократической рабочей партии.

Роман «Овод» появился в России в ту знаменательную эпоху, когда русский рабочий класс вышел на арену истории и готовился к решительным схваткам с самодержавием.

Для молодых революционеров Овод стал любимым героем, примером, образцом. Они находили в нем свои черты и в себе находили черты Овода. Это ощущение близости, родства с ним, это воплощение самых смелых мечтаний о подвиге, самого горячего желания, самопожертвования в образе обаятельного юноши, в образе живого человека, которому ничто человеческое не было чуждо, который страдал, знал минуты слабости, у кого были самые обыкновенные недостатки и который, несмотря на это, был подлинным героем,— эти свойства Овода и являются причиной беспримерной судьбы книги Э. Л. Войнич в нашей стране.

Среди книг, образы которых воодушевляют нас передовыми идеями, зовут на борьбу за свободу, есть несколько особенно вдохновенных произведений. Они обладают огромной взрывчатой силой непосредственного воздействия, они ведут в бой, они учат бороться, не щадя собственной жизни. Это — книги-бойцы, книги-полководцы. Авторы этих книг сами были борцами в битве. Это прежде всего роман «Что делать?», написанный великим русским революционным демократом Н. Г. Чернышевским, роман «Спартак» гарибальдийца Р. Джованьоли, «Андрей Кожухов» революционера-народника С. М. Степняка-Кравчинского, «Как закалялась сталь» героя гражданской войны Н. Островского. «Овод» по праву принадлежит к этим замечательным книгам. Эта книга увлекала молодежь, выражаясь словами В. Г. Белинского, «примером высоких действий» молодого героя. Ее читали и перечитывали, над ней рыдали ночами, сжав кулаки, а утром выходили в жизнь с сухими глазами, готовые к бою и к смерти за счастье и свободу родного народа. Узникам она придавала мужество, слабых она делала сильными, сильных превращала в богатырей.

После Великой Октябрьской революции популярность «Овода» у нас стала поистине огромной. Роман не только читали. В городах, деревнях, воинских частях — всюду в театрах и клубах ставили спектакли по сюжету «Овода». Создавались кинофильмы, оперы. Роман стали переводить на языки народов СССР. Всего за годы Советской власти роман «Овод» был издан у нас 180 раз общим тиражом свыше 11 миллионов экземпляров, на 24 языках народов СССР и на английском.

Роман «Овод» читали и перечитывали молодогвардейцы, Зоя Космодемьянская, Алексей Маресьев, космонавты. Эту книгу любят молодые и старые.

Мы долгие годы ничего не знали об авторе «Овода», а сама Войнич ничего не знала о своей популярности в СССР. С огромным волнением встретилась в 1955 году престарелая писательница с советскими журналистами. Э. Л. Войнич стала писать нам, рассказывать о своей жизни, посылать свои книги — ведь, кроме «Овода», она написала еще четыре интереснейших романа, в которых нашли свое отражение темы русской революции.

Через три года после появления «Овода» Э. Л. Войнич выпустила второй роман — «Джек Реймонд». В нем она также разоблачает лицемерие и жестокость служителей церкви. Кроме Джека, главные персонажи романа — жена и сын польского революционера, погибшего на царской каторге.

В 1904 году вышел третий роман Э. Л. Войнич — «Оливия Лэтам». В какой-то мере он, безусловно, является автобиографическим: в нем повествуется об английской девушке, вышедшей

замуж за польского революционера. В романе передается обстановка жизни подпольщиков в Петербурге. Некоторые сцены, посвященные изображению бесчинств царской полиции, написаны с огромной силой. Рисует автор и деятельность польских и русских революционеров в эмиграции.

К этому времени Э. Л. Войнич отошла от «Общества друзей русской свободы», которое после смерти Степняка в 1895 году утратило свое прогрессивное значение.

В 1910 году Э. Л. Войнич написала роман «Прерванная дружба» (в русском переводе он назывался «Овод в изгнании»). В нем рассказывается о жизни Овода в Южной Америке после бегства из дома.

Все это время писательница продолжала интересоваться русской литературой. В 1911 году Э. Л. Войнич опубликовала перевод на английский язык «Песни про купца Калашникова» М. Ю. Лермонтова. Одновременно она перевела шесть стихотворений Тараса Шевченко и снабдила этот перевод вступительным очерком о жизни и творчестве великого украинского поэта.

Затем Э. Л. Войнич посвятила себя занятиям музыкой. Она создала несколько симфонических произведений. Особенно интересна ее оратория «Вавилон», посвященная свержению самодержавия в России.

В 1920 году Э. Л. Войнич переехала из Англии в США.

В 1944 году восьмидесятилетняя писательница закончила новый роман — «Сними обувь твою», и в нем она вновь возвратилась к образу Овода. В предисловии к роману она называет Овода постоянным спутником всей своей долгой жизни. В этом романе она рассказывает о предках Овода с материнской стороны.

Все эти романы слабее «Овода» и не могут с ним сравниться, но в них живет тот же бунтарский дух, герои их порывают с условными традициями окружающей их мещанской среды. Писательница и в этих своих романах бросает вызов буржуазному обществу с его лицемерием и обесцениванием человеческой личности.

Когда писательнице был уже 91 год, она узнала о своей славе. О любви миллионов людей. В 1960 году Э. Л. Войнич скончалась. А во всем мире, на всевозможных языках выходят новые и новые издания романа «Овод», и новые и новые поколения отдают свою любовь герою-революционеру. Учатся у него мужеству и верности своим идеям.

...Среди самых дорогих реликвий хранится у меня маленький перочинный ножичек с перламутровым черенком, присланный мне автором «Овода».

Евгения Таратута

Комментарии

Г. БИЧЕР-СТОУ

«ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА»

Книга написана в 1851—1852 годах. Печаталась сначала в еженедельнике «Национальная эра» с июня 1851 года по март 1852 года. В марте же 1852 года вышла отдельным изданием. Переведена почти на все языки мира. Часто издается с сокращениями. Впервые на русском языке появилась в 1858 году в виде приложения к журналу «Современник» в переводе группы лиц. Затем много раз переводилась заново. Обычно для детей (как и в этом томе) у нас издают книгу в сокращенном виде. Последний раз полностью «Хижина дяди Тома» издана в Москве издательством «Художественная литература» в 1977 году, в переводе Н. А. Волжиной.

После выхода книги Гарриет Бичер-Стоу, кроме многочисленных писем с благодарностью и восторженными похвалами, получила письма, в которых ее обвиняли в клевете, в сгущении красок при изображении положения негров в Америке. Об этом же нередко писали и в статьях о книге.

Гарриет Бичер-Стоу, отвечая на обвинения в клевете, написала специальную статью «Ключ к «Хижине дяди Тома», в которой рассказывала, что все описанное в книге взято ею из жизни. Некоторых героев своей книги она знала лично, о других ей рассказывали друзья и знакомые. Эпизод переправы молодой женщины с ребенком через Огайо во время ледохода был описан в газетах. Брат писательницы сообщил ей историю старой Прю, от него же она узнала о плантаторе, черты которого она воплотила в образе Легри.

В этой статье Гарриет Бичер-Стоу прямо обращалась к передовым людям Южных штатов, призывая их бороться против рабовладения. А в заключение статьи писательница взывала ко всей стране: «Покайся же, Америка, стряхни с себя путы, которыми ты, опутывая других, еще более опутала самое себя!..»

Стр. 11. Кентукки — один из штатов Соединенных Штатов Америки, расположен на границе с Северными штатами, где в эпоху, описываемую в книге, уже начиналось движение за освобождение негров от рабства.

Стр. 12. Гимн — здесь имеется в виду церковное песнопение.

Стр. 13. Канада — государство в Северной Америке. С 1867 года английский доминион. Беглые рабы находили в Канаде убежище.

Стр. 13. Квартерон (от латинского слова «кварта» — четверть) — человек, у которого дед или бабушка были неграми.

Стр. 20. Мулат — человек, один из родителей которого был негром.

Стр. 28. Вашингтон Джордж (1732—1799) — главнокомандующий американскими войсками в войне с Англией за независимость. После этой войны — первый президент Соединенных Штатов Америки.

Стр. 31. Вирджиния — штат, соседний с Кентукки, расположен на территории, заселенной европейцами раньше других.

Стр. 37. Аболиционисты — сторонники отмены рабовладельчества.

Стр. 55. Подпольная дорога.— После 1850 года, когда в США был принят закон, запрещающий белым помогать бежавшим неграм, беглецы стали пробираться в Канаду по так называемой «подпольной дороге», которую организовали сторонники отмены рабства и, нарушая закон, помогали бежавшим неграм.

Стр. 66. Сандаски — город на озере Эри, на южном его берегу, который принадлежит США, северный же берег озера принадлежит Канаде.

Стр. 68. «На том берегу Иордана, в земле Ханаанской».— По библейским преданиям, земля Ханаанская — земля обетованная, край блаженства; выражение Сэма миссис Шелби поняла как сообщение о смерти Элизы.

Стр. 71. Блудный сын — по евангельскому преданию, человек, раскаявшийся после многих лет беспутной жизни и вернувшийся к отцу, который встретил его с великой радостью и устроил пышный пир.

Стр. 72. Сенатор — член сената, законодательного собрания. В США, кроме общегосударственного сената в Вашингтоне, имеются еще сенаты в каждом штате. Мистер Бэрд был членом сената штата Огайо.

Стр. 86. Миссионер — проповедник, насаждающий христианскую религию в колониальных странах.

Стр. 92. Шапокляк — складной, на пружинах, цилиндр (шляпа).

Стр. 103. Вашингтон.— Города, названные так в честь первого президента США, имеются почти в каждом штате. Так же называется и столица США.

Стр. 114. Квакеры — христианская секта, возникшая в XVII веке в Англии; широко распространена в Северной Америке.

Стр. 126. Вермонт — штат на северо-востоке США; Луизиана — штат на юге, в нижнем течении Миссисипи.

Стр. 126. Новая Англия — район на северо-востоке США, ранее других заселенный европейцами, включает шесть штатов, один из них — Вермонт.

Стр. 176. Катехизис — краткое изложение христианского вероучения в форме вопросов и ответов.

Стр. 186. «Все люди рождаются равными и свободными». — Слова из «Декларации прав человека и гражданина», провозглашенной французской буржуазной революцией.

Стр. 186. Джефферсон Томас (1743—1826) — американский государственный деятель, один из авторов «Декларации независимости», которой Соединенные Штаты Америки провозгласили себя независимыми от Англии. Был президентом США с 1801 по 1809 год.

Стр. 186. «А ведь во Франции она однажды показала себя во всей силе». — Речь идет о французской буржуазной революции 1789 года.

Стр. 186. Сан-Доминго — в то время восточная часть острова Гаити в Карибском море, негритянское население которого неоднократно восставало против испанских и французских колонизаторов.

Стр. 187. Людовик XVI — король Франции, казненный в 1793 году по решению Конвента.

Стр. 187. Австрийская монархия была в XIX веке одной из самых реакционных в Европе.

Стр. 187. Пий IX — папа римский с 1846 по 1878 год. Начав свою деятельность с незначительных либеральных реформ, впоследствии он стал душителем прогрессивных течений в политической и культурной жизни Италии, сотрудничал с австрийскими угнетателями.

Стр. 187. Санкюлоты (по-французски — бесштанные) — презрительное прозвище наиболее революционных слоев населения, которое пустили в ход аристократы в эпоху французской буржуазной революции.

Стр. 283. Креолы — потомки первых европейских колонизаторов в Северной и Южной Америке из Испании, Португалии и Франции.

Стр. 289. Либерия — государство в Западной Африке.

Э. Л. ВОЙНИЧ

«ОВОД»

Э. Л. Войнич в своих автобиографических заметках рассказывает, что роман «Овод» она задумала еще в юности, а писать его начала в 1889 году, после возвращения из России. Закончила она роман в конце 1895 года. Впервые книга вышла в свет в 1897 году в Нью-Йорке, а затем и в Лондоне.

На русском языке «Овод» появился впервые в переводе З. А. Венгеровой в ежемесячном журнале «Мир божий» за 1898 год (с января по июнь) в виде приложения. На титульном листе стоял подзаголовок: «Роман из итальянской жизни 30-х годов». Роман был напечатан не полностью,— в самых сильных антирелигиозных местах были пропуски. Эпиграф, предисловие «От автора» также не были напечатаны. Отдельной книгой на русском языке «Овод» впервые был издан в Петербурге в 1900 году в том же переводе, с тем же подзаголовком. В 1904 году вышло второе издание, уже с другим подзаголовком: «Роман из революционной жизни Италии XIX века».

Всего до Великой Октябрьской социалистической революции вышло в

России четырнадцать изданий «Овода» на русском языке, были переводы и на армянский, грузинский, латышский, польский языки.

За годы Советской власти «Овод» был издан на двадцати четырех языках народов СССР, а также на английском языке. Каждый год появляется у нас несколько новых изданий романа «Овод». Издавался роман и специальной печатью для слепых. Впервые полностью на русском языке роман «Овод» был напечатан в 1958 году в переводе Н. Волжиной.

В других странах также переводили «Овода» — он издан в Голландии, Германии, Дании, а затем в Польше, Болгарии, Румынии, Венгрии, Китае, Японии, Монголии, Чехословакии, на Кубе и во многих других странах.

Стр. 307. Эпиграфом Э. Л. Войнич взяла слова бесноватого, из которого, как рассказывается в Евангелии, Иисус Христос изгнал беса.

Стр. 307. П и з а — город в Италии, один из старейших центров итальянской культуры; в эпоху, описанную в романе, Пиза входила в Тосканское герцогство.

Стр. 307. К а н о н и к — священник католической церкви, занимающий постоянную должность.

Стр. 308. «...он скорее походил на итальянца с портрета XVI века...» — Э. Л. Войнич рассказывает, что внешнему облику Артура она придала черты «молодого человека» — портрета, написанного итальянским художником Франческо ди Кристофано, прозванным Франчабиджо (ок. 1482—1525). Эту картину, находящуюся в Лувре в Париже, она впервые увидела в 1885 году.

Стр. 308. Д о м и н и к а н с к и и — принадлежащий монашескому ордену доминиканцев, основанному в XII веке испанским проповедником Домиником для борьбы против вольнодумцев.

Стр. 309. К о р н у э л л — графство в Англии.

Стр. 309. Л и в о р н о — крупный портовый город на Лигурийском море, неподалеку от Пизы.

Стр. 311. П р о т е с т а н т ы — сторонники возникшего в XVI веке в ряде стран Европы христианского вероучения; выступали против господства римского папы и против некоторых положений католической церкви.

Стр. 314. «Ибо ты содеял это втайне...» — слова из Библии.

Стр. 316. Ш а л е́ — сельский домик в Альпийских горах в Швейцарии.

Стр. 320. М е т о д и с т ы — религиозная секта, возникшая в XVIII веке в Англии.

Стр. 322. «М о л о д а я И т а л и я» — название тайного общества, организованного в 1831 году итальянскими революционными эмигрантами под руководством Джузеппе Мадзини (1805—1872) для борьбы за освобождение Италии от австрийского владычества, за объединение страны, за создание итальянской республики.

Стр. 322. «De Monarchia» — сочинение великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321), направленное против притязаний папы на светскую власть, за создание единой итальянской монархии. В эпоху, описываемую в романе, произведения Данте были запрещены папой.

Стр. 323. Ватикан — папская резиденция, город-государство на территории г. Рима; в переносном смысле — папская власть, правящие круги римско-католической церкви.

Стр. 324. «На ней было черное платье...» — Писательница указывает на автобиографичность этой детали. В молодости она сама, прочитав в биографии Мадзини, что он носил одежду черного цвета в знак траура по угнетенной Италии, подражая ему, одевалась в черное платье в знак траура по печальному состоянию мира.

Стр. 326. «...там ждали прибытия пароходов».— В то время в Ливорно из французского порта Марселя нелегальным способом доставлялась газета «Молодая Италия», которую Мадзини выпускал в Марселе, а также издаваемые тайным обществом политические книги и брошюры.

Стр. 326. «...пишут в газете» — то есть в газете «Молодая Италия».

Стр. 327. «Во имя бога и народа ныне и во веки веков».— Подлинный девиз «Молодой Италии» был: «Бог и народ».

Стр. 328. Филистер — самодовольный и ограниченный человек с узким обывательским, мещанским кругозором.

Стр. 357. Паоло — итальянская серебряная монета.

Стр. 358. Медичи — старинный род правителей Флоренции.

Стр. 358. «...мимо бронзового памятника Четырех Мавров...» — У пьедестала памятника тосканскому герцогу Фернандо I Медичи находятся бронзовые фигуры четырех пленных мавров, закованных в цепи.

Стр. 364. Великий герцог — Леопольд II, герцог Тосканский.

Стр. 364. Ренци Пьетро (1807—1882) — организатор восстания в Папской области в январе 1846 года. Восстание потерпело поражение, и Ренци был выдан папе тосканским правительством.

Стр. 366. Иезуиты — члены воинствующего католического ордена Иисуса (Иезуса — по-латыни), основанного в XVI веке; не стеснялись в средствах для достижения цели и не гнушались обмана, интриг, тайных убийств.

Стр. 366. Григорианцы — приверженцы политики папы Григория XVI; выступавшие против реформ Пия IX.

Стр. 366. Санфедисты — члены Общества последователей святой веры, основанного в 1799 году для укрепления власти папы.

Стр. 366. Ламбрускини Луиджи (1776—1854) — кардинал, государственный секретарь Папской области; оказывал помощь австрийцам.

Стр. 368. Джусти Джузеппе (1809—1850) — видный итальянский поэт, друг Мадзини, талантливый сатирик; выступал против австрийского ига.

Стр. 368. «...на миланском диалекте» — один из диалектов итальянского языка, весьма сильно отличающийся от литературной речи.

Стр. 368. «Но граждане Афин были слишком вялы, и понадобился овод, чтобы пробудить их...» — намек на историю Сократа, изложенную в «Апологии Сократа» Платона.

Стр. 369. «Он из группы Муратори...» — Автор имеет в виду восстание в Папской области летом 1843 года, которое возглавляли братья Муратори. Восстание потерпело неудачу, и многие из его участников были казнены.

Стр. 370. «Он сражался за Аргентинскую республику...» — В те годы во многих странах Южной Америки происходили национально-освободительные войны. В них принимали участие многие политические деятели из Европы.

Стр. 370. Орсини Феличе (1819—1858) — сподвижник Мадзини. Покушался на французского императора Наполеона III, который поддерживал притязания Австрии на Италию; казнен в Париже.

Стр. 371. Спинола — кардинал; особо жестоко расправлялся с участниками освободительного движения.

Стр. 374. «...два года назад лучшие друзья Мартини были изменнически преданы в Калабрии...» — Автор имеет в виду сподвижников Мадзини, флотских офицеров братьев Бандиера, пытавшихся поднять восстание в Калабрии в июне 1844 года. Выданные предателями, они были арестованы и расстреляны.

Стр. 375. Царица Савская — по библейским преданиям, сказочно прекрасная и мудрая владычица одного из государств Древнего Востока.

Стр. 377. Меттерних К. (1773—1859) — австрийский государственный деятель, один из организаторов реакционного «Священного союза».

Стр. 384. Левеллеры (уравнители) — радикальная политическая партия в эпоху английской революции (XVII век).

Стр. 387. «...правду всегда гонят из дому, как сторожевую собаку...» — слова шута из трагедии В. Шекспира «Король Лир», акт I, сцена I.

Стр. 396. Шелли Перси Биши (1792—1822) — великий английский поэт, революционный романтик. Один из любимых поэтов Э. Л. Войнич.

Стр. 396. Савонарола Джироламо (1452—1496) — флорентийский религиозно-политический деятель, поэт; в своих красноречивых, страстных проповедях выступал против тирании Медичи и политики папства.

Стр. 399. «Таков был уговор» — слова Шейлока из драмы В. Шекспира «Венецианский купец», акт IV, сцена I.

Стр. 399. Аркадия — область на юге Греции, воспетая античными поэтами как край мирной пастушеской жизни. В позднейшей литературе — счастливая сказочная страна, жители которой избавлены от тревог и забот.

Стр. 400. Леонардо да Винчи (1452—1519) — великий итальянский художник и ученый.

Стр. 406. «Дантов ад».— В поэме великого итальянского поэта Данте Алигьери «Божественная комедия» описан полный ужасов ад.

Стр. 408. Сольдо — медная итальянская монета.

Стр. 408. Полента — дешевое народное итальянское блюдо.

Стр. 429. «Все твои волны и бури прошли надо мной» — слова из Библии.

Стр. 437. «...в притче о выметенном и прибранном доме...» — притча из Евангелия.

Стр. 438. Агностик — сторонник философского учения, которое отрицает возможность познания объективного мира.

Стр. 441. Скудо — старинная итальянская крупная серебряная монета.

Стр. 445. «...на Мохачском поле».— В битве на Мохачском поле в 1526 году Венгрия потерпела поражение от войск турецкого султана и потеряла свою независимость.

Стр. 457. Иона — персонаж библейских преданий.

Стр. 463. Сцилла и Харибда — в греческой мифологии чудовища, сулящие неминуемую гибель мореплавателю. Выражение «между Сциллой и Харибдой» можно сравнить с русским «между двух огней».

Стр. 470. «Уж если суждено мне умереть...» — слова Клавдио из драмы В. Шекспира «Мера за меру», акт III, сцена I.

Стр. 470. Дон Карлос и маркиз Поза — персонажи трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос».

Стр. 471. Минерва — у древних римлян богиня мудрости, покровительница наук, искусства и ремесел.

Стр. 478. «Меланхолия» — гравюра великого немецкого художника Альбрехта Дюрера (1471—1528).

Стр. 480. Легатство — резиденция полномочного представителя папы — легата.

Стр. 485. Валаа́мова ослица — по библейской легенде у Валаама была ослица, которая однажды заговорила человеческим языком, протестуя против побоев; обычно так иронически называют людей молчаливых и покорных, неожиданно начавших протестовать.

Стр. 487. «Не мир, но меч...» — Овод иронически напоминает слова Христа из евангельской легенды, обращенные к ученикам: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч».

Стр. 487. «Помните, Шейлок говорит...» — имеются в виду слова Шейлока из драмы В. Шекспира «Венецианский купец», акт IV, сцена I.

Стр. 508. «Кто напоит единого из малых сих...» — по евангельской легенде, слова Христа, обращенные к ученикам.

Стр. 511. «Если правая рука соблазняет тебя...» — Овод издевательски напоминает слова евангельской легенды.

Стр. 512. Кодрант — старинная мелкая монета.

Стр. 518. «Громче зовите! Может быть, он спит».— Овод издевательски повторяет слова из Библии. Пророк Илия говорит язычникам, поклонявшимся Ваалу и тщетно молившим его зажечь огонь на жертвенном костре и тем доказать свое существование и могущество: «Кричите громким голосом, ибо он бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется».

Стр. 519. «Галилеянин победил».— Имеются в виду слова: «Ты победил, галилеянин», которые якобы произнес перед смертью римский император Юлиан (332—363), гонитель христиан. Галилеянин — Христос, который, по евангельской легенде, был родом из Галилеи.

Стр. 522. «...через три дня».— Овод, издеваясь, вспоминает евангельскую легенду о воскресении Христа через три дня после казни.

Стр. 538. «Счастливой мошкою летаю...» — заключительные строки стихотворения «Мошка» известного английского поэта Вильяма Блейка (1757—1827).

Евгения Таратута

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Полевой. Книги удивительной судьбы 3

Г. Бичер-Стоу. ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА. *Роман. Перевод Н. Волжиной* . 11

А. Завадье. Пока стены не рухнут... *О романе Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»* 293

Э. Л. Войнич. ОВОД. *Роман. Перевод Н. Волжиной* 307

Е. Таратута. Этель Лилиан Войнич и ее роман «Овод» 540

Комментарии 551

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(Том 37)

Гарриет Бичер-Стоу

ХИЖИНА ДЯДИ ТОМА

Роман

Этель Лилиан Войнич

ОВОД

Роман

ИБ № 2692

*

Ответственные редакторы
Н. С. Дроздова и
С. К. Беркман
Художественный редактор
С. И. Нижняя
Технические редакторы
Е. М. Захарова,
Л. В. Гришина
Корректоры
В. В. Борисова
и Э. Л. Лофенфельд

*

Сдано в набор 02.07.79. Подписано к печати 06.03.80. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 36,13. Уч.-изд. л. 35,64. Тираж 404 000 (200 001—404 000) экз. Заказ. № 5154. Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

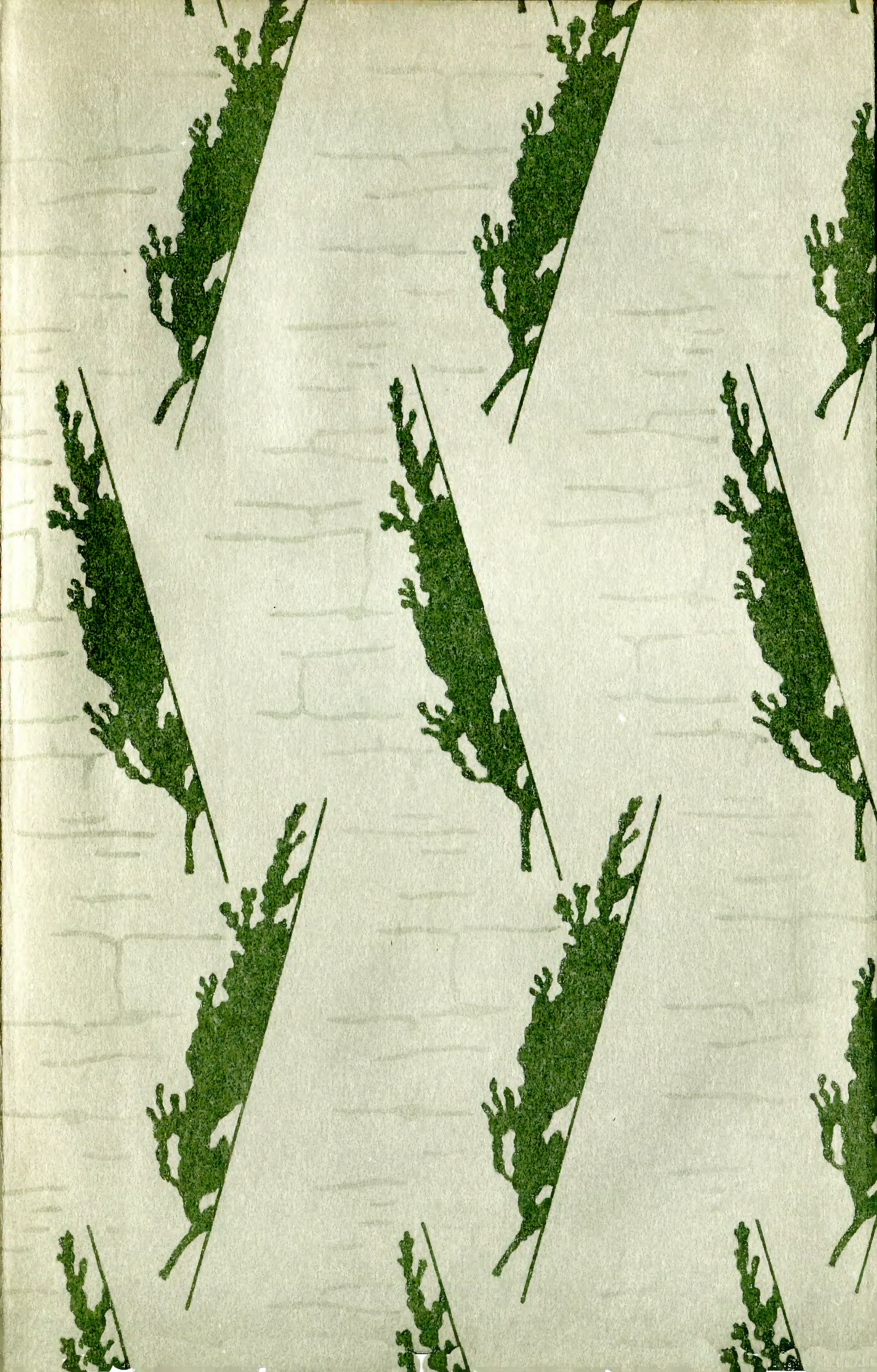
Бичер-Стоу Г.

Б67 Хижина дяди Тома. Войнич Э. Л. Овод: Романы/ Пер. с англ. Н. А. Волжиной; Вступит. слово Б. Н. Полевого; Комм. Е. А. Таратута; Оформл. и рис. Н. И. Цейтлина и Б. А. Дехтерева.— М.: Дет. лит., 1979.— 558 с., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 37).

В пер.: 1 р. 70 к.

Роман «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу с большой силой и страстью изображает бесчеловечную эксплуатацию чернокожих рабов и поругание их достоинства в США в XIX веке. Роман английской писательницы Э. Л. Войнич «Овод» рисует картину революционной борьбы в Италии в 30—40-е годы XIX века. Образ главного действующего лица романа Овода стал примером героя-революционера.

70803—226
Б M101(03)80 Подп. изд. И(Амер)



1 р. 70 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»